

ЭМЭ
БЭЭКМАН



трилогия о мирьям

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Валерий Гейдеко
Леонид Грачев
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен**

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЭМЭ
БЭЭКМАН

трилогия о мирьям



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1977

С (эст.) 2

В 97

Художник В. МЕДВЕДЕВ

Б $\frac{70302-026}{074(02)-77}$ 175-77 подписное



Если бы 15 лет назад вы спросили, кто такая Эмэ Бээкман, то услышали бы: оператор киностудии «Таллинфильм». Выпускница ВГИК 1956 года, она участвовала в съемках нескольких фильмов разных жанров. Однако стремление «служить двум музам» выразилось уже тогда в ее успешной работе над сценарием «Парни одной деревни», написанным совместно с Владимиром Бээкманом (фильм 1962 года), а еще раньше — в публикациях очерков и рассказов в периодической республиканской печати. Последнее десятилетие выдвинуло Эмэ Бээкман в число интереснейших прозаиков Эстонии.

Путь Эмэ Бээкман из кино в большую прозу необычен, но естествен. «Тот, кто понял, что значит глазом кинокамеры выделить и подчеркнуть отдельные куски мозаики мира, тот уже не в силах от этого отказаться». Глаз кинокамеры проникает в глубь объекта,

обнажает его сущность, освещает в определенном ракурсе, но объект внимания писателя — исследователя, философа, психолога, художника — за пределами заданного объекта, это — вся жизнь с ее проблемами, с необозримым многообразием.

Дебют прозаика Эмэ Бээкман — роман «Маленькие люди» (1964). Книга написана от лица маленькой девочки Мирьям. В этом первом романе четко прочерчен круг проблем, которые волнуют писательницу и которые она будет неуклонно поднимать в каждом своем новом произведении, — и прежде всего это проблема истинной человеческой ценности, проблема ответственности за совершаемый выбор.

Через два года после публикации «Маленьких людей» выходит новый роман Э. Бээкман «Колодезное зеркало», повествующий о трагической судьбе эстонской революционерки. Роман сразу занял особое место в эстонской литературе: в нем органически переплелись события человеческой жизни с событиями 1940 года и Октябрьской революции. В «Колодезном зеркале» живют персонажи «Маленьких людей», и хотя тональность и стилистика этих произведений резко отличны, — они тем не менее образуют единое самобытное целое. На русском языке дилогия вышла одной книгой (1969). Прошло много лет, и писательница вновь рассказала о Мирьям, теперь уже школьнице, о ее друзьях-подростках, пытающихся осмыслить окружающий мир, определить в нем свое место, найти свою «истину» («Старые дети», 1972). Этот роман естественно завершил трилогию.

Годы, предшествовавшие появлению «Старых детей», за-

полнены интенсивным трудом, отмечены созданием новых значительных произведений, не схожих по замыслу, форме, композиции, но неизменно отличающихся глубоким социально-психологическим анализом.

1967 год. «Стая белых ворон». Роман в новеллах. Перед читателем проходит целая галерея персонажей, герои книги — столичные киноработники. Общая, сквозная тема — мещане в искусстве. Творец должен стать самостоятельным, стремление к легкому успеху неизбежно превратит его в неудачника, в «белую ворону» в искусстве. На русском языке роман издан в 1970 году.

Следующий роман Э. Бээкман — «Глухие бубенцы» (1968). Время действия — три дня 1944 года. Отступают оккупанты. Нацистская пропаганда запугивает жителей. Глухой хутор Западной Эстонии. Сюда стеклись беженцы — люди различных социальных слоев, с разными судьбами. Ведущая мысль: в переломный момент истории каждый должен четко определить свою позицию, свое место в жизни и в борьбе. Книга обращена против идеологии национализма и мещанства.

1970 год приносит два совершенно своеобразных, не похожих ни на одно из предыдущих произведений.

«Сынни Сийм» («Сийм-силач») — мудрая и остроумная сказка о приключениях добродушного, доверчивого, но нелепого великана, определенная автором в подзаголовке как «роман для детей и для других». Кроме сказочных персонажей здесь действуют вполне реальные современные герои, и по многим признакам можно угадать, что все это происходит в Эстонии наших дней. Реальность и вымысел легко

переплетаются. Сказочные образы зрительны и пластичны, так и просятся на экран, в мультфильм. Сказка утверждает высокие этические и эстетические идеалы.

И — «Шарманка». Фантастический УУМ (Управление по учету мнений) изображен в реалистических подробностях, как нормально функционирующее учреждение. Роман пронизан веселой иронией, однако покров озорной комедийности скрывает серьезное: страшна бездуховность, и в наш стремительный век человек не должен забывать об этом. Роман получил премию Эстонской ССР имени Ю. Смуула.

В 1971 году опубликован новый роман Э. Бээкман «Запретная зона» (в русском переводе — «Час равноденствия», 1973). В центре — история молодой женщины с несложившейся судьбой, история Простой Души. Душа героини — запретная зона — не приемлет житейской пошлости. Всем своим пафосом роман направлен против куцевого идеала мещанского счастья.

В 1973 году написан еще один роман о женщине — «Чертоцвет». Его героиня — эстонская крестьянка. Действие простирается с середины XIX века до 1905 года. Этому роману присуждена премия колхоза имени Э. Вильде.

В 1975 году Э. Бээкман публикует роман «Винный месяц» (в русском переводе назван «Листопад»). Роман пронизан беспокойством: куда спешит человек? Как изменяет его время? В этом «Листопад» перекликается с «Шарманкой». А в скором времени читателя ждет знакомство с новой книгой писательницы — это будет психологический роман «Родовое древо».



маленькие люди
РОМАН



Мирьям проснулась, но глаз открыть не могла. Вернее, она еще ничего толком не соображала — только что видела во сне, как в саду за домом ползла большущая змея, толстенная и неторопливая. Змея вытянулась через весь уголок сада — с яблоней, посаженной дедушкой, десятком ягодных кустов и грядкой под окном вдоль стены, где росли попеременно оранжевые царские кудри и лимонно-желтые ирисы.

Напуганная жутким сновиденьем, Мирьям поклялась, что вовек ее ноги там не будет, где меж кустами пресмыкаются столь отвратительные твари. Лучше уж возиться во дворе, ничего, что он вытопан жильцами до бесплодной пустоты. Тут, где все на виду и где лишь под ивой да возле мусорного ящика пробиваются клочочки травы, видно далеко и можно не бояться неожиданной беды.

Когда подолгу не бывало дождя, на дворе можно было с удовольствием поволочить ногами — пыль вздымалась столбом до второго этажа, и бархатная мягкость ласкала голые подошвы. Однако удовольствие это всегда бывало непродолжительным — жильцы подпиравших двор обоих деревянных домов поднимали крик, ругались и с таким треском захлопывали створки окон, что сыпалась замазка.

И все равно во дворе самое надежное место! Ведь стоит змее высунуть голову из-под забора, ее сразу увидишь, успеешь убежать домой и спрятаться.

Мирьям на миг открыла веки, поймала красшком глаза яркий солнечный лучик и снова забылась в легкой полудреме. Радостный зайчик успел погасить в ее глазах жуткий змеиный образ, и Мирьям предалась более приятным размышлениям. Еще два лета потерпеть, придет золотая осень, и тогда наконец-то за нею признают право на форменную шапочку и она пойдет в школу. Только эти чудесные мечты омрачались мамиными словами, которая недавно сказала, что разве напасешься денег на новый портфель первоклашке, возьмешь у Лоори старый ранец, он еще совсем приличный!

Злость и слезы подкатывались к горлу, когда Мирьям сейчас думала об этом. Ну почему она не первый ребенок? Почему она должна мириться с Лоориными обносками? Мирьям сама видела, как сестра зимой каталась с горки верхом на ранце — да так, что клочья от него летели.

Мирьям вздохнула. Как бы ей хотелось иметь большую черный лакированный портфель с блестящим замком, возле которого, подобно колокольчикам, позванивали бы два маленьких ключика, таких же крохотных, как у ее копилки, где завалилось несколько случайных центов.

На кровати закашлял отец, принялся нетерпеливо чиркать спичкой. Запахло табачным дымом. И донесся приглушенный шепот. Значит, мама тоже проснулась. И только старшая сестра Лоори по-прежнему сопела рядом.

Вспомнила минувшую ночь, когда она проснулась от шума. Сонно светил ночник, и мать, в рубашке и босиком, направилась в прихожую, чтобы открыть дверь.

Явился отец.

Шатаясь, он прошел впереди матери в спальню и, потеряв равновесие, привалился к спинке железной кровати, на которой спали дети.

Мирьям поглядывала из-под ресниц и видела совсем рядом резко очерченное отцовское лицо, зеленоватое от света ночника, и его свинцовые глаза, уставившиеся, казалось, прямо на нее.

Она замерла, не смея ни натянуть одеяло на голову, ни даже зажмуриться.

Нет, отец не разглядывал ее. Он с трудом выпрямился, уцепившись за спинку кровати, и так неуверенно шагнул вперед, что кровать выехала вместе с детьми на середину комнаты. Так наискось, в некотором отдалении от стены, она и оставалась, пока мать не придвинула ее обратно. Мирьям ощутила тяжелый, горьковатый запах перегара, услышала, как отец рухнул на широкую деревянную кровать.

Мирьям открыла глаза. На солнечном свете все ночное — и сон и явь — казалось чем-то далеким и невозможным.

Шепот на кровати родителей усилился, отец шуршал спичечным коробком — видно, старался зажечь ковую папиросу. Наверное, ночью мать открыла окно, потому что синеватый дымок тянулся меж занавесками во двор.

Девочке стало скучно. Но так как ничего лучшего она придумать не могла, то принялась тормошить спящую сестренку. А той хоть бы что! Вот соня! А еще в школу ходит! Мирьям придвинулась спиной к стенке, уперлась ногами чуть пониже Лоориной поясицы и стала спихивать сестру с кровати. Хотя бы для этого годится ее опостылевшее место. Мама все говорит, что ты поменьше, можешь упасть и должна спать у стенки.

Лоори проснулась. Теперь жди щипков, и Мирьям посчитала за лучшее выскочить из постели.

— Доброе утро, Мирьям! — хриплым голосом приветливо произнес осунувшийся отец.

«Ну да, — подумала девочка, — задабривает, лень подняться, чтобы ремнем отстегать».

В ответ на отцовское приветствие Мирьям стала громко сопеть и продолжала одеваться уже гораздо медленней.

— Будь паинькой, сходи к бабушке, попроси у нее пять крон, — произнес отец уже куда раздраженнее. Он боялся, что Мирьям заупрямится, а у него и впрямь не было настроения, чтобы подняться и наказать ребенка за возможное ослушание.

Мирьям вздохнула. До чего же она не любила кланчить у бабушки деньги. Но именно ей приходилось делать это, и к тому же довольно часто. По словам отца, бабушка любит внучку и не откажет ей.

«Как же это плохо, когда тебя кто-нибудь любит», — думала Мирьям.

В чем заключалась эта любовь, Мирьям, по правде, и не знала. Может, в том, что бабушка иногда купала ее в ванне, или в том, что угощала летом клубникой. Во всяком случае, самой Мирьям нравилось куда больше проводить время с дедушкой, — тот хотя и скупился на слова, зато повсюду брал ее с собой.

Наконец Мирьям оделась и мельком скользнула взглядом в сторону родителей, надеясь, что, может, отец забыл свое приказание. Куда там! Он приподнялся на локтях и сердито взглянул на замешкавшуюся дочь.

Бабушка жила тут же, через коридор.

Несмотря на летнее утро, от каменного пола несло холодом, который охватывал девочку в ситцевом платице легкой дрожью.

Мирьям пришлось порядком тянуться, чтобы нажать на белую кнопку возле темной двери. Дверь была мрачной, под стать полутемному коридору; сверкало только у открытого парадного входа — поднявшееся уже довольно высоко солнце кинуло на пол в коридоре угловатое пятно света.

Мимо с топотом пробежали детишки. Сегодня воскресенье, во дворе белья никто не сушит, и жильцы в этот день добрее, можно было вволю побегать. С каким бы наслаждением Мирьям сейчас помчалась во двор.

Только вот пряжка у отцовского ремня слишком больноющая...

Мирьям потрогала свои округлые ягодицы, не отошедшие от последней порки. Сколько она ни вспоминала, за что ей тогда досталось, вспомнить так ничего и не смогла.

Дверь открылась.

Ну что за чудо эта бабушкина, дедушкина и дядина квартира! Когда не надо клянчить деньги, здесь так приятно.

На стенах невиданные картины — на одной нарисована ночь и море, а по нему при луне гребет одинокий лодочник, на другой — навстречу утреннему солнышку скользил челн. На этажерке с точеными ножками — Библия в кожаном переплете и с металлическими застежками, а в ней заложены певческие листки. Между страницами можно было найти еще засушенные веточки туи и фотографии, где мрачные люди стояли в ряд по ту сторону цветов и венков. Бабушка говорит, что снимали на похоронах. Что такое похороны — этого Мирьям не по-

нимала. Одно было ясно: человека закапывали в землю. Как бы там ни было, но Мирьям не хотела, чтобы ее ни с того ни с сего уложили под землю.

Больше всего в доме бабушки, дедушки и дяди Рууди ей нравились чучела со стеклянными глазами и несчетные олени рога, которые попеременно украшали стены. Когда девочке удавалось оставаться на бабушкиной половине одной, она обязательно забиралась с ногами на резную деревянную софу, обитую красным плюшем, и трогала пальчиками этих удивительно безмолвных птиц.

Много-много раз она вот так же рассматривала и трогала их, пока однажды не случилась беда. Одно из чучел упало со стены и развалилось. От прекрасной птицы осталась лишь кучка жалких перьев и кудельной трухи, глазки-стекляшки звонко покатались в разные стороны, и густая пыль повисла вокруг.

Бабушка страшно рассердилась, сказала, что Мирьям плохой ребенок, она разбила дорогой господский подарок.

Но что это за звери — господа, — бабушка почему-то не объяснила. А когда Мирьям осмелилась спросить, вместо ответа получила взбучку. Это, конечно, не шло ни в какое сравнение с отцовской поркой: бабушка была не ремнем с больнующей пряжкой, а взяла из вазы две запыхавшиеся бумажные розы и пару раз стегнула ими. Разве это взбучка: ни то ни се — только вид один.

Крепкую и властную бабку в доме боялись все, кроме внучки. Шкура у Мирьям была достаточно задубелой, чтобы считаться с бабушкиными розгами, которые были больше для порядка. С другими бабушка вела себя куда строже. Она распоряжалась всеми: дедушкой и домочадцами, то есть жильцами; командовала ребятами, а это означало — дядей Рууди и Мирьяминым отцом. Даже маме приходилось частенько выслушивать бабушкины окрики.

Мирьям сперва удивлялась: почему никто не возразит бабушке. Потом догадалась: если бабушка рассерчает, она не даст денег — ни дедушке, который дни напролет работает в своей мастерской, ни ребятам, которые, по словам бабушки, оба порядочные бедолаги.

Высокая, красивая, бабушка всегда ходила прямо, волосы неизменно заплетала узлом на затылке и страшно любила одежду с блеском.



Когда бабушка отправлялась в город, она выглядела такой же гордой и грозной, каким выглядит пастор в церкви, потому что бабушка тоже надевала черный плащ, правда, шелковый. Черную пасторскую шапочку заменяла черная соломенная шляпа с узкими полями, которая блестела на солнце. На руке у нее болталась большущая черная сумка, а на ногах переливались серые шелковые чулки.

Но сегодня бабушка была взлохмаченной, на ней был обвислый красный халат, окаймленный чем-то блестящим. Когда Мирьям вошла, бабушка хозяйничала в кухне, собирала в кучу посуду. Очистила уголок на столе, протянула руку за бутылкой, села и налила полную рюмку. Выпив, оперлась локтями о стол и спросила у внучки, которая в робкой, выжидающей позе остановилась возле двери:

— Ну что, послали за деньгами?

Мирьям облегченно вздохнула: как хорошо, что бабушка сама догадалась, но в то же время какой-то странный комок подкатывал к горлу и слезы сами наворачивались на глаза.

Не обращая больше внимания на внучку, бабушка протопала, развевая полы халата, в другую комнату. Пошарила в глубоком кармане и стала открывать дверцу стоявшего в углу несгораемого шкафа со множеством замочных скважин. Прошло немало времени, прежде чем из связки был найден для каждой дырочки пужный ключ и толстая дверца отворилась. Самой Мирьям, чтобы открыть свою копилку, требовалось куда меньше хлопот.

Девочка чуточку побаивалась этой возвышавшейся в углу громадины. Не потому, что у нее были такие толстые стенки, обитые изнутри чем-то темно-синим. Нет, вещь эта стала неприятной с той самой поры, когда Мирьям впервые потрогала ее. Девочка прямо-таки вздрогнула и быстро отдернула руку. Шкаф был холодным, словно ледышка.

Бабушка подала внучке три кроны.

Мирьям не протянула руки, чтобы взять деньги.

— Ну?

— Папа велел принести пять, — в нерешительности сказала она.

Бабушка без разговора добавила недостающие две кроны и с треском захлопнула дверцу холодного шкафа.

Девочка исчезла из комнаты, словно ее ветром сдуло. В следующее мгновение пять крон лежали на тумбочке возле кровати — отцу оставалось лишь протянуть руку, чтобы взять их.

В спальню из кухни вошла сумрачная мама и вопросительно остановилась.

Отец кивнул ей.

«Интересно, принесут ли маме радость эти деньги из ледяного шкафа?» — думала Мирьям, поглядывая на мать. Никакой теплинки пока на мамином лице не появилось.

Девочке надоело ждать, и она побежала во двор.

Но удовольствия шаркать ногами в пыли уже не было.

«Как плохо, если тебя кто-нибудь любит!» — думала Мирьям.

2

Посреди двора стояла Рийна, дочка Пилля — хозяйина соседского дома. Мирьям, как только свесилась с подоконника спальни, так сразу и увидела ее. Рийна в окружении галдящих ребятишек была совсем как лубочный ангел. Ну просто кроткое воскресное утро — чистенькая и торжественная в своем розовом платьице с оборками, белых носочках и лакированных туфельках с пуговками. У Мирьям даже дух захватило от зависти. Тем более что ее никто не замечал, все смотрели на Рийну — склонив головы набок и отведя грязные руки за спину. Один Пээтер не в духе расхаживал поодаль, целясь из рогатки в иву.

— Рийна! — крикнула Мирьям.

Рийна повернулась к окну, и вместе с ней повернулись другие дети. Светило яркое солнышко, и глаза у Рийны были прищурены, совсем как у мурлыкающего котенка, а уголки ее тонкого рта растянулись от удовольствия до самых ушей.

— Ты куда? — спросила Мирьям.

— В воскресную школу! — не в меру громко крикнула в ответ Рийна, так, чтобы услышали во всех открытых окнах обоих домов.

В школу — это потрясло Мирьям.

— Я с тобой!

Рийна пренебрежительно скривила ротик и великодушно произнесла:

— Только скорее!

Мирьям исчезла в окне. И уже в следующее мгновение героически терла щеткой и мылом свои разбитые, облезлые колени.

— Это куда же? — удивилась мать.

— В вос-крес-ную школу! — с гордостью объявила дочь.

Не вдаваясь в подробности, мать принесла чистое платье и белые гольфы. В том, что пришлось надевать туфельки со сбитыми носами, беды большой не было, хуже было с дыркой на пятке, — туфля ерзала на ноге, и пятка на каждом шагу сверкала.

А тут еще эта торопучая Рийна раструбилась под окном:

— Ми-и-ирьям!

Напустив на себя торжественность, Мирьям вышла из парадных дверей на улицу.

Дети пустились в путь.

Ошеломленные было Рийниной ангельской внешностью, ребятишки снова обрели дар речи и вовсю потешались над Мирьям, которая шла, припадая на правую ногу. В ответ Мирьям из-за спины Рийны грозила им кулаком.

На улице Рийна с горделивой медлительностью повернула голову к несчастной Мирьям и спросила:

— Что у тебя с ногой?

— Ревматизм, — мрачно ответила та.

— Хм! — фыркнула Рийна.

«Вот дура, — подумала Мирьям, — не понимает, что я просто скрючила пальцы, чтобы туфля не болталась и чтобы дырку на пятке не было видно...»

Все же Мирьям рядом с торжественной Рийной стала намного сдержанней и уже не гладила всех встречных кошек.

В общем-то, Мирьям шла в церковь всего лишь в третий раз.

Впервые она побывала там на своих крестинах. Сама она, правда, не очень-то помнила, но дома потом не раз говорили об этом. Будто при освящении Мирьям крепко ухватилась обеими ручками за крест, висевший на толстой цепи на шее пастора, и со всей силы дернула. Пастор, по словам, улыбнулся и сказал потом матери, что из этого ребенка вырастет большой человек. Разговоры эти Мирьям слушала с удовольствием, потому что рослые

люди ей нравились. И видно далеко, и без натуги можно заглянуть через забор, чтобы полюбоваться белыми лилиями, которые цветут в саду второго соседского хозяина, Таавета.

Еще раз Мирьям ходила в церковь на прошлое рождество. Людская толпа запрудила огромное помещение, и от духоты было трудно дышать. На привезенных из настоящего леса елках, которые стояли возле алтаря, без конца горели толстушие свечи, и от них исходил одурманивающий запах воска.

В общем-то, девочке нравилось бывать в церкви, если бы не этот пастор, который говорил так длинно и так скучно. Говоря в проповеди о святых вещах, пастор искажал голос, слова его были исполнены боли и страдания. Казалось, вот-вот должно случиться какое-то несчастье. Точно так же Мирьям не выносила собачьего воя.

Когда дядя Рууди бывал в настроении, он иногда поддельвался под пастора. Только слова у него были совсем не скучными, он шутил, и всем было весело. Он надевал дедушкину черную шляпу, и из нее получалась пасторская шапочка. Дядя Рууди надевал дедушкину шляпу наоборот — доньшком на голову. Поля у шляпы выглядели тогда, как помятое сияние над головой у святых. От всего этого худое дядино лицо со скосбоченным носом становилось еще длиннее.

И Мирьям думала: почему бы дяде Рууди не стать вместо пастора перед людьми в церкви, с дедушкиной шляпой наизнанку, — никого бы из присутствующих не клонило ко сну, и никому бы не было грустно.

Мирьям сидела, присмирившая, рядом с Рийной Пилль и смотрела на пастора, у которого был мягкий подбородок, и слушала его рассказы о странствии по пустыне, о Моисее и манне небесной со вкусом медового пряника. Мирьям была сытой, рассказ о еде ее не интересовал, и она стала рассматривать церковь.

Самым привлекательным ей показался алтарь и за ним, на задней стене, просвечивающиеся красочные изображения на стекле. Там стояли красивые люди с печальными лицами, и все они были укутаны в одежды с бесчисленными складками. Мирьям удивлялась: у всех на плечах столько материи, а сами почти босые. На средней, и самой большой, картине был изображен распятый сын божий. «Правитель Пилат, — как объяснила девочкам мама, когда они были на рождество в церкви, — позволил по

требованию первосвященников убить Христа». Выходит, Иисус уже мертвый на кресте, но почему его тогда не закопали в землю, как этих бабушкиных знакомых, похороны которых Мирьям видела на снимках, что были заложены в Библии? Может, в той стране просто не делают красивых бумажных цветов и пышных венков, чтобы можно было положить их сыну божьему на могилку? Потому Христос и остался висеть на кресте.

В церкви чуточку повеселело. Пастор раздавал детям листки со словами песен. Мальчики, которые сидели слева, получили синие листки, девочкам — справа — дали розовые. Так как Мирьям еще не слишком разбиралась в грамоте, она беспомощно вертела в руках бумажку, не зная, что с ней делать. Взглянула на Рийну. Та держала листочек двумя руками перед носом и делала вид, будто понимала все, что там написано. Мирьям решила, что уж она-то не станет для виду держать листок перед глазами, лучше снесет его домой и вырежет для белого кораблика, который дедушка выточил из березового полена, розовые паруса. Вот если только не хватит для парусов...

В то время как Мирьям размышляла про себя, дети пели в сопровождении органа, а пастор рокочущим, громким голосом подпевал им. Затем он стал читать следующий стих.

А Мирьям думала про свое, что паруса у корабля должны обязательно быть большими. Тогда они захватят много ветра и понесут так, что в ушах засвистит.

И наступившую паузу в пении вдруг прорезал непотребный звук.

Мирьям испугалась и робко оглянулась по сторонам. Мальчики громко захохотали, девочки прыскали в кулачки и тыкались друг к дружке головами. Пастор сердито посмотрел прямо в глаза Мирьям, а музыканту, который сидел за органом, пришлось после ребячьего смеха начинать опять сначала.

Тогда Мирьям подумала, что ей тут больше делать нечего. Пускай себе поют табуном святые песни, ей куда больше по душе самостоятельная жизнь.

Она поднялась и пошла к выходу. Шагала без хромоты, вовсе забыв о злополучной дырке на пятке. Вышла из дышащей прохладой церкви на тенистую паперть и запрыгала на одной ножке вниз по ступенькам, пока не очутилась на солнышке.

Придя из церкви домой, она рассказала всю историю бабушке, которая повстречалась ей первой. Бабушка смеялась до слез. Мирьям никогда не видела ее в таком хорошем настроении и поэтому, выставив круглый животик и заложив руки за спину, недоумевала перед хохочущей бабушкой.

Самой же Мирьям было довольно грустно, потому что все утренние хлопоты пошли насмарку. Белые гольфы были перепачканы, на локте красовалась ссадина — в воротах навстречу ей бросилась знакомая собака, которая столь бурно выражала свой восторг, что сбила Мирьям с ног.

Отсмеявшись, бабушка положила тяжелую руку на плечо девочке и сказала, что вот теперь-то уж она чувствует — Мирьям ее внучка. Кровинка ее дорогого первенца, потому что очень уж пошла в бабушкину породу.

Она взяла дорогую внученьку за руку, схватила с вешалки ключ, который был такой же длинный, как ручонка Мирьям — от кончика пальцев до локтя, — и они вышли из комнаты.

К радости Мирьям, бабушка остановилась у двери таинственного винного подвала. Замок, в скважину которого как раз умещался девочкин вздернутый носик, не хотел поддаваться гигантскому ключу, что держала в своей сильной руке бабушка. Но все же она осилила замок, и дверь отворилась со ржавым скрежетом.

Из-под лестничной клетки в лицо пахнуло прохладой и плесенью. В первой половине помещения, разделенного простенками на две части, находились длинные полки, уставленные бесчисленными бутылками и банками. Внизу возвышались с двух сторон картофельные сусеки — однажды Мирьямина черная кошка вела там отчаянную борьбу с крысами, ростом с саму Мурку. В первой половине подвала можно было свободно проходить. Зато в боковушках могла стать в рост только одна Мирьям. Но бабушке в этой части подвала и не требовалось прохаживаться — среди оплетенных пузатых бутылей с вином для нее стоял дубовый чурбак. На нем она любила посиживать да поцеживать домашнее ягодное или яблочное вино.

Бабушка зажгла свечу, и теперь погреб можно было разглядеть лучше: все сплошь было покрыто толстой зеленой плесенью — стены, сусеки, известняковый пол, запылившиеся бутылки, и банки на полках, и даже опле-

тенные булькающие сосуды. И только бабушкин дубовый коричневатый чурбак оставался чистым — это была тут самая обиходная вещь.

Бабушка опустила тоненький красный шланг в бутылку и начала жадно сосать. Не переводя дыхания, утолив первую жажду, протянула шланг внучке.

Вино и впрямь было вкусным. Стоило Мирьям сделать несколько глотков, как она сразу ощутила приятное тепло, разлившееся по всему телу, унялась дрожь, нагнанная сыростью и страхом перед крысами, которые бродили по сусекам и были такие же большие, как кошка Мурка.

Мирьям тянула вино по своему разумению. Бабушка ее не останавливала. Когда внучка вдоволь напилась, бабушка покровительственно засмеялась и заметила, что крови господней тут, во всяком случае, больше, чем в церкви. Так как разговор зашел о церкви, бабушка сказала, что это место для придурков, нормальный человек идет туда, лишь когда нужда подопрет — креститься, ну еще венчаться и когда хоронят.

Мирьям удивилась — ну и большущим же должен быть этот господь, не меньше двухэтажного кирпичного дома, наверное, если его крови хватает на бабушкин погреб и на церковь тоже. На внучкины расспросы бабушка ответила, что господá церковники называют вино кровью господней, потому и она величает его так. На самом деле это просто перебродивший сок, и ничего другого. Мирьям страшно разочаровалась: и в церкви пустое мелют.

И тут девочка почувствовала, что ее мутит. А бабушка предлагала еще вина. Скривив рот, Мирьям ответила, что хочет домой. Сделав еще добрый глоток, бабушка согласилась покинуть подвал, чтобы отвести едва стоявшую на ногах внучку домой. Обычно равнодушная к порядку, бабушка на этот раз старательно повесила шланг на гвоздь. Затем погасила свечу. Выведя девочку из подвала, бабушка навалилась всем телом на тяжелую дверь, — теперь она послушно закрылась. Ключ надсадно заскрежетал в скважине. Прижав девочку к себе, бабушка затянула свою любимую песню:

Юность прекрасная,
Юность вовек не вернуть.

Подвальный проход отдавался громким эхом, и бабы, катавшие белье, на всякий случай отпрянули в сторону. Дворничиха с любопытством приотворила дверь и выгля-

нула наружу. Ее овчарка, улучив момент, выскочила, поджав хвост, во двор. И сразу же там раздался истошный вой. Это кошке Мурке опять попалась в лапы собака. Поднимая пыль, пес носился по кругу с кошкой на загривке. Бабушка невозмутимо шествовала дальше, продолжая горланить:

Нет, не вернуть,
нет, нет, вовек не вернуть,
юность вовек не вернуть...

В затуманенном воображении Мирьям маячил лишь отцовский ремень с пряжкой, и девочка тяжело вздохнула.

По крайней мере, о том, чем закончилось ее посещение воскресной школы, она ничего не скажет. Ведь что по душе бабушке, может вовсе не понравиться маме. А если не сумеешь вовремя угадать чужих желаний да настроений, можешь себе всю жизнь испортить.

Так думала Мирьям, плетясь домой рядом с напевающей бабушкой.

3

Разгульное воскресенье отошло в прошлое, наступили будни, и Мирьям отправилась на работу в дедушкину мастерскую. Она перешла через пыльный двор и спустилась по каменным ступенькам в подвальное помещение. Мимо дворничихиной двери она прошмыгнула на цыпочках, чтобы никто не услышал и чтобы старуха не высунула свой любопытный нос. Девочке было просто не по себе, когда кто-то следил за ней. Радовало, по крайней мере, то, что клыкастая дворничихина овчарка боялась кошки Мурки. И поэтому Мирьям всегда, когда ей предстояло пройти по подвальному коридору, отыскивала кошку и брала ее с собой.

Справа, у стены, громоздился бельевой каток, в скрипучем ящике лежали пыльные камни — для тяжести. Когда кто-нибудь из жильцов прокатывал белье, Мирьям всегда подходила, чтобы послушать, как громяхают монотонно камни. В такие моменты она забиралась куда-нибудь в темный уголок, где можно было, зажмурив глаза, побыть одной. Она слушала и думала о белых конях, о целом табуне белых коней, которые, развевая гривы, несутся по белым дорогам. Мирьям сама не знала, почему эти лошади так тревожили ей душу.

Сегодня здесь никого не было, и Мирьям на всякий случай одним прыжком пронеслась мимо дальнего угла, где возле катка вызывающе притаилась темень.

Прямо в конце коридора отсвечивала дверь, ведущая в бабушкин винный погреб.

Мирьям вздохнула.

Она подошла к тяжелой двери и проверила: умещается ли ее носик в замочной скважине? Уместился! Как все же хорошо, что детей не бьют по носу, не то и он бы распух и побаливал, как ее попка после вчерашней взбучки. Еще застрял бы в дырке — края вон какие острые, стой тогда, упершись лицом в дверь. А вечером, глядишь, еще и та толстая черная змея откуда-нибудь выползет...

Примерив нос, Мирьям повернула налево. Как хорошо, что дедушка открыл дверь и зацепил ее за стеной крючок. А то пружина такая тугая, что была не по силам девочке. Дедушка, наверное, знал, что она придет. Ведь день-то рабочий.

Мирьям шла по проходу. Проводила пальцами по дощатым переборкам и чувствовала себя довольно храбро — здесь было суше и светлее.

Дедушка стоял возле тисков. Мирьям подкралась сзади и дернула его за кожаный передник. Дедушка обернулся, сдвинул на лоб очки в железной оправе и улыбнулся.

— Пришла тебе помогать, — объявила Мирьям.

— Ну-ну, — произнес дедушка и, подняв внучку на верстак, усадил ее на маленькую наковальню, покрытую материей: здесь она обычно и сидела.

Дедушка продолжал стачивать напильником железо.

У Мирьям было время, чтобы оглядеться.

В горне тлели угли, оттуда по серому помещению разливалось приятное тепло. Когда дедушка накалял железо, он всегда раздувал мехи и потом бил по раскаленному металлу большущим молотком так, что сыпались искры. Куда ярче, чем от бенгальского огня на рождественской елке.

Два трапециевидных оконца, застекленных множеством мелких стекол, освещали верстак и позволяли смотреть на улицу. За то время, которое Мирьям провела в дедушкиной мастерской, она научилась узнавать окрестных жителей по их ногам — тротуар находился как раз на уровне окна.

Вот идет Уно, ноги все равно что у негра — жилистые и коричневые. Дворничиха шлепает медленно, переваливаясь с ноги на ногу, будто утка, полосатая юбка почти до самой земли, на ногах — и летом и зимой — черные шерстяные чулки и тапочки, зашнурованные длинными веревками, как у лаптей.

Ой, как красиво! Да это же соседская хозяйка, мама Рийны, госпожа Пилль! Она цокала на каблучках, и оборки розового платья у нее захлестывались вперед — то слева, то справа.

Следом за госпожой Пилль в поле зрения Мирьям появился старый Латикас. После того как на фабрике ему что-то упало на голову и его рассчитали с работы, длинная и костлявая фигура Латикаса то и дело маячила перед домом. Обвислые, болтающиеся по бокам руки бывали хорошо видны в оконце всегда, когда его ноги в залатанных башмаках и обтрепанных штанинах беспомощно нащупывали дорогу. Отец, возвращаясь по ночам, ступал так же. Только от Латикаса никогда не пахло вином, потому что у старика не было денег. Не было у него и бабушки, которая давала бы ему кроны. Наоборот, он должен был давать бабушке деньги. За лето с клочка земли, на котором шустрая Латичиха выращивала клубнику, малину и огурцы, выручали столько, что они со стариком и на хлеб выгадывали, и могли заплатить бабушке за полутемную каморку. Зимой же Латичиха ходила стирать белье, а старик сидел перед плитой в каморке и все раскачивался на стуле — вперед и назад, — хоть целые дни напролет.

Мирьям не любила эту каморку с ее лоскутным одеялом, которым застилалась плохонькая кровать. Но все-таки Мирьям иногда заходила туда, чтобы посмотреть на яркие, красочные открытки, которые были присланы из самой Америки и которые показывала жена Латикаса. Девочка рассматривала чужестранные изображения и жирные штемпеля и удивлялась, почему это дочка Латикасов, которая в состоянии покупать такие красивые открытки, не шлет денег своим старикам.

— Когда-нибудь придет, — надеялся старый Латикас.

— Времени, видать, не выберет, — отмахивалась старуха и отводила глаза в сторону.

Девочку просто одолевала жалость, что она не умеет писать, а то известила бы эту американскую дочку: так,

мол, и так, родители совсем в беде. Ведь, может, там, за океаном, она вовсе и не слышала, что старому Латикасу на фабрике отказали в работе?

Вместе с Мирьям на верстаке сидел и ее телохранитель — черная, с желтыми глазами кошка Мурка. Но той не очень сиделось на месте. Вот она и шмыгнула в темный коридор, где, видимо, требовалось призвать к порядку обнаглевших крыс.

Дедушка сделал в работе передышку и стал набивать трубку. Долго раскуривал и примеривался к настоящей затяжке. Потом сел на большую наковальню перед горном и заложил ногу на ногу.

— Ну,— сказал он,— теперь не иначе твоя очередь.

Мирьям проворно слезла с верстака, подтащила ящик из-под гвоздей к тискам, чтобы можно было дотянуться, вопрошающе посмотрела на дедушку. Тот пошарил в кармане кожаного передника, нашел железку. Мирьям взяла ее и приступила к работе. Двумя руками развинтила тиски, вставила железку. Одной рукой держала, другой заворачивала щечки у тисков. От серьезной и нелегкой работы Мирьям просто сопела.

Так. Железка на месте. Прежде всего постукала молотком, потом поводила напильником, напрягая до предела едва проступающие мускулы своих рученок.

Мирьям не знала, что должно получиться из этой железки. Решила: что-нибудь да получится — и продолжала трудиться.

Дедушка сидел на наковальне, дымил трубкой и улыбался.

Мирьям знала: если у нее ничего и не выйдет, то дедушка потом все равно что-нибудь придумает — нагреет железку, побьет по ней, растянет, пока она не оживет в облике какого-нибудь диковинного животного. Игрушки, сделанные дедушкой из железа, Мирьям держала на полочке книжного шкафа, вот только мать сердилась, когда видела их, она не понимала, что это животные.

Не нравилось матери и то, что Мирьям пропадала в дедушкиной мастерской: мол, только платья пачкает. А когда дедушка шел гулять с внучкой, тут мама была даже очень довольна.

Какое счастье, что у дедушки свои ребята уже такие большие, думала Мирьям. Дядя Рууди гуляет с невестами, у папы есть мама, а дедушка весь принадлежит внуч-

ке. Мирьям решила, что себе она никогда жениха не возьмет, всю жизнь будет гулять с дедушкой.

К сожалению, ей уже сейчас навязывали жениха. К маме приходила ее школьная подруга и привозила с собой карапуза — вот его-то ей и присватывали, да еще наказывали хорошо обходиться. Но так как Мирьям терпеть не могла своего сопливого поклонника, то она использовала любой подходящий момент, чтобы на всякий случай отколошматить парня. Жених, который не был столь привычен к кузнечному молоту, как Мирьям, страшно боялся ее и сразу же начинал хныкать, как только его оставляли наедине с «невестой».

— Посидели, отдохнули — пора опять за работу, — сказал дедушка, заметив, что девочка уже устала возиться с тисками.

— Ну ладно, — согласилась Мирьям, позволив дедушке снова усадить ее на обычное место.

Мирьям наблюдала за дедушкой, который вытряхнул пепел из трубки в горн и снова подошел к тискам. Дедушка казался ей таким же красивым, как сам бог, на которого она достаточно насмотрелась на красочных открытках. Только бог, видно, никогда не работал, потому что его одежда не была такой замызганной, как синяя дедушкина блуза — вся в масляных пятнах и в подпалинах от искр.

— Какая же тут сегодня получится животиная? — рассуждал дедушка, разглядывая на свет железку.

— Лошадка! — просила Мирьям.

— Лошадка так лошадка, — соглашался дедушка и улыбался. От этой дедушкиной привычки безмолвно улыбаться у Мирьям почему-то всегда становилось на душе очень радостно. Ведь люди так редко улыбались. А дедушка всегда мог улыбаться, да так долго, что на лице успевали появиться две морщины, которые начинались от уголков глаз и расходились по щекам и по лбу и от которых веером разбегались бесчисленные складочки.

Дедушка мог улыбаться, хотя у него была крикучая бабушка и было два сына-неудачника. Может быть, дедушка сам и не думал, что у него сыновья не удались.

Мирьям пришла к выводу, что дедушка — это нечто другое, чем жених. С дедушкой можно посидеть на кор-



точках в мастерской, он, бывает, и в кино водит, и к Длинной Башне тоже.

В кино они сидели с дедушкой всегда ровно столько, сколько это нравилось Мирьям. Иной раз удавалось вдоволь насмеяться, когда на экране один дяденька — толстый и короткий — и второй — тонкий и длинный — колошматили друг друга, падали, перекатывались через диван и вытворяли разные смешные штуки. Но случалось, что становилось скучно, никто никого не гонял, тогда Мирьям дергала дедушку за рукав и шептала, что ей надоело. Дедушка никогда не возражал, и они, взявшись за руки, выходили из темного зала на улицу.

Зато ходить смотреть Длинную Башню никогда не надоедало. Во-первых, туда вела интересная дорога. И полакомиться удавалось: дедушка покупал у придорожных лоточниц сочную клубнику, а ближе к осени — и яблоки или ягоды, которые были всегда вкуснее тех, что росли в саду за домом. И только помидоров вкуснее, чем выращивал дедушка, Мирьям не знала.

К Длинной Башне надо было идти через низкий сосняк, за которым сразу начинались свалки, возле узкой и извилистой тропки пышно разрастались лопухи, репейник.

Мирьям еще никогда не удавалось подойти вплотную к таинственной Длинной Башне. Дорогу преграждали ямы с обрывистыми берегами, в их неподвижной бездонной глади отражалось поднявшееся в небо стрельчатое кирпичное строение. Возле Длинной Башни никогда не было видно людей, хотя рядом с ней и прикорнуло несколько низких домиков.

Как-то раз дядя Рууди сказал, что никакая это не башня, а просто развалюха — труба заброшенного кирпичного завода. Мирьям была страшно разочарована и бросилась к дедушке за утешениями. Дедушка стоял на своем и по-прежнему называл трубу Длинной Башней.

Но сомнение уже было посеяно.

«Поди-ка пойми людей, — озабоченно подумала Мирьям. — Кто из них глядит на вещи прямо, а кто и вовсе из-за угла косится?»

Из железки в заскорузлых дедушкиных руках за это время получилось животное, в котором Мирьям признала коня с развевающейся гривой.

Рабочий день в мастерской закончился.

В деревянном доме, который выходил окнами на улицу, жила семья Бахов — их отпрыска, рыжего Хейнца, Мирьям не любила. Она была не из тех людей, которые ни за что ни про что начинают ненавидеть человека, для этого нужна была веская причина.

Это случилось еще в далеком детстве, было тогда девочке всего годика два, и играла она однажды в песочнице. Хейнец, бывший на четыре года старше Мирьям и уже тогда выделявшийся своим коварством, подкрался сзади и стукнул девочку молотком по голове. А когда она закричала, он толкнул ее на землю и еще несколько раз ударил, и все норовил попасть по голове, чтобы оглушить Мирьям, выпекавшую из песка пирожные.

Злодеяния Хейнца Мирьям не забывала.

Годами зрела в ней месть. Но проклятая история — не хватало силенок. Стоило ей подрасти, как Хейнец вырос стал еще больше.

Пришлось идти на хитрость. Мирьям делала вид, будто она совсем забыла о том, что произошло тогда возле песочницы. Иной раз играла с Хейнцем, а порой даже заходила и к нему домой.

Квартира Бахов казалась Мирьям очень странной. Не потому, что по-бабушкиному властная Линда Бах, мать Хейнца, по полдня, привалившись грудью к подоконнику, словно ленивица, проводила у окошка и загораживала свет в комнату. Нет. Эта обычная квартира — комната и кухня — выглядела диковинной потому, что в ней стояло четыре кровати, хотя здесь жило всего три человека. Одна кровать стояла в кухне, куда через стеклянную дверь, которая вела из комнаты, едва просачивался дневной свет.

Хейнец объяснил, что когда у мамы собирается «гезельшафт», то он спит в кухне. Частенько так поступает и его отец, потому что он не любит гулять. Мирьям так и не разобрала, что это за «шафт» такой, и решила, что как-нибудь сама поглядит.

Случай вскоре представился. Мирьям пришла к Хейнцу, когда в задней комнате как раз шло веселье. Проходная дверь была защелкнута, но удержать голоса замки не могли. Девочка ясно слышала, как звенели рюмки и раздавалась немецкая речь.

Мирьям внимательно прислушалась. Бабушкин голос! Бедная бабушка, думала Мирьям, теперь я напала на твою тайну.

С бабушкой иногда случалось такое, что она пропадала на целый день, а то и на ночь. Если ее очень долго не было, дедушка посылал на розыски дядю Рууди. Вообще-то все обычные бабушкины места были известны. Может, такая забота надоела бабушке, подумала Мирьям. Вот она и пробралась за ворота, прошла тихонько под окнами лавки господина Рааза и шмыгнула в парадную дверь. О том, что бабушка гуляла так близко от своего дома, ни дедушка, ни даже дядя Рууди догадаться не могли.

Дети обнаружили в двери неприкрытую щелку и старались заглянуть в заднюю комнату.

Скользнула бабушка, мелькнул затылок какого-то господина, и явно виднелись покоившиеся на столе между хрупких бокалов толстые руки Линды Бах.

Детское подглядывание было прервано появлением господина Баха. Мирьям оторопела и попятилась за угол шкафа, в полумрак. Господин Бах, чей невероятно крупный нос занимал большую часть его узкого лица, повесил свою форменную фуражку железнодорожника, грустно взглянул на Мирьям и произнес:

— Guten Abend, Knöpschen¹.

Снова он приветствовал ее таким странным словом. Это «кноспе» наводило девочку на мысль, что, может, замечание господина Баха касается ее носа, и, услышав его, она всегда старательно сморкалась. Сегодня она вдруг вспомнила, что дядя Рууди словом «кноспе» называет хозяйскую дочь противоположного дома. Но та Кноспе, которую по-всамделишному звали Дианой, была уже старым человеком, тридцатилетней длинноногой и бледнолицей тетей, и настолько отличалась от Мирьям, что называть их одинаково никак не годилось. Что же до носов, то длинный и бородавчатый нос Дианы вовсе бы и не уместился в замочной скважине бабушкиного винного погреба...

Спустя некоторое время Мирьям разузнала, в чем тут дело.

Оказывается, бабушка когда-то хотела, чтобы ее старший сын, отец Лоори и Мирьям, женился на дочке богатых Круньтов. Девушка с изящными манерами, которая

¹ Добрый вечер, кнопка (нем.).

столько поездила по свету и вдобавок еще умела говорить по-немецки, производила на бабушку сильное впечатление. Диана казалась ей такой же безупречной и безукоризненной, как дочери господ, у которых бабушка в молодости, до своего замужества, была в услужении. Она нахваливала Диану и дяде Рууди, но особенно отцу Мирьям. В те времена бабушка якобы любила говаривать, что помимо всех прочих высоких достоинств Диана обладает свежестью и красотой распускающегося бутона — ну, прямо Кноспе. Рууди усердно разносил окрест это прозвище, и вскоре Диану Крунът знали больше как Кноспе. Только это новое имя не помогло Диане. Долго ходила она в девушках. И лишь недавно вышла замуж за бедного-пребедного банковского служащего, который был лет на пятнадцать старше самой Кноспе.

Услышав эту историю, Мирьям почувствовала облегчение. Так как все это было связано с замужеством, которого Диана явно желала, а Мирьям нет, то почти одинаковое с ней прозвище больше уже не смущало девочку.

Но на кухне Бахов Мирьям, которую только что снова называли «кноспхен», опять засомневалась и теперь бычилась исподлобья в сторону плиты, где господин Бах жарил себе картошку на ужин.

Гомон в задней комнате нарастал. Голоса стали уже настолько громкими, что совершенно заглушали шипение поджарившейся картошки.

Господин Бах задернул перед плитой ситцевую занавеску.

Мирьям и Хейнц придвинулись ближе к двери.

Кто-то со скрежетом открыл засов. Комнатная дверь распахнулась, и в кухню влетела мать Хейнца. Дети отпрянули в сторону. Застывшая на секунду госпожа Бах глядела вокруг горящими, ничего не видящими глазами. Ловким движением взбила на голове разлохмаченные волосы и, путаясь в оборках платья, выскочила в коридор.

Посреди комнаты, будто пригвожденный Христос, руки вразлет, стояла бабушка; освободившись от оцепенения, она ринулась следом за госпожой Бах. Остальной «шафт» остался преспокойно на месте, девочку и Хейнца это больше не интересовало, и они без долгих раздумий кинулись на улицу.

Должно было произойти что-то захватывающее!

Очутившись на улице, дети остановились. Ни бабуш-

ки, ни Линды Бах видно не было. Мирьям стало холодно, и она уже собралась пойти домой. Но вдруг в проеме парадной заднего дома возникла бабушка, в накинутом на плечи красном халате с блестящей отделкой. Развевались полы халата, бабушка ринулась к воротам.

В окнах обоих домов появились любопытствующие лица. Дядя Рууди грозил кулаком. Это, видимо, относилось к бабушке, которая уже исчезла с глаз.

Немного помедлив, дети устремились следом за бабушкой.

Мирьям и Хейнц не упустили из виду полы развевающегося красного халата. Шоссе, ведущее к морю, стало для них беговой дорожкой. Веснушчатое лицо Хейнца покраснело. Рыжие волосы пылали на солнце. Он несся вперед, словно пыхтящий огненный шар.

Мирьям, казалось, летела. Ее окрыляло сознание собственной силы: ведь Хейнцу не удавалось обогнать ее! Значит, час расплаты уже не за горами.

Позади остались последние дома. Бегуны вышли на прямую. Солнце, закатывающееся в море, на миг ослепило их. Оторвав от булыжной мостовой глаза, дети ясно увидели женщин. Впереди шла мать Хейнца, за ней, по пятам, бабушка — в мрачно-красном халате. Мать Хейнца была безмолвна, зато бабушка кричала душераздирающе:

— Freundin! Freundin!

С огородика возле сосняка, в сопровождении своей старухи, катившейся, словно гриб-дождевик, возвращался Латикас. Старик нес на плече лопату и, беспомощно нащупывая дорогу, пристально смотрел себе под ноги. Увлеченная необычным зрелищем, старуха остановилась и, разинув рот, смотрела на хозяйку, оравшую что-то на чужом языке. Заметив, что старик, не задерживаясь, идет своей дорогой, Латичиха тоже засемила следом.

На темноватой, маслянистой глади моря метались последние блики заходящего солнца.

Госпожа Линда, выставив на макушке вздыбленные рогом волосы, как была в одежде, так и влетела в воду. Ее полные руки жестом отчаяния простерлись к закатному солнцу. Оборки платья поднялись над водой и скрылись, когда стало поглубже. Отойдя от берега дальше, туда, где вода доставала ей по шею, госпожа Линда остановилась. Легкая волна окатила ее с головой, и до берега донеслось отфыркивание.

Отрезвевшая госпожа Бах стала осторожно выбираться из воды.

Отстав между тем от подружки, бабушка брела по морю прямо к солнышку — красные полы халата колыхались на темной глади воды.

Мать Хейнца подходила к берегу. Возле бабушки вода едва доставала ей до груди. Но бабушка почему-то все равно душераздирающе кричала:

— Freundin! Не топись! Хватайся за мой халат!

Наконец они сошлись вместе, бросились друг дружке на шею, зарыдали и стояли в воде по самые пупы, подобно двум морским богиням. Холодная вода вскоре заставила их выйти на берег.

Страшные и поникшие, брели они, все еще в обнимку, хлюпая туфлями, к дому. Они были настолько заняты самими собой, что не заметили притаившихся за камнем ребятишек.

Отяжелевшие от воды полы бабушкиного красного халата тащились по песку, оставляя рядом со следами четырех ног две бороздки.

Хотя Мирьям никому о виденном и не пикнула, вскоре об истории утопления госпожи Бах все же прослышали все. А бабушкин красный халат нарекли халатом-спасителем.

Последнее поразило девочку. Мирьям видела своими глазами, что халатом никого не спасали, он просто мок в море, когда бабушка брела по воде, и больше мешал, чем помогал.

Госпожа Бах на какое-то время оказалась героем дня. Все стали дружелюбнее относиться к ней. Если управлявшиеся во дворе бабы замечали, что госпожа Линда опять ленивицей развалилась на подоконнике, то уже издали здоровались с ней, как принято обходиться с выдающимся и почитаемым человеком.

Даже бабушка сказала:

— У Баха жена что надо. Ведь чуть было не утопилась!

И в ее голосе звучало восхищение.

Только дедушка не любил слушать эту героическую историю, о которой говорилось с таким жаром. Дедушка по-прежнему уходил рано утром в мастерскую и до вечера, когда подходило время поливать помидоры, работал в жару кузни.

А Мирьям сидела на своем любимом месте, на крыльце, смотрела в сторону госпожи Бах и думала:

«Если мать Хейнца — героиня, то я же не смогу отплатить ее сыну. По крайней мере, до поры до времени. Прославленных людей следует уважать».

5

В прихожей под вешалкой стоят мамины туфли. Сегодня она пришла из города, не глядя швырнула их туда и даже не подумала почистить, как это делала всегда.

Мирьям загрустила. Значит, все надежды на лучшую жизнь на этот раз опять рухнули. Больше мама не будет искать работу.

Все эти утра, когда мама вырезала из картона стельки для туфель с проношенными подошвами, Мирьям с готовностью стояла рядом и ожидала маминых приказаний. Приносила ножницы, убирала обрезки с пола и, когда все было готово, подавала маме сумку. Мирьям провожала маму до ворот и встречала во дворе, чтобы узнать по маминым глазам, с чем она вернулась. Все эти дни маму ждали разочарования, разочаровывалась и Мирьям. И Лоори тоже. Опять прав оказывался отец, имевший обыкновение приговаривать:

— Не ходи ты унижаться перед всякими типами. Где уж тебе найти работу. Раз без дела сидят люди с профессией...

Но упрямая мама и на следующее утро все равно шла пешком из пригорода в центр, хотя у нее и не было профессии. То, что она два года работала у своей матери в шляпной мастерской, ничего не значило. Как утверждала другая бабушка, все равно у Мирьяминой мамы не было на это дело сметки. Да и заказов мало, а господа привередливые, и налоги большие.

Мирьям знала все их заботы — люди горазды жаловаться, радостью так запросто не делятся.

Теперь мама больше не будет искать работу. Верить этому девочке не хотелось, хотя безмолвная ярость, с которой мама вернулась домой, и не оставляла места надежде.

Мирьям как-то не привыкла безропотно сдаваться судьбе, и она стала ломать голову. Придумала! Надо принести щетку, картонку и ножницы. Потом взять разбросанные туфли и вычистить их. Вырезать из картона

по старым стелькам новые и аккуратно поставить эту жалкую обувку под вешалкой, чуточку ближе, чем она стояла раньше, на видное место. Может, мама увидит, злость у нее пройдет, и завтра утром она снова отправится в дорогу.

— Мирьям стоит, прислонившись спиной к входной двери, и, склонив набок голову, разглядывает свою работу. Царапина на каблуке раздражает ее. Она слюнявит кончик пальца и приглаживает содранную кожу. Стало вроде приличней. И Мирьям остается довольной. Но мама ничего не замечает. На следующее утро она остается дома...

Днем навестить дочку и внучек приходит вторая бабушка. Она выкладывает на стол два бумажных пакетика и говорит:

— Сготовь ребятишкам поесть.

Мама, опустив голову, еле слышно бормочет слова благодарности и ищет, чем бы заняться у плиты.

— Ты что, не можешь как следует поблагодарить? — беззлобно спрашивает бабушка и разминает правой рукой ногу, которую у нее все время сводит.

Мама не отвечает. Лоори и Мирьям, нахмурившись, застыли возле кухонной двери.

Бабушка некоторое время терпеливо ждет слов благодарности, которых ей так и не дожидаться. Наконец она сама прерывает молчание:

— Смотри не проговоришься Армильде.

— О чем? — сердито спрашивает мама, которой все надоело.

— Ну, что принесла поесть. Армильда рассердится, что я все еще трачусь на тебя.

— Мама, отдай ей эти кульки обратно, — бросает Лоори.

— Да, отдай, — Мирьям тоже не удерживается.

— Что?

Как только бабушка не понимает!

— Мне в горло не ползет каша из крупы, уворованной у тетки!

— Лучше буду голодной, чем стану есть ее, — подкрепляет Мирьям слова сестры.

У бабушки кровь приливает к лицу, она начинает задыхаться.

Униженная до предела, мама безмолвно подвигает пакетики к бабушке.

— Неблагодарные! Не умеете уважить свою бабушку! Дикарями растете!

Лоори уводит сестренку с поля боя в тыл, в другую комнату, и произносит:

— Ну, теперь начнет пробираться!

Мирьям кивает.

— Подыхай ты с голоду вместе со своими детьми! — доносится из кухни.

Лоори и Мирьям прислушиваются и ждут, чтобы за бабушкой захлопнулась дверь. Обычно, когда ругань достигает предела, бабушка по привычке шумно удаляется, хотя через несколько дней, что бы там ни произошло, приходит снова. Приходит, кладет на стол бумажные свертки с едой и терпеливо ждет, чтобы ее поблагодарили. «Душа у нее болит из-за нас», — говорит мама.

— Что мне за нужда помогать тебе! — доносятся из прихожей бабушкины слова, а затем дверь с грохотом закрывается.

С потолка сыплется немного штукатурки. И все разом стихает.

Но ненадолго. Теперь очередь за первой бабушкой. Она ведь живет тут же, через коридор, и считает своим долгом дважды на день заглянуть в квартиру сына. Врывается без стука и, если трезвая, ограничивается фыркающим вопросом:

— Что, Арнольд опять пьет?

Сегодня бабушка посидела на дубовом чурбаке в винном погребе и настроена более воинственно.

— Крыса ты церковная! — вызывающе объявляет она маме.

То ли ее сердит, что отец со вчерашнего обеда куда-то запропастился, или еще что, только, все более распляясь, она продолжает:

— Ты слушай, слушай, что, я не права? Сюда в дом ты пришла, как последняя церковная крыса! За душой ни гроша! Ни полушки!

Мамино лицо белеет. Если бы посмела, то ударила бы.

— А я? Триста рубликов золотом, один к одному, было в моем приданом! А ты, маленький ты человечиска... крыса церковная!

«Маленький человечиска» — это, по мнению бабушки, тот, кто бедный и кто не умеет говорить по-немецки, — обо всем этом Мирьям знает уже давно.

— Взял бы Арнольд в жены Диану Крунът, не пришлось бы и из-за работы мыкаться. Лежи да в потолок поплеывай! А если Диана Крунът показалась не в тех годах, разве было мало других — молодых и богатых! А ты сушая беспросветная церковная крыса! Маленький человечиска!

К счастью, бабушке все скоро надоедало, никто ей не возражал, а бузить одной было скучно.

— А почему ты ей не двинешь? — попрекнула, со своей стороны, Мирьям, когда бабушка ушла.

— Да как я могу, — сквозь беззвучные слезы объяснила девочкам мама, — мы ведь живем на бабушкины деньги.

— А почему ты не пожалуешься дедушке? — шепотом допытывалась Лоори.

— Что он может... Сам всю жизнь прожил на пороховой бочке, никогда не знает, когда опять взорвется...

— Ничего другого, — шептала начавшая всхлипывать Мирьям, — на этом свете и нет, кроме золотых рублей, крон да пороховой бочки...

И, решительным движением вытерев слезы на глазах, она объявила матери:

— Потерпи еще немножко. Я уже скоро вырасту, буду сама зарабатывать деньги и начну тебе приносить каждый день по десять крон сразу. Вот!

На мамином лице скользнула едва заметная улыбка.

— Мирьям! — зовет из-за двери дедушка.

Мирьям знает, что теперь она должна спрятаться куда-нибудь в угол, чтобы дедушка мог побродить да поискать ее. Дедушке доставляет большое удовольствие, когда наконец он все же находит спрятавшуюся внучку.

Даже мама, встрепенувшись, говорит дочери:

— А ну быстро, быстро!

Мирьям становится за дверь столовой и ждет.

Слышны дедушкины неторопливые шаги в передней и его спокойный голос:

— И куда это наша Мирьям подевалась?

— Понятия не имею, — говорит мама.

«Понятия не имеет! — думает девочка. — Она же видела, как я забежала за дверь. Просто они оба понарошке. Им это нравится».

И Мирьям притаилась.

А дедушка ходит по комнатам и никак не догадается заглянуть за дверь.



«Я бы давно заглянула за все двери»,— снова думает Мирьям.

Лоори стоит в стороне и наблюдает. И никак не поймешь, то ли ей завидно, то ли нет.

Мама ходит следом за дедушкой и повторяет:

— Понятия не имею, куда это она спряталась.

Девочке становится скучно от такой игры взрослых. Она слегка покашливает, чтобы обратить на себя внимание.

Только после этого дедушка отводит дверь.

— Смотри-ка, где наша Мирьям! — удивляется дедушка.

«А где же я должна быть? — печально думает девочка.— Рада бы убежать отсюда. Укатила бы на телеге, запряженной белой лошастью, или умчалась бы под розовыми парусами».

— Собирайся,— приказывает отыскавшейся дочери мама.

«Дедушку я бы с собой взяла,— размышляет девочка, натягивая носки,— только на телеге и на паруснике нет места, где играть в прятки».

Дедушка с внучкой идут гулять. Дедушка выглядит важным и праздничным в своей черной шляпе, залоснившимся черном сюртуке и брюках в мелкую черно-белую полоску. Под стать ему и Мирьям, неважно, что у нее колени в ссадинах, и изодраны ноги, и челка отросла, до самых бровей доходит,— зато на ногах у нее белые носки!

Мирьям взяла дедушку за руку. В этот момент самое высшее желание ее, чтобы все окрестные ребятишки стояли по обе стороны дороги и видели их.

Чтобы все смотрели и завидовали — ни у кого нет такого дедушки! Что из того, что у Пээтера непьющий отец, что у Рийны Пилль есть розовое платье с оборками и лакированные туфельки, что Уно лучше всех бегаёт, а Хуго может забраться на любое дерево,— что из этого? Зато ни у кого нет такого дедушки, как у Мирьям. Тут она всех перещеголяла.

Но из окрестных ребятишек никого не видно — лишь какой-то малыш лет двух от роду возится перед домом в канаве и ковыряется палочкой в песке,— такого маленького Мирьям даже и в расчет не берет.

Когда они вышли на дорогу, ведущую к морю, Мирьям спрашивает у дедушки:

— Скажи, а маленькие люди — это, правда, те, у кого нет денег и кто не умеет говорить по-немецки?

— Да нет,— оборачиваясь, отвечает дедушка и продолжает с ласковой поучительностью: — Маленькие люди — это дети, потому что они еще не выросли большими.

У дедушки его «маленькие люди» звучат совсем по-другому, чем бабушкин «маленький человечиска». И это приводит Мирьям в замешательство.

— А еще? — пристаёт она к дедушке.

— Ну,— уже не так охотно продолжает дедушка,— маленькие люди — это еще те, кто плохие. Иной раз бывает человек сам и высокий, а все же он — маленький.

Больше допытываться Мирьям не осмеливается.

Солнце уже спустилось совсем низко. Мирьям оглядывается. И видит две тени, которые неотступно следуют за ними по пятам. Если смотреть на тени, то оба они — и одетый в черное дедушка, и пухлощекая в ситцевом платье Мирьям — выглядят длинными и мрачными.

Молчком идут они в сторону моря и заходящего солнышка. Мирьям шагает, опустив голову и сопя, как обычно, когда она занята серьезными раздумьями.

Кто же на самом деле маленькие люди? Может, это она, Мирьям, или вовсе мама? Не бабушка же? И как узнать людей, что не маленькие, не большие, а точно впору?

6

Отец не является домой и на следующее утро.

Но небо такое высокое и синее, и солнышко светит так ярко, и так дружно щебечут птички, что кажется, просто невозможно горевать и быть грустным.

Мирьям только было собралась бежать вприпрыжку на улицу, как ее задержала перебранка, доносившаяся из-за стены.

— Проспись ты,— требовал голос дедушки.

— Ну, знаешь, чер-р-р-т побери! — И бабушка ударяет кулаком по столу.

— Нечего тебе слушать.— Мама подходит к Мирьям и выпроваживает ее за дверь.

Девочка плетется во двор и останавливается, шурясь на солнце. С забора соскакивает кошка Мурка и подхо-

дит к девочке, довольно мурлыча, начинает тереться о ноги.

С треском распахивается бабушкино окно, обращенное во двор, и хозяйка орет так, что заполняет своим голосом все пространство между двумя домами:

— Мои деньги, что хочу, то и делаю. Хочу — пью, хочу — нет!

«Ага, — думает Мирьям, — сейчас начнется представление...»

Уже появляется на своем всегдашнем посту мадам Бах — героиня, которая чуть было не утопилась. Она опирается грудью на толстые руки и, видимо, чувствует себя прекрасно. Следующей показывается дворничиха, руки под замызганным передником сложены крест-накрест. Прислонившись плечом к косяку, она стоит в дверях, ведущих в подвал.

Жена извозчика Румма усаживается перед окном, надвигает на нос очки и делает вид, будто она и впрямь разглядывает кружево, которое споро вывязывают ее пальцы. Но так как она занимается вязанием уже по меньшей мере лет двадцать, то крючок к себе никакого внимания не требует, и можно в свое удовольствие наблюдать за происходящим.

Однако дедушка разочаровывает женщин. Он резко захлопывает окно.

Мирьям тоже складывает руки на груди и ждет, что будет дальше. Она знает, что на этом представление еще не закончится.

Поджидают и женщины.

Занавески в комнате бабушки начинают колыхаться, и окно снова распахивается настежь.

— Он хочет удержать меня! — задыхается от гнева бабушка. — Не выйдет! Я тут хозяйка! И дома здесь на мои золотые построены! Тоже мне мужик! Никогда не умел зарабатывать деньги...

Бабушка переводит дух, гордо оглядывается и чуточку спокойнее продолжает:

— И у Арнольда жена — дрянь! Приплелась голышом, ни копейки за душой! Пускай все знают! Маленькие человечки...

— Верно, хозяйюшка, верно! — вслед за бабушкиной тирадой взвизгивает Линда Бах, готовая захлопать в ладоши, вот только руки телесами придавлены.

В ушах у Мирьям от всего этого поднимается шум. Она нащупывает возле ног подходящий камень.

Когда ее ручонка уже замахнулась для броски, в то самое мгновение дворничиха останавливает девочку.

— Пойдем ко мне, — произносит дворничиха и тащит Мирьям вниз.

Одеревеневшая от отчаяния Мирьям встает возле окошка в подвальной комнате дворничихи и, подперев щеки, начинает, насколько ей позволяет разросшаяся на подоконнике герань, смотреть во двор.

Из парадной двери вышла мама с сеткой в руке и направилась к калитке. Кошка Мурка, задрав трубой хвост, пристраивается к маме и семенит следом.

Идет дядя Рууди. Его худое тело на тонких ножках-палочках раскачивается в такт шагам. В костлявых пальцах зажата тросточка, которая у него всегда с собой, хотя он вовсе и не хромает. «Может, он опирается, когда дует сильный ветер, и тогда лучше удерживается на ногах», — думает Мирьям.

Возвращается мама с кошкой Муркой, сетка по-прежнему пустая. Наверное, ходила к лавочнику Раазу просить в долг, но там отказали, догадалась Мирьям. И от бабушки не жди сегодня обычных двух крон — после утреннего спектакля Мирьям в этом больше чем уверена.

А теперь через двор направляется дедушка, голова у него опущена, не смеет даже глаз поднять. Шаги его уже раздаются в проходе, идет в мастерскую. Мирьям начинает ерзать. Сразу уйти — не годится, решает она.

С чувством обреченности Мирьям остается на прежнем месте, среди дворничихиных цветов.

Появляется бабушка. Чуточку пошатывается, щурится, и все равно она шикарная в своем черном плаще с развевающимися полами. Длинная дужка большущей черной сумки крепко стиснута в ладони, и широкое обручальное кольцо желтеет на фоне черного шелка.

В ноздри Мирьям бьет аппетитный запах жареного, на сковороде у дворничихи что-то шипит. Девочка решает пойти к дедушке.

Он сидит на большой наковальне, обхватив голову руками, и не замечает, как в дверях появляется Мирьям. Девочка делает несколько широких шажков и прыгает дедушке на закорки.

— Мирьям, ты! — изумляется он. — А я испугался, думал, ну что это за зверь мне в загривок вцепился!

Смешной дедушкин испуг отгоняет недавнюю горечь.
— Хочешь поиграть в курьера? — спрашивает дедушка.

Хотя Мирьям и не представляет, как в него играют, она тут же соглашается.

— Видишь ли, курьеры относят важные бумаги из одного города в другой, из королевства в королевство, тебе же придется отнести посылку своей маме.

И дедушка сунул в карман внучкиного передника две кроны.

— А что, разве курьеры и своим мамам относят деньги на еду? — спрашивает несколько разочарованно Мирьям.

— Бывает, — замечает дедушка.

К возвращению Мирьям наковальня превращается в роскошный обеденный стол. Кусок чайной колбасы, две французские булki и несколько помидорин. Улыбающийся дедушка подвигает съестное поближе к Мирьям и говорит:

— А теперь закусим.

Мирьям усаживается поудобнее, болтает ногами и ждет, пока дедушка разрежет складным ножом булку и колбасу.

— Знаешь, дедушка, — с аппетитом уплетая бутерброд, говорит Мирьям, — когда я вырасту большой и стану зарабатывать, я куплю сразу целый круг колбасы, и мы с тобой в один присест съедим ее.

— Обязательно, — соглашается дедушка.

Однако вслед за столь величественным обещанием Мирьям вдруг сникает.

— И что это время так тянется, — вздыхает она.

— Куда же ты торопишься?

— Когда еще вырастешь и станешь зарабатывать!

— Ну, успеешь, успеешь, — утешает дедушка.

Когда Мирьям после пиршества в дедушкиной мастерской бредет домой, она в передней натывает на бабушку. Уставив руки в бока, та насадет на маму:

— Где же он пропадает?

Мама пожимает плечами.

— Ну, конечно, — сердито продолжает бабушка, — с такой женой ни один мужик не уживется!

Мама и на это не ответила.

— Пошла вон! — крикнула Лоори.

— Пошла вон! — топнула Мирьям.

— Дорогие деточки, — бабушка разводит руки, совсем как пастор, когда благословляет, — да как же вы можете так говорить родной матери вашего папочки! Я вас кормлю, я о вас забочусь, а вы говорите мне «пошла вон».

Распростершую руки бабушку даже слеза прошибает.

Она опускает разведенные руки на плечи девочек, притягивает внучек к себе.

Лоори и Мирьям начинают всхлипывать — им не вырваться из бабушкиных объятий. Бабушка плачет от переполняющей ее жалости к несправедливому миру, беззвучно плачет даже мама, время от времени прикладывая к глазам платочек.

Но долго лить слезы бабушка не собирается, и это обстоятельство решает исход всеобщего плача.

День, преисполненный отчаяния и грусти, клонится к вечеру. Приходит время ложиться спать. Лоори и Мирьям загоняют в постель, хотя папа все еще не явился.

Наконец хлопает парадная дверь.

В прихожей слышатся шаркающие, нетвердые шаги. В передней надолго устанавливается зловещая тишина. Она тянется, тянется, пока не грохается со звоном зеркало, на которое, видимо, оперся отец. Расшвыривая ногами осколки, он вваливается в спальню.

Лоори и Мирьям, проснувшиеся от звука хлопнувшей парадной двери, с замиранием сердца выглядывают из-под одеяла.

Отец валится на кровать. В комнате запахло перегаром. Мама открывает окно и начинает расшнуровывать отцу ботинки.

От бабушки приход отца тоже не ускользнул. Воинственно сунув кулаки в карманы халата, она появляется в спальне. Трезвая и бледная от гнева, останавливается перед деревянной кроватью.

— Опять набрался!

Отец не считает нужным ответить, лишь отстраняется обмякшей рукой.

— О детях не заботишься, без куска хлеба оставляешь! Я, что ли, их всю жизнь кормить должна?

— В-во с-смот-ри,— зло бросает отец,— за-заботница!

— Скотина! — в сердцах грохает бабушка.

Отец приподнимается на кровати и, отрезвев от внезапной злобы, продолжает:

— Внищем ты всех поила!.. Зз-заботница!.. А мы с Рууди спали на полу. Как с-свиньи! Г-гос-пожа не желала портить лишними к-кро-ватями вид своего будуара. З-забот-ница мать!

Бабушка барсом ринулась на отца. Тот, пошатываясь, поднялся на ноги и отшвырнул бабушку к шкафу у противоположной стены.

— Помогите! — закричала мама.

Огромный дубовый платяной шкаф несколько раз качнулся вместе с бабушкой. Но устоял, бабушка — тоже.

— Несите ножи и ковши для крови! — остервенело визжала бабушка.— Сегодня мы наконец рассчитаемся!

Когда дедушка и Рууди прибежали на мамин отчаянный крик, папа покорно стоял посреди комнаты, опустив руки, а бабушка била его ладонью по лицу, другой рукой схватив отца за отвороты пиджака.

Дедушка и Рууди оттаскивают бабушку.

— Убью! Убью! — кричит она, пока не захлопывается дверь.

В комнате вдруг стало как-то странно тихо. Слышно, как во дворе возбужденно перешептываются сбежавшиеся женщины.

Мама торопливо закрывает окно и задергивает занавеску.

Отец снова оседает на кровать и начинает стонать.

Мама чувствует, как возле нее дрожит Лоори.

В отчаянии Мирьям пытается найти выход из создавшегося положения и раздумывает про себя:

«Кто-то должен уйти отсюда. Но куда? Где лучше?»

И неожиданно Мирьям находит решение. Она складывает под одеялом руки и молит:

«Милостивый боженька, если ты вообще есть, сделай так, чтобы самый плохой из нас умер...»

7

Едва рассвело, как мама, схватив Лоори и Мирьям, ушла с ними из дома к другой бабушке.

Та жила на противоположной городской окраине. Чтобы сократить путь, нужно было идти вдоль железной дороги, где меж пыльных лопухов и репейника вилась узенькая, блестящая от затоптанной в землю сажии тропа.

Тут же, возле насыпи и тропки, сочилась заросшая вонючая канава. Время от времени пронеслись поезда. В безумном и оглушающем грохоте катились и стучали над головами трех путниц железные колеса.

Когда тропка у железной дороги кончилась, Мирьям вздохнула с облегчением. Ей почему-то казалось, что поезд когда-нибудь обязательно сойдет с рельсов и вдавит ее вместе с мамой и сестренкой Лоори в вонючую канаву, а смятые грязные лопухи закроют над ними голубое небо.

Дальше путь лежал по пыльной улице, которая выглядела невероятно широкой по сравнению с тропкой у железнодорожной насыпи, тут уж не надо было из-за каждого встречного сторониться в лопухи. Улицу эту перерезали несколько мостиков, где из-под гальки струились студеные ключи. Тут Мирьям всегда старалась придержать шаг и отстать. Было страшно интересно опуститься с краю мостика на корточки и глядеться в дно родника. Только разве позволят натешиться, — когда мама шла по этой дороге, она всегда была не в духе и у нее не хватало терпения возиться с детьми.

Они шли за помощью и в поисках крова к бабушке, которая не просто делилась своим радушием и сочувствием. Чем ближе они подходили к ее жилью, тем сильнее их подавляла неизбежность предстоящего унижения.

К сожалению, люди спешат навстречу даже плохому, если оно неотвратимо. Мирьям знала, что другого выхода нет, — потому что у мамы на шее висят два ребенка...

Когда говорили о двух «ребенках», которые «висят на шее», Мирьям сжималась в комочек и старалась стать незаметной, порой часами молчала и все думала. При этом ее больше всего донимала болезненная зависть. Почему у других детей, таких же, как она, родители не говорят, что дети «висят на шее»? Почему другие дети спят спокойно и им никто не мешает, а Мирьям изнывает в ожидании, если отец к вечеру не приходит домой, и уже с тревогой воображает себе ночную ссору? Почему она, Мирьям, не может, подобно Рийне Пилль, учиться играть на пианино, дотрагиваться до таинственных гладких клавишей и сладко замирать, захваченная чарующими звуками? Почему у нее нет велосипеда, о котором она так мечтает, почему нет коньков, чтобы скользить зимой по пруду, почему, почему, почему?..

Когда Мирьям осмелилась спросить об этом у матери, та ясно и коротко ответила: нет потому, что отец пропивает все деньги.

Материн ответ натолкнул девочку на смелую мысль. Мирьям пойдет и попросит президента, чтобы все вино убрали. Тогда отец не сможет больше пить. И Мирьям начнет учиться играть на пианино, а мама купит велосипед и коньки, все, о чем они с Лоори столько мечтают. Может, тогда не заставят больше донашивать и сестренки старую одежду....

Мирьям прикидывала, как бы сходить к президенту, только не представляла, где он живет. Этого не знали и другие дети, а у мамы спросить она не осмелилась. Все равно бы запрет положила.

В небольшом доходном доме, где бабушка снимала квартиру, стояла гнетущая тишина. Хозяин дома не выносил детей и шума, оттого тут и обитали одни лишь пожилые бездетные жильцы. Единственная на весь дом молодая жиличка Армильда, семнадцатилетняя Мирьямина тетья, дома ходила на цыпочках, тихонько, как и старики, и так же, как они, говорила полупшепотом.

Тишину холодного и вычищенного до единой пылинки коридора нарушали за день всего только несколько раз звуки улицы: когда кто-нибудь отворял входную дверь, но, по обычаю этого дома, ее быстро и бесшумно закрывали. Звуки оставались за дверью, а в коридоре снова воцарялась гнетущая тишина.

Когда заходил разговор о тюрьме, Мирьям всегда вспоминала этот дом: в тюрьму ведь никто по своей охоте не идет, и к бабушке Мирьям шла не по доброй воле.

Когда за тремя прищельцами закрылась входная дверь и уличный шум заглох, Мирьям почувствовала, как она и сама изменяется. Дух этого дома делал ее голос сиплым и принуждал говорить шепотом, того и гляди — совсем онемеешь.

На кнопку раздраженно дребезжащего звонка мама нажала коротко, словно черная кнопка обжигала ей пальцы. Звонки у дверей в этом доме не звенели радостно и звонко, они не сообщали о приходе гостей, которых ждут. Звонки в этом доме говорили о надоедливых прищельцах, которые нарушают серый покой.

Белая дверь с тоненькой черной ручкой бесшумно отворилась. Первой в ней показалась бабушкина голова. Маленькие холодные глазки смотрели с любопытством

и одновременно со страхом ожидания какой-то неприятности или напасти.

Бабушкина тесная передняя была заставлена всякой всячиной. На стенах висели бумажные мешки с верхней одеждой, в углу привалились зонты, под вешалкой стояли галоши и грубого сукна тапочки, которые, казалось, для того и были созданы, чтобы передвигаться бесшумно и беречь полы. Но так как полы эти были до последнего сантиметра застелены пестрыми домоткаными половиками, то Мирьям всегда пугалась до слез, когда неожиданно обнаруживала где-нибудь в комнате рядом с собой бабушку или тетю Армильду.

Как положено, все трое сняли в передней пыльные туфли и сунули ноги в суконные тапочки. При ходьбе в этих большущих тапочках девочкам приходилось скрючивать пальцы и волочить ноги по полу.

Надо всем в бабушкиной квартире довлела скука. Здесь ничего нельзя было трогать, нельзя было громко смеяться и шуметь. Даже смотреть в окно было неинтересно. За кухонным окном возвышалась торцовая стена соседнего дома с такими же кухонными окнами; комнатные окна выходили в тесный дворик. За двориком начинался хозяйский сад с его скучными прямыми дорожками, с подстриженной под яблонями травкой и белой скамейкой — Мирьям еще ни разу не видела, чтобы на ней когда-нибудь сидели люди.

Девочке больше нравился дедушкин сад с его таинственными тенистыми уголками, диковинным деревом, на котором росли ядовитые алые ягоды, и заросшими тропками; там, в высокой полевице, всегда мог притаиться какой-нибудь необычный зверь. А эти два гигантских каштана возле беседки! Мирьям могла без конца любоваться в весенних сумерках их роскошными соцветьями, простершимися в лиловатое небо.

А здешний сад неприютный, в нем не укроешься. Еще хуже двор, где расстилается пожухлая, затоптанная травка и врыты в землю столбы — в стирочные дни между ними натягивают толстую веревку и развешивают белье. Двор — это единственное место, где разрешено находиться. Выходить на улицу — запрещено.

Когда Мирьям стояла посреди двора, с трех сторон она видела плотный, глухой дощатый забор, а с четвертой ее подпирала стена дома. Этот безрадостный вид быстро надоедал, и Мирьям ложилась на пожухлую трав-

ку, закладывала руки за голову и уставлялась в небо. Облака все плыли, и там, наверху, возникали образы то людей, то животных. Горные хребты перемещали свои вершины с места на место, и белые ледники ускользали все дальше, скрываясь за верхушками деревьев. Но когда вдаль начинало погромыхивать, детей обязательно отзывали в комнату.

Единственное разнообразие в здешнюю жизнь вносили дни, когда жильцы устраивали стирку. Тогда Мирьям пробиралась в подвальный этаж, поближе к прачечной, и слушала, как жесткая щетка скребет материю, как шлепается в ванну для полоскания отстиранная простыня или полотенце, как плещется мыльная вода, которую сливают из лохани прямо на каменный пол. Пар устремляется из открытого окошка во двор, чуточку оживляя его. Но когда кто-нибудь развешивал белье или оно уже сохло на веревках, бабушка запрещала выходить из дому. Впрочем, на это уже можно было смотреть из окна. Казалось, что во дворе готовится к отплытию парусник, и ветер весело надувает паруса простынь и наволочек.

Вечером, когда детей уложили в бабушкиной продолговатой спальне на тетину кровать, между мамой и бабушкой начались разговоры. О папиной пьянке мама говорила тихо, то сердясь, то жалуясь. Бабушка слушала, слушала и бросала со злорадством:

— А кто тебе велел выходить за него замуж против моей воли! Теперь вот помогай и тебе и твоим детям, да еще кров вам давай! Или мне заботушки мало! Армильда учится в лицее — тоже немалая копейка уходит!

И бабушка начинала обычно перечислять, сколько всего требуется Армильде, называла цены, охала, что от шляпной мастерской доход не ахти какой.

В этих случаях мама терпеливо молчала, а бабушка все причитала да причитала.

И мама и бабушка думали, что дети давно спят и ничего не слышат. Лоори и впрямь дремала, зато Мирьям напрягала слух и во все глаза буравила взглядом потолок.

Бабушка наконец выговорила и закончила:

— Беда и горе с тобой! Армильде надо учиться. И все валится на меня одну. Отец-то уже второй год как в могиле.

При этих словах мама принялась тихонько всхлипывать. И то верно, сладко ли ей быть чьим-то «бедой да

горем», ведь и Мирьям сама не выносит, когда говорят, что она и Лоори «висят на шее».

Бабушка сразу зашикала на нее:

— Чего ты воешь? Еще услышит хозяин, подумает, что здесь бог знает что такое!

Бесконечно нудно тянулись дни в этой наполненной тихой серостью бабушкиной квартире. Особенно изводилась Мирьям, когда на улице шел дождь. Тогда нельзя было даже лечь спиной на траву и разглядывать небо, потому что в ненастье бабушка запрещала детям выходить. А у мамы в этом доме права голоса не было. Все они ели бабушкин хлеб и должны были слушаться ее — так заявила сама бабушка.

Скоро Мирьям начала ненавидеть все, что находилось в этой квартире. Тетину книжную полку, откуда нельзя было взять ни одной книги, даже тронуть; накрытый белоснежным покрывалом турецкий диван — на него нельзя было залезать с ногами, даже в чулках. И бесчисленные половики — стоило только чуть побегать, они тут же скользили и сбивались в кучу. И входную дверь — за ее замки, задвижки и цепочки, — самой пытаться выбраться отсюда было почти невыносимо...

Но самой противной казалась продолговатая бабушкина спальня с ее окном в одном конце и дверью — в другом, где стулья были сплошь заложены узлами чистого белья и свертками неглаженной одежды. Белье лежало и в изножье обеих железных кроватей, на одной из которых спала бабушка, а на другой — тетинной — временно располагались Лоори и Мирьям. Длинноногой Лоори в общем-то не было и места, чтобы вытянуться на кровати, — узлы с бельем оставались лежать в ногах и на ночь.

Каждое утро, часов около пяти, когда бабушка поднималась и включала на кухне лампочку без абажура, неизменно просыпалась и Мирьям. Яркий свет, который бил ей в глаза, мешал спать. Но бабушка упорно не закрывала дверь. Мирьям беспокойно ворочалась в постели и, засыпая на время, видела кошмарные сны с отвратительными гадами.

Лишь тогда, когда бледный утренний свет усиливался и бабушка выключала лампочку, Мирьям могла немного уснуть. Но вскоре начинали просыпаться остальные, и невыспавшейся Мирьям тоже приходилось вставать.

А по вечерам снова продолжались разговоры между мамой и бабушкой, которые неизменно оканчивались мамиными слезами и бабушкиными напоминаниями о хозяине.

Обычно проживание у бабушки приходило к концу на четвертый или пятый день, когда мама коротко объявляла, что теперь они уходят. Тогда бабушка сразу добрела, лицо ее смягчалось от минутного расположения, и она оделяла маму несколькими кронами из зеленой шкатулки, что стояла на комодe. Когда бабушка подавала деньги, она никогда не забывала сказать, что Арнольд за это время, надо думать, все дочиста пропил в доме и что кроны эти сгодятся ребятишкам на кусок хлеба.

Обратная дорога от бабушки казалась короче. Мирьям даже забывала о своем страхе перед поездами, которые проносились мимо.

Мама шла впереди, и лицо у нее светилось.

Воздух был наполнен запахами наступающей осени.

Что их ожидает дома? — мучилась догадками Мирьям. И стоило ли так спешить туда? Наверное, так уж устроена жизнь — все туда и обратно. От одного плохого к другому.

Минувшее совсем незаметно переходит в настоящее.

Вскоре после того как дедушка начал жаловаться на свое здоровье, кто-то приставил к двери мастерской лестницу, так она и стояла там. Уж сколько времени Мирьям не раз пыталась оттащить эту лестницу, в надежде, что, может, дедушка тогда выздоровеет. Но, несмотря на все старания, намокшая лестница с места не сдвигалась, а звать на помощь — значит выдать тайную связь, которая существовала между лесенкой и дедушкиной болезнью,— и дедушка оставался лежать в постели.

Мирьям то и дело ходила навещать его. В дедушкиных глазах вместо прежней умиротворенности поселилась грустная задумчивость, он говорил еще меньше и еще медлительней, чем раньше.

Иногда дедушка спрашивал внучку о помидорах и пчелах. О мастерской не заговаривал. Мирьям внутренне страдала, ей казалось, что в дедушкином взгляде кроется укор — за лестницу, стоявшую у двери.

В такие минуты девочка начинала разглядывать свои исцарапанные пальцы и досадовать, почему это созданию человеческому суждено так медленно расти.

От гнетущей тоски надо было как-то избавиться, и Мирьям решила по-иному порадовать дедушку. Она то

и дело заглядывала в окна мастерской. Опускалась на тротуаре на колени, плющила носом в пыльные стекла и пристально вглядывалась. Но глаза ее различали лишь самую малость: слева виднелся потухший горн, а на задней стене расплывались в темноте многочисленные полочки.

Обо всем этом она рассказывала дедушке. Утешала его, что в мастерской все в порядке — инструменты на месте, и крысы не шалют. Слушая, дедушка улыбался, и Мирьям чувствовала большое облегчение, хотя, по правде, она и не могла сказать ничего о маленькой наковальне — своем любимом сиденье на верстаке, — о которой ее спросил дедушка. Верстак стоял ведь под самым окном, низко, и она его не видела.

Дедушка объяснил внимательной внучке, как ухаживать за помидорами, и девочка теперь по вечерам поливала из полуведерной лейки растения и привязывала к подпоркам ветви с тяжелыми гроздьями. Но как Мирьям ни холила их, урожай все же был заметно ниже прошлогоднего.

Интерес к прежним играм у девочки пропал. Она то и дело засиживалась у постели больного. Когда у дедушки не было настроения разговаривать, девочка молча сидела в длинноватой полутемной комнате, в окна которой скреблись раскачивающиеся на ветру яблоневые ветви.

Мирьям почувствовала, что сейчас она нужна тут больше, чем когда-либо прежде. Она следила, чтобы дедушка принимал лекарства, которые выписывали доктора, приглашаемые бабушкой. Пузырьки с микстурами, баночки с мазями и порошки занимали у дубовой тумбочки все полочки и еще лежали сверху. Мирьям понимала дедушку, когда он отмахивался от лекарств: если их все принять, то для еды в животе и места не останется. А еда — всему здоровью голова, это мама повторяла ей без конца, когда ребенок начинал привередничать с едой.

Как только могла, Мирьям ухаживала за больным. А дедушка все лежал, скрючив колени. Внучка приглядывала, чтобы не сползло одеяло — больного ведь нельзя простуживать. Мирьям знала, что тепло помогает поправляться, — недаром мама всегда давала при простуде порошки и укрывала всякой всячиной, чтобы потом выгонять болезнь.

Дедушка с постели не вставал, но Мирьям твердо верила, что недалек тот день, когда она за руку с дедушкой выйдет на прогулку. У больших, взрослых людей и болезни побольше, и времени уходит немало, чтобы вылечиться. Сам дедушка обещал каждый день, что скоро он встанет на ноги, и тогда они пойдут вдвоем либо в кино, либо к Длинной Башне — куда только она захочет.

Вечерами мама с отцом толковали о каком-то завещании, но Мирьям в этом ничего не соображала и ворчала про себя: уж лучше бы когда-нибудь поговорили о дедушкином здоровье! Она верила, что если бы все — и бабушка, и дядя Рууди, и папа с мамой, и Лоори, и, понятно, она сама тоже, — если бы они все сильно захотели, чтобы дедушка скорее выздоровел, то болезнь обязательно бы отступила. С кем бы из них Мирьям ни встретилась, она пристально смотрела им в глаза и мысленно повторяла:

«Захсти, чтобы дедушка выздоровел!»

Но другие не воспринимали ее приказа, который она отдавала в уме, и жили своей будничной жизнью, свыкшись с тем, что дедушка уже второй месяц лежит в полутемной комнате.

Девочке показалось, что все, кроме нее, не очень-то и желают дедушкиного выздоровления, и это вызывало неприязнь к родичам. Разве что один дядя Рууди, который иногда старался рассмешить дедушку своими шутками, находил у нее снисхождение. На других же Мирьям дулась, за ершистость и строптивость ее теперь бранили и наказывали чаще, но это, увы, не смягчало ее, скорее наоборот.

Девочку огорчало такое ухудшение взаимоотношений. Вдруг ее осенило: виной всему, видимо, то, что дедушку никто не любит. Из этого, к ее большому удивлению, выходило, что, значит, она-то, Мирьям, любит дедушку. Ну, конечно! Обязательно! Только как же может быть так, что другие не любят человека, которого любит она?

Ее же, в свою очередь, любит бабушка — отец всегда говорит это, когда посылает за деньгами. Значит, вполне естественно, что все не любят всех, поняла Мирьям. Она даже немного смирилась с окружающими, которые, по ее мнению, были к дедушке чересчур равнодушны.

Открытие, которое только что сделала для себя Мирьям — о ее любви к дедушке, — придало девочке новые силы. Когда, случалось, приносили мед, который она счи-

тала самым лучшим напитком, Мирьям обязательно несла его также дедушке.

В те дни, когда дедушка чувствовал себя лучше, он обсуждал с ней большие жизненные проблемы.

Как-то однажды он задал внучке странный вопрос:

— Скажи, что бы ты сделала, если бы у тебя было много денег?

Она задумалась.

— Ну,— протянула она наконец,— я бы купила Латикасам маленький чистенький домик... И коньки себе,— стыдливо закончила девочка; конечно же, ни за что не признаться, что потратила бы их еще и на рояль, и на велосипед. Да еще и неизвестно, хватило ли бы денег на все это.

— А отцу ты бы дала? — помедлив, спросил дедушка.

— Нет,— быстро и твердо сказала Мирьям.

— Почему же?

— Все равно пропьет.

Дедушкино лицо опечалилось, он даже отвернулся к стене, как делал обычно, когда его мучили боли или когда он уставал.

Мирьям пригорюнилась. Ну, конечно, ее папа все же был дедушкиным сыном. Маме тоже не понравилось, когда Рийна пришла однажды и наябедничала на Мирьям.

Девочка заерзала на стуле и поспешила утешить больного.

— Знаешь,— продолжала Мирьям, словно делилась какой-то великой тайной,— папа совсем не плохой. Когда зимой однажды была жуткая метель, папа пришел домой, а за пазухой у него был котенок, ну, наша Мурка. Самую лучшую кошку принес мне и Лоори. Иногда он все же заботится о нас,— гордо закончила Мирьям.

Дедушка снова посмотрел на внучку и даже усмехнулся. Ободренная этим, девочка тут же задала ему вопрос, который давно вертелся у нее на языке:

— А скажи, почему ты не запретишь папе пить? — Тень улыбки тут же упорхнула с лица больного, и Мирьям очень пожалела о том, что спросила.

— Не сумел я,— неловко ответил дедушка,— я умел только выхаживать помидоры.

Некоторое время в комнате стояла тишина и ясно слышалось, как скребется в окошко веточка яблони.

— Ты, Мирьям, понятливый ребенок,— дедушкина медлительная речь прервала переживания девочки,— так

вот запомни, что я тебе скажу. На всю жизнь запомни.

Мирьям устроилась поудобнее на стуле и приготовилась внимательно слушать.

— Если ты увидишь плохое и дурное — начинай его ненавидеть. Только смотри, чтобы ты с бухты-барухты не решала, не то ненароком обидишь кого. Иногда бывает так, что с виду-то оно плохое, а за ним хорошее скрывается, а другой раз с виду хорошее, а копнешь — и никудышное.

Мирьям, едва шевеля губами, повторяла про себя дедушкины слова, чтобы запомнить их наизусть.

— И еще, — добавил дедушка, — работай и люби природу — и будешь тогда богатой. Не в том смысле богатой, чтобы купить старикам Латикасам домик, а богатой по-другому. Потом сама поймешь.

Мирьям напряглась, будто натянутая тетива лука. Ведь ей говорят слова, которые надо запомнить на всю жизнь. А вдруг забудет? Ну нет! Ей все ясно запомнилось, и дедушкины слова из ее головы никогда не улетучатся.

Повторив несколько раз в мыслях сказанное и оставшись довольной своей памятью, Мирьям постепенно успокоилась.

— Послушай, — спросила она у несколько отдохнувшего дедушки, — а ты сам стал богатым не в том смысле, чтобы купить домик Латикасам, а по-другому, что я должна еще потом понять?

Мирьям была уверена, что дедушка ответит «да», иначе откуда он знает, как учить других.

— Нет, — отвечает дедушка.

— А почему?

— Не смог, все как-то выскользывало из рук.

— Если ты не смог, так как же я смогу? — боязливо прошептала Мирьям.

— Ты должна стараться, конечно, это вовсе не легко.

— Когда поправишься, давай попробуем вместе... попробуем вместе стать богатыми не в том смысле! — продолжала Мирьям.

— Попробуем, — басовито соглашается дедушка и произносит: — А теперь беги играть, я чуточку отдохну.

— Отдохнем, отдохнем — и опять себе начнем, — повторяет она любимое дедушкино выражение и послушно

удаляется. Они еще станут с дедушкой богатыми, ну так, по-другому, как хочется ему.

Мирьям решает сразу же стать лучше и отправляется на огород, чтобы поработать, хотя моросит дождичек и на дворе не очень-то приятно. Но ведь дедушка сказал: работай и люби природу! Мирьям ищет подпорку и подставляет ее под согнувшиеся помидорные стебли. От тяжелой работы прямо в пот бросает. Девочка отступает на пару шагов, смотрит, хорошо ли теперь стоят стебли, и поднимает затем взгляд на мокрые от дождя окошки.

Гляди-ка, отец стоит у окна и грустно смотрит сквозь мокрые стекла на дочку.

Мирьям чувствует, как в сердце струится тепло. Ей вспоминаются дедушкины слова:

«...Иногда бывает, что с виду-то оно плохое, а за ним хорошее скрывается...»

И радостная улыбка трогает ее губы.

Отец улыбается в ответ.

9

Лето стелило дорогу осени. Лестницу, прислоненную к двери мастерской, никто на другое место не передвигал, до мастерской никому дела не было. Дедушка по-прежнему лежал в постели.

И Мирьям все реже заглядывала в трапециевидные окошечки, пасмурная погода и запыленные стекла размывали очертания полочек на стене и потухшего горна.

Но тем чаще девочка ходила на огород, чтобы сорвать в подол томаты и принести их дедушке. Да и не он один — все с удовольствием ели красные помидорины, даже соседский хозяин Таавет, который в последнее время довольно часто навещал своего давнишнего друга.

Обычно взрослые всегда выпроваживали Мирьям, когда у них начинались свои разговоры. А дедушка и Таавет позволяли девочке сидеть с ними, и поэтому она считала их благородными людьми, которым нечего скрывать от других. Мирьям хорошо знала, что, как правило, всегда, когда ее отсылали от себя, начинались перешептывания. Девочка инстинктивно стыдилась шушуканья и догадывалась, что в нем скрывается что-то необъяснимо гадкое, от которого на некоторое время портится настроение. Хотя при этом ей казалось, что она уже давно знает обо всем непристойном, что в состоянии придумать взрослые. Она знала жестокость, брань, неприличные

слова, злобу, даже пьяных женщин она видела, когда у госпожи Бах были гости и когда Хейнцева мама хотела утопиться.

Дедушка и Таавет толковали о вещах понятных. Рассуждали в основном о пчелах, говорили о дождливом лете и о том, как подкармливают яблони. А то, случалось, заводили разговор о цветах. Таавет с гордостью рассказывал о своих белых лилиях и рододендроне, который он привез с собой из Англии. Дедушка никак не мог выговорить слова «рододендрон» и называл красу Тааветова сада просто цветущим фикусом. Но и дедушка мог похвалиться — у Таавета опять-таки не было диво-цвета. Дедушка так растроганно говорил о том, как его диво-цвет ранней весной простирает над голой землей свои листья-стрелы, с какой быстротой он растет, даже простым глазом видно, после изнуряющей зимы на веселой зелени его листьев просто глаза отдыхают.

И Мирьям поняла теперь, почему люди смотрят на цветы, почему она сама смотрит через забор на Тааветовы лилии: это глаза просят отдыха.

Девочку радовало, что Таавет, у которого в саду росли такие красивые цветы, казался, надулся из-за того, что у него нет диво-цвета. Наконец дедушка не вынес того, что сосед опечалился, и пообещал, что он как-нибудь даст Таавету клубень, пусть и у него будет диво-цвет. Мирьям удивилась дедушкиной щедрости, у нее бы рука не поднялась разделить такой замечательный куст.

Вдоволь переговорив о пчелах, цветах и дождливом лете, они переводили разговор на самое заветное. Дедушка рассказывал о своих каштанах.

История начиналась из далекого далека и поначалу к каштанам никакого отношения не имела.

Порог этого века дедушка перевалил подмастерьем у кузнеца, и вот в одном давнем мае, в пору, когда заливались всю соловьи, сосватал он себе красавицу белешвейку.

Значит — бабушку! Мирьям наострила уши.

Триста золотых рублей, которые мамзель заработала у господ на своей машинке, пошли на то, чтобы купить клочок земли и построить дом. Что за чудо молодость! Бесконечная соловьиная трель! Тогда и сад заложили. Потом, прошло время, возвели рядом другой дом, только пришлось сжить-выкорчевать несколько плодовых деревьев, чтобы освободить место для стройки. Но произо-

шло это уже, когда из беспомощных каштановых саженцев вытянулись здоровенные деревья. Закладывая сад, дедушка заметил два хилых росточка, которые тянулись, ища друг у друга опоры, на самом краю участка. Дедушка осторожно вырыл их и рассадил. В какой рост кинулись! Не иначе, радовались, что вокруг такой простор и воздух полон солнца.

Ясно, что два огромных дедушкиных каштана перевесят один Тааветов цветущий фикус, думала Мирьям. Ей были хорошо знакомы эти два приветливых дерева, они стали ей еще дороже сейчас, когда услышала, что дедушка сам посадил их. Ни у того, ни у другого каштана Мирьям ни за что не могла охватить руками ствол, за ними она всегда пряталась, когда хотела напугать Лоори.

Дедушкин разговор дошел своим чередом до минувшей зимы. Теперь в его голосе появилась печаль, и, оживший было от теплых воспоминаний, он едва выдавливал из себя слова. Жестокий мороз надломил жизненные силы могучих каштанов и разодрал их стволы. Дедушке казалось, что весной его каштаны отцвели в последний раз.

Ветер каждый день уносил с собой их уныло-желтые листья. Они то отлетали далеко, то застревали в кустистых лиловых и белых флоксах, то слетали к подножью стволов, постепенно закрывая еще сочную зелень травы.

Назавтра Мирьям принесла с огорода вместе с помидорами пожелтевшие листья и оцетинившиеся шипами незрелые плоды, оброненные усталыми каштанами.

...В один из дождливых дней, когда лютый ветер срывал с хворых деревьев в бесчисленном множестве листья и с раскачивающихся яблонь без конца шлепались на мокрую землю яблоки, к больному дедушке пришел с красивым букетом Таавет. Неловко стоял он посреди спальни, держа в руке гладиолусы — желтые, лиловые, белые, и ожидал, когда бабушка принесет глиняную вазу с нарисованными розами.

— Зачем же ты их срезал? — пожалел дедушка, хотя было заметно, что красивые цветы радуют его.

— Да ну, ветер с дождем все равно их измолотят, — бросает Таавет и моргает светлыми мокрыми ресницами.

Девочку поражает Тааветова ложь — все же знают, что Таавет растит свои гладиолусы за сараем, где ветер им никогда зла причинить не может.

А дедушка не сводит глаз с прекрасных, стройных цветков.

— Хороший ты садовник,— бормочет он, не в силах поднять взгляда на соседа, который сидит у окна на стуле.

— Ну, ты сам получше меня будешь,— в ответ бубнит Таавет и смотрит на каштаны, которые подошли к своему последнему рубежу.

— Все льет? — спрашивает дедушка.

Девочке становится не по себе: дедушка всегда возражает, когда кто-нибудь, случается, хвалит его, а теперь вот вдруг спрашивает, льет ли на дворе. Неужели он сам не слышит, как дождь бьется в окно!

— Да! — отвечает Таавет.

Ветки яблони с ожесточением царапаются в оконные стекла. Мирьям закрывает на мгновение глаза.

Доносящиеся с улицы порывы ветра и шум дождя превращают в сознании ребенка сад в страшного зверя, который, выпустив когти, набрасывается на мир и покой комнаты больного деда.

— Остался ли хоть листок на каштанах? — слышит девочка дедушкин голос.

Мирьям открывает глаза и бежит к окну. Таавет опережает ее.

— Еще есть,— отвечает он.

Смеркается.

С великим трудом вытаскивает дедушка из-под ватного одеяла свою жилистую белую руку — следы масла и копоты успели уже с нее сойти.

Со щемящей медлительностью протягивается к Таавету белая рука.

— Ну, прощай, что ли,— говорит дедушка соседскому хозяину.

Таавет долго держит руку друга, потом осторожно опускает ее на одеяло.

Безмолвно и не оглядываясь, сосед покидает комнату.

— Пойди принеси с грядки помидоров,— просит дедушка.

— Я не хочу. Помидоров еще много, а на улице дождик,— терзаясь тяжким предчувствием, возражает Мирьям.

— Иди,— дедушка напрягается, чтобы придать голо-

су повелевающую силу.— Иди. И пусть сюда придет бабушка.

Но она уже сама идет. Ступает, словно лунатик, руки бессильно опущены по бокам. Натыкается на внучку, оживает на мгновение и решительным движением вытаскивает девочку из комнаты.

Повинуясь дедушкиному приказу, Мирьям отправляется в огород. Она прохаживается под дедушкиным окном и тянется, чтобы заглянуть в него. Но окно высоко, и никакого движения за мокрыми стеклами, скрытыми ветками, Мирьям не видит.

Она бредет к каштанам и пересчитывает последние желтые листочки. На два дерева их набирается всего пять.

Затем Мирьям начинает собирать помидоры. Она выбирает их долго и старательно. В подол передника скатываются самые лучшие помидорины. Мокрые, ярко-красные, студеные.

Уходя из сада, Мирьям еще раз оглядывает каштаны. Ветер и дождь совсем оголили их, ветки ободраны до последнего листка.

Промокшая насквозь, девочка спешит обратно в дом.

В коридоре ее останавливает Лоори — она вся дрожит и не в состоянии толком слова вымолвить.

— Дедушка! Дедушка! — шепотом повторяет она.

— Что с ним? — тревожно спрашивает Мирьям.

— Это ты виновата! — выпаливает Лоори.— Ты стащила дедушку с кровати. С тех пор он и заболел!

Мирьям вспомнила один из жарких полдней прошлого лета. Ей тогда хотелось разбудить дедушку, и она стала изо всех сил тащить его к себе. Дедушка спал очень крепко. Мирьям, довольная тем, что ей удастся сдвинуть с места дедушку, вошла в такой азарт, что и в самом деле стащила дедушку на пол...

Оттолкнув сестренку, Мирьям бросается вперед. Мокрые пряди волос прилипли к шее, глаза широко раскрыты. Она распахивает дверь дедушкиной комнаты.

У кровати бабушка, отец и мама. Мама с заплаканным лицом оборачивается к застывшей в дверях дочери.

Черная фигура бабушки застыла на фоне светящегося окошка. Отец склонился над кроватью и слегка дрожащими руками смежает дедушкины веки.

Подол передника выскользнул у Мирьям из рук, и ярко-красные помидорины раскатились по полу...

«Милый боженька, если ты все-таки есть на свете, то сделай так, чтобы самый худший из нас умер».

Чтобы самый худший из нас умер!

Мирьям стонет.

10

В большой комнате бабушкиной и дедушкиной квартиры, там, где на стенах висели чучела с выпученными стеклянными глазами и пристроились ветвистые олени рога, теперь стоял гроб. В изголовье умершего дни и ночи, освещая дедушкино окаменевшее лицо, в высоких подсвечниках горели свечи. По углам серебристого гроба недвижно свисали тяжелые шелковые кисти. Бабушка застелила комнаты дорожками. Все до единого звуки в доме приглушились. Говорили мало и шепотом, боялись потревожить дедушкин вечный покой.

К гробу покойного приходило много людей: жильцы, знакомые, ближние хозяева. Они приходили, задерживались у гроба, склоняли обнаженные головы, оставляли цветы и уходили.

Бабушка выстаивала у гроба часами — степенная, непреклонная, ноги в черных туфлях чуточку расставлены, на еще статной фигуре — черное с отблеском платье. Руки скрещены на животе, хотя взгляд, обращенный прямо перед собой, и не свидетельствовал о погруженности в молитву. Она думала. О чём она думала, выстаивая вот так часами у гроба, никто не знал. Может, бабушка вспоминала прожитую с дедушкой жизнь, может, задумывалась о будущем.

Бабушка не плакала, не плакал отец, и дядя не плакал. И у Мирьям не было слез, от отчаяния и душевной скорби у нее все отупело.

Мирьям пребывала словно в каком-то ином мире. Не ощущала себя, не чувствовала голода или жажды, надеясь, что все это кошмарный сон, который скоро окончится. Чаще всего Мирьям бесцельно бродила по саду, безразлично смотрела на пчел, которые готовились к зиме, и на оголенные каштаны. Яблоки, упавшие на сырую землю, гнили, никто их не собирал.

Сквозь тонкие кружевные занавески Мирьям видела освещенную комнату, где под негаснущими свечами сто-

ял дедушкин гроб. Видела неподвижную бабушкину фигуру и людей, которые приходили, останавливались и уходили.

Увядающие цветы и горящие свечи наполняли нетопленую комнату навязчивым запахом. Это был заволаживающий запах смерти.

Мирьям не осмеливалась оставаться у гроба. Она не боялась умершего дедушки, ее угнетало ощущение страшной, непоправимой вины.

Что-то неотвязно стучало, словно молот, в усталом сознании ребенка. Девочке хотелось подойти к гробу и крикнуть: это я виновата в том, что умер дедушка!

Но Мирьям не шла, молчала, бродила по саду и, усевшись на заборе, заглядывала порой в комнату, где горели свечи, стояла бабушка и куда приходили с цветами люди.

Девочке временами не верилось, что дедушки больше нет. Были моменты, когда это казалось просто невозможным. Тогда становилось немного легче. Однако маячащая за тюлевой занавеской бабушка в траурном платье и унылый свет от горящих свечей тут же все оживляли в памяти.

Затем в Мирьям вселилась надежда, что свершится чудо.

Вечером явился бабушкин знакомый фотограф Тохвер, привинтил на треногу маленький черный ящичек и начал расставлять у гроба бабушку, дядю Рууди, папу, маму, Лоори и Мирьям. Тохвер поставил всех так, чтобы каждому из них было видно дедушкино лицо. Сердце у Мирьям колотилось в тревожном ожидании, она судорожно уставилась на мертвого дедушку. Мирьям верила, что вот-вот произойдет чудо, что теперь наступило долгожданное мгновение и дедушка немедленно поднимется из гроба. Фотограф пошел к своему черному ящичку и скомандовал:

— Внимание!

Последовала ослепляющая вспышка.

Открывая снова глаза, Мирьям надеялась увидеть дедушку живым. Но впалое дедушкино лицо осталось неподвижным, лишь немного затрепетали языки огоньков на свечах.

И тут впервые после дедушкиной смерти Мирьям безутешно разрыдалась. Значит, все это не сон, чудес не бывает, и дедушка уже никогда не воскреснет.

В ту ночь девочку мучили страшные сновидения.

Уголок сада, который отделял их дом от соседнего, куда-то исчез, и вместо него теперь чернела громадная четырехугольная яма. На краю пропасти стояла толпа одетых в черное людей. При свете луны, выглядывавшей меж быстро плывущих по небу облаков, людские лица казались ядовито-зелеными. Мирьям стояла в стороне и пыталась укрыться от ослепляющих проблесков луны, но это ей не удавалось. Необъяснимая сила необоримо тянула ее к краю бездны, на свет, перед взоры угрожающе недвижных фигур. Вдруг раздался чей-то голос:

— Ты виновата!

«Виновата!.. Виновата!..» — громовым эхом раскатилось вокруг. Видение исчезло, осталось грозное эхо: виновата! виновата!

Дедушку хоронили на следующий день.

Под холодным осенним дождем из города к кладбищу протянулась длинная похоронная процессия. Покрытые черными попонами лошади шли медленным, заученным шагом, таща за собой катафалк, — четыре резные стойки поддерживали его крышу. По краям крыши свисали черные кисти. Серебристый гроб утопал в цветах и венках.

Первой, сразу за катафалком, под черной вуалью, шла бабушка. Намокшая кисея прилипала к лицу. По обеим сторонам бабушки шли ее сыновья. По левую руку — дядя Рууди с горящими болезненными глазами, уткнувшись взглядом в мостовую. Старший сын — Арнольд — справа. За ними, тоже под траурной вуалью, держа за руки девочек, шла Лоорина и Мирьямина мама.

По обе стороны черной кареты, в такт медлительному шагу похоронной процессии, вышагивали четверо мужчин, с кепками в руках. Следом за мамой, Лоори и Мирьям шли родственники, жильцы и знакомые.

Холодный осенний дождь лил не переставая. Сырость пронизывала до костей и вгоняли Мирьям в дрожь.

Дождь унялся, лишь когда похоронная процессия достигла кладбища. Поднявшийся ветер разогнал низкие свинцово-серые тучи. Кое-где между громоздящимися тучами проглядывало светло-синее небо. Ветер гнал навстречу процессии желтые кленовые листья. Ветер рвал

болтавшиеся черными языками траурные накидки мамы и бабушки.

Взбудораженная ветром красота кладбища зажгла в девочке последнюю отчаянную искорку надежды.

Вдруг Мирьям увидела прислонившегося к светлому краю громадного облака господа бога — простоволосого, в серой сборчатой накидке. Глаза всевышнего вселяли покой, локти его опирались на краешек пушистого облака. Казалось, что господь бог усмехается. А вдруг он сейчас исправит свою роковую ошибку? Мирьям не видела ничего другого, лишь смотрела в небо, туда, где быстро набегавшие клубящиеся облака стремились закрыть собой видение.

Мама дернула дочку за руку, чтобы не отставала. Девочке пришлось сделать несколько быстрых шажков, а когда она снова подняла глаза — бог уже исчез. Закрылась тучами и ярко-голубая прогалина облака. Снова зашуршал крупный дождь, ветер швырял его в лицо.

У Мирьям исчезла последняя надежда. Девочка поняла, что никого там на облаке и не было, просто ей ясно вспомнилась лубочная картинка с изображением господа бога.

У ямы гроб открыли в последний раз. Костлявые дедушкины пальцы скрючены на груди, синеватые губы сжаты в узкую полоску, под глазами мешки, подбородок угловато выдался вперед, лоб восковой. Мирьям закрыла глаза и судорожно пыталась вспомнить живого дедушку. И она увидела его в мастерской: внимательные и дружелюбные глаза под густыми бровями, четкие движения, лицо слегка выпачкано сажей, спокойно, руки то и дело что-то мастерят.

Гроб заколотили и опустили в могилу, обложенную еловыми ветками.

Священник в черной рясе с широкими рукавами начал отпевать дедушку. Он говорил долго. В промежутках все пели, затем снова продолжал пастор. Мирьям, окоченевшая от холода, слушала внимательно. Священник рассказывал о дедушкиной добродетели, о его уравновешенном характере и богоугодной жизни. Утешал покинутую вдову, сыновей и внушек. Заверил, что всемогущий, милосердный и добрый господь бог непогрешим, он знает, кого приблизить к себе...

«Непогрешимый, непогрешимый!» — дразняще стучало в сознании Мирьям.

Люди стояли с опущенными головами вокруг открытой могилы и, скрестив руки, слушали и пели, когда священник подсказывал строфу псалма.

Потом священник трижды взял с земли по горсти песку и высыпал его на дедушкин гроб. Бабушка вслед за ним сделала то же. И Мирьям подошла и опустила три горсти песку на гроб самого дорогого ей человека. Бросила песок, но отходить от могилы не хотела. Впившись глазами в серебристую крышку гроба, девочка пыталась еще раз увидеть дедушку. Но забитый гвоздями гроб навечно скрыл дедушку ото всех взоров. Когда наконец мама оттащила ее прочь и мужчины с будничными лицами принялись засыпать могилу, Мирьям залилась слезами. Мама заглянула ей в лицо и пощупала лоб. Подошла к отцу, что-то шептала ему и, взяв Мирьям за руку, заспешила домой.

Мирьям безутешно плакала, перед глазами раскачивались темные кусты, и ей было все равно, куда ее ведут.

В тот самый вечер девочку уложили в постель с воспалением легких. Без конца в изголовье Мирьяминой кровати стоял безжалостный боженька и громогласно провозглашал:

— Непогрешим я! Непогрешим!..

11

Сошли последние остатки снега. Рыхлая почва благоухала весенним ароматом. Прямо видимо набухали липкие кленовые почки. В окружающих садах горели костры, очищающие землю предвестники стремительно приближавшейся весны.

Мирьям, проболевшая почти всю зиму, полная неясных ощущений, ходила по знакомым местам. Заглядывала с улицы в дедушкину мастерскую, бродила по мрачным подвальным переходам, где в конце концов всегда оказывалась возле двери с приставленной к ней лестницей.

Однажды утром, когда светило яркое весеннее солнце и бабушка пребывала в похмелье, пришел Таавет. После короткого разговора, который произошел между ними, бабушка, подавая внучке ключи от садовой калитки, сказала:

— Пусть господин Таавет возьмет обещанное дедушкой.

Мирьям пошла вместе с Тааветом в сад. Единственный во всей округе он был не очищен от прошлогоднего мусора, и никто не жег здесь костров, возвещавших о пришествии весны. Ни один росточек не мог пробиться сквозь прелую листву, и сад казался безжизненным.

Мирьям взглянула на шедшего впереди Таавета. Как же он был похож своим видом на этот серый сад!

Весь год напролет Таавет носил один и тот же замызганный домотканый костюм. Мешковатые брюки, жилет и обвислый пиджак. По весне старик снимал пиджак и ходил в одном жилете поверх заношенной льняной рубахи с расстегнутым воротником. И только осенью, когда начинали задуть пронизывающие ветры, он снова натягивал пиджак. В том и состояли перемены в его одежде — все зависело от смены времен года. Зимой Таавет почти не выходил на улицу, портняжил. Если он все же покидал дом, то лишь затем, чтобы купить еды у лавочника Рааза. Шел, съжившись от холода, в том же невзрачном пиджаке, лишь поднимал воротник, который доставал до засаленной кепки.

Голые деревья отбрасывали на пожухлый мусор невесомые тени, которые рассыпались вместе с прошлогодней листвой под ногами, а через мгновение невредимыми снова перекидывались через оставленные следы.

Вдруг Мирьям увидела, что в саду зеленел только диво-цвет, защищенный кустами, он тянулся вверх на своем извечном месте.

Хотя Мирьям, казалось, уже с незапамятных времен была знакома с диво-цветом, она так и не знала, как он правильно называется. Все называли его диво-цветом, потому что даже в самое жаркое лето, в самый знойный полдень в его золотисто-желтых колокольчиках сверкали капельки воды, бог знает как державшиеся на покатых лепестках.

Дедушка относился к диво-цвету с особой заботой. Чтобы защитить его от северного ветра, он специально посадил несколько кустов смородины и всегда самой ранней весной — неуклюже и кропотливо — рыхлил пальцами вокруг зеленых ростков землю.

Соседский Таавет по-хозяйски принес лопату и направился с ней прямо к стрелчатому ростку диво-цвета.

Он стал выкапывать цветок.

— Ты что, унесешь целиком? — испугалась Мирьям. Таавету стало чуточку неловко, и он ответил:

— Ладно. Отросток оставлю.

И Таавет ушел вместе с дедушкиным бесценным цветком.

Мирьям опустила на корточки возле ямки и начала нежно разравнивать ладошкой землю. Затем погладила пальчиками оставшийся маленький росток и утешилась тем, что когда-нибудь из этого ноготка вырастет новый диво-цвет, с новыми золотисто-желтыми колокольчиками.

В ту весну Таавет с особым усердием возился в саду и вокруг дома.

Как-то он привез целый воз лиственных саженцев и рассадил их вдоль забора, отделявшего Тааветов участок от участка сада, находившегося на попечении у Мирьям. Сосед не поспешил даже на покупное удобрение под саженцы, мало того, таскал еще черпаком из уборной жижу и, довольный, приговаривал:

— Скоро они у меня вымахают будь здоров!

Из-за того, что Таавет без конца мельтешил на дворе и тормошился, он то и дело оказывался на глазах у детворы, которая висла на заборе. Когда Таавет поворачивался спиной, дети хором заводили:

Холостяк — в аду батрак,
Девка стара — небу сварал

Эту складную песенку, которая так хорошо запоминалась, Таавет однажды сам подсказал ребятишкам. И теперь сорванцы всякий раз дразнили его «старым холостяком», когда он, случалось, проходя дворами бабушки или господина Пилля, шутил с детьми, зато когда Таавет, грозясь и ругаясь, гонял их со своего двора, дети со зла называли его «адским батраком».

Мирьям была одна из немногих, кому позволялось бывать у Таавета в саду и вместе с хозяином гулять там. Девочке казалось, что любезность Таавета вызвана тем, что у Мирьям есть бабушка, которой принадлежат целых два дома, а у других детей такой бабушки нет. Не иначе как потому же ей разрешалось бывать и у него в доме, где в десяти однокомнатных квартирах проживало десять старых дев; сам же хозяин жил в двух однокомнатных квартирах, соединенных дверью. Хотя в округе Тааветов дом презрительно называли «обителью ста-

рых дев», все же было страшно интересно ходить по вечно полутемным и пропахшим кошками коридорам этого здания с его скрипучими лестницами. Само собой, здесь нельзя было повышать голос или бегать, это понимали даже кошки, справлявшие свои свадьбы где-нибудь подалее отсюда.

Из-под одной лестницы, где также стоял полумрак, дверь вела в хозяйскую квартиру. Первую комнату Таавет называл рабочей, а заднюю, невесть с каких пор не топленную,— чистой. Дверь в чистую комнату большей частью оставалась на замке, так что запросто туда попасть было нельзя, и Мирьям гордилась, что она бывала там.

В чистой комнате господствовал мир запустения и пыли. В забитом мебелью помещении оставалось мало места для прохода, стулья, составленные друг на дружку, громоздились даже на застеленной бумагой плите. В углу за дверью возвышался граммофон — обычно мрачно молчаливый, его сиплый голос раздавался лишь по большим праздникам.

На граммофонном ящике таращила большущие черные глаза стеклянная красная сова, ожидая, чтобы ее хвост сунули в розетку. Когда Мирьям однажды не утерпела и сделала это, в затемненной пыльными занавесками комнате распространился сонный красный свет.

— А зачем эта лампа такая красная? — расспрашивала Мирьям.

— Она излучает свет любви,— серьезно ответил Таавет.

— А для чего тебе такая любовная лампа? — продолжала допытываться Мирьям.— Тебе ведь некого любить!

— Ах, это еще с давней поры, захватил с собой из Англии,— бормотал загнанный в тупик Таавет.

Здесь соседский хозяин вышел из чистой комнаты, закрыл дверь на замок и уселся на свое обычное место на длинном столе со скрещенными ножками, что стоял под окном в передней комнате.

— Расскажи, какая она, Англия? — любопытствует Мирьям.

— В другой раз.— У Таавета не было настроения рассказывать.

Мирьям с досадой посмотрела на Таавета, сидевшего по-портновски на своем столе и проворно орудовавшего иголкой. «Портняжки или умом свихнулись, или ногами

подогнулись», — вспомнила девочка услышанную где-то злую присказку. Ноги у Таавета были здоровыми, и тронутым он вроде бы тоже не был, но в известной странности ему не откажешь. Иначе с какой стати жить ему одному? И неужели ему не было скучно в его неуютной рабочей комнате? Неужели тоска не съедала его тут, в этом помещении с некрашеным полом, где дневной свет дальше продолговатого стола почти и не доставал? Ничто здесь не радовало глаз — темный застекленный шкаф, набитый книгами с поблекшими корешками, швейная машинка возле стены, в углу — плита со сводом и кухонный шкаф, на котором всегда валялись куски хлеба и горкой лежала грязная посуда. Единственной приличной вещью, явно случайно попавшей сюда, в четыре замызганные стены Тааветова жилища, был светлый резной буфет. Между высоким шкафом и стеной оставался темный уголок, где стояла плохонькая кровать, застеленная серым одеялом.

Мирьям еще раз украдкой взглянула на Таавета.

Взлохмаченные седые волосы на голове и очки, завязанные тесемкой на затылке и грозившие соскочить с носа, произвели на девочку странное впечатление. Ей вдруг стало так жалко Таавета, что в душе она даже простила ему унесенный диво-цвет. Может, цветку в его ухоженном саду и лучше будет?

— Расскажи об Англии, — клянчила Мирьям.

— Мм, — неопределенно произнес Таавет.

— Что ты там видел? — не отставала Мирьям.

— Ничего я там не видел, — буркнул Таавет.

— Как так? — удивилась она.

— Ну... жил в Лондоне, там вечно туман. За пять шагов ничего не видно. Дни напролет работал у господина Томсона, в его подвале, куда никакой свет не доходил. А вечером, когда шел домой, было темно или стоял туман... Иной эту Англию я и не видел, — закончил он со вздохом и потянулся.

— А зачем же тогда поехал в Англию? — не давала покою Мирьям.

— Учился ремеслу, — сухо ответил склонившийся снова над работой Таавет. — Вон там, — он указал на застекленный книжный шкаф, — ты найдешь книгу об Англии, есть в ней и снимки Лондона.

Мирьям листала книгу и видела английскую столицу при дневном свете — ведь фотограф мог ходить по ули-

цам в то время, когда Таавет корпел в подвале господина Томсона.

Вдруг из книги выпала на пол фотография — уже порядком пожелтевший семейный снимок.

Таавет, погруженный в свою работу, не обратил на фотографию внимания.

Мирьям долго разглядывала снимок. В мужчине она угадала молодого Таавета, он был без очков, и вместо седых косм голову покрывала черная блестящая шевелюра. Слева от Таавета улыбалась светловолосая женщина с продолговатым лицом. Перед ними стояли две такие же светловолосые девочки, одна из них худюшая, совсем как Лоори.

— Хозяин Таавет, у тебя есть жена и дети? — спросила удивленная Мирьям.

Таавет вздрогнул от неожиданного вопроса и соскочил со стола. Вырвал из рук девочки фотографию и книгу и швырнул их в шкаф. И уже гораздо спокойнее закрыл стеклянную дверцу и повернул ключ в замке. В довершение всего ключ перекочевал на шкаф.

Сбитая с толку Мирьям вышагивала полутемным коридором Тааветова дома к входной двери. То, что она сейчас узнала, почему-то причиняло ей боль. Как может человек держать в тайне свою семью и хранить под замком свет любви?

12

— Мирьям! — донесся из прихожей басовитый зов дяди Рууди.

Мирьям никогда не заставляла дядю Рууди звать себя дважды.

— Куда? — появившись перед ним, спросила она.

— В мастерскую, — последовал короткий ответ.

От возбуждения у девочки дух перехватило. Поспевая вприпрыжку за длинноногим Рууди по прохладному коридору, она сегодня даже не испытывала желания сунуть нос в замочную скважину винного погреба, к тому же Мирьям чувствовала, что для таких проделок она уже слишком взрослая. Через год пойдет в школу!

Дядя Рууди оттащил лестницу от двери мастерской. В тревожном ожидании Мирьям застыла на месте. Прежде чем открылась дверь, ключу пришлось поскрипеть в заржавленном замке.

Мирьям тихонько ступила вслед за дядей Рууди в помещение, пахнувшее в лицо сыростью. Каждый шаг оставлял след на полу, покрытом слоем пыли. Окна затянуло паутиной, и известняковые плиты тротуара лишь с трудом можно было различить. Оставленные на столике инструменты покрылись ржавыми пятнами. И накрытая материей маленькая наковальня, где по обыкновению сидела Мирьям, была на верстаке, неподалеку от тисков.

— Хочешь сесть туда? — спросил дядя Рууди, заметив, что Мирьям устала сидеть на наковальню.

— Нет, больше не хочется, — ответила она со вздохом.

— Почему? — усмехнувшись, спросил он.

— Я уже большая.

Хотя Мирьям вовсе так не думала, дядя Рууди понял: племянница в последний раз сидела здесь тогда, когда дедушка последний раз работал в мастерской.

— Давай точить.

Дядя Рууди не дал девочке унывать. Он звонко хлопнул в ладоши, поплевал на руки и, весело насвистывая, принялся вытаскивать из угла точило.

— Твоя забота — принести воды, — бросил он через плечо.

Мирьям взяла старую банку из-под краски и отправилась в коридор за водой.

Дядя Рууди отыскал на полке топор, провел большим пальцем по лезвию и кивнул ожидавшей племяннице. Мирьям взялась обеими руками за ручку и, посапывая, принялась за работу.

Топор вскоре был отточен. Тогда дядя Рууди взялся точить и пилу. Но эта работа оказалась куда более тонкой. И хоть он без конца менял напильники, дело не очень подвигалось. Дяде Рууди даже свистеть расхотелось.

— Что будешь строить? — спросила Мирьям.

— Корабль.

Хотя дядя Рууди при этом и не усмехнулся, Мирьям поняла, что он шутит, — ну на самом деле, какой из дяди Рууди судостроитель! Пилу наточить — и то с горем пополам.

Дядя Рууди провел напильником по последнему зубу и сказал:

— Готово.

— А еще зубья развести надо, — строго заметила

Мирьям, привыкшая к тому, что дед всякую работу доводил до конца.

Дядя Рууди взглянул исподлобья на Мирьям и запел:

Я не знаю, знать не знаю,
где находится разводка...

— Здесь,— она подала ему инструмент.

Рууди бросил петь и принялся неумело разводить зубья.

— Неважный из тебя работник,— сердилась Мирьям.

— Верно,— подтвердил Рууди,— я же шутник.

— А это еще что за работа? — требовательно и рассудительно спросила Мирьям.

— Шутник шутит, пока шутки не кончаются,— ответил Рууди, щурясь правым, коричневым глазом, а другим, голубым, уставившись в упор на Мирьям.

— А когда шутки кончаются, тогда что?

— Тогда шутник уходит.

— Куда?

Просто, просто он уходит,
жить на кладбище приходит,—

напевая, ответил Рууди и при этом уже не смотрел на Мирьям.

— На кладбище одни мертвые,— мрачно вставила Мирьям.

Больше Рууди не произнес ни слова, лишь насвистывал и — медленно и неумело — разводил у пилы зубья.

— А какой ты корабль построишь? — допытывалась девочка, хотя и не верила словам дяди.

— Ну, конечно, большой, с шелковым флагом и серебристыми парусами,— ответил Рууди, переставая насвистывать.

— И куда ты на нем поедешь?

— Выйду в море, буду во хмелю бродить.

— Ходить под парусами,— поправила Мирьям.

— Ходить под парусами и во хмелю бродить,— согласно кивнув головой, переиначил Рууди.

Рууди отложил заточенную пилу в сторону, прищурил теперь левый, голубой глаз и посмотрел на девочку правым, коричневым глазом.

Мирьям не смогла сдержать смех.

— Не болтай,— посерьезнев, сказала она, пытаясь выговорить дедушкины слова дедушкиным голосом.

Дядя Рууди рассмеялся, посадил Мирьям себе на плечо и, насвистывая, вышел из мастерской.

Покачиваясь на дядином плече, Мирьям принялась вторить его насвистыванию, и почему-то ей уже больше не хотелось быть серьезной.

После мастерской Мирьям направилась в сад.

Она вступила в схватку с сорняками. После весенних дождей весь сад вдруг зазеленел, трава пустилась в такой рост, что земли между кустами и деревьями и видно не было. Мирьям теперь то и дело ходила в сад выпалывать траву. Руки у нее огрубели, и ноги пошли волдырями от крапивы. Но что самое страшное: работа подвигалась медленно, а на очищенных клочках всходили новые сорняки. Мирьям сокрушенно думала, что ей никогда не удастся привести в порядок весь сад. Да и есть ли смысл в ее хлопотах? Один пчелиный рой вымер, улей стоял заброшенным, и никто не собирался ни убрать его, ни вселить новых пчел. Рамы, поддерживающие ягодные кусты, перекошились и тосковали по хозяйскому уходу.

Мирьям устала и отправилась в дальний конец сада. Прислонилась к забору, отделявшему двор от сада, огляделась. Молодые деревца, посаженные Тааветом, пышно разрослись и затеняли этот уголок, здесь было сыро и без конца кружили комары. Верхушка дедушкиной яблони склонилась к востоку и напоминала горбатого подростка. Тюльпаны в эту весну и не расцвели, и смородина никак не хотела наливаться.

Мирьям уже давно собиралась поведать о своей заботе соседскому хозяину, надеясь, что, может, Таавет сжадется и подрежет свои клены. Однако ей все недоставало смелости предпринять решительный шаг. Тем более что в последнее время Таавет находился в плохом настроении — две самые молодые жилички из «обители старых дев» нарушили неписанные заповеди его дома и занялись безнравственной жизнью. Та, что постарше, Мария, ожидала ребенка, а помоложе, Лонни, стала гулять с приказчиком из мясной лавки. Так что мороки у Таавета с соблюдением доброго имени своего дома хватало, и вряд ли он будет склонен выслушивать жалобы Мирьям.

Почему Таавет сердится на Марию — этого Мирьям не понимала. Мирьям хорошо знала, что люди рождаются на свет, и сам Таавет ведь тоже родился, почему же он вдруг не хочет, чтобы еще одним человеком стало больше? Да и не только Таавет — стоило женщинам на

улице увидеть Марию, которая возвращалась с фабрики домой, как они сбивались в кучу и начинали шушукаться:

— Срам какой!

А вот то, что Лонни гуляла с приказчиком, Мирьям тоже не одобряла, — ей не нравилось вечно красное лицо этого парня и не нравились его близко посаженные глаза. Стройная и темноволосая Лонни, особенно когда она перекидывала через плечо свое самое большое достояние — чернобурку, выглядела такой же красивой, как заграничные артистки в кинокартинах. Лонни могла бы выбрать себе кавалера и попримечнее, а не этого мясника с толстыми раскоряченными ногами.

Мирьям устала стоять и залезла на забор, куда немного даже доставало солнышко. Отсюда она видела весь ухоженный красивый Тааветов сад.

По соседскому двору бродил полосатый бродячий кот Помм. Мирьям подумала, что если бы Таавет увидел сейчас кота, то пришлось бы тогда старому драчливому Помму нестись без оглядки и спастись от града камней. Вон он уже идет, несет лейки, полные воды, и направляется с ними в сад. Старый, умудренный опытом Помм, почуяв беду, шмыгнул под забором в бабушкин двор, где с независимым видом принялся шарить в мусорном ящике.

Когда Таавет подошел ближе, Мирьям крикнула:

— Здравствуй, хозяин!

Она знала, что Таавету очень нравилось, когда его называли хозяином. То ли подействовало это волшебное слово, или что другое, но сосед весьма любезно откликнулся:

— Здравствуй, Мирьям! Чего это ты ко мне больше в гости не заходишь?

— Сейчас приду! — ответила Мирьям и соскочила с забора. Сегодня Таавет в хорошем настроении, так почему бы ей не воспользоваться случаем, чтобы поведать соседу о своих заботах.

Хотя Таавет находился и недалеко, путь до него в общем-то неблизкий. Сначала нужно выбраться из своего сада за калитку и замкнуть ее — через забор было бы куда прямее, но бабушка не разрешала оставлять калитку незапертой. Затем надо было повесить ключ от калитки в бабушкиной кухне на вешалку. После этого возвращаться во двор и выходить за ворота на улицу,

чтобы потом через другие ворота попасть в соседский двор. И наконец — калитка в Тааветов сад.

Таавет расхаживал меж длинных грядок и поливал. Мирьям ступала след в след за Тааветом и никак не осмеливалась начать разговор.

— Ты так и не сказала, как тебе лондонские картинки понравились? — начал Таавет.

— Красивые, — коротко ответила Мирьям — сегодня у нее не было настроения говорить о Лондоне.

— Чего же ты там увидела? — не отставал Таавет.

— Церкви и большущие окна, — безразлично произнесла она, а у самой на уме все тот предстоящий нелегкий разговор с соседом.

— А еще что ты видела? — осторожно спросил Таавет, и было заметно, как он ждал ответа.

— Ничего я больше не видела, — твердым голосом ответила Мирьям.

Таавет отставил лейку в сторону и повернулся к девочке.

— Так-таки и ничего больше? — допытывался он.

— Нет, — заверила Мирьям и невинно посмотрела на Таавета.

— Ах, вот как, — произнес Таавет с явным облегчением и взялся за дужку лейки.

Свободной рукой он нашарил в кармане складной нож, подал его девочке и разрешил:

— Поди срежь вон оттуда для матери несколько нарциссов.

Хоть это было проявлением чрезвычайного доверия со стороны Таавета, Мирьям в нерешительности осталась стоять на месте. Она не хотела идти срезать цветы раньше, чем переговорит с Тааветом.

— Чего ты ждешь? — удивился он, оборачиваясь.

Мирьям кашлянула и начала самым что ни на есть пристойным и низким голосом:

— Послушай, хозяин Таавет, ты бы подрезал чуточку покороче эти клены у забора.

— Зачем? — удивился Таавет.

Мирьям вздохнула — неужто он и впрямь не понимает — и проговорила зазвеневшим от возбуждения голосом:

— Так ведь все солнце загораживают.

— Вот так так, — рассердился Таавет, — совсем девка с ума спятила! Я с таким трудом достаю саженцы, выса-

живаю их, удобряю, чтобы они поскорее подросли и удерживали холодные ветра, а ты: срезай!

Мирьям вернула нож.

— Ты лучше ухаживай за своим садом, тогда и расти все будет, а мои деревья тут ни при чем! — бросил Таавет вслед уходившей Мирьям.

Со сжатыми в карманах кулаками и надув губы, вошла Мирьям в комнату.

— С кем это ты опять схватилась? — спросила мать.

— С Тааветом.

— Ого! — удивилась она.

— Чертов старик! — выдавила Мирьям сквозь зубы. — И жену с детьми в Англии бросил...

— Что ты болтаешь, Таавет — холостяк! — сказала мать.

— А вот и нет, я знаю, сама видела карточку, на которой они все сняты.

Мама так поразилась новости, что не стала и допытываться о причине ссоры.

А Мирьям сидела, опершись локтями о подоконник, смотрела понурившись на заросший сад и думала: вот и пойми, который из них стоящий человек — работник Таавет или шутник дядя Рууди?

13

Между бабушкиным двором и двором госпожи Пилль прилепились в ряд приземистые дровяные сарайчики. Множеству бабушкиных жильцов из дома, который стоял к улице, не хватило закутков в подвальном этаже — большую часть там занимала мастерская, дворничихина квартира и бабушкин винный погреб под лестницей. Вот и приходилось некоторым жильцам мириться с сараями во дворе. Одно отделение из этого трухлявого ряда принадлежало Бахам. Летом Хейнц устраивал себе там второй дом — бывало, целые дни проводил в сарае.

Бахов Хейнц рос на страх окрестным ребятишкам. Всех, кто попадался ему во дворе под руку и был слабее его, он тащил за шкуру к себе «домой» и держал там взаперти до тех пор, пока мамы не сбегались на крик и не выручали своих чад.

По обыкновению Хейнц время от времени навещал своих арестантов, чтобы насмешками дразнить бедных мучеников и мучениц.

Рийна Пилль до того страшилась Хейнца, что стоило ей завидеть рыжую голову, как она тут же прижимала к себе розовую куклу и с криком пускалась домой. Как-то Рийна сидела у Хейнца в сарае под замком и, напуганная до смерти, проплакала рядом несколько часов.

Хейнец отличался хитростью. Лебезил, как мог, перед мальчишками, которые были больше и сильнее его, и дарил им открытки, на которых нежно улыбались красивые женщины. Однажды, повздорив с Пээтером, Хейнец, от страха, чтобы его не побили, быстро пошел на мировую и даже пожертвовал Пээтеру свой складной нож.

Во дворе из-за Хейнцевых проделок иногда возникали ссоры. Бабы ругались с госпожой Бах и кляли рыжего паскудника за то, что он пугал ребятишек и сажал их под замок. Но госпожа Бах, собственное геройство которой уже успело быть порости, вставала на сторону сына.

— Да боже мой — это же ребячьи забавы, — со смехом оправдывала она сына, обнажая выдающиеся вперед лошадиные зубы. — Мой Хейнец — ребенок живой, у него живое воображение, и я не собираюсь ограничивать его развитие, — с ученым видом заявляла она.

Все же казалось, что она чуточку побаивается женщин: важно покачивая своими могучими бедрами, она быстро исчезала после подобных перебранок. На крыльце она еще раз останавливалась, чтобы оттуда ехидно улыбнуться взбешенным женщинам. Свою незаурядность и независимость госпожа Бах любила подчеркивать при каждом удобном случае. Расхаживала летом по двору в платье с излишне смелым для будничной городской окраины вырезом и не стеснялась перед женщинами проходить под ручку с каким-нибудь мужчиной, которого она вела к себе в гости. Чем больше было зрителей, тем громче она смеялась и тем более вызывающе покачивала бедрами.

Временные дружеские отношения между Мирьям и Хейнцем давно уже кончились. И если Хейнец пытался теперь завернуть у нее руку или вообще причинить боль, то Мирьям противилась этому со всей скопившейся за многие годы злостью. Мирьям не забыла, как Хейнец ударил ее по голове молотком, выводило из себя и то, что он самоуправничал во дворе и притеснял тех, кто были слабее его.

Понятно, что Хейнцу приходилось не по душе ее со-



противление. Он не мог взять в толк, откуда у этой злой карапузики, как он называл ее, брались проворство и сила, чтобы отразить его атаки.

Но однажды в жаркий летний день Хейнц все же испытал торжество. Незаметно подкрался он к ничего не подозревавшей Мирьям и ловким приемом завернул ей руки за спину. Мирьям старалась ударить его ногой, пыталась укусить противную конопатую руку — безуспешно, так как неожиданность предоставила нападающему несравненные преимущества.

Хейнц затолкал девочку в сарай. Скрежеща ключом в замке, он остроумничал в щелку:

— Постарайся уж поладить с крысами, они — мои друзья!

Больше всего на свете Мирьям боялась змей и крыс. И хотя ни одной ползучей гадюки она вовек не видела, но тем страшней были ее «змеиные сны». Большущих крыс с горящими глазами она постоянно видела в подвале и всегда, так же как и Рийна, с визгом кидалась домой. Впоследствии, конечно, было стыдно, только что поделаешь: ее подгонял необоримый страх.

Мирьям сидела в одиночестве на чурбаке в сарае Хейнца и голыми сбитыми пальцами копалась в теплых опилках. Палящее солнце накаляло покрытую толем крышу, и в сарайчике стояла спертая духота.

Мирьям со злости молчала. Она не звала на помощь, а с мрачным спокойствием сидела на чурбаке и время от времени со страхом поглядывала по углам — не покажутся ли крысы. Поначалу они не появлялись, лишь противные, с крестами, пауки покачивались на паутине.

Из соседского сарайчика сквозь удушающую тишину послышался шорох. Не иначе крыса! Мирьям почувствовала, как забилося сердце, и схватила валявшийся на полу чугунный утюг. Рассерженная, держала его наготове, чтобы ударить, — бежать отсюда некуда. Надо было готовиться к самому худшему. Чтобы крыса не вцепилась своими хищными зубами в ее голые пальцы, Мирьям тихонько забралась с ногами на чурбак.

Хейнц пришел посмотреть, что подделывает пленница. Его поразила тишина в сарае. Сквозь щели между досками двери он увидел Мирьям, стоявшую на корточках на чурбаке с утюгом в руках, и Хейнц, посмеиваясь, принялся издеваться:

— Хочешь, я принесу тебе еще кочергу? Крысы все равно обгрызут у тебя уши и пальцы — они у меня ученые! — И, весело насвистывая, он удалился.

Мирьям промолчала, да и что скажешь, когда по спине пробегает холодная дрожь и в висках стучит. Злоба на Хейнца помогла ей пересилить страх, и Мирьям так и не позвала никого на помощь. Пусть попробует кто-нибудь еще назвать ее карапузихой — это ее-то, большую отважную девку!

Ой, что это!

Крыса!

Возле разохшейся капустной бочки она уставилась прямо на Мирьям. Принюхиваясь, чуточку задрала носик, алчные глазки наострены, лапки готовы сорваться с места, хвост, изогнувшись, лежит на опилках. Мирьям не спускала с хищницы глаз. Вдруг резким движением, вложив в него все свои силенки, девочка швырнула тяжелый утюг прямо в сторону крысы.

Трах!

С грохотом рухнула клепка разохшейся капустной бочки. Крыса лежала на опилках — одна из досочек придавила ей хвост, а возле крысиной мордочки появилась маленькая темная струйка.

Почему-то стало еще страшнее.

В замке скрипит ключ. Это Хейнец пришел освободить арестантку — девочку уже сколько времени ищет мама. Она как раз пошла за ней в сад.

Обозленная Мирьям осуществляет самый мужественный в своей жизни поступок, от которого стынет кровь в жилах. Она откидывает досочку, берет крысу за хвост и прячет ее за спиной.

Хейнец выпускает Мирьям из сарая. Когда девочка оказывается во дворе лицом к лицу со своим врагом, она, не долго думая, швыряет ему в лицо мертвую крысу, восклицая:

— Твой друг хочет поздороваться с тобой! Во!

Хейнец орет благим матом и несется домой.

Из садовой калитки выходит мама и сердитым голосом спрашивает дочку, которая стоит посреди двора:

— Где ты пропадала? Давно пора есть!

На этот раз Мирьям оставляет вопрос без ответа и шагает следом за мамой домой.

Сегодня Мирьям моет руки с особым старанием. Матери кажется, что дочка делает это для ее удовольствия, и она смягчается.

На следующий день Хейнц побитым волком бродит по закоулкам и строит новые козни.

Сегодня он никого в сарай не запирает, только ходит, заложив руки в карманы, сбивает носками ботинок клочки травы и гоняет перед собой камушки. Даже не обращает внимания на Рийну Пилль, которая, завидя его, с криком пускается бежать. Рыжий дылда по-прежнему расхаживает задумчивым и медленным шагом по двору.

Черная кошка Мурка сидит на крыше канализационного колодца, греется на солнышке со своим котенком Нурром и щурит зеленовато-желтые глаза. Хейнц останавливается, смотрит некоторое время на кошек, в голову ему приходит какая-то мысль, и он быстрым шагом исчезает в своем сарае.

Мирьям занялась работой в саду. Уже зацвели пионы. Один пышный куст после ночного дождя прямо-таки разваливается. Мирьям втыкает в слежавшуюся землю палки и подвязывает ветки.

Струится насыщенный ароматами воздух, и монотонно жужжат пчелы — все это действует усыпляюще. Мирьям садится на пенек спиленного каштана, чтобы передохнуть. Рассматривает отливающие синевой оконные стекла, за которыми не заметно никакого движения. Бабушка отправилась к подружкам, отец ушел в поисках работы, дядя неизвестно где, а мама с Лоори пошла к зубному врачу — при воспоминании о нем по спине у Мирьям пробегают противные мурашки.

Мирьям разглядывает бабушкины окна с тюлевыми занавесками и вспоминает горящие свечи и черную фигуру бабушки возле дедушкиного гроба. Как давно это было! Вот только боль в душе никак не проходит. Снова и снова приходит на ум дедушка. Хорошо хоть то, что в дедушкиной смерти нет ее вины. После похорон, заболев, в бреду она выдала свою страшную печаль. Когда Мирьям поправилась, отцу с матерью пришлось долго убеждать ее, прежде чем она поверила, что у дедушки просто остановилось сердце, и никакого отношения это к дедушкиному падению с кровати не имеет.

От раздумий девочку пробуждает белая бумажка, которая шлепается у ног вместе с камнем. Мирьям разворачивает оторванный клочок и читает по складам:

«Беги скаррей ко мне в сарай твой друк хочит с тобой поздороваца».

Девочку охватывает дурное предчувствие. Она быстро поднимается с пенька, хватая для самозащиты маленькую зеленую лопатку, прислоненную к груше, и топорливо выскакивает из садовой калитки.

Старый дворничихин пес скулит под дверью, шерсть на загривке всклокочена, морда задрана к небу. В дверях появляется рассерженный дворничихин муж и, схватив собаку за ошейник, тащит ее в комнату.

Под окном, натянув очки на нос, сидит жена извозчика Румма — читает книгу и вяжет.

Из комнаты Хейнца, в раскрытое настежь окно, доносится веселый смех госпожи Бах.

Из двери и окошка прачечной валит пар, и слышно, как плещется на каменный пол вода — не иначе, из котла вытаскивают простыни и перекладывают их в лохань.

Хейнец, повернувшись спиной к двери, колет в сарае дрова и самодовольно насвистывает себе под нос. Чуть в стороне от его головы на упаковочном шпагате повисла кошка Мурка...

Хейнец колет дрова и насвистывает.

Пар из прачечной медленно поднимается к безоблачному небу.

В комнате у дворничихи скулит собака.

Перед глазами у девочки поплыли непонятные круги, и припухлые губы вытянулись в резкую черточку.

Мирьям машинально нащупывает лопатку. Затем хватается обеими руками за черенок и плашмя, гулко ударяет Хейнца прямо по голове.

На его вскрик жена Румма откладывает книгу и сдергивает с носа очки. Госпожа Бах подскакивает к окну, а в дверях прачечной, вытирая о передник распаренные руки, появляется мать Пээтера.

Мирьям убегает домой, бросается на диван и утыкается лицом в малюсенькую круглую подушечку, на которой вышит добродушный гном. Обеими руками она натягивает подушечку на уши.

Со двора далеким эхом доносятся возбужденные женские голоса. Пищит запутавшаяся в занавеске навозная муха. На столе степенно и добродушно бьют мозеровские часы: дзинь-дзень-дзинь! Эхо ударов отдается от

стены к стене и еще на некоторое время повисает в воздухе.

До боли стучит в висках кровь. Голова отяжелела, в ушах стоит звон. Постепенно из разгоряченных глаз начинают катиться безмолвные соленые слезы, и крохотная подушечка с гномом становится влажной.

Настольные мозеровские часы с беспечным безразличием отбивают свое очередное: дзинь-дзень! дзинь-дзень!

На крыльце слышатся тревожные мамины шаги. Бледная, держа Лоори за руку, врывается она в комнату и кричит:

— Ты что, сошла с ума? Могла парня убить!

Мирьям уставилась саднящими глазами в потолок и не отвечает.

Мама беспомощно стоит посреди комнаты. Наконец принимает решение. Подходит, стягивает дочку за шиворот с дивана и несколько раз шлепает ее. Мирьям молчит, голова опущена.

Когда мать отпускает девочку, та снова валится на диван и отворачивается к стене, на душе у нее тошно.

Мать подходит, трясет девочку за плечо и спрашивает:

— Ты что, оглохла? Отвечай же!

Мирьям начинает вздрагивать от сдавленных всхлипываний. Она медленно поворачивает лицо к матери и, заикаясь, говорит:

— Бей!.. Кошку... Мурку... этим... все равно... не вернешь!..

Мама в исступлении вскрикивает:

— Боже мой!

И, в страхе за Хейнца, бросается вон, чтобы узнать, как там с ним.

Котенок Нурр пробрался в комнату и жалобно мяукает. Напрасно ищет свою мать.

«Со всеми-то я рассорилась,— думает, немного успокоившись, Мирьям.— И с Тааветом, и с Хейнцем...»

Может, следовало терпеливо и мирно сносить обиды, чтобы со всеми, со всеми оставаться друзьями? Упрешься — переломишься, так ведь говорят.

Но тут же ей вспоминается кошка Мурка, и Мирьям ощущает в себе бессильную ярость, от которой разрывается сердце и которую уже нельзя подавить.

Наступила середина лета.

Забылась великая ссора между Мирьям и Хейнцем, тем более что детская лопата причинила Хейнцевой голове только легкие царапины — вначале они, правда, кровоточили, но через пару дней зажили. Вскоре после той стычки госпожа Бах вместе с Хейнцем уехала в деревню на дачу, и на бабушкином дворе установилась непривычная умиротворенность. Даже Рийна Пилль осмеливалась теперь являться сюда со своей неизменной розовой куклой на руках.

Котенок Нурр помаленьку вытягивался, рос и, по примеру своей погибшей матери, отважно дрался со старым бродягой Поммом.

Мирьям разочаровалась в дяде Рууди — он все еще не принимался за работу, хотя уже когда наточил пилу и топор. Со скуки Мирьям слонялась по двору и по саду. От сестры Лоори толку не было, все сидит в комнате с девочками повзрослее и играет с ними в скучные бумажные игры. Снова и снова бралась какая-нибудь буква, и все начинают придумывать на нее слова, обозначавшие название дерева, цветка, животного или города.

В «образованной компании» с девочкой не считались — ведь ее даже в школу не пускали: слишком мала еще. И то верно, попробуй без грамоты написать и знать, как будет правильно:

«Бирлин» или, может, «Бэрлин»?

Все шло спокойно своим чередом, до того самого дня, пока соседский хозяин не принялся смолить крышу.

С раннего утра во дворе Таавета кипел и бурлил котел.

К полудню поднялся ветер, но и он не мог развеять духоту. Ветер раздувал огонь под котлом, и пламя лило на закопченные смоляные края.

Таавет внимания на жару не обращал, знай себе подтаскивал на крышу смолу. Залезая наверх, он привязывался веревкой к трубе, размазывал очередное ведро смолы, затем прислонял к той же трубе щетку с длинной ручкой и спускался за новой порцией.

Таавет спешил, потому что жаркий полдень — самое время, чтобы смолить крышу.

Засмолить осталось лишь небольшой кусочек над стрехой.

Уставший и вспотевший, он залез наверх по закапанной смолой лестнице с последним ведром. Не стал больше утруждать себя заботой, чтобы привязаться к трубе ради какого-то незамазанного клочка, а раскорячился на лесенке, что лежала на крыше, и стал дотягиваться щеткой до той полоски.

Последний замазанный клочок на фоне синевато-черной отсвечивающей поверхности быстро уменьшался.

Еще один мазок!

Таавет тянулся, тянулся — и, забыв об опасности, ступил одной ногой на скользкую крышу...

На плитняке, перед крыльцом, перемазанный липкой смолой, недвижно лежал невысокого роста старик — хозяин, садовник и портной Михкель Таавет. Вместе с ним — и на него — с крыши свалилось полведра смолы.

Солнце палило беспощадно.

Ветер разгонял мерцавший парок, который стоял над все еще булькающим котлом, и вихрил на дорожках пепелистый песок.

Первой, кто увидел упавшего на камни Таавета, была Мария.

Тяжело дыша, она прибежала на бабушкин двор.

— Надо... позвать... врача... — задыхалась Мария.

Торговка самогоном, старуха Курри, забыв о белье, которое развешивала, с жадным любопытством спросила:

— Уже рожать собралась, да?

— Хозяин... у крыльца... на земле... — только и могла ответить мечущаяся Мария.

За какую-то минуту во дворе Таавета собрались здешние женщины и ребяташки.

Толкались, причитали, детишки напуганно стояли возле забора, под деревьями. Жилички из «обители старых дев» плакали навзрыд, окрестные бабы вытирали краешками передников слезы.

К прибытию полицейского и доктора Мария успела обрести свое всегдашнее спокойствие.

— Надо бы его привести в порядок, — выпрямившись над Тааветом, произнес доктор.

Мария обернулась к примолкшим женщинам и приказала:

— Принесите керосин, теплой воды, захватите мыло и полотенце.

Женщины бросились выполнять приказание.

Мария вместе с доктором подняли Таавета с земли и перенесли его в тень, под березку. Затем Мария закатала рукава синего выгоревшего халата, с трудом опустилась на колени и принялась мыть своего недавнего домохозяина.

Бабы отошли в сторонку и дали волю языкам.

— Жадность свела человека в могилу. У самого денег за глаза, иль не мог нанять мужика помоложе, который посмолил бы ему крышу,— рассуждала дворничиха.

— Все сам норовил, когтями цеплялся за каждый цент! — заключила трезвая, по случаю стирки, самогонщица Курри, едва сдерживая трясущийся подбородок.

Вся неделя после скромных похорон Таавета прошла в разговорах о гибели владельца «обители старых дев».

Когда Мирьям увидела дядю Рууди, она сказала ему:

— А знаешь, работники иногда умирают, даже когда работа еще не кончилась.

— Ты это о чем? — удивился дядя Рууди, которому как-то сразу не пришел в голову разговор в мастерской.

— Лучше уж быть шутником, они умирают, когда все шутки переведутся,— добавила Мирьям.— По крайней мере, ничто не останется незаконченным.

Дядя Рууди засмеялся, но тут же сделался опять серьезным и сказал:

— Зато шутник знает, когда у него шутки к концу подходят. А это хуже.

Однажды перед воротами Тааветова дома остановилось такси.

Из машины вышли мужчина и худая, в сером костюме женщина. Они направились по песчаной дорожке, через двор, к дому Таавета. Мирьям, сидевшая на заборе, узнала мужчину — это был папин знакомый адвокат, господин Кикенфельдт.

Когда разговаривавшая на чужом языке пара поравнялась с Мирьям, девочка привстала на заборе и крикнула:

— Здравствуйте, господин Кикенфельдт!

Тот помахал девочке рукой и, почтительно склонившись к даме с продолговатым лицом, что-то сказал ей.

Дама кивнула, и тогда господин Кикенфельдт сам подошел к забору, на котором торчала Мирьям.

— Ну, здравствуй, старый друг! — воскликнул он, приближаясь. — Где отец?

— Ах, уже сколько времен.. дома околачивается. Работы нет, — угрюмо ответила Мирьям.

— Пусть сейчас же придет в дом Таавета, — продолжал все так же оживленно Кикенфельдт. — Беги! — закончил он, прищелкнул пальцами, по-дружески подмигнул девочке и поспешил за дамой, которая скрылась за углом.

Вот так отец и стал переводчиком-делопроизводителем англичанки, госпожи Таавет, — на все то время, которое она собиралась пробыть в Эстонии.

Каждое утро отец отправлялся в гостиницу за госпожой Таавет, или, как он называл ее, миссис Таавет (или, как говорила Мирьям, — мис-мис Таавет). Госпожа Таавет — машинистка лондонского универмага — неожиданно разбогатела и могла позволить себе не ночевать в мрачном доме покойного мужа. Из гостиницы отец вез англичанку в город улаживать наследственные дела, потом они обедали в ресторане, а после обеда отец отвозил госпожу Таавет назад в гостиницу.

С наследством дела были вскоре покончены, и госпожа англичанка перевела всю движимость Таавета в лондонский банк.

Осталась последняя забота — поскорее и повыгоднее продать дом с участком, чтобы миссис могла уехать к себе на родину.

Вдова отказалась от скромного серого костюма и строгой прически. Всякий раз, когда она появлялась у Тааветова дома с отцом и каким-нибудь очередным покупателем, пригородные бабы с завистью высматривали ее богатые туалеты, строили осуждающие мины при виде ее неуместно молодежавшей прически и осуждали вихлявую походку.

Негаданно привалившее богатство вызвало на лице англичанки непрестанную улыбку. Пожилая дама, казавшаяся столь суровой по приезде, теперь рассловоохотилась, и через отца история несчастной Тааветовой женьбы разнеслась по округе.

В Лондоне Таавет вынуждал свою семью жить впроголодь, он с ожесточением копил деньги, надеясь открыть крупную портняжную мастерскую. Возникли ссоры меж-

ду молодой женой-англичанкой и скаредом эстонцем. Таавет уехал на родину, а его миссис прослышала вновь о своем муженьке лишь теперь, спустя двадцать лет, в связи с наследством.

Удивлению бабушки не было границ.

— Господи, Таавет ходил к нам через день, по вечерам, почти десять лет, и ни словечка никогда не пророчил, что у него жена и двое детей! — любила она повторять каждому.

В конце концов нашелся покупатель и на Тааветово недвижимое имущество — хуторянин Яан Хави, из Южной Эстонии.

Здоровенный мужик, в галифе и сапогах, он рассуждал во дворе Таавета громким, привыкшим приказывать голосом:

— У меня три наследника. Парни что надо! Меньшие учатся в техническом институте, их мне сам бог велит приткнуть в городе под одну крышу. Старшой, тот при деле — дома хозяйствует, батраков и девок погоняет, когда отец в городе делами ворочает!

И ржал при этом лошадиным смехом, будто поведал самую смешную на свете историю.

Было сразу видно, что Яан Хави — покупатель серьезный, столь обстоятельно он принялся оценивать домо-владение.

Будущий столичный домохозяин обошел все квартиры в «обители старых дев» и каждую жилищку спрашивал с неизменной прямоотой:

— Ну что, мужика нет?

Повсюду следовал отрицательный ответ, и Яан Хави, переходя из квартиры в квартиру, смеялся все раскатистее, так что в полутемных коридорах из потолочных щелей сыпалась труха и казалось, что у будущего домохозяина рот на его пунцовом лице вот-вот порвется. Счастливая миссис семенила вслед за топающими сапожниками, и так как она ничего из слов Яана Хави не понимала, а уставший переводчик держался в сторонке, то англичанка просто смеялась вместе с жизнерадостным покупателем.

Потом Яан Хави пошел осматривать сад.

— Что? — пробормотал он сердито, завидя редкостные цветы. — Что же это на самом деле? Извести на цветки столько дорогой землицы!

Сделка состоялась. Оценив уступчивость англичанки, Хави согласился приобрести также движимое имущество Таавета.

И вновь начались торги.

Яан Хави расселся на софе в задней комнате, уперся ручищами в колени и приказал отцу Мирьям прокрутить на граммофоне все пластинки — одну за другой. Инструмент изрыгал в этом всегда таком безмолвном доме народные песни и разухабистые польки. Яан Хави был захвачен музыкой. В такт вальсам он раскачивался с таким усердием, что софа ходила под ним ходуном, раздавалась полька — топал так, что пыль поднималась до потолка.

Миссис Таавет смеялась до слез.

Когда черед дошел до книжного шкафа и новоявленный домохозяин начал взвешивать на руке тяжесть каждого тома, англичанка устала от всего и велела перевести, что книги она отдает задаром, в придачу.

Затем миссис прошла в заднюю комнату, включила красную пучеглазую сову и молча, в одиночестве некоторое время смотрела на «свет любви».

На следующий день явился фотограф Тохвер и, по желанию миссис Таавет, запечатлел проданные дом и сад — на память, как объяснила англичанка, и чтобы показать детям.

В последний день перед отъездом вдова купила роскошный венок. На такси она отправилась на могилу покойного Таавета. Потом приказала вызвать в гостиницу владельца мастерской, где изготовлялись надгробия, и заказала на могилу мужа мраморную плиту, — с тем чтобы имя было выбито, и годы жизни помечены, и чтобы в углу красовалась гибкая пальмовая ветвь. Заплатила вперед и попросила фирму позаботиться, чтобы плиту установили на место.

Выполняя свою последнюю обязанность, отец отвез англичанку вместе с ее багажом на пароход.

— Вот и все, — вздохнул отец, протягивая матери только что вырученные деньги, и, мрачный, стал расхаживать по комнате, все еще не снимая своего лучшего костюма.

— Удалось хоть разок своим знанием языков заработать на хлеб, — радостно заметила мама.

— Противно было, — отмахнулся отец.

Мама пожала плечами, ей было не понять, почему отец остался недоволен такой выгодной и легкой работой.

А на соседском дворе стоял шум и гомон. Новый хозяин вселял на городское жилье своих сыновей.

Поздним вечером, когда дневная жара улеглась и на пригород опустилась благословенная тишина, Яан Хави уселся перед своим домом на деревянном диванчике и задымил трубкой.

«До цветущего фикуса Таавета теперь никому и дела нет, а диво-цвет опять сиротой остался». Так, засыпая, подумала Мирьям.

15

Все же дядя Рууди не солгал.

В саду строили корабль.

И хоть Мирьям знала, что яхту строят Руудины друзья, что поставленный на козлы каркас мастерили целую неделю, все же у Мирьям было совершенно другое представление о том, как очутился возле беседки остов будущего корабля. Ей казалось, что ночью море неслышно прокралось в сад, заманило с собой огромную рыбину, а потом коварно откатилось назад, и рыбина осталась лежать на деревянных козлах. У нее не было спасения, она умерла, и остался после нее посреди зелени выбеленный солнцем скелет с покоробившимся позвоночником.

Мирьям встала, подошла к белесому каркасу, неуверенно протянула к нему руки — и разочаровалась. К пальцам прилипла смола. И никакой сокровенной тайны.

Поддевая ногой шуршащие стружки, Мирьям с досадой подумала, что все эти сказки, которые ей иногда читают, вранье, — во всяком случае, тут, в их пригороде, чудес никогда не бывает.

Стукнула садовая калитка.

Под яблонями, ветки которых образовали сводчатый проход, показались дядины друзья, сам Рууди шел чуть позади и лениво вертел между пальцами трость.

В тот раз, когда дядя Рууди в мастерской говорил о предстоящей постройке яхты и Мирьям спросила, на что им это судно, он ответил, что сгодится под парусами ходить и во хмелю бродить. А теперь поговаривают, будто строят яхту за тем, чтобы катать по заливу невест. По-

тому, наверно, дядя Рууди и пальцем не пошевелинет возле яхты,— у него невест столько, что они на эту яхту разом не уместятся. Ну, а то, почему отец не вошел в дяди Руудину компанию, для девочки было яснее ясного: у отца была мама и ни одной невесты — кого же прикажете катать! Но какое все-таки в конце концов найдут для яхты применение, когда она будет готова,— в этом у девочки ясности не было, ведь взрослые так непостоянны. Может, и правда, что ходить под парусами и во хмелю бродить, а может, только за тем, чтобы возить невест.

Мирьям повторяла про себя эти потешные выражения: под парусами ходить, во хмелю бродить, возить невест.

Работа шла полным ходом.

Вспотевший от усердия Аплон — парень с богатырскими бицепсами и лоснящимися волосами — с такой сноровкой и легкостью орудовал топором, что Мирьям невольно снова и снова задерживала на нем взгляд. Другой — медлительный и приветливый Яан Эрбак — хоть и уступал в силе Аплону, зато на его долю приходились наиболее тонкие работы, которые требовали самого большого усердия. Он никогда не торопился, а то даже откладывал в сторону молоток со стамеской, отступал от каркаса шага на два назад и, склонив к правому плечу голову, присматривался.

Но вот третий, которого величали Генералом и который то и дело порывался командовать, как и пристало полководцу,— тот вообще не задерживался на месте. То он хватался за молотки и какое-то время постукивал, то закатывал рукава у рубашки еще выше, брал пилу и разрезал, бог знает зачем, пополам какую-нибудь чурку, что потоньше. И тут же начинал проверку, остра ли стамеска, успевал еще поведать о разных случаях из своей жизни и даже рассказать об истории судостроения как в Эстонии, так и в других великих морских державах.

Генерал своим звонким чирикающим голоском напоминал девочке воробья.

Дядя Рууди подошел к племяннице сзади и так неожиданно поднял ее в воздух, что у Мирьям захолодело под сердцем. Подбросив ее несколько раз вверх, он усадил девочку к себе на плечо и подал ей свою резную трость.

— Ого! — радостно воскликнула Мирьям, она знала, что теперь ей предстоит собирать яблоки с самой макуш-



ки. Длинноногая самоходная лестница послушно останавливалась как раз там, где вверху висели самые аппетитные плоды. Рууди терпеливо стоял и ждал, пока Мирьям пригибала тростью ветку и набивала яблоками карманы. Мирьям могла часами заниматься этим увлекательным делом, вот жаль только, что дядя Рууди устал, начинал задыхаться и ссаживал ее на землю.

Дядя Рууди был таким же неугомонным, как Генерал, нет чтобы посидеть спокойно в беседке и перевести дух, он тут же принимался петь, делая при этом упор на букву «р»:

Шелковый флаг и сер-рреб-ррр-яный пар-ррус,
в море выходит ладья золотая...

Мирьям смотрела на своего невероятно длиннющего дядю, у которого один глаз был голубым, а другой — коричневым, и ей припомнился разговор отца с матерью, свидетельницей которого она случайно оказалась.

— Надолго ли так Рууди хватит, у самого здоровье совсем никудышное, а он знай прожигает жизнь! — с горечью сказал в тот раз отец.

— Да, о своем здоровье он совсем не заботится, — подтвердила мама.

Мирьям тогда ощутила тяжкую обиду и, утешаясь, повторяла про себя шепотом:

— Ерунда! Ерунда! Ну что за ерунда!

И все же какое-то сомнение было посеяно.

Дядя Рууди допел песню о шелковом флаге и серебряных парусах до конца, поднялся и, не сказав никому ни слова, ушел. Он шел по заросшим садовым дорожкам, чуть согнувшись, чтобы ветки яблонь не сбили с него шляпу, полы пиджака распахнуты, и по привычке, развлечения ради, вертел своей тростью.

Мирьям с болью в сердце крикнула ему вслед:

— Дядя Рууди, ты что, пошел жизнь прожигать?

Генерал с воробьиным говором восторженно расхохотался, Аплон улыбался, только Яан Эрбак мельком укоризненно взглянул на девочку.

Дядя Рууди обернулся на возглас племянницы, остановился, приподнял ручкой трости край шляпы, галантно поклонился и произнес:

— Именно так, милостивая барышня. Извольте составить компанию?

Парни, строившие яхту, дружно расхохотались.

Мирьям огорчилась.

Вдруг в ее голове мелькнула мысль, поднявшая настроение.

Надо будет подговорить ребят со двора и тоже построить роскошный корабль!

На следующий день за извозчиком Руммом неотступно, словно тени, следовали трое ребят — долговязый, поджарый Уно, одетый в тельняшку Пээтер и Мирьям с челкой до самых бровей. Ребята пронюхали, что в сарае, в котором содержалась старая белая кобыла Мийра, извозчик Румм хранил оставшуюся еще с мировой войны развалюху-телегу. Она стояла без дела у задней стены, перевернутая вверх колесами.

Пээтер, Уно и Мирьям через щели в крыше основательно разглядели зеленую военную повозку и пришли к выводу, что ящик телеги можно переделать: если не яхта, то лодка обязательно получится. Но на пути этого потрясающе захватывающего плана стоял Румм, которому было жаль отдавать телегу, хотя покупатели и соглашались только на ящик и колес не просили. Извозчик требовал за свою зеленую рухлядь целых десять крон и ни цента меньше. Таких невероятных денег разохотившимся ребятам достать было неоткуда.

Про затею Пээтера, Уно и Мирьям прослышал большеголовый Хуго из дома господина Пилля. Хуго сидел за очередную проказу под домашним арестом и днями напролет торчал у кухонного окна. Хуго обещал справиться с упрямым извозчиком и помочь друзьям. Каким образом — этого он не сказал.

На всякий случай, по наущенью Мирьям, попытались счастья у извозчихи.

Та с утра до вечера сидела под окном и, водрузив очки на нос, вязала кружева. Занятая своим делом, она между тем всегда точно знала, кто с кем поругался, о чем говорили в подвальной прачечной и к кому пришел гость.

Дети забрались на каменные приступки, выходившие во двор, и кротко выстроились в поле зрения госпожи Румм.

— Не попросите ли вы господина Румма, чтобы он отдал нам свою старую телегу или хотя бы продал подешевле! — Мирьям пустила в ход все свое умение разго-

варивать, в то время как Пээтер и Уно застыли рядом, подобно почетному караулу.

Поодаль, в конце двора, дворничиха пререкалась с самогонщицей Курри. У извозчихи просто не было времени, чтобы обратить внимание на заданный вопрос. Когда Мирьям, повторила просьбу, извозчиха отмахнулась:

— Проваливайте, ничего не знаю. Поговорите со стариком.

Однако Хуго обещал им помочь, и однажды вечером он приступил к делу. В момент, когда старый Румм хлопотал возле своей Мийры, Хуго принялся швырять из окна кухни на крышу сарая горящие головешки. Почувяв запах гари, испуганный извозчик вышел из сарая; завидя на крыше дым, быстро залез по лестнице наверх и, ругаясь на чем свет стоит, начал скидывать горящие головешки наземь.

— Я полицейского приведу, хулиган ты эдакий! — заорал он, грозясь кулаками в сторону Хуго.

Хуго, будто это к нему не относится, швырнул очередную головешку.

— Пока вы не отдадите свою зеленую телегу, я вас в покое не оставлю, — независимым тоном объявил парнишка.

Мать Хуго вовремя поспела на место происшествия, и наступление на сарай было остановлено. Домашний арест для Хуго был продлен на целую неделю, да еще вдобавок ему запретили открывать кухонное окно.

В тот же вечер обессиленный от осады извозчик пошел с ребятами на мировую. Сошлись на двух кронах. Детишки собрали все свои центы, и телега сменила владельца.

Извозчик Румм даже колеса отдал. Вот и хорошо, что повозка осталась на ходу, легче будет перестраивать. Отпала забота о том, как доставить лодку к морю.

Хуго напряженно следил из кухни за тем, как двигалось строительство, писал огромными буквами послания и прикладывал бумагу к стеклу, чтобы внизу могли прочесть.

«ВЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ МЕНЯ В КАПИТАНЫ», — звучало первое требование.

Пээтер сложил ладоши рупором и прокричал в ответ: — Капитан — я! Ты будешь рулевым!

«Так оно и должно быть, — подумала про себя Мирьям»

ям.— Раз у него отец матрос, то Пээтер имеет полное право стать капитаном».

Вскоре в окне появилась следующая бумага:

«ТОГДА НЕ ЗАБУДЬТЕ РУЛЬ!»

В самом деле, они чуть было не забыли о нем.

Из досочек, которые Мирьям принесла со стройки яхты, ребята смастерили для своей лодки светлый треугольный нос. Даже скамейки для команды сработали, не хватало еще руля и мачты, чтобы поднять парус.

Наконец отпала и последняя забота. На чердаке, под стрехой отыскали пришедший в негодность флагшток, великолепно заменивший мачту. Рванный мешок из-под картофеля, сташенный Пээтером, приспособили вместо паруса, руль сделали из обрезка доски и прикрепили к задку телеги ржавой дверной петлей — не беда, что она поворачивалась всего в одну сторону! И Хуго, все еще изнывавший под домашним арестом, вроде бы остался доволен.

Наконец лодка была готова. Она покоилась посреди двора на четырех колесах, в которых не хватало спиц, с картофельным мешком вместо паруса и некрашеным полузадраным носом-треугольником впереди. Ближние ребята приходили любоваться кораблем. Когда ребят набиралось много, Пээтер залезал в лодку и пел:

Мы — молодые моряки,
и море нас не испугает...

Он делал вид, что опирается о мачту — по-настоящему прислониться боялся, — флагшток мог, того и гляди, ко всеобщему позору, свалиться.

Явилась и хозяйская дочка Рийна. Как всегда, она с нежностью баюкала свою розовую куклу, а на кудрявой голове у нее красовался белый бант; склонив голову набок, Рийна просила:

— Возьмите меня с собой.

— У нас уже команда в полном составе. Я — капитан, Хуго — рулевой, Уно — старший матрос, Мирьям — младший, тебе понятно? — от имени команды заявил ее капитан — Пээтер. — Какой же это пиратский корабль, если он станет принимать на борт прогулочных пассажиров?

— А вы возьмите меня коком, — канючила Рийна Пилль, ковыряя землю носком своей лакированной туфли.

— Ты же ничего готовить не умеешь, кроме как кашку своему обкормленному карапузу,— съязвил Пээтер, ему была не по душе эта ухоженная паинька.

— Пираты вообще едят сырую тюленину и запивают китовым жиром, так что им кока и не нужно! — утешения ради сказал он чуть погодя, потому что при виде Рийниных подрагивающих губ Пээтеру — этому бывалому морскому волку — стало жалко девчонку.

Точку поставил Уно.

— Рийна Пилль — плакса-вакса-гуталин,— скорчив рожу, пропел он и принялся возбужденно пританцовывать в лодке.

Рийна с плачем кинулась прочь.

Посудину юные пираты окрестили «Зеленым черепом». Это устрашающее название было намалевано дегтем на носу лодки.

Хуго, по ту сторону двойных рам, восторженно размахивал руками.

«ЗДОРОВО!» — можно было прочесть на листке, приложенном к оконному стеклу.

Спуск корабля на воду должен был произойти одновременно со спуском яхты, которую строили взрослые,— для этого был назначен срок — раннее воскресное утро. Да и «тюрьма» у штурмана Хуго кончалась в субботу, так что в воскресенье утром команда могла в полном составе и в веселом расположении духа отправиться в путь.

Они горели желанием выйти в открытое море. А сильное желание — залог победы, в этом не было никакого сомнения.

16

Иногда Мирьям жалела, что вообще родилась на свет. Так было и в субботу, накануне выхода в море, когда она спросила у дяди:

— А ты у себя на яхте капитан?

— Нет.

— А кто ты тогда?

— Никто.

— Ну, а все-таки? — не верила Мирьям.

— Я — прогнившая лестница, которая уже скоро не сможет носить тебя на плечах, если ты вдруг захочешь достать яблоко.

— А ты смоги! — требовала Мирьям, и совсем не из упрямства, а потому что хотела, чтобы Рууди все-таки был хоть кем-нибудь, хоть лестницей, но только не прогнившей.

— Ты растешь, а я устаю и не могу больше,— улыбался дядя Рууди.

— И ты этому рад? — удивилась Мирьям, заметив на дядином лице улыбку, сопровождавшую столь грустное признание.

— Нисколечки,— со смехом ответил он.

— А почему же ты тогда смеешься?

— А потому, что у тебя такой любопытный носик.— И дядя Рууди в подтверждение своих слов легонько щелкнул девочку по носу.— И потому еще, что сама ты с ноготок, а хочешь оглядеть землю чуть ли не с двухметровой высоты,— закончил дядя Рууди.

— А я хочу,— Мирьям стучала кулачком по дядиной костлявой руке,— хочу, чтобы ты был хоть кем-нибудь и чтобы ты жизнь свою не прожигал, и хочу, чтобы на Покойную гору не уходил...

— Мало ли что...— дядя стал серьезным и взял заплакавшуюся Мирьям к себе на руки.

Девочка не любила слез и рыданий, и поэтому она уткнулась лицом за отворот дядиного пиджака.

Она всхлипывала на руках у дяди. А сад благоухал запахами яхты, цветов и земли. Мирьям успокоилась и подумала, что все кругом такое непонятное и такое сложное. Как тот же дядя Рууди, который после дедушки — самый лучший, но только и самый далекий, и всегда пробуждает в ней какую-то необъяснимую грусть, хотя и смеется без конца. Было бы куда проще, если бы люди смеялись, когда им радостно, и плакали бы только тогда, когда им бывает грустно.

— Ну, барышня, так как — будем жить дальше? — спросил Рууди.

— Ладно,— вздохнула девочка.

Ей нужно жить дальше хотя бы уже потому, что капитан «Зеленого черепа» Пээтер дал юнге задание завтра спозаранку разбудить команду.

В ту ночь Мирьям не спала, а лишь слегка подремывала, стараясь не пропустить бой часов; как только они отбивали время, она подкрадывалась к окну, выходящему в сад, и смотрела, скоро ли взрослые закончат обмывание своей яхты и начнут собираться в море.

Когда часы на столе пробили один раз, в саду все сверкало от разноцветных фонарей. Мечтательно грезили в мягком свете фонариков высокие акониты, и белая яхта, украшенная флажками расцветивания, в ожидании попутного ветра возвышалась над цветами, подобно дирижаблю. Бархатистая и благоухающая ночь доносила до Мирьям бабушкину песню:

Цветы расцветут,
и распустятся розы,
незабудки-цветы расцветут...
Скажу вам еще раз:
юность прекрасна,
юность вовек не вернуть...

Вина хватает, пир в самом разгаре, и ветра тоже нет, отметила Мирьям и легла, чтобы подремать до следующего боя часов.

Во время очередного боя часов из беседки донеслись хихиканье невест, чириканье Генерала и всеобщий гомон. К великому изумлению Мирьям, по саду, взявшись за руки, прохаживались отец с матерью. Они о чем-то тихонько разговаривали.

«Как будто бы и не мама совсем, а какая-нибудь невеста!» — с досадой подумала Мирьям.

А в три часа она увидела, как, поддерживаемая дядей Рууди, пошатываясь, к дому брела бабушка, а богатырь Аплон подкидывал на прозрачной от заревого света садовой дорожке пудовую гирию. Невесты стояли полукругом и, сложив под грудью руки, смотрели на все это.

«Как много у Аплона красивых белых зубов», — удивилась Мирьям, заметив торжествующую улыбку Аплона.

Когда настольные мозеровские часы своим неизменным радостным звоном гулко отбили четыре удара, уставшая Мирьям снова проковыляла к окну и испугалась — дремоту как рукой сняло: ветер сдувал в опустевшем саду стружки, трепал бумажные флажки и раскачивал потухшие фонари.

«Как хорошо, что мама с папой и Лоори спят без задних ног», — осторожно закрывая за собой дверь, подумала Мирьям.

Она подкралась под окно капитана Пээтера, подняла припасенный с вечера шест, которым подпирали бельевую веревку, и легонько стукнула по раме.

Через мгновение в окне показался Пээтер, минуту спустя он был во дворе, где юнга Мирьям уже возилась с парусом «Зеленого черепа».

Условленным свистом были подняты с постелей остальные члены команды — Уно и Хуго.

Яхта, установленная на катках, с трудом продвигалась к морю — по дороге, окаймленной по обеим сторонам разномастым огородам. Судостроители, столь неугомонные с вечера, теперь устало подталкивали своего «Лебедя». Невесты шли следом, дрожа от утренней прохлады, и, взявшись под руки, жались друг к другу, чтобы было теплее.

Вдруг за кормой медленно подвигавшейся к морю яхты раздался страшный грохот. Сзади приближалась странная повозка: на булыжнике мостовой подскакивали четыре колеса с железными ободьями, спереди у зеленого тележного ящика был приделан белый вздернутый нос, а на нем красовалась заметная издали черная надпись: «Зеленый череп». Посреди ящика стояла палка с дырявым мешком, трепыхавшимся от быстрой езды. Оглобли у странной повозки были связаны веревкой, меж оглобель бежали трое запыхавшихся босоногих мальчишек — Уно, Пээтер и освобожденный накануне от домашнего ареста Хуго. Сидевшая на повозке Мирьям на всякий случай приткнулась за парусом, во избежание всяких неприятностей, — она не хотела попадаться на глаза почтенному обществу яхтсменов.

Парни, катившие «Лебедя», остановились, чтобы перевести дух, и удивленно оглядывали гордо пронесшийся мимо «Зеленый череп». Нарисованные на его корпусе зеленый череп и скрещенные кости невольно заставили парней и их невест рассмеяться.

«Зеленый череп» с грохотом катился к морю и вскоре исчез с глаз. Мирьям осмелилась выбраться из своего укромного местечка и прыгнула на землю, чтобы помочь ребятам катить телегу по песчаному побережью, самому трудному участку пути. Общими усилиями — мальчишки тужились впереди, Мирьям пыжилась сзади — лодка-телега оказалась на увлажненном волною пляже.

Команда поспешно стащила свою посудину с колес и столкнула ее на воду. Накатистые волны подхватили те-

лежный ящик и завертели его. Солоноватый морской ветер резко трепал мешковину.

— Ахой, живо! — скомандовал капитан «Зеленого черепа» и повязал себе на голову отличительный пиратский знак — красный платок. — Мы должны опередить этого несчастного «Лебеда»! Встретимся с ними в открытом море, где наш грозный пиратский корабль возьмет «Лебеда» на абордаж. Ахой, паруса! — крикнул он и первым вскочил в лодку.

Несмотря на то что они по-всякому ставили свой парус, ветер упорно прибывал посудину обратно к берегу. У «Зеленого черепа» не было весел; не оставалось ничего другого, как вытащить мачту и, отталкиваясь от неглубокого песчаного дна, постараться отойти от берега.

Когда пираты наконец достигли открытой воды, где мачта уже почти не доставала дна, объявилась новая беда. Из щелей, наскоро заткнутых паклей, прибывала вода. «Зеленый череп» на глазах погружался в пучину.

Предводитель пиратов, капитан Пээтер, понурившись, сидел на носу лодки, сам уже по колено в воде, и был не в состоянии командовать экипажем. Мирьям забралась с ногами на скамейку и беспомощно озиралась вокруг. Хуго что есть силы ворочал на корме рулем, словно этим он мог остановить погружение.

Самый предприимчивый из всех, Уно принял командование на себя. Он крикнул:

— Полундра, спасайся, кто может! — и первым бросился в воду.

Хуго оторвал от петли руль и вместе с ним прыгнул за борт. Мирьям, которой впервые в жизни приходилось терпеть кораблекрушение, ухватилась за рубашку бывшего пирата Пээтера и вместе с ним плюхнулась в волны. Все боролись за жизнь, барахтаясь в бутылочно-зеленых волнах. Когда ноги стали доставать до дна, пираты грустно посмотрели назад. Волны подкидывали к берегу оставшуюся на поверхности мачту, парус из мешковины то исчезал под водой, то вновь показывался на поверхности.

Вконец обессиленные, четверо мореходов опустились на песок. Ребята никак не могли отдышаться, Мирьям выжала волосы и подол платья, никто не проронил ни слова.

— Идут! — Капитан погибшего корабля первым заметил приближавшегося издали белого «Лебеда».

Яхта медленно подвигалась к воде. Теперь и невесты подталкивали — видимо, они замерзли.

Поодаль, сонно бормоча, недоумевающий пляжный сторож тащил на свалку невесту откуда появившийся здесь остов телеги без ящика.

Промокшая насквозь команда «Зеленого черепа» укладкой прошмыгнула за песчаные дюны.

Гордый «Лебедь», раздувая белые паруса, выплывал в открытое море. Четыре промокших пирата брели по дороге домой.

— Теперь, как пить дать, очередной домашний арест обеспечен, — проронил штурман Хуго.

— Donnerwetter! — выругался капитан Пээтер. — Ни за что пропала лодка да еще колеса-оглобли в придачу!

Простые матросы — Уно и Мирьям — безучастно вышагивали следом.

Когда самый младший член гуськом шагавшей команды оглянулся, он увидел, как в голубом небе плывет под розовыми парусами корабль. Словно давнишняя мечта самой Мирьям, а вовсе не «Лебедь», построенный дядиными руками...

«Может, из меня тоже получится никто, как из дяди Рууди?» — подумала грустная Мирьям — затонувшая лодка подрезала крылья ее самоуверенности.

Бархатная августовская погода была под стать великолепному настроению Мирьям.

Она сидела на солнышке на ступеньках крыльца и раздумывала о жизни и счастье. Во-первых,— Мирьям с неспешным достоинством загнула мизинец,— у отца есть работа. Не простая работа, о нет, он заведующий магазином! Эта должность казалась девочке необычайно значительной. Куда значительней, чем, скажем, лавочник,— в самом деле, разве можно было того же лавочника Рааза с его замасленным передником сравнить с отцом, который по утрам, с портфелем в руках, отправляется на автобусе в центр города. Мирьям зажмурилась и представила себе, как ее отец сидит за черным письменным столом, положив руки на гладкую полированную поверхность, и время от времени отдает распоряжения подчиненным, которые могут войти к нему в кабинет лишь постучавшись, а когда уходят, всегда раскланиваются.

Во-вторых,— она загнула следующий палец,— ведь это тоже счастье, если кого-нибудь любят. А с того самого дня, когда отец получил работу, Мирьям любит адвоката Кикенфельдта. Это он помог отцу. Только вот любовь ли это все-таки? Мирьям испугалась и передумала, потому что любить — слово какое-то слишком высокое. Относилось оно, пожалуй, только к одному дедушке. Ско-

рее уж она просто обожает адвоката Кикенфельдта — это слово подходит больше. Если бы у Мирьям была маленькая церковка, она бы повесила над алтарем изображение господина Кикенфельдта и ходила бы молиться перед ним, чтобы отцу навсегда оставили его хорошую должность. Мирьям подумала, что мечтать о церкви, конечно, нужды особой нет, можно приколоть фотокарточку Кикенфельдта в углу за шкафом — тоже сойдет. Был бы он вместо бога, которого называют спасителем. И стал бы Кикенфельдт тогда благодетелем. Это куда лучше. Сразу видно, что сделал добро.

В-третьих,— и еще один палец прибавляется к двум,— счастье также и в том, что отец не пьет и дома больше не скандалит. Мирьям старалась убедить себя, что отец никогда и не пьянствовал, что дома у них никогда и не бывало ни ругани, ни отвратительных сцен, что семья у них такая же хорошая, как у соседского хозяина, господина Пилля. Потому что в хороших семьях обязательно вырастают хорошие и аккуратные люди, например, из соседской Рийны Пилль должна выйти примерная бабышня.

Может, Мирьям и вообще бы забыла обо всем плохом, что было когда-то в их семье, но только кто-нибудь все равно нет-нет да и напоминал об этом. Хотя бы та же самая госпожа Бах — как-то на днях она стояла на крыльце, подперев руками грудь, и говорила бабам:

— Не думайте, что хозяйский Арнольд уже и гулять-то бросил. Уж кто-кто, а я знаю!

И женщины, соглашаясь, с гадким единомышленником кивали ей.

Самогонщица Курри, подсмеиваясь, добавила от себя:

— Недолго ему портфельчиком помахивать, уж помяните меня, вставят ему скоро в зад перо!

И все же это не разрушало полностью девочкиной веры и ее ощущения счастья. Не такой отец дурак, чтобы не понимать,— как сказала мама,— что значит обеспеченная жизнь. Обеспеченная жизнь — это, наверно, будет все равно что уверенная жизнь, одним словом, когда никто ни к кому не лезет.

Мирьям — теперь она знала, что требуется для счастья,— судорожно сжимала три согнутых пальца, словно боялась: разожми она пальцы — и счастье выскочит из ладони.

Счастье, оно все же, наверное, очень короткое, придется — и нет его, хотя счастливые сами и не верят в такой поворот.

Мирьям посмотрела на свои картонные часы, приклеенные стрелки которых показывали полдень, и подумала, что маме пора бы кончить прихорашиваться — они же договорились пойти в парк погулять. Сейчас, когда они жили обеспеченной жизнью, мама почему-то стала больше тратить времени на прическу и на подкрашивание. Мама и без того самая красивая мама, чего там еще изводить зря помаду!

Наконец мама собралась, и они отправились в путь. Впереди шли Мирьям и Лоори, обе в розовых ситцевых платьицах, в белых панамках, взявшись, ради великого мира и согласия, за руки; родители шагали чуть позади, и шли они, к удовольствию Мирьям, пускай и не столь уж легкомысленно под ручку, но все же рядышком и довольно близко. Все как положено хорошему семейству — обеспеченному семейству заведующего магазином. Во имя этого Мирьям готова была идти хоть на край света, держась паинькой за ручку Лоори.

Воскресный приморский парк — какой это звонкий и пахучий мир грез!.. Стоят зеленые и желтые будочки с улыбочными продавцами, и продают там всякую всячину — девочкам навесили на шею по связке ароматных баранок, ломай по кусочку и грызи хоть целый день, все равно хватит. Купили даже лимонаду, и меду тоже, а его обычно давали, только когда случалось болеть и когда особой охоты до него и не было. А в стороне между деревьями, под волшебные звуки шарманки, кружилось лучшее из лучших — разукрашенная карусель. Мирьям до того загляделась на нее, что забыла о трех вспотевших счастливых пальчиках, сжатых в кулачок, и растопырила их.

Сочившаяся между крутыми известняковыми плитами вонючая сточная канава, которая отделяла карусель от будочек с напитками и баранками, вернула девочку, захваченную манящей музыкой, к действительности. Совсем как те бабьи разговоры во дворе, что накликали беду. Мирьям снова упрямо сжала три счастливых пальчика и, держась за Лоорину руку и стараясь не смотреть вниз, смело шагнула дальше по шатким мосткам.

Карусель!

Забыв обо всем, замороженная Мирьям пошла к вертящемуся диву, вокруг которого толпились люди. Мирьям успела заметить Пээтера верхом на деревянном коне, увидеть Рийну Пилль, которая рядом с матерью сидела в расписанных розами санях, и услышать первые тягучие звуки шарманочной музыки. Парение на полуметровой высоте было в самом разгаре. Опускались и взлетали вверх разукрашенные розами сани, и рвались вперед удалые кони с толстыми красными губами. Снова промелькнул Пээтер — его матроска прочертила перед глазами полосатый сине-белый полукруг, а залихватское «Но-оо!», которым он подгонял своего коня, порой даже перекрывало музыку, уже не поспевавшую за быстрой скачкой. Жадный девочкин взгляд успел выхватить развевающуюся шелковую ленточку в Рийниных волосах и ее бледное лицо, которое было обращено в сторону движения. Зато открытый рот и взгляд госпожи Пилль, которая смотрела на публику, выражали такую же радость, какая была нарисована на лошадиных мордах, и смех ее оставался неслышным, как оставалось безмолвным и радостное лошадиное ржание: шарманка все заглушала.

Рийна вцепилась в материну руку и, видать, особого удовольствия от катания не получала, а вот госпожа Пилль ничего не боялась, она даже махала рукой своему мужу, который стоял за ограждением и наблюдал, как кружится карусель.

Мирьям смотрела во все глаза и не могла вымолвить ни слова, лишь тянула маму за руку, как тянут гири у часов, когда они опустятся, и надеялась, что ее поймут. И действительно поняли. Когда смолкла музыка и разгоряченные кони усмирили свой бег, мама вместе с Лоори и Мирьям пошла к кассе.

На стене будки был нарисован медведь, и из его брюха сморщенная, с трясущейся головой старушка протягивала билеты.

Мирьям и Лоори направились к остановившейся карусели, там как раз в это время побледневшая Рийна перекочевывала из саней к папочке на руки.

А вот Пээтер, тот сегодня выглядел счастливым, в его отвисших карманах, казалось, хранились неистощимые запасы центов; он снова появился у карусели, помахивая билетом, и с разбегу вскочил на белую лошадь. Капитанские замашки, подумала Мирьям, только сегодня и у младшего матроса выдался неплохой денек!

Мирьям и Лоори сидели в напряженном ожидании, нетерпеливо раскачиваясь на лошадках, подвешенных на тросах, Мирьям сочла необходимым натянуть панамку, игриво сдвинутую на затылок, поглубже на лоб, чтобы новая вещь не слетела с головы и не потерялась при быстрой езде.

С натугой сдвинулся с места санно-лошадиный караван, бородатый старик, проверявший билеты, исчез в таинственном чреве карусели, и вот уже раздались первые дребезжащие звуки шарманки.

Едва Мирьям успела помахать родителям на прощание, как кони и сани уже мчались полным ходом. Мирьям подалась вперед, шлепнула коня ладошкой по крупу, вцепилась руками в тросы, еще раз пришпорила каблуками лошадь под бока, сознавая, что теперь-то уж ее конь мчится во всю прыть. Лоори кинула взгляд на сестренку, подмигнула и беззвучно засмеялась — ликующая музыка заглушила все остальное.

Мирьям закрыла на мгновение глаза и почувствовала, как взлетает над верхушками сосен. Баранки прижимались к груди, и ветер трепал поля панамы. Девочке казалось, что она летит сквозь тучи, но тут музыка прервалась, и летучая лошадка перешла с рыси на мелкую трусцу.

Мирьям открыла глаза и увидела грязный песок, который медленно проплывал под лошадиными копытами. Мелькнул бородач — он стоял между цветастыми занавесями и дожидался, пока остановится карусель. И только деревянные кони по-прежнему смеялись деревянным смехом, оскалив белые нарисованные зубы между нарисованными красными губами.

Когда Мирьям, пошатываясь, вышла за канатное ограждение, она с затаенной надеждой еще раз дернула мамину руку, однако намек не помог.

— Нельзя больше, а то укачает, — сказала мама.

Пришлось смириться.

Мирьям снова старательно зажала на счастье три пальчика и подумала, что если от карусели может быть дурно, то это тогда, видимо, вообще и не счастье, потому что от настоящего счастья, от такого, что бывает у обеспеченного семейства, никогда не укачает.

Уже на аллее, после того как умолкла шарманка, до них донеслось:

— Лотерея! Аллегри! Лотерея!

— Попробуйте счастья! — маняще призывал громкий голос.

Все четверо испытали свое счастье. Отцу с мамой и Лоори не повезло, Мирьям же через дощатый прилавок подали глобус.

Она держала тяжелый шар за ножку и не могла сообразить, что же с этой громадиной делать.

— Это — земной шар, — умудренно прошептала Лоори.

Мирьям дотронулась до поблескивающих сине-желтых разводов, и шар неожиданно сдвинулся от прикосновения, стал вращаться.

И даже когда они сели в тень под кустом и мама выложила аппетитные бутерброды, Мирьям все еще украдкой дотрагивалась до глобуса и все думала.

— Неужели земля и вправду, по-всамделишному такая? — наконец спросила она у отца.

— Да, только куда больше.

— И крутится тоже?

— Совсем как карусель, — кивнула мама.

— И мы крутимся? — Мирьям не могла этому поверить и крутнула пальцем глобус.

— Все время.

— И от этого не укачивает, ну как на карусели?

— Иногда укачивает, — улыбнулся отец.

— И мы так никуда и не приедем, все кружимся и кружимся, как на карусели? — допытывалась Мирьям.

— Да ешь ты! — сказала мама.

Мирьям откусила кусочек и задумалась.

Значит, только кружимся, сделаем круг — и может укачать, а другой сделаем — будет уже хорошо. Ну прямо как на карусели — подъезжаешь к шарманке, и сразу музыка громкая и радостная, а на другую сторону уедешь — сплошной гул да шипение.

Мысли Мирьям неслись по кругу.

Что предпринять, чтобы счастье было долгим?

«Занятие по душе — это тоже счастье», — сделала вывод Мирьям, когда увидела, с какой энергией бабушка взялась за устройство своей жизни.

С тех пор как умер дедушка, прошло уже около года, и, по всем обычаям, бабушка могла считать свой траур по дедушке оконченным.

Начала она с того, что дала работу старому Латикасу. Велела перекопать землю, где у дедушки когда-то росли помидоры и где сейчас все заросло сплошными сорняками, с тем чтобы можно было посадить молодые ягодники да вишневые деревца.

— Вино! Вино! Вино! — отвечала на расспросы бабушка, ставшая моложавой и крайне самонадеянной.

Мирьям, с пристрастием следившая за бабушкиными действиями, знала, что вино — это беззаботность, и храбрость, и чувство превосходства — тоже... Но от него тошнит.

«Наверное, и вино приносит счастье, если его пить в меру», — решила Мирьям, потому что разве иначе у бабушки, человека пожилого, могло бы при одном только упоминании о вине так подниматься настроение?

Но следующий бабушкин поступок очень расстроил Мирьям. Как-то явился некий моложавый дотошный мужчина, перед которым любезно распахнули двери мастерской. Дедушкина мастерская превратилась в место, где приценивались, рядились и торговались! Мирьям не могла понять: как это можно, чтобы чужому человеку разрешали трогать дедушкины инструменты, придираяться к ним, а затем и вовсе увозить на тачке. Это же дедушкины зубила, его сверла, его клещи и напильники, и пускай они покрылись толстой пылью, но все равно это дедушка разложил их по полочкам и пристроил с краю верстака, чтобы все было у него под рукой. Когда Мирьям притрагивалась кончиками пальцев к дедушкиным инструментам, ей казалось, что от них исходит тепло его рук.

А может, это просто солнышко заглядывало в окошко и нагревало металл?

Когда деловой мужчина задумал было увезти все инструменты, сверхлюбезная до этого бабушка вдруг стала замкнутой и задумчивой.

— Нет, — твердо остановила его она, — часть инструментов понадобится моим сыновьям. В хозяйстве пригодится.

Мирьям понимала, что бабушка обманывает и себя и покупателя, — до инструментов ли непоседливому дяде Рууди или ее отцу, заведующему магазином, который вечно занят своими бумагами? Просто бабушке стало

жалко умершего дедушку, и тут Мирьям за это прониклась благодарностью к бабушке.

Бабушка закрыла мастерскую на замок и приставила лестницу обратно к двери. Мирьям осталась довольна.

На другой день, уже отрешившись от грустных воспоминаний, бабушка ринулась в город — черный ридикюль с деньгами крепко зажат под мышкой.

Назад она вернулась только в полдень: полы у черного шелкового плаща нараспашку, лицо раскрасневшееся и потное, космы седоватых волос, выбившихся из-под узла на затылке, прилипли ко лбу. В руках бабушка держала довольно объемистый пакет. Немедля велела внучке позвать маму.

Когда явилась невестка с неотлучной Мирьям в хвосте, бабушка все еще сидела на стуле с высокой спинкой, не снимая плаща, ворот платья расстегнут, глаза впились в стол, где в ворохе мягкой обертки красовался великолепный кофейный сервиз.

Невестка с любопытством рассматривала чашечки, разрисованные розами, и даже осторожно, будто цыпленочка, взяла одну чашечку в ладони.

— Фарфор от Ланге, — определила мама.

— Ясно, лангевский, — покровительственно кивнула бабушка — в этот момент невестка казалась ей вполне достойной.

Великодушная бабушка протянула чашечку и нерешительной внучке, чтобы та сама удостоверилась, — Мирьям по складам прочла написанную малюсенькими буквами на доньшке фамилию «Ланге».

Немного передохнув в прохладной комнате, бабушка решительным движением застегнула ворот платья и сказала, что у нее еще есть кое-какие дела в городе.

А перед самым вечером за высокими дворовыми воротами под островерхой крышей раздались требовательные гудки.

Мирьям и Пээтер вдвоем оттащили тяжелые створки и держали их настежь, пока во двор не вкатилось гордо такси — явление в этих краях довольно редкое. Рядом с шофером восседала бабушка — подбородок вздернут, левая рука небрежно покоится на спинке сиденья. Детишки, бросившиеся вслед за машиной, таращили глаза, наблюдая за необычным событием.

Первым из машины вылез шофер в форменной фуражке, он с почтением распахнул перед пассажиркой дверцу.



Бабушка ступила на пыльную землю, поправила риди-кюль, висевший на руке, и стала дожидаться, пока шофер откроет задние дверцы. И хотя бабушка не считала нужным обернуться, Мирьям заметила, что она все же почему-то исподволь косилась на окна.

Разумеется, такой шикарный въезд не остался незамеченным. Бабы тайком уже поглядывали из-за занавесок, а кто посмелее — с треском распахивали окно и без стеснения смотрели на происходящее. Мирьям и то чувствовала, как она сама становится значительней: ведь это ее бабушка ведет себя, как знатная дама, она почти совсем как та английская миссис, что была женой покойного Таавета и которая тоже ездила на такси.

Шофер и бабушка осторожно вытащили из машины вместительную бельевую корзину и отнесли ее в квартиру к бабушке.

Извозчиха перегнулась через подоконник и крикнула стоявшей на каменной приступке самогонщице:

— Не знаю, чего это наша хозяйка хлопочет да покупает? — В ее голосе помимо обычного любопытства звучало и что-то заискивающее — бабушка была недалеко, она стояла на парадном крыльце и рассчитывалась с таксистом.

Машина фыркнула синим выхлопом в лицо любопытным женщинам и укатила. Бабушка решила еще немного постоять на крыльце, чтобы самодовольно оглядеть появившихся в окнах женщин, и лишь после этого скрылась за дверью.

Самогонщица Курри, до сих пор не сводившая с хозяйки глаз, посмотрела вверх, чтобы ответить извозчихе, но той и след простыл. Зато из окошка во двор потянуло запахом подгорелого молока. И самогонщица злорадно захихикала.

Возбужденная Мирьям с матерью вошли в комнату, бабушка уже кончила распаковывать содержимое корзины. Дорогой кофейный сервиз, как вещь второстепенная, был отодвинут к краю стола, а на видном месте красовался столовый сервиз — с золотыми каемочками.

— От Ланге? — подступая ближе, спросила мама.

— От него, — заверила бабушка и добавила: — Неужто я буду дрянь покупать!

Ночью Мирьям видела во сне вертящиеся тарелки. Они кружились в опасной близости у ее ног, и девочке стало страшно. Ей казалось, что окаймленные золотом края

тарелок вот-вот вопьются ей в ноги. Она увертывалась и старалась выскочить из этого страшного круга. Наконец, тарелки все же исчезли. Остался только ослепляющий свет, который резал глаза. Солнышко светило в щелку между занавесками прямо ей в глаза.

С этого утра начинался сентябрь — первый школьный месяц. Мирьям знала это совершенно точно, хотя саму ее, к сожалению, в школу все еще не пускали. А вот Пээтер пошел сюда же, в пригород, в начальную школу, которая была совсем рядом, надел форменную фуражку с полоской, знай себе насвистывает, задается.

Здесьняя школа не привлекала Мирьям. То ли дело лицей в центре города, где училась сестра Лоори. Место более подходящее для дочки заведующего магазином, думала Мирьям и в душе сочувствовала Пээтеру, которому приходилось мириться с обычной школой.

После обеда отправились встречать Лоори. Мирьям стояла рядом с матерью, серьезная-пресерьезная, и терпеливо ожидала того возвышенного момента, когда распахнутся стеклянные двери лицея и на улицу высыпят дети хороших, обеспеченных семей, и среди них, как свой человек, сестра Лоори. На головах у всех форменные шапочки с красными помпонами. И у Лоори тоже.

С пересохшим от восхищения ртом Мирьям попросила у сестры разрешения понести ее портфель. Лоори протянула его — великодушие всегда украшало людей.

А когда Мирьям через некоторое время попросила у сестры еще и форменную шапочку — на немного, ну совсем на немножечко, мама строго сказала:

— Не рядись в чужие перья!

— Никогда не рядись в чужие перья! — вслед за матерью наставительно повторила и Лоори, которая чувствовала себя рядом с малышкой Мирьям уже совершенно взрослым человеком.

Обиженная Мирьям вернула сестре портфель.

Потом Мирьям увидела такси. Их было несколько, они стояли в тени под деревьями, с краю площади, и дожидались пассажиров.

Мама, с дочками слева и справа, направилась в сторону автомобилей, и Мирьям поверила, что вот сейчас, сейчас, ну совсем-совсем скоро она впервые в жизни поедет на машине. Ведь мама говорила до этого, что они еще зайдут к папе, и Мирьям уже представила себе, как они втроем важно подъезжают к магазину, которым за-

ведует папа. Девочка невольно остановилась, когда мама хотела было равнодушно пройти мимо стоянки такси.

— Мы разве не поедем? — искренне удивилась она.

— Нет, мы не поедем, — сердито ответила мама и взяла заупрямившуюся дочку за руку.

— Но ведь бабушка ездит? — спросила Мирьям, уверенная, что мама, ставшая теперь женой господина заведующего магазином, занимает положение, по крайней мере, равное бабушкиному.

— Так то бабушка, — коротко ответила мама и не стала вдаваться в объяснения.

— У нас нет столько денег, сколько у бабушки, — разъяснила Лоори.

Мирьям нехотя плелась рядом с мамой, волоча ноги, и с тоской оглядывалась через плечо на машины, за ветровыми стеклами которых виднелись жестяные флажочки, где черным по белому было выведено столь призывное слово: «Свободно».

Мирьям прибегла к последней уловке.

— Я устала, — захныкала она в надежде, что, может, мама все же сдастся.

— Придется взять тебя на руки, — съязвила мама.

Лоори ликующе захихикала.

— Не хочу! — сердито выкрикнула Мирьям и громко засопела, чтобы хоть так выразить свое недовольство и протест.

В тесную папину контору в старинном каменном доме с толстыми стенами вела узкая и скрипучая лестница, идти по ней приходилось гуськом.

Не было ни роскошных витрин, ни людской толчеи, внизу в полутемной лавке только один покупатель, он что-то выпытывает у продавца, тот украдкой позевывает.

Сам заведующий деловито сидел за угловатым, источенным жучком столом и составлял какую-то официальную бумагу. Оторвавшись на мгновение от работы, он указал рукой на потертый деревянный диван у противоположной стены, приглашая жену и дочек присесть.

Изящные пальцы его крепко охватили черную ручку, перо быстро скользит по бумаге, одет в черный праздничный костюм, правда, тесноватый в плечах, энергичный подбородок упирается в накрахмаленный воротничок — таким увидела Мирьям своего отца, занимавшего столь высокий пост заведующего магазином.

В маленькой комнатке с некрашеными полами господствовало прилежание наполовину с бедностью.

Кончив писать, отец поспешил по крутой, скрипучей лестнице вниз, на ходу помахивая листком, чтобы просохли чернила, и вернулся через некоторое время назад, держа под мышкой запыленную папку.

И снова отец уселся за стол. Тут он вспомнил о гостях, поднял взгляд и виновато улыбнулся,— жена и дети, словно притаившиеся мыши, присмирели на деревянном диванчике.

Мама нежно посмотрела на отца и кивнула ему, постепенно уголки ее губ тронула улыбка.

Но Мирьям была не в состоянии изобразить на лице радостное выражение.

Она грустно подумала: если Лоори ходит в школу вместе с детьми из хороших семей, это ведь тоже означает рядиться в чужие перья.

Над полом, там, где кончались оборванные обои, чернела нагоняющая страх мышиная нора.

19

Бабушка решила стать самой выдающейся дамой в округе. Она захотела сравняться внешним лоском с хозяйками каменных домов, расположенных в городском центре; о них, этих хозяйках, она, правда, частенько говорила с презрением, но в глубине души они пробуждали в ней зависть.

Теперь все должно было измениться.

Бабушка уже больше не унижала свое достоинство сидением в винном погребе и не тянула при свечке вино прямо из шланга. Теперь она шла через двор с хрустальным графином, держа его за серебряное горлышко, и приносила вино в комнату, где, сидя за столом, любила предаваться размышлениям.

Азарт новой жизни, начавшийся с покупки сервиза, все нарастал.

Выгоревшие на солнце тюлевые занавески были заменены новыми. Окна обрамляли темно-красные гардины — чьи-то искусные руки вышили на них зеленые лозины и желтые чайные розы.

Затем настала очередь буфета. Из обыкновенного предмета домашнего обихода столяр за какие-нибудь четыре дня сделал вещь лет на пятьдесят старше. Верхнюю

часть со стеклянными дверцами поднял на резные ножки, за ними в заднюю стенку врезал овальное зеркало, а на верхний край буфета прикрепил темную дубовую досочку с изображением увесистых виноградных гроздей. Бабушка осталась довольна: именно такие буфеты стояли в господских домах, в которых она служила в молодые годы.

Мирьям радовалась, что бабушка столько хлопотала и столь рьяно действовала,— было хоть на что смотреть, а то друзья сидели за уроками, у них свои заботы, и девочка оставалась во дворе совсем одна.

Бабушка расхаживала по комнатам, словно полковонец. Мирьям семенила за ней по пятам, и ей казалось, что все вокруг совершенно. На кровати отсвечивало новехонькое пикейное покрывало, на овальном столе возле софы светилась шелковым кружевом свежая скатерть, все оранжевые ракушки — те, что с морским прибором и что лежали на черной полочке рядом с Библией,— бабушка недавно сама до единой вымыла, все обитые гобеленовым материалом стулья с гнутыми ножками стояли на равном расстоянии друг от друга и составляли вполне правильный круг.

Но бабушка осталась недовольна.

В тот же день к вечеру она привезла из города ковер. Венок из роз на красном плюшевом ковре великолепно повторял овал стола.

Потом бабушка принялась за себя. Корсет придал фигуре красоту и стройность, черное платье и туфли на высоких каблуках, со своей стороны, помогали подчеркнуть молодость.

Мирьям было дано распоряжение позвать маму.

Представители трех поколений гуськом прошли по комнатам. Бабушка сохраняла молчание и позволяла вещам самим говорить за себя. Мама удивлялась да нахваливала.

Когда все было осмотрено, бабушка подбоченилась и многозначительно сказала:

— Уж теперь-то я этим хамам покажу, как подобает жить настоящей хозяйке!

Маме ничего другого не оставалось, как молча кивать, хотя она, по всей видимости, вряд ли точно знала, кого это бабка подразумевает под хамами.

На следующее утро бабушка потребовала, чтобы Мирьям оделась во что-нибудь получше.



Мама, недовольная бабушкиным беспрекословным приказанием, спросила у дочери:

— А ты сама-то хочешь пойти с бабушкой?

— Очень хочу! — ответила Мирьям, не представляя себе, куда же бабушка собирается идти.

Мирьям шла рядом с бабушкой, одетой во все черное, и старалась слегка сутулиться, чтобы прикрыть под неожиданно севшим выходным ситцевым платьицем исцарапанные коленки.

— Чего это ты ходишь так — плечи опустила, нос повесила! — сердилась бабушка. — Настоящий человек должен ступать широким шагом, чтобы у него и живот не топырился и чтобы грудь козырилась, дышать надо глубоко и нос в меру высоко держать. Не то люди подумают, что ты несчастный человек, а на кой ляд им доставлять такое удовольствие?

Мирьям поступила по-бабушкиному — задрала нос и начала полной грудью хватать воздух. Но идти с втянутым животом оказалось не так просто — как ни старалась она, однако аппетит-то у нее был хороший, и выпученный животик то и дело топырился.

«Когда задираешь нос — и в этом бывает худое», — подумала Мирьям, больно ушибив палец на ноге, но сказать об этом бабушке не посмела.

На углу улицы стоял мужчина, и живот у него выпирал еще куда страшнее, чем у Мирьям. Бабушка остановилась возле незнакомого господина, и Мирьям удивилась про себя. Неужто она начнет сейчас поучать его, чтобы он и живот не топырил и грудь чтобы козырил.

Однако вместо этого бабушка поздоровалась с чужим дяденькой и назвала его приветливо господином Ватикером. Мирьям в послушном ожидании остановилась рядом с бабушкой.

Забавы ради Мирьям сверлила глазами пузо господина Ватикера и думала: интересно, а что произойдет, если у него вдруг отскочат на жилете все пуговицы, тогда этого пузана уже никакая сила не удержит — весь расползется по частям.

Тут рука господина Ватикера небрежно скользнула в карман жилета. Короткие пухлые пальцы нащупали цепочку часов, и вот уже в ладонь шлепнулась увесистая золотая луковица. Незаметное движение — крышка часов отскочила и осталась на некоторое время открытой.

Мирьям видела, как господин пузан медленно наклоняет голову, чтобы посмотреть на часы. При этом губы у него по-ослиному вытянулись и обвисли, веки настолько опустились, что Мирьям показалось: Ватикер засыпает.

— В субботу вечером жду вас к себе,— приветливым голосом повторила бабушка свое приглашение.

Ватикер поднял глаза, неожиданно резко кивнул — так, что затряслись щеки, и сунул свою золотую луковичку обратно в отвислый кармашек жилетки.

Бабушка схватила Мирьям за руку, и обе они — осанистая бабушка и старавшаяся выдержать осанку внучка — зашагали дальше по улице Ренибелла, в гору, где маячил ограждавший железную дорогу темно-красный забор.

Остановились они перед белой дверью на втором этаже деревянного дома. Бабушка нажала на белую кнопку. Ждать пришлось довольно долго. За оградой, скрывавшей железную дорогу, раздалось пыхтенье паровоза, и оконные стекла в коридоре враз задребезжали в такт колесам, затем донесся пронзительный гудок, и паровоз удалился.

В замочной скважине заскрежетал ключ.

Мирьям испугалась.

Из-за медленно отворяющейся двери показалась сидевшая в коляске женщина. В приветственном жесте приподнялась бледная, костлявая рука. Затем женщина откатилась назад. Ловко объезжая препятствия, коляска въехала задом в комнату.

Бабушка затворила за собой дверь. Чтобы ободрить внучку, взяла ее за руку, и они последовали за хозяйкой.

Глаза у девочки заломило от белизны. Белые стены, белые чехлы на мебели и столь же белая кофточка — желтое лицо женщины, казалось, было приклеено к стене.

— Ну здравствуй, госпожа Лийвансон! — бабушка решительно протянула руку.

— Здравствуй, здравствуй,— раздалось с коляски, и лицо госпожи Лийвансон сморщилось от неожиданной улыбки.

Только сейчас госпожа Лийвансон заметила девочку: стремительным движением катнула она коляску, и Мирьям почувствовала, что надо немедленно бежать,— не то белая женщина налетит на нее, не удержится, проскочит сквозь бумажно-белую стену и грохнется на пыльный булыжник.

Но свинцом налившиеся ноги не в состоянии сделать и шага. Девочка лишь все шире раскрывала глаза, видя, как приближается коляска, и протянула руку вперед, чтобы защититься. Госпожа Лийвансон с ходу схватила Мирьям за руку и тут же остановила коляску. Мирьям почувствовала, что ее собственные руки стали такими же холодными, как и руки госпожи Лийвансон.

— Смотри, какой ребенок,— не отпуская руки, проговорила старуха.

— Внучка,— заметила бабушка.

— Не задавайся,— захихикала госпожа Лийвансон.

Мирьям наконец собралась с духом, вырвала руку из костлявых тисков и спрятала ее за спину.

«Зачем бабушке задаваться?» — не понимала Мирьям.

Госпожа Лийвансон снова отъехала назад, ловко оставила коляску в нескольких сантиметрах от стены и опять произнесла, уже серьезно:

— Ребенок, маленькая девочка!

Мирьям хотелось скорее уйти отсюда, но бабушка по-домашнему устроилась на белой софе, и девочке волей-неволей пришлось опуститься на краешек стула.

— Ну, а сын? — без стеснения допытывалась госпожа Лийвансон.— Все еще на твоей шее?

Не дожидаясь ответа, она продолжала в том же духе:

— А мне хорошо, ни одного цента я на детей не трачу, все остается при себе, хи-хи-хи!

Тут Мирьям поняла, что надо защищать честь семьи, и она произнесла звонким детским голосом:

— Папа заведует магазином.

Бабушкино лицо засветилось мягкой улыбкой, и она, со своей стороны, похвалилась:

— Да у меня и без того денег хватало.

Госпожа Лийвансон уставилась прямо в лицо Мирьям. Девочка, хоть это было и нелегко, выдержала ее злой взгляд.

«Неужели пришли в гости за тем, чтобы ссориться?» — думала Мирьям и дивилась: она же никогда не ходила домой к тем ребятам, с которыми случалось быть в ссоре.

— Приходи в субботу ко мне в гости,— пригласила бабушка.

Госпожа Лийвансон вскинула брови.

— Большая будет компания? — быстро спросила она.

— Приличная,— неопределенно ответила бабушка и поднялась.

Мирьям обрадовалась: наконец-то удастся вырваться отсюда. Глядя в окно из этой жутко-белой комнаты, девочка увидела первые пожелтевшие в этом году верхушки деревьев и поняла, что осень неотвратно приближается.

Следующий визит они нанесли фотографу Тохверу. Пока бабушка и Тохвер разговаривали в задней, отделенной занавесками комнате, девочка разглядывала фотоаппарат, который стоял в ателье, накрытый материей. Мирьям дерзнула приподнять краешек черного покрывала, будто надеялась увидеть птичку, которую каждый раз, когда она снималась, обещали показать, но которая так никогда и не появлялась.

Ящик был пустой, и вместо птички Мирьям увидела в матовом стекле бабушку и Тохвера, которые приближались к ней вверх ногами.

— А они что, все хамы? И господин Ватикер, и госпожа Лийвансон, и господин Тохвер тоже? — спросила Мирьям, когда, держась за руки, они шли с бабушкой по улице Освальда, направляясь к дому цветочницы Ронга.

Бабушка бросила на внучку через обтянутое черным шелком плечо пристальный взгляд и хотела было уже как следует отчитать девочку, но вспомнила собственные слова и произнесла неопределенно:

— Большею частью, конечно.

— Тогда зачем ты зовешь их к себе в гости, если они хамы? — Мирьям никак не могла понять бабушку.

— Их надо учить жить,— ответила бабушка твердым, не терпящим возражения голосом.

Возле дома цветочницы Ронга бабушка прошептала:

— Смотри, здесь язык не распускай.

Мирьям умолкла и подумала, что с какой стати ей чести языком, тут для нее найдется и иное занятие.

Когда бабушка и Мирьям замедлили в темном коридоре шаги, мимо них с большущей корзиной в руках промчалась торговка и без стука вошла в комнату хозяйки. Бабушка пошла вслед за торговкой и, переступая через порог, низко нагнулась, чтобы не задеть густо развешанные на веревках ветки бессмертника. Под ногами шуршали осыпавшиеся лепестки. Мирьям глубоко вдохнула запах увядших цветов и с любопытством огляделась. Торговка сгребала со стола в свою большущую корзину бумажные цветы. Цветочница Ронга восседала толстым

задом на продавленном стуле и даже не взглянула в сторону торговки, продолжая заниматься своим делом.

Лишь после того как бабушка поздоровалась, она оторвала взгляд от красной бумаги, которая под ее пальцами превращалась в бутон розы, и улыбнулась широкой улыбкой добродушного и спокойного человека.

Бабушка и Мирьям уселись на деревянную, накрытую пестрым красно-черным пологом кровать с продавленной сеткой.

Старуха Ронга не сдвинулась с места. Ее расплывшаяся фигура осталась пригвожденной к скрипучему стулу.

Зная, что Мирьям нравится мастерить цветы, цветочница протянула ей немного проволоки и бумаги. Но так как девочке в этом доме было запрещено раскрывать рот, она судорожно сжала губы и даже не поблагодарила.

Торговка набрала полную корзину цветов и сиплым голосом сказала:

— Этих красных я взяла шестьдесят штук.

Старуха Ронга кивнула, с секунду оценивающе смотрела на изготовленную розу и бросила ее на стол, в кучу, которая теперь заметно уменьшилась.

— Пришла звать тебя в гости, — объявила бабушка.

Мирьям старательно скручивала из цветной бумаги лепестки розы, но получались они какими-то грубыми и неказистыми.

Занятие это надоело девочке. Мирьям отложила бумагу и проволоку и стала рассматривать цветочницу. Юбка у нее выцвела, передник порван, рукава у ситцевой кофточки засучены, седые непричесанные волосы вылезли из-под платка.

Вид у цветочницы Ронга был несколько не лучше, чем у бедной старухи Латичихи, которая со своим стариком бедствовала в бабушкином доме.

Стул под старухой заскрипел, и это означало, что готова очередная роза. Красный бутон на проволочном стебельке, описав красивую дугу, шлепнулся в общую кучу.

Мирьям смотрела на старухины проворные пальцы и удивлялась: почему это все бабушкины знакомые — Ватикер, госпожа Лийвансон, Тохвер и цветочница Ронга — кажутся такими несчастными?

«Живот чтобы не топырился и грудь чтобы козырилась, нос держать в меру высоко. Чтобы люди не поду-

мали, будто ты несчастная,— на кой ляд им доставлять такое удовольствие!»

Мирьям поднялась, вытянулась в струнку и принялась глубоко дышать.

В комнате стоял приторный запах бессмертника. Мирьям повеселела.

«Бабушка называет своих знакомых хамами, но все же стремится показать им хороший пример,— умилилась Мирьям.— Бабушка хочет, чтобы люди научились быть счастливыми». Мирьям подумала, что яблоко недалеко от яблони падает.

20

С той самой поры как бабушка купила свой первый фарфоровый сервиз, дядя Рууди жил в садовом флигеле, где дверь дни напролет оставалась незапертой, а окно не прикрывалось даже в дождь. Гостеприимством этого флигеля пользовались все, кому только заблагорассудится, тем более что дядя Рууди появлялся там лишь поздно вечером и только за тем, чтобы прикорнуть на отсыревшем плюшевом диване.

В тот субботний вечер папа и его друг, господин Кузнецов, которого дома у Мирьям звали еще «белым русским», сидели во флигеле.

Мирьям занималась тем, что, ухватившись за медные ручки, каталась на двери. Катание это было медленным и коротким, девочке скоро надоело виснуть на двери, и она забралась на подоконник, чтобы лучше рассмотреть этого «белого русского».

Задумчивый и неразговорчивый Кузнецов прислонился к спинке дивана и, обратив взгляд на сумеречный осенний сад, смотрел мимо девочки в окно.

Но увядающий сад не радовал его. Мирьям испуганно подумала, что люди иногда смотрят открытыми глазами и все же не видят того, что открывается их взгляду.

«Странный человек,— думала девочка.— Его почему-то называют «белым», но у господина Кузнецова волосы вовсе черные и блестят».

— Побывал я в Печорах,— неожиданно произнес Кузнецов.

— Опять? — спросил отец.

— Сильно тянет посмотреть на сарматские равнины,— усмехнулся Кузнецов.

«Если он сам смеется, что поехал в Печоры, то зачем же он тогда ездит туда?» — недоумевала Мирьям.

Со стороны дома послышались голоса, и Мирьям поняла, что начинают собираться бабушкины гости. Это было куда интереснее, чем слушать отрывочные и загадочные слова, которые с акцентом выговаривал Кузнецов.

И Мирьям побрела по траве, которая была ей по колено, к бабушкиным окнам.

Окна были распахнуты настежь, но все равно ничего не было видно. Тогда Мирьям залезла на яблоню, благодаря небо, что возле дома росли кряжистые деревья, на ветвях которых можно было удобно устроиться и сидеть незамеченной.

Новый владелец дома Таавета, соседский хозяин Яан Хави, засунув руки в карманы, стоял возле печи и сверлил своими маленькими глазками окружающую его роскошь. Вот он подошел к черной полочке, осторожно взял оттуда ракушку, поднес ее к уху и стал слушать. Совсем приложить ракушку к уху он не осмеливался — видно, боялся, что рокочущее внутри существо высунется и схватит его за голову. Бабушка стояла чуть поодаль и, скрестив под грудью руки, с явным удовольствием наблюдала за вовсе присмирившим мужичищем.

Мирьям улыбнулась: уж она-то, во всяком случае, давно не боялась разных диковинных тварей в бабушкиной комнате.

Наслушавшись вдоволь шума моря, Яан Хави повернулся к овальному столу и провел рукой по шелковой материи. Одна ниточка зацепилась за его заскорузлую крестьянскую руку, и Хави испугался, словно ребенок, которого застали за проказами.

Мирьям еле сдерживала смех.

Бабушка подошла и вызволила соседа из беды, на всякий случай тот все же отошел от злополучного стола на пару шагов.

— Здесь все одно что барское житье,— уважительно сказал Хави, при этом голос у него был куда тише того, который Мирьям всякий божий день привыкла слышать на соседском дворе.

В дверях прихожей появились толстуха Ронга, госпожа Лийвансон и фотограф Тохвер. Старая Ронга и фотограф Тохвер остановились, тяжело отдуваясь,— тащить по крыльцу наверх госпожу Лийвансон с ее коляской было занятием нелегким. Тохвер вытирал пот со лба, а тол-

стуха Ронга выставила перед собой огромный букет бумажных цветов, чтобы вручить их бабушке и сопроводить подарок соответствующими торжественными словами.

Сгорающая от нетерпения и не утомленная подъемом по лестнице, госпожа Лийвансон тут же пустилась в карьер по комнатам; со второго круга она вкатилась между Тохвером и цветочницей Ронга, которые все еще стояли возле порога. Старая Ронга испуганно отскочила в сторону, все красивые слова, которые она собиралась сказать бабушке, разом вылетели у цветочницы из головы. И поэтому, протянув свои вечные розы на длинных железных веточках, она просто приветливо улыбнулась подруге.

Завершив третий круг, госпожа Лийвансон задержалась возле овального стола и раз-другой щипнула кончиками пальцев вышитый на ковре веночек.

— Это не гигиенично, пыль собирает,— пискнула она впервые за этот вечер.

— Ну, в моем доме хворых нет, кому микробов бояться,— с непоколебимой уверенностью заявила бабушка.

— Да и что сделает какая-то там микробина плотно упитанному человеку! — снова обретая зычность, встал на сторону бабушки сосед Хави.

Старый холостяк Тохвер особого воодушевления по поводу бабушкиных обновлений не проявлял. Зато цветочница Ронга, одетая по такому случаю в розовое шелковое платье, захлебывалась от восторга:

— Какая прелесть, какая прелесть, прелесть какая!

Этот чрезмерный восторг вынудил госпожу Лийвансон сердито захихикать.

Бабушка позвала гостей к столу. Все направились в столовую.

Мирьям была вынуждена сменить яблоню. Залезать приходилось осторожно, чтобы не шуметь. Когда Мирьям наконец забралась на другую яблоню, она увидела, что бабушкины гости уже сидели за столом и успели пропустить по рюмочке.

— Такой роскоши я себе позволить не могу,— сокрушалась разговорившаяся цветочница,— моя дочка учится в заграничной школе, туда они, денежки мои, и уходят.

— Да уж брось,— возразила ей бабушка,— твои-то четыре дома тоже кой-какой доход дают.

Яан Хави с пробудившимся интересом взглянул на толстуху. Цветочница уловила его удивленный взгляд и улыбнулась в ответ.

Госпожа Лийвансон, которая до этого дотошно разглядывала на донышке хлебной тарелки фирменный знак фарфора, теперь вмешалась в разговор.

— У меня все деньги остаются при себе,— похвасталась она.

— Но зато у тебя нет и такой шикарной барышни, как у меня,— повысила голос цветочница Ронга.

— Тоже мне дело, я лучше сама буду шикарная,— упрямо настаивала госпожа Лийвансон.

Толстуха Ронга смерила подругу таким уничтожающе сочувственным взглядом, что госпоже Лийвансон пришлось тут же уткнуться в тарелку и приняться за еду.

Яан Хави пропустил очередную рюмку водки и покраснел еще сильнее, он стащил с себя пиджак и, оставшись в рубашке, принялся вовсю уплетать студень.

Господин Тохвер откинулся на спинку стула, раскурил трубку и выпустил в потолок кольца синеватого дыма. Он даже не взглянул в сторону пошлого Хави, который тянулся через стол, намереваясь чокнуться с господином фотографом.

Зазвенел звонок, и почтенное общество застыло.

В столовую впереди бабушки вошел господин Ватикер. Внимательным взглядом обвел присутствующих, после чего вынул из жилетного кармана свою золотую луковичку, последовало неприметное движение — и тут же с элегантно щелчком откинулась крышка часов.

Когда бабушка усадила господина Ватикера рядом с собой, по серовато-землистому от комнатного образа жизни лицу господина Тохвера скользнула презрительная усмешка.

И Ватикер тоже, прежде чем приняться за еду, посчитал нужным перевернуть тарелку и взглянуть на фирменную марку.

Под ногой Мирьям треснула ветка. Дядя Рууди, который уже прошел было мимо, ничего не заметив, обернулся на треск и увидел на яблоне племянницу.

— Ищешь оставшиеся яблоки? — приближаясь, спросил дядя Рууди.

Он остановился под деревом, и Мирьям использовала еще последнюю возможность, чтобы заглянуть в бабушкину столовую. Единственный, кого она заметила, был

Яан Хави, который положил правую руку на плечо толстухи Ронга, а левой ковырял спичкой в зубах.

— Дядя Рууди,— спросила Мирьям, опускаясь на подставленное плечо,— скажи, а почему они все наклоняются над тарелками и читают имя Ланге?

— Это просто такая падучая болезнь, которая мучает их,— ответил Рууди, вышагивая с племянницей на закорках к беседке.

— Как это болеют? — сомневалась Мирьям.

— Да мы все бодем этой странной болезнью! — усмехнулся дядя Рууди.

— От нее что — приступы бывают? — допытывалась Мирьям.

— На бабушку они сейчас как раз и наваливаются,— улыбнулся он.

— У дедушки ведь не было этой болезни? — серьезно спросила Мирьям, когда запыхавшийся дядя Рууди ссадил ее на подоконник флигеля.

— Нет,— коротко ответил он и опустился на диван рядом с Кузнецовым.

— Думаешь, что-то должно произойти? — обращаясь к Кузнецову и продолжая прерванный разговор, спросил отец.

— Да кто его знает. Господа правители на Тоомпеа вроде бы совсем запутались,— несколько неуклюже выговаривая слова, промолвил Кузнецов.

«Все время на языке у них одно и то же»,— подумала Мирьям, ей это надоело, и она попросила:

— Господин Кузнецов, сыграйте что-нибудь.

Кузнецов неожиданно согласился и снял со стены гитару, повязанную красной лентой.

Замело тебя снегом, Россия,
запуржило седою пургой,
и печальные ветры степные
панихиды поют над тобой...

Полная грусти песня сдавила, словно невидимой рукой перехватила, горло. Отец опустил голову на руки, и казалось, его одолевают тяжелые думы. Дядя Рууди откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Худая шея с большим кадыком белела в сгустившихся сумерках.

Мирьям посмотрела в сторону Кузнецова. Его широко раскрытые глаза, казалось, горели зеленым огоньком. От заунывного мотива подбородок Кузнецова обвис и скулы

вытянулись. От крупного носа сбегали вниз две глубокие складки, они опускались на уголки губ, и это придавало его лицу страдальческое выражение.

Ни пути, ни следа по равнинам,
по равнинам безбрежных снегов,
не добраться к родимым святыням,
не услышать родных голосов...

Между паузами раздавалось оглушающее стрекотание кузнечиков — последнее в это лето.

Замела, занесла, схоронила
все святое, родное пурга.
Ты, злая, жестокая сила,
вы, как смерть, неживые снега...

Когда Кузнецов кончил петь, папа и дядя Рууди осторожно, словно боясь нарушить торжественную тишину, потянулись за куравом, которое лежало посреди стола.

— А это что за песня такая? — осмелилась спросить Мирьям.

— Это песня тоски по родине...

Родина Кузнецова — это сад его дедушки и двор его бабушки, решила Мирьям. Она бы тоже тосковала, если бы ей пришлось оставить родные места. Может, ходила бы смотреть на них откуда-нибудь, ну, например, оттуда, где живет госпожа Лийвансон и откуда хорошо виден бабушкин дом, тот, который выходит на улицу.

Мирьям почувствовала необъяснимый стыд за разгулявшуюся всю бабушку.

Смутное ощущение угнетало ее. Очевидные до сих пор истины вдруг оказались перевернутыми.

Ее завораживало это странное слово: тоска.

21

Последнее сентябрьское воскресенье началось с больших хлопот.

Мама повесила новое шелковое платье на дверцу шкафа, рядом с папиным костюмом, где оно принялось дожидаться своей очереди на глаженье. Лицеистку Лоори нарядили первой — она шла со своим классом в кукольный театр. Уходя, Лоори не смогла удержаться и, уже в дверях, показала сгоравшей от зависти младшей сестренке язык.

— Мы возьмем тебя с собой в гости, — утешила мама.

«Тоже мне дело,— думала Мирьям.— Какой там интерес слушать, как старые люди попусту то задаются, то ахают».

Владелица магазина госпожа Эйпл и ее муж пригласили заведующего магазином и его семейство к себе на воскресенье в гости. Когда родители объяснили дочери, к кому они идут, настроение у Мирьям немного поднялось. Выходило, что они шли навещать именитых людей. Недаром ведь отец с матерью произносили фамилию Эйпл с таким почтением!

Утопающий в зелени дикого винограда, словно сошедший с открытки, домик Эйплов находился на окраине города. Проходя через калитку, Мирьям поняла, почему ее отец с такой старательностью разглаживал залоснившиеся сзади брюки. Мирьям тоже старательно высморкала нос и, посмотрев на маму, уловила ее одобряющий взгляд.

Грузная, с непостижимо маленькой головкой, госпожа Эйпл встретила гостей приветливой улыбкой. Ее карминно-красный и тонкий рот кривой черточкой располагался далеко внизу под сморщенными щеками. Госпожа Эйпл первой вошла на крыльцо, Мирьям все боялась, что каблуки у хозяйкиных туфель вот-вот могут подломиться.

В теплой комнате гостей встречал господин Эйпл, американец, который был еще длиннее и тоньше, чем дядя Рууди. Мирьям старалась держаться от длинного американца подальше, чтобы тот ненароком не споткнулся об нее.

Отец, умевший, к великой гордости дочери, разговаривать с американцем на его родном языке, подсел с господином Эйплом к красному камину, Мирьям с матерью остались на попечении хозяйки дома.

Госпожа Эйпл скучать им не давала. Она принесла альбом в кожаном переплете и, усевшись рядом с Мирьяминой мамой, начала давать пояснения,— делала она это длинно и основательно, время от времени восклицая «О-оу!» и растягивая до ушей свой тонкогубый рот.

«Чего она так часто радуется? — никак не могла понять Мирьям.— У самой такое сморщенное лицо, как у обезьяны в зоопарке».

— О-оу! Это было так давно! — Госпожа Эйпл задерживает свое внимание на одной из фотографий.— В тот день, когда я впервые приехала в Нью-Йорк!

На следующем снимке был запечатлен большой светлый зал и в нем много женщин в белой одежде.

— О-оу! — и на этот раз радуется госпожа, ее маленькие глазки-пуговицы загораются необычным блеском.

Она тыкает ногтем указательного пальца в одну из женщин и рассказывает:

— Какое счастье, что я перед отъездом в Америку окончила в Эстонии школу домоводства. Пришлось долго работу искать. В таком огромном городе столько людей хотят найти работу! Мне повезло, и я наконец устроилась на бесподобное место: вы не поверите — кухаркой в дом к самому миллиардеру Моргану. Видите, вот это миссис Джонсон — наш главный повар. — И она указывает на невысокую женщину на фотографии.

Мирьям склоняется над столом и тоже смотрит. Ей припомнилась миссис Таавет, и девочке хочется поглядеть, все ли эти мис-мис одинаковые. Чудно, что кухня там все равно как бабушкин двор — у этого миллиардера, должно быть, зверский аппетит.

«И деньги, видно, есть у него!» — решает Мирьям, увидев на снимках огромный четырехугольный дом с внутренним двором, наружные стены которого, как у крепости, — без окон.

Госпожа Эйпл с жаром объясняла:

— Представьте себе, в этом доме больше восьмидесяти комнат. А хозяев всех вместе только пять человек: сам мистер Морган с женой, мистер Морган-младший с женой и их беби.

Последнее слово госпожа Эйпл произнесла как-то особенно округленно и аппетитно.

— О-оу! — восхищенно воскликнула она при этом, и мама, приготовившаяся было поддержать разговор, снова прикрыла рот. — Зато сколько гостей! Случалось, что их хватало на все двадцать комнат, отведенных для приезжих.

Но у госпожи Эйпл не было ни одной фотографии мистера Моргана и младшего мистера — тоже, поэтому Мирьям заскучала и принялась разглядывать комнату.

На настенном ковре возле двери, ведущей на веранду, висели расписные тарелки, которые были куда красивее бабушкиного знаменитого фарфора. На них были нарисованы высокие каменные дома, огромные цветы и пестрые кленовые листья. На самой большой тарелке стояла

зеленая женщина с терновым венком на голове и вздымала к небу факел.

Мирьям рассматривала странную зеленую женщину и прислушивалась, как госпожа Эйпл тараторила:

— Мистер Эйпл всю жизнь работал у Морганов садовником. Они его очень ценили! Смотрите, вот он стоит среди роз. А здесь мы сфотографированы с мистером Эйплом в тот день, когда... о-оу... когда мы поженились!

Мирьям не торопится к альбому, чтобы посмотреть, где там сфотографированы мистер Эйпл и его жена, их обоих можно увидеть живыми, стоит только повернуть голову.

Фотографий в альбоме с кожаным переплетом столько, что не сочтешь: тут и прислуга Морганов на рождественской елке, и автомашина Моргана-старшего, и все попережку с господином Эйплом и госпожой Эйпл.

Мама сидит безмолвно возле неумолчной хозяйки и все кивает, выслушивая хронику этой сказочной жизни. Мама больше уже не пытается раскрывать рта — в таком обществе ей совершенно нечем похвалиться. В самом деле, не станешь ведь говорить о своем единственном шелковом платье, которое на тебе и которое уже помялось от долгого сидения!

Мирьям подумала, что надо было бы прихватить с собой самогонщицу Курри, та еще хлеще умеет тараторить, госпоже Эйпл и слова бы не удалось вставить!

Фотокарточкам уже пришел конец, но разговорам госпожи Эйпл конца все еще не было.

— Перед тем как уйти на пенсию, купили мы себе домик в пригороде Нью-Йорка и собирались там коротать свою старость. А теперь, как видите, очутились тут и останемся навсегда в Эстонии. Один раз в году ездим в Америку, тянет, знаете ли... Мистеру Эйплу очень подходит здешний климат: врачи из-за сердца посоветовали.

Мирьям на ум пришла песня господина Кузнецова. Та, что с тоской по родине, и в возникшей паузе девочка спросила у госпожи Эйпл:

— А ваша родина где: в Эстонии или в Америке?

Госпожа Эйпл от души смеется и скороговоркой переводит девочкин вопрос господину Эйплу.

Тот впервые оглядывает Мирьям и усмехается уголками губ.

Госпожа Эйпл не увиливает от ответа.

— Наша родина там, где в эту минуту находится наш дом и где нам хорошо.

«А господину Кузнецову в Эстонии, наверное, плохо, потому он и скучает по родине», — думает Мирьям и в следующую же паузу выпаливает эту мысль.

— Кузнецов? Русский, что ли? — спрашивает госпожа Эйпл, обращаясь к маме, и, не дожидаясь ответа, продолжает: — О-оу! Русские просто страшно, страшно сентиментальны!

Девочке не нравится это незнакомое и непривычное для слуха слово, и она чувствует себя оскорбленной за господина Кузнецова.

В столовой Мирьям размышляет про себя о родине и чужбине и упрямо решает, что уж она-то никогда свою родину не оставит, даже если бы ей предложили варить суп для миллиардера Моргана в том большом городе, где дома лезут в небо.

Госпожа Эйпл с неослабной энергией и радостью рассказывает маме о том, как они приобрели себе здесь дом и купили магазин, как построили оранжерею, где господин Эйпл выращивает виноград и розы, и что они привезли с собой из Америки восемьдесят банок для консервирования, целых восемьдесят, которые точь-в-точь такие же, как в благородном хозяйстве мистера Моргана.

Мирьям слезает со стула и начинает расхаживать по мрачноватой столовой. Разглядывает медные подсвечники на тонких ножках и наконец прячется за тяжелые зеленые портьеры.

Мирьям надеется, что все заметят ее исчезновение и станут искать, но никому до нее и дела нет. Девочка приклоняется к стене и вдруг ощущает, что плечо уперлось в дверную ручку, которая при осторожном нажатии легко поддается.

Мирьям попадает в маленькую комнатку с единственным окном, выходящим на север, из-за плотных занавесей едва пробивается свет.

Оглядевшись, девочка видит у задней стены небесно-голубую кушетку, с углов ее до самого пола свисают большие ярко-красные кисти. Мирьям хотела было пойти дальше, но застыла на месте: с кушетки меж подушек подняла голову огромная, с черной кудрявой шерстью собака.

Мирьям не смела шевельнуться.

Собака неторопливо сошла с кушетки на пол, долго

и с удовольствием потягивалась и, лениво переступая, направилась к девочке. Грузно шлепнулась перед ней на зад и подала лапу.

На вежливость Мирьям отвечает вежливостью и тоже протягивает руку. Познакомившись таким образом с маленькой девочкой, собака, видимо, сочла, что теперь следует заговорить, и... гавкает. На это оторопевшая Мирьям не знает, что ответить.

На пороге тут же появляется госпожа Эйпл, и Мирьям впервые видит на ее лице серьезное выражение. И перепуганная мама заглядывает в комнату.

— О-оу! — Госпожа Эйпл снова обретает дар речи и прежнее настроение. Она берет собаку за ошейник, ведет ее обратно на кушетку и торопливо начинает объяснять:

— Наш Джимми не любит детей! Господи, как я перепугалась! Наш Джимми очень дорогая собака! Миссис Морган, когда мы уходили от них, сама подарила ее нам. О-оу, Джимми — сын любимой собаки самого мистера Моргана.

Знаменитый Джимми разлегся на кушетке, положив морду на лапы и уныло уставившись на госпожу Эйпл, которая с жаром рассказывает:

— Джимми, о-оу, это гигантский пудель, такой породы в Эстонии нет. Вы себе представить не можете, просто нет такой собаки, с которой можно было бы случить нашу собаку! О-оу!... — восклицает госпожа Эйпл, заметив краешком глаз, что Мирьям, наострив уши, слушает все, она тут же переводит разговор на другое.

Господин Эйпл и отец девочки, Арнольд, невозмутимо сидели, курили и беседовали.

В собачьей комнате установилась непривычная тишина — госпожа Эйпл вышла на минутку в соседнюю комнату.

Тут же она вернулась, на руке у нее лежало что-то нежное и розовое.

— Это тебе за то, что ты понравилась нашему Джимми! — сказала она и протянула Мирьям невиданное платье, расшитое сверкающими золотыми и серебряными розами по всему подолу.

У Мирьям прямо язык отнялся.

— Это платье из Америки! — не забывает добавить госпожа Эйпл.

— Благодарю же, Мирьям! — слышит онемевшая от восхищения девочка мамин голос. Мирьям приседает, де-

лает реверанс, стараясь показать, что она ребенок воспитанный, из хорошей семьи. С дрожью в руках берет она столь грандиозный подарок.

Когда ветреным вечером они возвращались из города домой, Мирьям шагала по опавшим листьям в самом хорошем расположении духа.

— Поставил свою подпись под векселем, поручился за хозяина первым лицом,— услышала Мирьям отцовы слова, обращенные к матери.

— Что поделаешь,— сказала мама,— с ними надо ладить.

А Мирьям, разглядывая пакет с замечательным американским платьем, болтавшийся у нее на пальце, удивлялась про себя:

«Только за то, что я понравилась Джимми, дали такое платье! Надо все же стараться нравиться».

И тут же загрустила: разве когда сравнишься по важности с Джимми?..

22

После того как старый Латикас овдовел, он бродил только по двору и возле дома. И совсем перестал ходить на свой огородик, который в былые времена кормил стариков. Расползался старый замызганный комбинезон из грубой парусины, заплаты, наложенные еще проворной старушкой, обтрепались. Редкие волосы, выбивавшиеся из-под засаленной кепки, доставали до ворота его рабочей блузы.

Дети чурались старика с растопыренными руками,— когда он брел по пыльному или грязному двору, его пустые и мутные глаза едва различали перед собой дорогу. Но стоило детям увидеть, что ступающий вперевалку Латикас не обращает внимания на то, как они с криками бегут от него прятаться, страх отступал перед любопытством, и дети принимались дразнить старика.

Однажды в октябре, после полудня, свинцовое солнце устало проглядывало сквозь голые ивовые ветви. Было сыро, продрогшие дети тщетно искали себе во дворе какое-нибудь занятие, и тут их внимание привлек скрип открываемой двери. На выходящем во двор крыльце переднего дома появился Латикас. На чердаке глухо шмякнулась в песок пудовая гиря, служившая противовесом.

Появление старика раззадорило ребят.

Уно и Хуго, отупевшие от скуки и холода, вдруг принялись бешено прыгать перед крыльцом, при этом они выкрикивали:

— Лаль-лаль, Латикас! Лаль-лаль, Латикас!

Это звучало как «лолль-лолль, Латикас» — дурак, дурак, Латикас.

Вскоре уже все ребяташки орали и кружились в дикой пляске, начатой двумя сорванцами.

На этот раз Латикас не остался безучастным. Он сошел на пару ступенек ниже, уселся на крыльце и начал раскачиваться в такт детским выкрикам. На его лице, заросшем клоками темной щетины, появилось нечто похожее на улыбку.

Это в свою очередь подстегнуло ребячье веселье.

Но вдруг простоватое лицо Латикаса передернулось испугом, и он перестал раскачиваться. Щеки его снова обвисли, и уголки рта опустились. Широко раскрытые глаза были обращены в упор на детей, ребяташки осеклись под таким пристальным взглядом и один за другим останавливались и умолкали.

Латикас все смотрел и смотрел, потом глаза у него часто-часто заморгали и покраснели.

Старик плакал. Редкие слезинки безмолвно катились по щекам и падали на продранные колени брезентовых штанов.

Набрякшее свинцовое солнце, сочувствуя старому Латикасу, роняло с черных разбесистых ветвей на землю капельки росы.

Детей охватила жуть.

Они сбились в кучу, схватили друг дружку за руки и боялись отвести взгляд от Латикаса. Никто из них еще не видел плачущего мужчины.

Первым пришел в себя Хуго. Он проворно перелез через забор и исчез из виду. Через некоторое время, запыхавшись, Хуго вернулся, неся в протянутой руке большой ломоть хлеба, вложил его Латикасу в руку.

Теперь и другие дети осмелились подойти к старику. Уно выскреб из кармана слипшиеся карамельки и тоже протянул свое лакомство Латикасу. И Мирьям скользнула рукой в карман передника, но ничего, кроме камешков для рогатки, там не нашла и, смутившись, тайком выкинула их за спину.

Латикас по-прежнему сидел на ступеньке крыльца, откусывая от ржаной краюхи, толсто намазанной маслом, и своим обычным мутным взглядом смотрел мимо детей.

Извозчиха распахнула окно, перегнулась через подоконник и крикнула:

— Латикас! Сходил бы в поле, выкопал картошку!

Латикас не слышал ее. Поев, он свесил меж колен свои заскорузлые руки и начал раскачиваться, так, будто дети вновь с криками «лаль-лаль, Латикас» бросились прыгать и кричать.

Но ребяташки стояли застывшие, серьезные и, не иначе как от холода, вздрагивали...

Вечером, когда Мирьям гляделась в роскошное бабушкино овальное зеркало, правая сторона которого невероятно кривила лицо и вытягивала ухо, явилась цветочница Ронга.

— Nach Vaterland! — вместо приветствия выкрикнула старуха Ронга и плюхнулась на шелковый диван.

— Да ну-у? — чужим голосом воскликнула бабушка, хотя обычно она ничему не удивлялась.

— Meine liebe Tochter studiert auch in Deutschland, — коверкая слова и торжествующе улыбаясь, произнесла цветочница.

— Да ну-у? — повторила бабушка, уже с язвинкой в голосе.

Мирьям следила за ними в зеркало, в которое было хорошо видно всю бабушкину парадную комнату.

Старуха Ронга, одетая в коричневое демисезонное пальто, склонилась вправо, оперлась на подлокотник дивана, и Мирьям пришлось стиснуть зубы, чтобы не прыснуть со смеху, потому что цветочница Ронга, которая сегодня несла такую несусветную чушь, вдруг превратилась в зеркале в стопудовую тушу.

Бабушка расхохоталась, будто не внучка, а она сама увидела свою подругу в зеркале.

— Да какая же из тебя немка, ты же чистой эстонской породы и из самой что ни на есть деревни вышла.

Всегда такая приветливая, цветочница Ронга вдруг рассердилась и начала объяснять бабушке так, что Мирьям ничего не могла понять:

— А как я в девичестве прозывалась? Эмилия! Эмилия Пауман! Это все мой старик, через него я стала этой Ронга. Покойный — пусть ему будет пухом земля — на-

стоял, чтобы я и имя обэстонила. Пришлось послушаться и себя в Мийли переделать! Но теперь, когда фюрер зовет нас, я должна вернуть свое старое имя...

Бабушка, покатываясь от смеха, откинулась на спинку стула, так что резное дерево затрещало, и воскликнула: — Liebe Freundin! Да что ты там будешь, в этом фатерланде, делать? У тебя же там домов нет.

Мирьям поставила локти на краешек буфета, оперлась подбородком на руки и не отводила взгляда от зеркала.

— Я здесь свои дома продам, и денег у меня хватит — и для себя и для дочки! — гордо и беззаботно ответила цветочница Ронга.

— Послушай-ка, барышня Эмилия Пауман! В твоём фатерланде закатают тебя в богадельню, вот увидишь!

Старуха Ронга подняла руку — в зеркале она была такой же толстой, как пушечный ствол, — и крикнула:

— Что же мне, выходит, дожидаться здесь русских? Или хочешь, чтобы они все у меня отобрали и пустили по миру?

— Чего ты болтаешь! — серьезно и твердо ответила бабушка. — Уж власти-то постоят за нас, не задаром же мы им налоги платим?

— Ну, знаешь ли, — цветочница Ронга понизила голос до шепота и с опаской огляделась кругом, — как бы эта власть скоро сама в штаны не наклала, не то разве бы она допустила русские базы на эстонскую землю.

— Ах, это так... дипломатия... — Бабушку невозможно было поколебать.

— А что, плохо ли мне будет разгуливать по фатерланду, как настоящей фрау, а то ходи тут по домам, выколачивай из этих голодранцев деньги за квартиру! — оправдывалась цветочница.

— Да, получить с них свои кровные — крест тяжкий, — согласилась с подружкой бабушка. — У меня тоже есть один такой, старик Латикас, уже два месяца с него ни одного цента не могу получить, надо будет что-нибудь придумать.

Мирьям уже больше не прислушивалась к разговору бабушки и цветочницы Ронга, она и в зеркало смотреть перестала и принялась напряженно думать, как бы спасти старого Латикаса от бабушкиного «придумывания».

После ухода подружки бабушка отыскала книгу с квитанциями, и Мирьям уже знала, что ей надо сделать.

Быстро-быстро побежала она в темный коридор переднего дома и остановилась возле двери, ведущей в комнату Латикаса. Постучалась и крикнула в замочную скважину:

— Латикас! Латикас! Это я, Мирьям. Ты не открывай дверь, а то бабушка идет с тебя деньги за квартиру требовать!

Едва девочка успела спрятаться в темном углу между стеной и чуланом, как явилась бабушка.

Она долго стучалась в дверь и требовала, чтобы Латикас открывал, но в комнате царил тишина. Бабушка дергала ручку, из других дверей высовывались любопытные женщины, но Латикас не отзывался.

Бабушка ушла рассерженной, двери вновь захлопнулись, и Мирьям могла выбраться из своего затянутого паутиной убежища, где она мужественно таилась, несмотря на все свое отвращение к длинноногим тварям.

Назавтра бабушка привела с собой даму из попечительского совета и полицейского. Им повезло. Дверь в комнату Латикаса была не заперта, старик сидел перед печкой и, привычно разламывая на равные куски сухие ветки, подкладывал их в огонь.

Дверь оставалась распахнутой, и все желающие могли наблюдать за тем, что происходило в комнате. Мирьям и Пээтер пробрались вперед и видели, как сухопарая дама с опаской, одними кончиками пальцев, собирала с полки красочные открытки.

Это же те, которые прислала старому Латикасу его дочка, смекнула Мирьям и, нагнувшись к Пээтеру, шепнула ему на ухо:

— Это дочкины письма, которые она посылала родителям из Америки.

— Уж лучше бы, чертовка такая, послала старику денег! — в ответ прошептал Пээтер.

— Наверное, сама бедная! — сказала Мирьям, снова наклоняясь к Пээтеру.

— Откуда она бедная, если покупает такие шикарные открытки и посылает их через весь океан в Эстонию! Скупердяйка просто, — предположил Пээтер, который был и старше и опытнее Мирьям.

Недовольный с виду блюститель порядка стоял посреди комнаты и исподволь следил за действиями дамы из попечительского совета.

Протянув к сидевшему перед печкой Латикасу открытки, дама хотела было выяснить, кто и что это такое, даже рот открыла, но старик с неожиданной быстротой выхватил почтовые открытки из тонких пальчиков попечительской дамы и швырнул их в огонь.

— Так этой карге и надо! — шепнул Пээтер. Видимо, бабы полагали так же, потому что позади раздался одобряющий шумок.

Дама отозвала полицейского к окошку, о чем-то тихо переговорила с ним.

— Не знаю, чего они там придумывают? — обернулась к Пээтеру печальная Мирьям.

— Наверно, хотят в богадельню упрятать, — мрачно ответил Пээтер.

— А разве в Эстонии тоже есть богадельни? — допытывалась удивленная Мирьям.

— Дура, а то как же! — рассердился Пээтер.

Как Пээтер сказал, так оно и случилось.

Полицейский взял Латикаса под руку, дамочка засеменила следом, и все втроем они направились в сторону города.

Из потухших глаз Латикаса катились такие же редкие и безмолвные слезы, как и в тот раз, когда его дразнили ребята.

— Он не хочет в богадельню? — шепнула Мирьям Пээтеру, когда они, совсем как на похоронах, шли за старым Латикасом.

— А кто туда хочет! — по-стариковски буркнул Пээтер и вздохнул.

Солнышко светило на этот раз, вопреки ожиданию, совсем по-летнему, отливало золотом — может, чтобы ободрить Латикаса.

Хорошая погода принесла душе облегчение, и девочке хотелось прокричать:

«Латикас! Не горюй! Посмотри, как на небе радуется солнышко!»

Но она не вымолвила и словечка, понимала, что это было бы и неуместно и глупо.

В тот же вечер к бабушке пришла ее подруга, цветочница Ронга, и со слезами на глазах стала жаловаться:

— Они мне визы давать не хотят! Говорят, что я не чистой арийской породы!

— Да не скули ты! — сурово сказала бабушка.— Очень тебе надо в эту богадельню в твоём фатерланде!

Услышав это, Мирьям задумалась: старуха Ронга хотела попасть в богадельню, которая находится в фатерланде,— и не смогла. Старый Латикас не хотел идти в свою эстонскую богадельню — а его увели... Ну почему людям никогда не достаётся то, чего они желают?

23

Ссора началась с Рийны Пилль.

Хуго, единственный из всех окрестных ребятишек, вопреки всеобщему запрету, посмел пойти и посмотреть на русских, которые вот уже третий день проходили по тихому прибрежному шоссе. Хуго забыл об опасности и начал во всеуслышанье рассказывать во дворе о своём геройском поступке. Рийна тут же побежала и наябедничала его матери. Та выскочила во двор, с розгами наготове, и взялась за сына, словно это был ещё невесть какой сосунок. Отважный Хуго и голоса не подал и, лишь когда показалась Рийнина мама, госпожа Пилль, крикнул во все горло:

— Так и знайте, шею ябеде сверну!

Этого разбойничьего заявления было достаточно, чтобы засадить Хуго на неделю под домашний арест.

И вот теперь Хуго стоял за кухонным закрытым окном и, приложив к стеклу бумагу, огромными буквами извещал друзей, что

«ЭТОЙ ЯБЕДЕ ШЕЮ ВСЕ РАВНО СВЕРНУ!»

Пээтер в ответ скорчил рожу, выказывая свое единодушие с арестантом. И обещание со своей стороны оплатить несчастной подлизе.

А Рийна расхаживала по своему двору, розовая кукла была чуть не с головой засунута под белый воротник нового пальтеца, и мурлыкала себе под нос какую-те песенку про кисоньку.

Пойти и отколотить Рийну на ее же дворе было рискованно. Следовало подкараулить другую возможность.

Пээтер и Мирьям забрались на березку, которая возвышалась над забором, уселись на ветви и сделали вид, что играют в какую-то свою игру. На самом же деле было скучно и холодно и единственную радость им доставляло подсматривание за Рийной.

А та заботливо уложила свою розовую куклу на крышку канализационного колодца и, мурлыча, стала сгребать в кучу шуршащие желтые березовые листья. Уложив куклу на кучу, Рийна на шаг отступила, склонила голову на левое плечо и нежным голоском произнесла:

— Баю, баю, Лийзи, баю...

В то же мгновение красивая госпожа Пилль распахнула окно и звонким голосом позвала:

— Рий-на!

Послушная деточка сразу же пустилась к дому, оставив свою Лийзи на березовой постельке.

Пээтер тотчас же оживился, злорадно хихикнул и вытащил из кармана рогатку.

Мирьям смекнула и выудила из кармашка вязаной кофточки свои лучшие и верные камешки.

Капитан Пээтер, кроме всего, был также неплохим стрелком. Четвертым выстрелом он поразил цель, и нос у куклы отлетел в ворох опавших листьев.

С кошачьей ловкостью Пээтер и Мирьям соскользнули с березы и прильнули к забору, наблюдая в щели за дальнейшими событиями.

Через некоторое время на крыльце, весело подпрыгивая, появилась Рийна, рот у нее был набит, очевидно, каким-то лакомством.

Когда она увидела свою куклу безносой, слезы с неожиданной быстротой так и полились из глаз — казалось, что у нее под черепом спрятаны сосуды с водой.

На крик дочери выскочила госпожа Пилль, она схватила Рийну на руки и стала утешать:

— Дорогая ты моя деточка... Кто посмел обидеть мою крошечку?

Рийна же при этом заливалась еще пуще и жалостливее.

Хуго, который видел все это, начал от радости подпрыгивать и хлопать в ладоши, пока его не оттащили за вихры от окна.

На следующий день к вечеру Рийна уже разгуливала по двору с новой куклой, которую она показывала всем желающим и которая была куда лучше прежней, той, что осталась валяться на березовых листьях.

— А моя мама купила мне новую куклу! — задавалась Рийна и продолжала присюсюкивать, как и прежде.

Не виданная доселе роскошная кукла с настоящими волосами и закрывающимися глазами потрясла даже

Мирьям, хотя она в общем-то и не очень признавала игру в куклы. Мирьям уже протянула было руку, чтобы дотронуться до шелкового платья Рийниной куклы, но тут Пээтер бросил:

— Тоже мне невидаль — сосунок как сосунок!

Презрительный голос Пээтера заставил Мирьям опустить руку обратно в кармашек кофточка; разглядывая громоздящиеся темно-лиловые облака, девочка принялась насвистывать.

Ссора на этом пока закончилась, и Мирьям подумала, что теперь следовало бы самой взглянуть на этих русских, из-за которых Хуго сидит взаперти.

Жажда познания привела озябшую девочку в конец улицы и направила ее взгляд в сторону сосняка, который темнел возле моря.

Мирьям шла по безлюдной и неприятной дороге, холодный осенний ветер толкал в плечи, вынуждая размахивать руками, чтобы удержать равновесие, сбивал дыхание и заставлял лицо рдеться. Затем ощущение холода исчезло, отстало где-то между последними домиками окраины. Ветер странствий, разгулявшийся в поле, быстрыми ручейками разгонял по жилам кровь и будоражил мысли, и Мирьям запела на свой лад и склад песенку, которая ко всему была очень простой и состояла всего из одной строчки:

А я-я-я иду смотреть!..

В промежутках между пением Мирьям посмеивалась над своим страхом, который там, между домами, вносил в мысли сомнения и принуждал подумывать о теплом доме, а теперь вот взял да и улегся на шалом ветру.

Чудными сейчас казались Мирьям эти взрослые, которые говорили о русских со страхом, презрением и отчаянием одновременно:

— Большевики!

После этого слова в представлении Мирьям еще некоторое время возникали огромные великаны, они шагали несметным строем и смеялись отталкивающим смехом.

Или когда взрослые с ужасом и со злобой в глазах восклицали: «Красные!» — Мирьям овладевал безотчетный испуг, и она начинала видеть перед собой этих «красных», эти дьявольски хитрые человеческие создания, которые шли, подобно громадинам, в своих пламенею-

щих и развевающихся одеждах, вместо рук — раскаленные вилы, под бровями — огнедышащие камни, на желтых щеках — красные, в завитках, бороды.

Мирьям расхохоталась, пошла вприсклок и запела свою немудреную песенку:

И все же я иду смотреть!

Разнообразия ради Мирьям повернулась спиной к морю и взялась прыгать задом. Теперь разгуляй-ветер дул в лицо, и бесчисленные окна Вышгорода отражали лучи уже опустившегося на поверхность моря солнца, казалось, что на Тоомпеа приготовились к великому празднику и большому пиру, ради этого и зажгли в каждой комнате люстры. А над башнями, в сторону моря, резво бежали лиловые кучные облака.

Мирьям засмеялась, повернулась снова лицом к морю, чтобы ветер дальних странствий дул в спину и подталкивал сзади, и запела свою песенку:

И все же я и-иду смотреть!..

Запела довольно мужественным и звонким голосом, хотя вообще-то она мелодии не держала. Но ведь мотив-то своей песни выдерживает каждый.

На прибрежном шоссе никакого движения не было.

Меж невысоких сосенок горели костры, и на краю дороги дремали, окутанные сумерками, зеленые военные машины.

Мирьям сунула руки в карманы и, собравшись с духом, вошла в соснячок. За одним из деревьев она остановилась, потому что увидела прямо перед собой, у костра, солдат.

Красные!

Мирьям чуточку даже разочаровалась. Самые обыкновенные люди. Взять хотя бы того же коренастого мужчину, который держал на коленях карту и что-то рассказывал сидящим.

Девочку никто не замечал.

Она вышла из-за сосенки, чтобы получше разглядеть этих «большевиков» и «красных». Но ничего удивительного не разглядела.

Мирьям вдосталь насмотрелась на ужинавших возле огня русских.

Подумала было уже повернуть назад, но тут один из солдат заметил ее. Мирьям сразу же прыгнула за сосенку, однако тот быстро подошел к ней и спросил по-русски:

— Что тебе надо?

«Неужели ты, русский, не знаешь, что я по-твоему ни словечка не понимаю и пришла сюда смотреть, а не разговаривать?»

— Как тебя зовут? — снова спросил мужчина.

Мирьям покачала головой и принялась высматривать вшей на одежде у русского, хотя, по правде сказать, она и не знала, какие из себя эти вши. Но ведь бабушка уверяла со знанием дела:

— Они же сплошь все вшивые!

Тогда Мирьям впервые взглянула солдату в лицо.

Молодой парень, нагнувшись, очутился совсем рядом с девочкой. Она видела его дружелюбные карие глаза и чуть улыбающийся рот с толстыми губами.

— Ну, понимаешь, я Петр, — солдат указал пальцем на себя, — а тебя как зовут? — он показал пальцем на Мирьям.

Мирьям сразу как-то не поняла.

— Петр, — медленно протянул солдат и снова ткнул себя между ребер, там, где находилось сердце.

— Пээтер? — удивилась Мирьям и тоже нерешительно ткнула своим пальчиком в грудь молодому солдату.

Мирьям стала смеяться. Завтра же она скажет капитану Пээтеру, что у него русское имя, или скажет, что среди красных тоже есть Пээтер.

Солдат теперь указывал пальцем на Мирьям, туда, где у нее билось сердце, и девочка догадалась представиться:

— Мирьям.

— Значит, Ира. — И русский тоже почему-то обрадовался. Он отцепил от гимнастерки маленький блестящий значок и протянул его девочке.

— Возьми, возьми, это Ленин, — сказал он, делая ударение на имени, оно и в самом деле запомнилось Мирьям.

Было оно ясное и простое.

— Ленин, — на всякий случай повторил солдат.

Мирьям сделала вежливый книксен и приняла маленький красный значок.

— А теперь ступай домой, — посоветовал солдат и показал рукой на Вышгород, где праздничные люстры в окнах уже потухли.

Мирьям зажала значок в ладони и бросилась прочь.

— До свидания! — крикнул ей вслед русский.

Она выбралась из сосняка на безлюдную дорогу и снова осмелилась запеть свою песенку, лишь немного переначив слова:

А красных я увидела!

Мирьям прыжками неслась навстречу ветру и поглядывала на грозозящиеся облака, которые, отсвечивая багрянцем, лавинами мчались со стороны Вышгорода к морю.

«И почему только эти взрослые боятся красных?» — удивлялась про себя Мирьям.

Вот так, вприскок, Мирьям дошла до домов, исполненная гордости, что хоть раз в жизни она оказалась смелее взрослых. А то все смеются над ней, стоит только заговорить о страшной черной змее.

«Кто же такой этот Ленин, которого носят на груди?» — томила Мирьям в неведении.

Она решила, что обязательно спросит об этом отца, он обо всем понемногу знает.

Дверь открыла встревоженная мама.

— Где ты шлялась? — задала она свой извечный и обыденный вопрос, на который даже не стала ждать ответа.

Она сердито подтолкнула молчавшую дочку на кухню, где, понутив голову, сидел отец.

Мирьям уже совсем было открыла рот, чтобы спросить у отца о Ленине, но вдруг поняла, что для этого сейчас совсем не подходящее время. И тут же испугалась новой мысли, возникшей у нее в голове: представлялось вполне вероятным, что всякий, приколовший себе на грудь значок красных, так и будет считаться красным.

Мирьям собралась с духом, намереваясь сразу же внести во все ясность, но тут отец, сидевший с опущенной головой, вдруг произнес голосом, от которого стыла кровь:

— Вексель Эйпла опротестован...

Мирьям сидела в углу комнаты на корточках, ошугивала в кармане значок с изображением Ленина и мучилась желанием задать свой вопрос. Но взрослые говорили о более важных вещах — о деньгах. И девочке пришлось выждать.

Зеленый свет настольной лампы напомнил девочке

давешнюю долгую зиму, когда она лежала больной, и Мирьям дотронулась тыльной стороной ладони до лба. В этот момент отец снова виновато повторил свои странные слова:

— Вексель Эйпла опротестован...

Мама стояла между дверью и печью, держа руку на ручке двери, и, как казалось Мирьям, готова была каждую секунду бежать из гнетущего покоя комнаты, тишину которой прорезали лишь вздохи маминой матери и отцовские шаги.

— Так, значит, остался без места? — спросила мама на мама.

— Можно считать, что так оно и есть, — с напускным безразличием ответил папа.

«Вот и конец счастью в нашей семье», — догадалась Мирьям, с трудом удерживая горечь, переходящую в слезы, — только сейчас загадочная фраза о векселе обрела для нее реальный образ.

— Неужто в самом деле у этих Эйплов нет состояния, чтобы погасить долг? — удивилась бабушка, постукивая ногтями по подлокотнику кресла.

Отец, словно школьник, остановился перед сидевшими в креслах матерью и тещей и ответил:

— Почему нет. Дом, магазин и еще кое-что...

— В чем же тогда дело? — теперь удивлялась уже теща.

Возле двери раздался вздох — мама наперед знала, что ответит муж.

— Все имущество записано на госпожу Эйпл, а у нее оформлен официальный развод с мужем.

— Так ведь они живут вместе! — резко вставила бабушка.

— Перед законом это значения не имеет, — коротко бросил папа.

Он стал снова нервно прохаживаться по тесной комнате перед матерью и тещей, и Мирьям увидела в желтом круге света, падавшего сверху на пол, насколько поношены его полуботинки. Такие же убогие, как и ее собственные туфельки, те самые, которых должно было хватить на все летние и осенние воскресенья. Зато у бабушки поблескивали на ногах совершенно новые туфли, с лаковыми украшениями, туфли эти она носила даже в обычные будние вечера и заботы не знала. Да и маминной матери не нужно бояться зимы — ее коричневые

туфли с пряжками еще не скоро начнут промокать. Что же до чулок, то тут, конечно, мамина мама оставалась в проигрыше — ее простые чулки не могли тягаться с теми, что на папиной маме, которые были из серого шелка.

«Все-таки бабушка — самая видная хозяйка», — решила про себя Мирьям.

— Опять моя дочка должна страдать из-за вашего сына! — шипела мамина мама, не оборачиваясь к бабушке.

«Начинается!» — с болью подумала Мирьям и сжалась в углу, сделалась совсем маленькой.

Отец отошел с середины комнаты к стене и, прислонившись к книжному шкафу, сунул в рот сигарету.

— Если бы у вашей дочери было что за душой, мы не сидели бы тут и не рассуждали.

— Моя дочь родила вашему сыну двух детей! — с гордостью заявила мамина мама.

Мирьям оторопела — такое нечасто случалось, чтобы их с Лоори втягивали в перебранку.

— Это любая баба может, — презрительно бросила бабушка.

Мама нажала на дверную ручку, но уйти не ушла.

— Ты чего здесь? — отец заметил съезжившуюся в углу дочку.

— Я играю, — притворно веселым голосом ответила Мирьям и в подтверждение своих слов попыталась промурлыкать на свой склад Рийнину песенку.

— Не трогай ребенка, чего она понимает, — сказала бабушка отцу и махнула рукой в сторону Мирьям.

Девочка осталась в комнате.

— Моя дочь стала жертвой пьяницы, — подлила в огонь масла мамина мама.

— С такой женой и не хочешь, да запьешь, — повторила бабушка свою извечную присказку.

Мама распахнула дверь и быстро вышла на кухню.

— Оставьте вы наконец, — крикнул папа, — поговорим лучше о векселе!

В эту минуту Мирьям ненавидела отца, который так и не заступился за маму.

— Ну, ладно, — пробурчала бабушка. — Какая там сумма?

— Тысяча крон, — прозвучал ответ.

— Да-аа... — протянула мамина мама и покачала головой.

— Собрать бы хоть как-то по частям, потом бы устроилось,— отец искал какого-то выхода.

— Ну, на меня особо рассчитывать нечего,— сказала мамина мама и поджала губы.

«Собрать!» Мирьям обрадовалась такому отцовскому предложению, оно толкнуло ее на грандиозную мысль: копилка! За время «обеспеченной жизни» там кое-что скопилось. Теперь Мирьям отдаст свою долю отцу!

Мирьям бросилась в спальню, достала из тайника копилку и с облегченным сердцем великодушного человека принялась насвистывать. Что из того, что ей придется отодвинуть мечту о велосипеде,— вместо него можно свободно обойтись обручем с кадушки, кати себе!..

Котенок Нурр, выросший уже в большого кота, вроде бы тоже одобрял хозяйкину жертву — неспроста же он терся у ног и мурлыкал!

В торжественном настроении Мирьям уселась на краешек кровати возле ночника и по складам внимательно прочла все поучительные надписи, которые имелись на копилке, надеясь отыскать там одобрение своему намерению. Под изображением богатого хутора и сытых коней она прочла: «Прилежно кроны собирай — будет в доме каравай».

Мирьям хотела найти что-нибудь о векселе и повернула копилку другим боком.

Тут на пеньке сидел, понутив голову, изможденный старик,— седая борода чуть не до земли и палка с сумой рядом, а внизу надпись: «Кто не копит с малых лет — от заботы будет сед».

Слова эти не вязались с тем чувством удовлетворения, которое охватило девочку, и она решила, что в душе сама похвалит себя — так, чтобы никто не услышал, потихоньку.

Придя к такому решению, Мирьям открыла витым ключиком боковой замок у копилки.

Желтые и белые монетки едва уместились на маленькой девочкиной ладошке.

Гордая собой, Мирьям вытянула руку вперед и пошла передавать свое богатство.

Еще в дверях она крикнула:

— А у меня что есть!

Ее и не заметили.

Это не огорчило девочку, она со звоном опустила пригоршню центов прямо на пол перед черными

туфлями и коричневыми ботинками, так, чтобы все увидели.

Теперь в комнате и на самом деле стало тихо.

Даже показавшаяся в дверях Лоори — и та удивленно посмотрела на сестренку, но мама снова попятилась в кухню, будто про нее опять сказали плохое.

У маминой мамы вдруг задрожали руки, и она полезла за носовым платком.

Бабушка смотрела сверху вниз и постукивала ногтями по подлокотнику.

Отец опустил на корточки рядом с дочкой, собрал монетки в ладонь, осторожно положил их возле зеленой настольной лампы и неровным голосом произнес:

— Спасибо, ты добрый ребенок, твои деньги — большая мне помощь.

От радости Мирьям показала Лоори язык. Та усмехнулась.

В наступившей тишине Мирьям стояла посреди комнаты героиней и думала, что уж теперь-то у отца обязательно найдется для нее немного времени и она сможет задать вопрос, который так и вертится на языке.

— Папа, кто такой Ле-нин?

— Русский.

— А еще?

— Вождь красных, — ответил смущенный отец.

— А кто он еще? — требовала Мирьям, которую не удовлетворял столь краткий ответ.

— Он философ, ну, мыслитель, — пытался объяснить отец.

— Где ты подобрала это имя? — наконец пришла в себя бабушка.

— Ну и времена пошли! — Мамина мама на этот раз была вроде бы согласна с бабушкиным негодованием.

Мирьям чуточку обиделась, но виду не подала.

— А Ленин живой? — спросила девочка и почему-то страшно испугалась, что ей ответят «нет».

— Нет, — ответил отец.

— А он что, такой же мертвый, как дедушка? — не хотела верить Мирьям.

На этот раз произнесли слово «да», которое уже успело потерять для Мирьям свое обаяние.

— Тогда он должен быть хорошим человеком, — решила Мирьям, — потому что все хорошие люди умирают очень рано...

— Слушай, Арнольд, растолкуй ребенку, чтобы он выкинул из головы эти глупости. — Бабушка уже не могла сдержаться.

— И совсем это не глупость.— Мирьям тоже рассердилась и положила круглый значок на ладонь.— У меня даже его картинка есть!

Бабушка выхватила у внучки значок с изображением Ленина и прикрикнула:

— Сейчас же признавайся, откуда ты взяла.

«Ну, теперь я влипла со своими разговорами», — в отчаянии подумала Мирьям, но быстро собралась с духом и звонко ответила:

— Нашла.

Бабушка поверила. Она поднялась, потянулась — от долгого сидения затекла спина — и небрежным движением выбросила значок в открытое окно.

У Мирьям дух перехватило, ведь ее всегда учили, что дареные вещи следует беречь.

Выброшенный значок означал, что разговор окончен, и интерес взрослых к Мирьям пропал.

Девочка снова забилась в темный угол, с необъяснимым щемящим чувством, и безмолвно глотала солоноватые слезы, которые невольно подступили к горлу.

— Ох ты горе горемычное! — Мамина мама вернулась к прежнему разговору.

— Да уж, хорошенькая история, и какой же ты все-таки дурак, что подписался на векселе за первого поручителя! — возмущалась бабушка.— Нет, мало тебя еще жизнь учила!

«Опять взялись...— вздохнула Мирьям и украдкой вытерла слезы.— Лучше бы и они дали отцу сколько-нибудь!»

— Снова теперь из-за вас ночей не спи! — ворчала мамина мама.

«И почему это ей ночей не спать? — удивилась Мирьям.— Ведь это совсем не ее горе, это папино и мамино горе, и мое с Лоори тоже. Это наше семейное горе...» — думала Мирьям, глядя с досадой и неприязнью на бабушек, которые развалились в креслах.

— Ох, если бы ты женился в свое время на Диане Крунът, не было бы ни заботушки об этом пустячном векселе, ни тебе чего другого,— уставившись на сына, с упреком сказала бабушка.

«В жены отцу Диану Круньт?.. А мама? — На мгновение в голове у Мирьям все перемешалось, чтобы уже в следующую секунду выстроиться в ужасное подозрение: — Если бы у отца была Диана Круньт, то как же тогда мы с Лоори?..»

Мирьям поднялась на ноги, уставилась во все глаза на бабушку — как она смеет?

С этого вечера Мирьям стала ненавидеть Диану Круньт, хотя, по совести, та ничего плохого ей никогда не сделала.

25

Ветер в то утро гонял по мерзлой земле редкие листья.

Бабушка оделила внучку срезками обоев, оставшимися после ремонта комнаты, в которой жил Латикас, и Мирьям, обмотав себя лентами так, чтобы сзади развевались длинные бумажные хвосты, наперегонки с ветром носилась по двору.

Остановившись на секунду посреди двора, Мирьям заметила Рийну Пилль, которая топталась за забором и с нескрываемой завистью смотрела на роскошное шуршащее одеяние Мирьям. Той стало жаль Рийны, которая ничего, кроме однообразной игры в куклы, не знала, и она оторвала у себя пригоршню перепутанных срезков.

Подняв высоко над головой предназначенные для Рийны бумажные полоски, Мирьям приблизилась к забору.

— А больше не будешь ябедой? — потребовала Мирьям.

Рийна, не отрывая глаз от развевающихся лент, благоговейно ответила:

— Не-ет...

Тогда Мирьям забралась на забор и закинула на соседский двор предназначенные для Рийны ленточки.

Возбужденная от радости Рийна тут же обмоталась бумажными полосками и бросилась бежать вокруг кустов сирени.

На душе у Мирьям потеплело, и она пустилась своей дорогой дальше, продолжая носиться по серому стылому двору.

— Рийна! Рийна! — услышала Мирьям голос госпожи Пилль.

Мирьям подбежала к забору, чтобы посмотреть.

Рийна тоже остановилась и нехотя подошла к окну, из которого свесилась ее мать.

— Не бегай так, вспотеешь, ветром прохватит и простудишься,— внушала она дочери.

Рийна, накручивая на палец бумажную полоску, виновато уставилась в землю.

Мирьям отошла от забора, теперь она уже презирала Рийну за то, что та не убежала от матери.

Перед обедом, когда у Мирьям выдалась минутка и она заскочила домой, то застала у себя бабушку, которая нетерпеливо стояла в передней, повесив ридикюль на руку. Отец тут же чистил щеткой пиджак и, как можно было предположить, собирался вместе с бабушкой в город.

Мама стояла возле кухонной двери, опершись о косяк, и тупо смотрела куда-то мимо бабушки и отца.

— И все же мой план самый стоящий,— произнесла бабушка,— запишем все ваши лучшие вещи на мое имя, а в договоре укажем, что у вас в квартире они находятся только в пользовании.

— Если бы удалось этого старого Эйпла засадить в долговую тюрьму,— со злостью проговорила мама.

— Глупая,— устало заметил отец.— Ты же знаешь, что это не так просто. За его содержание в долговой тюрьме платить бы пришлось нам. Деньги! Деньги! — закончил он, как-то странно повышая голос.

Эту перепалку между сыном и невесткой бабушка пропустила мимо ушей.

— Все же мой план самый лучший. Подпишем договоры, и ничего, кроме старого хлама, приставу и не достанется!

Бабушка торжествующе засияла и, повернувшись к невестке, добавила:

— Одежку, что получше, тоже тащи ко мне в шкаф. Мама покорно кивнула.

— Человек обязан знать все ходы и выходы,— продолжала нахваливаться себя бабушка.— Вот, скажем, я в комнату, что была за Латикасом, новых жильцов сторговала. Будут в месяц платить на две кроны больше, чем платил этот старый бедолага.

— А у новых есть дети? — с интересом спросила Мирьям.

— Нет,— коротко ответила бабушка,— зато они артисты.

Хотя последнее слово бабушка произнесла с явным пренебрежением, она и тут не удержалась, чтобы не похвалиться:

— Все попримечнее народ, чем эта серость вокруг!

— Они в цирке артисты? — с жаром допытывалась Мирьям.

— Мужик на скрипке пилит в кабаке, а жена вроде бы поет. Кошек, собак и детей у них нет. Больше ничего не спрашивала.

Внучкины расспросы, видимо, надоели бабушке, потому что она вернулась к прежнему разговору:

— Как хорошо, Арнольд, что мы еще не переписали на тебя долю из отцова наследства, так и останутся они теперь с носом.

Бабушкина бьющая через край самоуверенность вызвала и на мамином потемневшем от горя лице что-то вроде тени улыбки.

«Ну и бабка у меня! — Мирьям все же не могла не восхищаться ею. — И откуда только она все знает и умеет?»

То же самое, наверное, переживал и отец, иначе бы он не пустился с такой резвостью вместе с бабушкой в город.

У Мирьям всегда был верный нюх на разные события. И на этот раз тоже: едва она успела с полчаса проторчать в воротах, как увидела телегу с пожитками, которая приближалась по улице Ренибелла.

Мирьям вытянула шею, чтобы увидеть самих артистов, но глаза от резкого ветра заслезились, да и на всей улице, кроме извозчика, шагавшего рядом с повозкой, ни одного человека не было, если не считать неприметную парочку, которая семенила поодаль.

Мирьям осталась терпеливо поджидать в воротах. Уж, наверно, артисты откуда-нибудь появятся, их, должно быть, издали узнаешь. Мирьям в своем воображении уже представляла их. Выглядели они такими же, как в одной из кинокартин, которую она ходила смотреть вместе с дедушкой. У артистки из-под накидки раздувается платье в оборку, на голове шляпа с развевающимися белыми перьями, у артиста — трость, цилиндр и белые перчатки.

Стоило подождать и потерпеть, чтобы увидеть такое наяву.

Повозка с вещами остановилась неподалеку от парадной, что выходила на улицу.

Извозчик надел лошади на морду торбу с сеном и стал чего-то дожидаться. Мирьям уже хотела было подбежать, чтобы показать извозчику отремонтированную квартиру Латикаса, куда следовало снести вещи артистов, но вдруг

увидела, что будничного вида парочка почему-то тоже подошла к телеге и стала в нерешительности.

— Поднести вещички или как? — спросил извозчик у мужчины, поглядывая исподволь на худую женщину.

Теперь и Мирьям заметила, что невзрачный мужчина держал в руках футляр из-под скрипки.

Ну почему человека на каждом шагу должны ожидать столь ужасные разочарования!

Если бы только новые жильцы подозревали, что они разрушают иллюзии у девочки, которая притаилась в воротах, они бы поговорили с извозчиком с глазу на глаз, в четырех стенах, и не стали бы распространяться здесь, на виду, в присутствии Мирьям.

Артистка. А сколько это будет стоить?

Извозчик. Если поднести вещички, то все четыре кроны. Путь неблизкий.

Артист. А если мы сами отнесем вещи?

Извозчик. Тогда само собой... три кроны.

Артистка. Мы снесем вещи сами.

Артист подал скрипку жене и взвалил на спину огромный узел. Вместе они скрылись за парадной дверью. Извозчик зашел спереди к лошади, пошарил в кармане и отыскал там корочку хлеба, которая тут же исчезла за губами у коняги.

Артисты вернулись назад и с трудом стащили с повозки кухонный шкаф. Извозчик мельком взглянул на них, потом решительно подошел и взялся вместо женщины за угол шкафа. Артистка, отступив в сторону, сказала:

— Больше трех мы не сможем заплатить.

— А я и не прошу, — ответил извозчик и поднял шкаф.

Мирьям бросилась со всех ног домой, обратно она прибежала с куском хлеба в руках. Поднесла лопоту к лошадиной морде и услышала за спиной голос извозчика:

— Ох ты кроха, смотри-ка, она умеет животину кормить.

Мирьям повернула голову к извозчику и серьезно произнесла:

— А что тут такого, у нас во дворе тоже лошадь живет, белая Мийра.

Артисты, стоявшие возле повозки, улыбнулись. Мирьям осталась довольна собой — знакомство с новоселами состоялось.

Вещи все снесли, извозчику отсчитали три кроны, и

повозка покатила по прямой, как стрела, улице Ренибелла в сторону красного железнодорожного забора.

Улица ненадолго опустела.

Из магазина вышла госпожа Пилль, и была она куда красивей и роскошней, чем приехавшая артистка.

Показалась Лоори, на ее шапочке задорно подпрыгивал красный помпончик.

— Двойку получила, да? — посчитала за нужное спросить Мирьям, когда сестра подошла к воротам.

— Это ты будешь их хватать! — пообещала Лоори, но сказала она это со столь кислой миной, что Мирьям невольно заподозрила сестру во лжи.

— Ты только маме не говори, если получила! — крикнула Мирьям. — У нее и так забот хватает!

— Сама знаю! — через плечо бросила в ответ Лоори.

Наверное, Лоори долго свою дорогую форменную шапочку с красной шишечкой теперь не поносит. Еще меньше надежды на то, что сама Мирьям когда-либо попадет в лицей.

Но грустные мысли тотчас же улетучились, как только Мирьям увидела отца и бабушку, возвращавшихся из города. Отец шел подпрыгивающей походкой впереди, размахивающая ридикюлем бабушка со вскинутой гордо головой и развевающимися на ветру полами пальто — немного позади.

Улица перестала интересоваться девочку, и Мирьям, ожидавшая радостных вестей, засемила вслед за взрослыми в комнату.

И в самом деле, отец широким жестом кинул на стол кипу бумаг, лицо у мамы сразу засияло. Бабушка, уставив руки в бока, с торжествующим видом стояла рядом.

Она не дала маме порадоваться избавлению от заботы.

— Теперь начинай перетаскивать вещи ко мне, — командовала бабушка.

Мама нехотя поднялась.

Бабушка указала пальцем на картину с изображением морского берега, которую адвокат Кикенфельдт подарил однажды матери, и сказала:

— И это тоже носи, вдруг цену какую имеет.

«Значок, значок... — подумала Мирьям и обомлела: — Я же забыла найти его!»

Встревоженная, Мирьям мигом выскочила в сад и с чувством глубокого стыда начала шарить под яблоней в шуршащей листве.

Ей повезло, хотя угрызения совести после этого улеглись не сразу.

«Все ценные вещи нужно спрятать», — успокоившись, решила Мирьям и приступила к делу.

В подвале, на подоконнике, она отыскала заржавленную банку.

Использував момент, когда матери не было в комнате, Мирьям засунула за пазуху розовое американское платье. Только достать кусок бумаги и лопату!

Подмерзлая земля поддавалась с трудом. Мирьям до того долбила лопатой почву, что ей стало жарко и пришлось скинуть пальто.

Наконец нужная ямка была готова.

За садовым домиком, подальше от случайных взглядов, Мирьям свернула розовое шелковое платье, прикрепила к нему красный значок, все это завернула в бумагу и затолкала в жестяную банку.

Теперь оставалось незаметно пробраться к вырытой ямке и захоронить имущество.

Мирьям притоптала хорошенько землю и даже нагрусилась сверху опавших листьев, чтобы никто ничего подозрительного тут не заметил. В довершение всего она воткнула в землю неприметную хворостинку и на всякий случай отмерила шагами от стены место захоронения. Она слышала от Пээтера, что немало кладов оттого и затерялось навеки, что люди плохо помечали его.

Теперь можно было и передохнуть. Мирьям придиричиво оглядела свой великолепно скрытый тайник.

Постепенно радость улетучивалась. Мирьям, только что с азартом прятавшая свои сокровища, поникла головой. А что, если на деле хитрость — то же самое, что и глупость?

И откуда только набрело это сомнение?

Но тут мама распахнула окно и крикнула:

— Мирьям, сейчас же надень пальто!

Утром в сочельник Мирьям долго не осмеливалась открыть глаза, потому что еще накануне загадала, что, если утром пойдет снег, тогда праздники будут радостными, а если нет — то они будут такими же гнетущими, как все эти дни, которые пошли с того вечера, когда отец сказал:

— Вексель Эйпла опротестовали.

«Если уж на то пошло, так самое большое горе должно быть позади,— думала Мирьям, притворяясь спящей,— второй раз пристав вряд ли придет! Да и мама ясно сказала этому приставу, предъявляя бумаги, что на нет и суда нет!»

С дрожью и отвращением вспоминала Мирьям того сухопарого человека, который заглядывал у них в квартире во все уголки и, казалось, вынюхивал своим заостренным носом ценные вещи. С чувством удовлетворения подумала Мирьям о своей предусмотрительности, о том, что она вовремя запрятала в землю свое богатство. Когда судебный пристав оценивающе оглядывал кровать, на которой спали Мирьям и Лоори, она спросила у этого остроносого:

— Что же, мы с Лоори теперь должны спать на полу, так же, как дядя Рууди?

Пристав взглянул на нее поверх очков, и Мирьям с удовлетворением отметила, что она, пожалуй, может уже постоять за себя, как настоящий взрослый человек, потому что старик махнул рукой и кровать их описывать не стал.

Новых бед Мирьям было не предугадать, на душе у нее начала зреть надежда на лучшие времена, и она решительно открыла глаза.

На дворе крупными хлопьями падал мягкий снег.

В то утро Мирьям на радость матери тщательно вычистила зубы и даже вымыла шею. Старалась не огорчить, чтобы у матери не было причины накричать,— а с ней это в последнее время, к сожалению, частенько случалось. Тем более что на кухонном столе благоухали булочки, и мама улыбалась, словно снег на дворе был и для нее предзнаменованием радостного рождества.

Кто-то постучался.

Мирьям побежала открывать дверь. Улыбающийся почтальон пошаркал на циновке заснеженными ногами и подал отцу два конверта. Отец достал из кармана монетку и протянул ее письмоносницу. Надо, чтобы и почтальон порадовался рождественским праздникам!

Возбужденная Мирьям протянула руку, чтобы первой после отца прочесть рождественскую открытку, но ей подали только один конверт. Содержание другого письма отец изучал почему-то слишком долго, словно на маленьком листочке уместилось целое послание.

«Доброго рождества!» — по складам прочла Мирьям слова, написанные под еловой веткой. На обороте открытки значилось: «Желает Кузнецов».

Мирьям протянула открытку нетерпеливой Лоори, а сама выжидающе уставилась на отца.

Но он по-прежнему стоял неподвижно возле двери и все еще перечитывал свой листочек.

Молчание было столь долгим, что мама заглянула из кухни в переднюю и, предчувствуя недоброе, тревожно спросила:

— Ну, что там опять стряслось?

— Если я не уплачу до Нового года по векселю Эйпла, они грозятся посадить меня в долговую тюрьму.

Прежде чем Мирьям сообразила, о чем идет речь, мама уже бросилась в слезы.

А на улице шел великолепный рождественский снег.

Мирьям знала всего лишь одного человека, которого посадили в тюрьму. Это был известный забулдыга с улицы Ренибелла — Карли, который как-то пырнул ножом такого же лоботряса Юсся.

«Лоботрясу Карли было поделом, так ему и надо, — рассудила Мирьям, — он полез с ножом на другого, пускай бродягу, но все-таки человека. Но за что отца в тюрьму?»

Ей стало жутко при виде его восковой желтизны. Только матери она посмела сказать:

— Не плачь, а то скоро состаришься.

Так обычно мама говорила самой Мирьям, когда та со злости или обиды начинала хныкать.

Но сейчас дочкины слова не подействовали на маму, она еще сильнее разрыдалась.

Мирьям поняла, что ничем она тут помочь не может. Натянула на себя ворсистые рейтузы, пальто и завязала под подбородком тесемки своей светло-зеленой пушистой шапочки.

Никто не обратил даже внимания, когда она исчезла за дверью.

Уселась тут же на крылечке и принялась строить планы.

«Отца надо куда-нибудь спрятать, где его никто не найдет», — пришла она наконец к выводу, который потребовал от нее немалого напряжения.

Но куда спрятать?

Снегопад все усиливался.

Мирьям продолжала сидеть на крыльце, хотя Рийна Пилль уже несколько раз звала ее к себе во двор лепить снежную бабу.

— У меня нет времени,— крикнула Мирьям, когда Рийнины пристаивания ей вконец надоели.

— А что ты делаешь? — удивилась Рийна. Она же видела своими глазами, что Мирьям сидела просто так и руки в варежках держала на коленях.

— Я думаю! — крикнула в ответ Мирьям.

— О чем? — не отставала Рийна.

— Не хватало еще, чтобы я это тебе докладывала,— пробормотала Мирьям,— все равно ты ничего не поймешь, только и хватает глупости, чтоб пищать над ухом.

Но Рийне было уже не до Мирьям. Госпожа Пилль сама вышла во двор и с хохотом принялась скатывать из липкого снега ком. Рийна визжала наперебой с матерью, и Мирьям в сердцах подумала:

«Будто нарочно развозятся, чтобы не дать человеку покоя».

Ну куда запрятать отца? Конечно, можно бы в лес, но там холодно. Где же найти верное место? Где оно, такое, которого никто не знает? В винном погребе? И ключ бы забросила... Нет, там крысы... Не пойдет.. И вина там тоже очень много, еще напьется, забудется, затынет песню и выдаст себя. Нет, не годится.

Кто-то положил ей на плечо руку, и Мирьям вздрогнула.

Она подняла взгляд и увидела дядю Рууди, который улыбался, как обычно улыбаются в праздники люди.

— Что ты, снеговик, поделяешься тут?

— Не видишь разве — думаю,— расстроено ответила Мирьям.

— Тебя так занесло, что макушки и той не видно,— оправдывался Рууди, отряхивая племянницу от снега.

— Ах, брось,— сказала Мирьям и с усилием поднялась на ноги. Тут она почувствовала, что зад у нее совсем застыл, и она принялась хлопать по нему руками, чтобы разогреться.

— Послушай, Мирьям,— начал дядя Рууди и насупил брови, как делал всегда, когда заводил серьезный и важный разговор.

Девочка приготовилась слушать. А вдруг дядя Рууди посоветует такое место, куда можно будет спрятать отца?

— Старуха сунула мне тут в карман горсть денег и велела съездить на кладбище,— продолжал Рууди.— Говорит, в сочельник на могилке у деда должны гореть свечи. Так как, поедем?

— Ну, ясно! — воскликнула Мирьям и подумала: разве может какая-то Рийнина снежная баба сравниться с такой дальней дорогой?

— Если барышня согласна, — пророкотал Рууди и развел сомкнутые брови, — тогда прикажем извозчику Румму, чтобы он нацепил Мийре бубенцы на шею, вынес в сани соболиные накидки и — поехали!

— И — поехали! — повторила восхищенная Мирьям и в подтверждение схватила дядю Рууди за руку.

— А Лоори возьмем с собой? — спросил дядя Рууди.

— Возьмем, — согласилась Мирьям и тут же побежала сказать об этом сестренке.

Дядя Рууди усадил девочек по бокам от себя, натянул им почти под самую шею повытертый санный полог и крикнул извозчику так, будто тот бог знает в какой дали находился:

— Давай ходу, господин Румм!

Извозчик оглянулся, доброжелательно хмыкнул и взмахнул кнутом над головой. Старая кобыла Мийра в свою очередь посмотрела через оглоблю на хозяина и пошла медленным шагом.

— Ню-оо! — кричал Румм и смеялся: — Мийра, не позорь меня!

Мийра, зная, поняла и затрусилась потихоньку, колокольчики на шее у нее зазвенели, словно это были настоящие бубенцы.

— Слушай, Румм, а ведь колокольчики-то у тебя ржавые! — весело крикнул извозчику Рууди.

Извозчик оглянулся и, посмеиваясь, ответил:

— Каждый год не до новых! — так, будто все это из-за лени, а не потому, что в кармане пусто.

«Все сегодня смеются», — подумала Мирьям и решила развеселить Лоори, которая сидела мрачная, — показала ей язык, что обычно всегда действовало.

Но Лоори осталась серьезной, мало того, сама в ответ показала язык и отвернулась.

«Ну где найти для отца убежище?»

Когда многоопытная Мийра осторожно свернула с улицы Ренибелла на улицу Освальда, какая-то красивая барышня помахала дяде Рууди рукой. Тот помахал в ответ.



— Она что, твоя невеста? — допытывалась Мирьям.

— Да нет, просто так, барышня, — ответил Рууди и снова положил руку, которой только что махал, на плечо племянницы.

Мирьям осталась довольна таким ответом: не хватало еще, чтобы дядя Рууди женился и у него пошли бы дети, тогда он возьмет и забудет Мирьям!

Снег застревал в челке, скатывался капельками на лоб, чтобы просохнуть тут же, на раскрасневшемся от ветра лице.

По городским улицам сновали люди: кто с елкой на плече, у кого руки полны свертков.

Мирьям с удовольствием помахала бы всем, мимо кого, звеня колокольчиками, они проносились, но заботы превозмогали ее веселье.

Когда уставшая после долгой дороги Мийра, изредка позвякивая колокольчиками, не спеша свернула на дорогу, проходившую по кладбищу, Мирьям спросила у дяди Рууди:

— А пристав, он ведь не ходит на кладбище?

— Да вроде бы нет, — деловито ответил Рууди, уже привыкший к странным вопросам племянницы.

— А полицейский? — вполголоса допытывалась она.

— И ему особо нечего здесь делать, разве что когда хоронит родичей.

Мирьям смотрела на мелькавшие по обе стороны дороги свечи, что были зажжены на могилах, и думала:

«Тут самое спокойное место на всей земле».

Шел плотный снег, но безмолвные огоньки продолжали упорно мерцать. Кого-то хоронили, заунывное церковное песнопение уносилось в белесые сумерки.

Звонил по усопшему колокол, звон его жутковатым гулом врезался в теньканье колокольчиков. И Мирьям вдруг почувствовала страх.

Ее взору открылась дедушкина могила, вся запорошенная снегом.

«Нет, отца нельзя прятать на кладбище», — размышляла Мирьям, и горький стыд охватил ее за то, что она минуту назад думала иначе.

Дядя Рууди зажег могильные свечи.

Мирьям пыталась вспомнить дедушку, но печаль об отце помешала воспоминаниям.

И Мирьям впервые с удивлением поняла, что она и отца своего любит.

После кладбища Мирьям стала кашлять.

— Придется выпить лекарства, — решила мама.

— Я не хочу! — хныкала Мирьям, которая ненавидела всякие горькие порошки.

— Но я дам тебе необыкновенное лекарство, — угрожала мама и отыскала маленький коричневый пузырек. — Эти капли в подвале своего замка приготовил мудрый датский король, который смешал нектар с цветков и принцессыны слезы. Вот увидишь, это обязательно поможет!

Мирьям согласилась выпить лекарство и не пожалела. Кашель вроде бы улегся.

К вечеру наступила оттепель. Снег обмяк, и в темнеющих вмятинах следов выступила вода. Влажный воздух был полон звенящего зова колоколов.

Мирьям спряталась за занавеску и глянула в окна противоположного дома, где так дружно мерцали свечки и где под выбеленными потолками не горели сегодня яркие, без абажуров, электрические лампочки.

Девочка растрогалась. В окне Пээтера вспыхнул бенгальский огонь, а в соседней квартире можно было видеть Хейнца, который, сложив руки, стоял возле елки.

«На рождество, наверное, все люди становятся добрыми», — подумала Мирьям и тоже хотела стать под елку, скрестить руки, чтобы и самой почувствовать себя хорошей.

Мирьям увидела, как Хейнец открыл рот, закинул голову, будто находился у зубного врача, потом вытянул губы и тут же растянул рот до самых ушей.

«Поет», — догадалась Мирьям, которую эта немая картина вначале привела в замешательство.

Известные по дворовым баталиям противницы — дворничиха и самогонщица Курри, — повязав большие темные платки, шагали, взявшись под руки, — не иначе как в церковь.

«На рождество все люди добрые», — думала Мирьям, провожая взглядом старух, и в своей душе ощутила порыв к примирению. Вот только не было рядом ни одного врага, чтобы при свете рождественских свечей великодушно подать ему руку.

— Дети! — крикнула мама.

Мирьям ошупью выбралась из темной спальни и пошла на мамин голос.

Посреди жилой комнаты стояла внесенная только что со двора елка, под ней на полу образовались лужицы растаявшего снега.

Мирьям была уверена, что у них на этот год елки не будет, — из-за утреннего письма, того, что угрожало долговой тюрьмой.

Мирьям смотрела на отца, который курил, и на мать, стоявшую в дверях, и еще раз уверилась, что на рождество все люди хорошие.

Удивительный это праздник — рождество!

А вот и раскрасневшаяся Лоори вошла, неся на вытянутых ладонях коробочку с елочными украшениями, да так, что мама, увидев дочкину лихость, испуганно вскрикнула:

— Смотри не урони!

А Лоори осторожно опустила коробку с хрупким содержимым на стул, все было готово к самому веселому занятию на свете.

Лоори, как более высокая, забравшись на отцовский письменный стол, прикрепила на макушку елки серебряную звезду. Мирьям принялась распутывать золотистый «дождик», чтобы его хватило как можно больше. Потом Лоори взялась за свечи и расположила их со знанием дела так, чтобы они не опалили ветки. На долю Мирьям достались длиннохвостые птички с прищепками и разноцветные стеклянные шары — подвешенные к веткам, они медленно раскручивались, словно ожидали, когда зажгутся свечи, чтобы в радужных отблесках отразить их огоньки.

Отец с матерью остались довольны ребячьей работой.

Из передней донеслись шаги и пошаркивания, которые с таким нетерпением ожидались в каждый сочельник.

Мирьям сделала вид, что она ни за что не узнает дядю Рууди, который нарядился дедом-морозом и бороду себе приклеил, потому что взрослым очень нравится, когда дети верят тому, в чем их хотят уверить.

Дядя Рууди пытался даже голос изменить, он сутулился по-стариковски и вел разговор о санях, которые дожидаются его на улице вместе с подарками для других детей.

Лоори тут же оттараторила свой стишок:

Колокольчики звенят...

Мирьям вздохнула: ей вспомнилась поездка на кладбище.

Теперь наступила очередь Мирьям.

— Ну, а ты что? — вопросительно произнес дед-мороз — дядя Рууди.

— А я ни одного стихотворения не знаю, — пробормотала Мирьям, уставившись в пол.

— Как же так, Мирьям? Ты ведь обещала выучить! — сердилась мама.

— В прошлом году ты знала несколько красивых стихотворений, — не отступал дед-мороз.

Мирьям отвела взгляд от горящих свечей и, заглянув в темный сад, сказала:

— В прошлом году дедушкины яблони были сплошь в яблоках, так что ветки ломились, а в этом году и яблока нет.

Дядя Рууди протянул девочке сверток и больше уже не требовал прочитать что-то наизусть.

«На рождество все люди добрые и уступчивые», — удивилась Мирьям, что так легко отделалась.

Дед-мороз ушел, и Мирьям слышала, как он скрылся за дверью бабушкиной квартиры.

Мирьям развернула сверток. Из зеленой кофты в руки выпала целлулоидная куколка величиной с палец.

Лоори в своем пакете обнаружила новое школьное платье и книгу в красной обложке.

Отец с матерью глядели на радостных детей, и Мирьям чувствовала, что в этот момент родители не думают о долговой тюрьме.

Поскрипывая новыми туфлями, пришла празднично разнаряженная бабушка, с полной охапкой бумажных кулчков. Лоори долго пришлось их разворачивать и раскладывать по блюдам: на одно — орехи, на другое — рождественские пряники, покрытые розовой обливкой, на третье — конфеты, на четвертое — мандарины...

Мирьям не могла отвести взгляда от лакомств. Но сегодня запрета и не полагалось, взрослые уселись вокруг маленького диванного столика, и мама поставила бокалы возле бабушкиной бутылки с вином.

Выпив первую рюмку, бабушка начала петь.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter...¹

¹ О елочка, о елочка, как зелены твои иголки... (нем.).

Все стали подтягивать бабушке, и только Мирьям напевала на родном, понятном языке собственного сочинения слова:

...тебя со стужи в дом внесут,
вокруг тебя и водку пьют!..

Лоори все же расслышала и ткнула сестренку в бок. Мирьям перестала петь, она и так делала это без особого энтузиазма, и отправилась жечь бенгальские огни. Окончив песню, бабушка снова заторопилась наливать в бокалы.

— Погоди немного, — сказал ей Арнольд и вытащил из внутреннего кармана бумагу.

Бабушка читала долго, и бровь у нее грозно хмурилась.

— Что оно значит? — спросила она фразой, которую обычно употреблял Яан Хави.

— Долговая тюрьма, — нервно бросил в ответ отец.

— Читать я умею! — огрызнулась бабушка.

— Я надеялся, что меня просто признают банкротом, для того мы и все бумаги с тобой составляли...

— Знаю, знаю, только почему они не засадят в долговую тюрьму Эйпла?

— Он дряхлый старик... — ответил отец.

— Что из того, он же занимал?

— Все это подстроено, хотят любой ценой выжать из меня деньги, — устало махнул рукой отец.

— Так оно, видно, и есть, — протянула задумавшаяся бабушка и медленно подняла бокал, чтобы одним движением опрокинуть его.

Отец последовал ее примеру.

Мать метнула быстрый взгляд в сторону детей и тоже залпом выпила свое вино.

У Мирьям от удивления глаза полезли на лоб: она никогда не видела маму такой легкомысленной.

Лоори шепнула сестренке на ухо:

— Что с нами будет, если отца посадят в тюрьму?

Мирьям пожала плечами.

Лоори тяжело вздохнула.

Глаза у мамы блестели, и казалось, что она была спокойна.

— Никто из нашей семьи отроду в тюрьме не сидел, и ты туда не пойдешь, — наконец решила бабушка и в подтверждение своих слов стукнула кулаком по столу так, что бокалы подскочили.

— А вы играйте, дети, играйте,— просила мама своих девочек, которые, раскрыв рот, смотрели на бабушку.

Лоори и Мирьям опустились за елкой на корточки, склонившись над целлулоидной куколкой, той, что была величиной с палец.

— Как ты назовешь ее? — с наигранной беззаботностью спросила Лоори.

— Тути.— Мирьям назвала первое попавшееся имя.

— Дура,— презрительно сказала Лоори,— это же собачье имя!

— Ну и что,— возразила Мирьям,— если бы у меня была собака, я бы назвала ее человеческим именем! Вот!

В наказание за подобное своеобразие Лоори одарила младшую сестру взглядом, исполненным упрека.

Ну какая может быть игра, если отец обхватил голову руками и стонет:

— Что делать, что делать?

— погоди! — приказала бабушка, недовольная отцовской несдержанностью.— Я сейчас придумаю!

— погоди,— повторила мама,— бабушка сейчас придумает!

Мирьям показалось, что в маминых словах послышалась насмешка, но бабушка на это внимания не обратила.

— Придется выплатить, раз уж ты оказался таким дураком, впредь наукой будет,— решила бабушка.

— Чем выплатить-то? — Отец как-то неестественно рассмеялся.

Но бабушка не удостоила его ответом, исчезла за дверью с пустой бутылкой и тут же вернулась обратно с хрустальным графином, в котором искрилось домашнее вино.

Мама напряженно уставилась на свекровь. И Мирьям тоже, забыв о только что нареченной Тути, что осталась на некоторое время у Лоори, в тревожном ожидании поглядывала на бабушку, которая решительно разливала вино по бокалам.

Осушив свой бокал, бабушка откинулась на спинку кресла, положив руки на стол, и принялась барабанить пальцами по дереву.

— Ну? — не выдержал отец.

— Продай ту часть наследства, которая досталась тебе по завещанию,— многозначительно произнесла бабушка.

— Нашу квартиру? Мое наследство?

— Ну да, ничего не попишешь, продашь,— заверила бабушка, не обращая даже внимания на сыновнюю растерянность.

Отец хрипло хохотнул.

— Я, я куплю ее у тебя,— довершила она свою мысль.

— Все же лучше, чем садиться в тюрьму и оставлять семью беспризорной,— поддержала мама бабушкино предложение.

Отец молчал.

— Найдешь новое место, тогда сможем и за квартиру платить,— пыталась утешить мама.

— Отцово наследство...— тяжело выговорил Арнольд.

— Так ведь продаешь собственной матери,— успокоила бабушка.

— Но квартира стоит больше, чем надо заплатить по векселю,— оживился отец.

— Ни цента больше от меня ты не получишь,— твердо заявила бабушка и повторила: — Ведь собственной матери продаешь!

— Собственной матери,— повторил отец и в отчаянии уставился в потолок.

— Все же это лучшее решение.— Мама повернулась к отцу.— Или у тебя есть другой выход?

— Ладно, пусть будет так,— махнул отец и разлил вино в бокалы.

— Как хорошо, что мы еще не переписали на тебя наследство,— произнесла бабушка,— не то эта банда бог знает кому сторговала бы твою долю.

— Теперь она останется тебе,— бросил отец.

— Оно и лучше, когда дом не надо делить,— осторожно ответила бабушка и с подчеркнутой грустью добавила через некоторое время: — Не вечно мне жить.

— Ну вот, и с заботой покончено,— вздохнула с облегчением мама, не придавая значения последним словам.

— В любом положении найдется выход,— кивнула бабушка и с такой сердечностью глянула на невестку, как уже давно на нее не смотрела.

Мирьям увидела мамину улыбку, с восхищением взглянула на бабушку, и ей захотелось воскликнуть:

— Поверьте же, люди бесконечно добры!

Вернувшая всем праздничное настроение, бабушка снова завела:

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter...

Вслед за ласковыми ветрами во двор между двумя домами ворвалось весеннее беспокойство. Детишки, подобно жеребятам, скакали по пружинистой грязи. Пээтер больше не желал тратить время на школу и без конца прогуливал уроки. Мирьям казалось, что и сестра Лоори только понарошку берет по утрам портфель и надевает на голову шапочку с красным помпоном,— и она не без греха, не иначе как прохлаждается в Оленьем парке.

Бабы наперебой друг перед дружкой мыли окна, натягивали на рамы кружевные занавески и для просушки приставляли рамы к стенке сарая на солнышко. Искали случая потараторить на крыльце и во дворе — точно за всю долгую зиму и словом не перемолвились между собой; даже не отчитывали детей, которые забывали за беготней вытереть ноги и потому таскали в комнаты грязь. По вечерам жильцы долго не закрывали окон, выглядывали, облокотясь на подоконники, и по каждому пустяку во все горло хохотали. Кошачьи концерты добавляли к весенней разноголосице свою неповторимую полноту эмоций. В соседних воротах вечерами с приказчиком мясной лавки шепталась одна из младших жилищек «обитатели старых дев».

Дядя Рууди перебрался из роскошных бабушкиных покоев в садовый домик, и Мирьям теперь помогала

ему расположиться в летнем помещении. По примеру женщин мыла окна, смахивала с цветных верхних стекол паутину и даже старалась соскоблить с пола прошлогоднюю грязь.

Под кустами дотаивали грязные ошметки снега и уже цвели подснежники.

Мирьям собрала несколько цветочков и поставила их в рюмку на стол.

Прилегший на диван дядя Рууди рассмеялся:

— Тебе бы все ходить под парусами, а вот я годен ходить лишь под мухой!

На такие дядины шутки Мирьям строго ответила:

— Так весна ведь.

— По весне, конечно, человек думает по-особенному, летом он устает, а приходит осень — и махнет рукой на все былые мечты.

— Какой-то ты странный,— бросила Мирьям, угадав дядину печаль.

— Моя весна уже прошла, надоело все,— усмехнулся Рууди.

«Как это прошла...» — хотела было сказать Мирьям, но примолкла, так как чутье подсказало ей: что-то в дядиных словах осталось для нее неясным.

— Когда ты будешь в четыре раза старше и когда тебе стукнет, как мне, двадцать восемь, тогда ты поймешь, что к чему,— продолжал дядя.

Мирьям становилось не по себе, когда ей говорили, что она из-за своих лет ничего не соображает, она же все понимала, только иногда было трудно ответить!

Но на этот раз она решила взять себя в руки и не поддаваться дяде Рууди.

— Мама говорит, что человек до тридцати лет молодой, а это значит, что твоя весна еще не прошла! — выложила она свои козыри и из-под нависшей челки в упор уставилась на дядю.

Мирьям почувствовала, что загнала дядю в тупик, и уже предвкушала радость победы.

— Человек и в шестьдесят лет может быть молодым, лишь бы силенки на это достало,— наконец произнес Рууди.

— Силенки? — удивилась Мирьям и тут же отыскала секрет вечной молодости: — Тогда надо просто как следует работать, хоть землю копать, чтобы мускулы стали крепкими!

Уголки рта у дяди Рууди приподнялись, но Мирьям не понравилась эта усмешка примирения.

— Покажи,— потребовала она,— есть ли у тебя сила?

Дядя Рууди снял пиджак, закатал рукава рубашки и напряг мышцы, Мирьям поколотила кулаком по твердым, как камень, мускулам и осталась довольной.

— Да у тебя силы полно,— сказала она со знанием дела.

Дядя Рууди опустил рукав и улыбнулся.

— Сила, которая в теле,— это еще не все,— произнес Рууди и подмигнул племяннице.— Вот та сила, что в голове находится, куда важнее.

— А как ее распознать? — сразу же спросила Мирьям.

— С этим дело обстоит труднее,— неопределенно ответил Рууди.

— Как труднее?

— Эта сила умом да ученьем набирается,— ответил Рууди, и по напряженному выражению его лица можно было понять, что для объяснения с Мирьям он подыскивает выражения попроще.

— Тогда знай учись и думай и оставайся молодым,— не дала она сбить себя с толку.

— Да и этого одного тоже мало...— протянул дядя, который никак не хотел согласиться с девочкиными прямолинейными советами.— Тут дело такое, что сила, которая в голове, должна находить себе применение, только тогда она помогает оставаться молодым.

— Ну и применяй,— Мирьям никаких преград для вечной молодости не видела.

— А если ее негде применить? Если это такой товар, который не имеет спроса? — взволнованно воскликнул Рууди и даже не усмехнулся.

Мирьям пожала плечами.

— Ты — шутник,— грустно сказала она. Немного подумала, надув губы и нахмурив брови, потом со всей силой стукнула обоими кулачками по столу: — Уж я-то буду и думать и учиться, и еще я хочу, чтобы эта сила, которая в голове, не застоялась и не испортилась.

— Давай, давай! — воскликнул дядя Рууди и подмигнул Мирьям: — Твое время еще впереди. Так что давай!

Мирьям уловила на дядином лице радостное оживление и подумала: уж теперь-то дядя Рууди перестанет лежать безучастно на диване и отправится искать места, где можно будет найти себе применение. И утвердит свое право, пусть даже теми же твердыми, как камень, мускулами!

Но дядя устало смежил веки и стал прислушиваться к весенним звукам, которые в возникшей тишине лились в открытое окно садового домика.

Мирьям поняла, что весь этот долгий разговор прошел впустую. Девочка пристроилась рядом с дядей на диване. Рууди делал вид, что уснул, и Мирьям могла без помех разглядеть его. Смолисто-черные волосы жесткими прядями лежали на подушке, слипшиеся кончики их, казалось, подпирали бледное лицо. Смиренно-спокойному выражению лица мешала прожилка, которая пульсировала на правом веке. Дядя поднял руки и скрестил их на груди. Худые, чересчур длинные пальцы чуть заметно подрагивали.

Вдруг прихлынувшая к голове кровь разом оттеснила все весенние зовущие голоса — Мирьям вспомнились дедушкины мертвые руки, которые покоились среди цветов в гробу! Перед глазами у девочки заходили круги, и она ощутила в себе темную-претемную осеннюю ночь. Собравшись с духом, схватила дядю за запястья, с силой разняла его скрещенные руки и закричала испуганно поднимавшемуся Рууди:

— Ты не смеешь умирать! Не смеешь! Скажи, что ты не больной, не такой, как это говорят папа с мамой! Говори, ну!

— Да нет же, нет, нет! — успокаивал он девочку и кивал после каждого слова.

— Да нет же, — заверил он еще раз через некоторое время и увидел, что Мирьям успокаивается.

— Ты должен показать мне, что ты здоров, — требовала она.

— Но как? — улынулся он.

— Ты должен со мной станцевать! — решила Мирьям, вышла на середину помещения и хлопнула в ладоши. — Если человек больной, он не сможет танцевать! А-аа! И я сразу увижу!

— Я не умею... — дядя Рууди развел руками, но все же поднялся на ноги.

— А ты не бойся, я сейчас научу,— пообещала Мирьям.

— Ну ладно,— согласился дядя Рууди и кинул пиджак на диван.

Мирьям вложила ручонку в дядину ладонь и, таща его за собой, пошла вприпрыжку по кругу. Рууди тоже вытянул руку вперед и подпрыгивал за племянницей, стараясь не удариться в тесной комнатке о диван, о стол, о дверь и о стену.

— Музыку, музыку! — кричал Рууди, когда они проделали несколько кругов лишь под скворцовый щебет.

— Сейчас! — крикнула Мирьям и во весь рот засмеялась. Она успела заметить, что на впалых дядиных щеках появился румянец, и это окончательно распалило ее.

— Каравай, каравай, кого хочешь выбирай...— пела Мирьям.

— Каравай, каравай...— повторял басом Рууди, и звонкий девочкин смех трелью сопровождал дядин голос.

— Каравай, каравай, кого хочешь выбирай...— снова завела Мирьям, так как дальше никто из них слов не знал. Пол ходил под ними ходуном от этого дикого танца.

— Каравай, каравай...— тяжело дыша, выдавливал Рууди и взглядом просил неутомимую Мирьям закончить танец.

Она поняла: что-то неладно. Возле дивана девочка отпустила руку и с такой силой грохнулась на сиденье, что пружины подкинули ее вверх.

Дядя Рууди, пошатываясь, уселся возле Мирьям и вытер со лба пот.

— Видишь... теперь,— сказал он с усилием.— Я же... совершенно здоров.

Мирьям радостно кивнула.

— Мне показалось, что мама... кликнула тебя. Иди... скорее! — добавил дядя, не глядя на девочку.

— Хорошо,— произнесла Мирьям и вприпрыжку выскочила за дверь.

Прыгая мимо цветочной клумбы, она продолжала петь:

— Каравай, каравай...— и перевела дух.

Из окошка флигеля донесся надсадный кашель.

Мирьям задержалась возле подснежников и прислу-

шалась. Дядя Рууди все еще кашлял. У девочки заныло в груди. Ей казалось, что она сама задыхается.

С самыми серьезными намерениями двинулась она к дому. Девочка поняла, что дядя Рууди обманул ее, что он просто хотел отвязаться от нее, чтобы терпеть свою боль в одиночестве.

Но Мирьям была исполнена решимости. Она бросилась со всех ног домой и потребовала у матери:

— Дай мне скорей капли датского короля! Дядя Рууди кашляет, я отнесу ему!

Но мама не торопилась выполнить дочкину просьбу. Она стояла, опустив руки, и с упреком смотрела на Мирьям.

— Тебе жалко? — бросила девочка.

— Глупая, — ответила мама.

Мирьям уставилась в пол.

— Это лекарство помогает только детям, — нашлась мама.

Мирьям подошла к окну и прислушалась. В садовом домике было тихо.

И новый тоскливый вопрос начал мучить ее: «Почему никто не хочет спасти человека?»

29

На следующее утро госпожа Бах стояла посреди двора и в страшном отчаянии заламывала полные руки.

— Чертов немец! Удрал! Тайком... Оставил одну! И слова не сказал!..

— Что? Что? — зашущукались моментально собравшиеся бабы.

— На прошлой неделе сказал, что уезжает по службе. Я жду, а его все нет. Сегодня иду на работу, а там смеются и таращат глаза: неужто, мол, я не знаю, что мой муж, это дерьмо проклятое, сбежал в фатерланд!

Мирьям никогда еще не видела госпожу Бах несчастной.

— Хейнц! Хейнц! — пронзительным голосом кричит госпожа Бах в сторону дома.

Хейнц идет, оттопырив губу, и пробирается сквозь бабью толчею к матери. Госпожа Бах неожиданным движением притягивает верзилу к себе, приподнимает и, голубя его, начинает причитать:

— Радость ты моя последняя! Единственный мой! Сиротинушка ты!

Хейнцу до материнского отчаяния нет дела. Выглядывая из-за ее плеча, он показывает Мирьям язык.

Бабы наконец уразумевают что к чему и, сочувствуя, начинают хором охать.

— Такой хороший, скромный человек был,— растроганно вздыхает старуха Курри, словно говорит о покойнике, про которого ничего плохого говорить не принято.

Это ненавязчивое замечание вновь разжигает гнев у госпожи Бах.

— Чего там скромный? Хрыч старый! — И с презрением извергает: — Немчина вонючая!

После чего отпускает болтающего ногами сына на землю, берет его за плечи и трясет так, что у того рыжая голова ходит ходуном.

Хриплым голосом она выкрикивает:

— Забудь, что у тебя был отец! Забудь! Забудь!

Хейнц смачно сплевывает в грязь, и, гордая сыновьей решительностью, госпожа торжествующе оглядывается, пока напоминание о злополучной потере вновь не перекашивает ее лицо гримасой.

— Не надо было за немца выходить. От немца, от барина добра не жди,— в наступившей тишине произносит дворничиха, которая всегда умеет трезвее всех взглянуть на вещи.

— Какой там барин! — взрывается госпожа Бах, по своему истолковавшая слова дворничихи.— Это я — барыня, а он... он прохвост! Пердун старый, вот он кто! — находит она мужу самое верное обозначение.

— Пердун,— повторяет Мирьям и причисляет понравившееся слово к другим «хорошим» словам. Так они и хранятся у нее, будто разложенные в ряд по полочкам: мерзавец (отец, когда он пьяным приходит домой), дубина (так говорит мама, когда Мирьям капризничает), придурок (в самый раз подходит для Хейнца), поганка (это про грибы, которые не годятся для еды), озорник (это слово кажется Мирьям наполовину ласкательным и годится, например, для Хуго), а теперь появилось еще это выразительное — «пердун»!

Несмотря на все проклятия, вздымавшиеся между двух домов к безоблачному небу, воздух оставался прозрачным, и старые ивы наряжались в свое ярко-зеленое одеяние.

Весна.

Откуда-то доносились нежные, чарующие звуки скрипки. У Мирьям пропал всякий интерес к семейным злоключениям Бахов, и она отправилась туда, откуда доносилась музыка. Протиснулась между тяжелыми створками ворот на улицу и лишь тогда поняла: это же господин Куллес, артист, тот самый, что вместе со своей госпожой переехал в комнатку Латикаса и теперь упражняется под открытым окном!

Мирьям прислонилась к телеграфному столбу совсем рядом с окном артистов и стала слушать. Бесприютная улица с линиялыми домами и одинокими прохожими как-то не вязалась с чудесной музыкой. Мирьям закрыла глаза. И подумала, что прекрасную музыку она слушает всего лишь в третий раз: это когда господин Кузнецов пел под гитару, в другой раз у Рийны Пилль слушала радио и вот теперь, когда настоящий артист совсем рядом играет на скрипке. Музыка до боли растравила девочкино сердце, и она размечталась.

Улица Ренибелла представилась ей широкой желтой дорогой, по обе стороны которой стоят каменные дома под красными крышами, и повсюду от росы одурманивающе благоухают розы... Из распахнутых окон сквозь колышущиеся занавески доносится вдохновенная музыка. И она, Мирьям, гуляет по желтой дороге, держась за дедушкину руку, а рядом послушно ступает большая лохматая собака. Чуть позади идут Лоори с мамой и отец, степенный и трезвый, а бабушка, та порхает совсем как молоденькая и тихонько-тихонько напевает: «Der Maie ist gekommen». Совсем тихо, так чтобы было слышно музыку. А самым последним из их родни шел бы длинноногий Рууди — не больной, а жизнерадостный — и в такт музыке дирижировал бы своей высоко поднятой тростью.

На пригрезившуюся Мирьям улицу вмещаются все, все окружающие люди, только они выглядят чуточку иначе, нежели их привыкла видеть каждый день Мирьям. Вот, держась за руки, идут Хейнц и Рийна Пилль, и Рийна доверчиво смотрит на парня. В общем-то это и не совсем Хейнц, а кто-то другой, похожий на него, и не рыжий вовсе, и лицом куда приветливее. Госпожа Бах идет под ручку с господином Бахом. Господин Куллес, артист, стал ростом много выше, чем он есть на самом деле, ходит стройно; а его госпожа в своих шуршащих

платях время от времени делает порхающие па и парит, как бабочка. И Латикас тоже вдыхает запахи роз и поскрипывает лакированными туфлями, а жена его улыбается, семенит рядом. Хуго появляется на улице в индейских кожаных штанах и машет в сторону окон широкополой шляпой величиной с зонтик.

Пээтер вышагивает с золотистыми капитанскими нашивками на рукавах, и на козырек его фуражки опирается тяжелый золотой якорь.

И повсюду звуки — ритмичные и плавные, то убаюкивающие, то торжествующие.

Ее красочные грезы прервал грохот тележки, катящейся по булыжной мостовой.

— Тря-я-пки, ко-о-сти, ста-а-рое же-ле-е-зо! Тряпкикостистароежелезо! — раздается сиплый голос.

Музыка обрывается. Мирьям открывает глаза и замечает, как худая рука артиста захлопывает окно.

В дверях лавки появляется торговец Рааз — от него за версту несет селедкой — и, потягиваясь от удовольствия, кряхтит.

— Тря-я-пки, ко-о-ости, ста-а-рое же-ле-е-езо! — толкая грохочущую тележку, восклицает старик в помятой шляпе.

Бабы распахивают настежь окна и велят тряпичнику подождать.

Старик подкатывает тележку к тротуару и начинает раскуривать трубку.

Грезы и музыка сменяются пригородными буднями. Рассерженная Мирьям в эту минуту ненавидит улицу Ренибелла, которая на дневном безжалостном свете выглядит такой убогой.

— Любуюсь я тобой, девка, и думаю, какой же из тебя вырастет сердитый человек, — заводит разговор старик, ожидающий тряпье.

«Не умею я смеяться, когда мне горько», — сердится про себя Мирьям и подыскивает слова, чтобы ответить старику.

— Я не... — начинает она, но тут взглядывает в лицо тряпичнику и пугается: у старика точь-в-точь дедушкино лицо! От уголков глаз лучами расходятся те же морщины, и глаза такие же светлые, как у дедушки, только вот на переносице нет следа от железной дужки очков. Интересно, как у него на макушке? Мирьям не может удержаться, чтобы не узнать этого.

— Господин, у вас шляпа сзади запачкана,— говорит она не без умысла.

Сконфуженный тряпичник машинально стягивает шляпу и лишь тогда догадывается, что его провели, и сам начинает смеяться. Хлопает несколько раз шляпой по рукаву, так что пыль встает столбом, и говорит:

— Не выходная она у меня!

Мирьям удовлетворена. Она увидела лысину на голове старика и редкие пряди волос возле ушей и на затылке. Совсем как у дедушки! Мирьям от волнения пробирает дрожь, она ощущает, как у нее вдруг пересохло во рту. Может, это была нарочная смерть? Или дедушка вдруг воскрес?

— А вы издалека? — спрашивает Мирьям.

— Моя жизнь — это странствие,— неопределенно отвечает тряпичник.

«Духи тоже странствуют»,— думает Мирьям и пристально оглядывает старика с ног до головы. Нет, обычный старик: заросший щетиной подбородок, шея повязана ситцевым платком, залатанные штаны заправлены в пыльные сапоги.

— И долго вы уже на этой работе? — осторожно спрашивает Мирьям.

— Тысячу лет,— бормочет тот, затягиваясь трубкой.

— Тысячу лет?

— Тысячу,— повторяет старик, по его безразличному лицу не заметно, чтобы этот ответ ему представлялся необычным.

— Но это же невозможно,— качает головой Мирьям.

— Мне кажется, что тысячу,— объясняет тряпичник.

— Как это «кажется»?

— Ну, если человеку, бывает, чего-то очень хочется, то иной раз оно ему таким и кажется. Или опять же, если что страшно надоело, тогда оно может тебе показаться в тысячу раз хуже, чем есть на самом деле. Вот такие-то они, дела.

Мирьям уже и не хотела бы спрашивать, но не удерживается и говорит:

— Вы, господин,— начинает она с большим почтением к незнакомому человеку,— ну прямо вылитый мой дедушка. Мне так кажется.

— Кажется,— подчеркивает старик и начинает вонзиться у тележки: уже появились бабы с тряпьем.

— Только дедушка никогда не был тряпичником, даже и дня, не то что тысячу лет,— тихо произносит Мирьям, с большим сомнением в части загробной жизни. Эти девочкины слова заглушаются бабьими возгласами, и никто не слышит, что сказала Мирьям.

У тряпичника времени для девочки нет.

Последней к тележке спешит госпожа Бах, с неприязнью держа в пальцах вытянутой руки какое-то тряпье. Мощным движением полных рук она швыряет в кучу прежде всего изношенные форменные брюки — по лилово-красному канту легко определить, что они принадлежали железнодорожнику,— потом обтрепанный мужской свитер.

— Нател! — выдавливают она, словно считает тряпичника главным виновником своего несчастья.

Стариковская всепонимающая усмешка умиротворяет госпожу Бах, и она отступает назад.

Торговля понемногу свертывается, воз потяжелел, и старик покатил свою тележку дальше.

— Тря-я-пки, ко-ости, ста-а-рое же-ле-е-зо! — кричит он привычно.

— Жизнь моя — это странствие,— тихо произносит Мирьям слова тряпичника и со скорбным вздохом добавляет от себя: — Вот уже тысячу лет...

И хотя старик не мог расслышать девочкиных слов, но, гляди-ка, обернулся и посмотрел назад. Мирьям поднимает руку и машет ему. И тряпичник срывает широким жестом свою замусоленную шляпу и размахивает ею в ответ.

Девочка улыбается.

Теперь тряпичник уже совсем далеко, идет вверх по улице, толкая перед собой широкую тележку. Становится все меньше и меньше, и кажется невероятным, что до Мирьям все еще доносятся его хриплые возгласы:

— Тря-я-пки, ко-о-сти, ста-а-рое же-ле-е-зо...

Яркое солнце до боли слепит глаза, и девочка переводит взгляд на мостовую.

Когда она снова смотрит вслед старику, то видит, как тележка сворачивает на улицу Освальда.

Понурившись, Мирьям плетется во двор, где застаёт бабушку, которая спешит из винного погреба в дом. Девочка идет за ней по пятам, находясь во власти внезапно зародившего вопроса.

— Бабушка, а у дедушки был брат? — допытывается Мирьям.

— Шш-то? — брови у бабушки угрожающе сдвинулись.

— У дедушки есть брат? — робко выдавливает девочка.

— Один вроде бы когда-то был, — недовольно бросает бабушка. — С тех пор как мы с дедушкой поженились, я его и в глаза не видела.

— Почему?

— Не было у меня к нему никакого дела, — с нескрываемым презрением объявляет бабушка.

— А чем он занимался?

— Я уже и не припомню. Так, маленький человечиска...

Больше Мирьям не спрашивает.

— Зачем это тебе? — через некоторое время допытывается бабушка и оборачивается от плиты к двери, где только что стояла внучка. Ее там уже нет.

Мирьям со всех ног бежит по улице Ренибелла к Освальдовской и во все глаза вглядывается в даль, но старик уже исчез.

Остается лишь смутная надежда еще когда-нибудь встретить тряпичника.

Стоя на углу, Мирьям пытается вызвать в памяти дедушкино лицо, но это ей никак не удается — снова и снова перед глазами встает тряпичник.

Неужели ей только показалось, что у старика дедушкино лицо?

Вечером Мирьям разглядывает освещенные окна квартиры госпожи Бах, слышит пьяные голоса, которые несутся оттуда, и думает:

«А беда тоже может только казаться?»

Тряпичник дал новую точку отсчета понятиям девочки.

Мирьям хорошо запомнила тот мартовский вечер, когда отец пришел домой, исполненный внутренней удовлетворенности, и объявил, что его избрали в правление спортивного общества «Аполло».

Мирьям обрадовалась, потому что слово «правление» как-то скрашивало разочарование, которое пришло в

дом вместе с потерей титула «заведующего магазином»; известие это вернуло на короткое время в душу девочки сладостное чувство превосходства, испытываемое членом «обеспеченного семейства», хотя, как сказал отец, работа эта денег не сулила и была общественной обязанностью. Мама тоже казалась довольной и все повторяла, сияя, несмотря на то что им снова приходилось жить на бабушкины кроны:

— Ты говоришь, избрали в правление общества?

— Да,— заверил отец.

— Связи в обществе бывают очень полезными,— говорила мама.— Заводятся знакомства, а через знакомство можно многого достичь.

Слушая это, Мирьям почему-то вспомнила строчку из «Отче наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» — и девочку страшно потрясло, что мама радуется даже такой работе, которая непосредственно и не дает насущного хлеба...

— А что это «Аполло» означает? — осмелилась спросить Мирьям.

— Аполлон был греческим богом, такой красивый молодой мужчина,— приветливо ответил отец и даже взял Мирьям на руки.— Вот по имени этого бога и названо спортивное общество.

— А каким спортом ты там занимаешься? — в свою очередь спросила Лоори, которая с гордостью называла уроки физкультуры спортивным занятием и поэтому была, как говорится, в курсе дела.

— Я...— отец на мгновение замялся,— я любитель, организатор.— И обратился к матери:— Сегодня я вел протокол собрания!

И хотя Мирьям так и не поняла смысла новой отцовской работы, она всецело доверилась матери. Уж мама-то не станет попусту радоваться, иначе с какой стати она сегодня просто парила между кухней и столовой и тем самым вселяла веру в лучшие времена.

Девочке хорошо запомнился тот густо-синий мартовский вечер, запомнились и отцовы шаги, когда он торопливо шел по двору и под ногами похрустывали затянутые ломким ледком лужицы. Ибо Мирьям умела по отцовской походке угадывать его настроение...

А сегодня — кто бы только мог подумать — отца выкинули из правления «Аполло». Выкинули — именно так сказал уставший отец. Бабушка в это время как раз от-

мечала встречу весны, за стенкой раздавалась ее задорная песня:

Der Maie ist gekommen..

Благоухал сад, благоухала земля, и солнышко еще не думало закатываться. Живи и радуйся! А отца выкинули, снова отшвырнули в сторону. Ни заведующий магазином, ни в правлении спортивного общества... Сидит теперь, глаза полны злобы, и лицо вдруг сразу стало совсем старым.

Мирьям вцепилась ногтями в ладони, чтобы только не зареветь.

— За что? — в отчаянии спросила мама.

— А черт его знает, — немного успокоившись, ответил отец. — Может, случайно — выбрали новое правление, а меня опустили... Правда, один знакомый сказал, что я якшаюсь с красными русскими, может, поэтому.

— Боже сохрани! Да с кем же ты общаешься?

— Не назвал. Из русских у меня один лишь Кузнецов знакомый, — протянул отец и уставился в пол, словно в ожидании нового удара.

«Белый русский?» — удивилась про себя Мирьям, но тоже не осмелилась спросить, как же эти люди так быстро перекрашиваются — вчера белый, сегодня красный.

— Ну да, — выдавила мама сквозь зубы, — надо тебе было с этим Кузнецовым столько говорить о базах и вообще о политике!

— Но ведь человек не может жить только в четырех стенах! — возразил отец.

— Политикой занимаются люди, которые за это получают деньги. И тебе нечего совать туда нос, — стояла на своем мама.

— Ну, знаешь ли! — отец хмурил лоб и собирался вроде бы спорить, но мама оборвала его неожиданным вопросом:

— А откуда они знают, о чем вы здесь говорили с Кузнецовым?

— И представить не могу, — задумался отец. — Видно, у стен есть уши, как говорят в народе.

— Господин Ватикер! — не выдержала Мирьям. — Господин Ватикер!

— Что ты за чушь несешь! — рассердилась мама. — И вообще, чего слушаешь, разинув рот, убирайся лучше в другую комнату!

— Погоди.— Отец остановил обиженную дочку, которая нехотя тащилась к выходу.— Почему ты думаешь, что господин Ватикер?

— А я не думаю, я знаю,— через плечо ответила Мирьям и назло пошла дальше.

— Сказали тебе — подожди! — прикрикнула мама.

— Сама сказала, чтобы я уходила! — произнесла Мирьям.

Но мама с такой злостью тряхнула головой, что Мирьям не посмела больше и шага сделать. Она задержалась и приложила пылавшие руки к холодным изразцовым плиткам.

— Ну? — требовал отец.

— Что ну?

— Или прут взять? — пригрозила мама.

— Вот и скажи вам чего, сами сразу драться,— ворчала рассерженная Мирьям.

— Ну? — требовала мама, и Мирьям чувствовала, что розга уже находится в угрожающей близости.

— Пошла я раз к бабушке,— начала неохотно рассказывать Мирьям,— а там сидит господин Ватикер, на красном бабушкином диване, совсем рядом с нашей стенкой, ну, под этой коричневатой совой, у которой однажды выпал глаз и которую бабушка потом починила в мастерской...

— Ну, а дальше что? — не вытерпела мама.

— Тогда господин Ватикер вытащил свои золотые часы — они у него с целую брюкву,— щелкнул крышкой, посмотрел, сколько времени, потом опять защелкнул крышку и подмигнул мне. Так, будто я ему какая старая знакомая, хотя он мне совсем не нравится, пузан такой...

Мама вздохнула и воздела глаза к потолку.

— Я могу и не говорить,— сказала Мирьям, заметив, что маме это наскучило.

— Говори, говори,— подбодрил отец,—мы слушаем.

— Потом господин Ватикер улыбнулся, поиграл цепочкой часов и спросил таким вот приветливым голосом, как пастор в церкви, мол, что это за дядя такой у нас в гостях. А я ему в ответ, что ничей он не дядя, что дядя у меня один, Рууди, а это вовсе господин Кузнецов. На это господин Ватикер кивнул три раза и сказал, что я могу идти. А я ему снова: сама знаю, когда мне уходить, потому что это квартира моей бабушки, а к ней я пришла, чтобы ракушек...

— Господь небесный! Да кто же мог подумать! — мамино восклицание прерывает речь Мирьям.

— А что он еще сказал? — потребовал отец.

— Ничего, он раскраснелся, рассердился и приказал мне замолчать. Как будто я пискля какая, которая ни за что ни про что орет или пищит! Потом я послушала ракушку, она шумела, как всегда, тогда мне надоело, и я ушла.

— А бабушка где была?

— Может, на кухне.

— А дядя Рууди?

— У невест, наверное, — со вздохом ответила Мирьям.

— Кто бы мог подумать! — боязливо прошептала мама, как будто Ватикер и сейчас подслушивал за стеной, хотя там все распевали эту нескончаемую красивую песню:

Der Maie ist gekommen...

Отец с матерью на некоторое время примолкли, и Мирьям вдруг ощутила, что ей стало стыдно, — не понимая, за что. Она же ничего такого Ватикеру не сказала, кроме как то, что за стенкой разговаривает господин Кузнецов...

Мирьям боялась нагоняя, но отец с матерью совсем забыли про дочку. А она именно сейчас с удовольствием приняла бы взбучку, чтобы потом было легче.

— И надо было тебе говорить ему про Кузнецова, — продолжая разговор, устало произнесла мама. Она произнесла это не как обвинение, а скорее просто так, чтобы нарушить молчание.

На душе у Мирьям стало совсем паршиво.

— Мама, — в нерешительности спросила она, — а бывает, что надо обманывать?

Отец и мать обменялись долгим взглядом.

— Ну, разве иногда надо обманывать? И когда надо? — Мирьям требовала ясности.

— Ну, иногда следует сказать, что не знаю, — неохотно ответил отец.

— А если я знаю, тогда ведь «не знаю» будет неправдой! — не унималась Мирьям.

— «Не знаю» — это полуправда, это серединка между правдой и обманом, — буркнул отец.

— Серединка, — вполголоса повторила Мирьям и задумалась: запутанных понятий она терпеть не могла.

Все должно быть ясным. Серединка — это, наверное, вроде улицы Ренибелла, пришла она к удачному сравнению. Ренибелла ведь пересекается поперечной улицей, на которой стоит бабушкин дом. Если выйти за ворота и повернуть по этой улице налево, можно прийти к морю, если же пойти направо — то придешь к глиняным ямам. Серединка же, Ренибелла, приводит к высокому забору и кончается, словно ее обрезали. Ходить по улице Ренибелла до конца Мирьям никогда не любила — чего там смотреть на этот забор! Другое дело — свернуть к морю или пойти направо к ямам, в которых, говорят, однажды даже утонул один бесстрашный мальчишка, живший где-то неподалеку.

— Серединка, — твердым голосом сказала Мирьям, продолжая свои мысли, — никуда не ведет.

— Серединка оберегает человека, — буркнул отец.

— Чего тут еще рассуждать, — вступилась нетерпеливая мама, — чем меньше человек знает и чем меньше он болтает, тем легче ему живется. Особенно это относится к детям!

Мирьям уловила сердитый мамин взгляд и опустила глаза.

И совсем уж неуместно звучала ликующая весенняя песенка, которую за стеной опять завели с самого начала:

Der Male ist gekommen...

Спустя несколько минут Мирьям стояла перед большим бабушкиным домом, одной ногой на улице Ренибелла, и гадала: куда идти? Налево — звало море, направо — потрясающие воображение жуткие ямы, — и то и другое по-своему таило опасность.

«Серединка оберегает человека», — вспомнились девочке слова, только что сказанные отцом, и Мирьям зашагала по улице Ренибелла, туда, где впереди маячил тупик и стоял высокий, непрелазный забор.

Задумчиво шагая по улице, Мирьям споткнулась о разбитую известняковую плиту и почувствовала, как в ушибленном пальце распространяется боль, а в сердце смятение. И все же Мирьям продолжала браво идти по скучной-прескучной дороге, пока не достигла глухого забора.

Мирьям прижалась носом к забору и старалась взглянуть в щель между досками — увидеть она так ничего и

не увидела. Постепенно в нос стало ударять гнилью отсыревшего от весенних дождей дерева.

Стояла у высокого забора маленькая девочка, и ее охватывали разочарование и негодование по отношению к серединке, которая «оберегает человека». Мирьям обернулась к началу улицы Ренибелла и увидела большой бабушкин дом — на нем улица обрывалась. Дом, который, сколько Мирьям себя помнит, оставался все таким же, как был, подобно забору, который тоже не менялся.

Мирьям, выбравшая среднюю дорожку, медленно брела домой. Ее мысли были заняты морем и таинственными глиняными ямами,

31

Мирьям никак не могла понять, откуда берутся эти страшные сны. Бабушка говорила, что если днем голова забита всякими недобрыми мыслями, тогда ночью снятся кошмары. Но этому Мирьям не верила, накануне, с обеда до самого вечера, она готовилась к школе, читала — сама читала! — «Дюймовочку» — пленительная сказка преображала освоение грамоты в увлекательную игру, так что девочка даже забывалась, разглядывала картинки, читала по складам, предавалась прекрасным грезам и снова принималась складывать слоги. И ни единой плохой мысли! Мирьям читала о печально-радостной судьбе Дюймовочки, любовалась белолицей воздушной красавицей на фоне пышной нарисованной зелени и, к своему изумлению, узнала, что иногда ландыши-цветки звенят, как колокольчики, если только сумеешь привязать к ним нужную веревочку.

Мирьям с замиранием сердца поглаживала отделанные золотом края юбки Дюймовочки и испугалась, когда это напомнило ей спрятанные в земле под кустом в железной банке американское платье и значок с изображением Ленина. Ей просто повезло, что не было больших праздников и мама не вспоминала про это розовое принцессино платье. Ну просто счастье!

Девочка не осмелилась тут же выкопать свое богатство; ведь кто знает, какие еще напасти наряду с судебным исполнителем могут постучаться к ним в двери.

Мирьям читала о прекрасном принце в бархатном ко-

стюмчике, о том, как он прилетел верхом на майском жуке к Дюймовочке, чтобы веки вечные жить в счастье и согласии. Конец сказки заставил Мирьям усомниться в написанном. Неужели и впрямь на веки вечные и в согласии? Разве у них тогда детей не будет или горе их минует? Во дворе нет-нет да и скажут: во, глядите, опять у того или этого нет работы, а тут еще крест на шее — дети... Выходит, что это и про них с Лоори говорится, у них тоже отец без работы, а детей надо кормить. Одно время Мирьям задумала было меньше есть, но такая попытка помочь семье, кроме неприятностей, ничего не дала.

И все равно эти вчерашние мысли не могли навеять такой страшный сон.

Будто в предвечерних сумерках во дворе неподвижно стояла бабушка, большая и черная, уставив руки в бока. А Мирьям все ходила вокруг, смотрела снизу вверх из-под налезавшей на глаза челки и не верила, что это все же бабушка. Девочке хотелось подергать бабушку за подол, чтобы освободить ее от этой страшной окаменелости, но Мирьям не смела или не могла поднять руки (не иначе, паршивка Лоори опять отлежала ей руку!). Вдруг бабушка заговорила, и Мирьям узнала голос, хотя понять ничего не поняла. Ни одного слова, потому что говорила она вовсе не по-эстонски, это было какое-то бормотание пополам с шипением. Словно у бабушки разом выпали все зубы. Бабушка вздела глаза кверху, и Мирьям тоже посмотрела туда. О боже, страсть какая! Из трубы к небу поднимался столб огня и летели искры! Тогда бабушка сняла правую руку с бедра и подтолкнула испуганную внучку. Мирьям поняла, что ей надо лезть на крышу и тушить пожар. И она пошла, всхлипывая и дрожа, ступала по бесконечным каменным ступеням, все вверх, все туда, где оглушающе гудело пламя. По отвесной железной лестнице, что вела на чердак, Мирьям влезла с удивительной для себя легкостью и выбралась через слуховое окно на железную крышу. Удерживая равновесие, она пошатывалась на скользкой поверхности, затем поползла на четвереньках к трубе. Руки скользили по жести, рдевшей от заходящего солнца и огня, и ноги не находили упора. Мирьям заскользила на животе вниз, пока не уперлась ногами в водосточный желоб. Когда она осмелилась снова открыть глаза, то увидела мужчин, которые гурьбой спокойно стояли на краю крыши и длин-

нющими ножницами срезали верхушки деревьев. Мирьям что было сил закричала:

— Это дедушка сажал деревья!..

И жестяная крыша звонко повторила, будто стала она союзницей девочки:

— Это дедушка сажал деревья!..

Но мужики и внимания не обратили. Хрясть — и макушка долой, хрясть — и другой нет. И странное дело — огонь начал спадать, а затем потух. При свете звезд крыша казалась посеребренной. Мужики исчезли. Хотя нет, кто-то остался. Опираясь на трубу, стоял дядя Рууди и звал племянницу мягким, переливчатым голосом:

— Поди сюда!

Он протягивал руку, но до Мирьям она никак не доставала. Девочка тоже потянулась, и все равно между ними оставалось еще слишком большое пространство, чтобы можно было ухватиться. Тогда дядя Рууди скривил лицо, и рука его вдруг начала расти, расти, пока Мирьям не вцепилась обеими ручонками в большие дядины пальцы.

Р-раз! Сильный рывок, и Мирьям очутилась возле слухового окна.

Рууди исчез.

Мирьям посмотрела в люк и увидела внизу светящуюся синеватую прихожую.

— Я боюсь в колодец! — вслух громко подумала Мирьям.

— Ты обязана сделать это, обязана... — неслось в ответ голоса.

Мирьям уперлась руками в края люка и повисла. Ноги болтались в пустоте и никак не дотягивались до невероятно тоненькой железной перекладины. Руки устали, пальцы ослабли. И Мирьям бухнулась на первую перекладину отвесной чердачной лестницы.

— Ха-ха-ха!.. — грохотали довольные голоса.

Мирьям ступила на следующую перекладину и ухватилась за верхнюю железку. Маленькие округлые пятки никак не удерживались на перекладинке, соскальзывали, и Мирьям по-птичь скрючила пальцы, так что ногти впились в подошву. Пятки скользили то вперед, то назад, и Мирьям закричала:

— Почему у меня такие маленькие ноги?

— Почему у тебя такие маленькие ноги? — спрашивали снизу печальные голоса.

— Я ничего не могу, у меня нет сил,— плакала Мирьям.

— Ты ничего не можешь, у тебя нет сил,— вместе с ней плакали люди.

Шагая следом за Пээтером и Уно по направлению к морю, Мирьям думала о том, как читала «Дюймовочку», и о страшном сне, который последовал за этим. Девочка осмелилась вспомнить ночь, потому что ясный майский день, наполненный нежными запахами, исключал темноту и делал неправдоподобным наступление вечера.

Мирьям разглядывала свои поцарапанные ноги, обутые в старые туфельки, и вдруг почувствовала боль под большим пальцем. Девочка отстала от ребят, задрала ногу назад и стала рассматривать через плечо. Так и есть! Подошва прохудилась, дырка под большим пальцем была уже порядочной, и нога касалась земли.

Мирьям поднялась на носки и заторопилась за ребятами. Так и семенила на пальчиках.

Ребята тут же принялись поддразнивать:

— Смотри-ка, наша Мирьям тоже хочет балериной стать, совсем как Рийна Пилль. Это она упражняется!

— ...ажняется, ажняется! — передразнила Мирьям и в сердцах стукнула Пээтера ниже пояса.

— Ах ты клоп! — крикнул Пээтер, и Мирьям уразумела, что теперь от расплаты ее могут спасти только быстрые ноги. Мирьям неслась до бесчувствия, но Пээтер все же наконец ухватил ее за волосы и потрепал.

— Слушай,— спросила она у Пээтера,— а когда мои ноги вырастут, я смогу тогда бежать быстрее?

Злость Пээтера захлебнулась в смехе, он ответил:

— Глупая, мои ноги тоже вырастут! И всегда я тебя догоню! Все равно ты будешь слабее!

— И на всю жизнь так и останусь слабее? — допытывалась Мирьям.

— А ты что думаешь, ты же девочка! — небрежно бросил Пээтер.

Мирьям как-то сразу не нашлась, что ответить, и, сопя себе под нос, плелась за мальчишками. Подумала было повернуть назад,— Пээтер до самого обеда скрытничал и никому не говорил, с какой целью он собирает компанию и зовет их с собой в прибрежный лес. Но стоило Мирьям

разглядеть между деревьями карусель, как сердце у нее от волнения забилося, и она совершенно забыла про дом.

— Собираешься кататься? — спросила Мирьям у Пээтера.

— Мы все пойдем кататься! — гордо объявил Пээтер, а Уно и Хуго навестили уши.

— Денег нет, — грустно объявила Мирьям.

— Нашла о чем тужить, — презрительно сказал Пээтер и не стал вдаваться в объяснения.

Они дошли до карусели. Сейчас тут сновало ребятешек сравнительно меньше, чем в то памятное воскресенье, когда Мирьям как отпрыск «обеспеченного» семейства приходила сюда кататься на карусели. Тогда их семья находилась во временном благополучии! Воспоминание об этом вызывало у Мирьям усмешку. Сейчас она, по крайней мере, не должна пайнкой ходить за ручку с Лоори, можно явиться вместе со своей компанией, и нет страха, что извозишь одежду — она уже порядком истрепанная и вылиняла. Все-таки больше свободы!

Должно же оставаться какое-то утешение, когда былая роскошь канет в историю...

Красногубые кони, запряженные в сани, расписанные розами, ослабились в своей неизменной белозубой улыбке, и Мирьям от всей души жаждала прокатиться. Однако пустой карман вынуждал ее держаться в сторонке и ожидать, что предпримет капитан Пээтер. Бородатый старик сам собирал у желающих кататься деньги — Мирьям заметила, что будка с намалеванным медведем оказалась пустой, в ней не было сморщенной старухи, которая в минувшее лето собирала в медвежье брюхо центы.

Пээтер направился к старику. Тот согласно кивнул ему, и капитан вернулся к друзьям.

— Придется чуток подождать. Кончат городские, тогда наша очередь.

— А какое нам дело до этих олухов? — удивилась Мирьям. После очередной междоусобной войны она терпеть не могла городских, они угодили ей камнем в плечо, так что левая лопатка до сих пор ныла.

— Увидишь, — продолжал скрытничать Пээтер. Другие мальчишки не решались спрашивать.

Ребятишки, у которых было чем платить, прокатились еще по два раза, и тогда наконец сбылись слова Пээтера. Из чрева карусели высыпали городские парнишки и ми-

гом забрались на коней. А бородатый старик позвал компанию Пээтера.

— Идем,— приказал Пээтер.

Дети пробрались на карусель, за ними сразу же явился бородач.

— Что, и девка тоже? — удивился старик, и Мирьям спряталась за спину Пээтера.

— Не беда, хозяин,— ответил Пээтер,— девчонка что надо, свое сделает.

— Ну, добро,— устало махнул старик и указал рукой в сторону отвесной деревянной лестницы, что стояла с одного края округлого помещения.

«Опять лестница с тонкими перекладинами»,— испуганно подумала Мирьям, но виду не подала.

— Запомните,— добавил бородач,— как только дам знак, начинайте тормозить, сразу же пятками в упор! Всякий лишний круг меня разорвет. Ясно?

— Так точно, хозяин! — по-солдатски отчеканил Пээтер.

Вслед за мальчишками вверх полезла и Мирьям. Пээтер захлопнул люк, и дети пробрались под брусьями, которые веером расходились от ступицы колеса, к своим рабочим местам.

— Становись лицом к ходу! — скомандовал Пээтер — он, казалось, был человеком сведущим.

Мирьям встала, как было приказано, и увидела перед собой, чуть впереди, за горизонтальными брусьями, голову Уно.

Снизу донесся звон колокольчика, извещавшего о начале сеанса.

Пээтер и его компаньоны навалились руками и грудью на брусья, и установленное вровень с землей колесо пришло в движение. Сперва медленно, нехотя — приходилось изо всей силы упираться ногами в перекладки пола и толкать руками.

Заиграла шарманка и заглушила собой топот детских ног, ребячье пыхтенье и скрежет оси гигантского круга.

Мирьям видела, как постепенно краснел затылок у Уно.

— Быстрее! — кричал Пээтер.

Мирьям старалась как могла, и другие, наверное, тузились не меньше. Получив разгон, карусель закружилась быстрее и пошла глаже.

Наконец шарманка умолкла.

— Прыгай! — шепнул Пээтер.

С горем пополам уставшая Мирьям забралась на брус и с наслаждением стала болтать ногами. Когда она взглянула вниз, то увидела кружащихся под растрепанным тентом ребяташек.

Мирьям пожалела, что белобрысый лоботряс из городских, который запустил в нее в последнем сражении камнем, сидел на крайнем коне. Вот было бы здорово плюнуть ему на голову!

Звякнул колокольчик, извещавший, что пришло время останавливать карусель.

Дети спрыгнули с брусьев. Уперлись пятками в пол и стали придерживать руками вращающуюся карусель.

О, это был труд потяжелее, чем приводить карусель в движение.

Мирьям тянула и тянула, но чувствовала, как огромный вертящийся круг безжалостно тащил ее по перекладам пола за собой и грозил продрать до дырок даже каблуки у туфелек.

И все же карусель, несмотря на кажущуюся безнадежность их потуг, наконец остановилась. Мирьям привалилась к брусу и, тяжело дыша, спросила у Пээтера:

— Сколько... раз... еще?

— Девять.

Услышав это, Уно бессильно тряхнул головой.

— Что мы, слабее городских? — подбадривал Пээтер. — Провозим их десять раз, тогда и сами покатаемся. — Сквозь брезентовый верх к ребятам просачивался лучик майского солнца, на его свету сонмы пылинок кружились в бесконечном танце.

Прозвучал новый звонок.

Кружа по щербатому полу, Мирьям думала:

«Почему мои ноги такие маленькие и слабые?»

Когда она упиралась в перекладыны, ноги подгибались и проскальзывали, оставалась лишь боль — и в пальцах и в пятках.

Во время очередного сеанса Мирьям ушла в своих грустных мыслях еще дальше:

«Все равно я слабее Пээтера, потому что я девчонка».

Даже противный городской мальчишка, которому она хотела плюнуть на голову, и тот больше не припомнился.

Когда карусель раскручивали в пятый раз и Мирьям все еще бросала взгляды в сторону резвого Пээтера, мысли ее заупрямились:

«Не хочу быть слабее. Не хочу, и все! Пусть мои ноги останутся слабее, зато я могу набраться больше ума. Вот!»

Шестой сеанс прошел под знаком этой внезапной торжествующей мысли куда глаже, и звонок не заставил себя слишком долго ждать. Даже боль в ногах унялась. Мирьям даже посмеялась под звуки шарманки.

В десятый, последний раз хриплые звуки шарманки казались Мирьям сплошным ликованием, так как она пришла к выводу, что обязательно надо набираться разума, чтобы не оставаться в жизни слабее других! Ур-ра! Тогда она непременно придумает что-нибудь такое, чтобы ногам и рукам было легче и чтобы не плестись в хвосте у мальчишек — не беда, что она всего лишь девочка! За себя в жизни каждый должен сам постоять.

32

Только на мгновение Мирьям открыла глаза и снова забылась в полусне.

Постепенно в голове начали роиться всевозможные мысли. Вдруг вспомнилась даже та жирная змея (тут по лицу Мирьям скользнула усмешка), змея, которая когда-то — о, это было так давно — жила, по мнению Мирьям, на задворках, у них в саду. Опасные гады не живут в садах, их нет ни на улице Ренибелла, ни на Освальдовской — так объяснил недавно дядя Рууди. Ему Мирьям верила, хотя и не принимала за чистую монету все его слова. Например, когда он говорит, что вообще-то гадюки на земле не перевелись, только они все приняли человеческий образ. Это же чистая сказка, Мирьям даже смешно стало: уж не думает ли дядя Рууди, что она еще такая маленькая и поверит всякой ерунде. Это время давно прошло! Осенью Мирьям пойдет в школу.

Она повернулась лицом к окну и посмотрела на улицу — от яркого солнца появилась резь в глазах.

Видневшаяся за окном ива была еще совсем зеленая. Значит, осень еще не скоро.

Бабушка, та, правда, все поучает: мол, чего ты рвешься в эту школу — пойдешь, и конец твоему беззаботному детству. Беззаботному! Мирьям хмыкнула и попыталась

вспомнить хотя бы один беззаботный денек из своего почти что прошедшего детства. И все же! Это когда они вчетвером ходили в приморский парк. Всей семьей: отец — заведующий магазином, мать — жена заведующего магазином, ученица лицея Лоори и она, Мирьям, выигравшая в лотерею сине-желтый глобус, глобус, который все кружился и кружился и сейчас еще вертится, стбит лишь дотронуться до него пальцем.

И все равно беззаботные дни бывали в ее жизни такими короткими. Заведующий магазином давно уже не заведующий, и то красивое платье, в котором она ходила в приморский парк, тоже стало совсем коротким — чуть не все трусики выглядывают сзади. Мама считает каждый цент, и уже давно никто дочкам не навешивает на шею связки баранок.

— Ох, эта вечная нужда и это вечное безденежье! — прошептала Мирьям и вздохнула.

Никто не слышал этих сказанных от тяжелой заботы слов. Лоори посапывала во сне, и отец с матерью еще не проснулись на своей широкой кровати. «Сопи, сопн,— с некоторым злорадством подумала Мирьям, взглядывая на Лоори, и осторожно слезла на пол.— Попадешься ты сегодня им в руки! Я сбегу, а тебя погонят к бабушке клянчить кроны!» У Мирьям даже настроение чуточку поднялось. Как хорошо, когда человек уже самостоятелен. Натянула платье, застегнула пуговицы — и айда! Открыть ключом дверь труда не составляет. И вот она уже шлепает босиком по прохладному коридору. А как здорово скатиться по перилам! Порог входной двери уже нагрелся от солнца, там можно было постоять и полюбоваться наступившим утром.

Из прачечной поднимается пар. Извозчиха появляется в дверях, вытирает руки и смотрит в небо — оно совсем безоблачное.

— Здравствуйте! — кричит Мирьям; иногда и ей хочется быть вежливой.

— Здравствуй, — отвечает извозчиха.

— Погода хорошая, — продолжает Мирьям.

— Я буду сушить белье, и чтобы не сметь пылить во дворе! — кричит старуха и исчезает в белых клубках пара.

«По-человечески поговорить не может, — думает Мирьям. — Будто я сама не знаю, что, когда висит белье, — пыль поднимать не положено!»

Но так как белье еще не развешано, то свое можно взять. Мирьям соскакивает с крыльца, выбирает самое пыльное место и бредет, шаркая ногами. Какая прелесть! Мелкий-премелкий песок. Мельчайшие песчинки щекоцут меж пальцами, и пыль поднимается столбом до второго этажа.

Грезы рассеялись, счастье разбито —
болью и ранами сердце изрыто...

раздался у садовой калитки радостный голос.

Дядя Рууди! Так рано?

— Ты куда собрался, дядя Рууди? — спрашивает Мирьям; ее приводит в замешательство его темный костюм, белая рубашка и напomaженные брильянтином волосы. Правда, тросточку дядя Рууди по обыкновению вертит между пальцами совсем по-будничному.

— Тсс! — На лице Рууди появляется таинственное выражение. — Я скажу тебе, если только бабушке не проболтаешься!

— А когда я раньше... — обижается Мирьям.

— Знаю, знаю. — Рууди спешит исправить дело.

— Ну? — не терпится Мирьям.

— Я иду на бой быков!

— На бой быков?.. — тянет Мирьям и подозрительно смотрит на Рууди.

— Бык во дворце, — шепчет заговорщически дядя Рууди и оглядывается, не услышал ли кто их разговора.

Мирьям подбегает к дяде Рууди и с чувством превосходства говорит:

— Это только в сказках быки бывают во дворцах!

— По крайней мере один раз в сто лет все вещи переворачиваются с ног на голову.

При этом глаза у дяди Рууди совершенно серьезные. Мирьям удивляется.

Вот и пойми ты этого Рууди! Взял и ушел. Вертит в руках тросточку и насвистывает весело себе под нос свою песенку:

Грезы рассеялись, счастье разбито —
болью и ранами сердце изрыто...

Мирьям идет следом за ним до ворот и размышляет: то дядя Рууди больной, то он кажется совсем здоровым, как сегодня. То поет веселую песню, а сам грустный, сегодня же песня грустная, а сам, наоборот, веселый. Бы-

вает, говорит одну только правду, а другой раз, как вот сегодня, чудит.

Она вздыхает. С извозчихой куда проще. Та сразу выскажет все, что думает. Не смей пылить, белье сохнет — и точка. Коротко и ясно. Но нестерпимо скучно. Не смей — и все тут.

Мирьям стоит у калитки, смотрит вслед Рууди, который все удаляется и наконец сворачивает на Освальдовскую улицу. Вот он и пропал. А как хотелось бы у него повыспрашивать о разной разности. Как тогда у тряпичника, который тоже свернул со своей грохочущей тележкой на улицу Освальдовскую. Мирьям никак не может забыть того тряпичника, что уже тысячу лет бродит по земле и так похож на дедушку. Увидеть бы его еще хоть разок! Мирьям так ждет его, что иногда ей кажется, будто она слышит дребезжащий стариковский голос:

— Тря-я-пки, ко-ости, ста-а-рое же-ле-е-зо!

Выбежит на улицу — и никого. В таких случаях она утешает себя: мне это только показалось, что кричал тряпичник. Но Мирьям даже гордится, что ей иногда что-то кажется. Есть над чем поломать голову. А то все было бы такое будничное. Осталась бы лишь забота о деньгах, и забота о том, чтобы найти отцу работу, и еще десять других разных забот. Одна заботно-заботная забота, которая изо дня в день изводила бы ее, подобно той страшной змее, что появлялась перед глазами в тех давнишних снах и нагоняла бесконечный страх. Не пришлось бы ни посмеяться, ни побаловаться, ни погрустить, ни порадоваться — остался бы один только страх!

А сейчас ее никакой страх не угнетал, беззаботно подпрыгивая, она направилась от калитки во двор, напевая новую дядину песню:

Грезы рассеялись, счастье разбито —!
болью и ранами сердце изрыто...

— Мирьям! — крикнула мама из открытого окна спальни.

— Ну вот,— хмуро просопела Мирьям, потому что в маминых словах она услышала знакомые нотки все той же заботы о деньгах. Все-таки надо было дать деру. «Надо! Надо!» — выговаривала она себе в мыслях, но спасения не было, пришлось плестись домой. Потому что с мамой все равно что с извозчихой: раз приказала, то приходится выполнять. Ясно и просто. А не выполнишь — в от-

вете будет место, что у человека ниже пояса! И все! Мама — другой человек, совсем не то, что дядя Рууди и тряпичник, она всегда говорит понятными словами: сделай то, будь такой-то, или что деньги кончились, и есть нечего, и работы нет. Мама заботный человек.

— Марш к бабушке, — приказала мама, едва Мирьям вошла в комнату.

— А чего мне там? — Мирьям делает невинное лицо.

— Попроси у бабушки денег.

— Ах вот что! — кивает она и начинает медленно расчесывать волосы.

— Сходить в город, посмотреть, что ли... — говорит себе под нос отец.

— На бой быков? — спрашивает Мирьям, забывшись.

— Что? — изумляется мама такому вопросу.

Отец принимает слова дочери за шутку и начинает громко смеяться.

Мама пожимает плечами и принимается накачивать примус.

— Что ты тянешь? — сердится она, взглянув на дочку, которая все еще расчесывается.

— Непричесанным побирушкам ничего не подают, — замечает Мирьям.

— Боже мой! — восклицает мама. — С ума сойду! Сейчас же иди или получишь по голому месту!

— Знаю, — с холодным спокойствием произносит Мирьям и тянется к ручке двери.

— Опять прислали! Бедный ребенок! — завидев внуку, восклицает бабушка. Она роется в ридикюле с длинной ручкой, затем протягивает несколько крон. Мирьям судорожно сжимает холодные монеты вспотевшей рукой и собирается уходить.

— Постой, — требует бабушка, которая сегодня кажется взбудораженной и нетерпеливой.

— Да?

— Скажи, Мирьям, кем ты хочешь стать?

Мирьям растерялась. Что это — серьезно или бабушка просто хочет посмеяться? Сегодня все люди какие-то странные...

Бабушка усаживается на софу, обитую красным плюшем, как раз под чучелом совы, которая однажды выпала из рук Мирьям и разбилась, а потом ее отремонтиро-

вали или, может, вообще заменили новой, кто ее знает. Эти мертвые птицы — все на одно лицо.

— Ну? — Бабушка серьезная, и Мирьям чувствует, что дурачиться нельзя.

— Буду выращивать цветы и помидоры. Как дедушка. Ну, буду садовником, — одним махом выпаливает Мирьям.

Бабушка вскидывает брови:

— Ты все еще не забыла дедушку?

— Нет.

Бабушка поднимается, подходит к окну и говорит:

— Сад весь зарос.

— Ага, — виновато выдавливает Мирьям.

Бабушка снова садится на софу, барабанит пальцами по столу и спрашивает:

— Когда я умру, ты тоже будешь вспоминать меня, как дедушку?

— Не знаю, ты же никогда мертвой не была.

— Ты все еще ребенок, — вздыхает бабушка.

Мирьям только сопит.

— А ты королевой красоты не хотела бы стать? — допытывается бабушка. — Я вот была. Во всем пригороде не сыскалось ног красивей, чем у меня!

Мирьям разглядывает бабушкины голени с толстыми извивающимися жилами и не знает что сказать.

— У меня очень маленький нос, — нехотя замечает она и добавляет, поднимая подол платья: — И колени тоже всегда исцарапаны и в цыпках.

— Да-да! — печально замечает бабушка. — Если это и дальше так пойдет, то придется моим бедным деткам и внукам землю копать да надрываться! А мы-то с дедушкой горбы гнули, чтобы вам легче жилось. Бог ты мой, боже!

— А что это? — заинтересовавшись, спрашивает Мирьям.

— Это — если красные придут к власти! — выкладывает бабушка свое горе.

— Красные русские, что ли? — допытывается Мирьям.

— Красные русские и красные эстонцы, — бабушка своим ответом прерывает девочкины мысли.

— А разве красные эстонцы тоже есть?

— Есть, — бабушка бессильно разводит руками.

— А кто?

— Поди знай — да хоть тот же отец твоего друга Пээ-

тера! — в ярости бросает бабушка. — Хотят нас голыми пустить по миру! Ах, маленькие людишки!..

Девочке хочется тут же побежать и посмотреть на Пээтерова отца (которого, правда, обычно никогда не бывает дома, — он служит на торговом пароходе матросом); однако бабушкин взгляд приковывает внучку к месту.

— Ты уже достаточно взрослая, должна понимать, что враги твоей бабушки — это и твои враги, а друзья бабушки — они твои друзья тоже!

Мирьям трясет головой.

— Ты что, спорить захотела?

— С госпожой Лийвансон я дружить не хочу, и с господином Ватикером, у которого золотые часы, похожие на брюкву, тоже нет. И с господином Хави, который по-вырывал все Тааветовы цветы, — и с ним дружить не стану... — перечисляет Мирьям и думает, что бабушка немедленно согласится с ее праведной неприязнью.

Но вместо этого у бабушки на глазах появляются слезы, и она восклицает:

— О боже, боже, что будет с нашим несчастным маленьким эстонским народом, у которого нет ни капельки единодушия!

Девочке становится жаль бабушку, которая обычно плачет совсем редко, и Мирьям пытается смягчить свои слова:

— Если ты так хочешь, я могу быть с ними вежливой и не говорить, что они мне не нравятся.

— Мирьям! — доносится из коридора голос мамы.

На этот раз девочка рада требовательному мамину голосу. Из приличия Мирьям задерживается на мгновение, пока бабушка не машет рукой и не разрешает:

— Иди, иди.

Понятно, что мама ожидает денег, чтобы купить у лавочника Рааза еды. Кто знает, может, купит сегодня даже чайной колбасы?

Солнце поднялось уже довольно высоко, когда Мирьям, наевшись жареной картошки, выходит из дому и садится на крыльцо.

Извозчиха развешивает белье, пылить больше нельзя, и Мирьям пишет ногой на песке свое имя. Чем больше развешивается во дворе белья, тем интересней и прохладней становится. Ветер бросает в лицо капельки воды и раздувает отделанные кружевами простыни — они кажутся парусами. Извозчиха уже заканчивает свою рабо-

ту — она развешивает покрасневшими до локтей руками последнее белье. Под ивой, рядом с синими залатанными подштанниками, появляется черный платок и белая, ровная по краям простыня.

— Запомни, не смей пылить,— повторяет извозчи́ха и отворачивает свои залатанные рукава.

Мирьям делает невинное лицо и спрашивает:

— Тетя, а сегодня разве казенный праздник, что флаг вывешен?

— Что?

— У вас на веревке рядом синий, черный и белый цвет! ¹ — Мирьям указывает измазанным пальцем на ивы.

Извозчи́ха обводит долгим взглядом синие подштанники, черный платок и белую простыню.

— Смотри-ка ты, и впрямь получается государственный флаг,— говорит она и чуть усмехается. Потом устало поднимается на крыльцо, на мгновение останавливается в дверях, еще раз смотрит в сторону ивы и находит уместным снова презрительно осклабиться.

Мирьям чрезвычайно озадачена этим. Бабушка, конечно же, права: единодушия не существует в природе. Кто смеется, кто плачет, а кто и просто так себе посвистывает. Но ведь говорят же книги, что флаг — это извечная святыня народа.

33

День клонится к вечеру.

Извозчи́ха хлопочет во дворе, собирает белье. Добирается до ивы и снимает с веревки сперва синие, в заплатках, подштанники, потом черный платок и белую, истрепанную по краям простыню. Мирьям сидит на крыльце и пускает мыльные пузыри; ветра нет, и они красиво поднимаются вверх, отражая цветистым радужьем солнечные блики, чтобы уже в следующее мгновение бесследно раствориться в небесной голубизне.

Неожиданно в поле зрения Мирьям, которая надула щеки, возникает дядя Рууди. Он медленно приближается к крыльцу и опускается рядом с Мирьям, прямо на пыльную ступеньку, не обращая внимания на свой темный праздничный костюм. Мирьям прекращает свое занятие

¹ Цвета флага буржуазной Эстонии.

и вопросительно смотрит на дядю Рууди, который сегодня выглядит необычно серьезным.

— Дай я тебе помогу,— он берет у племянницы стакан с мыльной пеной и соломинку.

И тут же с конца соломинки вылетает целая стая прозрачно-хрупких лиловатых воздушных шариков. Дядя Рууди чуточку переживает и вместе с Мирьям следит за полетом мыльных пузырей.

Возвращается извозчика и начинает снимать веревку, тайком поглядывая на Рууди, который сидит возле Мирьям.

Рууди пускает новый пузырь, который получается особенно большим и красивым.

— Сверкает, красуется, парит над землей и манит,— произносит дядя.

Мирьям догадывается, что это говорится о мыльном пузыре.

— И вдруг его больше нет. Конец, пропал, и все. И следа не остается.

Дядя Рууди помешивает соломинкой мыльную воду и спрашивает:

— А знаешь ли ты, Мирьям, что сегодня за день?

— Почему же не знаю,— гордится она своим знакомством с календарем.— Сегодня двадцать первое июня.

Дядя улыбается.

— Молодец. Запомни этот день...— медленно говорит он и не заканчивает мысль.

— Да говори же, что стряслось? Все сегодня что-то скрывают, никто не говорит толком! И ты тоже! — с упреком выпаливает нетерпеливая Мирьям.

— Сегодня произошел государственный переворот.

— А как он происходит? — не понимает Мирьям.

— Тебе еще надо чуть-чуть подрасти,— говорит Рууди.

— А этот государственный переворот похож на конечную остановку трамвая в Тонди? — спрашивает Мирьям.

— Каким образом? — недоумевает Рууди.

— Ну,— начинает разъяснять Мирьям,— трамвай едет и едет, пока не остановится. И нет больше рельсов. Дальше просто некуда ехать. Тогда приходят мужики и начинают толкать трамвай. Когда я смотрела, то сперва подумала, что они хотят перевернуть трамвайный вагон. Только потом увидела, что под трамваем находится боль-

шущий деревянный круг, который, если толкать вагон, поворачивается. И тогда получилось так, что, когда вагон повернули, он поехал по рельсам назад. Государственный переворот что, тоже так бывает?

— В общих чертах,— дядя Рууди сохраняет серьезное выражение лица.

— Да... поворот-переворот,— не успокаивается девочка.— Только если обратно по старой дороге... тогда...

— Смысла не было бы,— говорит Рууди,— вот именно! В этом-то, Мирьям, и заключается разница между историей с твоим трамвайным поворотом и государственным переворотом. Тут люди хотят на совершенно новые рельсы становиться! — заканчивает Рууди.

Мирьям никак не может понять, то ли в голосе Рууди слышится восхищение, то ли отчаяние или вовсе насмешка.

— Послушай,— интересуется Мирьям,— а когда государство поворачивают, флаги что, остаются старыми?

— Нет, видимо, нет. Сегодня народ шел под красными флагами.

— Разве бабушке больше нравится сине-черно-белый цвет, что она боится красного? — не может утерпеть Мирьям.

— Видно, так,— бурчит Рууди.

— А какой цвет тебе больше нравится?

— А ты тайну хранить умеешь? — спрашивает он и подмигивает.

— Конечно! — торжественно кивает Мирьям.

— Говоря по чести, мне по душе больше красный,— говорит дядя.

Мирьям смотрит широко открытыми глазами.

— Но бабушка говорила, что ее друзья должны быть также моими друзьями, а ее враги — моими врагами, что у маленького эстонского народа должна быть одна душа. Как же ты можешь против нее идти, ты ведь ей такой же родной, как и я? — вздыхает Мирьям и шепотом добавляет: — Ты ведь тоже получаешь от нее кроны!

— Кроны, кроны...— соглашается посерьезневший Рууди, потирает свои костлявые пальцы и грустно продолжает: — Теперь, может статься, туго будет.

— Забота о деньгах, забота о работе, одна заботно-заботная забота...— вполголоса произносит Мирьям.

Дядя Рууди начинает громко смеяться:

— Ну прямо взрослый человек!..

Мирьям гордо выпячивает грудь, стучит по ней кулаком и восклицает:

— Детство кончается, осенью я пойду в школу.

Дядя Рууди корчится от смеха.

Мирьям поднимает брови и удивляется: что тут смешного?

— Но ведь правда же? — требует она ответа.

— Что правда, то правда, — отвечает Рууди и достает из кармана большой клетчатый платок, чтобы вытереть слезы.

— Тогда скажи, почему тебе больше нравится красный цвет? — возвращается она к прерванному разговору.

— Это радостный цвет, в нем есть огонь, — уходит он от прямого ответа. — Тебе ведь тоже нравится красное. Я же знаю, ты всегда заглядываешь через забор, когда в саду Таавета цветут тюльпаны.

— Теперь этот сад достался Хави, — ворчит Мирьям.

— Да, насчет цветов там сейчас не густо, — соглашается Рууди.

— А почему тебе еще красное нравится? — требует Мирьям полного ответа.

— На это не так просто ответить. Так, чтобы поняла...

— Я-то пойму, — заверяет Мирьям.

Лицо у дяди Рууди становится задумчивым, он запускает в небо еще один мыльный пузырь, прежде чем начинает говорить тихо, больше самому себе, нежели племяннице, которая слушает, раскрыв рот.

— Если ты приглядишься к бабушкиным жильцам, все равно к кому — к артисту ли Куллесу или родителям Пээтера, к извозчику и его жене, к дворничихе или, скажем, Марии, что живет в Тааветовом доме, безразлично, — тебе может показаться, что все они скучные и смиренные. Такие маленькие! Кажется, что они ничего другого и пожелать не в состоянии, лишь бы прожить потихоньку, жевать свою скудную корку хлеба и доживать свои дни. Но сегодня вдруг... вцепились господам в загривок! Словно стали они людьми, зрелыми людьми!

— А ты... тоже стал зрелым? — в наступившей тишине отваживается спросить Мирьям, захваченная словами Рууди.

— Я? — Он усмехается, пускает вверх мыльный пузырь и отвечает: — Видишь ли, я похож на этот мыльный пузырь. Вот он лопнул. Конец — и все.

Мирьям не находит слов, чтобы возразить.

— И почему ты не взял меня с собой! — говорит она с сожалением.

Рууди не обращает на это внимания и продолжает:

— Я всего лишь шутник...

— Шутники бывают в другой раз лучше работников, — пытается она утешить его.

Дядя Рууди снова начинает смеяться. Поднимается, отряхивает сзади брюки и направляется домой.

В коридоре слышится, как он радостным голосом поет:

Грезы рассеялись, счастье разбито —
болью и ранами сердце изрыто...

Мирьям быстро вступает в коридор и подпевает:

Без тебя мо-оя жи-изнь пу-стая...

Это ей запомнилось из предыдущей дядиной песни.

— Без тебя моя жизнь пустая, — мощным басом повторяет Рууди.

Из передней доносится мамин голос:

— Я уже думала, что ты средь бела дня напился!

— О нет, — слышит Мирьям, как дядя Рууди отвечает ее матери, — мы тут с племянницей разучиваем песни.

— Мирьям! — требовательно зовет мама.

Девочка легкими прыжками исчезает за сараем — ведь могла же она быть бог знает где и не слышать маму!

Мирьям прячется за поленницей и ждет. Нет, больше ее не зовут. Когда мама в плохом настроении, то лучше держаться от нее подальше. Мирьям вздыхает. Понятно, что мама беспокоится: отец ушел с утра и до сих пор не вернулся, не иначе, запил.

На крыльце переднего дома, которое выходит во двор, появляется Пээтер и с громким стуком захлопывает за собой дверь. Чтобы все услышали, увидели и обратили внимание: во двор прибыл бесстрашный капитан и предводитель пиратов Пээтер. Урра! Мирьям при виде друга готова тут же крикнуть ему, но пока не смеет пикнуть. Поди знай эту маму.

Капитан Пээтер стоял на крыльце и выжидающе оглядывался. Велико же было бы разочарование, если бы он сейчас никому не попался на глаза! Волосы у Пээтера старательно зачесаны мокрым гребнем назад, он в белой рубашке, а на рукаве красная повязка.

Красная лента!

Мирьям не удерживается и выходит из-за поленницы.

— Здравствуй, капитан,— небрежно бросает она, будто ей совсем нипочем его праздничный вид.

— Привет,— отвечает он по примеру бывалых старшекласников.

— А что означает твоя лента? — спрашивает Мирьям, пребывающая в чине младшего матроса, и на всякий случай вытягивается по стойке «смирно».

— Вольно! — разрешает Пээтер и объясняет: — Это знак народной самозащиты. Знаешь, полицию разогнали, и ни одного легавого больше нет. Но за порядком надо следить! Пока отец ест, он разрешил мне надеть свою повязку. Я думаю, что прежде чем пойду на море — послужи-ка немного в народной самозащите. Ты знаешь, там и винтовки выдают!

— Да? — изумляется Мирьям.

— Еще бы! — заверяет Пээтер и, тут же забыв о своей степенности, длинными прыжками слетает с крыльца и начинает похвалиться: — А ты и не знаешь, что сегодня произошло!

— Вот уж и не знаю,— презрительно кривит она рот.— Сегодня был го-су-дарственный переворот. Вот! Знаю!

— Ого! — Пээтер от удивления сразу даже не нашелся что сказать.— Ты только погляди на эту девку!

Мирьям угрожающе сдвигает брови.

Но Пээтеру не хочется сейчас связываться. Если Мирьям рассердится, побороть ее непросто, если иначе не сможет защищаться, начнет кусаться и царапаться. К тому же у Пээтера сейчас праздничное настроение.

— Да, башка у тебя варит,— усмехается он и дружески хлопает ее по плечу.

На лице Мирьям сразу же загорается улыбка, и вот она уже снова послушный младший матрос, который стоит перед своим капитаном и принимает на веру его слова.

— Ух, какой мировецкий вид был! Народу полно, море разлитое. Я еще никогда столько не видел.— Он оглядывается и таинственно шепчет: — Можно предполагать, что установят рабочее государство!

— Правда? — Мирьям навастривает ушки.— А как это будет?

— Известно, богатых — долой, а бедные возьмут власть в свои руки, отец так сказал. И все получают работу!

— А ты как думаешь,— спрашивает Мирьям,— бабушка моя тоже в богатых ходит?

— Черт ее знает.— Пээтер чешет затылок. Но, увидев, что Мирьям, затаив дыхание, ждет его ответа, говорит: — Да ну, нашла тоже богатую!

От подобного капитанского великодушия у Мирьям чуточку отлегло от сердца. А то ее уже охватил такой смутный страх, что...

— Нет, это здорово! — Мирьям подмаргивает Пээтеру и подступает ближе, чтобы как следует рассмотреть эту важную красную повязку.

Мирьям уже было открыла рот, чтобы попросить у Пээтера его достопримечательную ленту — на чуть-чуть. Однако неопределенная тревога останавливает ее. Разрешит ли еще отец Пээтера всякому случайному человеку трогать такую важную вещь? Это тебе не рогатка, срезанная с дерева, и не какая-то там необструганная деревянная сабля, и уж далеко не тряпичная кукла, которые переходят из рук в руки и за которые никакой особой неприятности не бывает, даже если они порой остаются мокнуть под дождем.

И есть еще одна серьезная причина, которая останавливает девочку. Вдруг бабушка учинит скандал, увидев из окна, что ее внучка нацепила себе на руку красную повязку. Выбросила же она за окно значок, а недавно говорила, что красные — это враги ее и всей их семьи. Бабушкино единодушие — это страшно запутанное дело. Пээтер со своим отцом, понятно, — одна целая душа, а вот она, Мирьям... Стать бы уж заодно с дядей Рууди, душа в душу, с ним никогда не скучно, только вот попробуй угадай, куда попадешь, — ведь дядя Рууди обещал лопнуть, как мыльный пузырь.

Дети должны идти по стопам своих родителей, и Мирьям попыталась представить себя испытим старым человеком среди кучи ребятишек. Это казалось одновременно и смешным и неприятным, по спине даже пошли мурашки. Вот если бы мама освободилась от своих вечных забот и нашла время, чтобы рассудить с дочкой эти мировые проблемы, — только кто знает, как еще она посмотрит на эту красную повязку.

Мирьям вздыхает, ей не верится, чтобы все эти проблемы прояснились к сегодняшнему вечеру или хотя бы к завтрашнему дню. Но терпеть до послезавтра она никак не может...

Вдруг Пээтер, словно бы защищая Мирьям, встал перед ней, но она все же увидела, как из-за угла ввалился во двор пошатывающийся отец.

— Ох, боже мой,— пробормотала девочка.

Пээтер молча поглядывал в сторону и теребил пуговицу на рубашке.

Опустив голову и не простившись, Мирьям направилась к парадной двери, за которой скрылся ее отец.

Всю ночь девочке снились нескончаемые сны, она даже не слышала, как тут же, в другом конце комнаты, при свете сонного ночника отец разговаривал с мамой.

— Ты представь себе только, все же совершился переворот. И я получу работу! — Отцу нелегко сдержать свою радость.

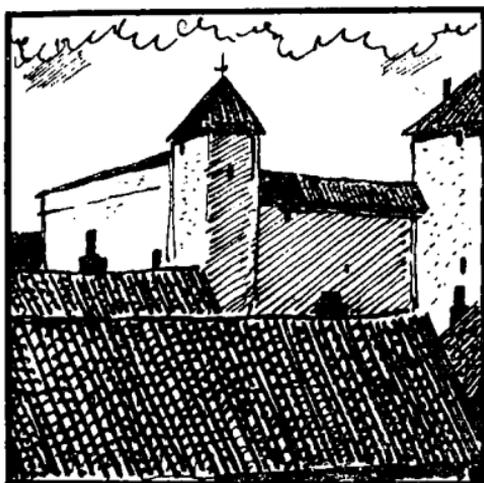
— Пьяницы ни при какой власти работы не получают,— сурово говорит мама, но и в ее голосе проскальзывает искорка тайной надежды.

Мирьям этого ночного разговора не слышит, она захвачена своими снами, которые никак не кончаются.

Под утро, когда солнышко начинает отсвечивать на занавесках, Мирьям видит во сне поля, полные тюльпанов! Даже на их собственном дворе, где летом пыль за просто поднимается до второго этажа, и то повсюду одни лишь тюльпаны, тюльпаны...

И только под ивой, где накануне висели синие латаные подштанники, черный платок и белая простыня с рваными краями,— совсем пусто. Даже веревки нет, одна пустота. Вчерашнего будто и не было.

Таллин, 1958—1963.



КОЛОДЕЗНОЕ ЗЕРКАЛО

РОМАН



● —————

Прошлое вздыбилось перед глазами, подобно ледяному торосу. Застывшие уступы, бесчисленные наслоения, темные прожилки. И где-то в глубине скрыто прозрачное и светлое детство. Разбить бы эти потускневшие пласты на осколки! Так, чтобы звон пошел!

Даже в родниковой воде есть железо и ржавчина.

Пусть неспешно оттаивают наслоения, высвобождая прошлое, чтобы живая вода прожурчала в колодец воспоминаний.

Я — дома!

И пускай себе кто-то считает старомодным эту привязанность к родным местам.

Люди с узлами всегда в пути. Из степных просторов тянутся они в дымные города, с привольных речных берегов возвращаются к подножьям изъеденных осыпями и потоками гор. Снова и снова туда, где им кажется лучше.

Меня тянуло только сюда, где красные гребни черепичных крыш в центре города высятся в окружении крытых смолистым толем дощатых пригородов. И кярусские луга тут же, и как-то странно — именно здесь, в этом пригороде, оседает в талых водах ледяная глыба прошлого. Словно и не отделяет разлуку от сегодняшнего целых девятнадцать лет.



Странное, светлое чувство.

— Ты улыбаешься, Анна?

О другом Кристьян не спрашивает. Он поправляет фанерный чемодан, который при толчках то и дело валится нам на ноги, и время от времени потирает свои узловатые пальцы.

Жилистый извозчикий затылок между выцветшим шарфом и нечесаными волосами дергается в такт лошадиным шагам. Вожжи в руках возницы ослабли, — может, он дремлет. Старый конь сам отступает в сторону, когда мимо нас проезжает красный рейсовый автобус.

Далеким эхом отдается недавняя томительная суета.

«Сдаете жилплощадь? — Бухгалтер домоуправления отложила ручку в сторону, поправила нарукавники и покачала головой. — Квартиру в самом центре Ленинграда!» — воскликнула она и всплеснула руками. «Вашу квартиру мы передадим многодетной семье», — утешил управдом, подышал на печать и протянул мне бумагу с оттиском треугольной печати вниз.

Я не сказала ему, что вряд ли это обрадует наших прежних соседей. Да они, по правде, и не поняли, что уезжаем насовсем. Мы взяли самое необходимое, то, что осталось в комнате и на кухне, попросили соседей поделить между собой, ненужное все загодя сожгли в печи.

На вокзал явились налегке, будто отпускники.

Соседкин сын, любивший читать мне лекции о чудовищной сути капитализма, проводил нас до выхода. Я подала ему ключ от квартиры, через мгновение у нас за спиной щелкнул заляпанный коричневой краской засов...

— Кругом все так тихо, — заметил Кристьян.
Киваю.

— Не волнуйся, — шепотом добавляет он.

Извозчик с любопытством посматривает через плечо, словно мы ему кажемся знакомыми. Наверно, просто выгладим неважно. Синее пальто мое довольно поношенное, на голове платок, на ногах парусиновые туфли и простые чулки.

— Что, неудобно ногам? — Кристьян замечает мое движение.

— Нет.

Он все же отодвигает чемодан подальше.

Надо будет купить новые туфли на каблуках, и непременно бежевые. Пальто придется подкоротить. В этом городе на внешность обращают внимание. Моя сестра, она посоветует, как одеться. К тому же приличная обувь — моя слабость. Иной раз просто неудобно, когда застаешь себя за тем, что по-мужски разглядываешь женские ноги.

Куда только не разбегаются мысли!

Следовало бы все же поехать на автобусе, меньше ушло бы денег. Никак не могу обрести той торжественной неторопливости, с которой хотелось бы въехать в свое прошлое. Собиралась с достоинством, высоко держа голову, смотреть по сторонам... Скольжу взглядом по знакомым домам, внимательно высматриваю людей на тротуарах с надеждой встретить знакомого. От времени до времени глаза мои затуманиваются — и пусть, от этого душе легче.

Кристьян, конечно, беспокоится о ночлеге. И не хочет, чтобы мы, пусть даже на первое время, останавливались у Юули. У меня другое... Кровное родство? Родная сестра? В чем тут причина, не знаю. Может быть, и в самом деле Юули, Рууди и Арнольд, а может, это — наш бывший домишко или просто старая привычка? Конечно, и излишнее смирение тоже, как бы выразился Кристьян.

Когда я думаю о своей сестре Юули, я без конца чувствую, будто меня застали на месте преступления. Видимо, болезненные отношения сплачивают сильнее, чем любезная сердечность.

Наверное, одинокий Михкель Мююр и тот бы обрадовался, увидев меня. Остались мы трое. Яан-Яаничек уже сколько времени покоится в могиле возле лесной опушки. И Аугуст не первый год в сырой земле.

Мама все говорила, что Аугуст, эта тощая хвороба, не годится в пастухи. И свезла парня в Рапла учиться на портного. А примерно через год — отца к этому времени выгнали с работы на стекольном заводе, а от Михкеля еще проку не было — Аугуст явился проведать родных, И привез с собой целую баночку сахарина — купил на свои гроши гостинца. Хвастался, чудак, на батрацком дворе: хотите, подслащу всю воду в колодце! Ешьте сладкий суп хоть каждый день!

— Ты чего вздыхаешь?

Теперь уже Кристьян нервничает,

— Так, знакомый переулочек...

— Тут надо повернуть налево,— говорит он.

Извозчик недовольно ерзает на козлах.

— Знаю, адрес, яды, сказали.

Мы киваем его спине.

— Помнишь,— шепчет Кристьян,— в тот вечер здесь на углу горел яркий фонарь. И кто-то стоял на крыльце с зонтиком.

— Не помню. Тогда все время думала, где бы попить.

Прислоняюсь к обивке, она скрипит звуком старой, изношенной кожи. Вдыхаю глубоко влажный осенний воздух. Белая кобылка поднимает расчесанный хвост и оправляется. Извозчик пихает лошадь кнутовищем.

Хотелось взять Кристьяна за руку, но мы уже двадцать один год как поженились. Когда исполнилось наше двадцатилетие, Кристьян взял выходной, и мы вдвоем поехали за город, в сторону Петергофа. Погода была теплая и солнечная. Кристьян собрал целую пригоршню смолки и сказал, что он готов прожить со мной еще столько же. Обычно он стыдился нежностей, но тем обаятельней выглядели его неумелые шутки.

К обеду мы побрели к станции, чтобы чего-нибудь перекусить. В киоске смогли купить только карамель и розовые пряники. Попытались было пожевать их, но зубы не брали. Так и отдали козе, которая торчала на привязи под черемухой. Кристьян разгрыз пару конфет и заявил, дымя папирсой, что он не выносит, когда ему вместо хлеба предлагают карамельку.

Я почувствовала себя задетой. Праздничное настроение улетучилось. Может, виной всему была моя дурацкая привычка искать в каждом слове какие-то намеки или приметы.

Хотя бывает, что Кристьян нарочно придирается.

Знали бы мы тогда, что через год сможем поехать на родину!

Ведь за три года до этого у нас прекратилась всякая связь с родственниками. Ни писем, ни весточек, ни посылок.

Наверное, здесь думали, что нас уже нет в живых.

Но все это не имеет, вероятно, отношения к советской власти, которая только что установилась в Эстонии.

— Ну, наконец-то, черт побери! — кричал и смеялся Кристьян, прослышав об июньском перевороте.

В это лето мы жадно читали в газетах все, что хоть краешком касалось событий в Прибалтике. В день, когда

Эстония была объявлена советской республикой, мы были охвачены страстным желанием поделиться со всеми своей радостью. Напоминали нетерпеливых детей, которые ищут, перед кем бы похвалиться своими именинными подарками. День был коротким, а когда наступила еще более короткая ночь — совсем не хотелось спать. В нас вселилось какое-то своеобразное чувство избавления, и необычайное единодушие объединяло нас. С каким совершенством великое и общее могут слиться воедино с личным!

Прошло совсем немного времени, и Кристьяна вызвали, сделали предложение поехать на работу в молодую республику. Сказали, что революционный энтузиазм и горячие сердца необходимо слить с опытом, с практикой и стажем.

Какая радость, что Кристьяна причисляют к проверенным и стойким коммунистам!

Я, конечно... Я ехала просто как член семьи. Нет у меня дара быть выдающимся организатором и опорой, рядовой член. Всегда, как говорится, лишь содействовала. Но все люди не могут же уместиться в первом ряду.

«Да оглянись же вокруг!» — заставляю я себя вернуться к настоящему.

Кругом все те же двухэтажные зеленые и желтые дома. Лишь в подвальных этажах поприбавилось лавок и лавочек. И повсюду яркие вывески с черными буквами, к двери ведут две-три ступеньки из плитняка. Имена владельцев, из тщеславия, выведены крупными загогулистыми буквами.

— Погляди, Кристьян, какая идиллия: «Виннеранд и К°»!

— Компания — это жена, трое детей да полосатая кошка.

Церемония предстоящей встречи начинает меня все больше угнетать. Чтобы заглушить волнение, хочется не переставая смеяться. Ох, уж эти долгие, изучающие взгляды, обнимания-целования — никак не могу я свыкнуться с ними, все у меня получается как-то неловко и беспомощно, руки болтаются как чужие, на лице застывает судорожная улыбка. А Кристьян, тот вообще мрачнеет, производит неважное впечатление, словно и радоваться не умеет. А теперь еще предстоит встреча с новыми родственниками — женой Арнольда и его детьми, Лоори и Мирьям, Юули так и писала: Лоори и Мирьям.

К этим именам еще надо привыкнуть, и это потребует даже известного напряжения, если за девятнадцать лет свыклись с Верами, Танями, Машами и Наташами.

Уж несколько раз по ночам, в дреме, «начинала я свой путь к родным пенатам».

Лишние вещи, которые никак не залезают в чемоданы. С трудом забираешься в трамвай, кондуктор медлит с отправлением. Перед самым носом разводят Дворцовый мост, и тянутся по Неве черные караваны судов. Кажется, что еще можно успеть на поезд, если бы в дверях вокзала не стояли непоколебимые контролеры. Они с подозрительностью смотрят из-под форменных козырьков и требуют билеты, бумаги, документы. А я почему-то все выхватываю из сумочки бумаги с царскими орлами, которые уже давно недействительны. Потом я обязательно бегу не на тот перрон. От таллинского поезда меня отделяют параллели бесчисленных отвесных каналов, где-то в глубине поблескивают маслянистые полоски рельсов. Вижу, как вдалеке покачиваются шаткие вагоны и за уходящими сигнальными огоньками семафоры закрывают путь.

Теперь-то уж эти навязчивые наваждения должны исчезнуть.

— Сегодня суббота, Кристьян.

— Ну и что?

— Возьмем веники и отправимся на Балтийское шоссе в баню.

— Может, за это время баню построили где-нибудь поближе, — усмехнулся он.

Извозчик снова оглядывает нас через плечо. Следовало бы, наверное, говорить по-русски, а может, он именно тому и удивляется, что мы не говорим по-русски.

Наш кучер дергает вожжами. Белая лошадь поворачивает влево.

Занавес поднялся.

Переулок заканчивается Юулиным домом, фасад которого напоминает декорацию.

На блестящих от смолы кровлях башенок — флюгеры, уставившиеся носами к морю, дата — 1910. Выцветшие на солнце гребни фронтонов. С крупными и мелкими переплетами окна. В двух местах, там, где выступы, несколько окон верхнего этажа выдвинулись углом вперед. Словно два близко расположенных штевня, которые припилены тесинами к сухопутной крепости.

Над парадным входом выгнутая крыша с жестяным кружевом. Из невысокого плитнякового цоколя таращатся четыре трапециевидных окна.

Какой тут начнется спектакль? Драма? Комедия?

Или просто душераздирающая встреча двух сестер?..

Стоит дрожкам остановиться, и в окна появятся любопытные лица. Нетерпеливая пестрая массовка заполнит кулисы...

Ну, а затем?

— Трр-ррр! — восклицает извозчик, но белая кобыла останавливается и без этого.

Нашупываю носком туфли подножку и не смею поднять глаза.

Булыжники кажутся невероятно скользкими и круглыми.

В ушах сплошной звон, приходится прилагать усилие, чтобы держаться прямо.

Когда я осмеливаюсь взглянуть в окна, там нет ни одной души. Неужели в пригороде привычки и вправду изменились за время нашего отсутствия?

Звуки песни? Или это скрипит под ногами песок?

Что за торжество среди бела дня?

Крамбамбули, крамбамбули, крам-бам-буу-лии!..

Странное буйство. Все яснее слышатся возбужденные голоса, вскрики, треск, топот бегущих ног.

Извозчик торопливо привязывает вожжи к сиденью. Он торопится, идет, вытянув руки, и распахивает настежь ворота. Кристьян, прислушиваясь, подает мне один узел, сам берет фанерный ящик и второй узел. Мы следуем за кучером.

Клику надо скинуть в воду,
сгоним баб в одну колонну!
Больше гнуть не надо спину —
даром землю, даром вина!

Крамбамбули, крамбамбули, крам-бам-буу-лии!..

За углом дома раздаются проклятия.

Что-то трещит, будто ломаются кости какого-то крупного животного.

Хотелось идти медленней, чтобы внимательно разглядеть ворота с покатою крышей-водостоком, отыскать следы времени. А сама спешу рядом с Кристьяном, тащу узел, рукав задевает за цокольные плиты, под ногами шуршит пожухлая крапива.

Возле угла останавливаемся, отсюда видно весь двор. На заборе, что отделяет двор от соседского участка, стоит орава парней. Взявшись за руки, парни, ловко сохраняя равновесие, раскачиваются взад и вперед. Та часть забора, которая ближе к улице, уже свалена. Как раз с грохотом расползаются дрова, сложенные в поленницу под березой.

— Крамбамбули!..

Трещат столбы, забор начинает валиться. Бабы с проклятиями отбегают к крыльцу. Парни мягко спрыгивают на землю, размахивают руками и орут от восхищения.

Сваленный на сухую пыльную землю забор колышется, подобно серым мосткам, которые никуда не ведут.

На парадное крыльцо заднего дома выскакивает женщина с разлохмаченными волосами, полы халата, обшитые блестящей каймой, болтаются по сторонам.

— Что вы делаете, чертова шпана!

«Шпана» оглядывается на резкий окрик, закладывает руки поглубже в карманы, приближается почти вплотную к женщине и распевает:

Общим стал любой окуроч,
общим шапка, общим — шкура,
взял легавый за решетку,
дуй, хозяин, к черту в глотку!
Крамбамбули, крамбамбули, крам-бам-буу-лии!..

Какая-то девчушка, сжав кулачки, прижалась к углу дома, словно готовясь броситься вперед. В наступившей на мгновение тишине послышались сдавленные смешки. Женщина в халате замахивается, чтобы ударить парня. Но тот пригибается, поворачивается на каблуках и, отступая в сторону, выкрикивает:

— Крамбамбули, крамбамбули, крам-бам-буу-лии!..

Женщина в ярости делает к нему пару шагов, но тут же сникает и опускает руку.

Да это же Юули! Юули... Как же ты постарела, сестра.

Дрожь проходит по рукам, перехватывает горло. Узел выпадает из моих рук на землю.

Теперь лоботрясы выстраиваются на другом, ближнем заборе. Стоят, будто нахохленные петухи на насесте, и начинают раскачиваться. Девчушка подбегает к забору и хватает одного парня за штанину.

— Не смейте, это еще дедушка сделал! Слышите, дедуш-ка!

Голос ее заглушается треском забора.

— Что оно значит? — раздается по другую сторону забора грозный мужской голос. Из-за ограды возле ивы показывается грозящий кулак, но самого человека не видно.

Парень стряхнул девочкину руку со своей штанины.

Человек, грозивший кулаком, желая спасти свою ограду, кричит под треск забора:

— Я не национализированный!

Один из парней, словно опьяненный азартом разрушения, поддает ходу улегшемуся было раскачиванию и выкрикивает новый воинственный клич. Примолкшие на время женщины объявляют чертовым мерзавцам погибель, и забор после третьего подстегивающего «крамбамбули», словно хрипя, валится наземь.

Бабы только сейчас успели окончательно выйти из себя. Отталкивая нас, они ринулись на парней. Те вынуждены удирать через ворота на улицу.

Неожиданная лавина смела на своем пути границы двухметровой высоты. И как-то странно вдруг видеть грозившего кулаком мужчину. Он стоит во весь рост возле ивы, совсем рядом с нами. По части забора, избежавшей разрушения, пробирается черная кошка и застывает в нерешительности перед образовавшимся провалом, неловко поворачивает назад и торопливо уходит в сторону сада.

Моя сестра, Юули, подходит к соседу, который стоит, расставив ноги, и, положив руку ему на плечо, понуро нащупывает полу халата и поднимает ее, чтобы вытереть шершавым подолом глаза.

Извозчик незаметно исчезает, женщины, размахивая руками и возбужденно переговариваясь, уходят к высокому крыльцу переднего дома, маленькая девчушка снова стоит, прижавшись к фундаменту спиной, и упирается растопыренными пальцами в камни.

Такое чувство, будто стоишь голая.

Кристьян бросает на меня нетерпеливый взгляд. Нагибаюсь, чтобы поднять узел.

— Юули! — зову я негромко.

Она вздрагивает, резко поворачивает голову и начинает двигаться удивительно мелкими шажками. Прибли-

жаясь, Юули прищуривает глаза. И я слышу ее слова, первые после девятнадцатилетней разлуки:

— Кто эти пришлые?

Яан-балагур, игравший когда-то в любительских спектаклях Эстонского домпросвета, сказал бы это под пьяную руку с нарочитой дикцией:

— Кхтоо ээти приишлые?

С ним, с Яаном-балагуром, всегда случалось так, что трезвый он шепелявил; но стоило пропустить стаканчик, говорил ясно, наслаждаясь звуками. Все «к» у него шуршали, все «р» рокотали, а гласные просто-таки пели.

Мягкая постель, прохладные накрахмаленные простыни — ну что еще надо душе, время бы уже спать. Вот только шторм осенний, который упирается в оконные стекла и, шевеля занавесками, обдает холодным дыханием щеки, временами он, казалось, вытягивает из комнаты воздух, и тогда возникает ощущение пустоты.

Мечутся флюгеры. Юг поворачивается на север, и север — на юг; где тут запад, а где восток?

Подобное невесомости состояние начинает раскачивать меня.словно я соринка какая-то, которая кружится над землей вместе с пылью и сухими листьями. Будто у меня и рук нет, чтобы ухватиться-зацепиться за ветви или водосточную трубу и удержаться на месте.

Откуда-то подкрадываются ко мне безликие и бестелесные сомнения, и необъятность бесконечности вдруг тревожит меня больше всего. Рефлексы самозащиты тут же бросаются в ожесточенную схватку с гнетущими чувствами, и навстречу мне скользят парящие розовые грезы. Я молода и неколебимо самоуверенна, безошибочно делю людей на два лагеря, закрываю путь перед врагами и протягиваю руку друзьям. Я словно безоблачная майская демонстрация, разукрашенная бумажными цветами, словно светло-голубой паводок, уносящий вдаль сломанные деревья и всякий хлам. Вижу свой собственный белозубый смех, и на голове у меня повязана красная шелковая косынка... И не слышала я еще вовсе, что такое подлость, вражда или предательство. Прочнее всех стою на земле, и привязанный ниточкой к пуговице воздушный шар отражает сверкающий мир...

Года два уже я не видела свою подругу Лийну. Чувство вины перед ней заглушается сознанием превосходства,

которое напирает и все растет. Может, поэтому я и рвалась так на родину, чтобы свести старые счета! Кое-кому я тут еще не все сказала; в свое время то ли не могла, а может, просто не умела.

И все же, как знать, возможно, сюда влекло родное, эстонское — душа и язык, — звало неотступно?

Или пришли уже годы, когда тебя тянет к дому, тихому уголку, присутствию близких, непременно утреннему кофе со сливками и благодатным вечерним сумеркам, с великим спокойствием в душе.

Вот она, бессонная ночь, — мысли все мечутся в разные стороны.

Какой-то чудной была наша встреча среди разора, учиненного разгульными лоботрясами.

Юули шла впереди — волосы растрепанные, — полы халата волочились по ступеням крыльца. Идем молча, свое влияние оказывают и обстановка, и пережитые сцены с оградой, считавшейся вечной границей. Я искала слов, способных принести утешение, но Юулина отчужденность сделала их невысказанными. Слегка задышавшись, она задержалась на лестничной площадке первого этажа и, стукнув кулаком в левую дверь, крикнула:

— Они приехали!

Все затихло. Потом Юули распахнула дверь, которая вела направо, попятилась в нее, сделала еще шаг и вытянула руки далеко вперед.

— Да ты и не очень-то изменилась, — сказала она.

— И ты не так чтобы, — ответила я, пытаюсь улыбнуться.

— С виду совсем здоров и силенка есть, — добавила она, ощупывая взглядом Кристьяна.

Я подалась вперед, чтобы коснуться губами Юулиных губ, но взгляд ее оставался холодным, и у меня не хватило духу исполнить свое намерение.

Кристьян заворочался, хотя только что сладко спал. Бывает, что в ночи, подобной этой, когда за окном бушует непогода, Кристьян притворяется спящим и старается своим примером усыпить меня.

— Как думаешь, — шепчет он, — попросить, что ли, квартиру в переднем доме?

— Решай сам. Не знаю, как... там с нашими хоромами, — колеблюсь я.

— Да ну, — бормочет он чуть раздраженно.

Кристьян никогда не любил домика, приобретенного за деньги, доставшиеся мне по наследству.

Не знаю, может, я и порадовалась бы той квартире. Юули сказала, что недавно оттуда съехали жильцы — дескать, комната и кухня. Ей-де, Юули, до этого дела, конечно, нет, она уже свое отсоветовала, ее и не спрашивают, старую.

Национализация — для нас с Кристьяном понятие такой давности, слово это даже как-то забылось — для Юули стало лихоимными буднями. Однако позднее, хлебнув домашнего вина, Юули расчувствовалась и решила, что в общем-то оно и неплохо, если поблизости будут родичи.

— Решай сам,— повторяю я Кристьяну.

— Можно бы и получше квартиру получить,— размышляет он.

— В большую нам нечего ставить. Откуда все сразу взять?

— Все-таки насовсем приехали,— говорит он очень весело и тепло.

Провожу пальцем по его волосам, не касаясь гладкой лысины, о которой ему лучше не напоминать.

— Потом подберем что-нибудь попримичнее,— соглашаюсь с ним.

Ну что ж, начнем свою тихую жизнь людей, которые уже переступили сороковую весну. Своя комната, своя кухня, будем себе помаленьку трудиться. Наконец-то исполнились наши давние мечты.

Но с чего бы тогда эта самоирония? Все я чем-то недовольна, все недовольна.

— Анна, ты не спишь? — раздается за дверью.

— Нет.— Поднимаюсь и нащупываю туфли.

В передней стоит Юули, длинные волосы распущены по оборкам ночной рубахи.

— Пойдем,— зовет она.

Юули закрывает дверь, ведущую в столовую. Там спит Рууди; я слышала, как он пришел,— это было уже далеко после того, как в соседских окнах погасли огни. Своего племянника я так и не видела.

Опускаемся на мягкие стулья возле овального столика. Юули поправляет свалившийся на пол кончик одеяла, смахивает волосы с плеч за спину и закручивает их узлом на затылке. Шарит по столу, находит заколки, втыкает их в волосы и скользит рукой по слегка обрюзглому лицу.

— Да, мужа моего вы уже не застали,— начинает она сурово.

Что сказать? Слова утешения — это мелочь, которую не предложишь в таких случаях.

Да и как мы могли застать его?..

Переписка с Юули оборвалась; извещения о смерти мужа она не послала, да это и к лучшему.

— Врагов у него не было,— говорит Юули, словно подслушала мои мысли.— Чем дальше уходит время, тем больше не хватает его. Умер, и все пошло прахом. Сегодня вот свалили забор, который он ставил своими руками.

— Зря ты этим заборами придаешь столько значения.

— А почему пчелы частью повымирали? Деревья от мороза трещинами пошли. И годы навалились, совсем я стала старухой. Беззащитной и одинокой.

— Но у тебя же есть дети, внуки?

— У них своя жизнь.

— И брат есть.

Юули опускает веки и качает головой.

— Михкель Мююр,— говорит она с пренебрежительным сожалением.

— Я... тоже вернулась.

— Много времени утекло,— тянет Юули, отводя в сторону взгляд.— Мир таким кровавым стал. Людей покой лишили.

— Крови всегда хватало. Дядю нашего убили в пятом году. Аугуст после тюрьмы протянул всего несколько месяцев.

— Трое нас осталось на этом свете,— соглашается Юули.

В ее мельком брошенном взгляде ловлю скрытый упрек.

— У тебя все-таки дети,— снова повторяю я, потому что это мое больное место.

— Арнольд пьяница, Рууди чахоточный.

— Не вечно же...

Юули машет рукой, молчит.

— Есть еще внучки...

Юулины руки беспомощно опускаются на стол. Под широким обручальным кольцом бьется толстая синяя жилка.

— Они пока малышки, а в воздухе полно гари. Кто выживет, кто сгинет. Кто станет человеком — откуда нам все это знать!

Непогода разразилась градом, который барабанит по жестяной крыше и стеклам. Утро, видимо, не обещает ничего хорошего, будет грустным и мгlistым — повсюду белесые заплаты, словно подстреленные лебеди на стылой земле. К обеду, может, растает, порадуетесь мимолетному теплу и станем выискивать в небе голубые клочки.

— Значит, вы так и остались красными,— говорит Юули, и трудно определить, спрашивает она или утверждает.

Пытаюсь улыбнуться без всякого вызова.

— И что вам это дало? — удивляется она и тут же отвечает: — Фанерный чемодан и два узла.

— Не так уж мало.

Юули по-своему истолковывает мою усмешку. Торопливо достает из-за Библии черную коробку, роется в каких-то бумагах и квитанциях, наконец находит нужные документы и подвигает ко мне.

Нетерпеливо выхватывает пожелтевшую бумагу с множеством гербовых марок и печатей и приказывает:

— Переведи.

Подношу бумагу поближе к лампе.

— «Доверенность. Я, Анна Тааниелевна...» Надо ли читать это сейчас, ночью? — Поворачиваю листок другой стороной и смотрю на дату: двадцать второе декабря 1925 года.

— Не хочешь, как хочешь. Могу на память сказать, что там написано,— не отступает Юули.

Опускается рука с листком. Щиплет глаза, по телу разливается страшная усталость. Будто вновь окунулись мы с Лийной в промозглую декабрьскую ночь, со скамеечками под мышкой, чтобы занять очередь перед ленинградской биржей труда.

— Все, что сказано в этой бумаге, ты знаешь не хуже моего,— говорит Юули и откашливается.— Этим документом, который ты поручила составить ленинградским нотариусам и потом переслала сюда, ты доверила мне распорядиться вашим домом. Все перешло в мои руки. Кому сдавать, сколько брать платы, какой делать ремонт. На мою шею свалились налоги, страховки и поддержание дома в порядке. У меня было право даже закладывать его.

До меня начинает доходить смысл того, куда метит Юули.

— Читай, проверяй,— советует она.— Видишь, здесь стоит подпись генерального консула Мэлдера — он подтверждает, что все совершенно верно...

— Верю, верю, помню.

Мое безразличие обескураживает Юули. Несколько пришибленно и обрывочно она объясняет:

— Все думала, что вы любили свой домик. Там вас...

— Там нас арестовали.

— Ну да, оттуда вас увели.— Юули умолкает

— Ну и что?

— Ты погляди в конец бумаги. Гляди, гляди,— при-
нуждает Юули и вдавливая ногтем черточки.

— «В пределах Советского Союза настоящая дове-
ренность недействительна», — перевожу я последнее предложение.

— Получается, что теперь ты вроде бы и не писала этой доверенности,— говорит Юули.

— Вроде бы так,— пожимаю я плечами.

— Я заложила ваш дом,— наконец выпаливает Юули.— А потом он пошел с молотка.

— Вот как?

Юули наклоняется ко мне совсем близко, смотрит напряженно в глаза и спрашивает:

— Жалко? Надеялась, что не попадет под национали-
зацию, что площадь мала? Вернешься — и вот тебе
жилье. Яблони в саду и все такое...

— Конечно, жаль,— отвечаю ей.— Яблони в саду и
все другое.

— Да-а,— кивает Юули.— Особенно этот «золотой
ранет», что стоял под окном. Только нет там сейчас ни-
чего. Мороз скосил подчистую.

Подойдя к полке, Юули стала быстро листать альбом
и протянула мне фотографии. Под светлым облачком
цветущей яблони стояли две молодые стройные жен-
щины.

Начинаю смеяться.

Юули опускается на стул. Раскрасневшееся было от
возбуждения лицо становится бескровным, сухими блед-
ными губами она повторяет:

— «В пределах Советского Союза настоящая дове-
ренность недействительна». А Эстония теперь и есть в
пределах Советского Союза.

— Что ушло, то ушло.

— Теперь мы живем в советском яблоне-вом саду,— с трудом сдерживаясь, бормочет Юули.

Ночью все огни кажутся более яркими. Поднимаю левую руку, чтобы защититься от света.

В столовой кашляет Рууди. Когда он замолкает, я слышу лишь Юулино тяжелое дыхание.

— Значит... судиться и требовать не станешь? — Стараясь подавить неловкое напряжение, она добавляет: — Посылки тоже посылала.

В ожидании столь существенных для себя ответов Юули всегда дышит так. С шумом вдыхает воздух и тут же, словно пугаясь этого вдоха, осторожно выдыхает. И снова, шумный вдох, напоминающий вздох, затем секунда пугливой тишины. Некоторые люди дышат так, когда они готовы расплакаться. Нет, о нет, Юули слеза не прошибет.

Она думает, что я взвешиваю свой ответ, и поэтому боится помешать.

Удивительно, что у людей бывают едва заметные пожизненные особенности, неизменные, подобно Юулиному дыханию в момент, когда ей не терпится. Девятнадцать лет назад — тогда она была еще довольно молода, но все равно хватала с шумом воздух, ожидая моего решения.

Юули снова и снова требует ясности, чтобы я не увертывалась, совсем как девятнадцать лет тому назад: кому оставишь имущество?

В тот раз я тоже прикрыла глаза — саднило веки. Причиной был страшный конъюнктивит, он мне достался после ночных допросов, когда прямо в лицо направляли сильный свет. С тех пор воспаление все норовит вернуться. Вот так и бывает: одному в двадцать лет достается полумрак любовных ночей с влажным блеском глаз, другому — жаром раскаленных вольфрамовых нитей спекают роговые оболочки...

Впоследствии я частенько, смущаясь, вспоминала, как в те полчаса, когда мне объявили смертный приговор и Юули спросила, кому я оставлю свое имущество, я больше всего переживала за свои глаза. Опустошенная, одеревеневшая, я ощущала лишь резь в веках и боялась, что мне снова в лицо направят ослепляющий свет.

Адвокат стоял за спиной Юули и ожидал моей подписи, минуты свидания были считанными. Видимо, адвокат и Юули считали мое безразличие вполне естественной апатией смертника.

Естественная апатия по-скотски приговоренного к смерти человека! Безумие.

Холодными и влажными кончиками пальцев я осторожно провела по опухшим векам, и вдруг огромное желание, словно кровь, заструилось по жилам. Прохладного моря! Прохладного моря, чтобы окунуться туда с головой. Соленая вода — бесподобное облегчение для болящих глаз.

— А ты можешь пойти и искупаться,— проронила я глухо.

Меж пальцами увидела нерешительно-удивленную гримасу адвоката, который склонился к Юули. Жалкий человек! Сколько послушания и угодничества, расторопного прислужничества чернильной души по отношению к клиенту.

Кажется, я улыбнулась, опустила руку, с трудом открыла глаза и спросила, склонив, подобно глупенькой, голову: так что тебе надо, дорогая сестричка?

Они посчитали это за минутное просветление сумасшедшего. Настойчивым, ясным голосом Юули повторила свой вопрос.

Грудь ее вздымалась и опускалась, дыхание из пересохшего рта обдавало меня жаром, и казалось, мне снова опалило глаза. Собрав силы, ответила: да, сестричка, все оставляю тебе. Онемевшей рукой нацарапала на бумаге подпись. Буквы получились старчески корявыми.

Юули вроде бы даже чуточку пробила жалость; опершись рукой о мое плечо, так что я едва смогла устоять на ногах, она спросила, не нужно ли мне чего-либо.

— Принеси щепотку соли,— попросила я.

Не принесла. Может, забыла, а может, решила, что я бредила, или просто — зачем она теперь мне, эта соль?

А что, если попытаться выяснить, почему Юули не выполнила моей просьбы?

Скрещиваю пальцы, смотрю на сестру. Нет, спросить ее об этом было бы лишне. Чертовски трудно нахвататься кислорода для разбереженного сердца, да и на лбу у Юули вздувается толстая жила. Время сделало свое дело. Чем старше человек, тем больше он походит на рисунки из учебника по анатомии. В редких Юулиных волосах уже проступает седина, и повытертая щетина бровей вылиняла, стала невыразительной. Видать, одинокая жизнь придала Юулиному подбородку мужественную углова-

тость. Прикрикивай, командуй, суетись, улаживай — сейчас все это, конечно, потеряло смысл.

— Так что тебе надо, дорогая сестричка?

Я нарочно обратилась к ней с теми же словами, что и девятнадцать лет тому назад,— вспомнит ли она их? Догадалась! Помнит. Возможно, впоследствии при встрече с тем адвокатом переходила на противоположную сторону улицы? Или, наоборот, любезно подносила ему руку для поцелуя и рассуждала с ним о всякой всячине и трудных временах?

— За сколько заложила?

Юули вздрагивает:

— За тысячу девятьсот.

— Девятнадцать,— повторяю я сердито.— Два нуля роли не играют.

Юули устала в пол.

Полевой суд был скорым, оперативным, им все ясно, и казалось, будто на тебя навесили номерок. Выбракovaná скотина для отправки на бойню истории. В тот раз я отвернула перед самыми воротами в сторону. Не без помощи Юули. Но девятнадцатая статья до сих пор где-то болтается на мне, я это чувствую, она останется со мной, пока я жива.

Надолго задерживаю свой взгляд на Юули. Желание услышать мой ответ так и выпирает из нее, но она колеблется и не осмеливается требовать, что-то все же останавливает ее.

Если бы кто посмотрел на нас со стороны, все это показалось бы странным. Сидят в ночи две женщины, с посеревшими от усталости лицами, сидят и никак не соберутся идти спать. Изредка обмениваются фразой-другой, а часы отсчитывают уже четвертый час.

Ветер утих, давно перестал град. Идет снег.

Поднимаюсь, чтобы размять кости. На полочке замечаю фотографию Юулиного мужа. Он сидит на приземистой садовой скамейке, положив на колени ладони, на лице спокойная улыбка добродушного человека.

— Претензий к тебе мы не предъявим,— говорю я неожиданно для самой себя.

Постепенно Юули успокаивается. И вновь начинает дышать неслышно. Пораженная моим решением, она, со своей стороны, спешит предложить:

— Помогу вам устроиться с жильем. У меня еще кое-что есть... В фанерный чемодан и два узла все

же не уместится,— примирительно пытается она пошутить.

Нажимаю на ручку двери. На изразцах отражается фигура Юули: она стоит, расставив ноги, посреди комнаты и вытаскивает из волос шпильки.

Я безумно устала, словно явилась на биржу труда без скамеечки и ночь напролет простояла в очереди.

2

Вот такое оно и есть, это наше пристанище. Могу постоять безмятежно посреди комнаты и еще раз окинуть взглядом результаты нашей возни-суеты, оценить чистоту нашей побелки и оклейки. Двустворчатый мореный платяной шкаф, три старых венских стула, четырехугольный стол в комнате и другой поменьше, на тонких ножках, под окном в кухне. С никелированными шишками железная кровать-полупорка: кого только из нас считать за целого, кого за полчеловека? На стене возле плиты полочка, конопатая от многократного крашения, два пестрых половика прикрывают еще слегка липкую краску на коричневом полу. На окошках белые шторы, по вечерам они отделяют нас от остального мира, и еще — что очень важно — два ведра возле двери. Одно на табуретке, другое — внизу.

Такая вот она и есть, квартира наша, комната с кухней.

— И в бедности, да в чистоте,— хмыкнул Рууди, когда он однажды с утра заявился с букетом цветов и бутылкой вина на хлеб-соль.

Юули могла бы собрать из старья, которое валялось у нее на чердаке и в подвале, по крайней мере еще три подобные «обстановки».

Но большего нам сейчас и не нужно.

Кристьяна сразу же направили от горкома партии на работу в отдел кадров Балтийской мануфактуры. Он вздохнул с облегчением, когда наши вечерние ремонтные работы кончились и мы перебрались в свою квартиру.

Перевод мой лежит открытым на белой скатерти. Все же венский стул, который, когда я ухожу с головой в работу, отчаянно скрипит подо мной, довольно удобное сиденье. Хочу — устраиваюсь так, что вижу из углового окна улицу, которая завершается железнодорожным забором, захочу поглядеть на что-нибудь другое — поворачи-

чиваю стул и рассматриваю крытые толем крыши, которые беспорядочными зазубринами изламывают горизонт. Словно картузы деревенских мужиков, с надвинутыми глубоко на лоб козырьками, те, что поновее, — глаже, другие — вымоченные дождями и обмякшие. Деревенское начало тут, на городской окраине, в великом многообразии сливается с городским. На размокших огородах сверкает в бороздах вода и гниет картофельная ботва, которую по весне соберут в кучки и сожгут.

Вокруг тишина.

Все условия для того, чтобы сосредоточиться.

На белой скатерти исписанные листки и книга с закладкой. У нас с Кристьяном все получается как-то так, что один работает за двоих. Когда учился он — зарабатывала я. А когда Калганов три года тому назад посоветовал нам переселиться из Ленинграда, то на первых порах в этом Тикапере занятия Кристьяну не нашлось. Зато я тут же получила место в сельской больнице, благо у меня было давнишнее свидетельство об окончании курсов медицинских сестер. А вернувшись в тридцать девятом обратно в Ленинград, домохозяйничала я, Кристьян же трудился за двоих на ремонтных работах. С переводами у меня было тогда туговато — издательство «Сеятель» закрылось.

Сейчас — сейчас у нас никакой заботы!

Пусть Кристьян зарабатывает на хлеб, а я могу спокойно оставаться дома и переводить на родной язык великие мысли из этой малоформатной книжки в серой обложке.

«В теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, т. е. не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным».

Главное — точность и корректность.

Когда по приезде я пошла становиться на партийный учет, секретарь горкома воскликнул, будто он выступал на многолюдном митинге, хотя в помещении мы были одни:

— Вас нужно, не мешкая, пристроить к делу! — И вскинул руку.

Наклонившись к нему, я негромко сказала, что пока хочу остаться на мужниных хлебах.

Рука секретаря опустилась. Он усмехнулся и откинулся на спинку стула.

— А в чем загвоздка?.. Перед нами совершенно небывалые задачи, и вдруг...

Он старался не оскорбить меня, хотя выражение лица выдавало, что он считает меня чуть ли не дезертиром.

— У коммуниста нет права оставаться в стороне, нужно браться за дело,— поучительно заметил он чуть погодя.

— Все зависит от умения и опыта,— усмехаясь, возразила я.— Хочу перевести на эстонский язык «Материализм и эмпириокритицизм». Уже с каких пор у меня начат перевод.

Секретарь опустил глаза. Я так и не видела, как он воспринял мои слова.

Да, в настоящий момент, может, и не самое главное — издавать на эстонском языке «Материализм и эмпириокритицизм», но ведь придет время, когда еще похвалят за дальновидность.

Пушкой же Кристьян заботится о хлебе насущном и прочем, а я со спокойной душой вернусь к своей давнишней мечте.

Совершенно естественно, что в период, когда молодая республика только еще встает на ноги, когда идет раздел земли, борются со спекуляцией, устанавливают зарплату, создают станции общественного сельскохозяйственного инвентаря, проводится школьная реформа и отчуждается частная собственность,— практическая работа стоит на первом месте, а углубляться в теорию предстоит в более спокойные времена.

Если только вообще когда-нибудь и где-нибудь бывают эти самые спокойные времена.

Но разве может, безразлично в какое время, оказаться излишней и ненужной эта книга об истине? Возможно, углубляться в нее следовало бы именно в поворотные периоды, когда на гребне повторных явлений истории могут снова вылезти на свет божий те, кто захотят произвольно обойтись с истиной.

Я убеждена, что нисколько не стою в стороне от общего дела, пусть я и работаю всего лишь дома, за столом. Хотя у секретаря и могло остаться другое впечатление.

Велика важность, какое я оставила впечатление о себе!

Важна работа и ее надобность.

У нас еще нет часов, и тишина в квартире кажется слишком пустой.

Часов все еще нет.

Когда сижу за книгой, я должна слышать тиканье.

У старика в кабинете стояли напольные часы — с огромным медным маятником.

В тот раз мне повезло больше, чем Лийне. Незаслуженно. Только выбирать нам самим не приходилось. Работали где попало. То складывали в кучу булыжник, подсобляли дорожным рабочим. Мыли окна, пилили дрова, стояли в порту с карандашом и бумагой в руках, учитывали работу грузчиков. Потом меня подрядил старик.

В первые дни он со мной не разговаривал. Только повелевал, чтобы я принесла ему чаю, вытерла пыль с книг, так, чтобы ничего не перепутать. Собственно, делать мне особо было нечего, я сидела в уголке в передней и ожидала распоряжений. Угрюмый старик требовал, чтобы я двигалась беззвучно. Чтобы никакого шума и стука.

— Такая тихая, — удивился старик на пятый день, — какого рода и из каких краев?

Когда старик услышал мое объяснение, у него начали нервно подергиваться щеки. Наконец он не вытерпел и воскликнул, что столь уродливого русского языка, такого корявого выговора его уши не переносят.

Я покраснела, умолкла. Неужели, чтобы вскипятить чай, требуется бог весть какое знание языка?

В отчаянии подумала, что уж лучше опять пойду складывать в кучу булыжник или стану в порту на пронизывающем ветру держать застывшими пальцами затупившийся карандаш.

Но старик велел сесть на стул перед письменным столом, принес мне стакан и нацедил из самовара горячей воды. Измучив меня изматывающе долгим взглядом, он наконец заговорил.

Говорил он о том, что революция причинила интеллигенции урон, что все будто перевернулось вверх дном. Люди не находят себе покоя, мечутся по земле, выискиваются новые, гуманные формы жизни, но при этом забываются сложившиеся веками ценности, зачастую отвергается достигнутый культурный уровень и принимается за норму необразованность, грубость.

«Ах ты контра, старый враг», — думала я.

— И язык, даже язык оскверняется, — продолжал

старик. — Вот и ты, — сказал он, — явилась из батрацкого дома в большой город, слушаешь, разинув рот, ходовые словечки на улице, считаешь себя творцом нового мира, но сама-то остаешься неотесанной и убогой, по крайней мере, до тех пор, пока не обретишь богатства языкового, пока не научишься изъясняться благородно!

«Знаем без этих звучных слов, кто враг, а кто нет», — пронеслось у меня в голове.

Старик закончил тем, что сказал:

— Если хочешь работать у меня, то обязана будешь изучать русский язык.

«Уйду, уйду», — думала я. Хотела бросить ему в лицо все эти непотребные уличные слова, которые он считает достойными презрения, и удалиться с гордо поднятой головой. Но во рту у меня пересохло, и слова никак не хотели выстраиваться. Между тем кое-какие события все же как-то смягчили прямолинейное упрямство.

Я сидела беспомощно и глядела на него исподлобья. Сухонький старичок, плечи покатые, согревает чайным стаканом ладони, на стене шелковые вышивки с иероглифами. Большущий медный маятник выхватывал слева и справа секунды, в такт тиканью дребезжали бесчисленные стекла книжных шкафов.

Чудным и таинственным показался мне вдруг этот затхлый кабинет и его усмехающийся хозяин с пергаментными складками у рта.

Я согласно кивнула.

С тех пор я ставила по утрам самовар и садилась за маленький столик возле часов. Старик клал передо мной книги, и начинались для меня беззвучные дни.

— Не думай, — строго сказал он мне через некоторое время, — что я усадил тебя за книги просто из чувства человеколюбия. Ты должна понять, что хоть я и ставлю превыше всего тишину, но я не выношу одиночества. Если я знаю, что ты сидишь там, в углу, то у меня работа спорится. Да и чай кипятить мне, сказать по правде, никогда не нравилось.

Нудно было вначале пробираться через вступительные объяснения словарей и сложности грамматических категорий. Временами хотелось подняться, смахнуть со стола книги и бросить все, остаться самой собой. И все же я не смогла преодолеть сковывающей неловкости и еще чего-то необъяснимого. Лишь осмеливалась по временам взглянуть на опущенное стариковское плечо или

вглядываться безмолвно в медный маятник, на который никогда не падал солнечный свет и который в своем неизменном полумраке с невозмутимым бесстрашием отсчитывал в вечность секунды. До тошноты вчитывалась в глаголы, спряжения и склонения, монотонность эта укачивала, словно морская болезнь. Качнувшийся вправо маятник, казалось, остановился, все будто склонилось набок, и я с дьявольским злорадством ждала, что вот сейчас, как только маятник опустится вниз,— тут же гроыхнет! Грянет так, что расщелятся стены, вылетят дребезжащие стекла книжных шкафов, и осколки со звоном разлетятся по паркету, и двери распахнутся и снова захлопнутся. Я затаила дыхание, но маятник плавно качнулся влево, и локоть старика на вытершемся до лоска столе покоился все на том же самом месте.

— Нечего там вздыхать, — ворчал он в такие минуты.

Позднее я свыклась с тиканьем. И удивлялась работоспособности старика, пыталась даже перенять его последовательность и упорство, а когда случалось встречать в книжных магазинах его исследования о восточных культурах, я всегда вспоминала наш первый разговор.

Мы стали друзьями, если можно назвать дружбой отношения, которые, с одной стороны, опираются на почтение, с другой — на необходимость слышать, помимо тиканья маятника, чье-то дыхание и сдавленные вздохи.

Когда я посетила его в последний раз, то с грустью заметила, что старый ученый совсем сдал.

Все как-то разбросано, на рабочем столе пыль, лежит пустая пачка из-под чая, взятые с полки книги свалены возле стола в кучу. Натопила кафельные печи этой стилой квартиры с высоченными потолками, вытерла пыль и поставила книги с закладками обратно на полку. Когда потянуло паром от самовара, старик протянул мне свою сухую разгоряченную руку и сказал, что со мной ему работать невероятно хорошо. Что если бы не мое присутствие, его последняя книга могла бы остаться и ненаписанной.

Чтобы не впасть в сентиментальность, я не стала благодарить его за то, что он научил меня языку, подумала, что сделаю это в другой раз, когда старик будет чувствовать себя бодрее.

Прощаясь, мне захотелось немного развеселить его. Застыла в дверях в вызывающей позе, расставив ноги

и уставив в бока руки, вскинула голову и крикнула, что, мол, до свидания, контра.

Он засмеялся.

Потом, уже через много лет, я слышала, что судьба старого востоковеда оказалась неласковой...

Нет, не следует расставаться с людьми, высказывая им напоследок свои глупые шутки.

Что может подумать теперь обо мне этот старый человек?

Если он еще жив.

Только знать бы наперед, какое из твоих слов может оказаться последним!

Если он жив... В будущем году обязательно съезжу в Ленинград, может, снова увижу его сидящим за светлым потертым столом, в комнате, где в темном углу знакомый маятник с бесстрастной настойчивостью отщипывает от времени свои секунды.

Чудесными намерениями удастся прекрасно утешиться...

Когда в двадцатом году меня заключили в таллинскую тюрьму, остались какие-то недосказанные слова и невысказанные мысли, которые скребли на сердце. Теперь, вернувшись домой, чувствую, как меня снова мучают не разрешенные до конца вопросы, застрявшие в горле изъявления или незаконченные объяснения.

Где бы ты ни находилась, вместе с тобой шагают все те же люди — не важно, мертвые они или живые, — которые добром или злом коснулись тебя.

Даже новые поколения — как странно! — неожиданно выдвигают забытые памятью имена, словно сами они жили задолго до своего рождения и принимали участие в минувших событиях. Дети и те привязаны через какие-то местопребывания и имена к истории своей семьи, хотя для них эти места и названия связаны порой с совершенно другими событиями. Взять хотя бы ту же Мирьям, внучку Юули и дочку Арнольда.

Недели две тому назад явилась она ко мне, с такой хитринкой на лице и полная ликованья.

— А знаешь, папа принес маме целую охапку астр, — объявила она.

Я лишь кивнула, потому что боялась какой-нибудь истертой фразой убить ее хрупкое доверие.

— А мне принесли лакированный портфель и книгу для чтения, — хвалилась она. И тут же, спохватившись,

подумала: — Даже дворничиха считает, что из отца может получиться человек. Только она, конечно, не знает, какая история вышла с этими астрами.

— Так что за история? — спросила я, стараясь показать, что мне это очень интересно.

— А может, папа мой пошел в дедушку? — ответила она вопросом.

Я смутилась, догадавшись о ее страстном желании найти в родных черты Юулиного мужа. Что-то не припомню, чтобы сама я в ее возрасте была в состоянии любить кого-нибудь с такой привязанностью, как любит Мирьям покойного дедушку.

— Не знаю, — наобум сказала я. Нельзя легкомысленно оделять детей ложными иллюзиями, если же поступать наоборот... но какое у меня на это право, да и уверенности твердой нет.

— Говорят ведь, что яблоко от яблони недалеко падает, — заверила Мирьям. — Я просто надеюсь, что это так и есть. Другие, правда, говорят, что нечего надеяться, потом хуже будет, если обманешься. Но ведь я же получила лакированный портфель. И книжку тоже, — подчеркнула она, стараясь отыскать для своей уверенности опору.

Радостная искорка снова засветилась в ее глазищах. В детстве тучи и солнце так хорошо уживаются вперемежку.

— Мы ехали с папой из города домой. Уже темнело. Вдруг он спросил: сумеешь ли ты одна дойти от автобуса домой, если я тебя сейчас оставлю? Не могла ведь я сказать, что заблужусь, он же только что потратился на меня!

Мирьям смеялась вместе со мной.

— Я только спросила, куда он пойдет. «Поздравить именинницу», — ответил папа. Но ведь на именинах пьют вино.

— Конечно, — промямлила я, у меня не было никакого основания опровергать жизненный опыт Мирьям.

— Отец еще потерял мой шарф и повязал его плотнее мне на шею. Я на него и смотреть даже не хотела. Потом автобус остановился, и папа начал пробираться вперед.

— А ты? — спросила я, не понимая, какое отношение имеет вся эта история к букету астр, которые Арнольд подарил своей жене.

— А я пошла следом за ним! — заявила Мирьям и победоносно помахала рукой. — Пробралась между пассажирами и выскользнула в дверь, он даже и не заметил. И только у крыльца аптеки я подошла к нему и дернула за рукав. Ой, как он испугался! А я и говорю ему, что страшно беспокоилась, прямо сердце заныло, — вдруг у него подарка нет? По лицу сразу увидела, что он и вправду совсем забыл про подарок.

— Ну и горазда же ты на проделки!

— Так если бы отец пришел с голыми руками, — подыскивает Мирьям себе оправдание и хмурит брови, — все бы стали над ним смеяться. Ну вот, стоит он посреди дороги, совсем как жена Лота, которую превратили в соляной столб, и тут я увидела, что на крыльце аптеки торчит старушка с целой корзиной красивых астр, ждет покупателей. Собрала она такой разный-разный букет. Я пошла, чтобы немножко проводить папу. Остановился он перед какой-то дверью и попросил, чтобы я отдала ему цветы. Я, конечно, тут же поняла, что нельзя его пускать на именины, там ведь пьют.

— А отец не рассердился?

— На улице ремнем не стегают. Это дома детей порют, — небрежно заметила Мирьям.

— Что же потом было?

— А потом было так, что я вспомнила одну кинокартину, которую еще с дедушкой смотрела. Там тоже справляли именины, и те, которые хотели поздравить, посылали цветы. Вот я и предложила отцу, чтобы он отослал астры с посыльным, а если мальчишки на побегушках нет под рукой, то можно и девчонку послать. Папа страшно нахмурился и неохотно сказал: «Анете Аллик, квартира шесть». Я бегом по лестнице вверх, но не сразу позвонила, а сперва разделила букет на две половинки. Одну в портфель, другую — в руки. С какой стати этой мадам Аллик столько цветов?

— Верно, — согласилась я.

— Ничего не скажешь, барышня она красивая, это точно, — с одобрением подтвердила Мирьям. — На шее у нее сверкал какой-то камешек, я даже засмотрелась. Ну, сказала, что здравствуйте, и книксен сделала, пусть она и совсем чужая барышня. Спросила, она на самом деле барышня Анете Аллик или нет. И отдала ей астры. Барышня подняла брови высоко-высоко и стала спрашивать, кто послал эти цветы. Я взглянула вниз по лестни-

це, папа стоял далеко на улице, и тогда соврала, сказала, что это господин Ватикер послал.

— Господин Ватикер?

— Барышня тоже удивилась! И тоже сделала большие глаза, да еще и повторила: господин Ватикер?

Тут Мирьям надула щеки, нарисовала руками перед животом округлости и пояснила:

— Это я так барышне показала. Сказала, что у господина Ватикера огромные золотые часы, с целую брюкву, и еще он носит эту брюкву в кармане жилетки, может, барышня вспомнит такого. Анете Аллик громко рассмеялась. Так я и не поняла, знает она господина Ватикера или нет. Сбежала я по лестнице вниз, и мы пришли с отцом домой. За воротами я отдала ему из портфеля астры — я же знаю, что маме нравятся цветы.

— Ватикер... — невольно повторила я.

— Да, — поспешила Мирьям закончить свой рассказ, — отец немножко потрепал меня за волосы, но астры все же отнес маме. Уж как она радовалась! Я же знаю, как мама любит цветы.

От одного имени Ватикера по телу пробежал холодок, будто я вдруг очутилась на сквозняке. Каким-то обращенным в настоящее чувством я слышала, как непоседливая Мирьям барабанила пятками по ножкам стула.

— Ты это здорово проделала, — посчитала я за надобность похвалить.

— Я тоже так думаю, — согласилась Мирьям.

— Ты веришь, что Ватикер на самом деле существует? — спросила я через некоторое время.

— А то нет! — ответила она, уже сорвавшись с места и держась за ручку двери.

Мирьям и не подозревала, какую она новость мне принесла.

Родственные отношения вдруг сразу обрели новую окраску. Именно через прошлое взрослых дети особенно быстро обретают зрелость. Не важно, что они не осознают своей ответственности перед прошлыми взаимоотношениями, они все же связаны с ними. Внешние проявления лишь позднее обретают свое определенное содержание. И дети перенимают у взрослых их симпатии или антипатии. Безотчетная неприязнь девочки по отношению к Ватикеру превратила ее в моего косвенного союзника.

Словно бы дети жили уже задолго до своего рождения и принимали участие в минувших событиях.

С этого дня меня охватило неодолимое желание увидеть Ватикера.

Нужно только обрести внутренний покой.

Кристьяну я не посмела сказать о Ватикере.

Иногда он бывает слишком поспешен.

Если действовать наскоком — можно здорово ошибиться.

Да, безусловно, я уже освободилась от обиды, от той ядовитой неприязненной дрожи, которая охватила меня, когда нас с Лийной исключали из партии.

Задним числом, когда улягутся страсти, все можно прекрасно объяснить.

Падение Трудовой коммуны в Эстонии, трагедия декабрьского восстания таллинского пролетариата, а между этими событиями — бесконечно горькая утрата Кингисеппа¹, — естественно, вызывали стремление отыскать виновных. Неистовые споры, запутанные расхождения между бывшими товарищами по борьбе, выявившиеся противники — все это создало обстановку, в которой проявлялась несправедливость и выносились непродуманные решения.

Мы с Лийной как раз кончали медицинскую школу, это было в декабре тысяча девятьсот двадцать пятого года.

На собрании том мои дружелюбные сотоварищи вдруг превратились в страстных прокуроров.

— Представьте себе, госпожа посещает главного консула буржуазной Эстонии, занимается какими-то имущественными делами, — с презрением говорили они обо мне.

Свалилось как гром среди ясного неба.

— Остановитесь, — крикнула Лийна, — кого вы обвиняете?

— Видели мы этих приспособленцев, — отрезали в ответ Лийне.

И вообще-то?..

Надо было этой Лийне встречать...

В одну минуту и ее расчехвостили в пух и прах.

Мол, сестра у меня из зажиточных и что еще неиз-

¹ Вождь эстонских коммунистов, расстрелянный буржуазными властями в 1922 г.

вестно, за какие такие заслуги смертный приговор мне был заменен пятнадцатью годами каторги.

— Многие из вас сами скрывались в задней комнате этого дома, — попыталась Лийна спасти меня.

Не протягивай веревки тонущему!

Сама я была не в состоянии защищаться. Не прошло и года еще, как я потеряла Антона, Кристьян ходил надутым; я и надеяться не могла, что он когда-нибудь вернется ко мне.

Я сидела перед рьяными «судьями» и просто плакала.

Плакала по тем весенним рассветам, когда я, распахнув окно нашей хибарки, замечала первую зеленую травку. Плакала от ощущения абсолютной пустоты, потому что все мне казалось конченным. Ревела потому, что была не в силах возражать.

Мои слезы лишь подкрепляли их уверенность в своей правоте, и ничего больше. Есть правило: не оглядывайся, когда идешь с подпольной литературой и знаешь, что сзади прицепился сыщик, — можешь навлечь подозрение. Не плачь, когда тебя обвиняют, — могут подумать, что ты этим признаешь свою вину.

Лийна разделила мою судьбу.

Мы сидели по ночам в очереди перед биржей труда. И не так просто подвертывалась работа.

Позднее даже как-то странно было вспоминать о том времени. Но это позднее, когда пятилетки, словно тяжеловесные составы, пришли в движение, чтобы повести за собой людей на электрификацию, коллективизацию и индустриализацию. Тогда уже, наоборот, рабочих рук, скорее, не хватало.

Да, все же странными кажутся отдельные события с высоты сегодняшних свершений, порой вроде бы и не верится, что так в действительности могло быть.

В тридцатом году нас с Лийной восстановили в партии.

Пройдет время, и все можно будет объяснить и во всем можно будет разобраться.

Никогда не следует торопиться с выводами. Подавленный человек под дулами упреков может легко лишиться чего-то очень существенного.

Я бы даже Ватикеру не высказала сейчас всего того, что роилось в моей голове на тюремных нарах. Это было так давно, люди за двадцать лет могут измениться до

неузнаваемости. У прежних мерок за это время могли стереться грани.

Каким ты стал теперь, господин Ватикер?

Хотя отдельные личности остаются в своих устремлениях поразительно последовательными.

Вон сосед Хави со спокойным сердцем устанавливает на место поваленный забор. Кончился обед, и он опять начал постукивать. Заостренные, поблескивающие капельками смолы доски утыкаются в небо, словно штыки. Не передвинулся ли забор чуточку на бывшую Юулину землю? В Эстонии и раньше межевые знаки и межевые камни любили кочевать! Этот мужик знает, чего он хочет. Живет сегодняшним днем, а за тупой личиной скрывается удивительная приспособляемость. От национализации свой дом спас простым приемом: сломал пристройку. Двух жилищек выбросил на улицу, зато полезная площадь в доме была сведена до установленной нормы.

Подобные люди каждое утро предстают перед обществом, будто книги, у которых начисто утеряно начало. У этих людей нет половинчатых мыслей, они не тоскуют задним числом по слову, которое осталось неуслышанным, не сожалеют о своих грубых намеках и неуместных шутках.

То, что выгодно, будет осуществлено при помощи упорства.

На соседском дворе под кленами все еще валяются обломки пристройки и порубленные на куски половицы, и белеет стена, обитая свежеструганым тесом. Весной дом покрасят, и дело с концом. Нужна сметка!

Старое крепко заползает корнями в землю и поворачивает навстречу свежим ветрам свои сильные стороны. Удивительно, каким простым и объяснимым казалось все, когда приходилось смотреть на мир из-за решетки. Четкие контуры, контраст максимальный, свет и тень. За дверями камеры — враги, по эту сторону — верные товарищи. Позднее случалось частенько, что солнце заволакивалось тучами. Нервно чиркала спичками и освещала ими своих спутников, лица их оставались одинаково желтыми и маскообразными. В отчаянии начинала я кружить вокруг собственной оси, грани между светом и тенью еще больше расплывались. И лишь местами угадывала упрощенную ясность, так это было и сегодня, когда я смотрела на соседскую ограду, что приметно передвинулась на Юулин двор.

Такая забавная четкость, почаше бы она возникала перед глазами!

Кристьян, тот куда лучше моего и куда решительнее раскладывает по полочкам земные дела. Он говорит об усиливающейся классовой борьбе, о необходимости ликвидировать кулацкую прослойку и взять на мушку врагов советской власти и о том, что не следует спускать глаз с зараженных частнособственническими инстинктами обывателей, на которых никогда нельзя положиться.

Но почему вот здесь, в пригородной школе, где в основном учатся дети, которые, как правило, родились в сырости подвальных квартир, дети, отцы которых прозябали без работы, а матери в отчаянии делили горбушку хлеба, — почему среди этих детей встречаются противники нового?

Отвратительнее всего бывает необъяснимая и беспричинная враждебность.

Откуда она идет?

В какую графу занести подобные проявления?

Играет свою роль и глупость и тупость, но есть и еще что-то непознанное.

Неполное и неточное знание должно стать более полным и более точным, утверждает лежащая на моем столе книга в серой обложке.

Голубоглазый оптимизм юности, который еще не покинул меня, кивает мне: углубляется способность самоанализа, люди все более приобретают навыки сопоставлять явления и обстоятельства, все меньше индивидов поднимают в глупой жажде стяжательства или слепом властолюбии руку на ближнего. Ненужные инстинкты должны постепенно уходить в прошлое.

Стой твердо, голубоглазый оптимизм юности!

Пройдет время, и люди распутают все, что нам кажется сейчас неясным...

Только нам все не терпится и не терпится!

Хотим побыстрее достичь совершенства.

На самом деле происходят весьма сложные процессы.

С другой стороны, время от времени у меня опять звучит в ушах разговор между Кристьяном и Калгановым, из-за которого мы и уехали из Ленинграда.

Однажды утром Калганов пригласил его к себе и спросил, перелистывая его личное дело:

— Оказывается, вы были сильно больны, когда буржуазные ищейки арестовали вас и посадили за решетку?

— Да, — ответил на это Кристьян, и ему показалось довольно странным, что Калганов заговорил о его здоровье.

— Мне думается, — продолжал тот, — что вам неплохо бы на годик или на два уехать из Ленинграда. Поправить здоровье. Видимо, никаких трудностей с получением у врача соответствующей справки не возникнет? Где-нибудь в деревне, знаете, где здоровый воздух, спокойная жизнь, — разве такое сравнишь с нервной спешкой большого города и всеми этими изнурительными заседаниями в райкоме. Я думаю, что есть смысл подумать, — подчеркнул Калганов.

Впоследствии мы предположили, что эта вежливая отставка шла от прозорливости Калганова, от желания уберечь нас от случайностей.

Странно, что именно Калганов. Кристьян никогда не питал к нему особой симпатии, я видела его всего раза два. Худощавый мужчина с лысой приплюснутой головой, холодная вежливость, которая легко порождала чувство неловкости. Выступления его не считались примером красноречия, мало патетики, трезвая деловитость. Секретарши и машинистки, которые всегда лучше всех осведомлены о подробностях личной жизни своих начальников, объясняли поведение Калганова камнями в почках, причинявшими ему тяжкие страдания.

Был ли он лучше других в райкоме?..

Тикапера, куда мы приехали, вначале показалась нам довольно неприглядным местом. Кристьян страдал бессонницей, днем, когда я была в больнице на работе, он дремал дома. К вечеру раскисал от безделья. И все ругал себя за то, что согласился с предложением Калганова...

Потом Кристьян устроился работать в колхоз.

Выстроили свинарник и купили поросенка. Под окном копались в земле куры — семь штук.

И впервые за нашу совместную жизнь мы так накричали друг на друга. Все у нас перемешалось — политика, куры, Антон, покосившийся свинарник, Юули и доверенность, главный консул и Кристьянова зарплата, которой хватало лишь на то, чтобы расплатиться с хозяйкой за квартиру.

Ни раньше, ни после — никогда мы не бросали в лицо друг другу таких грубых слов, как в то промозглое утро.

Пришла в больницу — руки трясутся. Все уколы в тот день просила делать врача.

Вечером думала, что Кристьян уйдет от меня, — он грозился это сделать.

Но нет, он сидел перед окном, а на столе лежал на-востренный нож.

— Прости, — буркнул он при моем появлении и спросил, можно ли прирезать поросенка.

Я рассмеялась и тоже извинилась.

Когда мы потом зарезали поросенка, дружно и с жаром хлопотали на кухне, хозяйка подивилась этим странным эстонцам, которые утром подняли такой крик. Она и впрямь подумала, что мы ссоримся.

— О, нет, — заверил Кристьян, — в свое время мы играли в пьесах, вот и вспомнили одну трагическую сцену.

Это был единственный раз, когда Кристьян попрекнул меня Антоном.

После мы никогда не вспоминали эту ссору в Тикапере. Почему она вдруг всплыла в памяти сейчас, когда я стояла перед окном в своей тихой и только что отделанной квартире!

Кристьян ведь сказал в ту первую ночь по приезде, когда мы с Юули до самых петухов выясняли наши отношения, что мы приехали сюда навсегда.

В этих словах чувствовалась неловкая и отдаленная нежность. Что-то вроде того, что с этой минуты нас ничто не разлучит. Этакая милая и несколько устаревшая ма-нера выражать свою привязанность.

Не в том уже мы возрасте, чтобы сохранять рожденное ссорой презрение. В наши годы люди намеренно стараются преодолевать все преграды, ибо нет ничего страшнее неудавшейся совместной жизни и возможного одиночества. Я не принимаю во внимание годы тюрьмы и разлуку из-за Антона, в молодые годы об этих вещах в такой степени не заботятся. Видимо, страх одиночества уже с рождения таится чужеродным телом в извилинах человеческого мозга, и годы придают этому неопределенному сгустку угловатую, причиняющую боль форму. Ноет тревожными ночами, а то ненароком и днем схватит.

Прошли годы, когда ты жаждешь вылепить ближнего по собственному образу и подобию или сама стараешься ваять себя по какому-то образцу. Теперь больше устраивает приветливая уживчивость и стремление по-

нять другого. Человечнее это и красивее, но все же что-то утеряно, что-то безвозвратно ушло.

Не смею даже подумать, но как бы хотелось еще раз взглянуть восхищенными глазами на Антона, довериться всем его словам и без тени колебания последовать за ним. Безразлично куда, хоть с листовками за пазухой пробираться к красному солдату Гюнтеру Вольфрангу, в расположение немецких оккупационных войск, во времена, которые определяли словами: «запрещаю, приказываю, вешаю и стреляю», или — интересно, заливается ли краской лицо? — в сарай с сеном, когда летний дождь барабанил по крыше, исполняя праздничный марш.

Далекie, пронизанные отсветом нежности времена!

А сейчас я просыпаюсь по ночам под скрип заржавленного флюгера, когда белая зима грохочет по крыше градом.

Но еще рано! В картофельных бороздах стоит вода, пока ее еще не тронул первый ледок.

3

В тот самый момент, когда я заметила ее, начал накрапывать дождик. Я схватила Лийну за руку.

— Я спешу домой, — пробормотала она, отводя в сторону взгляд.

Я отступила на шаг, открыла зонтик. Лийна одернула рукав, выказывая свое безразличие.

Совсем как люди, которые видятся изо дня в день, но при этом остаются мимолетными знакомыми и не находят какой-либо причины для оживления.

Мы стояли посреди улицы Кулласепа, я — порядком ошеломленная встречей, Лийна — раздумчивая.

Может, именно из-за дождя она решилась и встала рядом со мной под зонтик, прижалась ко мне. Поднялись на Харьюмяги, где нашли одинокую скамеечку.

— Три года уже... — я ищу подходящих слов. Никак не могу уловить ее взгляда.

— Странно, не заметила даже, как время пролетело, — тянет Лийна и поводит плечом.

С любопытством оглядываем сереющую в туманной мороси площадь, которая проглядывается за стволами деревьев. Там еще краснеют полотнища лозунгов. И портреты со стен не убраны после Октябрьских праздников.

Мы сидим с Лийной, будто чужие люди, вынужденные делить один-единственный зонтик.

— Работаешь?

Невыносимое, изматывающее нервы молчание. Лийно отчуждение давит, я словно заискиваю перед ней и ищу примирения.

Проклятое, давящее чувство вины, хотя могу, положив руку на сердце, взглянуть ей прямо в глаза.

— Пока еще не успела, — отвечает Лийна и, предвидя следующий вопрос, добавляет: — Живу с сыном у матери.

Неохотные ответы, как обычно говорят с назойливым попутчиком.

Лийна изучает пристально площадь, будто ей непременно требуется угадать, кто изображен на промокших портретах.

Украдкой смотрю на Лийнин профиль — его контуры подчеркиваются и словно бы укрупняются на фоне черного зигзагообразного края зонтика.

Почти не изменилась. По-бычьему плоский и широкий лоб. Когда Лийна сердилась, она всегда втягивала подбородок, и тогда казалось, что она собирается боднуть кого-нибудь. Брови у переносицы стоят торчком, но щеки и губы сохранили девичью округлость. Едва заметный двойной подбородок.

— Что глядишь, Анна? — ворчит Лийна.

— Вспомнилось, как мы во дворе предварилки ловили солнечные лучи. — Я пытаюсь смягчить воспоминаниями ее суровость.

— Солнце там было треугольным, — бормочет она.

— Ты дотягивалась до него лицом, а мне приходилось довольствоваться тенью от крыши.

— Стена пригревала спину, — замечает Лийна, и уголки рта у нее чуточку поднимаются.

Вода с зонтика стекает на гравий. Подбираю ноги под скамейку, чтобы не замочить новые бежевые туфли.

— Ты уверена, что нас тут никто не слышит? — вдруг шепчет Лийна.

Оглядываемся обе. Конечно, бугристые стволы старых лип могли бы скрыть любопытных, но думать так было бы смешно.

— Слева вон присела похожая на тебя баба.

Я указываю на дерево, которому время придало форму грудастой женщины.

Лийна улыбается.

— Я ведь подозревала вас с Кристьяном, — начинает она, прислушавшись сперва к плеску непогоды.

Черная крыша над головой сочится дождем, с середины зонтика вода стекает на руку. Но я не осмеливаюсь сменить положение.

— Потом я узнала, что и с законной женой Василия случилась беда. Может, и в живых нет.

— В последние годы они жили врозь, что она могла знать?

— Вот именно. Тот, кто написал, был не в курсе. Узнав об этом, я стала искать тебя, вас не было в Ленинграде.

Хотелось поведать Лийне о нашем житье в Тикапере, рассказать о Калганове, быть вообще откровенной, но я только повторила:

— Нас не было в Ленинграде.

— Такое на меня нашло, просто не могла, хотела увидеть тебя. На мгновение показалось, что я попала на стремнину, что я снова умею делить людей на друзей и врагов...

— Лийна, мы же с тобой с самого детства...

— Что из того... В жизни всякое бывает.

И смеется как-то странно.

— Истеричка, балаболка, — хулит она себя и всхлипывает.

Зарывается лицом в ладони. Я наклоняюсь с зонтиком вперед, чтобы прикрыть ее от дождя.

— ...Верила Василию, доверялась слепо. А выходит — не тот человек. Василий относился к Миронову с открытой душой... Ладно. А тут мать подыскивает мне мужика, — распрямляя спину, иронизирует она. — Все допытывается, кто да что, а вспылит — обзывает непутевой девкой, которая нагуляла себе пузо. Это меня-то, тридцативосьмилетнюю бабу!

— Так ты бы ушла, — говорю я, только вряд ли суровая Лийна примет во внимание мои советы.

— Все-таки мать. Знакомым заливает, что мой муж погиб в Испании. Романтический ореол многим нравится. Иногда кажется, что она сама начинает верить своей выдумке.

Лийна вскидывает голову, пряди светлых волос прижимаются меж воротником и шеей. Она смеется, грудь вздымается и выпирает из-под пальто.

— Знаешь,— продолжает она оживленно,— у меня есть двоюродный брат, такой восторженный молодой революционер. Ходил со всеми к президентскому дворцу, в Кадриорг. После июньских событий служил в Народной самозащите. Теперь уже в комсомоле. Любит выступать! Как говорится, огневой парень. А в свое время, когда нас высылали в Советскую Россию, он еще барахтался в пеленках. Да, выросло новое поколение. Порой кажется, что мы, много пережившие, больше никому не нужны. Зависть берет, когда смотрю на него. Но разве скинешь с плеч годы? Не правда ли, постарела я за это время? — спрашивает она тут же, совсем по-женски, и впервые смотрит мне прямо в глаза.

— Ты, Лийна, вообще не стареешь,— заверяю я серьезно.

— Не придумывай,— усмехается она мягко.

Спрашивает о том о сем, но больше приличия ради. Догадываюсь о ее нетерпении, и действительно, стало ливню кончиться, она заторопилась прочь.

По расщелинам бугристых липовых стволов еще стекает задержавшаяся на ветвях влага.

— Двадцать лет таким орясинам хоть бы что,— удивляется Лийна, поглядывая на деревья.

— Да и нам, по правде сказать, следует распрощаться с этими годами,— еще раз предпринимаю робкую попытку растопить ее холодок.

Она роется в сумочке, царапает на бумажке свой адрес, мой ей и так запомнится, знакомые места. Подавая на прощанье руку, говорит с угрюмым выражением лица.

— Как хорошо, что мы встретились. Я тебя знала и в то же время как будто и не знала. Невесть чем это все кончится.

Что-то нет у меня уже охоты идти к Лийне в гости, хотя поначалу такое намерение у меня и возникло. Засовываю руку в карман и скатываю адрес в трубочку.

Вот она уходит, Лийна. Вышагивает нарочито легко, как женщина, которая не желает считаться со своим возрастом.

Не стоит и думать, чтобы она оглянулась и помахала рукой.

Дружба наша с ней оборвалась ведь так несуразно.

Не спеша спускаюсь с Тоомпеа по направлению к дому. Зонтик, который мне дала Юули, при ходьбе, подоб-

но трости, достает как раз до земли, и чувство сдавленности, казалось, проходит, когда удается железным наконечником угодить по камню. Только сейчас я замечаю, что зонтик-то мужской.

Лийна в тот раз, конечно же, могла рассердиться, но чтобы сомневаться! В нас! Верно, Кристьян ей никогда не нравился. Уж не подумала ли она, что он мог где-нибудь сказать плохо о Василии?

Мне это ударило впервые в голову. В нерешительности я остановилась.

Некая напыщенная дамочка, цокая по Харьюмяги, усмехается при виде моего мужского зонта. Я не удерживаюсь и гримасничаю ей в ответ. И в самом деле, лицо у дамочки похоже на маску, оно словно ниточкой приязано к прическе. Ничего другого.

Верно, конечно, и то, что Кристьяну посоветовали уйти из райкома вскоре за последним Лийниным посещением. Может, Калганов, затаив презрение, избавился от Кристьяна? А разговор о здоровье просто болтовня? Почему Кристьян по возвращении в Ленинград не стал восстанавливаться на прежней работе?

Домой идти как-то нет настроения. Хочется побегать за Лийной, расспросить, чтобы все стало на свое место.

Скатанный в шарик Лийнин адрес где-то по дороге выкидываю из кармана.

На каменном парапете сидит старуха, рядом огромная корзина, полная бумажных цветов. Странные розы — синие, черные, белые!

— Не устарел ли товар? — приближаясь к цветочнице, спрашиваю я.

Старуха подзывает меня пальцем еще ближе.

Наклоняюсь вперед и чувствую смешанный запах сырости и лука.

— Душа, она опоры ищет, не то человек злобой зайдется. А цветочки-то, мил человек, в вазу поставишь — все вроде бы за эстонское стоят.

— Продайте мне все ваши черные розы!

— Не, не, — пугается старуха, — что ты, что ты!

Я роюсь в сумке и вытаскиваю деньги.

Цветочница мотает головой. И робко протягивает мне трехцветный букет. И я снова чувствую какой-то земляной запах, дух крестьянской одежды.

— Цветок скорби, небесная синь и надежда тоже.

— Возьму в другой раз, когда принесете красные розы.

Старуха тут же прячет букет в корзину и натягивает на нее холщовую тряпку, рот с усилием кривится в полуусмешку, и она кивает:

— Госпоже красные розы!

На ее простом морщинистом лице застыла неприятная покорность.

Торопливо ухажу, но чувство тяжести опережает и глядит на меня попеременно глазами Лийны, Кристьяна и старой цветочницы.

Когда Лийна впервые заявила к нам в тридцать седьмом году со своим горем, было ясно, что она надеется, при моем содействии, попросить совета и поддержки также и у Кристьяна. Поэтому Лийна и прибежала на следующий день узнать, что он думает. Но думал Кристьян как-то странно. И я не смогла передать этого Лийне.

Я болела в тот момент гриппом и валялась в постели. Лийна и внимания не обратила на мое предупреждение, подвинула к кровати табуретку и принялась рассказывать.

Ее Василий, капитан торгового парохода Василий Сергеевич, оказался в немилости у своего помощника Миронова.

У меня еще и сейчас звучит в ушах торопливая и сбивчивая Лийнина речь:

— В порту Гулля Миронов ввалился утром в каюту Василия, взял двумя пальцами недопитую бутылку виски, повертел ее, а сам все зыркал глазами по бумагам на столе. Ты не представляешь, какая у Миронова рожа! Глаза сверлят, как булавки, губы толстые, сросшиеся брови взъерошены. А руки! Как лопаты, пальцы похожи на сардельки. Миронов спросил: что, уже чокаемся с капиталистами? Боже праведный, Василий не первый год плавает по морям, и с Эдвардом они — давние знакомые. Как только прибывает в Гулль, Эдвард тут как тут, встречает, как брата. В тот раз они засиделись до ночи. Василий приплыл из Испании, и они делились своими восторгами.

А Миронов все будто бы вертел между пальцами бутылку с виски, и Василий чувствовал себя перед ним подобно школьнику, которого застали в уборной за рисованием похабной картинки на стене. Человек же тушует-ся, когда его пытаются в чем-то обвинять.



— А политико-воспитательная работа и чувство ответственности? — пыталась я представить поведение Миронова будничным делом, чтобы успокоить Лийну.

— Разве пост дает право унижать себе подобных? — рассердилась Лийна.

— Да, но если выявляются подобные элементы и скрытые враги, то тогда Миронов и боится больше, чем надо, — пробормотала я.

— Ох, Миронов может еще заварить кашу, — пригрюнилась Лийна.

— У страха — глаза велики.

— И ты подумай, и... — Лийна не назвала Кристьяна, хотя именно его мнение казалось ей важным. — Что сделать, чтобы с Василием ничего не случилось?

Мне показалась наивной ее столь азартная участливость в судьбе Василия. Кое-кто знал, что она живет с ним, но если бы что-то и было не так, то что может сделать Лийна?

— О Миронове говорят как о бабнике, — двусмысленно промолвила Лийна. — Любит выпить наедине. А в остальном — железная натура.

— Убежденных людей не подкупишь, — заметила я резко.

— Подкупить? — повторила Лийна и откинулась назад. — В предварилке мы подкупали с тобой суку-надзирательницу, чтобы держать связь с товарищами. Нет, настолько-то низким я его не считаю, чтобы подкупить! Просто, может, появятся человеческие, близкие отношения... Чтобы понял и поверил! Только попробуй докажи, что ты не верблюд... Но прошлое Василия? Все его дни чистые, как стеклышко. Капитан-коммунист. Красный интеллигент. Гражданская война. Потом учился и голодал. А теперь уже столько лет все на одном пароходе. Начал с третьего штурмана.

— Не надо бояться... На правильного человека напраслины не возведут...

— Ох, Анна! — Лийна махнула рукой. — Убить может и полслова! Зависит от того, кто сказал и где.

— Погоди, Лийна. За правду, если кто вздумает гнуть ее, можно бороться.

— Помнишь полевой суд? — нервно засмеялась Лийна. — Там было все просто: по эту сторону стола — мы, по ту — судьи в мундирах.

Лийна дотронулась до моей руки и насмешливо посмотрела на меня.

— Наслушалась всякого, вот и мечешься,— резко сказала я.

На следующий день Лийна снова прибежала к нам.

— Чего ты валяешься в постели, заболела, что ли? — спросила она, будто сама только что проснулась.

Ей не сиделось на месте. Крутилась у стола, даже перчатки забыла снять. Хотела скорей узнать мнение Кристьяна. Я промолчала, не могла же я передать его слова:

«И почему это Лийна так уверена в Василии? Она знает его едва ли около двух лет. Мужчина, бросивший свою жену и уцепившийся за юбку другой, покрасивее и помоложе, знаешь, оставляет впечатление легкомысленного...»

Сказать это Лийне? Конечно, для нее не была новостью прямолинейность Кристьяна в любовных делах, но в тот момент у Лийны начисто отсутствовали чувство юмора и способность воспринимать что-либо критически.

— Не расстраивайся, Лийна, подождем. Ничего же не случилось! И мы все с тобой, и вовсе ты не блуждаешь в лабиринте. Давай будем верить тем, кто по эту сторону стола. Как в старину.

Сказать сегодня Кристьяну, что я встретила Лийну, что сидела с ней под дождиком на Харьюмяги?

Недоверие — все равно что зараза, сомнения — недобрая хворь. Не хотелось бы таиться, но есть и между нами с Кристьяном дела, которые незачем лишний раз вспоминать.

На самом ли деле Калганов завел тогда тот разговор о здоровье, который мне кажется странным? Вообще-то коммунисты особо не ноют над физическими недостатками и хворобами, тем более такими, которые были бог знает когда, воля и убежденность рождают стойкость, с чего бы это у Калганова взялась такая нежная заботливость?

Разве так уж нежили тех, кто ехал на ударные стройки пятилетки? Разве спрашивали: выдюжишь ли ты в грязь и в стужу, хватит ли у тебя сил? О нет, в тебе нуждается родина — вот что было главное. Кристьян сидел в теплом кабинете, и вдруг эта странная забота!

Неужели я верю, что Кристьян заводил разговор о Лийнином Василии, который где-то там пил виски с англичанином Эдвардом?..

Недоверие — все равно что зараза, сомнения — недобрая хворь.

За мной хлопает дверь, натянутая пружиной. Острый наконечник зонтика тукает по каменным приступкам. В коридоре уже нет такого звона, металлический наконечник слегка продавливается в истертые доски.

К потемкам глаза мои привыкают очень медленно. Приходится постоять, чтобы без ошибки попасть на первую ступеньку деревянной лестницы, которая ведет на второй этаж. В застоялой темени коридора ясно слышится журчание воды. Но вот наконечник зонтика утыкается в железный кант ступеньки, и пальцы нащупывают порушень. Каким мягким и гладким стало дерево, отшлифованное множеством человеческих рук! Ладонь легко скользит вверх, пока ноги отсчитывают двадцать три ступеньки. Всегда, когда я поднимаюсь по этой полутемной лестнице, я чувствую себя успокоенной и старой. Глаза, которые никак не могут свыкнуться с темнотой, заставляют меня окунуться в какой-то медлительный туман. Не видя света, не можешь думать, остается лишь передвигать ноги. Именно такой мне представляется старость. Ищешь, за что бы ухватиться рукой, нащупываешь ногой опору — на другое вроде бы уже не остается ни силы, ни способности сосредоточиться.

Проклятый следователь, сунул мне тогда в лицо лампу! Это было так давно, и все же кажется, что не дальше как вчера.

Так оно и есть. Какая-то разиня поставила под кран ведро и забыла его. Заворачиваю кран и снимаю с раковины ведро. Как хорошо, когда снова видишь и можешь быстро действовать.

Кристьян открывает дверь, едва я вставляю ключ в замочную скважину. Он уже приготовил ужин и накрыл стол. Хорошенькое дельце — домохозяйка шатается по городу, забыв о своих первейших семейных обязанностях.

Кристьян сегодня, кажется, в настроении. Он ставит на стол бутылку с водкой и рюмки. Выпиваем перед едой.

— Ну, Анна? — спрашивает он.

— Бродила по городу.

Мои прогулки его сейчас не интересуют, ему самому не терпится поговорить.

Улыбаюсь ему и киваю. Устраиваюсь поудобнее на

стуле, бросаю взгляд меж занавесками на улицу, где шпарит по лужам очередной ливень. Уютный домашний покой. И пускай эта Лийна...

— Вчера один мужик заполнял анкету, хотели было взять помощником мастера. Читаю и удивляюсь — сражался в Нарвском стрелковом полку, преследовался в буржуазное время, даже в тюрьме сидел. Освобожден по всеобщей амнистии в тридцать восьмом году. Показался серьезным человеком, и раньше на подобных местах работал. Я уже думал, что заполучил себе делового товарища. Но тут увидел руку — у него на пальце золотое кольцо с зеленым камешком! Вот тебе и раз! Думаю, странный ты все же рабочий, и подождал с оформлением. Попросил прийти сегодня к обеду снова. А утром запросил архив — выясняется, что человек с такой фамилией в тюрьме и не сидел...

— Разве архивы настолько полны, что можно верить?

— Надо будет, конечно, еще проверить. Во всяком случае, с работниками архива следует считаться больше, чем с человеком с улицы.

Кристьян выпивает еще рюмочку, откидывается на коричневую крашеную спинку стула, наслаждается покоем.

— Комиссар похвалил за бдительность. Все-таки хорошо ощущать себя способным быстро что-то улавливать, это вселяет уверенность, что ты еще не лишился зоркости.

Передвигаю рюмку по столу — вперед, назад. Кристьян думает, что я слушаю его. На самом же деле до меня доходят какие-то обрывки фраз. Количество станков, которые пущены в ход, производственная площадь, анкеты.

Опять погружаюсь в воспоминания и вижу радостную Лийну. Это было в мае три года назад. Уже который день стояла жаркая погода, мне очень хотелось поехать в Петергоф, к морю. Но надо было заканчивать работу — я как раз переводила Серафимовича.

Лийна пришла веселая, пританцовывая, смешала мне на столе все бумаги и потребовала что-нибудь выпить. Я принесла бутылку «Массандры». Лийна одним духом осушила стакан и плюхнулась на стул.

— Знаешь, — воскликнула она, — Миронова больше бояться нечего!

— Вот видишь, а ты зря паниковала.

— Доброе слово повергает даже врага,— смеялась Лийна.— Как-то вечером Василий сунул в карман бутылку коньяка и отправился к нему. На следующий день после того, как Миронов справлял свое рождение. И предлог подходящий. Вначале Миронов встретил Василия с холодком, хотя пригласил в комнату. Увидев бутылку, пошел ставить чай. Как-никак Василий учился вместе с Мироновым, с юных лет знают друг друга, правда, друзьями их никогда не считали. Так что визит Василия странным казаться не должен был.

Миронов принес чайник, и они уселись друг против дружки за столом. Сперва шел разговор вообще, потом заговорили о последнем рейсе. Василий упомянул теплым словом прием, который им устроили работницы табачной фабрики в Аликанте. Миронов, со своей стороны, сказал, что, известное дело, международный авторитет советских моряков всегда на высоком уровне. Тут Василий перевел разговор на Эдварда и рассказал подробно о том вечере в Гулле, который они провели вместе.

Лийна потянулась, даже плосковатый лоб вдруг показался выпуклым и мягким.

— Василий уверен,— продолжала Лийна,— что у Миронова все подозрения как рукой сняло. Слава богу, Василий снова обрел душевный покой! Между прочим, Миронов спросил, как обстоят у Василия дела с женой. Видимо, он кое-что слышал. Василий ответил, что великолепно, и пусть Миронов сам догадывается, кого Василий имел в виду: свою первую жену или меня.

Лийна счастливо засмеялась.

— А теперь мы едем в Ялту. Василий получил отпуск, пароход ставят на ремонт. Василий взял путевку в санаторий, я найду себе где-нибудь поблизости комнату, много ли нам с сынишкой надо? В основном будем болтаться у моря или лазать по горам. Василий больше ни о чем и не говорит: мол, скоро будем гулять в Ялте по кипарисовой аллее, и обязательно при луне, обнявшись, как настоящие молодые влюбленные.

И Лийна снова, как человек, который освободился от нервного напряжения, зашлась раскатистым смехом.

Я пожелала ей счастливого пути...

— Так что ты думаешь об этом? — откуда-то издали доносится до меня вопрос Кристьяна.

— О чем ты?..— бормочу я, словно спросонок.

— Вот так да! — удивляется он. — Я ей толкую и толкую, что жена Арнольда приходила узнавать, можно ли устроиться на фабрике на работу.

— Почему же нет?

— Я тоже думаю. Пускай приходит. Скажем, ученицей в ткацкий цех. Анкета у нее вроде в порядке.

— Анкета, — повторяю я. — Что могло у нее быть? Молоденькая, детей растила, ни побывать нигде не успела, ни принять участия...

— Никогда не следует быть чересчур уверенным, — возражает он.

Сейчас скажу, что видела Лийну, сейчас спрошу напрямую — говорил он где-нибудь о том, что произошло у Василия в Англии.

Неужели Кристьяна предупредило чутье?

Он вытащил из кармана пальто, которое висело на вешалке, газеты и побрел в заднюю комнату полежать. Ладно, оставим пока все разговоры, для Кристьяна читать газеты — святое занятие.

А мне надо вымыть посуду. Сную между столом и плитой.

— Смотри-ка, что сказал Чемберлен! — доносится в кухню голос Кристьяна.

— Ковентри сровняли с землей, — бубню я.

— Да, здорово сказал этот англичанин с зонтиком, вот только умер он.

Сдвигаю тарелки со звоном на полку и беру черный Юулин зонтик, под который натекла порядочная лужа.

Может, удастся поднять настроение?

Раскрываю зонтик и, подняв его над головой, вхожу в заднюю комнату — шаг размеренно-степенный и твердый. Покашливаю и произношу:

— Я надеюсь дожить до дня, когда Гитлеру придет конец.

— Ты как Яан-балагур, — улыбается Кристьян.

— Где он сейчас, Яан-балагур? — спрашиваю я с тревожным любопытством и складываю зонтик.

— Кто знает этих пьянчужек, где сходятся их пути-дороги? — безразлично говорит Кристьян и резко переворачивает газету.

Яан-балагур, который сморкался всегда в невероятно мятый носовой платок.

Какие-то глупые мелочи западают в память о некоторых людях.

В коридоре раздается чье-то покашливание: кто-то вернулся с работы, слышится топот бегущих ног на крыльце, журчание воды под краном, тараторят бабы в коридоре, и в знак скорого завершения разговора они непременно держатся за ручку двери.

Собираешь со скатерки, чувствуешь тяжесть сытого желудка, и наконец все отходит в сторону. Видишь крошки и чувствуешь сытость. За окном монотонно плещется дождь...

Ха-ха, у Кристьяна выпала из рук газета. Он заснул, засопел.

Всего хорошего, земные заботы! Человек нуждается в разрядке.

Прилягу-ка я возле Кристьяна. Потом как-нибудь решу, сказать ему, что видела Лийну, или нет.

Сквозь полуоткрытые веки вижу яркий треугольник на потолке. Да, порядком продрыхли. Кристьян дышит глубоко и спокойно. Боюсь пошевелиться, чтобы не разбудить его. По правде сказать, и торопиться некуда. За стеной громяхают посудой, откуда-то снизу раздается приглушенная игра на скрипке.

Мое пристанище, Кристьян, лежит тут же рядом. На столе белеют листы бумаги и открытая книга.

Перед отсвечивающим окном стоит пустая ваза, которая напоминает чем-то крутобедрую женщину.

Единственное, по чему я очень скучаю,— по лету.

Что это мне вздумалось, когда я решила купить черные бумажные розы?

Снова гляжу в потолок, где слегка качается светящийся треугольник уличного фонаря под окном.

Треугольное солнышко во дворе предварилки.

Лийна, Лийна. Никак не выходишь ты из головы.

Черпаю из колодца воспоминаний, куда очень редко достает свет.

В Ленинграде Лийна пришла ко мне в последний раз. Я все еще собиралась в Петергоф.

Она стояла в дверях с ребенком на руках. Нижняя губа дрожала, под глазами — синие круги, совсем как у Веры Холодной в немых фильмах.

— Лийна! Что случилось? Входи!

Предчувствовала недоброе.

Я поспешила к ней, взяла ребенка. Положила его на

кровать, где он сразу же уснул. Лийна добрела до стола, мешком плюхнулась на стул, подперла подбородок ладонями и в упор уставилась на меня.

Есть люди, которые умеют все округлить легкой болтовней. А мне так трудно даются слова!

Отчужденный блеск Лийниного взгляда стал удручающим. Я поднялась, взяла бутылку, налила в стакан вина. Лийна даже не дотронулась до него.

— Говори же наконец,— попросила я.

Лийна вздохнула и прошептала:

— Мы были в Ялте.

Это прозвучало так, словно она произнесла, что ходила на похороны.

Оставила ее в покое, принесла кое-что поесть. Лийна против воли стала жевать и прихлебывать из стакана.

— Что случилось, Лийна? — посмела я спросить, когда щеки у нее приняли прежний цвет.

— Пять дней назад Василию вручили телеграмму. Со строгим предписанием прервать отпуск и срочно вернуться в Ленинград. Он обещал мне позвонить через день, вечером. Я целую ночь прождала разговора в комнате у хозяйки, и ничего. Наутро собрала вещички, взяла сына на руки и поехала в Симферополь, на поезд. И дома никакой записки. Помчалась в порт. С большим трудом удалось попасть на прием к начальнику порта. Сама понимаешь, положение у меня глупое. Ну, объяснила, что я хорошая знакомая Василия и что он обещал мне занять денег, но куда этот человек делся, никак не могу найти. Предлог дурацкий, конечно. Начальник порта внимательно разглядывал меня. Возбуждение мое заметить было нетрудно. А когда я взяла сынишку на руки и повернула его лицом к начальнику, тот, наверное, все понял. «Василий Сергеевич... у него выясняют кой-какие детали»,— сказал он. И тут же поднялся со стула. Я тоже поднялась, была ошеломлена. Ноги не держали, стали ватными. Начальник порта взял меня за плечи, вывел в секретарскую и приказал, чтобы мне дали машину: мол, человеку стало плохо. Отвезите ее домой. Я приехала сюда.

— Лийночка, золотце успокойся! Это недоразумение! Потерпи немножко, все быстро выяснится, и Василий твой вернется. Подождем...

Лийна нервно засмеялась, и отчужденный блеск в ее глазах перерос в целенаправленное презрение.

— Успокойся ты.

Лийна смолкла. Смерила меня прищуренным взглядом, втянула подбородок, подалась вперед своим бычьим лбом и выдавила:

— Куры мы, куры! Успокойся! — передразнила она.— Подождем! — иронизировала Лийна.— А где твое многообещанное чувство локтя? И кто ты такая? Какого черта я тогда вступилась за тебя? Меня из-за тебя выкинули из партии! И кто этот твой Кристьян? Чем он вообще занимается?..

— С ума сошла, Лийна! — Рука у меня поднялась, хотелось ударить ее, чтобы она пришла в сознание. Только никогда в жизни я не могла ударить человека. Может, Лийна решила, что моя опустившаяся рука означает, что во мне пробудилось чувство вины?

Громкие голоса разбудили ребенка. Испуганный мальчишка подошел, присмиривший, к столу и спросонок смотрел то на Лийну, то на меня.

Комок подступил к горлу. Вспомнилось, как мы с Лийной сидели в одной камере и клялись, что мы останемся вечными друзьями, что и наши дети должны быть преданы друг другу.

— Я знаю, ты любишь Василия,— сказала я по возможности спокойнее, чтобы вернуть Лийну на путь трезвых рассуждений.— Но все ли ты о нем знаешь?

Лийна безмолвно изучала меня, брови у нее поползли вверх.

Напрасно, не надо было повторять этих слов Кристьяна...

И тотчас, просто физически, я ощутила, как в Лийне поднималась ненависть, я знала, что Лийна сейчас уйдет, что я ее больше не увижу.

Так оно и случилось, Лийна схватила ребенка и в сердцах хлопнула за собой дверью.

Я кинулась за ней в коридор. Влажно пахло керосиновым чадом. Я стала задыхаться. Склонившись через перила, я увидела мелькнувшую возле входной двери белую кофточку Лийны. Хотела крикнуть, но, кроме хрипа, ничего не смогла из себя выдать.

С тех пор я чувствую себя Лийниной должницей. Чувство вины перед ней то опускается в нижние слои колодца воспоминаний вместе с последним нашим разговором в Ленинграде, то всплывает на поверхность, как было сегодня, когда я снова встретила Лийну. По

ночам, когда я просыпаюсь, это чувство кажется мне ледышкой, острая кромка которой режет, а то и просто грязной водой, которая давно уже выплеснута за ограду.

Наверное, Лийна теперь считает Миронова главным виновником зла. Но почему она, правда сгоряча, назвала Кристьяна? Если все узлы уже распутаны, что же заставило ее быть сегодня такой гневной? Чего она еще не знает? И чего не знаю еще я?

Кристьян заверял, что это хорошо, если человек наблюдательный и не потерял зоркости...

Если раскачивающийся на потолке треугольник света заденет концом розетку лампочки, значит, Кристьян замешан в истории с Василием! Разумеется, нечаянно, невольно.

Задел...

Безумие! Ребячество! Лицом в подушку! И не думать!
— О чем ты думаешь, Анна?

Проснувшись, Кристьян обнимает меня правой рукой.

— Да так. Спала,— отвечаю я вяло.

Ладно, оставлю Лийну на другой раз.

Сомнения могут убить человека, яд беспокойства никак не вывести из крови.

— Ну, не счастливы ли мы с тобой, Анна? Выдержали, вернулись после столь долгой разлуки. Все это, в общем-то, уже далекое прошлое, и то, что мы в тюрьме сидели, и что нас приговорили к смерти, и...— Кристьян чуточку медлит, прежде чем добавляет: —...всякое другое. Во сне почувствовал какое-то приятное облегчение. Что же касается врагов, которые могут причинить вред молодой республике, то со временем все они исчезнут. Все устроится.

— Да, Кристьян,— отвечаю безрадостно.

Смотрю на потолок и вижу, как передвигающийся светлый треугольник несколько раз касается розетки.

— Только вот кто чужие, а кто свои?

Кристьян принимает мои слова за шутку.

— Здесь, в Эстонии, это нетрудно определить. Народ маленький, прошлое у каждого на глазах.

— Люди меняются. Можно ошибиться.

— Не ошибаются лишь боги,— смеется Кристьян.

— Да.

Спорить нет сил.

«Ну, не счастливы ли мы с тобой, Анна? Выдержали, вернулись».

Под светящимся треугольником, словно звенья огромной цепи, стоят, изгибаясь дугами, венские стулья.

4

— Полегчало тебе, Рууди?

— Ну, если совсем не загнусь, тогда выкину штуку — женюсь. Нарожаем кучу детей, буду сажать деревья, построю дом — словом, сделаю все, что должен в жизни совершить человек.

Я касаюсь его холодных пальцев. Другой рукой пытаюсь закрыть от взгляда больного запачканный кровью отворот пододеяльника.

— Не беспокойся об этом, — заметив мое движение, говорит Рууди. — В ноябрьской серятине красный цвет особенно ценится.

Ох, эта Юули, не могла сменить на кровати белье.

— Знаешь, Рууди, мне никого не жалко так, как тебя. Попробуй все же наладить свою жизнь, побереги здоровье.

— Спасибо, — серьезно отвечает Рууди.

За окном валит густой мокрый снег. В комнате стало совсем сумрачно. По водосточной трубе, стекая в бочку, журчит вода. К вечеру опять развезет...

И Кристьян в последнее время жалуется на плохое самочувствие. Не застудился бы. Чтоб не открылась старая болезнь. Сколько лет не можем избавиться от страха.

После того как у Рууди пошла горлом кровь, только и думаешь о болезнях, все видится в мрачном свете. Когда позавчера ночью испуганная Юули прибежала к нам, дела у Рууди были совсем неважные. Он лежал в жарко натопленной комнате. Лицо раскрасневшееся, веки распухшие. Кровь. Я распахнула окно, послала Юули за полотенцами, намочила их под краном и стала прикладывать к Руудиной груди холодные компрессы.

Дважды приходилось мне видеть, как от чахотки умирают люди, в те разы я не знала, что холод облегчает страдания. Оба раза в тюрьме, но там и без того пробирала дрожь от холода. Мы все пытались накрыть больных всем тряпьем, какое было под рукой, старались согреть, облегчить страдания теплом. Надеялись тем,

чего так жестоко не хватало самим. Мы, двадцатилетние и здоровые, еще кое-как справлялись с холодом. Прижились друг к другу и в декабрьском мраке с великой надеждой мечтали о январе, когда дни станут длиннее и мы снова увидим краешек синего неба и розовеющий закат. На январском холоду, когда тюремные стены снаружи покрывались инеем, мы мечтали о феврале, о том блаженном времени, когда, бывает, из окошечка на верхние нары светит чуть-чуть солнце. А в феврале радовались, что этот месяц короче других, и уже не за горами март, и за решеткой свесятся искрящиеся, светлые сосульки. И до теплого лета останется не так уже далеко...

Умирующие чахоточные! Лицо зарделось — как я могла подумать такое о Рууди! Это Юули втемяшила мне в голову подобные слова. В ту ночь, когда у него хлынула кровь, Юули на лестнице причитала мне в затылок.

— Рууди уходит. Сын мой умирает!

Да, сдала. Не те силенки. Умер муж, болен сын. Не легко это.

— Знаешь, Рууди, мне припомнилась одна странная легенда.

Рууди изумляется, поворачивает голову и с любопытством смотрит на меня.

— Легенда так легенда, — соглашается он. — Большой обязан есть то, что ему дают, и слушать то, что ему рассказывают.

— Под исполинскими соснами, на склоне горы, в кои-то времена охотник подстерегал лебедя. Голод его не мучил, в мясе птичьем охотник не нуждался, да и пера лебязьего ему не требовалось — кровать его была застелена пуховыми одеялами и подушками. Охотника терзала жажда славы. Его охотничьим рассказам в долине давным-давно уже никто не верил, но он хотел, чтобы его слушали, чтобы люди всплескивали от удивления руками и с горящими глазами ловили каждое его слово.

Охотнику повезло. Над деревьями появился большущий лебедь — необыкновенный, с черными треугольниками на крыльях.

Грянул выстрел. Птица вскрикнула человеческим голосом и ринулась ввысь. Охотник знал, что в следующий миг лебедь должен упасть к его ногам. И уже воображал

себя в кругу слушателей, длинношеяя птица, как вещественное доказательство, распластана возле ног.

— Что это за сказка такая?

— Лебедь упал, только охотник его не нашел. Обрывы, горный ручей и исполинские сосны, отсвечивающие бронзой, помешали этому.

И собака тоже не смогла найти.

Но на следующий год, и через год, и еще в течение ста лет в тех местах люди видели того же самого необыкновенного лебедя с черными треугольниками на крыльях.

С тех пор жители долины стали верить, что горный сосновый воздух излечивает все самые страшные раны в груди. Ведь охотник-то видел, как из лебедя хлестала кровь.

— Все?

— Не совсем.

— Тогда я сам доскажу конец. Люди установили советскую власть, в горах среди сосен построили санаторий, и все чахоточные в той стороне выздоровели.

— Очень прозорливо! Именно так эта история и кончается! — присоединяюсь и я к подтруниванию Рууди.

В комнату вползает темень. Из водосточной трубы плещет все сильнее, мокрый снег перешел в дождь.

В окнах переднего, через двор, дома один за другим зажигаются огни. Задергиваются плотные белые занавески, чтобы посторонние взгляды с улицы не беспокоили собравшихся за ужином людей. Зимний вечер в семьях — самое приятное время. Натруженные за день руки покоятся на клеенке стола, обдает теплом тесной кухоньки, на плите шумит чайник с водой. Вилкой раздавливают дымящиеся картофелины, посреди стола сковорода с жареной свининой, в чашке луковый соус — можно есть с аппетитом, и не надо никуда торопиться. Между делом толкуют о рыночных ценах, прикидывают, надо ли покупать детишкам новую обувь или обойдутся и так, и как там, в этой далекой Европе, обстоят дела с войной и бомбежками. Медленно отламывают от ломтя небольшие дольки хлеба, натыкают на вилку и макают в сало на сковороде. Сквозь решетку поддувала пышет на ноги жаром, дребезжит крышка — закипела вода, и можно будет попить чайку с вареньем.

— Чего вы в темноте-то?

В дверях появляется Юули. Направляется к окну, чтобы задернуть занавеску.

— Не надо, — останавливает ее Рууди.

— Как хочешь, — Юули застывает на месте.

Ее угловатую, в халате, фигуру венчают вылезшие из пучка на затылке волосы, на фоне освещенных окон переднего дома пряди эти чернеют растопыренными сучьями.

— Во, у извозчика все окна запотели, не иначе, в квартире стиркой занялись. Как же, надо, чтобы у ее старика подштанники были самые чистые! В прачечной в сток уже и вода не проходит, бог знает с каких пор засорился. Все в развал запустили!

— Ну и пусть! Чего там жалеть? — утешает Рууди.

— Так ведь когда вернут мне мои дома — с ремонтом такого горюшкахватишь, что...

— Когда они были у тебя в руках, что-то не очень ты о них заботилась. Тот же сток в прачечной вечно был забит, — поддевает Рууди.

— Прoшедшая молодость, схороненные люди и отобранные дома — все одинаково любви-дороги, — грустно отвечает Юули.

— Уж нехватила ли ты лишку? — удивляется Рууди.

— Я пьяна от этой красной власти, — острит Юули и, словно боясь столкновения, тяжелым шагом уходит.

— Новая власть перековывает даже угнетателей народа, — поддевает Рууди, когда Юулины шаги доносятся уже из кухни. — Старуха давненько что-не не кутила.

Он шарит правой рукой под матрацем. И лишь когда зажигается спичка, я вижу смятую пачку, из которой Рууди вытряхивает себе в рот папиросу.

— Оставь, Рууди, — прошу я.

Он глубоко затягивается. При свете папиросы вижу его заросшие щетиной щеки. Запах табака расходуется по проветренной комнате.

— А что мне терять? Вот пытался поберечь нервы родичей, спрятал курево под матрац, не моя же вина, что ты задержалась и стала свидетелем распроединственной моей греховной слабости.

После нескольких затяжек Рууди закашливается. Быстро распахиваю окно, отбираю папиросу и гашу ее в пепельнице. Рууди глубоко вдыхает свежий воздух, сплевывает в плевательницу и успокаивается.

— Не надо подвергать опасности свое здоровье,— советует он мне.

— Вздор несешь, Рууди,— прикрикиваю я.

Замечаю, как он подтягивает повыше одеяло. Закрываю окно.

— Рууди,— начинаю я осторожно.

— Давай говори,— подбадривает он,— не всегда же я кусаюсь.

— Рууди, тебе надо поехать в санаторий, в горы.

— Ха-ха-ха,— смеется он, изменив голос.

— Чего ты ерепенишься?

— Кому я нужен? Да и знаешь ли — красива смерть, когда ты молод, когда друзья вокруг, гремит оркестра медь...

— Не болтай.

— Я принадлежу к классу угнетателей,— рисуясь, объявляет Рууди.— Все эти годы я бездельничал, жил за счет трудового народа. Законченный кровопийца! И ты думаешь, что меня с раскрытыми объятиями примут в красный санаторий, туда, в горы, где ожил убитый лебедь? Мы тут сажали красных чахоточников за решетки, с какой же стати теперь красные станут нянчиться с такими, как я? Или вы такие всепрощающие христосики?

В голосе Рууди насмешка перемежается с возбуждением.

— Рууди, есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Помню, в нашей камере умирала от туберкулеза нескладная девушка из пригорода. Я была возле нее. Так вот, последними словами перед тем как... Она спросила: «Анна, а как это — быть замужем?»

— Я часто вспоминаю,— первым после минутной тишины заговаривает Рууди,— как ты лечила меня в детстве, таскала в клинику Грейфенгагена. Твоей милостью, видимо, и живу до сих пор.— В голосе Рууди появляются нотки нежности.— Если бы я смог сейчас подняться, я бы низко поклонился вам, мадам.

Тут же он стыдится и поспешно добавляет:

— Может, возилась зря. Протянул бы ножки — и никаких забот.

В своем безумном, потаенном страхе Рууди частенько пытается причинить боль и себе и другим.

— Мужчины, даже если они умирают, ведут себя по-мужски.

— Нет, ты все же отличная баба,— хохочет он.

— Благодарю от души,— смеюсь вместе с ним и я.

— Чего вы гогочете? — просунувшись в дверь, спрашивает Юули.

— Анна мне присоветовала, что если уж умирать, то со смехом, вот я и тренируюсь!

Юули, сердито отдуваясь, исчезает на кухне.

— Ты так трогательно заботилась обо мне в детстве,— вспоминает Рууди.— Чем ты меня только не пичкала! Это когда мать боялась, что Арнольд может от меня заразиться, и выпроводила к тебе. За жильца меня уже не считали.

— Да, целый год. Тогда я была богатой барышней и могла сорить деньгами.

— Ты носила темно-лиловый жакет с соболиной оторочкой и шляпу из перьев. Я смотрел на тебя с благоговением и клялся, что сосватаю себе именно такую прелестную жену.

— Да, выкинул штуку петербургский купчик, этот мой дядюшка, провел-таки всю свою родню, сделал наследницей меня. В завещании было объявлено, что, дескать, все родственники, которых он видел, ему не по душе, поэтому он завещает свое богатство Анне, о которой он представления не имеет. Особенно злилась Юули, она, как старшая, имела на это больше прав, к тому же у нее в то время как раз ничего за душой не было, дом съел все припасенные денежки.

— Все думали, что я уже вовсе не жилец, вынесут вперед ногами. А ты выходила. В тот раз. Потом о моей хвори забыли. И стали продолжительность моей болезни измерять с более позднего времени, когда она снова объявилась. Что поделаешь, так и стараются исказить мое жизнеописание.

— Купила я хибару с большущим участком и большие планы строила! Подрядчиков изводила, пока мне не нарисовали на бумаге дом пошикарнее того, что построила Юули. Хотела переплунуть ее!

— Я и не знал,— усмехнулся Рууди.

— Как-то и самой уже не верится,— смеюсь я весело.

— Ели землянику и пили шампанское. Ты была самая элегантная и самая бесшабашная тетья на свете. Я был просто влюблен в тебя. Это я-то, скелетина, с головой, обкатанной под нулевку. Мне еще длинных брюк-то не надевали.

— Вместе мы боялись крыс, что по ночам скреблись под полом и возились на чердаке!

— А по утрам, проснувшись, ты проклинала свою халупу: мол, влипла с покупкой.

— О, жили мы с тобой по-царски, Рууди!

— Я уже было украдкой подумывал про себя, что моя покойная бабушка, видимо, не столь беспорочна, что, пожалуй, могла и с каким-нибудь бароном пошлать. Потому что моя мамаша, когда у нее вывозили мусорный ящик, сама хватала вилы и гонялась за крысами и нисколько не боялась их. Не чета тебе.

— Ну, она всегда была решительней, чем я.

— С тех пор как я поправился и поздоровел, ты начала где-то пропадать по вечерам. Однажды не появлялась целых три дня. Матери я об этом говорить не стал, не хотелось, чтобы она приказала перебираться домой. В те вечера я доставал из буфета бутылку и наливал себе вишневого ликера, пьянел и сваливался мешком и уже не слышал ночной крысиной возни.

— Да, оставила я тебя на три дня одного.

— Вернулась с каким-то молодым человеком. Антон или как там его? Взыграла во мне ревность, совсем как сейчас у Мирьям, которая терпеть не может моих барышень.

— Да.

— Антон прожил у тебя дня два, если не ошибаюсь. Водосточные трубы все гудят и гудят.

— Подай мне папиросы, Анна.

Я протягиваю ему скомканную пачку и нащупываю спички. Помедлив, чиркаю.

— Ты плачешь? — удивленно шепчет Рууди.

Отхожу к окну, поворачиваюсь спиной к Рууди и вытираю слезы.

— Не стоит плакать по глупостям, которые случались в молодости.

— Лучше помолчи.

— Хорошо, я лучше помолчу.

Хлопает парадная дверь, кто-то поднимается по лестнице. Неужели Кристьян? Обычно он избегает ступать через Юулин порог.

Шаги идут вверх.

— Ты помнишь яблоню, которая стояла под окном спальни? Там теперь только пенёк остался.

— Как же не помнить.

— Такого чудесного дерева я больше нигде не видел! Отец все таскал мне яблоки из собственного сада, а я столько наедался твоего «золотого ранета», что папины яблоки доставались другим парням.

— Так как же насчет санатория?

— У меня был хороший друг, Эрка, ему я всегда отдавал самую большую долю. Умер Эрка по-глупому. Утонул в глиняной яме. Смерть его я долго не мог простить своей матери. Она запрещала мне купаться в этих ямах. Почему я не пошел тогда вместе с Эркой, я бы его вытащил. По крайней мере, я так думал. Когда тебя всю жизнь считают убогим, то и сам себя за человека уже не принимаешь.

— Так как же, Рууди? — требую я ответа.

— Я уже сказал.

— Все же...

— У Эрки были чудесные сестры-двойняшки. Не девочки — ангелы. Теперь это — две толстые, дебелие дамы. Брови выщипаны, вместо них над глазами наведены тонюсенькие черные дуги. А были прямо ангелочки.

Рууди смеется осторожно, чтобы не вызвать приступа кашля.

— Из всех твоих сверстниц получились дамы.

— Когда Эркины сестры отправились на конфирмацию, я обломал полжасмина. Конечно, влетело от матери. Зато Эркиным родителям домашнее торжество обошлось дешевле — от запаха жасмина у гостей разболелись головы, и было выпито мало вина. А на другое утро ветки жасмина оказались в мусорном ящике, девочки же метали гром и молнию — получилось, что я все испортил. Когда же двойняшки выходили замуж, я послал им обоим по охапке вереска. С письменным приложением, что, мол, так и так, хочу исправить старую ошибку.

Рууди снова смеется.

— Не такой уж ты безнадежный больной, — говорю я с облегчением.

— После восстания двадцать четвертого года¹ мы с Эркой выкинули самую замечательную штуку в нашей жизни. Заклеили все телеграфные столбы на улице Ренибелла тетрадными листками, на которых вывели: «Долой белых ищеек!» История эта стоила мамаше нер-

¹ Восстание таллинского пролетариата, подавленное буржуазией.

вов. Молила Ватикера, тот помог уладить дело — мол, ребячье баловство, и только.

— Смотри-ка, у тебя имеются революционные заслуги,— смеюсь я.

— Следующее лето было для Эрки последним.

— Так как же, Рууди?

— Ну, Анна, ты накрепко приклеилась.

— Оживи душу парочкой крепких словечек, я вытерплю, у меня кожа толстая.

Рууди шевелит губами, лицо озорное, хитрое.

— Не получается,— говорит он вслух,— стыдно перед взрослым человеком.

— Ничего, ты только возьми за ум.

— Или у тебя путевка уже в кармане, что так уверена?

— Достанем.

— Думаю, не стоит. Знаешь, почему? Давно все собирался, да не хотелось портить отношения.

— Наши отношения не так просто испортить,— говорю я ему беззаботно, а у самой какая-то противная дрожь внутри, спешу спросить.— Ты упомянул Ватикера. А, к слову, где он сейчас обитает? Или за море сбежал?

— Зачем он тебе? — удивляется Рууди.

— Надо бы словом перекинуться...

— Давно не видно. Говорят, лесничим или лесником, черт его знает. Где-то в Кяру...

— Так какую же тайну ты двадцать лет держал за зубами? — спрашиваю я с наигранной беспечностью.

— Был страшно наивным мальчишкой. Долго ничего не понимал.

— А дальше что?

— Не волнуйся, Анна, и не торопи ты бедного больного человека.— Рууди возмущенно закатывает глаза.

— Хорошо.

— Стоило тебе выйти замуж за Кристьяна, как вскоре в нашей семье стали о нем плохо говорить. Что он и ветрогон, и что ни на одной работе не задерживается, только знай себе катает сомнительные статейки в сатирический листок, надолго ли так хватит этого Анниного наследства. И я тоже думал, что влипла ты с ним.

Рууди умолкает.

— Это и есть твоя невысказанная тайна? — нетерпеливо переспрашиваю я.

— Мадам, вы сегодня не в форме, чтоб слушать.— Рууди принуждает меня к терпению. Чувствую, что он возбужден, и сама поддаюсь его настроению.

— Собирается тут сегодня кто-нибудь есть? — Юули входит в комнату с тарелкой в руках.

Рууди отстраняюще машет рукой, но я упреждаю его:

— Непременно. Ты, Рууди, подкрепись как следует, а я пока схожу накрою Кристьяну на стол.

— Ладно. Только обязательно возвращайся. А то, может, к утру я уже холодный буду, и аллилуйя!

— Ничего, мы тебе на ночь положим к ногам грелку...

— Страшные вы люди,— вздыхает Юули.— О смерти нельзя говорить А то, глядишь, и...— Она ставит тарелку на стол и вытирает рукавом глаза.

Когда я возвращаюсь, то на тумбочке уже горит лампа с желтым абажуром. Рууди надел на нос очки в черной оправе, в руках у него газета.

— Разворачиваю — и что я вижу: оказывается, Гинденбург помер!

Это его обычная шутка, и тот, кто подоверчивее, не раз попадался на удочку.

Бордовые гардины с желтыми вышитыми розами заглушают дробь дождя по стеклу. Устраиваюсь поудобнее в кресле возле теплой стенки. Отсюда хорошо видно лицо Рууди. Примечаю, что цвет его лица довольно хороший, и это меня успокаивает. Сбрасываю шаль, накинутую на плечи, высвобождаю из туфель ноги и терпеливо приготавливаюсь слушать.

Рууди откладывает газету в сторону, снимает очки и уставляется взглядом в потолок.

— Вон там в углу паутина, не могу видеть...

Приношу из коридора щетку и снимаю злополучную паутину — Рууди посмеивается в краешек одеяла. Делаю вид, что я этого не замечаю.

Опустив руки, сижу некоторое время в ожидании, затем слышу, как Рууди восклицает:

— Ну так слушай!

— Извольте, сударь.

— Это все из-за меня. Из-за меня вас арестовали. Из-за меня приговорили к смерти!

Рууди смотрит исподтишка в мою сторону со сладостным ощущением произведенной сенсации.

Смеюсь.

Рууди мгновенно напускает на лицо серьезность и

вскидывает подбородок, словно он мученически сжимает зубы.

— Объясни. И вообще, твои инфантильные шуточки иногда начинают действовать на нервы.

— Случилось это темным осенним вечером, — торопливо рассказывает Рууди. — Мы с Эрккой швыряли камнями в уличный фонарь. В тот самый, что светит сейчас перед твоей квартирой. Вдруг по Ренибелла идут этак не спеша двое в кепочках. На всякий случай мы оставили свое занятие. Те остановились на углу дома Дианы Крунът. Воздух был сырой, и ясно слышалось, что они говорили.

«Здесь каждый знает Кингисеппа в лицо», — произнес первый.

«Ну, это ты загнул», — отмахнулся другой.

«Эй, парень!» — позвал меня первый.

Я подошел поближе.

«Где тут живет Кингисепп?» — спрашивает один, а другой осклабился и слушает.

«Здесь. Вон, зеленые ворота. Маленький домик во дворе», — услужливо объяснил я.

Когда эти двое исчезли за калиткой, Эрка расхохотался как сумасшедший.

«Бежим. А то вернутся, надают по шее!»

«За что?»

«Дурак, они шпики, ищут Кингисеппа, а ты послал их к сапожнику»¹

Так сказал Эрка, когда мы спрятались за поленницу во дворе Дианы Крунът. Дома у нас тогда как раз говорили, что Кристьян твой не умеет жить, что его выгнали с лютеровской фабрики, что он остался без работы и что этот сатирический листок, в котором он печатается, власти тоже закрыли, теперь, мол, Кристьян занялся сапожным ремеслом...

— Хорошо, но при чем...

— Это еще не все. Ведь я послал к вам от простоты душевной клиентов, но позднее, когда вас арестовали, я понял, что от вашего дома надо было любого подозрительного типа за версту держать.

— Я их помню. Они постучались, я открыла. Спросили Кингисеппа. Не знаю, может, думали напасть на какую-нибудь дурочку? Я пригласила их на кухню, там

¹ Здесь игра слов. Сапожник по-эстонски — Kingsepp.

валялись шила, молотки, гвозди, вар, кусочки кожи. Как на самом деле. Попросила, чтобы они оставили свой заказ, так как мужа дома нет. Ну, сказали, что принесут завтра, а пока только пришли узнать. Веселенькое дело, чтобы залатать обувь, выходит, сперва надо наведаться и разузнать, что к чему! Оно, конечно, верно, после немецкой оккупации с кожей было туговато, достать не так просто.

Выдавила улыбку и попросила господ обязательно наведаться завтра. Один из них все разглядывал полосатое одеяло, которое висело над дверью, ведущей в комнаты. Все-таки они ушли. На следующий день и еще долгое время после этого у меня дом был пуст.

— А они снова не приходили?

— Удивительно, но нет. А в задней комнате в тот вечер сидели люди, которым нельзя было показаться на свет божий. И я не имела права так запросто открыть чужим дверь. Мне потом как следует шею намылили. «Или в тюрьму решила засадить!» — кричали на меня. Лишь один вступился: мол, она молодая и глупая еще, да и замужем без году неделя...

— Антон, что ли?

— Что тебе до этого? — спрашиваю я, а у самой пересохло в горле.— Собственно, это было первое испытание моим нервам. Целую ночь не могла уснуть. Потом-то я привыкла быть спокойнее и смелее...

— Ты и подумать не могла, что это я направил ищеек?

— Откуда же?!

— Вот черт, опять духота,— ворчит Рууди.

Распахиваю окно. Через щель между бордовыми гардинами в комнату вливается сырая прохлада.

— Теперь лучше? — озабоченно спрашиваю я, наклоняясь над Рууди.

Он с закрытыми глазами вытаскивает руки из-под одеяла, закатывает правый рукав, напрягает мускулы и говорит:

— Силенка еще найдется.— Улыбается каким-то своим воспоминаниям и неожиданно спрашивает: — Где это Мирьям пропадает?

Натягиваю рукав на его обессиленную, упавшую на одеяло руку.

— Наверное, боятся, вот и не пускают ко мне,— бормочет он.

— Ребенок все же ребенок,— замечаю я.

— К таким, как она, чахотка не пристанет. Уж скорее к такому безвольному, как я.

— Ох уж это самоистязание!

— Всяк больше всего себя жалеет.

— Я думаю...

— Ты была бы распрекрасной тетей, если бы не питала пристрастия к патетическим отступлениям,

Прикусываю губу.

— Закрывать окно?..

Рууди кивает.

Шум дождя становится приглушенным.

— Ты вдохнула за сегодняшний вечер по крайней мере триллион палочек Коха, может, хватит?

— К знатному племени чахоточных я не принадлежу,— отвечаю я и устраиваюсь поудобнее в кресле.

— Как знать, у тебя душа порой слишком нежная и жалостливая бывает,— бормочет Рууди.

— Да ну, ты уже начинаешь оживать.

Рууди открывает глаза, они вдруг удивительно ясные.

— А знаешь, какой бывает первый признак, когда наступает приступ удушья?

— Ну?

— Наваливаются темно-лиловые гроздья винограда в золотых ромбах,— смеется Рууди.

— Не понимаю...

— Тебя же так долго здесь не было, потому и не понять. Темно-лиловые гроздья, обращенные верхушкой кверху, не вниз, как растет виноград, ты заметь — кверху. Семь долгих лет я постоянно видел их в столовой. Когда мы жили еще в переднем доме, мамаша всегда стелила мне постель на стульях, у стола. До глубокой ночи я вынужден был с отвращением разглядывать эти лиловые гроздья. Из-за меня, естественно, огня не тушили, велика персона, сновали взад и вперед, уснуть никак не удавалось, так что знай себе развлекайся, разглядывай гроздья на стене. Будто неуклюжие задницы в золотой оправе,— вздыхает Рууди.— Обе подружки, мамаша моя и госпожа Лийвансон, накупили себе этих дорогих обоев, уже и не помню, кто из них кому подражал. Только обе наклеили обои вверх ногами, никогда же не видели, как он растет, этот самый виноград.

Рууди улыбается и, убрав со лба волосы, трет виски.
— Порой находит страх, что так и умру, перед глазами все эти проклятые гроздья, эти уродины в золотой рамке! словно вся жизнь сошлась в эти семь виноградных лет, да и те бумажные, в сусальной позолоте.

Видимо, на моем лице появилось сочувственное выражение.

— Черт побери, ну почему нигде не выдают напрокат смеющихся баб? — спрашивает Рууди. — Какого дьявола по земле бродят лишь одни плакальщицы? Мне бы сейчас очень хотелось видеть вокруг себя смеющихся, розовозадых девок, чтобы вытравить из сознания эту лиловую гадость.

— Что, разве отец не знал, как эти обои клеят?

— Да он не вмешивался. Прошло какое-то время, пока не заявился в гости господин Ватикер. Мамаша считала его первым мудрецом в округе. И все ждала его похвалы. А он возьми да и скажи, что произошла ошибка! Отец как раз пришел из сада и пристроил на дверце духовки сушить свои опорки. Озлобленная мамаша схватила их и, не глядя, вышвырнула в коридор. Там кто-то взвизгнул — прямое попадание по ходулям. И тут отцу пришлось выслушать все, что о нем думала моя любезная мамаша. И то, что он, хам, позволил свою жену выставить на вселенский позор, что такого мужа она не пожелала бы даже старой Лийвансонихе! В ту ночь отца не допустили даже на постель, проторчал до утра, бедняга, в своей мастерской. Помню, около полуночи я ходил заглядывать туда с улицы. В горне пылал огонь, отец стоял в кожаном переднике с молотком в руке. Бог знает, то ли делом занимался, то ли так, со злости, дубасил по наковальне. Всю ночь напролет по дому разносился адский грохот, никто не мог глаз сомкнуть. И все из-за этих обоев. О, драгоценное золото с благородными темно-лиловыми гроздьями!

Теперь я смеюсь от всего сердца.

— С чего это тут у вас такое веселье? — в дверях появляется Юули.

— Не нарадуемся, что ты сумела купить такие замечательные обои, — поддевает Рууди.

Вначале Юули не понимает, в чем дело, но, догадавшись, не остается в долгу.

— Да, было что купить, и было на что купить.

— Было, было, — грустно повторяет Рууди.

— Я все могла,— сильным голосом объявляет Юули. Руки у нее заметно дрожат. Напрасно подогревает свою злость.— Всего хватало. И денег, и вина, и мужиков. Обычно ведь мужики баб перебирают. А я жила по-другому, кого хотела, того и брала. Говорили там, что ни говорили, рядили-судили, а поди-ка, запрети! И детей нарожать успела.

Полуприщуривав глаза, Юули насмешливо измеряет меня своим взглядом.

Меня охватывает слабость. Строю презрительную гримасу, только боюсь, что уголки губ у меня подрагивают так же, как Юулины руки.

— Скажи, мать, а любовь у тебя была?

— А что такое любовь? Если кто тебе принадлежит — тут она и есть, любовь. И больше ничего. Не важно — кто или что принадлежит. Любовь — это чувство превосходства. Ты за то и любишь, что можешь господствовать.

Рууди сосредоточенно слушает и разминает в пальцах папиросу. Ему тоже не хочется смотреть в сторону Юули.

— Я спрашиваю, случалась ли у тебя настоящая любовь?

— Ах, о ней пишут в книгах и на картинках рисуют. Сплошная блажь.

— Значит, и любви нет не свете. Боже мой, с какой жестокостью разбиваются иллюзии молодого человека! — дурачится Рууди.

— Надеяться и тебе не заказано,— усмехается Юули.

Вижу, как на мгновение в ней просыпается мать, которая инстинктивно желает своим детям добра.

Юули вытирает рукавом глаза. С чего бы это она в последнее время стала такой слезливой?

— Ты ведь на самом деле так не думаешь, как в сердцах говоришь? — участливо спрашивает Рууди.

— А чего там иначе? Жизнь — она такая.

Юули подходит к моему креслу, прислоняется спиной к теплой стене и прикладывает к горячим изразцам свои руки. Впитавшийся в ее одежду кухонный чад ударяет мне в нос запахом жареного.

Рууди постукивает ногтями по стеклам очков в черной оправе.

— Хорошо, когда тебе оставляют хоть надежду. В школе говорили: пока дышишь — надейся.

— Мы надеемся еще поплясать на твоей свадьбе,— срывается с моих губ глупое утешение, которое тут же, в тишине комнаты, бессильно угасает.

— Ты — молодой человек,— со своей стороны добавляет Юули.— А у меня по ночам сводит судорогой левую руку.

Юули не задерживается надолго у теплой стенки. Подходит к зеркалу, распускает волосы, чтобы расчесать жидкие пряди, достающие до половины спины.

— Да,— говорит она в зеркало с горьким довольством,— другой раз, бывает, и болезнь может на пользу пойти. Вчера тут ходили одни, с рулетками и карандашами в руках, все вымеряли да записывали, сколько у нас жильцов, какая площадь. Мол, господа пусть отправляются в подвалы жить, а голытьба разная, пожалуйста, в барские хоромы. Вначале я подумала: скажу-ка я, что у меня сестра красная и зять — туда же, поди, и за родственничков отсидели в тюрьме и боролись,— с издевкой говорит Юули, смотрит на меня через плечо и ждет, что я скажу, даже гребень останавливается на полпути.

Увидев, что я сохраняю невозмутимость, продолжает, обращаясь к зеркалу:

— Потом подумала, ладно, оставим красных родственников про запас. Привела гостей прямо к Рууди и спросила: «Видите, лежит чахоточный человек, так в какую конуру вы хотите его запихать?» Их будто ветром сдуло, даже извинялись на прощанье.

Юули смеется, гордо встряхивает головой, как царственное животное, будто у нее прежние густые темные кудри, которые то и дело пытались погладить парни со стекольного завода.

— Что ж, за справедливость мы боролись, ее теперь и устанавливают повсюду,— говорю я холодно. Юулина задиристость мне надоела.

Юули упирается рукой в стену, немного отворачивается от зеркала, склоняет голову и спрашивает:

— Где тут справедливость? Я своими руками заработала триста золотых рублей. А сколько труда вложил сюда покойник, царство ему небесное, а долги, которые у нас на шее повисли! Разве я эти деньги у кого обманом взяла? Мне они даже в наследство не достались! Эти рубли мне ох с каким трудом доставались. А теперь, когда состарилась, меня хотят выгнать на улицу, под дерево!

— Ну хорошо, ты в молодости, в начале века, заработала шитьем триста золотых рублей и вложила их в дом. А потом ты работала? Вложила деньги, чтобы всю жизнь получать с них доход! Чтобы после белошвейной работы уже и соломинки не сдвинуть. Нет, справедливо не только то, что тебе выгодно.

Юули отталкивается от стены. Вижу, как она, направляясь ко мне, слегка покачивается. Выпрямляюсь и встаю перед ней, лицом к лицу. Поднимаю руку, чтобы дотронуться до волос на ее плече.

— Помнишь, как парни со стекольного таскали тебя за косы?

— Не верти! Тебе должно быть стыдно передо мной! — кричит Юули, отталкивая мою руку.

— Или думаешь, — я говорю очень медленно, чтобы остудить наше возбуждение, — неужели ты и впрямь думаешь, что все эти годы я только и держала в уме твои дома? Или думаешь, что я сейчас жалею тебя? А потом, знаешь, не дело — искать выгоды в том, что твои родственники коммунисты, — заканчиваю я с неожиданной даже для себя желчностью.

Юули тяжело дышит. В смущении замечаю, что один глаз у нее выпучен больше, чем другой.

— У нас одни родители, одна мать и один отец. Твои дети и мне близки. И внуки. Вот и все.

— Ха-ха-ха! — смеется Юули, артистически вскидывая голову. — Наша мать родила тебя, когда мне было уже четырнадцать лет. Старушечий ребенок, вот как смеялись фабричные, от такого, говорили они, добра не жди! Как в воду глядели! Черная овца в порядочном семействе!

Юули тужится, старается, чтобы ее жалкий смех тянулся дольше.

— И тебе близки мои дети, мои внуки близки!

Неожиданно Юули обретает какое-то душевное равновесие, отходит, закручивает волосы на затылке в узел.

— Близки! — передразнивает она, ища продолжения своим мыслям.

— Кто-нибудь все же должен любить их, — вставляю я.

— Они моей породы. И только у меня есть на них право! У меня!

— Черт возьми, да замолчите вы наконец! — восклицает Рууди, которого мы как-то совсем забыли.

Рууди заходится кашлем. Открываю окно, Юули быстро приносит стакан с водой. Глотнув, Рууди говорит:
— Ох, вы, госпожи госпожьи! Одумайтесь!

Юули, пристыженная, уходит на кухню. Я закрываю окно и, мучаясь неловкостью, стою посреди комнаты. Чувствую, что Рууди чего-то недосказал, но он устало закрыл глаза.

— Доброй ночи, Рууди.

— Доброй ночи, благослови вас бог!

У него еще хватает сил, чтобы открыть глаза и посмотреть, улыбнусь ли я.

В темном коридоре стоит Юули. Я тоже задерживаюсь. Юулина рука тяжело опускается мне на плечо. Она шепчет, чтобы не услышал Рууди:

— Не первый и не последний это раз...

— До свиданья.

Поднимаясь на крыльцо переднего дома, я смотрю на Руудино темно-красное окно, которое, казалось, горит в жару.

Гнетет стыд за то, что я позволила втянуть себя в скандал, что наговорила всяких нехороших слов.

Мы же с Юули дети одной матери и одного отца.

5

Медные трубы начищены до блеска, подобно потускневшей скорби, с которой сняли многолетнюю накипь. Скорбные звуки труб счищают коросту заглохшей боли, обнажая свежее страдание. Ожившие воспоминания вдруг молодят, а невозвратимая утрата делает еще старше.

На каком гробу, накрытом кумачовым полотнищем, остановить взгляд? В котором из них собраны его останки? Антон, Антон, мало было у нас с тобой общих дней. Три и два, пять и полтора. Всего одиннадцать с половиной. Все так глупо кончилось. И ничего уже не поправишь.

В каком гробу?

В одном из них и в то же время во всех двенадцати. Песок иерусалимского сосняка и лиловоглазый вереск лежат вместе с ними в гробах. Песок, вереск, сосновые иглы. Тысячи хвоинок, тысячи непрожитых дней. Какой короткий срок — одиннадцать и еще полдня! И зачем только человек так много помнит?

Говорят родные, толпа застыла без движения. Из-под опущенных козырьков, из-под платков глядят серьезные, строгой огранки лица, будто в них окаменели скорбь и почтение. Земля, казалось, вытягивает сквозь булыжник живое биение сердца, дыхание живых застывших статуй. На мой локоть давит безжизненно тяжелая рука Лийны, скосив взгляд, вижу ее заплаканное лицо. Не по брату Антону, видно, плачет она, наверное, думает о Василии. Василий, он реальнее, чем песок, вереск и сосновые ветки. Василий еще не стал прахом.

Звучит грустный похоронный мотив. Зачем отрыли в сосняке и собрали в двенадцать красных гробов эти останки — мертвые продолжают существовать лишь в памяти живых, останки их уже давно потеряли значение.

О, Иерусалим, святой небесный город...

В самый неподходящий момент вспомнилась эта неуместная строчка из псалма. Откуда у эстонской сосновой опушки такое странное название?

Лийнины глаза покраснелись, и щеки взмокли от слез.

— Ты смеешься, Анна? — шепчет она испуганно.

Неужели я смеялась? Под звуки труб делаю губами движение, будто отвечаю Лийне. Но даже с Лийной мне не хочется поделиться этой мгновенной горячей волной, пронесшейся и погасшей в моем теле, запрессованном в ледяной панцирь.

Остались лишь бесстрастный песок, грустный вереск и пожелтевшие хвойные иглы... Слышатся какие-то угловатые слова и гулкие речи. Это им, для кого в городском парке разверзли землю.

Можно было бы тут же, на этой вот Ливонской площади, развести костер и сказать: идите и обогрейтесь, люди. Вспомните, что погибшие до последних дней своих ощущали такую же сырую и тусклую декабрьскую погоду. Взгляните на мощное пламя костра! Они жили горячо и умерли стоя. Вспомните о тепле, которым они делились с ближними. Не забывайте, это они зажгли в своем народе революционную искру. Люди, идите и грейте у огня свои руки...

Лийна рядом вздрагивает.

— Что с тобой?

— Посмотри, кто выступает!

Вижу коренастого мужчину в синем пальто и зеленой

фуражке. У него крупные черты лица, когда он говорит, широко растягиваются толстые губы. Правую руку, сжатую в кулак, держит перед грудью, в этот момент он говорит о злодействе белых палачей, которые погубили лучших сынов эстонского трудового народа.

— Миронов! — шепчет Лийна.

— Какой Миронов? — Я сразу не поняла.

— Ми-ро-нов, — по слогам повторяет Лийна.

Прижимаю Лийнин локоть к своему боку.

— Ну и что?

— Я боюсь, — бормочет Лийна и не сводит взгляда с выступающего.

— Какое тебе сейчас до него дело?

— Есть.

И тут все приходит в движение. Звуки похоронной музыки, заглушаемые шумом моторов, начинают вибрировать. Грузовики страгиваются с места. Красные гробы плывут над людскими головами к центру города.

— Антон, брат, — вздыхает Лийна, вытирая уголки глаз, — насколько бы все было яснее и легче с тобой.

Мой Антон, повторяю я в мыслях, насколько с тобой мне было бы все яснее и легче.

Замечаю Миронова, который, оглядываясь, ищет кого-то в толпе.

Окоченевшие от долгого стояния и холода ноги скользят по булыжнику. Опираюсь на Лийну, взгляд у нее отсутствующий, и она легко позволяет вести себя вперед.

— Миронов вроде кого-то ищет, — говорю я Лийне, так как все время не упускаю из виду зеленую фуражку.

— Уйдем! — в замешательстве шепчет Лийна.

Прибавляем шагу. Перебираемся на тротуар, некоторое время идем наравне с последним грузовиком, на котором стоит двенадцатый гроб, затем сворачиваем в неожиданно пустынный и ветреный проулок. Вдоль берега реки доходим до моста. Над серой водой словно поднимается пар. Отсюда уже недалеко и до Лийниной тетки, в доме которой мы остановились.

Добрая старушка разогрела для нас чайник; достав из чулана банку с вареньем и видя, что настроения разговаривать у нас нет, она не стала докучать нам распросами.

Лийна забирается в задней комнате с ногами на диван, прикрывает ноги подушкой, на которой вышиты колокольчики, и зовет меня к себе.

— Тетя! — кричит она в кухню. — Нет ли у тебя вина, мы страшно продрогли!

Тетя приходит с бутылкой и рюмками, разглаживает заскорузлыми пальцами скатерть на столе и понимающе улыбается нам. Затем исчезает на кухне, закрывает за собой дверь и начинает громыхать посудой.

— Наливай! — приказывает с дивана Лийна.

Она одним залпом осушает рюмку, делает глубокий вдох и повторяет:

— Наливай! Боевая старуха эта тетка моя! — говорит Лийна, побалтывая между пальцами пустой рюмкой.

— Человек! Держит дома вино.

— Что тебя еще связывает с Мироновым?

Лийна оглядывает меня затуманенными глазами.

— Боюсь, что твоему разуму этого не постичь.

Еще раз наполняю протянутую мне рюмку.

— Ах, все равно, думай что хочешь. Из меня получилось... Знаешь, мерзкое слово, язык не поворачивается, чтобы сказать! Миронов забрался сегодня на трибуну, потому что знал: я приеду сюда. А вообще-то он причалил к таллинской гавани, бросил там якорь. И вовсе не затем, что его пленили чары старого ганзейского города.

— Чушь несешь!

— Все мы становимся жертвами своего простодушия... — продолжает Лийна.

Словно против воли, она протягивает мне свою рюмку.

— Какая прелесть пропустить глоток! Душа высвобождается, будто ореховое ядро из скорлупы, по телу расходится тепло, и ты можешь говорить обо всем с таким же спокойствием, как говорят сегодня о какой-нибудь Пунической войне. Хорошая рюмочка, знаешь ли, даже лучше, чем переспать с мужиком.

— Эта история с Василием совсем выбила тебя из колен.

— Оно конечно...

Невольно бросаю взгляд на улицу, смотрю сквозь занавеску с вывязанными розами.

Лийна замечает и вдруг начинает смеяться:

— Маленький, тихий Пярну... Здесь господствует ясный и возвышенный революционный восторг. Торжественно слушали речи собравшиеся на митинг люди, с искренним благоговением провожали они взглядами красные гробы.

— И Антона тоже, — добавляю я.

— И брата Антона — тоже, — кивает Лийна и продолжает: — Просто стыдно говорить о чем-то мелочном в этот траурный день. Если бы Антон был жив, он сейчас остался бы непреклонным. Кажется, что мужчинам вообще проще, женщины легки на страдание и жалость. Копаются, что ли, больше в себе, надрывают душу.

— Антон погиб молодым. Годы прибавляют сомнения.

— Да.

— Лийна, а Миронов?

— Миронов, Миронов... — грустно тянет Лийна и ударяет кулаком по вышитым на подушке колокольчикам. — Предложил свою помощь.

— В чем?

— Не будь наивной. Достаточно пяти минут, чтобы оценить женские достоинства... Миронов дал мне неделю на размышление... Я стала убеждать себя, что он не такой уж неприятный, что он довольно мужественный человек и все такое...

— А дальше?

— Что дальше! Порядочный человек, насколько ему подобный способен на это.

— Глупое понятие: порядочный человек.

— Все-таки. В меру заботлив, уважителен. Неизменная привязанность тоже что-нибудь да значит.

— И ты смирилась...

Лийна смеется.

— Что я могу сказать, я даже не видела Василия.

— Ну, знаешь ли... — Лийнины руки никак не могут выбрать себе положения. — Хватит. Наконец и я хочу жить спокойно. Хотя бы так, как живешь с Кристьяном ты.

Ехидная параллель.

— За человеком, который и тебя защищает, и сам твердо стоит на земле. Временами кажется, что вся беда и вовсе во мне — беспокойная, вырываюсь из общего течения бог знает куда. Надо верить тем, о которых сказано, что они достойны доверия, верить в то, что, по словам, достойно веры. Свою личность необходимо оставить в стороне. Из Миронова, наверно, со временем получится хороший муж. Любовь, нелюбовь — просто химеры нашего воображения. Ното sapiens является рабом самого себя. Если думает, что кого ненавидит, — то и дрожит от негодования. Может, я просто вбила себе в голову, что люблю Василия. Подобно тому как почему-то считается, что короткие пальцы у человека — это некрасиво, мало

того — будто бы даже выражают дурные наклонности.

— Ты пьяна, Лийна.

— О нет, с помощью новых представлений удастся освободиться от старых. Наливай!

Поднимаю бутылку на свет и выливаю остаток в Лийнину рюмку.

— Ты железной метлой выметаешь из себя человека,— говорю ей.

— Это еще вопрос, где больше человека — в прежней или нынешней Лийне.

— Говоришь о себе в третьем лице, словно нет уже ни прежней, ни настоящей.

— Может, они обе уже давно умерли.

Лийна протягивает ноги, перелезает из угла на середину дивана, поправляет подушку, растягивается и закрывает глаза.

— Душа как-то отдыхает,— говорит она через некоторое время дрожащим голосом.

Пальцы запутываются в бахроме скатерти. И сразу же бахрому расходится на отдельные нити.

Гляжу на безлюдную улицу. За голыми тополями мерцают огни городского центра. Лийна сдавленно всхлипывает.

— Послушай, пропащий ты человек, если тебе не спится, может, сходим на могилу Антона? Поезд наш отправляется рано утром, в кои-то веки мы еще попадем в Пярну...

Лийна со вздохом поднимается и на ощупь бредет к вешалке. Засунув одну руку в рукав пальто, бормочет:

— Я и не знала, что Антон для тебя так много значил.

— Больше, чем ты можешь себе представить.

— Хотелось бы услышать об этом,— оживляется Лийпа. Дремотное состояние от вина у нее вроде бы немного прошло.

На улице Лийна с шумом хватает сырой холодный воздух, будто хочет моментально отрезветь. Вышагиваю впереди нее по направлению к мосту. Ледяное дыхание реки заползает за ворот, пробирается в рукава до самых локтей. Поднимаю мохнатый воротник пальто и запикиваю руки в хлопчатобумажных перчатках в рукава. На мосту Лийна догоняет меня и пытается идти со мной в ногу.

— Что у тебя с Антоном было? — слышу у самого уха ее негромкий голос.

— Я любила его.

Туманная морось глушит мои робкие слова. Поймав Лийнин медленный кивок, я убеждаюсь, что она слышала.

— Или ты, Лийна, не помнишь? «На эту ночь мне нужна вон та роскошная барышня», — сказал Антон, указывая на меня пальцем. Я сидела рядом с тобой, и было это как раз вечером, накануне Мая.

— Да-аа? Прямо так нахально и сказал?

— Иногда ему нравилось выставить себя таким неотесанным посадским парнем. Перед Маем, во время уличных облав, такой маскарад был в самый раз — под ручку с девчонкой, молодые влюбленные. Наверняка избавит от арестантской. Ты сама попросила меня: иди погуляй с ним. Не знаю даже, что меня подгоняло — любопытство или жажда приключения? Иногда бывает так: думаешь пойти на минутку, а уходишь на всю жизнь.

— На всю жизнь! — резко смеется Лийна.

Мимо нас пронесится грузовик с зажженными фарами и обдает ноги грязью.

— Болван! — ворчит Лийна и топает ногами, чтобы стряхнуть грязь.

— А дальше что? — допытывается рассеянно Лийна, больше из приличия. Ей было достаточно, что она услышала слово «любила». Детали остались в далеком прошлом и, видимо, интереса не представляют.

— Говорить об этом на улице как-то неловко, — отнекиваюсь я.

— Ладно, потом доскажешь, — поспешно соглашается Лийна.

В парке, рядом с площадью Победы, между деревьями мерцает звезда, сюда мы и направляемся. Ступив на сыроватую дорожку, невольно замедляем шаг. Освещенная изнутри звезда отбрасывает слабый красноватый свет на траурные ленты. Блестит пленка сырости, покрывшая вощные лепестки искусственных цветов.

Почему-то вдруг никак не настроюсь на торжественный лад, не могу благоговейно стоять. Замечаю кончик ленты, затоптанной в грязь, на одном из венков оголились три проволоочки — бумажные розы с них свалились. Никого тут больше нет. Когда человека хоронят во второй раз, у близких уже недостает слез, чтобы окропить могилу.

И все же за спиной приближаются шаги. Или душа у кого-то не находит покоя? Охватила печаль, и пришел он в промозглый вечер, чтобы постоять у этого надгробного холмика.

Тяжелые и медленные шаги. Вроде бы мужчина.

Лийна вздрагивает и оглядывается.

— Я искал вас,— слышу я русские слова.

Оборачиваюсь и вижу Миронова.

Лийна пожимает плечами и собирается безропотно уйти с ним.

— Ах, да,— говорит она равнодушно,— вы, кажется, незнакомы.

Миронов приглядывается ко мне. Затем в одно мгновение пожимает мои пальцы и заканчивает церемонию знакомства коротким кивком. После того как мы представились друг другу, наступает неловкая тишина. Я как-то робею перед взглядом Миронова. Во взгляде его темных глаз настойчиво буравит жадное любопытство: кто эта женщина, что стоит перед ним?

Отвратительное ощущение неуверенности!.. Спрашиваю с безразличной вежливостью:

— Где вы остановились, товарищ Миронов?

— Тут, в гостинице,— отвечает он и указывает большим пальцем через плечо в сторону площади.

— Впервые в Пярну?

— Да,— отвечает Миронов, почти не шевеля губами.

— Пойдем,— произносит Лийна. Ловлю ее пустой взгляд, он словно говорит: забудь и Василия, и Миронова, все, что ты знаешь обо мне,— забудь. Будто отсюда, с этой вязкой дорожки ночного парка, от этого затоптанного в грязь кончика ленты начинается ее новая жизнь.

— Я останусь,— говорю я грубовато, с вызовом, надеясь встряхнуть Лийну.

Она смотрит сквозь меня, словно сквозь окутавший ветви туман, который на самом деле есть не что иное, как просто насыщенный влагой воздух.

Стою вполоборота к освещенной звезде и поглядываю вслед Лийне и Миронову. Фонарь на краю площади еще долго протягивает ко мне их длинные, пошатывающиеся тени.

Исчезли.

Среди тысяч втоптаных в дорожку следов отпечатки их подошв сразу же затерялись.

Стараюсь сосредоточиться на мысли об Антоне, представить его образ, отложившийся в воспоминаниях, выхваченный из лавины лиц, прошедших перед глазами за жизнь.

Неожиданно все мешавшие мне до сих пор рты, глаза, вислые носы, заросшие подбородки, плешивые головы, толстые стекла очков, конопатины, скуластые щеки и ошетилившиеся брови — все это рассеивается, и передо мной стоит он один, до странности молодой.

Остался бы еще хоть на мгновение!

Еще на секунду!

Лицо Кристьяна все пыталось заслонить Антона, а временами я видела даже кого-то еще, у которого был лоб Кристьяна, а щеки, подбородок и шея — Антона. Не осталось даже его фотографии. В Ленинграде мы провели с ним вместе половину нашего последнего дня, тогда я попросила у него фотокарточку — он рассердился. Все подтрунивал, что напишет на уголке: «На вечную память» — эту сентиментальность кисейных барышень; неужто, мол, я и впрямь думаю, что он отправляется на смерть!

Все мы верим в свое бессмертие. И уж, по крайней мере, в двадцать шесть лет никто не предполагает, что конец может оказаться так близко.

Поднимаю измазанный кончик ленты и вешаю его на словую ветку.

Вот если бы сейчас меня увидел Кристьян! Одна, ночью, на могиле Антона. Когда вчера вечером Лийна пришла и позвала с собой, Кристьян отговаривал. Не надо ехать. А утром я оставила ему записку, что уехала на день в Пярну.

Ага! Значит, и в тебе скрывается насадка, которая дрожит перед мужем!

Куда только спрятать от себя глаза?

Плохо скрытая досада, молчаливость, самозатворничество. Ну и пусть!

Не стоит оно того, чтобы думать об этом на могиле Антона.

Наше странное знакомство, Антон, я не причисляю к тем одиннадцати дням. Если же все-таки причислить — тогда их будет все двенадцать. Двенадцать дней слишком дорогого времени, чтобы из него можно было опустить хотя бы минутку.

Предмайская ночь восемнадцатого года. Романтика? Никаких соловьев, лишь бесконечная изнуряющая ходьба по ветреным улицам, меж немо глядящих домов. Пронизывающий северный ветер пробирал нас на Ратушной площади, перед Палатой мер и весов. Там он взял мою руку в свои ладони и забеспокоился: «Ты не замерзла?» К утру в вонючих подворотнях мяукали коты, мы вернулись в старый город — голые деревья на Линдамяги не прикрывали нас от дождя. А рано утром Антон купил у понурой старушки в воротах улочки Пикк Ялг целую охапку подснежников. Сколько бы мне потом ни дарили цветов, я никогда не вспоминала их так, как эти.

Безмолвное ночное хождение по улицам и такое домашнее «ты» возле важни — это почти необъяснимо, но я хотела как-то быть выше себя, не хотела поддаваться усталости, очень не хотела! Прощаясь у калитки, под набрякшими от града тучами, я отвернула лицо в сторону. Уткнулась носом в подснежники, которые вовсе не пахнут, и почувствовала щекой Антонову особую усмешку.

Тогда я еще не отдавала себе отчета, что пошла на чуток, а ушла на всю жизнь, не представляла, что пробудилось во мне в то хмурое утро.

Потом я слышала, что Антон прямо от меня направился на майскую демонстрацию, которая была разогнана немецкими войсками и отрядами «Бюргервера».

Одиннадцать с половиной! Многое связано с этими короткими днями. На взгорье растаяла ошметина снега, сбегала бурлящим ручейком. Но из ручейков, сбегавших в овраг, может образоваться целая река, которая, бывает, достигает даже большой воды, если только, бессиленная, не уйдет по дороге в песок.

Все ищешь над ветреными дюнами моря миражей.

После той майской ночи Антон прислал ко мне каких-то людей, которые всегда представлялись посланцами Антона: мол, Антон просил. И я, ужасно обрадованная, мчалась выполнять всевозможные незначительные поручения. Антон!

Все пошло более или менее так, как подсказывала логика того времени. Участие в подпольной работе, тайные явки, арест, смертный приговор, обмен.

Между этими этапами — ровно восемь дней, проведенных вместе с Антоном, его арест на профсоюзном съезде, кровавое побоище в Изборске, а также Кристьян.



Кто знает, если бы не было Антона, может, и я сейчас терзалась бы душевным похмельем, подобно тому как терзается Юули из-за этой национализации. Плакалась бы по привольному домовладельческому хлебу, по затхлому казарменному коридору, где по обе стороны расходятся двери неиссякаемых сокровищниц, а за ними, за каждой,— скрывается ежемесячная крошка золота.

Девушка с наследством, строившая честолюбивые планы!

И вышивала бы я на диванных подушечках непахучие колокольчики, жила бы себе при буржуазном строе, внешне казавшемся благопристойным,— и весь мир для меня оставался бы таким же далеким, как бури в стратосфере, не знала бы я, что человеку даны сомнения, познания и ошибки, что все-таки есть нечто, во имя чего стоит отказаться от ежевечернего смаривающего тепла возле изразцовой печи.

И не умела бы я тогда любить людей.

Вот и Кристьян говорит: не ходи. А те ночи давно растворились в блеклом рассвете, и дни, что провели мы вместе с Антоном, закатились. Но сила духа его, решимость и устремленность остались вечными величинами, особенно когда на распутье охватывает сомнение, когда кажется невозможным отличить добро от зла.

Тогда он является яркой звездочкой на зимнем ясном небосклоне, и его звонкий смех расправляется с твоими слабостями.

Нет, Антон бы никогда не опустил руки — ни перед кем и ни перед чем. Дошел бы куда хочешь, но правды добился бы...

Наверное, я все страшно упрощаю. Разум Антона, да, он... Верно, в его времена топором вырубали нормы и формы нового общества, в наши дни это делают резцом и напильником. Хотя, может быть, декабрьское восстание и нуждалось в более тонком инструменте? Удар молота — пусть даже с силой трехсот пар рук, — он только плющит железо.

Последние полдня, проведенные вместе с Антоном в Ленинграде, во всех отношениях — половинчатые. Обрывочное утро, какие-то пунктирные перемолвки и хождения — продолжение казалось неизбежным. Сотни дел; перед тем как отправиться на поезд, я бесконечно долго толкалась на улице, мешая людям, пока Антон ходил сдавать документы. Мы оба были рассеянными, в мыс-

лях он, видимо, уже пересек границу. Мужчины, уходящие на войну, нетерпеливы, женщины пусть скорее уходят с глаз долой, из сердца — вон.

Так и должно быть. Вот только половинка дня половинкой и осталась.

Кажется, отныне всегда, когда мне понадобится спокойствие и твердость, я буду вспоминать эти будто высеченные из гранита лица на сегодняшнем траурном митинге.

На сегодняшнем или вчерашнем митинге?

Застывшими пальцами приподнимаю с запястья рукав. Часы громко стучат. До полуночи осталось полчаса.

Вытаскиваю каблуки из грязи. Лийна уже, наверное, ждет, свернувшись на диване, бутылка, выпрошенная у сердобольной тетки, — на столе, не хватает только меня; выпивка без задушевной болтовни немногого стоит.

Но диван, где я надеялась застать Лийну, оказался пустым. На расспросы обеспокоенной тетки буркнула, что Лийна встретилась в городе со своим старым знакомым и скоро придет.

Постельное белье, сложенное стопкой на стуле, тянет ко сну. Однако без Лийны лечь спать не хочется. Набрасываю, просто так, на ноги большой платок, прислоняюсь спиной и затылком к подушке и расслабляю тело.

Словно в свежее сено, проваливается в подушку голова.

...Шуршит по крыше сарая теплый июльский дождик. Антон уже уснул, чувствую, как его пальцы, державшие мою руку, расслабились. Пиджак его, которым мы укрывались, сполз, и на мои голые плечи сыплется труха. Белый зонтик мы воткнули рядом с люком в то место, где лежали, прикрытые охапкой сена, листовки с манифестом. Кому придет в голову искать здесь, на лугах, нелегальную литературу? Просто два молодых сумасбродных человека бродили сегодня по деревенским улицам, по болотной тропе и покосам. Собирали цветы, отдыхали под березой, а в полдень продолжали свой путь, держа над головами белый зонтик. Странная пара. В России идет гражданская война, под сине-черно-белое знамя «освободительной войны» встали «лучшие сыны» Эстонии, дачники — явление редкостное. Что из того, что под едой в котомках «бездельники» несли листовки? Сено нужно убрать, пока стоит ведро, у крестьян, у мызных батраков и бобылей заботы по горло, земля не терпит промедле-

ния: то, что надо сжать, убрать, нужно сделать вовремя. Да и сколько их наберется, по полям да по покосам, людей, которые понимали бы смысл этих непривычно звучащих слов: коммунизм и манифест! Но именно им, этим людям, были предназначены отпечатанные листовки с заголовком: «Манифест ЦК Эстонской Коммунистической партии к эстонскому трудовому народу».

Место, где жирными буквами сказано, что да здравствует мир с красной Россией, доходит сразу. Мир на земле всегда был стоящим делом. И сыны тогда останутся в живых и дома, и мужики скинут с плеча винтовку и возьмут в руки косы — одной бабьей заботой так запросто с эстонской женщицей не справиться. Кто выкатит все эти камни, кто подлатает до осенних ливней крыши, кто поставит новые срубы в колодцах, чтобы с детишками не было опаски? Кто словит быка, если он вдруг сорвется с привязи, кто подержит ногу у коня, когда того понадобится подковать, кто по весне пустится в долгий трехдневный путь к морю, чтобы запастись на лето салакой? В мирное время лучше родят поля и бабы — тоже. И детям достается отцовская забота и острастка, а женам — ласка, когда обожженные солнцем и онемевшие на покосе плечи коснутся соломенных матрасов.

Баба одна не потопает по сугробам, чтобы зимней ночью палить за конюшней по волкам, и деревья в лесу не свалить, даже пива не сварить — да и кому оно нужно, если нет того, кто его пригубит?

Антон держал речь, старики кучкой вокруг, женщины поодаль, белые платки натянуты на лоб, крепкими руками упираются о черенки грабель. Мир, оно конечно, размышляли иные, но ведь господа из земского собрания обещают поделить мызы, а что для мужика важнее, чем собственный надел? За свою женщицу приходилось и постоять, и правды поискать. Наконец пора и в хозяева выходить, не надо нам ни немцев, ни красных, сами умеем свою землю пахать и за домом приглядывать. В свое время, было дело, мужики в Махтра поднялись против барского кнута; теперь народ посильнее, да и чужие правители завели между собой свару, сейчас в самый раз свою эстонскую власть у себя утверждать.

Антон спорил и убеждал, голос его крепчал, и слова были весомые. Солнце било ему в глаза, и выцветшие ресницы часто моргали, скулы рдели, губы пересыхали и запеклись. Он рубил рукой воздух, будто хотел за-

гнать в землю возражения, чтобы от них не осталось и следа. Там, где люди были победнее, слушали дольше, зато хуторяне, чьи сыны воевали под сине-черно-белым флагом, отмахивались и уходили кончать прокос, женщины, те расходились нерешительней, возвращаясь к своим люлькам и бидонам с обратом. Удивительно, как просто люди разделяются на классы, прослойки, выражают той или другой стороне свои симпатии — особенно это заметно в сложные и запутанные времена!

Люди победнее угощали салакой и лепешками из ячменной муки, при встрече с хозяевами побогаче — нам вскоре показывали спины и плевали под ноги.

Антон шевелится во сне, его запекшиеся губы все еще произносят неслышные слова. Сегодня на болоте я едва попевала за ним и ныла, — видимо, была просто обузой. Он громко смеялся: «Я же всегда беру с собой какую-нибудь хорошенькую барышню, она помогает отводить от меня подозрение».

Почти год я вполне сносно выполняла небольшие задания, а он теперь старался поддеть меня, назвать мешанкой, которая из-за романтики принимает участие в нелегальной работе.

Романтика? Конечно. Таких, как мы, преследовали, каждое утро, протирая сонные глаза, боялась открыть их — а вдруг небо уже в решетках?

Нервная дрожь? Разумеется! На болотной тропке из-под ног уползла в вересковый куст гадюка, заросли цепляются за одежду, будто злой дух, который предостерегал и вынуждал останавливаться.

Антон словно хотел освободиться от любви, задеть грубым словом, чтобы я оставила его. Но и он забывался, в этом у него особой последовательности не было. Я долго не знала, что у Антона есть жена, только позднее, уже в Ленинграде, все выяснилось. Решили, что, когда он вернется после декабрьского восстания или когда я приеду к нему, — мы сойдемся. За долгие дни разлуки чувства устоялись и прояснились. Узнав о кровавой трагедии в Изборске, поверила слухам, однажды я уже схорила его...

Антон, это ты взял меня за руку? Все-таки вернулся?

Шурю глаза. Чужая полутемная комната. Сгорбленная старушка стоит надо мной и шепчет:

— Не знаю, что и подумать, в городе столько красных солдат, вдруг что с Лийной случилось?

Откидываю платок в сторону, опускаю ноги на пол и нащупываю пальцами туфли.

— Я схожу за ней,— успокаиваю старушку и снимаю с вешалки пальто.

— Да куда там на ночь глядя, скоро уже два часа,— приличия ради удерживает она.

— Не беда, я не боюсь.

Дождь, начавшийся до этого, еще и сейчас не совсем прошел. Шагая по лужам, удаляюсь от дома — ясно, что Лийнина тетюшка следит за мной из окна.

Ей незачем думать, что я остановилась на улице от беспомощности. Дойдя до мостика, который извещает о себе глухим рокотом под ногами, я задерживаюсь и даю глазам привыкнуть к темноте. Впереди на улице разлилась вода, миновать ее можно, видимо, только подле покосившегося забора. Справа слух режет монотонный скрип — не иначе как флюгер на фронтоне вон той приземистой черной крыши. Направляюсь медленно к луже. У забора кто-то положил на камни обрезок доски, которая прогибается и хлопает под ногами. Не беда, в отдалении виднеется булыжная мостовая и тускло светятся редкие фонари.

Добравшись до перекрестка, слышу, как кто-то заунывным голосом заводит:

Цвее-тут в саду лимоны,
а сам я убогий и голый...

Свернув на шоссе, вижу пошатывающегося пьяницу, каждый шаг дается ему с великим трудом. Когда я прохожу мимо, песня обрывается и мужичонка жалостливо плачется:

— Госпожа, ду-уша моя раз-рывается.

Прибавляю шаг.

Окоченевшие суставы понемногу разогреваются, и дрожь в теле проходит, оттаивают и мысли.

Как вызволить Лийну? Будь что будет, но я должна привести ее домой. И вообще меня бесят ее выходы, эта манера усложнять свою жизнь. Неужели у нее нет ни крошки презрения, ни капельки гордости, чтобы кончить эти шашни с Мироновым! Ну почему? Или она стала настолько робкой и безвольной, что идет по течению жизни?

А может, моя досада — всего лишь брюзжанье человека, которого подняли среди ночи с постели? Если ты как раз ищешь тропку, чтобы пробраться между грязны-

ми лужами и кочками, да еще в темноте декабрьской ночи, то все твои выводы, возможно, являются в большей степени следствием мокрых туфель, нежели чего другого.

И образ Антона растворился.

Сильнее размахиваю руками — скоро становится совсем тепло.

Нет, уж теперь-то я приберу Лийну к рукам! И эта мысль радует меня... Василий, пусть я его никогда и не видела, не простил бы Лийне ее душевной слабости, тем более Антон. Неужели память об Антоне ничего не говорит ей? К черту компромиссы! Есть еще силы, чтобы оставаться твердой, не причисляй себя к старичкам и циникам! Никогда я не хотела, да и не смела вмешиваться в чужую жизнь, но теперь, Лийна, я не останусь в стороне! И пускай моя решимость будет тебе поддержкой, тем локтем, которого, как ты говорила, тебе не хватало в жизни. По праву подруги я остановлю твое недостойное поведение.

Что, Антон захохотал?

Взошла на мост. Справа, со стороны моря, мерцают огоньки судов, бросивших в устье реки якоря. Огоньки, словно булабочные проколы в черном картоне, до жалости малюсенькие.

Матовое стекло в дверях гостиницы освещено.

Нажимаю на кнопку звонка. Кто-то идет, волоча ногами. Из приоткрытой двери, склонившись, выглядывает плоскогрудая женщина с растрепанными волосами. Нашаривает в кармане платья очки, надевает их на нос и, не отвечая на мое приветствие, пропускает меня за порог.

— Я прошу немедленно позвать товарища Миронова, — требую столь самоуверенно, что дежурная, которая собиралась возразить и уже было открыла рот, так ничего и не говорит. Оглядывая меня через плечо, она прошаркала в тапочках к лестнице.

Стою посреди вестибюля. Мне представляется, что в таком виде я более воинственна.

Сверху доносится легкий стук, скрип двери и полусшепотом сказанные слова. Миронов перегибается через перила, чтобы посмотреть вниз, видит меня, затем отступает к двери своего номера и уже выходит вместе с Лийной.

На ее лице проступает нерешительная улыбка. Взяв

пальто и платок, Лийна торопливо спускается вниз. За нею размеренными шагами идет Миронов. Последней, крепко держась за перила, шлепает дежурная.

— Не иначе моя тетка выгнала ночью Анну на улицу,— с нервным оживлением объясняет Миронову Лийна. — Сейчас пойдем,— бросает она мне. Протягивает Миронову руку и утверждающе произносит: — Ну, все более-менее ясно. До свидания!

Кивая через плечо Миронову; дежурная стоит возле двери и придерживает ее открытой. Старуха презрительно смотрит на нас маленькими коричневыми глазками, словно хочет сказать: видали мы таких потаскух, что беспокоят по ночам добрых людей и таскаются с мужиками по гостиницам.

Лийна пристраивается ко мне под ручку, и я уже готова взорваться. Ну погоди же, думаю я, сейчас ты услышишь, вот только отойдем немного. Не успели мы дойти до моста, как хлынул дождь. Тяжелые и стылые капли просто секли по голове, спине, по ногам. И тут же вроде становится светлее — пошел дождь со снегом. Разлапистые хлопья оседают на воротник, а те, что опускаются в лужи,— исчезают бесследно. Снег невероятно быстро превращается в грязь.

— Лийна,— холодно начала я.

— Прошу, помолчи,— шепчет она.

Тусклые городские фонари остаются все дальше за спиной, снегопад повесил между нами и судовыми огоньками непроницаемый занавес.

Вдруг Лийна резко вырывает свою руку и останавливается.

— Чутьочку рановато ты пришла. Мы еще не решили — поженимся ли в этом месяце или перенесем на январь.

Лийна хохочет. В ее смехе слышится торжество самки, отчаяние чудится только мне.

Меня будто проволокли по стерне.

6

Они стоят возле почетных мест, оплетенных венками из брусничных веток, и ждут, пока гости рассядутся.

Приглашенные растерянно перешептываются, не зная, то ли им любоваться молодоженами, то ли восхищаться элегантно сервированным овалом стола. Накрахмаленная скатерть, на ней белые приборы с золотой каемоч-

кой, на хрустальных графинах серебрится изморозь. Стройный ритм рюмок — для водки, вина и шампанского — подчеркнут белыми цикламенами, которые тут и там высятся из миниатюрных вазочек. На середине стола выстроились блюда со всевозможной аппетитной закуской, мастерски оформленные.

Юули стоит в сторонке и сосредоточенно молчит, скрестив на животе руки. Ее внешняя степенность не оставляет желать ничего лучшего, из белого жабо твердо выступает шея, подбородок выставлен вперед, полоска губ скромно подкрашена. И неподвижная поза вполне к лицу пожилой даме, которая за свою жизнь — ох, и не счесть сколько раз, — принимала участие в подобных праздничных трапезах.

Торжественное промедление вызывает на лице невесты некоторое нетерпение, но жених — Рууди, стоящий рядом и разглядывающий застывших родственников, наслаждается картиной. С трудом сдерживает улыбку. Бросив на невесту исподволь оценивающий взгляд, Рууди многозначительно подмигивает мне.

Из-за двери спальни выглядывает светлоголовый, бледный мальчонка, сине-белый галстук-бабочка под малюсеньким подбородком. Ребенок оглядывает грустными серыми глазами чужих людей, снова и снова задерживая взгляд на длинном, худом мужчине, который стоит рядом с его матерью.

От нас отделяется Мирьям и делает несколько шагов по направлению к мальчишке. Засунув руки в карманы платья, она таращится на его светлое лицо над галстуком-бабочкой.

Мальчишка боязливо пятится и, полузакрыв дверь, смотрит в щелку на воинственного вида девчонку.

Минутное оцепенение, охватившее гостей и готовое уже перейти в неловкость, само собой проходит. Все пришли в движение, начинают снова, обмениваться быстрыми, обрывочными фразами.

— Прошу, прошу. — Руудина невеста подбадривает гостей, которые топчутся возле темных дубовых стульев. Жена Арнольда строго смотрит на дочку, чтобы та подошла и села рядом с ней, но Мирьям все равно усаживается по соседству с Рууди. Маячивший в дверях мальчонка забирается на свободный стул рядом с матерью и пытается взглянуть из-за спин молодоженов на Мирьям. Юули занимает стул напротив невестки. Ар-

нольду остается место по левую руку от матери, мы с Кристьяном, как родственники более дальние, усаживаемся в конце стола.

— Уух-х,— вздыхает Рууди, когда гости перестают наконец двигать стульями. Он подает знак, берет ближний графин с водкой и наливает рюмку своей невесте. Мужчинам их обязанности указаны, и рюмки наполняются. В движение приходят тарелки со студнем, блюда с рыбой, масленки, тарелки с сыром и колбасой — все это, колыхаясь, переходит из рук в руки. Когда посуда с закуской снова опускается на стол с накрахмаленной скатертью, чинный порядок за праздничным столом окончательно нарушается.

— За здоровье молодых! — особым грудным голосом восклицает приподнявшаяся Юули.

— За здоровье молодых! — поднимая рюмку с морсом, повторяет Мирьям, и мальчишка, по примеру предприимчивой девчонки, тоже звонко провозглашает:

— За здоровье молодых!

Смех окончательно устраняет холодновато-строгое стеснение, которое вначале владело гостями, и вот уже совсем по-домашнему стучат ножи и вилки. Арнольд отодвигает вазу с цветами, чтобы достать хлеб, Юули предлагает жене Арнольда «очень хорошего угря», а Кристьян даже расстегивает пиджак и вытягивает шею, стиснутую воротничком.

И лишь невеста, вернее, только что обрученная Релли, сохраняет великосветские манеры.

— Давно ли мой Рууди был голенастым сорванцом, а теперь, гляди-ка ты, женился. — Юули кивает рюмке, которая подрагивает в ее руке. — И жену взял, и сыночка одним разом заимел, очень милого ребеночка, скажу я вам.

Релли краснеет, опускает глаза, затем обнимает левой рукой мальчишку с галстуком-бабочкой на шее и шепотом советует ему:

— Ешь, ешь, Ильмар.

После чего поправляет бутон в волосах и напускает на лицо радужное спокойствие.

Рюмочка холодной водки растекается внутри теплом, тело расслабляется. Прислоняюсь к спинке темного дубового стула и разглядываю Релли.

Не безумие ли эта женитьба?

На рождество Рууди нанял у извозчика белую ло-

шадь с санями и поехал на кладбище, чтобы зажечь на отцовской могиле свечи.

Пустынное кладбище, и вдруг, как мне потом рассказывал Рууди, он увидел на заснеженной тропе поразительно красивую женщину в голубом берете. Рууди охватило веселое настроение, ему захотелось непременно обратить на себя внимание. Вот он и встал перед горящими свечами, сложил руки и громким голосом завел:

— Ты был для своих родителей хорошим сыном. Они любили тебя и глубоко опечалились, когда ты навеки сомкнул глаза. Но так уж ведется, что страшные недуги поражают благороднейших из людей, которые уходят от нас раньше, чем наслаются красотой и любовью. Грешные, мы тогда скорбим, ибо оборвавшаяся на середине жизнь — единственное, что вызывает у нас истинное сочувствие. Все мы страшимся, что сгнием до срока, страх этот вынуждает нас делить и чужое горе.

Да, сын мой, руке твоей не довелось погладить головки собственных деток и обнять любимую. Для тебя осталось неизведанным то, что предназначено людям на этом свете. Пусть будет земля тебе пухом, спи спокойно. Память о тебе не изгладится. На том свете да утешат тебя крылатые ангелы и да одарят тебя тысячекратной радостью. Аминь.

Рууди, произнося эту проповедь, не глядел по сторонам. В промежутках между словами он прислушивался к легким женским шагам, которые к нему приближались, и продолжал с еще большим жаром. За протяжно-торжественным амином и последовал робкий вопрос:

— А по ком молитва? Тут нет ни свежей могилы, ни людей. А?

— А что же мне еще остается? — ответил Рууди. — Скоро я должен буду умереть, и мне так бы хотелось услышать, что могут сказать на моих похоронах.

Женщина в неуверенности отступила назад.

— Или я не был хорошим сыном? Разве я не прожил всего лишь полжизни? Смерть — страшная несправедливость, разве я не могу посмеяться над ней?

— Может ли человек противостоять ей? — спросила женщина с наигранным удивлением и добавила грустно, однако не без иронии: — Так соединим же две половинчатые жизни. Отведем от себя старуху с косой!

— Вы понимаете шутку! — изумился Рууди.

В глазах женщины засветилось веселое оживление. Спустившись коленями на очищенный от снега цементный барьер, обрамляющий могилу, она сняла варежки и стала греть над горящими свечами озябшие пальцы.

— Большинству людей уготовано всего полжизни, даже если они порой доживают до старости,— ловко продолжая Руудино трагикомическое представление, произнесла она.

Рууди опустился рядом с ней на колени, поднес и свои руки к пламени свечей, и, веско дополняя сказанное ею, произнес:

— Если тебе протягивают руку, о божий агнец, не отталкивай ее. Под снегом ли, землею ли, под сыпучим ли песком — лежать нам и без того миллионы лет. Не торопись уходить из жизни! Держись за человека, который предлагает тебе опору и стремится тебя понять.

Тут Рууди мельком взглянул на женщину и заметил в ее глазах легкий испуг. Тогда он поднес ее руки к своим щекам и прошептал:

— Не надо бояться существа, подобного мне, которому суждено вскоре покинуть этот свет. Хотелось взглянуть на вас поближе, ваша растерянность стала моим союзником — и вот я увидел ваши серые глаза и подернутые инеем ресницы, я коснулся ваших рук своей небритой щекой — теперь можете идти. Больше я вас не стану пугать. Адью, Мими!

Тогда женщина поднялась, решительно натянула варежки и сердито сказала:

— Я еще не знаю с такой точностью, когда покину этот свет. Но, видимо, в положенное время или чуточку раньше. И если серьезный человек, Релли, предлагает свою незаконченную жизнь, то, надо думать, она это делает не каждый день. Аминь. Адью, Рууди.

Рууди расхохотался, и Релли тоже. По заснеженной кладбищенской дорожке они пришли к лошади, хрупавшей сено, как старые знакомые — молча, словно бы все важное в основном уже переговорено.

Рассказывая об этой первой встрече с Релли, Рууди был какой-то сам не свой. Он оставил свои причудливые шутки, и — что самое неожиданное — дальнейшее поведение Релли говорило о теплом сочувствии и все растущем доверии. Рууди словно взвешивал на вытяну-

тых руках великое подношение и не знал, что с ним делать.

— Я страшно болен,— услышала я впервые его печаль.— Давно ли я лежал беспомощным на кровати, а мать на кухне охала и говорила родственникам, что теперь уже скоро, что какой уж из него жилец. Я не могу выдержать.

И снова пришли мне на память те давние одиннадцать с половиной дней, которые я провела вместе с Антоном. То короткое время вновь взбудоражило меня и, отвергая предубеждения, я принялась ободрять Рууди.

— Не впадай в панику! Дело тут не в сожалении, а в прекрасной отчаянной самоуверенности. Мы часто бываем очень мнительны. Зачем? С какой стати ко всему прислушиваться? Что значат чье-то пожимание плечами или зловещий шепот? Вдохновенный риск — в этом есть своя неповторимая прелесть. Главное, чтобы любовь была. Если это так, не выпускай ее из рук. Когда впереди видна цель, тогда и силы прибывают. Сгинуть втихую умеет каждый, а вот пойти наперекор может не всякий.

Рууди отсутствовал несколько долгих вечеров. А когда он опять пришел ко мне со своими сомнениями, он показался мне тем самым пареньком, каким он долго оставался в моей памяти,— и после ареста и после того, как меня обменяли в Россию,— запечатленные памятью образы не растут, не стареют и не изменяются.

Неловкий, стеснительный Рууди не прибегал к спасительным шуткам. Мял до хруста в суставах свои пальцы, постукивал носками ботинок, наконец произнес:

— Да, хватало у меня этих бабочек-однодневок.

— Мужики не могут иначе, все норовят похвастаться своими былыми победами. Не становись пошлым.

— Ах, чего мне хвататься! Сам такой. А теперь все мысли, словно крючком, уцепились за одну бабу. Никак не оторвешь.

— Этому радоваться надо.

— Страшно сложное положение. У нее ребенок. Был муж.

— А почему тебя это смущает? Или тебе обязательно нужен наследник крови?

— Не смейся, сама все хорошо понимаешь,— жался Рууди.— Своей болезнью я могу причинить ей горе. А может, Релли готова выйти за меня, чтобы бросить

кому-то вызов? Так сказать, покинутая жена. Муж два года назад удрал за границу, у него там в сейфах Ллойда, говорят, хватало добра. Жену с собой не взял, а сейчас, по всей видимости, ее и не выпустили бы отсюда. Как знать, может, Релли нужна замена, чтобы заполнить пустое место? Ну, скажем, щелкнуть по носу мужнину родню — смотрите, мол, наплевать мне на этого прежнего, с которым я нажила законного ребенка. Мужиков для меня хоть отбавляй!

— Я слышу Юулины слова,— посмеялась я. — Материнское молоко, воспитание и так далее.

— Ты думаешь? — Рууди обрадовался моему упреку.

Задумался и через некоторое время пролепетал:

— У женщин, говорят, невероятная интуиция — так что тебе кажется...

— Элементарная логика на твоей стороне,— отвечаю я, пожимая плечами. — Предположим, что Релли нужен этакий Иванушка-дурачок, для отвода глаз, так разве ты — единственная возможность? Она могла бы найти мужчину и повиднее.

Рууди усмехнулся, вытащил из заднего кармана брюк плоскую бутылку, отвернул пробку и протянул мне.

— Возьми глотни.

— Хорошо, когда за совет платят, причем немедленно, да еще натурой.— Я выпила глоток и вернула бутылку.

— Другого ничего у меня нет, гол как сокол,— хвастался Рууди, разводя руками. — Осталось от добрых старых времен несколько бутылок «Мартеля», вот и посасываю, и нутро согреваю. Кто знает, вдруг и на самом деле понадобится какой-нибудь молодой прелестной женщине.

В тот день Рууди ушел от меня, напевая песенку. Спускаясь по лестнице, стучал своей неизменной тростью по ступенькам, пока не хлопнула за ним входная дверь.

Вечером Кристьян спросил, с чего это у меня на лице такая довольная ухмылка.

— Рууди женится,— объявила я.

— Рууди? Женится? Вроде бы как-то безответственно.

— Ты убийственно правилен, Кристьян.

Настроение было испорчено.

Но сегодня — Руудина свадьба, и надо веселиться. Протягиваю руку за более вместительной рюмкой. У горьковатой мадеры — великолепный букет.

Юули всем телом откидывается на спинку стула, отбрасывает салфетку и кладет на стол кисти рук.

Цветы расцветут,
и распустятся розы,
незабудки-цветы расцветут... —

растягивая, заводит она свою любимую песню. Другие из приличия подтягивают вполголоса. Рууди, подперев руками подбородок, уставился на мать, словно видит ее впервые. И молодка не раскрывает рта; опустила голову, может, разглядывает подол платья, не упала ли туда какая крошка.

Юность прекрасная,
юность вовек не вернуть... —

заканчивает Юули и с шумом вдыхает воздух.

Арнольд спешит поднять рюмку, чтобы не дать матери загорланить новую песню.

— Уже ноги отсидели, — намекает жена Арнольда, — не грех посмотреть, как молодые жить начнут...

Релли усмехается, на мгновение в ее взгляде проскользывает искорка гордости. Она проворно выходит из-за стола и уже готова давать объяснения собравшимся, которые, поднимаясь, громяют стульями.

— Кабинет. — Релли распахивает первую дверь. Перед оранжевыми портьерами на массивном письменном столе горит лампа под зеленым абажуром. В витом узорном стаканчике стоит серебряная ручка, на кожаной папке блестит нож из слоновой кости — для разрезания бумаги.

За стеклами книжного шкафа аккуратно расставлены книги из серии лауреатов Нобелевской премии и романов писателей Скандинавских стран. Серебристые корешки книг высокомерно указывают на достижения буржуазной культуры.

Юули продирается между гостями, замывшимися в дверях, останавливается на шестигранной звезде на ковре и, медленно поворачиваясь, оглядывает все стены. Возле двери замечает нечто такое, что вынуждает ее нахмуриться. Релли, заметившая эту гримасу, благоразумно отводит от свекрови взгляд в сторону.

— Ах, так это и есть отец ребеночка,— кивает Юули. — Ну, Рууди все же получше и помоложе.

Кристьян начинает громко смеяться, мы все хохочем ему вслед и тем самым спасаем Релли от неловкого разговора о бывшем муже.

Спальня выдержана в прохладных тонах. Резная светлая мебель с золотой окантовкой, перед туалетным столиком сиденье, обтянутое ярко-синим шелком, на сдвинутых кроватях бледно-желтые тюлевые накидки.

— Очень даже по-великосветски,— подчеркивает со знанием дела Юули. Жена Арнольда рассматривает обстановку с нескрываемым восхищением, и сверхсерьезная Мирьям оценивающе разглядывает в зеркале свои пухлые щечки и челку, отросшую до самых бровей.

Осмелевший Реллин сын мчитя мимо кроватей и туалетного столика и открывает дверь в свою комнатку. Над кроваткой с деревянной решеткой — полочка, на ней сидит медвежонок с маленькими глазками-пуговками.

Показывают еще кухню с белой плитой, выложенную кафелем ванную, и на этом обход завершается.

Юули усаживается на свое место за столом, прикладывается кончиками пальцев к уголкам глаз и говорит:

— И жили же мы!

Релли окончательно причислена к обществу, именуемому «мы».

Молодая ведет ноздрями, будто учуяла незнакомый запах, и возражает:

— Это все не я, отец мой был всего лишь почтальоном, мы богатыми не были. Все это приобрел мой бывший муж. Если он, случаем, вернется, мы с Рууди уйдем отсюда. Потому и портрет остался. — Растерянная Релли пытается взглянуть на своего нового мужа.

— Какая скромница. — Юули обращает в шутку невесткину болезненную откровенность. — Что ни говори, а жили же мы,— говорит она голосом, не терпящим возражения. — А теперь что — теперь мы стоим по очередям! — в сердцах взрывается Юули.

Досада, рожденная словами Релли, все-таки высказана.

Жена Арнольда вскользь касается меня взглядом. У нее гораздо больше опыта в отношениях с Юули, чем у Релли, которая строптиво открывает рот, желая уми-

ротворить злобу, грозившую нарушить свадебное настроение. Однако распалившаяся Юули продолжает:

— Сегодня в лавке не было ветчины, колбаса — всего двух сортов! Идешь, чтобы купить какой-нибудь метр материи или пару ботинок — в паспорте отметку делают. Сахара дают по полкило в одни руки, а если я, скажем, хочу поставить бродить вино? А?

— Ох уж эти великие заботы о собственном брюхе. — Арнольд, которому это надоело, кривит лицо.

— Что-то я не вижу здесь дистрофиков, — бросает Рууди и оглядывает присутствующих.

Сидящий рядом со мной Кристьян задышал чаще.

— Спекулянты! Мало, что ли, забрали таких, кто на-таскал себе домой по сто пар обуви и сотни метров тканей! Скажите на милость, кому для себя столько надо! Жадничают, занимаются махинациями на черном рынке, взвинчивают цены и вгоняют людей в панику.

— Во всем мире сейчас туго с продуктами и одеждой — война перерезала торговые пути, — примирительно говорит Арнольд. — Например, во Франции только дети получают молоко, и то по норме, финны занялись изготовлением деревянных башмаков для своего народа, вся Европа печатает продуктовые карточки, и даже в Швейцарии отъявленным обжорам приходится умерить свой аппетит.

— Да что там! — Разгневанная Юули широко откидывает руку, так что приходится убрать в сторону оказавшуюся в опасности рюмку. — Виноваты во всем красные, они одни! Вывозят отсюда в голодную Россию все, что могут...

Кристьян поднимается и, упираясь кулаками в стол, наклоняется к Юули.

Испуганные глаза Релли взывают о помощи. Рууди вскакивает, стучит ножом по графину и начинает:

— Уважаемые товарищи и товарки! Уважаемые дамы и господа! Дорогие гости! В период воздержания, когда каждый из нас потерял большой процент своего старого жирку, осмелимся напомнить вам, что куры и угри, сыр и лосось, колбаса и мясо — все, что вы видите на столе, — нужно немедленно съесть, чтобы восстановить утраченные силы. Тем более, дорогие гости, что своей очереди ждут кофе с тортом и шампанское с фруктами!

Рууди раскланивается во все стороны. Кристьян опускается на стул и нашаривает в кармане папиросы. Подавая пример, жена Арнольда с интересом склоняется над тарелкой, и Релли облегченно вздыхает.

Юули приглаживает дрожащими руками жабо и задумчиво поднимает по примеру Арнольда свою рюмку.

За моей спиной, в углу, Мирьям шепчется с маленьким Ильмаром. Поглядывая через плечо, вижу, что Мирьям совсем уже затолкала парнишку в угол и все еще упирается ему обеими ручонками в грудь и твердит:

— А я тебе говорю, что Рууди — дядька что надо.

Мальчонка не смеет даже трепыхнуться и только повторяет покорно:

— Дядька что надо.

— Мирьям,— зову я тихо.

Она тут же находит выход и во всеуслышание объявляет:

— Ну что ж, можно и игрушки посмотреть.

Релли тоже слышит эти последние слова и одобряюще кивает сыну. Дети исчезают в спальне.

Никто не знает, с какого конца начать разговор. Ножи и вилки стучат по тарелкам, сигаретный дым, повисший над столом, кажется, заставляет всех податься вперед, давит на головы.

Я тоже сегодня стояла в церкви полусогнувшись и боялась поднять глаза. Было такое чувство, что отовсюду на меня обращены предосудительные взгляды — коммунистка, а пришла в церковь. Я не говорила Кристьяну, что пойду, но он будто предчувствовал и сказал вчера вечером, что не собираешься ли, дескать, ты идти смотреть, как они там венчаются. Не знаю, ответила я, в надежде, что такой неопределенный ответ удовлетворит его.

— Ты слишком уступчива, примиряешься, легко идешь на компромиссы,— грустно заметил он.

— От одного присутствия при венчании никто ведь верующим не станет.

— Идти в церковь — значит поддерживать церковь.

— Меня интересуют любые проявления жизни, да и Рууди наполовину вроде собственный ребенок.

— Тем хуже, если у коммунистки ее ребенок, которого она считает наполовину своим, придерживается религиозных обрядов! — выговаривал Кристьян.

— Релли так хотела. Для любой молодой женщины такая торжественная обстановка с горящими свечами, органом и подвенечным платьем глубоко и надолго врезается в память.

— Может, и твоя душа тоскует по благоговейному переживанию?

— Как знать.

— Вот так оно и бывает. Сегодня ты смирилась с религиозным обрядом, завтра станешь защищать врагов государства, а послезавтра превратишься в барыньку, которая прогуливает по утрам на поводке трех собачек.

— Тебе всюду черти мерещатся, Кристьян. Нельзя же отгораживаться от всего, так можно упустить из виду реальную действительность. Думается мне, что право на существование имеют и родственные чувства, не только идейное братство.

Сегодня, когда я выходила из церкви, — звуки органа еще продолжали щекотать мои чувства, — я подумала: а понимает ли кто из прохожих, что свадебные гости — люди столь разные. Прямая противоположность — эти все другие, чью совесть не затронул только что совершенный обряд, и я — отмеченная им, человек мятущийся, пошедший на негодный компромисс.

Морозный туман укутал в дали сумеречной аллеи сани с молодоженами — столь роковая для Рууди белая лошадь шла ходко. Разбрелись зеваки. Молча, хрустя под ногами снегом, удалились родственники молодых. Хоть и другой лагерь, все же я побрела за ними домой. Мороз, будто варежкой, закрыл мой рот, на котором застыла усмешка, и, словно под ледяным панцирем, скрылись в сознании упреки Кристьяна.

— Не правда ли, хорошее вино, Кристьян? — шепчу я, поднимая рюмку. Кристьян стыдится моего взгляда и как-то в себя усмехается — может, наконец-то снизошла на него живительная самоирония?

Гости между тем преодолели — не без помощи вина — охватившую их поначалу неловкость, разговор заходит о том о сем, хотя все больше слушают самих себя, чем соседей. Раскрасневшиеся лица склонились над неровным строем тарелок, и чья-то рука по-хозяйски на-

трусила кучки соли на винные пятна, расплывшиеся по накрахмаленной скатерти.

Чье-то прикосновение заставило меня вздрогнуть. Рууди, освещенный до колен, стоит в некотором отдалении и кивает мне. Следую за ним в кабинет. Прикрыв старательно за собой дверь, он усаживает меня на кушетку под портретом Реллиного мужа. Ищет что-то за портьерами и достает наконец из-за письменного стола какой-то расплывшийся серый снимок, который оправлен в яркую золотистую рамку. Ставит это смутное изображение на стол и шуршит коробком. Чиркнув спичкой, Рууди зажигает свечу в медном подсвечнике.

Прислушавшись некоторое время к шумному говору гостей, говорит:

— Я подарил своей жене фотографию.

Рууди стоит посреди комнаты с подсвечником в руке и смотрит через мою голову туда, где на холсте масляными красками изображен дюжий мужчина с устремленным в бесконечность взглядом. Мол, вижу вдали свой дом и кров...

Рууди делает резкое движение, пламя над свечой вытягивается, подобно высунувшемуся собачьему языку, и подсвечник уже стоит за обрамленным изображением. Рууди моментально выключает электричество и плюхается рядом со мной на кушетку.

Яркая рамка обрамляет рентгеновский снимок. Свеча трепещет за выкрашенным в красное сердцем. Сверху, снизу и справа — светлые полосы ребер.

— У тебя красивое красное сердце, — выдавливаю я, а у самой сжимает горло. Мой взор затуманивается, и изображение начинает двоиться. Ребер и ключиц вдруг оказывается невероятное множество, даже сердца два — одно красное, другое слегка розоватое. Когда я моргаю, кажется, что сердце бьется — вверх-вниз, вверх-вниз, будто живое. Огонек за снимком расплывается остриями и язычками по диагонали, становится пикообразным. Темные подпалины, напозающие на линии ребер, все колыхаются и расширяются перед глазами.

— Вот так. — Рууди гулко ударяет по моему колену.

— Человек живет, пока у него остается хоть кусочек легкого, — замечаю я, собираясь с духом.

— Никогда я не боялся смерти, а теперь схожу с ума со страху.

— Счастливые люди обычно дрожат...

— Ну, значит, я...

Рууди бессмысленно смеется, стараясь тут же, не сходя с места, развенчать эти высокие слова.

— Сегодня не свадьба, а пир во время чумы,— произносит Рууди, он вытягивает руку и, шевеля костлявым указательным пальцем, очерчивает им затемнения на снимке.

— Человек болен ровно настолько, насколько он считает себя больным.

— Будем откровенными. Полгода, может, год. И красный свет сойдет, и останется лишь расплывчатое месиво.

— Может, Релли все-таки заставит тебя лечиться. Ты же сам махнул рукой,— пытаюсь я трезвой деловитостью сломать Руудино отчаяние.

— Чем лечить? Чем? Прожорливых палочек Коха становится все больше, они просто выедают меня изнутри. Наверное, их там сейчас уже столько, что могут лишь стоймя стоять.

— Рууди...

— Не надо утешать. Выпивший человек проникается жалостью, начинает рисоваться. Страх подтачивает его дух, начинаешь подыскивать подпорки в сочувствии. Самому противно.

Рууди поднимается, гасит свечу. Нащупывает выключатель, и комната наполняется бесстрастным молочным светом. Рентгеновский снимок на столе вновь стал размытым, серым изображением, Рууди глубоко вздыхает и прячет снимок за письменным столом.

— Дурак набитый! Смотрите на эту роковую жердину! Релли уже наплакалась, когда увидела эти затемнения, да и ты прослезилась. Не хватало еще, чтобы я провёл всех гостей перед этим снимком! Вот бы послушался бездарных воплей — бесталанного хора плакальщиц, со сморканием в паузах.

— Я не плакала. Просто у меня слабые глаза, смотреть на свет больно. А вообще ты знаешь очень хорошо, что мне за тебя ни жарко ни холодно...

— Вот это на самом деле меня утешает,— усмехается Рууди.

Однако взгляд мой мечется над пустым столом: словно заноза в глазу, торчит там шлифованное лезвие ножа

из слоновой кости. Невыносимый примитив: гаснет свеча, и остается немая пустота.

— Лучше расскажи, Анна, как там, в семейной жизни? — подмаргивает Рууди и приподымает уголки рта, стараясь всеми силами преодолеть чувство неловкости.

— У каждого по-своему, — в тон ему говорю я, — а в общем-то достаточно приятное развлечение.

— Хорошо все-таки, когда старшие делятся с младшими своим опытом, — рассеянно отвечает Рууди и тоже смотрит туда, где только что стоял рентгеновский снимок.

— А помнишь, Анна, мою первую любовь? — вдруг восклицает Рууди и прыскает от смеха.

— Помню, только боялась тогда показать вид, что замечаю.

— Как давно это было! — От Руудиного раскатистого смеха диван под ним ходит ходуном. — погоди! — приказывает он, поднимаясь.

— Я тетушку отпаиваю, — слышу я доносящийся из соседней комнаты голос Рууди. — Нет, нет. — Видимо, он задерживает Кристьяна, который хочет пойти вместе с ним.

Рууди появляется с двумя бокалами шампанского. Закрыв за собой пяткой дверь, подает один бокал мне.

— «Пайтем куляйт на переест» — все, что мог ей сказать по-русски. Как же ее звали? Настя, кажется?

— Настя, — подтверждаю я.

— Мы ходили с ней по Ленинграду, будто немые, я держал ее за руку и, подобно маяку на море, все моргал ей — то правым, то левым глазом. Было как-то неловко, даже не смел засмеяться, она удивленно смотрела на меня и без конца перекидывала за спину свои косы. Бедняжка, у нее было всего одно-единственное — синее в горошинку — платье и коричневые парусиновые туфли. Но в ушах висели сережки с бриллиантовыми камушками. Всякий раз, когда Настя не понимала моих бессвязных слов, она, словно жеребеночек шалый, мотала головой. Однажды, это было на берегу Невы, я захотел поцеловать Настю — бог ты мой, пришлось выслушать целую проповедь, строчила, будто из пулемета! А я лишь пожимал плечами, и единственное, что я мог сказать в свое оправдание, было: «Собака мальчик!» Ну, что, мол, озорство просто, пошутил или что-нибудь в этом роде. Думаю, что пощечину не заработал только потому, что

являлся гражданином другой страны, может, Настя побоялась дипломатических осложнений.

— Но осложнение-то все-таки случилось,— смеюсь я и отпиваю из бокала — шампанское так и норовит переплеснуться через край.

— Еще какое! Мамаша моя, говорят, и вовсе распоясавшись, ворвалась в советское посольство, грозила кулаками и требовала, чтобы ей вернули сына, упрятанного в дебрях России.

— Да, пришлось ей поволноваться, ей же невдомек было, что мы без ее ведома продлили твою визу.

— Мамаша чуть не задушила меня в своих объятиях, когда я сошел на Балтийском вокзале с поезда. Ни раньше, ни позже — никогда я не был ей так люб.

— Откуда детям знать, насколько они дороги своим родителям? Это не всегда можно определить.

— А все же я понравился Насте. С чего бы ей иначе было тратить столько времени на подобное бессловесное существо? Рослый парень, в хорошем костюме, и душок при нем опять же какой-то экзотический, почти что пришелец из другого мира.

— О, да ты, оказывается, любишь и покрасоваться.

— Приятно вспомнить, что ты когда-то кому-то все же нравился,— говорит он нарочито старческим дребезжащим голосом.

— Так что эта давняя поездка в Ленинград оказалась самым дальним путешествием в твоей жизни?

— Раньше и после того удавалось бывать только в Кяру или как его там... Ты же знаешь это место, не чужое, поди, как-то однажды там в благодатном батрацком доме, под боком у стекольной фабрички, появились на свет две сестры — сперва моя мамаша и потом ты.

— Да-да,— отвечаю я рассеянно. Неужели Ватикер и в самом деле обитает сейчас в тех краях? С трудом припоминаю перелески, окружавшие в детстве наш дом. Воспоминания тех лет — все равно что круги, разошедшиеся по воде от бухнувшего камня. Ближние круги — мосток через речку, катание на лодке, печь, где обжигали известь, и, конечно, господские хоромы — все это выступает рельефно, остальное — дальние круги — незаметно сливается, исчезает.

— Правда, одно время — несколько лет тому назад — мамаша задумала было отправить меня в санаторий в Швейцарию, — продолжал Рууди, не подозревая, что меня уже охватило желание встретиться с Ватикером. — Прикидывали долго и основательно, сомневались, будет ли от этого польза, что и ехать далеко, и место чужое. Мамашу, конечно, прежде всего пугало, что придется выкинуть огромную кучу денег, — лечиться-то пару лет. Потом пришли к мысли, что разумнее будет по-другому обеспечить мое будущее, — пусть меня содержит, когда я буду совсем плох, квартирная плата. Так вот и выстроили дом во дворе. Дескать, чухотку все равно не излечишь, кто знает, вернется ли здоровым, а что голым останется — это яснее ясного.

— А там и отец умер, — пытаюсь я увести Рууди от его скрытых укоров, которые сейчас совершенно бессмысленны.

— О, отец, тот все говорил: парень, займись пчелами, в них твое спасение. Как он старался увлечь меня, приворожить к ульям, которые стояли в нашем саду. А я даже и не притрагивался к ним, не было желания, не находил я с этими крылатыми тружениками общего языка. Они, видно, учуяли во мне лодыря и без конца жалили. Вот я и обходил ульи поодаль и радовался, когда какой-нибудь выводок улетал в лес...

— Вы совсем забыли нас! — Релли заглядывает через дверь.

— Что верно, то верно, — испуганно вскакивает Рууди. — Минут пять мы тут просидели?

— Около часа, — смеется Релли.

— Вот видишь, Анна, — покачивает Рууди головой, — стоит только жениться, и уже потерял свободу.

Рууди обнимает жену за плечи и уходит с ней к гостям.

Иду и я, пустой бокал повис меж пальцев, словно обрывок воспоминаний. Камень ушел на дно, разошлись последние круги. Хочется подняться над своим девчоночьим миром, и не могу.

— Уйдем отсюда. У тебя странный взгляд. Ты что, много выпила? Плохо стало? — спрашивает Кристьян.

— Ах, Руудина болтовня...

— Ну ничего, — Кристьян ведет меня к вешалке в передней.

Юули дрожащим голосом снова заводит свою люби-

мую песню о молодости. Мы киваем с порога молодым и, не тревожа гостей, уходим.

Луна, подобно вырезанному из сизой стали диску, кажется брошенной точно в центр туманного круга. Перевесившиеся через ограду запорошенные ветви осыпают на головы и плечи ледяные кристаллики.

Кристьян крепко держит меня за локоть и поднимает свободной рукой мне воротник. Оглянувшись, неожиданно целует меня в щеку. С губ его еще не испарилось вино и домашнее тепло.

— Собака мальчик! — смеясь, говорю я ему Руудинными словами.

Вслед нам смеется отраженная в заиндеветших окнах луна.

Завела зима свою свадебную карусель.

7

— Перейдешь мост, и тут тебе скоро по правую руку будет ветхий овин, от угла его поверни к лесу; вначале увидишь ольшаник, потом засеку, пройдешь чуток по ельничку — тропка сама покажет — и упрешься в дом лесника. Говоришь, лесник новый? Ватикер? Не слыхал про такого. Все Каарел был. Верно, годков у него за плечами ох и немало. Да и то, вместе же конфирмацию проходили. Родичей его что-то не знаю, да он и ноль внимания на них — привык со своей старухой в одиночку. А кому туда в лес так уж и хочется? Но то, что душа у него еще в теле, — тут я ручаюсь. Кладбище-то у меня, поди, под боком, за батрацкими хибарами, на взгорье, вон, все похороны наперечет. Так что смело шагай, две-три версты — разве это для тебя дорога? Сугробы, говоришь? Погоди, возьми валенки, и никакого тебе страху, что отморозишь ноги. И платком большим обвяжись — надеяться, что подвезет тебя кто, тут нечего, глухомань, лес-то нынче вывозят из Куллимааской засеки. Успеешь обернуться дотемна, а если что замешкаешься, то и вечера ноне в свету. Волки? Их уже порядком не было видно, всех, знать, перебили. Что, ружье с собой? Да ведь бабе вроде негоже. Ну, если в России обучали обращению, тогда и речь другая. Оно верно, поспокойнее вроде с ружьишком-то. Февральские морозы, они волку смелости прибавляют. Хе-хе-хе...

Тяжеленько придется — в одежде да с ружьем, и суг-

робы тоже в придачу — порядком повозишься, ей пра... В овине там кой-какое сенишко — отдохнешь, если чего. Заряжено, спрашиваешь? Как положено. А патронташ тебе на что? Не на медведя же собралась!

Как бабахнешь из ствола, глядишь, храбрости-то на троих привалило. Не вздумай только руку на белку поднимать — бабы, они на меха сластены. Каарел не потерпит такого. Увидит или прослышит, что кто-нибудь там чего, — потом на всю деревню ославит. Ах да, у тебя же на прицеле этот Ватикер! Что, или любовь залежалая? Кхы-кхы! А что у баб с мужиками, кроме как это самое... Ну вот, и пошутить уже нельзя, сразу протыкаешь взглядом, будто солдат штыком. Мол, сиди лучше старик, в углу и молчок себе. Что ж ты это, Анна, сестра моя, почитай, четверть века не виделась с тобой, оттого-то я на радостях и болтать хочу. Так и быть, ступай, вечером поговорим. А я тут схожу в лавку за четвертинкой. Если уж ты в России к обхождению с ружьем приучилась, то, зная, и стопку выучилась опрокидывать. Кхы-кхы!..

С этими словами Михкель Мююр и проводил меня на улицу. Он остановился на заиндевелой ступеньке крыльца, опираясь скрюченными, ревматическими пальцами на обшарпанные перила. Глядела я на него — высокий, сторбленный. Трое нас всего и в живых-то на этом свете, но почему он, Михкель, стал для меня таким до боли чужим! Пришла к нему, как просто к знакомому, едва присела, как тут же заторопилась уходить.

Так он и остался стоять там, постаревший рано человек, глаза от яркого света прищурены и слезятся. Вернуться? Сесть за стол с Михкелем и наговориться всласть? С ним у меня связаны только хорошие воспоминания, а меня сейчас гонит злость — я хочу слышать Ватикера, хочу стать с ним лицом к лицу.

Хотя уже скрипнула дверь и Михкель исчез в своей батрацкой хибаре, я все еще оглядываюсь через плечо назад. Неужто мне в самом деле нужен Ватикер? Прошло ведь слишком много времени!

Носками валенок поддеваю катышки замерзшего конского навоза, нерешительность сковывает ноги.

И все же я должна повидать Ватикера!

Здесь, поблизости от моего дома, где я провела детство, все сохранилось в поразительной неизменности. Слева — корчма и покосившаяся коновязь, за корчмой,



на берегу реки, ухоженные домики мастеров-немцев, через речку мосток с защитными брусьями по бокам — неужели с него когда-нибудь сваливались подводы? Или брусья укреплены так, для красоты, как триумфальные арки? В детстве не приходило в голову спросить, — все, что ты видел, так и должно было выглядеть.

Справа — бывшие хоромы Граупнеров, тут даже река делает почтительный изгиб, оставляя дом как бы на полуострове. Боже упаси, если нам случалось переплыть реку и оказаться между деревьями за господским домом! Попасть сюда было в общем-то тоже по-своему подвигом: попробуй-ка забраться вверх по скользкому каменному откосу! Но отец, который сам тесал эти камни и выкладывал стенку, словно знал, что делал, — между камнями можно было нащупать щели и упереться пальцами.

Когда я думаю о тех строениях, которые возвел отец Тааниэль — о стенах и подвалах, о сараях и коровниках, — я снова чувствую, сколь мало удалось сделать в жизни мне самой. Люди вообще как-то чахнут — сидят за столами, растирают по бумаге графит или чернила, ссорятся, объясняются и уходят из жизни рано уставшими карликами, которые не ощутили даже того удовольствия, которое приносит обычно законченная, своими руками сделанная и глазом своим увиденная работа.

У дверей бывшего господского дома висит какая-то табличка. Взгляд выхватывает два слова: исполнительный комитет. Кроме этой таблички, внешне никаких других примет нового не видно. Да, потребуется время и время. В господских окнах еще сверкают выпуклые стекла, вставленные туда в самом начале века, эти хитрые стекляшки, — на улицу они просвечивают, а в дом уже не заглянешь. Трещины, рабочий народ; хватало на земле невидимых божков, которые следили за каждым твоим непристойным шагом и на всех неугодных шагах твоих держали свой глаз!

В конце дома под черепичным навесом расшатанное крыльцо на кухню, только отсюда таким, как мы, и позволялось входить в господское жильё.

Но Юули — когда она была уже признанной швеей и вращалась в среде господ — посмела однажды пройти через парадный вход. По-немецки поздоровалась, сделала положенные книксены и уже хотела было прошагать

мимо служанок. Поди ж ты! Надо было госпоже как раз в тот момент появиться на лестнице, вытаращить глаза, неодобрительно покачать головой и сказать, что «aber, Julie, warum kommen Sie hier herein?» — дескать, по какому праву ты проходишь тут?

Пристыженной Юули пришлось вернуться и пройти через кухню. После этого она всю ночь проплакала в подушку и стонала от злости. Когда я пыталась утешить её, она бранилась и кляла госпожу бароншу, эту жердь, у которой нет ни грудей, ни задницы, и чей обвислый живот Юули с помощью своего искусства приходится подтягивать, и чьим бедрам придавать нижними юбками округлость. На чем свет стоит поносила эту вяленую воблу, на белье которой приходится наворачивать десятки метров кружев, чтобы подбить пустое место там, где у порядочной женщины находятся груди. Ох и хлестко же кляла Юули бароншу, которая так бесстыдно унизила ее. Ее, Юули, самую стройную, самую красивую и самую видную, ее, которая была по-господски чистой и у которой все нижнее белье было точь-в-точь как у господ, да и верхнее тоже не уступало мызным барышням. Это ее-то, Юули, которая умела говорить по-немецки и чьи поклонники в основном были мастеровыми-немцами.

Нет больше немецких мастеровых, нет и стекольной фабрики, которая в мои детские годы стояла напротив господского дома Граупнеров. На заводских развалинах пушится снег, местами он волнами спускается со стен на сугробы.

Полозья розвальней вдавили подходящие для ходьбы борозды, февральское многоснежье вначале идти не мешает.

Редкие встречные оглядывают меня — идет баба как баба, в валенках, обвязанная большим пестрым платком, вот только ружье за спиной. По деревенскому обычаю, все здороваются, я отвечаю на приветствие и улыбаюсь, чтобы развеять их недоумение. Проходя, еще долго чувствую взгляды, обращенные мне в спину.

Где-то здесь, по левую руку, в сосновой опушке, стояла в свое время печь для обжига извести. Днем и ночью гудело и полыхало там пламя. Отец следил за тем, чтобы всегда была в печах тяга, он, случалось, по неделям жил в шалаше. Я ходила к нему с едой. Шла девчушка по лесной тропке, в руках корзинка, кругом тишина, бла-

гоухает хвоя — ну просто сценка из умильной сказки. Возвращаясь, собирала на песчаных взгорках боровики: после уже никогда не встречала я таких крупных грибов.

Незаметно дошла до реки. Глубины совсем и не видно, сугробы достают до самых переводин. Когда-то здесь, на мосту, облакачивались на перила, разглядывали болотные растеньица — айры, прислушивались к журчанию воды — было ли лучшее место, где нашептывать друг дружке сокровенные слова? Интересно, приходят ли еще сюда летом по вечерам влюбленные?

И за мостом дорога знакома, — послушно следуя извилинам реки, она приводила лугами прямо к Кярусской мызе. Юули не раз отмеряла со швейной машинкой под мышкой эти петляющие версты. Рыбные пруды, теплицы, розы, невероятные зеркала — каких только чудес не рассказывала Юули о мызе Кяру. Мне так и не удалось взглянуть на них — в девятьсот пятом году разгневанные мужики спалили дотла это барское великолепие.

Развалившийся овин и в самом деле стоит недалеко от моста — все, как говорил Михкель, только вот за овином до самого леса никакой дороги нет. Нетронутый снег, — видно, леснику до остального мира тоже нет никакого дела. Верно, последние два дня мело, может, такое отрешение длится недолго, в силах ли Ватикер прожить без газет? Городской человек, привыкший к повседневым новостям. Ватикер...

Поправляю на плече ружье Михкеля Мююра. Не вздумай только в белок палить! Я бы, наверное, посмеялась, но щеки застыли, и рот задубел. На что мне белки! Да и какой я стрелок! Но если уж ты пошла на встречу с Ватикером, должна быть хоть какая-то опора про запас. Хоть и много прошло лет, однако до сих пор сохранились у меня в памяти тюремные сны с Ватикером — то хвастливым, то насмешливым — в главной роли. Совсем как те выпуклые стекла в господском доме, которые в детстве вгоняли нас в панику, — ведь никого за окнами вроде не бывало, откуда же господа знали, что мы подплыли к гранитным глыбинам, выбрались из воды и появились в таинственном господском парке?

Ну что ж, отдохнула, пора, и летние запахи улетучились из сена, сидеть в овине дольше нечего. Придется

пробираться до лесу по сугробам, может, на подветренной стороне за деревьями снова нападу на дорогу.

Кристьян так и не знает, куда я пошла. Пусть мои тайны останутся со мной. Знай Кристьян о Ватикере, он бы тут же послал людей: руки вверх, предатель, проклятый шпик! Все же надо сперва взглянуть, что стало с этим человеком.

Известняковые кладки, гранитные парапеты, стены, деревянные и оштукатуренные, подлески и набережные — слишком много слышали они пальбы, слишком часто служили предметами, на которых задерживались последние людские взгляды.

— С твоим культом родственников можно сойти с ума! — сказал в сердцах Кристьян, когда я отправилась в дорогу, чтобы навестить брата. — Родственники эти, которых ты так лелеешь, однажды выкинут с тобой штуку, — заявил он.

Когда Кристьян беспокоится обо мне, он, бывает, говорит грубости. Пускай. По этому поводу сердиться не приходится.

Ольшаник редееет, впереди простирается освещенное солнцем поле в сугробах — оно словно бы отесняет забитый валежником кустарник от горделивых сосен.

Задерживаюсь на краю поля, боясь выйти из синей холодной тени на свет огромной природной сцены. С сомнением вглядываюсь в просеку, которая должна вести к дому лесника.

Все же следовало остаться в батрацкой хибаре, усесться там на скамейку и вести с братом беседу.

Что я скажу Ватикеру? Что произнести, когда переступлю порог?

В памяти всплыл тот особо действенный вариант, который я готовила, когда садилась на Балтийском вокзале в поезд, направлявшийся в Нарву, где меня должны были обменять на белых офицеров. Смешно, это же было двадцать лет тому назад! И темперамент был другой, и ярость моложе. Слова, которые я в тот раз приготовила для встречи с Ватикером, звучали оглушительно, будто разрывались бомбы: предатель трудового народа, прислужник белых кровопийц, презренный шпик, иуда. Ярость перебродила, и поубавился накал возмездия.

Но как сделать, чтобы он почувствовал боль?

Может, лучше повернуть назад?

Низкое медное солнце подобно маятнику, через все

поле, казалось, надвигается на меня. Спасения нет! Раскаленный кругляш ударяется ребром в мою грудь, отступать некуда, сзади ольшаник.

И опять разгон — маятник придвигается, обжигает.

Ага, бездыханная кубышка, замотанная в платок, с ружьем за плечами, ага — вот и вбили тебя в снег, там, где проходит граница между светом и тенью.

Двигается навстречу желтое солнце, катится упрямый огненный кругляш — неужели тот золотой червонец с царским ликом на лицевой стороне стал таким больствующим?

В тот день, когда меня увозили на обмен, моросил дождь, перрон отблескивал, и золотому червонцу было хорошо катиться. Мне удалось как-то ловко швырнуть его из-за решетки, и сверкавший кругляшок покатился по дощатой платформе с таким чудесным дребезжаньем.

Мне был все же оказан почет — у других политических таких провожающих не было. Под черным зонтом и в пальто с бархатным воротником маячил Ватикер, рядом с ним его тщедушная супруга, одетая в меха, она нетерпеливо переступала с ноги на ногу, ожидая паровозного гудка. Юули стояла отдельно, гораздо ближе к вагону. Но и она выражала нетерпение — делала под неслышимую музыку какие-то незнакомые, сверхмедленные па. Вперед-назад, вбок, вперед-назад. И каждый раз, приближаясь на расстояние слышимости, Юули бросала мне какую-нибудь странную, не связанную с предыдущей фразу:

— Откуда мне знать, в живых Кристьян или нет!

— За твоими вещами и домом я присмотрю!

— Доктор думает, что Рууди простыл!

— Дура я, не принесла тебе вина на дорогу.

— Часовые — такие милые и вежливые парни!

— Туфли-то у тебя хоть выдержат дорогу?

Будто я каторжанка из романа, которая в мороз и стужу должна пешком вышагивать долгие версты. Обо мне и моих товарищах позаботилось милостивое эстонское правительство — посреди теплушки железная печь, в углу параша, считай, что роскошь первого класса.

Увидела Ватикера, явно что-то задумавшего. Он оставил свою супружницу в мехах мокнуть на дожде, а сам, прикрываясь черным зонтом, двинулся к нашему вагону.

— Анна, — сказал он, — мы же все-таки земляки...

Скорее увидела, чем услышала эти выдавленные толстыми губами слова, какие-то вязкие, липучие.

Тут, кстати, раздался паровозный гудок, Ватикера оттолкнули, но он самоотверженно продирался все ближе. Я протянула руку, чтобы попрощаться с Юули, и ощутила на ладони что-то холодное.

Золотой червонец.

Юули открыла рот и настолько подняла брови, что ее шелковая шляпа, казалось, сдвигается на затылок. На запястье вытянутой руки у нее болталась толстая золотая цепь. Только абсолютно уверенные в своей свободе люди осмеливаются носить подобные символы оков, подобно тому как «змеинные» украшения любви тем, кто никогда не соприкасается наяву с гадюками.

Спотыкаясь, двигалась Юули вслед за дергающимся поездом. Клубы белого дыма застилали ватой глаза, и желтая монета на мгновение напомнила о себе. Потом на платформе стало светлее, и тут я швырнула ее — хотя решетка и не позволяла размахнуться, все же получилось ловко. Золотой покотился по набухшей на осеннем дожде платформе. Желтое колесико бежало почти напрямую, и люди растерянно уступали ему дорогу.

Ватикер и Юули, конечно, видели все это. Прижавшись лицом к решетке, я уловила, как монета подкатилась к ногам какой-то старушки, обутой в ботинки. Она держала за руку мальчонку и шла за поездом. Ребенок схватил золотой, протянул его плачущей старушке, начал тормошить ее, пока она не сообразила, что к чему. Старушка застыла с раскрытым ртом, смахнула слезы и с благодарной смиренностью улыбнулась в пространство.

Налетели новые клубы дыма, пахнувшие в лицо едким жаром, глаза слезились.

«Ну и что? Может, повернешь назад?» — насмешливо спрашивает какой-то внутренний голос. Я все еще стою на прежнем месте, будто столб на меже перед полем и лесом.

Если бы знать мне хоть какой-нибудь прием, чтобы загнать Ватикера в угол и заставить дрожать от страха!

Но что может закутанная в платок и медленно раздумывающая женщина, у которой за плечами по случайности болтается старое двуствольное ружье!

Как-то жалко ступить на поле и нарушить своими неуклюжими валенками искристую снежную гладь. Ле-

том, наверное, здесь, на вырубке, пахнет смолой и зреет под пышущим маревом земляника.

О-о, тут действительно тихое место, если из лесу осмеливается выйти лисица! Бесподобная гибкость у этой рыжей курятницы! Глазу открывается торжественная гармония девственного леса, в ту минуту я не вижу за спиной жалкого ольшаника, за которым вьется будничная, в навозных катышках, дорога.

Хищница бежит легко и красиво. Уже дотрусилась до середины поля. Остановилась, подняв лапку. Морда вытянута вперед — или учуяла человека? Теперь повернула к ольшанику, осторожно крадется несколько метров вперед. Застывает. И тут же, будто выпущенная пружиной, взлетает вверх. Молниеносно опускается, поднимая снежную пыль. Разрывает под собой снег. Какой странный танец! Уткнулась мордой в разрытый сугроб. Может, и среди лис встречаются помешанные?

Но нет, обычный старый хищник спокойно возвращается с полевой мышью в зубах.

И почему только бытует убеждение, что лисы воруют лишь кур?

На меня находит смех. Когда-то на Ватикера власти возлагали большие надежды, а он выследил всего несколько подобных мне рядовых товарищей и не прослыл в веках.

Вперед! Волокусь по снегу большущими валенками — по соседству с лисьим поживным угодьем остаются две глубокие борозды.

Кое-где под вековыми соснами земля совсем голая, под снежной коркой, на просеке, хорошо видны санные следы, а за поворотом, отсюда так близко, — дом лесника.

«О,— говорил мне Михкель Мююр.— Каарел, он все норовил других перещеголять. Все твердил: я на государственной службе — потому-то он и пристроил к дому стеклянную будку. А так посмотреть, дом как дом — как все наши здешние хибары, краски и в глаза не видел, на крыше — дранка, под одной же крышей — хлев, все от дедов-прадедов завещано. А вот будку стеклянную, надо же, пристроил».

Жердевый забор, лозовыми скрутками прикреплены к столбу ворота — распахиваю их на вышарпанный двор. Медли не медли, а застекленный тамбур, о котором говорил Михкель, невольно приближается. Из проталинки

в заиндеветшем окне меня без стеснения оглядывает старуха. Отворять дверь она не спешит, ждет, пока чужой человек войдет в кухню, сама все у окна.

Старуха молчит, я — тоже. Раздумываю: спросить господина Ватикера? Или товарища?

Прокашливаюсь, снимаю варежки. Человеку с мороза простительна некоторая медлительность.

— Мне бы хотелось видеть гражданина Ватикера.

Старуха исчезает в соседней каморке.

Теплый и влажный воздух просторной кухни отогревает лицо. Отходят пальцы на руках. Снег, стаивающий с валенок, капельками стекает между клинкерных плашек, которыми елочкой выложен пол.

Перед печью лежит приготовленная куча хвороста и стоит лоханка с тестом, на которую наброшена черная тряпка, чтобы в тепле быстрее поднялось тесто. На плите сушатся, положенные на решетку, три тарелки и три кружки — с розами на боку.

Вздумай старуха сказать, что они тут с Каарелом только вдвоем, — а кто тогда третий сидел за обеденным столом?

Возле дальнего окна — столярный верстак, под ним — стружки. На гвозде висят уздечки и, если не ошибаюсь, плетеный кнут. Под окном — бог весть какой древности стол, выскобленный так, что видны все прожилки.

В задней комнате скрипит кровать и слышится кашель — ощущаю, как стволы опущенного прикладом на пол ружья обжигают мою правую руку.

Выходи же ты наконец! Сама бы шагнула ближе, да жалко расставаться с полумраком, который так к месту окружает меня в углу возле двери.

— Спрашивает гражданина Ватикера, а сама какая-то чудная, с ружьем... — доносится до меня шепот старухи.

В дверях появляется одряхлевшая фигура в заштопанных шерстяных носках. Человек подходит ближе. Верхний крючок на галифе не застегнут, видно, забыл, одна подтяжка болтается на предплечье, другую он поднимает выше. Исподняя рубаха после сна совсем мятая.

— Кто это тут пришел? — задыхается Ватикер и прикрывает рукой глаза, чтобы яркий, отраженный от снега свет с улицы не бил в лицо.

— Что же это, глаза ослабли, гражданин Ватикер?

Он шарит в кармане. Я мгновенно отрываю от пола приклад ружья. Ватикер достает всего лишь носовой платок, чтобы вытереть пот.

— Печь не теплая, и хворост дожидается своего часу, вроде бы и не жарко вовсе, чтобы потом прошибло,— поддеваю я, изумленная, что он не узнает меня.

— Приглашай гостя присесть,— командует Ватикер старухе, а сам дышит при каждом слове так тяжело, что не остается сомнения — видно, и впрямь болен.

Выхожу на середину кухни и откидываю с головы платок.

— Анна?!

— Она самая.

— От-то-то,— пугается Ватикер.— Такой гость! А я в подобном виде,— бормочет он, отступая в заднюю комнату.— Ставь кофейник! — кричит он оттуда.

Старая женщина в темном одеянии копошится в углу возле плиты, обратив ко мне бесцветное лицо. Нашупывает между кусками сохнувшего на печном уступе мыла спичечную коробку и говорит мне:

— Вешалка, вон она, у двери, раздевайся уж, коли на то пошло, и ружью место определи.

Береста в ее руках с треском загорается. Через мгновение уже под плитой горит огонь. Старуха кружкой зачерпывает из ведра воду и наполняет закопченный чайник, потом снимает кочергой несколько кружков и ставит его на плиту — капельки воды, упавшие на горячее железо, громко шипят.

Приходит Ватикер — сапоги начищены, на плечах засаленная домашняя куртка с простроченными бортами, редкая седина приглажена гребешком, протягивает руку.

— Здравствуй, Анна! — приветливо говорит он и снова задыхается.— Видишь, постарел, астма продыху не дает, с добрым человеком и не поговоришь как следует.

Смотрю на его обвислые щеки, прислушиваюсь, с каким трудом он хватает воздух, и вдруг чувствую свою беспомощность: какие могут быть счеты с таким жалким существом?

Ярость, что гнала меня сюда, как-то вдруг поугасла, превратившись в обыкновенную повседневную злобу.

— Что ж, пойдем на чистую половину,— предлагает Ватикер.

На чистой половине через всю комнату протянулся лоскутный половик, он приводит нас в угол, где вокруг одноногого круглого стола расположились три кресла — к каждой спинке прислонена вышитая подушка. С потолка на цепи свисает керосиновая лампа под белым куполом.

— Вот видишь, куда кривая вывела, — объясняет Ватикер. — В заброшенный домик лесника, в сторону от людей и дорог.

— Да, бывало, все держался ближе туда, где побольше народу.

— Теперь что, да и здоровье тоже... Здесь, в лесу, легче дышится. Каарел постарел, говорит — иди подсоби. Лесничество большое, пригляд требуется, и браконьеры случаются, и дровишки воруют. А добро народное надо беречь.

— И давно ты бережешь его, это народное добро? — посмеиваюсь я.

— Да с год будет или поболее.

Ватикер смотрит на меня серьезно, переставляет, скрипя сапогами, ноги. И продолжает:

— Ты напрасно таишь на меня злобу, Анна. С ружьем вот пришла. Страсть-то какая. А я — конченный человек. Судьба оделила меня сполна за все грехи мои.

Садистские приемы! К чему! Ватикер сам преподнес мне превосходный ключ: пусть унижается, пусть объясняется, извивается, вымаливает прощение, прикидывается, пускай — что еще может быть страшнее для человеческого достоинства!

А я могу расслабиться и слушать его. Пускай даст небольшое представление.

— Я не против нового строя, — заметив мою ироническую усмешку, торопится он заверить. — Если я, убогий и хворый, служу здесь на маленькой, но нужной должности — разве я этим приношу властям вред? Нет, Анна, человека нельзя отбросить в сторону! Мало там что...

— Давай, давай, говори! — прикрикиваю я на него прокурорским тоном и скрещиваю руки на груди. — А что ты, проклятый шпик, все это время делал? Сколько по твоей милости сгинуло людей?

Старушка, вошедшая с кофейником и чашками, вздрагивает. Бормочет в сторону Ватикера:

— Смотри-ка, чудище!

— Погоди ты,— бегая глазами, успокаивает Ватикер старуху и самого себя.— Анна — человек не чужой, должна бы знать — сестра Юули и Михкеля Мююра. Кроме того,— запинаясь, добавляет он,— характерец жестковатый.

Старуха замолкает. Она сразу же вспоминает, с кем имеет дело. И с этой минуты свое презрение выражает безмолвно. Швыряет на стол сахарницу и удаляется, хлопнув дверью.

На меня находит смех, хотя я и сохраняю строгое, серьезное лицо.

Ватикер наливает кофе, долго и основательно размешивает сахар и собирается с мыслями.

— А знаешь, Анна,— начинает он осторожно,— у кого хочешь спроси, и все тебе скажут...

— Что?

— А то, что я и родитель мой, мы оба помогали революции.

— Что я слышу? Вот удивил, слов не нахожу!

— А ты не издевайся. Ты и помоложе, и ведать того не ведаешь, лучше спроси у Михкеля, брата своего, он подтвердит, что святую истину говорю.

— Да ну?

— Мой отец в пятом году ходил жечь мызу в Кяру. И я с ним прокрался. Все господские зеркала перебил. Это я-то, двенадцатилетний пастушок, а вот всем сердцем ненавидел угнетателей! И не побоялся!

Ватикер задыхается, возбуждение усиливает приступ астмы, и ему приходится отпить несколько больших глотков кофе, чтобы заговорить снова.

— Ты не торопи меня и не смотри с такой злостью, видишь, тяжело мне,— просит он.

И хватает ртом воздух; слышу, как на кухне старуха гневно рубит на чурбаке хворост.

— Потом пришла черная сотня, и отца по этапу угнали в Сибирь. Так и не вернулся.

— И как это яблоко от яблони так далеко падает? — смеюсь я в лицо ошеломленному Ватикеру.

— Когда потом мужики, что поджигали мызу, бросились в бега, люди боялись к ним подходить и помогать. И только я носил ведрами на дорогу воду, чтобы мужики и лошади могли напиться, душу отвести. Никто другой не посмел. Опять я.

Глаза Ватикера умоляют, чтобы я похвалила его.

— А мало я терпел в детстве? — спрашивает он сам себя, и его при этом даже слеза прошибает. — Или, думаешь, легкой кровью достается пастушку хлеб — ой, не сладок он. Или парнишке легко было ходить за плугом? Все какие ни на есть тяжелые работы мне пришлось переделать, вот и надорвал здоровьишко свое.

— Бедный ты, бедный, Ватикер! Вот только как из такого благородного, такого хорошего человека получился шпик?

— Ну зачем ты так? — морщится Ватикер.

— Так как же из тебя получился шпик? — требую я.

— Видишь ли, — увертывается он, — на этой проклятой работе я и состоял-то всего ничего — года два или три. Просто затмение какое-то нашло. Злость моя против угнетателей и выкинулась таким боком — вкривь и вкось, — патетически объявляет он. — Я стоял за свое — эстонское. Чужой власти не хотел. Если бы знать, что все пойдет по-другому, — да разве я бы дал такого маху? — на одном дыхании произносит Ватикер и косится на окошко.

— Ждешь помощи?

— Вернется Каарел — защитит. — Ватикер пытается шутить.

— Ну, — хмуря брови, подгоняю я.

Ватикер послушно продолжает:

— Свою долю сыграла, конечно, и моя непутевая женитьба.

— Не верти, быстрее, — стучу я пальцем по краю стола.

Сказать по правде, комедия эта начинает уже порядком надоедать мне. Как-то не получилось эффектного сведения счетов, к которому я столь долго готовилась. Одно лишь отвращение вызывают жалкие людишки, изворачивающиеся с поросычьим визгом. Пусть унижается и копаются в своем прошлом, и то ладно.

— Ну да. У нее были свои дома. Богатая и образованная женщина, ничего не скажешь. По-немецки лопотала почище другого немца. А у меня за душой — ни гроша. С того и пошло — грызет-сечет нечистая под ложечкой. Мужик ты или кто? Веса никакого. А там... хорошо платили. Должность важная, и к почтительности понуждает.

— Вот-вот, — киваю я, — сам видишь, с какой почти-тельностью слушаю я тебя.

Ватикер опустил глаза и глухо постукивал каблуками, так что подрагивали на коленях вздувшиеся галифе.

Если бы он хоть возражал, показал свой характер! Неужто это старость и несбывшиеся надежды превратили его в моллюска?

И надо мне было тащить ружье! Неудобно как-то. Какие я тут страсти ожидала увидеть? Девчоночьи воображения, которые уже давно поблекли, стали тленом. На какой-то стадии своей жизни человек, сам того не замечая, становится удивительно наивным.

— Теперь дома твоей жены национализированы,— замечая я безо всякой задней мысли.

Ватикер оживляется, потирает руками расплывающиеся в улыбке пухлые щеки, которые совсем хотят зажать щелки глаз.

— Власть трудового народа сделала то, что и требовалось,— радуется Ватикер.— После смерти жены все ведь досталось ее племяннице. Как же— кровная родня. А я кто— бери котомку и убирайся вон. Работу найти было непросто, но потом все же получил грошовое местечко в министерстве— здоровье никудышное, кому ты нужен, ах... А ныне дома у государства, племянницу эту погнали в меньшую квартиру,— и пусть утрет рот. Вот так-то, они, дела да присказки.

Ватикер хихикает, задыхается и снова разливает кофе.

— Да, в таком случае,— поддеваю я,— новая власть для тебя— все равно что мать родная.

— Само собой, само собой.

— Если говорить по чести, так место твое за решеткой или в Сибири,— прерываю я его злорадство.

Руки Ватикера обмякают рядом с чашкой. Он пытается подавить одышку и шаркает каблуками по полу, словно проверяет, может ли он еще передвигать ноги.

— Знаешь, Анна,— собираясь с духом, продолжает он,— что до тебя, так я всегда старался закрыть глаза на твои делишки. Все-таки— земляки, с детства знаем, да и нравилась ты мне одно время страсть как...

— Золотце ты мое! Ватикер! Слов не нахожу! Такой видный мужчина— обратил на меня, простую девчонку, свое внимание!

— Истинно говорю. Сейчас оно, конечно, смешно кажется: что я теперь— мешок мяса, в руках и то силы никакой; а пальцы, если уж сказать по чести, за всю жизнь ни к какой настоящей работе так и не приучились.

На зорьке, когда сна нету, мысли к смерти клонят. Особо если погода к перемене и дыху не дает. Ты, ясно, обошла меня. За Кристьяна выскочила. Я женился на Эльвире. Вот крест святой, злобы не таил, и пальцем не пошевелил бы, и глазом бы не повел на твои потайные дела. Если бы не Юули...

Какое-то странное ощущение ненужности заползло в душу вместе со словами Ватикера. Зря пришла. Возможно ли вообще еще распутать истлевшие узлы?

— Как? — требую я объяснения у Ватикера. Меня охватывает противное чувство зависимости — нет, надо было остаться с Михкелем Мююром!

— А случилось это на именинах Эльвиры. Общество собралось пестрое — всякие там домовладельцы, как говорится, сливки нашей окраины. А тут еще новоиспеченные герои освободительной войны. Эльвира была без ума от мужчин в офицерских мундирах. Доньше понять не могу, с какого лиха она вышла за меня, на что надеялась. Видно, никто другой не хотел ее.

— Что сказала Юули?

Ватикер неожиданно стал хозяином положения и, словно в насмешку, потчует меня длинными Эльвириными историями. Неужели я попалась на крючок и смеяться потом будет он?

— Юули, — послушно продолжает Ватикер, — пропустив рюмочку, начала клясть своих родственников. И то, что муж — сопун, на люди не выходит, ей приходится всюду бывать одной, будто она вдова какая. И что сестра — точно уже не помню, но примерно в том духе, мол, неудачно замуж вышла, и что мужа сестрина хворь гложет, да и раньше с него толку не было — на месте не задерживался, все схватывался с хозяевами за грудки, язык больно острый, насмехаться горазд, в газетенках всякую ерунду на людей возводил, разве кому такой слюбится!

Голова у меня вдруг отяжелела, стала вроде грузного ящика, который положили на меня одним боком, и сдвинуть его теперь уже невозможно. Зато грудь и дряблый живот у Ватикера просто колыхались, когда он дышал. Долгий разговор вызвал на его лице прилив крови, и даже тупые руки в лучах закатного солнышка светились багровой кровью.

— Эльвира возьми да и спроси: мол, с каких таких доходов живут сестра с мужем, вдруг они сидят на Юули-

ной шее? Юули потрянула своими пышными волосами, ну прямо любо-дорого смотреть было, однако от ответа уклонилась. Эльвира все допытывалась, пока Юули не призналась, что вы с Кристьяном живете политикой.

Тут Ватикер умолк.

Челюсти у меня начинают двигаться с таким хрустом, будто кто отдирает с ящика доски. Слышу свои слова:

— Мутишь воду, Ватикер. Юули знать не могла.

— Жили-то вы рядом, сестры к тому же, а Юули на ногу шустрая, и глаз на примету здоров...

— Да, крышки с чужих горшков поднимать любила, любопытства не занимать было.

И как только вообще язык у меня поворачивается говорить с Ватикером в таком доверительном тоне!

— Всякие люди бывают, суют нос...

— А ты сам, Ватикер...

— Послушай, Анна,— просит он жалостливым голосом,— называй ты меня наконец Херманом! Всю жизнь, и Эльвира туда же, одно и то же — Ватикер да Ватикер!

Он просто втягивает меня в пасторальную обстановку братания. Какая прелесть — ладан понимания. Неужели он, сатана такой, и в самом деле столь ловкий психолог, что способен использовать мои слабости? Откуда знать ему, что я не в силах ударить по лицу человека, который кается и протягивает руку?

— Ну хорошо, гражданин Херман Ватикер,— остаюсь я официально-холодной,— но ведь ход намекам, которые под пьяную руку могла высказать Юули, дал не кто другой, как ты?

— А куда мне было деваться? — Ватикер смотрит в упор своими водянистыми глазами, словно вынуждая меня смириться и стушеваться.— Офицеры заинтересовались делом, Эльвира разошлась вовсю и потребовала решительных действий. Бабы, на то ведь они и созданы, чтобы подстегивать мужчин на большие замахы. Дескать, что станет с нашим эстонским делом, если нельзя уже положиться на государственных чиновников и если из-за старых связей плюют на интересы народа. Эльвира не переносила тебя — слишком уж часто я неосмотрительно упоминал твое имя.

— Выходит, во всем виновата покойница Эльвира!

Все же я вновь обрела чувство превосходства.

— Такое было время. Братоубийственное. Люди ненавидели друг дружку. Вражда разрывала семьи, не оста-

лось места для жалости. Глядишь, только сейчас можно будет снова надеяться на человечность.

Смех мой звучит не совсем естественно.

Старуха распахивает дверь и спрашивает:

— Ватикер, ты снесешь сено козам или мне плестись на холод? Каарел вон все еще не вернулся.

— Неси сама,— устало бросает Ватикер.

Старуха даже не смотрит на меня, резко захлопывает дверь.

— Да ты, Ватикер, и впрямь как перст, никто не хочет тебя Херманом называть. Даже старуха.

Он оставляет без внимания мой укол.

— Тут поблизости, под соснами, Каарел устроил косякам ясли. В непогоду подкармливают их, и мне приходилось не раз подносить им. Только сейчас дошло до понимания, как близость с природой возвышает и очищает человека. Скажем, видишь, заяц скачет или идет и покачивает рогами лось — красотища такая, что... Я уже старый человек, а только в минувшую весну впервые случилось смотреть, как токуют тетерева.

— Гляди-ка ты, какая нежная у человека душа!

— Насмехайся, насмехайся, Анна. Да и где уж тебе понять хворого старика.

С улицы в окно нескончаемо струится густая зимняя синь. Единственная вещь, которая выделяется из усыпляющего полумрака,— лампа под белым куполом, висящая на цепи над столом.

Съжившаяся фигура Ватикера по другую сторону стола напоминает собой брошенный на стул полупустой мешок.

О чем он думает? Вспоминает Эльвиру? Или прикидывает: махнула я рукой на него, простила или по-прежнему представляю опасность?

Провалилась моя затея. Двадцать лет невозможно таить зло. Одно воображение. Почти столь же нелепое, как наказание детей за проступки их родителей.

— Ладно, Ватикер. Пойду.

Мои слова звучат неуверенно, будто продираются они в сумерках, отыскивая проталины, где мрак не столь густой.

Поднимаюсь. Меня пугает чувство половинчатости.

— Не спеши, у тебя же ружье с собой! — встряхивается Ватикер.

— Вдруг волки,— оправдываюсь я теперь за свой воинственный вид.

— До шоссе недалеко. Хоть разок в жизни немного провожу тебя,— поднимаясь, предлагает Ватикер.

Ступив за порог пропахшей хлебным духом кухни, чувствую, как мороз схватывает ноздри.

Ватикер плетется сзади, и у него за спиной болтается ружье. Утыкаюсь подбородком в платок и шагаю по своим прежним следам, которые накрест пересекают лисье угодье.

Дойдя до ольшаника, Ватикер замедляет шаг.

— Может, еще свидимся,— говорит он неуверенно и поддевает носком сапога наметенный снег.

Возможно, и у него осталось чувство половинчатости?

— Быть может,— произношу я безразлично.

— Вот видишь, как хорошо можно прояснить наши старые дела,— шепчет он мне в затылок.

Будто меня ткнули в шею ледяными иголками.

Ну почему случается так, что я всегда иду перед Ватикером, словно под стражей?

— Не так ли? — ждет он ответа на свой вопрос.

Невольно киваю. И хотя это остается незамеченным — скрывает платок,— во мне углубляется угнетающее чувство предательства.

Все же Ватикер волнуется, иначе с какой стати он пытается прощупать мое настроение?

Хотя бы с ним остались страх и неведение.

Когда ольшаник редет, Ватикер останавливается и с сожалением говорит:

— Вот и не встретили волков.

Быстро оборачиваюсь — какое-то его движение заставило меня напрячься.

Он сунул руку за пазуху, и на окоченевшую ладонь из-за отворота кожуха шлепнулись часы. Как же сказала об этом наблюдательная Мирьям?

— Золотая брюква! — восклицаю я, и смех вырывается у меня из какой-то неведомой глубины.

Ватикер взвешивает на ладони свое сокровище и улыбается мне.

Слышу, как стучат среди лесного покоя часы. С легким звоном отскакивает золотая крышка, и Ватикер кивает:

— И совсем еще не поздно.

Нерешительно подаю руку.

И снова он оказался у меня за спиной. Впереди чернеет полуразвалившийся сарай. Очень хотелось бы ускорить шаг, но это может показаться трусостью. Пробирает дрожь.

Гремит выстрел. Я застываю на месте, ожидаю боли. Не чувствую. Медленно оборачиваюсь и замечаю Ватикера, который стоит в редком ольшанике, уставив ружье в небо.

— В кого это ты там стреляешь? — громко кричу я.

— Волков пугаю, тебе идти будет смелее, — очень ясно доносится в ответ, будто нас и не разделяет добрая сотня шагов.

Остаюсь на месте, жду. Больше к нему спиной поворачиваться нельзя.

Ватикер догадывается, закидывает ружье за спину, кажется, даже машет рукой, если мне только не изменяет зрение, и исчезает за деревьями. Наполовину бегом добираюсь до овина. Опускаюсь на сено. Пусть отойдет сердце.

Через ворота мерещится, — как в поле, опустив хвост, заводит свой танец все та же лиса — рыжая плутовка на сверкающем снегу. Обычная старая хищница, которая довольствуется в большой снег полевой мышью.

Немного отдохнуть, успокоиться!

И почему это люди говорят о лисицах, будто они вечно таскают лишь кур?

Поблизости от меня кто-то храпит.

— Эй, земляк! — кричу я громко в глубину сарая.

— Что? Что? — доносится голос Михкеля Мююра. — Это ты, — узнает он и долго потягивается. — Пришлось таки подождать. Полбутылки на согрев ушло. Хочешь глотнуть?

В горлышке булькает. Волоча за собой клоки сена, выбираюсь на дорогу. Михкель Мююр ковыляет следом.

— Давай понесу ружьишко, — предлагает он.

Не оборачиваясь, подаю ружье.

За спиной теперь у меня прочная защита.

Если относиться к морозу с оптимизмом, тогда ледяные узоры на окнах, хотя они и не дают возможности выглянуть на улицу или во двор соседского хозяина Хави, даже помогают моей работе. Раньше, бывало, встану со

стула, пройдуся из комнаты на кухню и гляжу, как в ближайших домах зажигают свет, или начинаю рассматривать женщин, которые стоят через дорогу возле лавки в очереди и чешут языками. А теперь, после того как горком партии нагрузил меня срочным переводом, я без конца сижу за столом — чистая бумага справа, русский текст слева, прямо передо мной в стаканчике — горстка отточенных карандашей.

Кристьян радуется: уж теперь-то у меня больше не останется времени на возню с родственниками. Возвращаясь с работы, он по вечерам всегда точит затупившиеся карандаши и, одобрительно кивая, читает переведенный текст.

Из квартиры выхожу лишь по утрам, чтобы сходить в лавку, принести снизу, из подвала, корзину сланца и наполнить под краном водой оба ведра. Завидев сланец, Юули страшно сердилась — загубишь плиту. Ей хорошо говорить — небось с лета запаслась березовыми дровами. А нам по приезде сюда было непросто раскошелиться на такое. Пришлось заново налаживать свое житье-бытье.

Все эти страшные пожарища войны, уже опалившие Европу, нагнали и тут, в Эстонии, страху. Люди стали создавать запасы, нахватывают всего, что под руку попадется. Из лесов не успевают подвозить дрова, со складов — товары. И в газетах читают, и разъяснительные речи, которые пытаются сбить горячку приобретательства, слушают, однако в памяти людей еще свежа прошлая мировая война, и каждый наперед старается отгородить себя от возможных трудных времен.

Щели в окнах я забила плотно тряпьем, сверху оклеила все бумагой, и все равно заледеневшие стекла дышат таким холодом, что мне пришлось передвинуть кухонный стол поближе к плите. Куски сланца под рукой, время от времени подбрасываю их в топку, пусть себе тлеют. Стоит забыть об огне, как сразу коченеют руки и мысли словно бы застывают.

Настроение великолепное: срочная работа создает хорошее самочувствие. Ты все время нужна, с тобой считаются, даже радуются, когда тебе удастся принести какую-то часть работы на денек-другой раньше срока. Я была приятно поражена, когда за надобностью переводов вспомнили меня. А то за своей долгой, кропотливой работой я превратилась в глазах других в домохозяйку, по поводу которой пожимают плечами и не знают, способ-

на ли она вообще шевелить мозгами или просто бездельничает. Так бывает всегда, когда ты занята большой работой, продвижение которой известно лишь тебе самой.

В коридоре сегодня как-то необычно шумно — неужели бабы согреваются разговорами!

— Красным ни за что не справиться! Слабаки!

Это сказано прямо за моей дверью.

Придется отложить карандаш.

— Знай митингуют и обещают!

— Бывало, заходишь на дровяной склад, закажешь. Дрова сухие, поленья так и звенят в руках.

— Да, под плитой гудело — и все вмиг закипало.

— Что там дрова! Захочешь ты сейчас какую тряпку купить, пойдешь в магазин — и не знаешь, то ли достанется тебе, то ли нет!

— Вот только кто из нас раньше покупал зараз по тридцать метров материалу на подштанники?

Дружный хохот.

— А если я покупаю на свои деньги, почему я не могу взять столько, сколько мне заблагорассудится?

Хлопают двери, коридорное собрание пополняется все новыми участниками.

Пойти поговорить с ними? Высмеют! Начнут издеваться, скажут, что говоруны вы хорошие, только знай лопочете! Особенно соседка Лиза и эта Хельми с нижнего этажа — такие зубастые, что... Я же никогда ораторскими способностями не отличалась.

Или остаться сидеть возле теплой плиты и пусть они там поносят советскую власть?

Встаю из-за стола, оглядываю голые кухонные стены, словно ищу себе опоры...

Распахиваю дверь. Женщины тут же примолкают.

— Заходите, пожалуйста. В тепле приятнее разговаривать,— зову я.

Бабы стеснительно смотрят друг на друга, никто не двигается с места.

— Идите, идите,— подбадриваю я.

— Пошли, бабы,— махнула рукой грудастая, румяная Хельми.— Пусть госпожа коммунистка научит, как быть, чтобы семья не подохла с голоду!

— Ну что ж, пусть поучит,— поддакивает соседская Лиза.

Женщины толкуются в дверях. Быстро собираю со стола свою работу и уношу все в комнату. Хельми идет за

мной, сгребает в охапку старые венские стулья, несет их на кухню, и вот бабы уже рассаживаются вдоль стены. Поправляют передники, сморкаются, разглядывают попеременно то меня, то Хельми.

— Тут такое дело, госпожа коммунистка,— Хельми поворачивается ко мне с лукавой усмешкой,— что красивые, того и гляди, приплод людской остановят, дети перестанут рождаться. От одной картошки толку с мужика не будет — хоть с кровати прочь гони!

Бабы хихикают и с интересом оглядывают меня, а кто посмелее прыскает.

— Не беда, сейчас покажу, как избавиться от такого лиха.

— Да ну? — подвигается Хельми и скрещивает на груди руки.

Выволакиваю стол на середину кухни. Достая из буфета чашку, ложки и нож.

— Сейчас отведаете, минуточку терпения.

Я будто на сцене — все взгляды обращены на меня.

Беру с полки лук, буханку хлеба, бутылку подсолнечного масла.

— Лук вроде бы есть у всех? Хлеб продают без паспорта? И подсолнечное масло тоже? — спрашиваю я, беря по отдельности эти предметы в руки и поворачиваясь на каблуках, чтобы все видели. Совсем как фокусник в цирке.

— Вроде бы,— хором поддакивают женщины и смеются.

— Фирменное блюдо — лук, хлеб да постное масло,— хихикает Хельми.

— Неча еду хулить,— ворчит какая-то старушка.

— Теперь смотрите,— продолжаю я совершенно серьезно. Судорожно сжимаю в правой руке нож, левую опускаю на буханку, чтобы унять дрожь и не выдать свое волнение. Такое представление мне приходится давать в своей жизни впервые. Это тебе не сцена Эстонского домпросвета, где я выступала с заученным текстом.

Хлеб нарезаю кусочками, лук — мелкими кружочками, все это кладу в чашку, заливаю чуточку водой, припорошиваю солью, поливаю сверху подсолнечным маслом, перемешиваю и сую каждой женщине в руки столовую ложку.

— Ох вы, бедненькие, и что за небывалая нужда одолела вас,— ехидничаю я,— видана ли страсть такая: мас-

ло уже не столь желтое, как осенняя луна, и сало не такое толстое, как лед среди зимы, и куры отощали, словно зайцы по весне! Не остается ничего другого, надо что-то придумывать! Прошу, прошу, наваливайтесь, перед вами еда, которая и здоровый дух в человеке сохранит, и силой не обидит. Куда вкусней, чем фейшнеровские пирожные, которые вы в добрые пятсовские времена, понятно, ели каждый день десятками. Подходите, попробуйте, советую всем. В России такая еда в трудные дни крепко душу в теле держала. И мужики в силе были, и дети рождались. Оно конечно, во рту не столь тает, как президентский шоколад, который вы, разумеется, сосали каждый божий день, и естественно, что нет того тонкого аромата, какой есть у подливки к картошке а-ля сковорода,— авось они вам слегка знакомы. Будьте добры!

Бабы заходятся смехом и, выставив ложки, с серьезной деловитостью толкуются вокруг стола, зачерпывают из чашки, пробуют на вкус.

— Пикантно,— поднимая брови и вытягивая губы, замечает Хельми.

Неприятнь улеглась, чашка опустела.

— Ну? — Теперь уже я скрещиваю самоуверенно на груди руки, прохаживаюсь перед усевшимися на стульях бабами и требую ответа: — Все еще боитесь голода? Все еще собираетесь выгонять бедных мужиков из постелей?

— Нет, нет,— весело отвечают женщины.

— Ничего не скажешь, рецепт госпожи коммунистки не так уж плох, но я все ж не очень верю в него,— говорит застрельщица Хельми, чьи скрытные мысли до меня как-то сразу не доходят.

— Почему?

— Так ведь у вас у самих-то детей нет,— словно бы нехотя тянет Хельми.

Женщины что-то бормочут и вскоре от неловкости вовсе замолкают. Не сразу дошла до них бестактность Хельминых слов.

Одна молодка, совсем еще девчонка, зардевшись неслышно открывает дверь и исчезает в коридоре.

Опускаюсь на освободившийся стул.

— Мой ребенок, Хельми, умер в тот самый день, что и твой отец, Каспар.

Соседка Лиза зачерпывает из ведра воду и жадно пьет.

— Ну, молодухи,— говорит она, глубоко вздыхая,— устроили же мы митинг.

Знак, чтобы поднимались и расходились.

— Хельми помнит, пусть расскажет.— Я становлюсь безжалостной.— Может, кому-то будет интересно услышать историю этого дома.

— Ох, тот страшный день и у меня с глаз не сходит,— вступает Лиза.— Да и дворничиха помнит, а уж мадам Курри и подавно.— Она пристально смотрит на старуху Курри и тут же прощающе машет рукой и, поднимаясь со стула, заканчивает: — В кои века, стоит ли...

— Кое-что не грех и вспомнить!

Мой голос звучит резко и жестко, все послушно остаются на месте.

— Ну, говори, Хельми. Тебе было уже пятнадцать, барышня, с парнями заигрывала, разум и память все равно что у взрослого человека...

Хельми беспокойно вертится на стуле.

— Была у отца лошадь, Тильде, такая пятнистая кобыла... Жили мы тогда над прачечной. Мать брала стирку на дом, а жильцы не любили, что им в окно идет пар,— шепчет Хельми и, словно испуганный ребенок, не осмеливается поднять ни на кого взгляда.

— В воскресенье это было,— подсказываю я, мне как-то вдруг стало жаль Хельми.

— В конце августа, стояла теплая погода,— кивает Хельми.

— После немецкой оккупации, время скудное и смутное. И хоть оправдания в этом нет, но только самогонку гнать вошло в моду.— Я взялась рассказывать сама. Хельми как-то совсем съезжилась.— За прачечной — ход туда был с улицы — находилась пекарня и булочная. Тут же печь и тут же полки для свежих хлебов и булок, однако муки не было, и все эти аппетитные запахи давно выветрились. Кажется, первой, кто попросила ключ у хозяйки и установила в пустой пекарне самогонные аппараты, была мадам Курри.

— Разве могла женщина в одиночку с этим делом справиться? — возражает Курри, лицо у нее пошло пятнами. Надо думать, что не со стыда, явно успела с утра отведать своего зелья.

— Замолчи ты,— цыкает на нее Лиза.

— Мадам Курри была первой, но не единственной, которая воспользовалась пустующим помещением. В до-

ме повелось невероятное веселье. По коридорам разносились песни.

— А старый Капле, тот однажды даже из окошка уборной концерт давал,— буркает дворничиха.— Ох уж и паскудились и позорились,— качает она головой.

— Весь двор запохабили, измызгали,— кивает Лиза.

— Мать боялась уж и белье вешать, говорила — залапают,— вставляет и Хельми словечко.

— В то время в конюшне за углом дома стояло пять или шесть лошадей. Двор весь перемесили, загадили соломой и навозом. Летом — от мух черным-черно, осенью — грязь по колено.

— У заборов разная тележья рухлядь да крысы. Того и гляди, заберутся в дом, стоит отвернуться — последний кусок со стола утащат,— подтверждает дворничиха.

— Воду брали из колодца, зимой такую наледь заливали, что и трезвому не устоять. Извозчики, поганцы, ставили на край колодца ведра, которыми в конюшне управлялись, поди знай, может, навозом поганили воду...

Все начинают наперебой вспоминать, Хельми смотрит уже смелее и слушает с жадным любопытством — в девичьи годы обычно будничные мелочи столь цепко не замечаются.

— В то августовское воскресенье,— вставляю я, и бабы, пихая друг друга, замолкают,— то ли у кого именины выдались или что другое, но пили много, и тогда извозчик Колька...

— У него было два мерина с белыми отметинами на лбу,— замечает Хельми.

— Так вот этому Кольке взбрело в голову устроить состязание по борьбе. Плечистый мужик, эдак лет за тридцать, встал во дворе перед прачечной и затрубил, чтобы слышали все: выходите смотреть, собирайтесь в круг! Бабы и девки! Мужики и ребятня! Выходи, сейчас дюжие молодцы сойдутся на бой!

— Вывалили мы тогда на крыльцо. Уселись на ступеньки, словно в те-атре! — оживилась Лиза.

— Колька сбросил пиджак, отшвырнул не глядя к забору кепку, затянул узлом под подбородком шейный платок, рубахи у него не было, сам весь, как черт, волосатый,— рассказывала, подавшись вперед, дворничиха.

— Хоть бы тогда дождь пошел, остудил проклятых, говорила потом мать, когда остались без отца,— прошептала Хельми.

— Колька стоял, как богатырь, сгибал руки, постукивал кулаком по мускулам.— Говоря это, Лиза, казалось, усмехалась украдкой.

— Девки повизгивали, бабы хохотали, усмехались старики, подгикивали мальчишки. Всеобщее одобрение собравшейся публики.

Вдруг гости мои приумолкли, одна лишь Хельми заметила с болью:

— Мать потом все корила себя: ну почему, я не осталась дома, я бы удержала Каспара.

— Всем было невтерпеж, все жаждали представления. Колька похвалялся и похвалялся, пока не науськали Каспара. Был он тоже мужиком дюжим.

— До того как отец купил лошадь, пегую Тильде, он мешки грузил.

— Кто-то из ребятишек принес старую сковороду и ударил камнем в гонг. И началась борьба. Мужики крихтели-пыхтели, но некоторое время никому уложить друг дружку на лопатки не удавалось. Наконец оба грохнулись наземь. Катались по соломенной трухе и конскому навозу — полуголый Колька и Каспар в разодранной с плеча пестрой ситцевой рубаше. Женская половина взвизгивала от восторга, старики стучали кулаками по коленям и разбились на два лагеря — одни за Каспара, другие болели за Кольку. Того и гляди, сами схватятся за грудки, если бы только смогли отвести взгляд от разъярившихся борцов. Я стояла на верхней ступеньке рядом с хозяйкой. Вдруг заржал привязанный к забору жеребец и взвился на дыбы. Тревогой резануло по сердцу. Потребовала у хозяйки: разними мужиков!

Никак не хочется продолжать дальше, хотя я и сказала намеком: хозяйка.

— Хозяйка тогда крикнула, мол, не мешай, пусть работаги душу отведут,— подтвердила дворничиха.— Как сейчас помню.

— Каспар уже хрипел под Колькой,— выдавила я сквозь зубы.

— И тогда Анна перелезла через нас,— продолжала Лиза.— Наступила на чью-то руку, ее пинали — не мешай! Кто-то выругался...

— А дальше, дальше! — требовали женщины помоложе и те, кто въехали сюда позднее.

— Что дальше,— ворчит дворничиха,— стыдно сказать...

— Анна подскочила к мужикам,— дрожащим голосом протянула старая Курри. Заметив, что на нее обратили внимание, она уже громче сказала: — С немислимой силой рванула Кольку с Каспара.

Она почему-то засмеялась.

— Колька поднялся, и Каспар хотел было привстать на локтях, да не смог, бедняга, рухнул на землю. В один миг потом все и случилось! Глаза у Кольки налились кровью, не спрашивал и не допытывался он и в разум не взял, что перед ним женщина,— двинул так Анну кулаком под груды! И оказалась Аннушка на земле, и Каспар там же, а взбешенный Колька уже колотил жердиной привязанную к забору лошадь. Жеребец сорвался и понесся по двору. Умная скотина — людей, что на земле, обегала стороной. Бабы гурьбой кинулись в дом и дверь за собой захлопнули. Пришлось нам потужиться — Колька бросился следом и ухватился за ручку. Бог ты мой! Сейчас и то будто молнией прожигает. Повидала я на своем веку пьяниц, но такого, как Колька, видеть не приходилось,— говорила Лиза.

— Пришел Кристьян, подобрал меня. Кто-то из ребятишек сказал ему. Запряг он старую Тильду в телегу и отвез нас обоих с Каспаром к доктору. А на следующий день на последней странице газеты было напечатано: «Чудовищное побоище в пригороде. Печальный финал драки пьяных извозчиков. Смерть от внутреннего кровоизлияния. У женщины — выкидыш».

— А мать все корила себя: почему я не осталась дома!..

Дворничиха сморкается. Щеки у старухи Курри подрагивают.

— Не один мой самогон они тогда пили,— не к месту ляпает она.

— И никто из мужчин не вмешался! — удивляется молчавшая доселе артистка — она живет на нижнем этаже, ее имени я так и не знаю.

— Охмелел. Вошел в азарт,— шлепаются в тишину слова.

— Темнота, страшная темнота,— дополняет артистка.

— Уж такими мы выросли.— Дворничиха корит и себя и других.

Бабы поднимаются, неслышно подвигают стулья ровным рядом к стене и гуськом уходят. Кто кивает на прощанье, а кто уставился в пол.

Хельми останавливается возле меня.

— Потом мать сбыла с рук пегую кобылу и телегу тоже. Это все, что осталось после отца. Только деньги в то время ничего не стоили, так, одни бумажки. Выручка за Тильду покрыла лишь расходы на похороны да кое-какие долги.

Ушла и Хельми. Я осталась одна.

Перетаскиваю стулья в заднюю комнату, придвигаю стол обратно к плите, приношу бумагу и карандаши. Но начатая фраза будто утерьяла свою вторую половину, и я никак не могу найти ее.

Подкладываю кусок сланца промеж едва теплящихся серых камней. Бессильное пламя лижет желтую глыбину.

Руки зябнут. Прячу пальцы в рукава шерстяной кофты.

Как же я тогда ненавидела этих исступленных борцов и захлебывающихся от восторга зрителей!

Руки, засунутые в рукава кофты, кажутся мне неповоротливыми протезами. Была ли в них когда-нибудь настоящая сила?

В отчаянии вцепилась я в руку Кольки, который душил Каспара. Теребила, но пальцы не находили опоры и сами собой соскальзывали с его потного тела. Схватила за шейный платок, но он оказался уже разодранным, в руке у меня осталась лишь бесполезная тряпка. Тогда запустила пальцы в шевелюру Кольки и смогла повернуть его лицо к себе. Назвать это лицо человеческим было невозможно, какая-то лишенная разума маска с лиловыми потрескавшимися губами. Белки налились кровью, зрачки расширились,— хотя на загаженную арену лился яркий солнечный свет.

Дальнейшее выглядело как-то странно. Многое выпало из поля зрения, лишь перед глазами, совсем рядом, нависла серовато-зеленая крона ивы, ветви норовили царапнуть меня по лицу. Ни неба, ни людей, ни домов — лишь серовато-зеленые струи текли мне навстречу. Протягиваешь руки, но вместо освежающей прохлады обжигающие горячие мурашки. Потом конский хвост, который выписывал сверхмедленные дуги и нарезал в воздухе плавные изгибы. И снова какая-то далекая синеватая полоса, недоступное освежающее блаженство.

— Нет, нет, детей у нее больше не будет.

С той минуты я вновь обрела слух. Я никогда не напо-

минала Кристьяну, что уловила эту фразу. И он не заговаривал о ней.

Дома я долгие дни пролежала под полосатым санным пологом, который дала мне в приданое мать. Наедине с собой плакала, оставаясь вдвоем с Кристьяном — молчала. Водила кончиками пальцев по грубошерстным пологам, и лесная полевая зелень, уступившая санному одеялу свои мягкие краски, казалось, еще благоухала. Постепенно пришло спокойствие и вернулось здоровье.

Трезвый рассудок подсказывает, что все вроде бы закончилось благополучно. С кем бы находился ребенок, когда я сидела в тюрьме? Может, он и потом оставался бы на Юулином попечении, и кто знает, каким человеком встретил бы меня на вокзале осенью сорокового года!

Хорошо, что человеческий разум обычно осенен оптимистическим настроением, ибо сфера чувств берет свое начало все же больше из горьких источников самосожаления.

Кто-то постучался.

В дверь заглядывает соседская Лиза.

— Госпожа коммунистка, идите на помощь. Оденьтесь только потеплее. Бабы ждут во дворе, — шепчет она и улыбается.

Пальто и платок, но куда подевались варежки?

Оказывается, я предусмотрительно положила их сушиться, и теперь тепло расходуется по рукам.

Бабы сгрудились в веселом настроении возле крыльца и толкуются на снегу, стараясь не замерзнуть. Таща за собой большущие санки, с той стороны, где растут ивы, приближается Хельми.

— Ян Хави предлагает дрова, — объясняет она.

— А мне зачем туда? — отказываюсь я: торговаться с этим типом у меня нет никакого желания.

— Пойдем, пойдем! — наперебой зовут бабы и, схватив меня под руки, ведут за собой.

Ян Хави устроил у себя за домом целый дровяной склад. Сухие березовые дрова уложены в ровные поленницы — просто мечта морозной поры.

Широким шагом ступает он во двор, набросив на плечи кожух с овчинным воротником, круглая шапка-финка надвинута на лоб, куда ни кинь — хозяин Хави.

— Дрова что порох, — объявляет он, остановившись перед поленницей. — Кому сколько?

— Тут нас девять баб,— прикидывает Хельми, вытянув шею, она считает и меня.— Каждой по кубометру — уж столько-то у тебя, хозяин, найдется?

Яан Хави не считает нужным даже отвечать на такой глупый бабский вопрос. Он придвигает к дровам мерный ящик, стоявший у стены, и проворные покупательницы начинают тут же накладывать между жердинами поленья как можно плотнее, чтобы не обделить себя.

Если уж Хельми и меня причислила к покупателям, то сколько бы этот Хави ни заломил, дрова все равно сгодятся. Я тоже нахватываю поленья и несу их к мерному ящику — первый кубометр уже почти готов.

Хави стоит рядом и разглядывает сноровистых баб. Приятно смотреть на такие проворные торги.

Первая доля уже на Хельминых саях, и артистка вместе с дворничихой тянут воз к воротам, остальные женщины накладывают новый кубометр.

Пустые сани вернулись назад, и под гулкий стук сухих поленьев уже набирается новый воз.

Яан Хави потягивается со скуки. Бабы больше меры не нахватывают — чего тут стоять и мерзнуть.

— Можно и рассчитаться,— объявляет он и достает из-за пазухи разменные деньги.

— Это за мою долю,— Хельми первой подает свои пятнадцать рублей.

— Что оно значит? — поражается Хави.— Три червонца за куб!

— Нет, почтенный господин Хави,— громко спорит Хельми,— пятнадцать, как на складе. Мы сами накладываем, сами возим — переплаты никакой не положено.

— Что-о? — Лицо у Хави становится багровым, и, словно замахиваясь, он отводит назад сжатый кулак.

Побледневшая артистка пятится, но она единственная, кто поддается испугу.

— Не страши, чучело ты гороховое,— подступает к нему Хельми,— мне случалось и шалого коня усмирять. Вон,— Хельми подмаргивает мне через плечо,— госпожа Анна читает газеты и знает, что в мире делается, она говорила, что спекулянтов, схваченных с поличным, строго наказывают. Нас тут девять баб,— заявляет она, и притворный льстивый тон ее голоса вдруг становится сердитым,— и мы тебя, живодера проклятого, на чистую воду выведем! Разве кто нашим мужикам платит двойную зарплату?

— Спекулянтов наказывают лишением свободы,— сухо заявляю я.

— Слышал? Ты слышал, господин Хави? — злорадно насакивают бабы.

Хави грохает кулаком по поленнице, словно подает знак, что отсюда больше и сучка взять никто не смеет, и гаркает:

— Ни одной щепки!

— Бабы! — объявляет Хельми.— Торгаш не верит нам, пока свои рубли не соберет. Смотрите, как у него ладошка чешется, денежку ждет,— пихая его ручищу, добавляет она.

Бабы быстро собирают свои рубли и подают их Хельми, которая, не отступая, стоит перед Хави.

Она протягивает деньги взъерошенному хозяину — расставив ноги, он засунул руки в карманы кожуха.

— Не мешкайте, я с ним сочтусь,— подбадривает Хельми женщин. И тотчас дрова из поленницы начинают перекочевывать в мерный ящик.

— Не продается! — снова гаркает Хави.— Суки ворюжки, суки!

— Наказуется также публичное оскорбление сограждан,— подавляя смех, произношу я ледяным голосом.

— Чего ты, хозяин, попусту брюзжишь? — Старая Курри ищет примирения с Хави и даже кладет свою руку ему на локоть.

Хави отодвигает сухопарую Курри в сторону.

— Чшш-ерт! — шипит он. Надвигается грудью на баб, силком отталкивая всех от поленницы, и выбивает из рук Хельми деньги, которые разлетаются по снегу. Старая Курри нагибается, деловито подбирает рубли и, размахивая ими, хихикает.

— Бабы! — войдя в азарт, кричит Хельми и, не снимая варежек, заворачивает рукава пальто.— А ну покажем ему!

Напор Яана Хави отражается истинно женским приемом. Дворничиха тянет хозяина за кожух сзади. Вздрагивающая от нервного смеха артистка хватает ком снега и запускает его с детской беспомощностью в сторону своего противника. Соседская Лиза, вытянув руки, напирает ему в грудь. Кто-то замахнулся поленом — если что, сейчас же двинет. Снег вскоре оказывается утоптаным, сани, получив толчок, задом откатываются в сторону.

— На помощь! — хрипит Хави.

Как назло никто из его жильцов не торопится прийти ему в союзники. Может, мне привиделось, что в окнах, которые выходят во двор, за занавесками шевелились тени, только никого не видно, дом кажется вымершим.

— На пом...— хотел было опять позвать Хави, но брошенный артисткой новый снежный ком угодил ему прямо в рот, и барахтающемуся толстяку приходится отфыркиваться.

— Хочешь еще? Еще хочешь? Живодер проклятый! — Разъярившаяся Хельми дубасит Хави кулаком по спине.

Нет, теперь это уже не потешная забава, когда колошматят со смехом и дурачеством пополам. Мелькающие лица выглядят чужими — облик людской изменяется до неузнаваемости, когда человек бьет всерьез.

Хави задыхается, лицо покраснелось, рот раскрыт, но слова застревают в глотке.

Женщины бьют со злостью, отвешивают тумаки от души и без жалости.

Вдруг меня будто что сдавило и схватило за горло. Неуклюжие в своих громоздких одеяниях бабы, вцепившиеся в беспомощного Хави, вызывают у меня перед глазами схватку Каспара и Кольки!

— Ах ты, подлюга!

— Орясиной его, черта, орясиной!

Свалка настоящая, замедленная и до жути безмолвная. Извозчики летом — и бабы в снегу сейчас. Неповоротливые, грузные, крючковатые руки выставлены вперед, на лицах застыла ярость, рты перекошены, напряжены последние силы, как перед ярмарочным силовым аттракционом.

Каспар и Колька.

— Перестаньте! — кричу я.

Бабы испуганно шарахаются, отпускают Хави, который обессиленно валится в снег. Женщины, кряхтя, отходят от своей жертвы, запихивают приставшие к лицу волосы под платок, отряхиваются, после чего Хельми бросает на меня через плечо укоряющий взгляд.

Да, я осталась в стороне от побоища, будто решила, что мне это не к лицу.

Лишь артистка не смиряется с отступлением. Она все еще возбужденно смеется и тянется за снегом, отыскивая комья и подталкивая их носками ботишков в кучку.

— Я... за всю... жизнь... столько... не смеялась!.. — едва в состоянии она выговорить.

Постепенно, гоготнув еще несколько раз, умолкает и она.

Жуткая тишина повисает над обессиленным хозяином.

— Вот оно, свои бабы! — охая, бормочет Хави.

На его лице появляется неопределенная жалкая усмешка.

Как хорошо! Я беру пригоршню снега и провожу им по горящему, словно в жару, лицу.

Хельми откатывает рукава, натягивает получше варежки и принимается за прерванную работу. Лиза подтягивает сани поближе к поленнице. Артистка тайком растаптывает собранные куски снега.

— Вот так,— замечает дворничиха, грабастая поленья.

Старуха Курри сует в руки Хави собранные деньги. Тот больше их не отпихивает. Медленно стягивает рукавицы, пересчитывает рубли, одну красную тридцатку просматривает на свет, сам все еще на снегу, и запикивает деньги за пазуху. Опираясь голой рукой о снег, поднимается на ноги и, обессиленный, отступает к забору — прислонившись к нему, он и дальше наблюдает за хлопочущими бабами.

К наступлению сумерек девять саней дров уже свезены к дверям подвала. Бабы шумно выражают свое удовольствие.

— Вот уж не думала,— заявляет дворничиха, ставя дверь на крючок,— что одолеем хозяина.

— Только на этом и баста, уж больше ничего предлагать он не станет. На рождество торговал свиной, теперь утрись,— с премудрой житейской прозорливостью приговаривает Лиза.

Времени на долгие разговоры нет. Хельми распоряжается всем встать в цепочку, и вот уже березовые поленья начинают перекочевывать через коридор, мимо бельевого катка, в дровяники.

— Бравые бабы, ничего не скажешь,— бормочет Лиза и протягивает полено,— шурша белой ошкурившейся берестой, оно переходит из рук в руки и исчезает в глубине коридора.

— Хави тоже крепкий мужик, настоящий эстонский хозяин.— Хельми отдает должное также и противнику.

— Хозяева все одинаковые, эстонского ли он роду или немецкой породы,— тихо возражает Лиза.

— Помню, моим хозяином, когда я еще в девках служила,— меня охватывает желание поделиться с работающими бабами чем-то близким им,— был такой господин Роозе, из адвокатов, оттуда, из дома с колоннами, что на Вышгороде, напротив улочки Пикк Ялг... Так вот, этот господин, когда посылал меня на рынок, всегда наказывал: смотри, чтоб неси мне мясо овечий ребенок, чтоб не смей брать этот старый баран.

Бабы закатываются.

— Как, как? — не расслышал кто-то из тех, кто находился в глубине коридора.

— Чтоб неси мне мясо овечий ребенок! — повторяет Хельми.

— А то как-то,— продолжаю я, ободренная бабьим смехом,— проспала, и уже не было времени бежать на улицу Лай в булочную Штейнберга. А господину Роозе непременно надо было, чтобы утренний кофе пить с булочками Штейнберга. Заскочила я в лавчонку, там же, на Дворцовой площади, и купила. Господин, правда, съел, но потом кинулся выговаривать: дескать, Анна, из какой поганая лавка ты эта булка взяла...

— Смотри-ка ты, какой тонкий вкус,— удивляется дворничиха.— Французская булка, она и есть французская.

И дворничиха, стоявшая рядом со мной, исчезает в своей комнатке; мне теперь приходится ступать шаг влево и снова назад — направо, чтобы передать полено. Однако дворничиха тут же возвращается, в руках у нее горящая свеча, которую она ставит на бельевой каток.

— Во, опять кто-то вывернул лампочку,— ворчит дворничиха.

На потолке колышутся тени. Будто волны скользят от двери к чреву подвала, пока стук полена о стенку дровяника не обрывает их.

— Нет, в старые времена, у хозяйки, никто бы не посмел вывернуть лампочку,— замечает Лиза.

— Страх нужен да кнут,— скорбным голосом соглашается артистка.

Тень снова скользит по потолку. Бабы окончательно устали, разговаривать никто уже не в состоянии.

— Давайте сложим дрова, а то явится ночью эта кикимора Хави и все перетаскает обратно на свой двор,— пытается отогнать усталость Хельми.

Когда дровяники, наполненные дорогим товаром, оказываются запертыми на замки и мы гурьбой поднимаемся по крыльцу в дом, Лиза говорит:

— Без Анны мы бы не справились.

Это было сказано в знак примирения после дневного разговора.

Березовые поленья распространяли запах, которым сопровождался обычно праздник троицы. В печке загудел огонь.

Пальцы тянутся, будто ищут край санного полога, чтобы откинуть его и подняться бы еще раз оздоровевшей с лона терпких лесных запахов.

Жил однажды Колька, и жил однажды Каспар. Один человек остался нерожденным. Случилось это столь давно, в такую старь, словно было все без меня.

9

Весеннее небо светит в окна. Даже стены, казалось бы, не в силах задержать этот лучистый пожар — комната полна воздуха и света.

Мирьям, гостя моя, сидит съезжившаяся и нахмуренная и долбит пятками по ножкам стула.

— Ну, как дела? — спрашиваю я.

— В школе отметки ставят хорошие, комната теплая, есть дают, — вздыхает она.

— А что же тебя печалит? Или, может, влетает иногда?

Мирьям пожимает плечами, наклоняется и трясет головой, так что челка путается. Девчонка уже немного выросла из своей темной, неровной вязки кофты, поэтому и руки ее кажутся крупными, как у рабочего человека.

— Я думала, что красные запретят водку, — бурчит она.

— Значит, опять?

Мирьям устала в пол. Еще несколько раз бьет в сердцах пятками — стул сдвигается чуть назад. Девочка пугается и бросает свое занятие.

— Взбучек я бы и больше вытерпела, если бы только не водка, — нехотя объясняет Мирьям. — Когда я была еще ребенком, — добавляет она через мгновение, — думала, что во всем виноват президент.

— Дело в том, что водка может все-таки быть на свете,— пытаюсь я объяснить ей.— Как ты обойдешься без нее, скажем, на свадьбе?

— А если у кого слабый характер,— вздыхает замученный превратностями жизни маленький человек и кивает.

Тут ей вспоминается какой-то мотив. Выставив бантиком губы, Мирьям сразу же принимается насвистывать.

— А дядя Рууди вернулся! — вдруг выпаливает она, втягивает голову в плечи и пристально глядит на меня.

— Как вернулся?

— Навсегда.

— Навсегда? Не может быть!

— Я знаю,— твердо заявляет она.

— Когда?

— Вчера вечером.

— Он мог просто так прийти...

— Нет. Бабушка плакала.

За окном, по жестяному скату, шаркают два голубка, склонив головки, заглядывают в комнату.

Мирьям оживляется, слезает со стула и медленно приближается к птицам.

— А ты кормишь их?

— Да-аа,— отвечаю я рассеянно и начинаю убирать свою работу.

— Мы зимой вывешивали синичкам за окном кусочек сала на веревочке,— рассказывает Мирьям.— Кошка Нурка места себе не находила. Вскакивала на стол, упираясь передними лапами в стекло, живот длинный, тугой, и все зубами клацала!

— Да-да...

— Но у тебя ведь нет кошки. И смеху этого ты не увидишь. Когда Нурка родит, один котенок будет твой, я подарю.

Заметив, что я стою возле двери и в пальто, Мирьям спрашивает:

— Что, уходим?

Она на животе съезжает по перилам.

— Дом теперь в руках народа, нет у бабушки свободы запрещать! — поет она, приземлившись в коридоре нижнего этажа.

— Откуда у тебя эти мальчишечьи замашки, сама уже большая девочка! — упрекаю я.

— А чем мальчишки лучше, что они все могут? Я тоже хочу! — заявляет Мирьям. — Если бы дедушка жил, — грустно продолжает она, — у меня бы тогда, как у людей, и финка в кармане была бы.

— У тебя же столько кукол.

— Они, конечно, тоже сойдут, — соглашается Мирьям и семенит через двор.

— Надеюсь, ты сейчас не собираешься к дяде Рууди, — останавливаю я ее возле Юулиной двери — Мирьям уже готова нажать на ручку.

Она отступает назад, кивает и беззаботно говорит:

— Да, у меня есть как раз и другие дела.

Рууди сидит на плюшевой софе в большой комнате, на коленях у него лежит черная Библия с металлическими защелками, и перебирает фотографии, сделанные на похоронах, и листочки с псалмами. Словно неожиданный гость, которому, чтобы он не скучал, сунули в руки какое-то занятие.

— Даже чуточки запаха не осталось, — говорит он, поднося к носу веточку туи. — Не правда ли, странно?

— Почему ты вернулся?

— Я помню кров родного дома, так часто сны о нем бережат память мне... — бормочет Рууди.

— Где твоя жена? — спрашиваю напрямик, озабоченно — ведь и я подбивала его на женитьбу.

— Ах, — Рууди звонко захлопывает Библию, — с какой стати копать в вещах, которые давно потеряли свой запах и цвет?

Дотрагиваюсь ладонью до теплой печи, брожу по столовой и заглядываю на кухню, где Юули крошит овощи.

— Здравствуй. Может, ты скажешь, что с ним стряслось?

— Откуда мне знать, — устало отвечает Юули. — Душа в теле, и на душе, видать, радость не угасла, только кто его поймет. Ненароком тебе откроется?

Дольше стоять возле Юули желанья нет.

Рууди спокойно разлегся на коротеньком диванчике, заложив руки за голову и свесив через край ноги. Его темный костюм порядком измят, брюки снизу забрызганы грязью.

— Чего ты меня разглядываешь? — спрашивает Рууди. — А, рубашка грязная, галстук замызган и брюки не разглажены. — Он смеется. — Как-то один пьяный артист

сказал, что любовь уходит быстрее, чем снашивается свадебный костюм. О-очень умный человек! Артист! — Рууди вытаскивает из-под головы правую руку и поднимает костлявый указательный палец к побеленному потолку. — Комедиант! Звучит-то как? Здорово водку глушил, жаль только — помер.

— Чему же ты еще научился за это время?

— Ухуу-уу! — гукнул Рууди. — Я-то ничему, вот сова на стене, это точно, наконец-то ожила.

Он указывает на лупоглазое чучело, которое вцепилось скрюченными когтями в разлапистую ветку.

— Все дурачишься, — цежу я недовольно.

— Знаешь, в лесу цветут подснежники, — словно в оправдание буркает Рууди. — Такие до жалости нежненькие, тянутся белые головочки среди всякого намокшего хлама. Лес и море — замечательная штука, не правда ли? Вот только море перестаешь ценить, если ты живешь рядом с ним и дышишь каждый день его соленой сыростью.

— Откуда ты явился?

— От Михкеля Мююра. Жаловался на тебя. Вломилась, дескать, к нему однажды утром, потом целый день гонялась за каким-то старым знакомым, — понятно, что я не стал допытываться, кто он такой, — а уже на следующее утро, мол, и след твой простыл, нет чтобы поговорить подольше с бедным старым человеком. Ох и бессердечная же ты, госпожа! *Vox populi, vox dei!* Глас народа — глас божий!

Я с облегчением смеюсь. Если Рууди вернулся от Михкеля Мююра, тогда еще не так страшно.

— И как он там? Долго ты был у него? — стараюсь я обходными путями напасть на следы, приведшие Рууди к такому крюку.

— Скажу тебе, что можешь вычеркнуть Михкеля из своих списков, он советской власти вовсе не рад, — ухмыляется Рууди.

— Значит, братец мой, капиталист, лишился крупного состояния?

— Мотивы куда более чувствительные. Изводится по господам Граупнерам.

— Да-аа?

— Ох, мадам, ничегошеньки-то вы не понимаете! Разве человек может радоваться, если его прикухонная пенсия полетела ко всем чертям!

— Что за чертова пенсия такая — прикухонная?

— Ну вот,— вздыхает Рууди.— Начинай теперь объяснять тебе все от «А» и «Б», как оно тут без тебя происходило.

— Язык у тебя мелет довольно бодро, так что давай объясняй!

Рууди садится на диванчике и закуривает папиросу. Насмешливое выражение исчезает с его лица. И враз бросается в глаза, что Рууди уже далеко-таки не молод.

— Уже сколько прошло с тех пор, как Михкель остался без работы. Стекольная фабрика в Кяру не выдержала конкуренции, другие — в Ярваканди и Лоруп — взяли верх. Но что там ни говори, а Михкель был основным капиталом фабрики и последней золотой рукой местной династии мастеров огнеупорной кладки — не за красивые же глаза Граупнеры платили ему каждый месяц по двести крон!

— Подумать страшно, какие деньги плыли в свое время в руки Михкелю! — появившись в дверях и выставив торчком нож, которым она чистила картошку, добавляет Юули.— Одинокий человек, расходов немного, зато друзья! Стоило Михкелю заработать лишний цент, и уже катилась гулянка. Помню, поехала я в Кяру: муженька моего как раз во время кризиса уволили из арсенала — видать, подумали, что у человека есть недвижимое имущество,— и пришлось нам одно время просто бедствовать. Бог знает, сколько я тогда прождала на вокзале, пока приехал обоз со стекольного завода. Пристроились потом на телегу, когда обратно поехали; у самой сердце надеждой исходит — Михкель поможет. А у него и гроша за душой не оказалось. Все знай предлагал: мол, у него в саду ветки ломаются от яблок, вези хоть мешок. А у самого в комнате одни бутылки, наверно, даже спал на них, не иначе. Нет, не умел он пить по-человечески. Заколачивал крепкую деньгу, а в закромах — разве что мышинное дерьмо.

Последние слова особенно потешают Рууди. Юули бросает на сына сердитый взгляд и удаляется.

— Если бы отец не обучил его ремеслу,— кричит из кухни Юули,— что бы он, калека, делал тогда?

— Он и пить его научил! — кричу в ответ.

— Вот был мужик,— снова появляется в дверях Юули.— Помнишь, Анна, сколько раз мать наша носила отцу в кабак горячую еду? У человека не было даже вре-

мени, чтобы задницу оторвать от скамейки и прийти домой поесть.

— Запойные традиции в нашей семье на большой высоте. Как ты ни разглядывай эти веточки дерева родословного, а в каждой все равно про запас имей титул: алкоголик. Да — ха-ха,— продолжает иронизировать Рууди,— хотя бы этим мы среди людей выделяемся!

Юулин рот кривится в ухмылку.

— Боже ты мой, сколько наш отец ворочал! Класть печи для плавки стекла была его обязанность, известь обжигать — на его долю приходилось, а тяга и температура в стекольных ваннах — это же полностью было его монополией! По воскресеньям надрывался, выкладывал батракам подвалы. Работа не приведи господь,— так колоть каменные глыбы, по прожильям, поднимать их на стену и укладывать, чтобы стена ровной оставалась.

— И все подвалы стоят по сей день как ни в чем не бывало,— добавляет Рууди.

А я искала только Ватикера, гонялась по следам шпика! То, что не побывала на могилах отца и матери,— еще полбеды, чего там зимой увидишь, все под толстым снегом. Но возведенные отцом подвалы я должна была посмотреть. В жизни обычно так и бывает, что с сомнительными людьми мы возимся, а с добрым человеком некогда и словом перемолвиться, и мы проходим безразлично мимо того, что сотворено покойными.

— Постараюсь летом побывать там,— виновато буркаю я.

— Красиво работал и душу камня понимал,— продолжала Юули.— Подумать только, великое ли дело — батрацкие картофельные подвалы, которые все, почитай, за водку шли, а он выбирал гранитные глыбы и выкладывал их по цвету. Помню, подвал у Паулы Пипры получился весь розовый. Люди приходили любоваться и подшучивали, говорили, что если ты, Паула, с таким розовым приданым не выйдешь замуж, то нет на земле правды. А Пауле той пришлось перебраться в Ярваканди, и остался подвал сиротой.

— Белый известковый раствор, которым скреплялись камни, он украшал темными осколками, и получилось, будто обрамлены камни кружевом,— растроганно говорил Рууди.— Я в тех краях и раньше бродил, а вот заметить не замечал, теперь Михкель Мююр надоумил. Сказал, погляди, каким мастером был твой дед.

— Да,— вздыхает Юули,— ворочал и ворочал, а как только заводилась копейка — пропадал в кабаке. У меня другой раз столько бывало мороки, чтобы старый не отыскал мои сбережения и не пропил их,— это когда я уже зарабатывала шитьем...

Юули прислонилась к дверному косяку, глаза задумчиво прищуренные.

— А может, он прожил жизнь по правде, все пошло на свое удовольствие, не хапал и не сожалел о потерянном, как иные,— язвит Рууди.

— Никому не дано знать того, живет он по правде или нет,— примирительно говорит Юули и нехотя пятится на кухню.

— Ну, а прикухонный паек Михкеля? — допытываюсь я у Рууди.

— Ха-а! Это необыкновенная история,— обещает он.— Ликвидировали, значит, стекольную фабрику, но хватки у Михкеля, чтобы перебраться на другое место, не было, домишко и садик с яблоньками тоже не отпускали. Как деньги зарабатывать? Заниматься крестьянским трудом, бедняжка, был не в состоянии, а ничего другого, кроме печей для плавки стекла, мужик не знает — беспомощный человек.— Рууди кашляет и спешит поведать далее: — Вот тогда Граупнеры и проявили свое великодушие: назначили Михкелю пожизненный паек! Дескать, дверь в кухню Граупнеров остается для него всегда открытой, голода бояться нечего, похлебка даровая. Ну, а чтобы и работа какая была за это сделана, назначили Михкеля заведовать барским охотничьим хозяйством. Ей-бо, Михкель сам говорил. Хотя на деле ему приходилось просто кормить и прогуливать трех борзых. Если случалось, что на господ находило настроение, сопровождал их на лисью или заячью охоту. А когда Граупнеры убрались в Германию...— Рууди умолкает, морщит лоб и нащупывает пачку с куревом.

— Значит, прикухонная пенсия пошла прахом, и теперь Михкелю не на что жить,— заканчиваю вместо него я.

— Да-да,— рассеянно кивает Рууди. Откидывается навзничь и перевешивает ноги через край диванчика.

— Ну,— говорит он вдруг жестко,— тебе, конечно, не терпится. Любопытство — оно-то и делает из женщины женщину.

С заботами Михкеля Мююра у Рууди вроде бы дела уже нет.

— От Релли я ушел. Кончилась сказка с серебряными колокольчиками.

Насколько все же подходящи эти чувствительные старушечьи привычки. Как просто было бы: услышав удручающую весть, хлопнуть ладошками — боже мой, кто бы мог подумать! Или задавать глупые сочувствующие вопросы: мол, тебе, наверное, тяжело очень?..

Но Рууди и не дожидается моей реакции. Он сосредоточенно курит, вяло покачивает ногами, свешенными через край дивана, — видимо, подлокотники врезаются под колена.

— Может, хочешь отдохнуть? — бормочу я.

— Оставайся, оставайся.

Юули затопила плиту, доносится треск разгорающихся поленьев. Гремит сковородка, начинает шквариться мясо.

Юули прикрывает дверь на кухню.

— Как только десятого января вошел в силу советско-германский договор, в нашей семье что-то начало рушиться. Релли встревожилась, стала скрытной, начала все чаще покрикивать на своего сына, а по ночам металась в постели и ходила на кухню пить холодную воду. Вначале думал, что здоровье пошаливает, мигрень какая или черт знает что. Но Релли будто предчувствовала или ожидала чего-то. В начале марта ей и прислали из немецкого посольства вызов, который она молча сунула мне под нос. Ничего не стала объяснять. Словом, открылась возможность, и господину муженьку вспомнился престолонаследник, вот он и начал домогаться, чтобы перетащить в Германию свою забытую семью.

— И Релли уехала? — удивилась я.

— Откуда мне знать! Я ушел, пускай госпожа решает. Заграница, она же нравится эстонцу...

Кадык у Рууди двигается, он глотает, чтобы сдержать кашель.

— А чего нить? Я был для госпожи так, закуской. Романтическая встреча на зимнем кладбище, и все это скоморошество — сколько тут развлечения. К тому же женщины любят рядиться в подвенечные платья. Благо, был повод.

Руудин смех походит больше на икоту.

— Нечем мне тебя утешить, — признаюсь я ему.

— И не надо,— отвечает он с теплотой,— самыми лучшими из людей остаются те, кто умеет молча выслушать. Редко встречаются такие.

— Постараюсь и в дальнейшем быть достойной твоего одобрения,— говорю я и пытаюсь смеяться.

— А вдруг еще любила своего мужа? Достаточно было тому поманить рукой, чтобы она все бросила...

— А может, Релли хотела бежать от советской власти?

— Это не приходило мне что-то в голову.

— Мало ли было таких, кто начали выдавать себя за немцев, пытались спешно выйти замуж за германца, придумывали всевозможные зацепки, лишь бы дать отсюда деру. Разные там полуинтеллигенты, все, кто держит нос по ветру, паникеры. Особенно те, кого за рубежом поджидает ошметок какого-нибудь состояньица,— объясняю я Рууди, хотя отнести Релли к таким я бы, пожалуй, не посмела.

— О, да, в тридцать девятом году мы уже встречались с этими онемеченными эстонцами и доморощенными немцами... Кое-кому просто не терпится причислить себя к великой нации,— желчно язвит Рууди.

— А твое сердечко не екало бы, родись ты, скажем, французом? Куда благородней, чем быть, например, потомком батрацкого рода, рабочей лошады! — смеюсь я.

— Вот тут мы и склотили ясное представление. Один всего шкафчик с надписью: родинопродавцы. Запихнешь туда Релли, замкнешь на замок, ключ выбросишь и крикнешь: не беда, ребята, мы еще поживем! — грохочет Рууди.

— К этому надо стремиться,— улыбаюсь я.— А в общем-то мы, наверное, несправедливы по отношению к Релли. Я не верю, чтобы она уехала.

Рууди вскакивает, длинными шагами подходит к окну и патетически произносит:

— Не журишь, браток! Ломится весна.

— И весну одну еще им подарили,— декламирую я.

Под деревьями колышутся тени, хохолок белых подснежников цветет островком посреди набрякшей земли.

— Среди цветов цветущих я тебя нашел,— пытается напевать Рууди. Расстроено умолкает и замечает грустно: — Погибли последние пчелы. Кто-то опустошил их зимние припасы. Все. Со смертью отца умер и его сад.

Может, потому и весь в пустырях этот шар земной, что сады умирают вместе с их создателями.

Рууди прикидывает что-то, размахивая вытянутым пальцем.

— Возможно, Релли все же заварила эту кашу из-за ребенка. Что ты думаешь о зове крови, о родственных чувствах и прочей подобной муре?

— Не знаю. Не смею осуждать, детей у меня не было.

Рууди кивает и продолжает перечислять:

— Пятнадцать ягодных кустов. Восемь кустов крыжовника. С яблонями будет, наверное, еще труднее.

— О чем ты?

— Сегодня утром бабы щебетали под окном. Обмеряли вшестером землю. Будут делить. Чепуха такая, все хотят получить, чтобы поровну было. Отец, когда сажал, не предусмотрел. Слева от дороги больше ягодников, справа — яблонь.— Рууди злорадно усмехается.— Что ж,— он напускает на лицо деловито-грустное выражение,— зато между кустами можно будет проложить борозды и посадить картофель. А под яблонями он не растет. Может, и цветы у дорожки вырают и поделят. Каждый посадит возле своего кустика. Хозяйское чувство, ах, до чего же оно сладкое! Ну наконец-то! Хоть десять квадратных метров, зато свои!

— Не такие уж они сумасбродные, чтобы портить сад,— безучастно возражаю я, уйдя с головой в мысли о Релли.

— Вот увидишь,— злорадствует Рууди.— Земля стала народной. И каждый должен немедленно получить свою полоску. Абсолютно законно, не так ли?

— Кто у них заводила?

— Кто? Конечно, Хельми. Благодарение богу, что машина этого не слышала. Не видать бы нам сегодня голубого неба. Задохнулись бы мы в тучах брани.

— Бабы не столь глупые.

— Людей следует принимать за тех, кто они есть. Без иллюзий.

— Не меряй ты всех своей меркой. Сам потерпел фиаско...

— А,— отмахивается он. И, засунув руки в карманы по самые локти, начинает продвигаться, ставя ступню вплотную перед ступней, так, словно собирается измерять величину ковра. Вдруг он принимается с наслаждением хохотать, вздымает к потолку указательный палец и за-

являет:— Какая жалость, что газеты больше не печатают семейной хроники. Вот бы получилась жалобная история: «Нож в спину хворому!» Существует такая порода жалостливых старых дев — толпами помчались бы утешать.

Рууди смеется во все горло.

— Ох и любишь ты рассусоливать трагедии! Может, Релли по сей день сидит дома и ждет тебя. А молодой господин сбежал под крылышко Михкеля Мююра, вместо того чтобы уладить свои отношения с женой.

— Я упрашивать не собираюсь. Не хочу принимать милостыню,— в сердцах бросает он.

— Ну хорошо, а что ты собираешься предпринимать? Может, попробуешь разнообразия ради заняться работой?

— Работой? — Рууди поднимает брови.— Сто лет как я не видел своих друзей и невест. Все давно забылось!

— Не хватало еще какой-нибудь присказки, вроде той, что работа дураков любит, и прочее.

— Поставь там утюг,— кричит он на кухню,— надо выгладить брюки!

— До свидания,— не скрывая своего недовольства, говорю я.

— До свидания,— равнодушно отвечает Рууди, хотя все же идет в переднюю, чтобы проводить меня. На пороге задерживается, я тоже стою в ожидании, держусь за ручку двери и смотрю на него.

В Руудином коричневом глазу отблескивает грусть, в голубом — играют чертики, словно после удавшейся мальчишечьей проделки. Бледные губы, казалось, произносят неслышные слова: мол, будь добра, постарайся понять меня.

Меня охватывает какая-то изнуряющая усталость. Резким движением распахиваю дверь в прохладный и сырой коридор.

На крыльце переднего дома громко ступаю на каблуках и, словно назло, вижу у окна, возле чуланов, Хельми; скрестив под грудью руки, она стоит и смотрит, как на веревке, протянутой через весь двор, трепыхается белье.

— Хельми, ты что, собираешься делить на участки этот сад? — спрашиваю я без вступления.

— Другие бабы тоже,— объявляет она радостно.

— Разделите на полоски — сад испортите,— говорю я

нерешительно — поспешная наставительность обычно оскорбляет.

— Да-а? — Хельми мрачнеет, еще крепче скрещивает руки под грудью и сварливо начинает покачиваться. — Может, госпожа коммунистка беспокоится за сестрино имущество? Или, может, газет не читает? — Голос Хельми поднимается до пронзительного крика. — Или госпожа коммунистка не знает, что государство отрезает землю у больших хуторов и наделяет участками безземельных крестьян? Или она идет против политики партии?

Увидев мою улыбку, Хельми разочарованно хмурится.

— Послушай, Хельми, — говорю я как можно мягче, чтобы лишить ее возможности раздуть наш разговор до банальной коридорной свары. — Все нужно делать с разумом. Садом можно сообща заниматься. Вместе обрабатывать, а потом урожай разделите. По-человечески. Немного только единодушия.

— Не пойдет! — заявляет Хельми, размахивая руками у самой моей шеи. — Я работаю, копаю, выпалываю сорняки. Я люблю землю! А другой и лопаты в руках держать не умеет, не отличит куста от дерева, а получать урожай — тут как тут. Каждому — по его труду! — победно заканчивает Хельми.

— Ты здорово говоришь, совсем как маленький хозяйчик. Они тоже уверяют, что всему голова — пролитый пот! Если и впрямь разобьете на клочки, то сад потеряет всякую красоту. Под яблонями грядки никак не годятся.

Хельми оставила без внимания мои слова и колкости, ее интерес был уже твердо привязан к земле и ее квадратным метрам.

— Скажи на милость! Да с какой стати земле пропадать. Не зря же я покупала морковные семена! И укроп должен быть под рукой. И сладкий горошек посажу. А что такое красота? Не в горшок ее класть, не уместится она туда. Нет, разделим, и делу конец!

— А бабы согласны?

— Кто не согласится, пусть утрется. Землю получают те, кто хотят ее. Кое-кто и до сих пор боится хозяйки. — Хельми корчит рожу. — Привыкли всю жизнь кланяться перед ней и сейчас по-другому не могут. Не понимают, что власть находится в руках народа. — Она глубоко дышит и жалостно добавляет: — Неужто у моих детей нет

права на то, чтобы сорвать собственной ручонкой с куста ягодку?

— Да есть, есть,— повторяю я терпеливо.— Только какие могут быть ягоды, если ты перережешь корни у кустов. Сад был заложен человеком знающим...

— Поглядите-ка на нее! — довольно воинственно восклицает Хельми.— Сама красная, а защищает буржуев! Какое значение имеет то, что сад заложил хозяин? Был при власти, потому и заложить смог. А знает ли госпожа коммунистка, — Хельми сует мне под нос палец, — что навозом нашей кобылы Тильды устлана была вся земля, на которой заложен этот сад. Жди, иначе бы он тебе рорил! Добром Тильды и других коней. Хозяин за постой в конюшне брал навозом. Вот так, госпожа коммунистка.

— Деревья и погубить нетрудно,— повторяю я терпеливо.

— Постараемся, чтобы и волки сыты были и овцы целы. Мы хотим каждую осень урожай получать,— великодушно успокаивает Хельми.

Поднявшись на середину лестницы, слышу, как Хельми ехидно бросает мне вслед:

— Каждому своя рубашка ближе к телу! — Этого ей кажется мало, и она презрительно добавляет громким голосом: — Эстонка расейская!

Самоуверенные и неуязвимые обычно тянутся на свет божий из трясины глупости. У кого забиваются каналы разума и прозябает логика, те обычно стараются одолеть противника глоткой. Недаром умение слушать считается признаком внутренней культуры. А умение объяснять? Мера относительная: способные воспринимать не нуждаются в ней, а убеждать тупоголовых — все равно что заниматься зубрежкой, и выглядит это порой довольно смешно.

Лучше сидеть за столом, разложив перед собой статьи и брошюры для перевода. В этом деле мне сопутствует наибольший успех. Прекрасные мысли, наилучшие устремления. Может, излишне общие, быть может... Приходится идти между высокими и низкими горизонтами, ведь принято ориентироваться на некое предполагаемое среднее. Истина, которая для одного становится открытием, другому кривит усмешкой рот. Но вообще-то, может, это и неправильно — погружаться в частности, которые искажают картину?

В конце-то концов — уничтожается один, уничтожаются десять, тысяча пригородных садов, зато такие, как Хельми, за короткий срок проникаются революционным настроением и твердо овладевают несложными истинами лозунгов. Тем, что все принадлежит народу. Поняли они кое-что и в благородных принципах земельной реформы, правда, претворение ее, что поделаешь, выглядит — что касается сада — смехотворным!

Подобное трезвое примиренчество, к сожалению, давит. Лишь бы то, что руководит мной, не являлось бессилием!

Ах, глупости, Хельми никакой не враг.

Предприимчивость и решительность, горячее стремление вмешаться идут все же рука об руку с молодостью. И не надо удивляться, когда эти качества начинают иссыхать, как не следует поражаться первым морщинкам вокруг глаз. Просто вдруг уходит что-то такое, что раньше казалось вечным и естественным.

Мы скакали и дурачились в каменном колодце предварилки. Не смогли нас заставить толочься гуськом по оступляющему кругу. Мы не позволяли себе поддаваться тюремной психике, не падали духом, находили любую возможность, чтобы протестовать. Будь то простой проделкой или серьезным политическим выступлением — все равно.

Обычно предатели или, по крайней мере, бесхребетные поддакиватели получают из людей, которые не умеют переносить мучений, что выпадают на долю подневольных.

Жизнерадостность в тюрьме? Звучит странно. Но сколь возвышенно и ободряюще подействовало пение «Интернационала», когда в тюремном коридоре в алтарь взошел душеспаситель и начал обращать нас в веру господню. Все вызывающее оставалось лучшим бальзамом, оно укрепляло наше самочувствие, подчеркивало наше превосходство. Красная кофточка, что всегда оказывалась на той, которую вызывали на допрос, эта красная одежда, которая бесила следователей, была для нас важнее насущного ломтика хлеба.

Хорошая у тебя сестра, наш человек, говорили мне с признательностью товарки, когда Юули по моему желанию принесла в передаче красный материал. День этот искрился торжественным блеском — на воле нас не забывают, нас понимают и нам помогают.

Бог знает, после какой гулянки у Ватикера, пошатываясь с перепою, Юули дрожащими руками открывала в пригородной лавчонке свою сумочку и просила красного ситца. Еще ночью она с упоением пела, что «der Maie ist gekommen», а утром ее поташнивало, и ей предстояло заняться неприятным делом.

Ох уж этот Рууди со своей Релли... Надо же было, чтобы именно у них пошло насмарку. По-своему все упрямятся, не только Хельми. Люди — это ведь не тюремный коридор, который просматривается из конца в конец.

Руки мои вцепились в прутья решетки, в метре от меня держался ручонками за такие же прутья Рууди. Холодный сводчатый туннель дышал нам обоим в спину холодом. Между нами, словно в клетке, сидел надзиратель. Сырой полумрак, глазки лампочек в проволочных колпачках. Рууди шурился, он пришел с улицы, где резвилось майское солнце; широко открытыми глазами оглядывала я щуплую фигурку паренька. Тонкие ноги, костлявые коленки, короткие штанишки, матроска, топорщившаяся сзади. На животе широкий, с грубой пряжкой парусиновый ремень — не иначе «трофей» мировой войны, выпрошенный у старшего брата. Волосы острижены под машинку — Юули все жаловалась, что у Рууди не только здоровье, но и волосы хилые, нету росту. Брови настолько выгорели, что сразу видно — парень ходил на берег кататься на льдинах, не говоря уже о сидении на солнышке под кустом, разумеется, на мокром песке. Щечки такие по-детски гладкие, тонкие губы обветрены, мочки ушей от волнения горят.

Смотрела я на него, а у самой першило в горле. И Рууди стыдливо плакал, вытирая украдкой рукавом щеки. Что он мог думать? Поплакали, пока не полегчало. Когда снова была в состоянии подмигнуть ему — это у нас ведется издавна, со времени общих тайн, — он улыбнулся.

Тюремщик, казалось, дремал — или ему было неловко осквернять нашу немую печаль своим ищейским доглядом, — он указал пальцем на часы, предварительно обратив мое внимание на себя коротким позвякиваньем ключей.

Рууди оробел, беспомощно озирался.

— Что тебе надо? — прошептал он.

— Пусть твоя мать принесет красной материи. Красной материи, обязательно.

— Обязательно красной материи! — повторил Рууди. Он и не попытался просунуть ручонку сквозь решетку, попятился, поднимая пыль с известковых плит, и все не спускал с меня глаз. На середине коридора вдруг резко повернулся, чтобы добежать до выхода. Открылась дверь, и ослепляющая светлая улица поглотила его.

Странно, что так бывает: какие-то большие отрезки из прошлого забываются, а пустячные полчаса до мельчайших подробностей западают в память и все время вспоминаются. Казалось, когда объявляют смертный приговор, человек должен с тысячекратной жадностью вбирать в себя лица, слова, окружение. На худой конец, благоговейно всматриваться через оконное стекло в небо или прислушиваться к замиранию сердца — у меня же возникло единственное непреодолимое желание, ослепившее и оглушившее меня, — сходить в уборную. Невыносимая резь. Сказать бы коротко: присудили к смерти, и все тут. Потом, даже странно как-то, я на мгновение почувствовала себя сверххорошо. Пока боль воспаленных глаз не лишила меня сил, пока до моего сознания не дошел действительный смысл зачитанного приговора, пока не явилась Юули с адвокатом и не возникло у меня желание окунуться в успокаивающую соленую морскую воду.

В предстоящее-то лето я, во всяком случае, наплаваюсь вдоволь, сколько смогу. Больше, нежели когда-либо в жизни. Осталось недолго ждать, весенние цветы всегда отцветают невероятно скоро.

Я ощутила во всем теле такую легкость, словно море уже шумело в ушах и под боком был теплый прибрежный песок.

Море восхваляют так и эдак, я же ценю в нем то первозданное блаженство, которым оно оделяет. Стоя в воде, я обретаю полный покой — от кончиков пальцев до корней волос. Все люди, весь мир — эта пестрая ярмарка — находятся где-то далеко на берегу, а может, этого берега и нет вовсе. Будто нет ни мыслей, ни мук, ни сомнений. Раскачиваемая капля в огромном море.

И исчезнуть когда-нибудь мне хотелось бы в море — погрузиться в молчаливо-зеленую глубь.

Ужасную конечную остановку человек пытается, по меньшей мере в воображении, украсить романтическими завитушками. Заманчиво хоть в чем-то уметь остаться ребенком и увидеть кое-что так, словно у тебя и нет за

спиной изнуряющего утомительного воза жизненного опыта.

Быть где-то, в самом затаенном уголке, чем-то чистым и нетронутым.

Энергия времен предвариловки и оценки по системе черное — белое, возможно, шли от инфантильного легковерия, видимо, была я для своих лет той белой страницей, на которой значилось слишком мало писем. Теперь кажется, что плотно заполнено и последнее белое пятнышко. Но и это, пожалуй, только кажется так. Может, уже через месяц, или два, или через год я буду про себя удивляться: как это я раньше не видела и не поняла того или другого?

Воспоминания — все равно что колодец, куда стекаются прожитые дни — родники. Заглядывая с сегодняшней ясности в эту глубь, ты видишь на отсвечивающей темной глади себя, похожего во всем на твою суть. Однако стоит тронуть сосудом воспоминания колодезное зеркало, и твое изображение распадается на части, и уже нет у него того лица, которое, казалось, было. Какая-то женщина, откинув голову, смеется, и рот у нее будто бы твой, и кто-то, у кого твои брови, сердится; кто-то прижимает к глазам твои волосы и увлажняет их слезами. Какой же я все-таки была — хочешь ты с жадностью узнать и окунаешь глубже сосуд воспоминаний. Появляется рябь, и расплывается на блески колодезное зеркало. Зачерпываешь ладонями, пьешь холодную воду, но уже не в состоянии заставить сердце биться так, как билось оно раньше.

Самое тягостное разочарование в людях возникло у меня из-за ссоры братьев Кристьяна. Но когда я сейчас прикладываю ладонь к левой груди, я ощущаю ровное биение. И самая большая радость за человека связана у меня с этой же историей — неужто равновесие сделало свое дело?

Все же именно это событие понудило меня быть чувствительной к несправедливости. Кристьян упрекает меня в недопустимой мягкости, в излишнем всепрощении — со времени ссоры, происшедшей между его братьями, я боюсь бесповоротных решений, предпочитаю подождать, подумать.

Вдруг я думаю о вещах так, как удобнее мне?

Кристьян подчеркивает, что людей, как правило, можно разглядеть.

— А Людвиг? — спросила я, когда мы в последний раз говорили о его братьях.

— Что Людвиг? — пожал плечами Кристьян. — Яагуп давно уже на свободе, передраги случаются. Ты и сама, как мне кажется, больше всего ошибаешься в оценке родственников, тут тебе изменяет беспристрастие.

Кристьян привел в пример Юули и обрисовал ее весьма нелестными красками.

Но ведь братья Кристьяна, Яагуп и Людвиг, были нашими людьми!

— Когда Людвиг погиб в авиационной катастрофе, — заявил Кристьян, — Яагуп ходил хоронить его. Значит, простил. Мертвые вышли из игры — с какой стати ты без конца вспоминаешь Людвига?

Пусть Кристьян найдет облегчение в забвении. Надо считаться и с его родственными чувствами.

Тем не менее прошлое так тесно переплетается с сегодняшним, удивительно многократно повторяется, в обновляющейся ткани нового к нарождающимся клеткам прицепляются отмирающие.

— Нужно думать о будущем, а не копать в прошлом. Чтобы избежать заблуждений, следует приглядываться к живым, — закончил Кристьян.

И я вновь кивнула, хотя думала иначе.

По Яагупу и его жене Вере, именно по ним, я порой скучаю здесь, в Таллине. По-своему оба они какие-то неприкаемые — будто у меня столь необъятное и любвеобильное сердце, что собираюсь быть им опорой и поддержкой!

О нет!..

Всегда следовало бы запастись фактами, точными фактами, чтобы судить. Не швыряться грозными словами, стремясь, чтобы к людям прирос ягнячий хвостик послушания и чтобы никто не смел требовать объяснений.

Опираясь на фундамент фактов, можно было бы вовремя жечь каленым железом, в нужный момент можно бы остановиться, чтобы основательно взвесить положение.

В свое время, когда я сослепу уговаривала Лийну, призывая ее терпеть и ждать, у меня вроде бы не было времени, чтобы глубже осмыслить историю Людвига и Яагупа, понять, какой малости бывает достаточно, всего полслова...

Видимо, я в тот раз отстранилась и пыталась замять все оттого, что была пришиблена историей братьев Кристьяна.

Может, даже слишком пришиблена.

Человек становится невероятно беспомощным, когда ему не предоставляют доказательств и когда он сам не может ничего доказать.

Погоди-погоди, где-то у меня должна быть фотография Яагупа. Так и есть, альбом до сих пор валяется в фанерном ящике, с самого нашего приезда.

Беру фотографию и несу ее на ладони к окошку. Снимок закрывает от меня раскисшие картофельные борозды на огороде Яана Хави и мокрые толевые крыши.

Яагуп стоит на карауле, на рукаве овчинного полубубка — красная лента. Папаха сдвинута на затылок, подбородок вздернут, у ноги винтовка.

Командир караульной команды в Смольном.

Здравствуй, Яагуп!

Здравствуй, красногвардеец, здравствуй, легендарный солдат революции, человек, которому доверяли даже охранять Ильича!

Яагуп, казалось, грустно улыбнулся.

«И ты, Анна, все еще не отрешилась от этой истории с венецианским зеркалом? Я могу снять шапку и показать тебе седые волосы. Рановато засеребрились, это верно. Твой Кристьян, смотри-ка, ни одной сединки, а я всего на несколько лет старше его. О, снимок этот страшно застарел. Не потому ли мы копаемся в памяти и смотрим старые фотографии, что скорбим тайком по своей молодости? Запросто в этом никто не признается! Вера, жена моя, как раз этот снимок дала увеличить, вставила в рамку и повесила в углу над комодом. Фотограф, шутник, разукрасил задник зеленым, щеки сделал розовыми, а глаза коричневыми. Теперь сын не дает покою, все спрашивает: отец, а что, у тебя раньше глаза и вовсе не голубые были? По правде, так они у меня давно уже серые. Да нет, не стальные, просто серые. Снова хочешь услышать о зеркале? Ох уж эти женщины, любят они слушать истории о всякой всячине! Вечная их слабость. Да не хмурься ты! Надо, чтобы и на вашу долю что-нибудь оставалось. А то и без того носите ватные брюки да неуклюжие фуфайки, возите землю на тачках и застуживаетесь на уличных работах. Разве когда женщины делали с таким усердием тяжелую, мужицкую работу?»

Я считаю это недопустимым. Но бедность нужно по возможности скорее одолеть. Наступит однажды время, когда вам не придется ходить с лопатой и ломом на плечах и осипшим голосом говорить всякие грубости. Наступит, обязательно наступит. Что, я отвлекаюсь? Но ведь я сталквиваюсь с этим каждый день! Да, да.

Ну хорошо. Когда меня, раненного, привезли в Петроград с юденичского фронта... Ах да, как же там, на родине, называли эту войну? Верно: Эстонская Освободительная Война... Уверен, что все слова с прописной буквы. Ха-ха-ха! Что ни говори, а иная вещь в истории выглядит довольно курьезно. Так вот, предложили мне тогда две комнаты во дворце Юсупова.

Ах же ты вражина белая, контра проклятая! Обе комнаты — что твои танцевальные залы, в одной, в углу, белый камин, всякие диваны-диванчики с кривыми позолоченными ножками и тьма-тьмущая стульев. Уж двадцать-то по крайней мере. Особый паркет — из бука и карельской березы, из дуба и ясеня и еще кто знает из чего собран, на полу выведены черные деревянные розы — прямо хоть по стенкам ходи или, подобно мухе, ползай вверх ногами по потолку. Я даже взглянуть на жену не мог, такая кругом тонкая работа, что просто оторопь взяла. Чувствую вдруг дух от портянок — рука-то у меня была в гипсе, а молодке своей я стирать портянки не позволял! Все стараюсь оберегать женщин. Толчемся мы в дверях, а комендант, старый солдат, усы щеткой, наверное, еще с японской войны пришел с деревяшкой, знай себе подбадривает: мол, устраивайтесь, он, дескать, принесет еще одну шелковую подушку, ту, что у господ для собаки служила, — годится вполне и чистая к тому же. Женка шепчет мне на ухо, что нет, боже сохрани, тут мы не станем жить, — того и гляди, со страху начнет себя крестом осенять. Взял я ее под руку и потащил дальше: мол, чего ты, глянем на все это, нельзя же с бухты-барахты решать такие дела!

Подходим мы, значит, потихоньку к камину, а в нем зола, — женка опять за свое, дескать, смотри, так и кажется, что Юсуповы еще вчера сидели тут и ноги свои грели. Подняли мы вдруг глаза, а в зеркале лица наши отражаются. Такие красные, такие молодые! У супружницы на голове белая шаль, и такая молодуха моя милая, что не удержался, поцеловал ее. Пятимся мы от зеркала, глаз отвести не можем. Где ты еще увидишь себя вдвоем

вместе? Был у меня осколок зеркала, чтобы бриться, да только в нем больше половины подбородка не умещалось. «Ну?» — спросил нас комендант. «Нет, нет!» — отказались мы хором. «Оно и видать, что хоромы у вас покраще,— согласился он,— но зеркала-то у вас все же нет». — «Чего нет, того нет», — подтвердили мы. Подозвал он нас рукой. Сам впереди — тюк, тюк, — прямо по тем цветам из дорогих пород, и давай снимать с крюка зеркало. «Это вам на память, — утешил комендант, завидев наши испуганные лица. — Один знаток говорил будто, что это — настоящее венецианское зеркало, серебро вовек не сойдет, — объяснил комендант. — Как не должно поблекнуть ваше счастье», — добавил он, грозя шишковатым пальцем. Словом, согласились. Молодожены, что поделаешь — растрогались. Смотрю, а у жены глаза блестят. Умилительно, совсем как в романсе поется...

Ну и намучились мы с этим зеркалом, пока до дому добрались. У супружницы была комната в подвальном этаже, а в ней стена одна такой длины, что овальный венецианец как раз над койкой и уместился. Золоченая рама так сверкала, что впору было керосин экономить и по вечерам коптилку с полки не снимать.

Однажды Людвиг приходит к нам со своей женой — оба радостные. Получил Людвиг от Адмиралтейского завода в центре города хорошую квартиру. И говорят, будто в шутку, что теперь-то уж вы можете подарить нам свое красивое зеркало. Они и раньше делали такие намеки, только мы всегда отшучивались, что и в вашей тесной каморке венецианцу лучше не будет. И тогда разговор дальше шуток не пошел, приглядишься-ка, губы у меня, будто черточка какая, — кто в те времена разбрасывался без надобности словами! Если ты на карауле, так на карауле. Если шагом марш, то шагом марш и есть! Не было времени языком молоть. Контра, будто клопы, выползала из всех щелей, будь начеку и глаз не спускай.

Ну и вот, отродье чертово!

Летом двадцать восьмого года поехали мы отдыхать в Петергоф. Женка насаждает: мол, чего мы станем таскать с собой ключ, отнесем его Людвигу, так будет надежнее. Приезжаем мы после отпуска домой, погода все время стояла чудесная, мы и загорели, и в море купались — все чин чинком. На пристани нас приветливо встречают Людвиг с супругой, сунули в руку ключ и, сделав скорбное лицо, сказали, что все в комнате у нас в поряд-

ке, только вот зеркало украдено. Кто-то подделал ключ и унес. Жена моя побледнела, ровно теперь какое большое несчастье должно случиться. И дома еще плакала и повторяла: помнишь, что говорил одноногий солдат! Я ругаться: мол, чего же это он такого наговорил, а Верка в ответ: если пропадет венецианское зеркало, то не будет и счастья в нашем доме. Вот как уже повернула слова, которые сказал комендант. Ох уж эти бабы! Сидит в них суеверие, будь они хоть самые заядлые коммунисты.

Ничего, жили и без зеркала.

Настала зима, и вот как-то в сильный мороз очутился я возле дома, где проживал Людвиг. Подумал, зайду-ка я, погреюсь немного. На холоду эти старые раны страшно ноют. Поддевать что-нибудь для тепла под мундир неловко вроде. Не годится перед батальоном появляться закутанным до ушей.

Поднимаюсь я, значит, по лестнице, звоню. Открывает жена Людвига, посерела вдруг с лица и ну доказывать, что мужа дома нету. Не беда, отвечаю я, погреюсь только немного. Впускает она меня очень уж нехотя в квартиру. А Людвиг сидит как ни в чем не бывало за столом и пьет чай с вареньем. Стою дурак дураком, оглядываюсь — и что я вижу! Ах ты вражина белая, контра проклятая! Висит мой венецианец над комодом. Ох же ты, отродье чертово, перед глазами так все и потемнело! Выхватил из кобуры наган и разможил венецианца вдребезги. Выскочил я из комнаты, дольше там оставаться не мог, чего доброго, еще какая большая беда случиться может... Даже варежки оставил, руки потом отморозил.

Вот так. Не прошло особо и времени, недели две всего, как ночью явились за мной люди, и прямо в каталажку. Год так пролетел, что и не заметил. Сейчас, конечно, все можно обсказать в двух словах и с легкостью перейти к другому! Я могу поднять шапку, сама увидишь. С тех пор я седой. Волосы теряют краску, когда обессилевает душа. В чем только меня не обвиняли, таскали от одного следователя к другому. Пропал бы, наверное, если бы не вступились товарищи из батальона. С таким упорством взялись! Писали объяснения и прошения, беспокоили больших людей, пока не вызволили. И не беда, что потом меня уже не взяли назад на старое место — хошь не хошь, а все-таки тюрьма запятнала. А мне и на желез-

ной дороге неплохо. И эту работу кому-то надо работать. Прежние ребята, которые не были в курсе дела, бывает, встречаются и удивляются: тебе, говорят, мужик, давно пора занять место повыше. Но разве существенно место, важно, насколько ты сам велик духом. У меня под началом целая куча Манек и Марусь, наше дело — вовремя поставить новые рельсы и все гайки чтобы закручены были. Не страшусь я лопаты и кирки с ломом — тоже. Что еще нужно человеку? Пока он держит в руках инструмент, он остается человеком.

Как же это сказал твой Кристьян? Мол, никак допустить он того не мог, что Людвиг окажется подлецом. Я видел донос, который был написан рукой Людвиг. Глазам своим не поверил. Но как ты скажешь о мертвом, что подлец...»

Прячу фотографию Яагуа в альбом, на старое место.

Снова стою с глазу на глаз с темными зазубринами крыш, с их надвинутыми на брови козырьками, над которыми рдеет весеннее небо.

Делай что хочешь, а мысли все тянутся к далекому прошлому. А каждый новый день наваливает на плечи новые заботы, которые требуют немедленного вмешательства: помочь хотя бы тому же Михкелю Мююру, оставшемуся без «прикухонного» пайка, и заставить Рууди соскочить с саней, несущихся под откос.

10

Море?

Чтобы мир, эта пестрая ярмарка, остался на берегу?

Быть в тиши, легким, как перышко, и без мыслей!

Жалкие воздушные замки.

Станным выдалось нынешнее лето. Будто суровый берег Финского залива вдруг очутился в тропическом поясе, где разгуливают чума, оспа и лихорадка. И люди от такой неожиданности немели или, наоборот, становились вспыльчивыми, а кое-кто порой, казалось, даже впадал в безрассудство.

Чувствую себя разбитой и опустошенной. Мои подернутые желтизной руки раскинулись на простыне. Обдает жаром лоб. Из открытого окна виднеются белесые хлопья облаков — они плывут над душистым запахом сирени.

От возбуждения все тело саднит и жжет.

— Почему это вы настолько уверены?

Именно так она спросила.

— Я знаю ее с тех пор, когда Хельми была еще девочкой. Всяк, кто пожелает, мог бы заглянуть в ее житье-бытье, как заглядывают в газету.

— Вы проявляете политическую близорукость, что выясняете тут и защищаете.

— Хельми — классовый враг?

Мой сиплый смех звучит неестественно. И тут же за моей спиной гасится обоями.

Всего лишь в пятницу Хельми заявляла на весь коридор о своих педагогических взглядах:

— Уж теперь-то я положила конец этим капризам. Сийри то и дело бросается на пол и орет. Не встает. Взяла я тогда гвозди и молоток, прибила ее за платье к полу. И сказала: лежи, мы и не хотим, чтобы ты вставала. Будем ходить через тебя — и не взглянем. Оробела девка, замолчала. А я на нее ноль внимания. Пусть подумает и разума наберется. Четыре года девке, где мне с ней возиться, пора самой поумнеть, а мне хватает музыки меньшого и его пеленок.

Бабы начали журить Хельми.

— Я хочу, чтобы из моих детей вышли люди,— заявила она.— Побыла, значит, Сийри два часа прибитой к полу, а когда отпустила — лучшего ребенка и искать не надо.

Все-то она выкладывала о себе. И какая у мужа зарплата, и какой себе отрез на платье купила, и как однажды ее Антс запил, а Хельми потом три дня, кроме хлеба и воды, ему ничего на стол не подавала... Мы были осведомлены об этой семье больше, чем хотелось; слышали больше, чем позволяло приличие.

Эта Хельми, которая зимой выносила на крыльцо студить розовый мусс и усердно взбивала его — с закатанными по локоть покрасневшими руками. Та самая Хельми, которая вкатила детскую коляску в сад, шумно распоряжалась там и первой воткнула лопату в освобождающуюся из-под снега землю! Юули растерянно смотрела из-за занавески на ее скуластое, самоуверенное и румяное лицо.

Соседка Лиза и дворничиха, даже робкая артистка, все изменившиеся с лица, словно их лихорадило, явились сегодня утром ко мне и потребовали, чтобы я пошла и выяснила,— произошла несправедливость.

Я и без того пошла бы.

Нельзя опускать руки и ждать.

Когда я вернулась, бабы ожидали меня, ловя жадными взглядами хорошие вести.

— Выясняют, — ответила я.

Мои усталые глаза, видимо, сказали им все.

Я слышала, как за стеной соседка Лиза сказала громким голосом — не иначе, самой себе:

— Ясно, Хельми ведь насолила ей...

Хотелось пить, но не осмелилась пойти с ведром под кран. Ковшик глухо стукнулся о пустое дно.

Желтоватая кожа рук становится все более дряблой. Не хочется глядеть на себя.

Не хватало еще, чтобы и Кристьян пришел сегодня домой!

Когда он уходил, я была совершенно спокойной.

— Видишь ли, Анна, — сказал он, — созывают всех коммунистов. Не сказали, что к чему и зачем. Не знаю, сколько я пробуду. Ты не беспокойся.

Я и не беспокоилась. Предполагала и догадывалась, что предстоит какая-то чистка. Оно и понятно — всякие там господа, эксплуататоры и головорезы. Врагам новой Эстонии придется пройти по той же дороге, которая была уготовлена кулакам в России.

Но при чем здесь Хельми?

— Вы говорите об этой женщине, — заявила мне инструктор горкома, — и ее детях. Хорошо. Но ведь вы ничего не можете сказать о ее муже. Возможно, он был заодно с вапсами, этими эстонскими фашистами? Может, в двадцать четвертом году стрелял по нашим товарищам? Не исключено, что он выслеживал явки коммунистов. Возможно, именно он предавал и расстреливал наших людей?

— В двадцать четвертом он еще был мальчишкой, — ответила я резко.

— Есть вещи, в которые не следует вмешиваться, — безразлично произнесла женщина. — Между прочим, вы полагаете, что это лешие припасают в лесу оружие?..

Она стремилась закончить разговор, но я не поднималась со стула.

— Для вас все ясно, и вы во всем уверены, — с ледяной вежливостью обратилась я к женщине за столом, — но я все-таки дождусь секретаря.

— Как хотите.— Она пожала плечами и вздохнула: — Только придется долго ждать. Кто знает, когда он придет и придет ли сегодня вообще.

Губы ее то сжимались, то разжимались вокруг смятой папиросы, она кашляла, прижимала ко рту носовой платок, щеки покрывались пятнами, уголки глаз влажнели. Едва глотнув свежего воздуха, закуривала новую папиросу и, по-мужски перекатывая ее во рту, стала выуживать из придвинутого к животу ящика стола какие-то бумаги.

Я сидела, наблюдала за ней, и мне казалось, что, может, я несправедлива к инструктору — позволяю себе незаслуженно озлобиться. Ведь это она просила зимой, чтобы я переводила брошюры, всегда радушно принимала меня и подолгу обсуждала со мной текущие события. Я, бывало, даже восхищалась тайком ее мужественностью и напористостью, когда кто-нибудь обращался к ней. Мы тогда называли друг друга на «ты». А теперь вдруг будто стена выросла между нами. Я кое-что слышала о ее жизни. Подпольная работа, тюрьма, освободилась по амнистии в тридцать восьмом году¹. Говорили, что у ее мужа не хватило терпения дожидаться жены, осужденной на пожизненную каторгу, он и ребенка отдал на воспитание какой-то набожной старушке.

Видимо, я сегодня сама оттолкнула ее дружеское расположение своим резким вступлением, к тому же и «вы» я сказала первой.

— Я, конечно, вижу, что отнимаю у вас время.— Сказанные с таким промедлением слова не прозвучали сколько-нибудь примиряюще — инструктор лишь бегло кивнула.— Поймите, я сама партийная, старая коммунистка... Когда совершается ошибка, ее надо исправлять.

— Вы уверены, что это ошибка?

Прозвенел телефон. С минуту инструктор разговаривала с кем-то, в то же время изучающе меряя меня взглядом.

Я чувствовала себя неприятно, словно меня в чем-то подозревали. Когда она кончила разговаривать, мне вдруг захотелось ей посоветовать, чтобы она заглянула в мое личное дело и убедилась, что и я, в общем-то, сродни ей самой, без ошибок.

¹ В 1938 г. буржуазные власти Эстонии объявили амнистию осужденным коммунистам, желая показать этим прочность государственных устоев.

По дороге домой я чувствовала себя и вовсе отвратительно.

Ведь я пошла, чтобы не сидеть сложа руки. Меня подгоняли отчаяние и жажда справедливости. А вот инструктор уверенно обнаружила во мне слабое место — я действительно не знаю, чем мог заниматься Хельмин муж. В последнее время его что-то не видно. Когда соседи спрашивали, Хельми отвечала, что Антс в деревне. Дня два назад появился, но где он бывал и что делал — никто не знает.

Правдоискательница, у которой нет ясного представления об истине.

Может, семья Хельми просто произвела на меня ложное впечатление?

Так же, как в свое время я могла оставить о себе странное впечатление у секретаря горкома. Недаром он смотрел на меня почти как на дезертира, на человека, который в переломные моменты истории замыкается в четырех стенах, чтобы заниматься абстрактными философскими категориями.

По дороге позвонила из автомата в горком: секретарь еще не пришел. Внутри у меня словно застрял тяжелый ком, и хотелось, чтобы у секретаря изменилось впечатление обо мне.

— Выясняют, — сказала я женщинам в коридоре.

От всего этого осталось ощущение, что инструктор меня в чем-то подозревает, а бабы в доме считают, что я мелочная мстительница.

«Нет, ни за что больше не пойду на прием к этой непогрешимой женщине», — упорно утешаю я себя.

Но увы, я не пойду на прием и ни к кому другому.

Потому что я впрямь не знаю, в чем мог быть замешан Хельмин муж. Вот говорят ведь, что находят тайники с оружием, которым запасаются наши враги.

Если придет Кристьян, скажу, что заболела. И смогу спокойно полежать. Сейчас я не в состоянии спрашивать о новостях, слабость свинцовой тяжестью приковывает к постели. Под сердцем — пустота, словно я повисла над обрывом.

Только молчание.

Если придет Кристьян...

Соседка Лиза разбудила меня перед восходом солнца, когда рассветное бледно-розовое зарево охватило небо. Не было даже ветерка. Занавески перед открытым окном

висели без движения. Мы с Лизой стояли в коридоре на верхнем этаже, куда снизу, сквозь доски, доносилось детское хныканье.

— Хельми увозят,— прошептала Лиза.

— Брось ты,— не поверила я, мне казалось невозможным, чтобы люди могли с такой точностью определить события, которые еще не свершились.

Спустились по лестнице вниз. Ступени скрипели так, как никогда раньше. Хотя в коридоре не было ни души, ясно, что проснувшиеся жильцы осторожно приоткрывали в полутемных закоулках двери.

Вот уже и слышалась возня. Ворочали ключами в замках стенных шкафов, шаркали по полу стоптанными тапочками. Гроыхнув выходящей во двор наружной дверью, показалась дворничиха, неся двухручную корзину. Мелькали белые руки, достававшие из чуланчиков банки с вареньем и медом. Дворничиха поставила корзину на пол и встала перед ней. Женские незагорелые руки накладывали в корзину продукты. Кто-то бросил издали круг колбасы, который угодил на крышку одной из банок.

Дворничиха подала через борт машины корзину с едой. Антс помог жене усесться на чемодан. Хельми, в выцветшем ситцевом платье, на голове шерстяной платок, прижимала к груди завернутого в одеяло ребенка. Побледневшая Сийри опиралась о материню плечо, незаплетенные волосы расползлись по заячьему воротнику зимнего пальто. Антс стоял, расставив ноги, и поводил взглядом по окнам, где сонные ребятишки плющили носы в стекла, и ругался. Хельми не отрываясь смотрела на людей, столпившихся у парадного входа.

— Ну, бабы,— выдавила Хельми вспухшими губами.

Забыла придержать ребенка, закутанный в одеяло, он сполз на колени, и Хельми как-то неестественно спрятала лицо в пухлые руки.

Машина заурчала. Узлы качнулись. Антс присел перед Хельми, чтобы поддержать ребенка.

— Мирьям?

— Дверь была не заперта, я стучалась, но ты так и не услышала.

— Что случилось?

Сробев от моего неприязненного тона, Мирьям начи-

нает рассматривать носки туфелек, руки заложены за спину.

— Хельми увезли на товарную станцию в Копли. Там страсть сколько вагонов, я просто не знаю, как увидела ее в одной двери. Она сказала, что у маленького разболелся живот и пеленки кончились. Что теперь делать?

— Что делать?

— Все на работе, я сама ничего не посмела взять.

— Пеленок?

— Да.

Вскакиваю.

В шкафу у меня целых пять простыней, семь полотенец. Четыре занавески — они тоже пойдут. Хельми разорвет простыни, и будет у нее достаточно пеленок.

Вместе с Мирьям связываем белье в узел и отправляемся в путь.

Девочка бежит впереди.

— Мирьям,— я едва успеваю за ней,— а где мы проберемся к ней?

— Я проведу,— успокаивает она,— я знаю.

Улица Ренибелла упирается в красный железнодорожный забор. Не собирается ли Мирьям перелезть через него? Нет. Она поворачивает налево, шмыгает на незаметную тропку в лопухах и, не задерживаясь, несется дальше. Ей кажется само собой разумеющимся, что я пойду следом.

— Тут, сразу за поворотом, есть одно место, где забор сломан. Я там зимой съехала на санках, и как я была такой недотепой, сама не пойму, только угодила прямо в столб! Передок у санок помяла. Самой потом попало как следует,— рассказывала Мирьям.

Я поднимаю узел, чтобы не запачкать его о грязные лопухи.

— Вот здесь,— шепчет Мирьям,— мы перелезем через насыпь.

Дорогу преграждают пустые товарные вагоны. Приседаем и видим из-за колес множество железнодорожных путей, а за ними, на последней ветке, эшелон. Стоят часовые. В дверях товарных вагонов женщины. Расстояние заглушает голоса. Да и какие там могут быть такие уж особые голоса? Разве что детское хныканье да тихие, безучастные перемолвки.

— Мы не сможем подойти туда,— говорю я.

— Ты оставайся здесь,— распоряжается Мирьям.

И тут же ловко переползает меж колесами по ту сторону вагона и кричит оттуда: — Бросай узел!

Опираюсь рукой о шпалу и подаю узел с бельем. Мирьям бегом, перепрыгивая через рельсы, удаляется. Приближаясь к часовому, замедляет шаг, прячет узел за спину и ерзает. Часовой поворачивается к девочке боком и нашаривает в кармане папиросы. Мирьям поднимает узел над головой и подходит маленькими шажками к товарному вагону. Женщины в дверях поворачивают головы назад, не иначе как зовут Хельми. Вот она уже и показывается, принимает узел. Теперь Хельми опускается на корточки и говорит что-то Мирьям. Та кивает. Хельми исчезает, но Мирьям уходить не торопится. Она скрещивает за спиной руки и прохаживается перед вагоном. Часовой оборачивается и показывает девочке рукой, чтобы она уходила. Мирьям выставляет вперед одно плечо, теребит на груди платье и что-то показывает солдату. Тот переступает с ноги на ногу, глубоко затягивается дымом. Мирьям указывает пальцем на фуражку солдата и тыкает затем себя пальцем в грудь.

Никак не могу увидеть, смеется солдат или нет. В дверях вагона, там действительно сейчас толпится народу больше, чем раньше, женщины сзади напирают. Передний ряд выгибается, какой-то мальчонка просовывает голову меж бабьих юбок и усаживается на полу вагона, свесив ноги...

Какой-то узел падает к ногам Мирьям. Она хватается за него и бросается бежать. Солдат машет рукой и что-то кричит.

Перескакивая через рельсы, Мирьям несется ко мне, спотыкается, но все же удерживает равновесие. Раздается гудок маневрового паровоза. Концы шпал начинают у меня вздрагивать под руками, гравий сыплется вниз, задевая икры ног. Состав, под которым надо проползти девочке, начинает двигаться. Я соскальзываю по насыпи вниз, в лицо поднимается пыль. Перед глазами мелькают колеса, за ними стоит Мирьям, уцепившись обеими ручонками за узел, который она прижимает к колесам.

Состав, дернувшись, останавливается.

— Не ходи! — кричу я Мирьям, которая намеревается сунуться под колеса.

Она остается нетерпеливо стоять, размахивая перед собой узлом.

Вагоны начинают катиться назад. Насыпь, словно живая, вздрагивает под моим боком. С шипеньем приближается паровоз. Задираю голову и вижу машиниста, который оперся на локти и выглядывает из окошка паровоза. Вот он уже поравнялся со мной. Вижу нависшие брови и мешковатые щеки. Машинист внимательно оглядывает меня, видимо, у него вызывает подозрение распластанная на гравии фигура. Не могу подняться — боюсь упустить из виду Мирьям, чтобы она сдуру не полезла под колеса.

Паровоз останавливается

— Что случилось? — кричит сквозь шипенье машинист.

— У меня ребенок на той стороне, — отвечаю я, поднимаясь на колени.

— Пускай идет, я подожду, — кричит он.

— Мирьям, иди! — зову я из-за горячих дышащих масляным перегаром колес.

Мирьям пробегает перед паровозом и беспечно бредет по гравии. На лице недовольство, видимо, оттого, что в туфельки набился песок. Она хватает меня за руку. Начинает доходить, что Мирьям теперь явно нуждается во мне, совсем не так, как было до этого, когда мне требовалась ее решительность и настойчивость.

— Большое спасибо!

Машинист прикладывает руку к форменной фуражке. Вагоны снова начинают с грохотом катиться.

Вцепившаяся в меня Мирьям шлепается наземь. Я опускаюсь рядом. Она тяжело дышит — и готова вот-вот расплакаться.

— Я боялась, что солдат будет стрелять! — кричит Мирьям под лязг буферов. — Он, наверно, кричал, что стой, старый жулик, и руки вверх! — Слова эти родом из игры, в которую Мирьям играет с ребятами. — А я не могла поднять рук, я держала грязные пеленки. Хельми сказала, чтобы их постирать и принести назад.

Глажу девочку по головке и пытаюсь в то же время разглядеть, что же она такое показывала солдату.

На синем ситцевом с белыми ромбиками платье маленький значок с изображением Ленина...

Звук грохочущих колес усиливается, машинист, проезжая мимо нас, дружески машет рукой.

Улыбаюсь чужому человеку с каким-то неожиданным чувством облегчения.

— Солдат ведь тоже красный, звездочка на фуражке. Почему ты боишься его, если вы оба красные? — требует ответа Мирьям.

— Послушай-ка, — встаю я и поднимаю за собой Мирьям, — если мы начнем сейчас умничать, мы не успеем выстирать пеленки и принести их назад.

Направляюсь на тропинку в лопухах.

Мирьям, сопя, бредет следом.

Все время, пока я стирала, сушила и проглаживала пеленки, — рядом возилась готовая прийти на помощь Мирьям. Меня одолевали разные мысли. Обрывочные, словно брызги, которые летели в лицо, не успевая остудить его, потому что тут же испарялись. Вспоминалась Лийна, хотелось быть вместе с ней, чтобы распутать все эти сложности, и тут же начинало мучить глупое любопытство — каким же все-таки образом Хельми разделила в Юулином саду эту землю, и эти кусты, и цветы. Мерцали, проносясь, воспоминания, и наконец мысли мои сплелись на железных сапогах Юулиного мужа. Громычала ли я горшками с горячей водой, проводила ли уютгом по влажным пеленкам, в ушах, не переставая, скрипели шарнирные петли железной обуви.

Мирьям, стянув в узел пеленки, нетерпеливо топталась возле двери и взглядом поторапливала меня.

В нужном месте Мирьям опять свернула на тропку в лопухах. Протянула мне свою горячую ручонку, чтобы вместе подняться на железнодорожную насыпь. Состав, который маневрировал здесь до обеда, исчез вместе с приветливым машинистом. Солнце, клонившееся к закату, отсвечивалось па рельсах, препятствий на нашем пути не было. Держась за руки, мы остановились на концах шпал, чтобы перевести дух. Вдруг Мирьям вцепилась ногтями в мою руку.

Эшелона с людьми уже не было.

И вообще нигде никаких вагонов не было.

Мирьям отдернула свою руку. Поковыляла вперед, задевая носками ботинок рельсы. Остановившись, всматриваясь в разные стороны, хотя и оттуда, где стояла я, невозможно было ничего упустить из виду.

Волоча ноги, Мирьям вернулась назад и расплакалась. Терла кулачками глаза, и я заметила, что руки у нее после плескания в мыльной воде порозовели до самых запястий...

Схватив горсть гравия, она швырнула его на рельсы. Брошенные с яростью камешки с жалобным звоном звякнули о металл.

— Мирьям!

— Я не хочу с тобой говорить! — топнула она ногой.

— Не хочешь, не надо, я же не заставляю. Просто мне вспомнился один случай с дедушкой.

— Ну? — недоверчиво спросила она.

— Дедушка твой сделал однажды себе сапоги с железными подошвами, на шарнирах. Все ходил — железный визг за ним. На булыжнике подошвы нещадно громыхали и на крыльце тоже.

— А зачем он их сделал? — спросила Мирьям, двигаясь поближе.

— Нечего было обувать.

— Почему?

— Немцы оккупировали Эстонию. Все опустошили, в лавках тоже ничего. Но дедушке твоему хотелось ходить, он все беспокоился, как бы это дальше прожить.

— Наверно, больно было ходить в таких сапогах.

— Надо думать.

Мирьям сморкается и отводит со лба челку.

— Но дедушка твой не жаловался на боль, знай шагал в железных сапогах.

• — А я и не знала этого, — с изумлением бывалого человека говорит Мирьям.

— Я сама совсем забыла, — отвечаю ей.

— Это хорошо, что ты вспомнила, — одобрительно произносит Мирьям.

Завидев мою усмешку, говорит:

— Умрешь ты, кто бы тогда мне рассказал?

— Да.

Мирьям снова доверчиво сует мне в ладонь свою руку, мы медленно спускаемся с насыпи.

— У дедушки на глазах растут перелески, а на бровях — купальницы, — вздыхает Мирьям.

— Кто это тебе сказал?

— Дядя Рууди.

Мы шагаем по улице Ренибелла, далеко впереди стоит зеленый деревянный дом, почти такой же, как все другие здесь, в пригороде. Только эти выступы, похожие на штевни, покрытые толем башенки и флюгеры, скрипящие в штормовые ночи.

Клонящееся к закату солнышко слепит глаза.

Лоб сдавливает ощущение тяжести, как будто кто нахлобучил на меня железную шапку.

— Что мы с этими тряпками будем теперь делать? — с деловитой озабоченностью спрашивает Мирьям.

— Не знаю.

— Большие люди должны все знать, — ворчит Мирьям.

Чувствую лишь девочкину руку, ее тепло постепенно передается и мне.

11

— Ты решил, Кристьян?

— Да.

Он тянется через стол и берет мои руки в свои ладони.

— Анна...

— Да?

— Я хочу услышать, что ты думаешь.

— Вода была все же холодной, — неуверенно начинаю я — мысли, казалось, испуганно шарахнулись от моего голоса в разные стороны. — Ты ведь говорил, что раньше иванова дня в море не купаются. И остался на берегу. Боялся возврата старой болезни. Ведь было время, когда ты неделями лежал неподвижно в постели.

— Впервые мне пророчили смерть еще двадцать лет тому назад, — басит Кристьян и громко смеется.

— Я уходила все глубже и глубже. Прохладная вода хлюпала по коленям, дошла уже до бедер, поднялась до сердца, и на мгновение захватило дух. По жилам растекался сладостный зуд. Я пошла дальше. Вода охватила плечи. Я вытянула шею. Вдруг мне стало невероятно тепло. Я оттолкнулась от дна. И, легко скользя, едва пошевеливая руками и ногами, стала плыть все дальше и дальше от берега.

— Я видел только твой желтый платок на синем горизонте, — рассеянно кивнул Кристьян.

— На какое-то время я ощутила себя невероятно счастливой. После трудных дней я вновь обрела равновесие. Опустила лицо в воду и увидела освещенное солнцем морское дно, которое было выметено волнами. Нашупала пальцами песок. Вода доходила до подбородка. Я отфыркивалась, я смеялась, потому что знала — никто меня не слышит. Мир — эта пестрая ярмарка — ос-



тался где-то далеко на берегу. Бесконечно далеко, словно бы и нет ничего, кроме воды да бездонного неба. Я плескалась, смеялась, выпрыгивала, подобно дельфину, из воды и снова ныряла. Желтый платок сбился набок и прилипал к шее. Я чувствовала себя ребенком и усмеялась при мысли о той сверхпорядочной, сверхосмотрительной женщине средних лет, которая повязывалась на берегу платком, чтобы не замочить волосы. Она вдруг показалась мне смешной со всеми своими страхами и угрызениями совести. В воде словно бы растворялся груз годов и приобретенного опыта. Я была действительно счастлива.

— Как мало вообще-то нужно,— роняет Кристьян.

— Когда я резвилась в воде, я увидела сквозь мокрые ресницы мерцающий берег. Люди, которые до этого, как будто в истоме, загорали, теперь почему-то метались. Красные, синие, зеленые цвета, словно в калейдоскопе, менялись местами. Может, кто тонет, мелькнула беспокойная мысль; я смахнула пальцами с глаз капельки воды. Ты стоял по колено в воде и, сложив ладони рупором, кричал в сторону моря. Невольно я поплыла к берегу. Ветер дул сзади, и, как я ни старалась, расслышать твоих слов я не могла. Лишь какие-то отрывочные, бесвязные звуки доносились до меня: «...на-наа!..»

Достигла места, где было помельче, вода дюйм за дюймом понижалась, вместе с этим снова меня охватывал панцирь сомнения и страха, который сдавливал. Ты больше не кричал. Опустив руки, стоял по колено в воде. За твоей спиной метались пестро одетые отдыхающие, они размахивали руками, бессмысленно стояли на месте или беспомощно толклись и вытирали со лба пот, хотя погода и не была такой уж жаркой. Подплыла ближе, увидела, как шевелились твои губы, они произносили какое-то странное слово, но голос твой хотел еще на мгновение пощадить меня. Расслышала тебя, лишь когда была уже настолько близко, что, словно в увеличительное стекло, увидела твои глаза.

«В о й н а!»

Кристьян сжимает мои пальцы. Этого же не может быть, чтобы руки дрожали, я никогда не замечала ничего подобного, наверное, это лишь от напряжения мышц.

На автобусной остановке, перед рестораном, извивалась взбудораженная очередь — гвалт, гомон. Было неразумно дожидаться машины, не хватило бы терпения. На-

до было куда-то бежать. Зачем? Куда? Назад, в город. Будто уже люди вставали там под ружье, и мы могли опоздать. Я сняла туфли, чтобы идти быстрее. Даже не чувствовала под ногами острой гранитной щебенки. Нас подгонял страх опоздать. Вот только от чего мы боялись отстать? Все равно все решения осуществились лишь через несколько десятков часов.

— Да мы особо и не задерживались,— кивает Кристьян.

Компания загорелых юношей и девчонок стояла, облокотившись на прибрежный парапет. И такие они были радостные, не подозревали, насколько приблизилась к их песне действительность.

...Если завтра война, если завтра в поход,
будь сегодня к походу готов...

— «Война уже идет! Война!» — прокричали мы им.

— «Война!» — крикнули мы,— подтверждает Кристьян.

Они испуганно смотрели на нас, вроде бы хотели остановить, но мы не замедляли хода. Когда я еще раз взглянула на них через плечо, они стояли, сбившись тесной кучей. Один из парней задрал голову, словно тут же должны были появиться бомбардировщики.

Возле памятника «Русалка» я надела туфли. Навстречу нам шла какая-то дама в шляпке, украшенной целым пучком фиалок, и с белой собачкой на поводке. «Война»,— сказала я тихо, когда дама проходила мимо. Дама удалилась, неловко улыбаясь, словно вспоминала, знакомы ли мы,— ей, видимо, показалось, что я приветствовала ее.

— «Особые исторические расы нуждаются для проявления своей гениальности в особых условиях. Нигде, кроме как на войне, не появляются возможности наблюдать эти явления!» — громогласно вмешивается Кристьян в мой спокойный рассказ.

— Вместо того чтобы цитировать Гитлера, ты мог бы лучше рассказать о нем какой-нибудь анекдот,— ворчу я недовольно.

— Я непременно пойду добровольцем. Завтра же,— заявляет Кристьян.

— Уже завтра?

— Анна, говорят, что на твоем лице не было трагической мины, даже когда тебе зачитывали смертный приговор,— с упреком произносит Кристьян.

— Да-а,— соглашаюсь я кротко.

— Двух мнений тут быть не может,— бормочет он.

От завывания сирены чувствуется, как начинает дрожать пол, вибрируют стулья, и мы сами начинаем ерзать. Когда завывание сирены становится особенно пронзительным, мы встаем, руки мои все еще в ладонях Кристьяна. Кажется невозможным, чтобы оставшиеся совместные часы мы провели без ощущения обоюдного тепла.

— Страшная музыка! — стараюсь я перекричать продолжающееся завывание.

— Война еще вся впереди, Анна. Нужно закалять нервы.

Прижимаюсь лицом куда-то возле Кристьяновой шеи. Какая же я все-таки рядом с ним маленькая.

— Пойдем или останемся в комнате? — спрашивает Кристьян — тишина, наступившая после сирены, словно бы заставляет двигаться, торопиться, куда-то поспевать.

— Посмотрим с чердака,— предлагаю я.

— Ладно.

В коридоре нет ни души. Из-под крана течет и в трубах булькает вода. Чердачная дверь, которую в добрые Юулины времена старательно держали на замке, сейчас распахнута настежь. Взбираемся по крутой пыльной лестнице — впереди Кристьян, следом я. Идем по накатине, что выступает из пыльного настила, минуем засмоленное изножье трубы, подныриваем под обвислые бельевые веревки и пробираемся к окну. Порыв сквозняка прижимает волосы с затылка к лицу.

Над черными зазубринами крыш мерцает густо-синее небо. Улицы кажутся серыми канавами в засушье, с кустиками жухлой травы по обочинам. Единственные, кого мы видим,— две продавщицы в белых халатах — они стоят на крыльце, ведущем в подвал, и смотрят вверх. Чуть дальше понурилась лошадь, запряженная в пустую извозчичью телегу; доставая из торбы, повешенной на шею, сено, жует его. Ломовик привязан к покосившемуся телефонному столбу — случись что, испугается и попятится, провода, видимо, обязательно оборвутся.

Единственный звук, который доносится до меня,— дыхание Кристьяна.

В отдалении, ближе к морю, в безоблачном небе возникают белые дымки. Там, в выси, они кажутся комочками снега,— заброшенные в летнее небо, они тают, при-

нимая неопределенную форму, пока не испаряются вовсе.

— Противовоздушная оборона,— бормочет Кристьян, словно желает преподать неопытному в военном деле человеку первые уроки.

— Зададут жару, отгонят! — кричу я пересохшим горлом.

Какая-то незнакомая дрожь, подобная азартному возбуждению, пробегает по спине.

Раздается треск и глухой удар: поднимая пыль, на чердачный настил шлепается дверной противовес — кто-то вошел в дом или вышел на улицу.

Теперь до слуха доносится гул.

Может, осы где-нибудь под крышей свили себе гнездо?

— Ну конечно, самолеты. Самолеты!

Кристьян высовывается из продолговатого слухового окошка наружу.

— Ты видишь? — Мне никак не удастся выглянуть.

— Да. Очень высоко.

Смотрю поверх его плеча на гроздь дымков — как только они расплываются, над городом с треском появляются новые дымки.

Держусь за Кристьяново запястье.

Гул самолетов усиливается. Наползающие завывания давят на барабанные перепонки, сжимают голову, и единственное желание — это увидеть! Любой ценой уследить, куда они летят.

И вдруг откуда-то просачивается сознание, что с этой минуты, в любое мгновение, ночью и днем, людей подстерегает насильственная смерть.

Сейчас, через минуту или десять минут нас уже может не быть.

А у нас с Кристьяном все еще не договорено.

От нервного напряжения пересыхает во рту, губы спекаются.

Вижу, как на лице Кристьяна напряглись мускулы, которые морщат в складки его щеки. Он сдвигает потускневшие створки — так и сыплются пауки. Относительная тишина, возникшая после удаления самолетов, ослабляет.

Квадратная накатина ведет нас к засмоленной трубе, где мы приваливаемся на сундук, превращенный по правилам противовоздушной обороны в ящик для песка.

— В одном месте мы нашли запрятанное в диване оружие,— сурово говорит Кристьян.— На улице Роозик-

рантси взяли какого-то начальника кайтселийта¹. Третьим оказался рантье, который неподалеку от Сууре-Яани сдавал в аренду два хутора. Мужик сперва никак не мог сообразить, что же ему взять с собой — то ли картины в тяжелых рамах, то ли фарфоровых пастушков или двух своих такс. После первого испуга все же пришел к разумной мысли — отыскал в передней овчинный полушубок, такой добротный, крестьянский.

— Кристьян, а что будет с Хельми? — робко спрашиваю я.

— Видишь ли, — говорит Кристьян, — мне кажется, что проведенное мероприятие можно сравнить с обработкой целины. Конечная цель там — тучные поля, и во имя этого мы выкорчевываем старые деревья, которые намертво уцепились корнями в землю, сосут ее соки и засоряют окружающее пространство. Что же касается Хельми, то... Антс-то ее действительно...

— Ленин говорил, что имеющийся человеческий материал необходимо перевоспитать.

— Но его никто и не собирается уничтожать! Высылка нежелательных элементов — это не бог знает какое страшное наказание, — горячится Кристьян. — Их переместят в новую среду, с тем чтобы они перевоспитались. И вообще, почему мы должны быть невесть какими гуманными по отношению к отдельным личностям, в то время как страдать из-за этого будет большинство? Мы же знаем, что в истории было достаточно революций, которые потерпели неудачу именно потому, что не хватило решимости устранить силы, мешавшие прогрессу; при первой же возможности эти силы поднимали голову и захватывали власть в свои руки. И вот теперь, когда мы собираемся человеку, сотни лет прозябавшему в темноте, дать знания, расширить его кругозор, превратить в действительно общественное существо, вырвать его из скорлупы безнадежности, именно сейчас, когда мы разрубили цепкие корни частной собственности, — почему мы обязаны миловать тех, кто всячески пытается помешать новому! Мы довольно хорошо преуспели в этом, и мы не смеем поддаваться каким бы то ни было сомнениям.

На мгновение забылось, что самолеты все еще летают над городом.

¹ К а й т с е л и й т — союз обороны, военизированная фашистская организация в буржуазной Эстонии.

— Или ты думаешь, что мне всегда бывало легко приказывать какому-нибудь подобному типу, что соберай манатки и пошел... Нельзя погрязать в сугубо личных эмоциях, это лишнее. Да, так оно и есть,— заканчивает Кристьян.

— Да,— повторяю я.

Потом Кристьяну еще что-то припомнилось, он грустно усмехается и говорит:

— Есть и у нас в недалеком прошлом горький урок. Ох и добренькие были мы к буржуям. Пятсу дали два месяца тюрьмы, а Яан Тыниссон, тот и вообще был отпущен под расписку, видите ли, господин любезно соизволил пообещать, что откажется от борьбы против трудящихся...

Да, что верно, то верно, напоминание об этом заставляет горько усмехнуться.

— А потом? — сурово продолжает Кристьян.— Что там и говорить! Все знают судьбу Кингисеппа и Креукса, убийство Яана Томпа¹ и еще сотен и тысяч красных, которых загнали в могилу...

— Ты прав, Кристьян,— подтверждаю я,— слишком быстро мы забываем историю.

— Надо оставаться твердыми,— медленно произносит Кристьян.

— Сегодня у нас последний день,— с болью выпаливаю я.

— Да, да,— бормочет Кристьян, все еще витая где-то в мыслях, и, словно выполняя приказание, обнимает меня за плечи.

На какое-то время завывание самолетов утихает, но вместо этого ясно доносятся взрывы шрапнели. От засмоленной трубы исходит тепло. Сгустившаяся на чердаке затхлость и запах пыли вызывают тошноту.

С приближением ночи небо окрашивается в цвет распутившейся лиловой сирени, кусты у заборов темной массой остаются поджидать утра.

Сумерки, окутавшие легкой поволокой землю, превращают виднеющиеся за окном крыши в далекое идиллическое нагорье. Флюгер уже несколько дней стоит недвижно, и дом, который совсем недавно был полон шо-

¹ Руководители эстонских большевиков и выдающиеся революционеры, убитые при буржуазной власти.

рохов, сетований, смеха, грохота и скрипа, исчезает из нашего восприятия, словно погружающаяся в пучину подводная лодка.

Мы остались с Кристьяном вдвоем, только мы — и никого больше.

Наша последняя ночь.

Теперь надо бы отыскать все самые нежные слова, все ласки, все милые шепоты и построить из них здание надежды, куда мы войдем после войны.

Но минуты, оттикивая, уходят в глубь ночи, и мы молчим.

Любила ли я Кристьяна?

А он меня?

И вообще, что такое любовь?

Наша совместная жизнь продолжается больше двадцати лет.

Может, порой я потому и вспоминала Антона, что его уж нет. А как я буду вспоминать Кристьяна? Он уходит завтра, и кто знает, надолго ли мы с ним расстанемся, если не навсегда.

В воздухе нависла свинцовая тяжесть. Взрывы, бомбы, осколки, пули — воздух густо наполнен металлом, день ото дня его становится все больше. Кто останется в живых, кто погибнет? Мы уже достаточно взрослые и трезвые для того, чтобы знать наперед — в войне трагическому случаю отведена невероятно большая роль.

В молодости я была уверена, что Антон не может умереть!

Пронзительная мелодия медных труб — над привезенными из Иерусалимского леса гробами — то и дело оставливает меня: нельзя быть уверенным, нельзя знать...

Никогда нельзя знать.

Когда осенью девятнадцатого года нас пришли арестовывать, я сидела у кровати больного Кристьяна. Измученная бессонными ночами, я тупо слушала врача, который не оставлял надежды. Вы же совсем еще девочка, переживете, шептал он мне в передней. Редкостный случай, заверял он, будто мне было легче оттого, что это редкостный случай. Молодой человек и вдруг паралич. Где только так застудился, допытывался доктор. Ходил на охоту, буркнула я. Он и впрямь неделю тому назад ушел, — с ружьем за плечами, опоясанный патронташем, в парусиновом плаще и в высоких сапогах. А вернувшись, даже принес с собой двух уток. Конечно, на охоту, заве-

рила я. Разве бы что изменилось, если бы я стала плакаться в докторову жилетку и призналась бы, что мой муж выполнял партийные поручения, что ему пришлось перебираться несколько раз по болоту, что в темноте провалился в трясиину, а когда вернулся домой, то радовался, что все-таки выбрался оттуда?

Из нашей спальни, где лежал Кристьян, вела дверь в другую комнату, выходящую окнами в сад. Вход туда был прикрыт ковром. Недопустимая халатность, крайняя потеря самоконтроля, что я не прибрала в той комнате. В пепельнице куча окурков, на столе с десятков чайных стаканов, оставшихся с предыдущего вечера, в углу, на стульях, постель — одеяло, подушка. Товарищи, сидевшие там накануне, предупреждали ведь, приberi все как следует, мы теперь придем не скоро: мол, сейчас, в связи с болезнью Кристьяна, здесь бывает много посторонних людей, придется переждать, дескать, найдем, где собраться. Но документы спрячь, прежде всего спрячь документы. Когда я перешептывалась с доктором в передней, я вдруг почувствовала, что бумаги у меня до сих пор лежат под бюстгальтером, я словно бы забыла про них. Ведь находился же в сарае, что лепится к концу дома, потайной лаз — за поленницей. Проникнуть туда не стоило особого труда, надо было лишь переложить в сторону поленья, вытащить из кладки фундамента два куска плитняка, опуститься на живот и пролезть в дыру. Подвала под домом не было, но между балясинами и землей оставалось примерно полуметровое пространство, так что на локтях и коленках там можно было довольно сносно переползти. Когда-то я вырыла справа, метрах в двух от лаза, тайник, накрыла его жестяной и завалила землей — ни одна душа не найдет. Только я знала, что около седьмого камня от угла дома нужно вкопаться пальцами в землю, пока ногти не коснутся жестянки.

— О чем ты думаешь, Анна?

— Думаю о последнем вечере в нашем доме за серым палисадником. В том доме, где под окном росла рябина и где в ту пору последнюю осень нас сводили с ума яблони — плоды шлепались на землю, а мы все думали, уж не шпики ли это крадутся под окнами.

— В тот год было трудно с топливом, случалось, люди ходили воровать доски с палисадников. Ну и здорово же было ходить с ружьем вокруг дома, изображая из себя сердитого хозяина. Каждый мог воочию убедиться, что

у меня страсть как болит сердце из-за этих яблок и жердей. Однажды слышу, кто-то возится у палисадника, ну, думаю, погоди же ты, проклятый шпик! Как заору истощным голосом: руки вверх, ворюга! Из темноты кто-то спокойно так отвечает: погоди, погоди, хозяин, надо же сперва пилу вытащить!

Кристьян смеется с какой-то осмотрительностью. Ведь в доме спят люди, — а сколько им отведено всего спокойных ночей?

— Возле твоей кровати, на комод, горела под зеленым абажуром керосиновая лампа.

— Да-а. До сих пор мне совестно из-за того, что тебе пришлось подкладывать под меня судно.

Поглаживаю кончиками пальцев по тыльной стороне Кристьяновой ладони.

Эту лампу с зеленым абажуром я про себя считала великолепным средством спасения. Все думала, если случится, придут арестовывать, я швырну лампу о стену — керосин так и брызнет, вспыхнет огонь, и в этой суматохе мы с Кристьяном сумеем исчезнуть.

После ухода врача, усевшись перед кроватью Кристьяна, я снова ощутила на груди бумаги. Пришлось будоражить свое истомленное тело, подгонять себя — сейчас же, немедленно ты поднимешься, пойдешь в сарай, переложить в сторону дрова, залезешь под дом и спрячешь эти документы, так, чтобы их вовек никто не нашел. Чувство долга подгоняло меня, но тело было ослабленным, и сознание охватила паника: а вдруг Кристьян... Большей частью он находился в полузабытьи, в последнее время почти не говорил со мной — его перекошенный рот произносил лишь неуклюжие и невнятные слова. Кристьян старался оставаться наедине со своим недугом, словно бы возводил между нами невидимый барьер... Иной раз просто не знала — то ли спит на самом деле, то ли прикидывается. Оставь меня, уйди — говорило каждое его движение, молил каждый его беглый строптивый взгляд, когда он открывал глаза.

На стук я равнодушно потащила открывать — думала увидеть Юули, или Рууди, или доктора, вернувшегося с каким-нибудь советом. В первое мгновение трое мужчин, стоявших за дверью, страха мне не внушили. Наоборот, мелькнула наивная надежда, что, может, явились какие-нибудь друзья Кристьяна, — разве кто откажется в таких случаях от сочувствия. И только в спальне, на

свету, я догадалась. Инстинктивно, как только могла, втянула грудную клетку, будто могла таким образом лишиться себя груди и спрятанных документов.

Прежде всего они перерыли постель Кристьяна. За мной никто не следил. Я протянула руку за лампой, прохлада витой латунной ножки побуждала к действию. Оторвала от стола это керосиновое огнище с зеленым абажуром. Один из мужчин смерил меня предупреждающим взглядом, видно, подумал, что я хочу задуть лампу. «Чтобы вам было светлее», — прохрипела я. Подняла еще выше, чтобы уж в следующее мгновение швырнуть о стенку.

Будто сумасшедшая, подгоняемая навязчивой идеей.

И тогда я увидела глаза Кристьяна. Властный взгляд его требовал, чтобы я посчиталась с ним. Кристьян понял мое намерение. Вызванный возбуждением румянец неожиданно преобразил его лицо. Он привстал, того и гляди, поднимется с кровати, совсем как симулянт, которому надоело лежать. Хотя подобные медицинские чудеса и являются, как правило, нелепыми выдумками, но Кристьян действительно собирался подняться, пусть он в тот момент и не мог этого сделать, да и после еще не сразу встал на ноги. Только вдруг он словно бы вырвался из строя отходящих в мир иной, и жизненная сила, сверкнувшая в его глазах, подействовала на меня долгожданной разрядкой. Я поставила лампу обратно на стол и опустила на колени перед кроватью Кристьяна. Рука его вздрогнула от моих первых слезинок. С усилием Кристьян повернулся на бок. Я угадала его намерение. Двое мужчин возились у комода, третий как раз открыл в прихожей платяной шкаф, березовые дверцы которого были украшены резными цветами лотоса на извивающихся стеблях.

Кристьян приподнял одеяло. Я распустила концы платка, которым была перетянута грудь.

Сейчас я суну бумаги ему под одеяло.

Ведь Кристьяна уже обыскали.

Снова переворачивать постель не станут.

И я спасена.

Телерь, спустя десятилетия, все напряжение той минуты укладывается всего в одну здоровую фразу: сейчас я суну под одеяло документы.

Обычно сердце от волнения начинает биться и лицо покрывается потом. А тогда все было наоборот: я не

чувствовала, что у меня вообще что-нибудь бьется в груди, я казалась себе застывшим в зиму земноводным, чья жизнедеятельность настолько замедлилась, что мои движения уже вроде и не были движениями, а напоминали собой некое медлительное переползание моллюска.

Целую вечность я вытаскивала документы из-под кофточки и совала их под одеяло. Чтобы отвести подозрение, в отчаянии громко всхлипывала, громче, нежели умела, — это должно было придать убедительность тому, что мне все не оторваться от Кристьяна. К всхлипыванию присоединялись настоящие слезы, заставшие мне глаза.

Один из тех, кто шарил в комод, в зеркале все увидел.

Проклятое зеркало!

Будь они прокляты, все эти дорогие венецианские зеркала в золотой оправе, пусть будут прокляты все убогие, высеребренные в провинциальных мастерских зеркала!

С тех пор в моем доме никогда больше не висело на стене зеркало.

Когда я одно время пользовалась губной помадой, то смотрелась в тусклый глазок пудреницы. Наверное, поэтому и не узнаю себя на фотографиях, или, может, просто мое представление о собственном облике так и осталось в давно прошедшей поре, когда на стене нашей спальни еще висело зеркало.

Полицейский, шаривший в комод, опустил свою лапу на бумаги. Без всякого труда он взял нас, схватил так же легко, как лоснящийся кот хватает беспомощного мышонка.

Кристьяна вынесли на носилках, следом за ним, через грязный двор, брела я. Накрапывал осенний дождь. Подомашнему светились окна, и никому не было дела, никто даже не подумал, что нас под покровом ночи увели в неведомую безысходную пустоту.

Не было у меня о Кристьяне никаких сведений ни тогда, когда я сидела в предварилке, ни после, когда военно-полевой суд вынес мне смертный приговор, ни позднее, когда смертный приговор заменили пятнадцатью годами каторги, и даже когда меня как политзаключенную везли к границе Советской России. Мертвый он или живой — Юули об этом не сообщали, да и так ли уж она этих сведений добивалась! Правда, однажды, в самом начале моего заключения, при свидании, Рууди шепнул, что

Кристьян находится в больничной камере сиринаской тюрьмы. Это я даже могла допустить, куда же кроме, как не в Сирина, увозили мужчин-политзаключенных; и то, что он в больничной камере,— тоже закономерно: парализованного человека не положено содержать вместе с другими там, где на день нары убираются.

Даже в Петрограде я встретила не Кристьяна, а Антона...

А почему я вообще должна была думать, что Кристьяна выменяют в Россию?

Оставались одни беспочвенные догадки.

В Петрограде я встретила Антона.

Он сделал вид, что Кристьяна никогда и не было. Обоюдная жестокость, тем более что и я не посмела раскрыть рта и заговорить о своем законном супруге. Может, я даже нарочно заставила себя не думать о Кристьяне, о человеке, который как-то незаметно вошел в мою жизнь в ту самую осень, когда прошел слух, что Антон расстрелян под Изборском. Кристьян словно бы пришел затем, чтобы наколоть дров и принести воды. Как-то само собой постоялец стал мужем.

Все это я вспоминаю с каким-то удивлением стороннего наблюдателя. Неужели нас с Антоном все еще можно осуждать?

Испугавшись и отпрянув от этих мыслей, возвращаюсь в сегодняшнюю ночь.

— Кристьян, ты уже давно не занимался чучелами птиц, — признаю я, чтобы что-то сказать.

— Да, я бы с гораздо большим удовольствием взял ружье и отправился бы охотиться на зверей, чем на людей,— рассеянно кивает Кристьян.

О, одно время страсть к чучелам всецело захватила Кристьяна. Все осенние и зимние воскресенья он бродил под Ленинградом по болотам и лесам. Возвращался с добычей и долгими вечерами сидел за столом с пинцетами, скальпелями, щипчиками, ножницами, буравчиками и щеточками под рукой. С поразительным терпением снимал шкурки, делал из проволоки каркас, старательно набивал паклей, пока чучело не обрело естественного вида. Особенный восторг вызывала одна сова, которую он повесил над окном. Все, кто впервые входил к нам, тут же застывали на месте. Взъерошив перья, на входящего пучилась сова. Даже имя дал ей Кристьян — сова Екатерина.

Мне было не по душе увлечение Кристьяна. Не пере-чила — нельзя задевать человеческие наклонности. Эти молчаливые птицы по стенам, особенно тетерев с тетер-кой, которых Кристьян держал на шкафу, исподволь бесили меня. Частенько ловила себя на сравнениях, быть может несправедливых, что наша совместная жизнь с Кристьяном тоже с виду вроде бы «как настоящая», но на поверку оказывается такой же застывшей, как эти чучела пернатых в нашей комнате.

Кристьян не попрекал меня Антоном, но оставлял одну долгими воскресными днями, к чучелам у него было больше внимания и любви, чем ко мне.

Соседка по квартире все говорила, какой необыкно-венный у тебя муж, по вечерам сидит дома, не пьет и не буянит.

Я даже обрадовалась, когда с переездом в Таллин всю эту лупоглазую «живность» пришлось бросить.

Возможно, это простое воображение, что Кристьян своим увлечением чучелами старался отплатить мне за Антона. Охотничья страсть теплилась в нем давно, за-долго до нашего ареста, до того, как, разбитый парали-чом, он лежал при свете керосиновой лампы с зеленым абажуром.

На каком-то отрезке нашей совместной жизни мы начали отдаляться друг от друга. Становились все отчуж-деннее и отчужденнее. Видимо, упустили тот момент, когда надо было сесть за стол, и, взглянув друг другу в глаза, спросить, как же нам быть теперь дальше?

Ни у кого из нас в тот решающий миг не хватило смелости, чтобы растопить возникшую наледь.

Может, мне следовало покаяться в истории с Антоном, выговорить начисто душу, безвозвратно похоронить мир ушедших теней! А может, не высказал Кристьян, мол, по-слушай-ка, Анна, добропорядочное и чисто плотное сожи-тельство еще не является счастливым браком.

Ах, упрямство, это перебирание случившегося про себя.

Всяк нуждается в другом человеке, кому нужно было бы высказать все самые потайные ходы своих мыслей, чувств и сомнений. Не то с годами начинает одолевать одиночество, и протянутая к тебе в постели рука будет лишь напоминанием, что ты замужем и что у тебя есть перед кем-то обязанности, так же как есть они и у дру-гого по отношению к тебе.

«Необыкновенный у тебя муж», — говорили в коммунальной кухне ленинградские бабы.

А может, я слишком многого требую?

Может, так и живут?

Люди умирают в одиночку, это обуславливает относительное одиночество и в жизни.

Иначе с чего бы у женщины был настолько могуч инстинкт материнства? Видимо, взаимное доверие с ребенком возмещает неизбежное отдаление от мужа.

Да что там, не разрешишь ведь в последнюю ночь того, в чем не смогли разобраться за многие годы. Надо примириться с тем, что многое неизбежно так и останется невыясненным.

Всегда у людей что-то остается незавершенным.

Вот только что — у кого? — у Хельми осталась без присмотра капуста, высаженная в свежевскопанную грядку, в моей и Кристьяновой семейной жизни остается неподведенной черта и неподбитым итог.

Какие горькие мысли!

Не обязательно же сегодняшней ночи быть последней!

— Может, чересчур торопишься?..

— У тебя, Анна, что-то уж очень усталый голос. Что, если лечь на часок-другой поспать?

— Как бы потом не пожалеть, что продрыхли последние часы.

Кристьян согласно кивает.

— Кристьян, а здоровье не помешает?

Слова эти звучат безучастно и сказаны так, между прочим. Я бы стала сама презирать Кристьяна, не запишись он завтра добровольцем! Но где-то в глубине души скребется подсознательное желание любой ценой сохранить семью! Хотя я и решила, что с уходом Кристьяна окунусь с небывалым, нещадным упорством в работу, безразлично, — уложу ли я вещмешок и отправлюсь строить оборонительные рубежи, или очиню все карандаши и закрою окна, чтобы уличные звуки не раздражали меня. Иногда оздоравливающе действует придуманное тобой будущее — уйти в себя, отрешиться от всего другого. Разумеется, в этой решимости есть и доля самосожалеания.

А может, я, по сути дела, и не ощущала одиночества рядом с Кристьяном, если уже загодя ищу ему противоядия.

— Кристьян, тебя угнетало со мной когда-нибудь чувство одиночества? — выпаливаю я неожиданно для самой себя.

Кристьян усмехается.

— Подобное обычно плетется в хвосте у обиды.

— Ты уходишь от ответа.

— Есть ли надобность?

— Говори.

— Когда меня в двадцать третьем году в конце концов обменяли в Россию, не было у меня и понятия, как же мне тебя найти. Неведение сковывало радость. Думал, что мне предстоит долго разыскивать твои следы. Но едва я прибыл в Петроград и заикнулся о тебе, как мне тут же указали твой адрес. Помню, шел я по Невскому, радость так и распирала меня, и клял я, что в кармане пусто, что ни на одном углу нет цветочницы. Валил снег, и отыскать проулок, где ты жила, было дьявольски трудно.

Значит, и он не может обойти Антона. Ну что ж, сама настояла, чтобы говорил.

— Этот пропахший керосиновым чадом коридор, куда я наконец вошел, казалось, лишил меня уверенности. Звякнул звонок, какая-то женщина с темными кругами под глазами открыла дверь, и я остался ждать в сумрачной передней. Вокруг какие-то ящики, бочки, скособоченный шкаф — и, будто гудок паровозный, голос все той же женщины: «Анна, к тебе новый муж пришел!»

Снег стекал с кепки за шиворот. Хотелось повернуться и немедленно уйти, но тут из кухни в переднюю ввалились клубы пара, и я потерял в этой захлавленной прихожей ориентировку.

— Когда живется небогато, люди берегут всякое барахло, авось сгодится, — извиняюсь я задним числом за неубранную прихожую, словно это имело какое-то значение.

— Ты пришла с распущенными по спине волосами — в ту пору ты еще носила косы и закручивала их пучком на затылке. «Проходи», — негромко сказала ты и только в комнате подала руку. На какое-то время я вроде бы даже забыл тот пронзительный голос, которым крикнула твоя соседка: «Анна, к тебе новый муж пришел!» Подумал: знать, вычеркнула меня из списка живых и поэтому не может прийти в себя. Только поэтому не в силах преодолеть смущения.

А ты просто не знала, что с этим новым мужем предпринимать.

Вот так и выяснили мы наши отношения. Не предполагал, что после этого все же будет какое-то продолжение.

О чем мы тогда говорили, уже не помню.

— Я тоже не помню.

Некоторое время мы молчим и избегаем взглянуть друг на друга.

— Кристьян, почему мы с тобой ни разу не сели за стол, чтобы тихой ночью не спеша обо всем поговорить.

— Дневной свет, он отгоняет скрытое беспокойство. Вроде бы забываешь, пока снова не выпадет какая-нибудь бессонная ночь. Но тут оказывается, что человек рядом с тобой спокойно спит,— как его разбудишь?

— Но почему ты никогда не поднял меня с постели, почему я не будила тебя?

— Сон — это залог здоровья.

Смех звучит грустно.

— Чего же ты еще недосказал, Кристьян?

— Когда я в тот вечер ушел от тебя, вот тогда-то я и почувствовал невыносимое одиночество. Поверь, даже в тюремной камере не было такой отвратительной свинцовой ночи, как в тот раз, когда я брел по Невскому проспекту к Московскому вокзалу.

После той встречи я не виделась с Кристьяном. И только через два года встретила его в Доме просвещения на Красной.

Состоялось собрание после подавления декабрьского восстания в Таллине. Битком набитый зал разом умолк, когда на трибуну с сообщением поднялся бледный Анвельт¹.

Я стояла сзади. Из дверей напирали, и меня теснили вперед. Я оперлась на спинку стула, чтобы не навалиться на сидевшую передо мной женщину. Мельком взглянула через плечо и заметила среди обращенных к трибуне лиц Кристьяна. Он уловил мой взгляд и поздоровался, моргнув.

После этого я уже не могла ни оглянуться, ни смотреть на выступающего. Смотрела на свои вытянутые руки и напряженно слушала каждое слово Анвельта.

¹ Советский государственный и партийный деятель, один из руководителей Компартии Эстонии.

Об Антоне у меня до того никаких сведений не было. Уже многие перешли через границу, но точно никто ничего не знал. Да, его будто бы видели в схватке у Балтийского вокзала, однако восставшие потерпели там поражение, им пришлось перебежать станционные пути и рассеяться, чтобы укрыться от белого террора.

Антон видел в схватке у Балтийского вокзала — это меня весьма утешало. Сомнений не было, значит, скоро и он проберется через границу.

На трибуну поднялся какой-то незнакомый мне человек и начал перечислять борцов, погибших в бою. Стал называть людей, которые попались в руки буржуазии и были убиты.

Сама не понимаю, как мои пальцы вцепились в плечи сидевшей передо мной женщины. Она испуганно оглянулась и попыталась освободиться от моих рук.

— Кого он назвал последним? — зашептала я в лицо женщины.

Та произнесла две незнакомые фамилии.

Я повела отрицательно головой.

Тогда женщина назвала имя Антона.

Мои ослабевшие руки грузно повисли. Женщина впереди снова повернулась к трибуне.

Лампочки в люстре померкли и остались лишь тлеть красными угольками. Когда вновь стало светлее, я увидела, что рядом стоит Кристьян. Он не прошептал ни слова, даже не посмотрел в мою сторону, он просто стоял рядом со мной.

Без него я, наверное, и впрямь бы рухнула в том зале на пол.

Великодушие его в тот вечер позднее словно бы обязывало меня. По какому-то молчаливому, само собой разумеющемуся согласию мы снова сошлись в двадцать седьмом году — к этому времени исполнилось точно восемь лет нашего официального брака.

Вроде бы нас связывало нечто большее, чем давняя совместная жизнь, — год до ареста.

Вдруг замечаю, что Кристьян тоже смотрит в окно.

Влажные от росы толевые крыши поблескивают, за окнами еще висит сумеречная пелена.

— Уже утро, Кристьян, — выдавливаю я с сожалением.

— Надо собрать вещмешок, — говорит он. Подходит к ведру и пьет из ковшика вчерашнюю тепловатую воду.

Флюгер над домом скрипит. Этот первый порыв ветра на восьмом дне войны словно бы велит отставить все личное, все незначительное, не имеющее никакого веса, в то время как свинец разрывает воздух и дымные комочки зенитных разрывов лепят в небе неестественные облака.

Вечером того же дня Кристьян еще раз возвращается домой. Он беспокожно ходит из кухни в комнату и снова возвращается на кухню, шаг по-военному тяжелый. Закрывая глаза, пытаюсь представить, что война окончилась и что Кристьян вернулся домой насовсем, что мы стоим возле нового начала.

Говорим мало, но, несмотря на это, у нас никогда раньше не было такого ощущения полной слитности.

Мы были изнеможенными и полусонными в этой жаркой ночи, очарование ее казалось нескончаемым.

Утром, вскоре после восхода, Кристьян снова направляется на сборный пункт, туда, где ему прошлым вечером подарили эту ночь. Я иду провожать.

Вцепляюсь Кристьяну в руку. Плачу навзрыд, без стеснения.

Лицо Кристьяна дышит глубоким спокойствием.

Сколько лет мы жили половинчато, не понимая того, что мы значим друг для друга.

12

Она успокоилась и, видимо, забылась во сне.

Сказать по правде, и мне тоже следовало бы поспать, но тело — оттого что я сидела в кресле с высокой спинкой — расслабилось, в пальцах уже не было силы, чтобы ухватиться за резные подлокотники, подняться и где-нибудь прилечь.

Вестей от Рууди нет, позавчера ушел на сборный пункт Арнольд, где-то за Пяэскула на оборонительных работах находится его жена, и детей увезли к каким-то знакомым в Нымме.

Все куда-то исчезли, и Юули осталась на моем попечении.

До сих пор меня гнетет чувство вины — удручающая была картина, когда, взломав замок, я увидела беспомощную Юули, которая лежала на ковре, — уже полтора дня без еды, без всякого ухода, в полном одиночестве.

В бешеной спешке последних дней, говоря по совести, я как-то забыла про нее. Озабоченная дворничиха, это

она остановила меня на крыльце и с тревогой сказала, что надо все-таки посмотреть, может, хозяйка уже и ноги протянула, не видать, чтобы выходила.

Какой Юули была жалкой! Перекошенный рот не мог выдавить даже слова — ну что ж, не впервые мне возиться с парализованными.

Доктор сказал, что произошло кровоизлияние в мозг.

Арнольда она провожала еще на ногах. Я тоже побежала к воротам, где Юули чуток задержалась с сыном. Долгие рукопожатия, и все то же, сопровождающее расставание, чувство, что осталось недосказанным нечто очень важное.

Беспокойными были эти последние несколько дней. Доныне в подсознании живет ощущение, будто я должна немедленно окунуться в бурлящий водоворот свиданий, проводов, речей и окончательных решений. Беспредельно важным казалось мне и вчерашнее событие, — весомым, быть может, роковым, возможно, поворотным для его участников, и вместе с тем осталось впечатление какой-то несвязной суматохи.

Может, меня потому и гнетет все недавнее, что дальнейшего не зависит от моих намерений, что я вынуждена сидеть возле больной Юули, смачивать ей из чайника губы, подкладывать судно, варить жидкую кашу и растирать больную по утрам и вечерам мокрым полотенцем.

Надолго ли?

Немцы приближаются, у меня есть задание, и я не могу оставаться здесь.

Но и Юули нельзя бросить одну.

Неужели и впрямь все мои усилия пойдут насмарку?

Подобно рытью окопов в городском парке?

Там, в окружении лип и осин, в заросшем травой квадрате колышками наметили зигзагообразные контуры убежища и неделю назад начали копать. Привезли бревна и доски, которыми собирались накрывать траншеи. Вязкая почва взметывалась насыпями, и на глазах возникало углубление.

Работа спорилась, никто не унывал и не плакался из-за мозолей — главное, что получится крепкое и вместительное убежище, того и гляди, окажется крепче бетонированного подвала.

Вот уже по колено в землю вкопались люди, уже достигли метровой глубины, и вскоре у тех, кто был меньше ростом, над землей виднелись одни головы.

И вдруг все оказалось бессмысленным. Под ногами сочилась вода.

Одна за другой утыкались лопаты в выброшенную землю, люди выбирались из траншей наверх. Отряхивая колени, мужики собирались в тени под деревьями перекурить, бабы торопились разгладить фартуки и незаметно исчезали. Кто издевался, а кто ругался. А ночью на перекопанном квадрате двигались безмолвные фигуры, и к утру не один сарай был набит свеженапиленными досками и бревнами.

Теперь в недокопанных траншеях плескаются оставшиеся в городе без присмотра ребяташки, перепрыгивают через канавы, стаптывают края и ведут друг с дружкой комьями дерна сражения.

Какой-то недавний энтузиаст ехидно и с укором протянул:

— Уж в старое-то время пустой работы не делали.

Стоило случиться оплошке, и уже умывают руки и с презрением отступаются.

Будто старожилы не знали, на какой глубине здесь находятся грунтовые воды.

Это же так здорово — выпятить с помощью желчного осуждения свою личность, а потом, злорадствуя, втихую, хапать и хапать.

Бессмысленная суматошная толчея.

Проклятые пути объективности, которые удерживают меня в этом кресле!

И некого оставить вместо себя. Ну некого, и все.

Неужто мне и в самом деле остается надеяться лишь на последний пароход, который уйдет из Таллина?

Ведь меня ждет важное задание.

Не зря же я после гавани поднялась по лестнице в горком партии и обратилась все к той же непогрешимой женщине-инструктору. Хотя — было это совсем недавно, каких-нибудь два месяца тому назад, — я клялась что ни в жизнь на прием к ней не пойду.

Был послан вызов явиться немедленно!

Начать упорствовать, держать на уме давние обиды? В то время как в опасности родина?

В горкоме хотели найти мне применение.

— Ваше имя? — беря лист бумаги, незнакомо спросила инструктор. Кто знает, что заставило ее так повести себя.

— Анна, по отцу Тааниелевна, — начала я, подчеркивая каждый слог.

— Партийный стаж?

— С тысяча девятьсот девятнадцатого года.

— Садитесь, пожалуйста,— указала она и, прикуривая папиросу, пристально посмотрела на меня.

Было записано и все остальное, графы на бумаге заполнялись убористым почерком. Затем инструктор принесла мое личное дело и приколотла туда заполненную анкету. Спустя несколько часов, уже в другом кабинете, у меня спросили:

— Как по-вашему, на что вы способны?

— У меня есть опыт подпольной работы,— ответила я.

Стали прикидывать. Подолгу размышляли над различными вариантами. После чего секретарь горкома задумался, перебрал какие-то бумаги — ясно слышалось, как в кабинете жужжит одинокая муха...

Неужели возможно, что фронт уже так близко?

Неужели возможно, что приближаются сражения?

Я ощутила под рукой гладкую кожу сумочки, которая лежала у меня на коленях и где хранились коротенькие письма от Кристьяна. Я уже знала их наизусть. То, что его из истребительного батальона направили в волость проводить мобилизацию. Что потом перебросили на спецзадание в Раквере, позднее он руководил строительством оборонительных сооружений.

Секретарь все еще молчал и держал в руках листок бумаги, сквозь который просвечивали отдельные строчки.

Уж решал бы он скорей, может, дома ждет меня какая-нибудь весточка от Кристьяна! Может, послал еще откуда-нибудь письмо, которое лишь теперь, когда отплыл пароход, дойдет до меня.

Воин Кристьян...

Так неужто и впрямь война подошла к родному очагу?

Нет, это невозможно, чтобы немцы захватили Таллин.

Да и то, что из меня получится одно из звеньев поспешно создаваемой партизанской сети,— тоже кажется нереальным...

— Сможете пройти через линию фронта?

Секретарь поднимает голову и пытливо глядит на меня.

— Так, значит, Пярнумаа? — отвечаю я вопросом.

Он кивает.

— Прoberусь.

Секретарь подзывает меня кивком головы. Подхожу к столу, где он разворачивает истертую карту.

Секретарь медленно ведет карандаш, кончик его сантиметр за сантиметром удаляется от Таллина, выписывая вокруг зеленых пятен маленькие обводы. Серая линия, оставляемая графитом, перемещается все дальше к центру Пярнуского уезда, пока не задерживается возле местечка, помеченного мелким-премелким шрифтом. Нагибаюсь, чтобы прочесть.

— Здесь хутор Сяэзе Нигула,— тихо произносит секретарь. И мне отлично вспоминается наша первая с ним встреча, его громкий голос, будто выступал он на многочеловечном митинге.

Шепотом повторяю название хутора.

Мы все еще склоняемся над картой. Кончик карандаша остановился возле точки с мелким шрифтом. Запоминаю неровную серую линию и расположение зеленых обводов.

Дорога в общем-то знакомая, особенно в сторону Вяндра, не говоря уж об окрестностях Кяру и стекольной фабрики.

— Прoberусь,— повторяю я уже более уверенно. Замечаю мельком брошенный взгляд. И понимаю вдруг, секретарь отнюдь не считает меня чуть ли не дезертиром, как это было при нашей первой встрече. Да, может, и не считал.

Он словно читает мои мысли и спрашивает:

— Закончили перевод?

— Почти. Осталось совсем немного. Недельки на две после войны...

Он улыбается и подает руку. Ничего не говорит. Чувствую себя неловко от его долгого рукопожатия и бормочу:

— Как-нибудь справлюсь.

Надо ли объяснять ему, что во мне до сих пор живет инстинктивное умение ходить не оглядываясь, не убыстрять шаги, если чувствуешь, что за тобой кто-то следит, находить всевозможные предлоги, если, случаем, спросят, куда идешь, а понадобится — то и притвориться немного придурковатой.

Все это загромождало бы наш разговор несущественным и личным. В таких случаях не распространяются попусту, не дают воли чувствам и воспоминаниям, все чтоб было коротко и ясно. Настолько кратко, чтобы в сознание врезалось бы лишь самое существенное: на хутор Сяэзе к старому Нигулу.

Повременить можно было бы тут в кресле возле Юули не больше нескольких часов, и надо отправляться в дорогу...

Но не могу же я оставить Юули...

Дождаться смерти человека, который судорожно цепляется за жизнь? Следить, вздрагивают ли у нее во сне пальцы руки, не тронутой параличом? Не опустились ли веки?

И не уткнулись ли безжизненно в подушку Юулины заострившиеся плечи?

Проклятое состояние!

Или закрыть дверь и просто уйти? По лесным извилистым тропкам, надвинув на глаза линялый ситцевый платок, сгорбившись и распустив полы старой вязаной кофты, с размалеванной драночной корзинкой на руке, — совсем как деревенская баба, которая спешит домой.

Пожертвовать собой ради Юули?

Для того чтобы подавить элементарную человечность, разумеется, ничего другого и не требуется, как патетически воскликнуть: достойна ли она моей жертвы! Затем разжечь в себе слегка злость, так чтобы она тлела эдаким неярким огнем, вспомнить еще по порядку все Юулины дела, совершенные в ущерб моим личным интересам, и можно с полным основанием удалиться.

Ибо почему теперь я должна проявлять жалость?

Как просто!

Но ведь то была Юули, которая после вынесения мне смертного приговора натаскивала адвоката и направила эту чернильную душу в батрацкую хибарку наших родителей, собрала нужные подписи.

Обо всем этом я узнала много позже.

Здесь же в этой комнате, полной красноватого отсвета от задернутых штор, где кафельная стена глядится в зеркало, а зеркало таращится на кафельную стенку — и все это разделяют скучные полосы крашенных охрой половиц, — тут можно стать истеричкой.

В моем возрасте не так уж это и противоестественно. Говорят, что если не раньше, то уж за сорок женщины теряют способность к принятию решений, четкую логику, деятельную энергию и начинают искать оправдания к существованию в мелких хлопотах, в заботах и в беспокойствах. Они смиряются с тем, что главное ушло безвозвратно, и пытаются стать умирительно участливыми,

ибо зубами пусть скрипят те, кто еще не вставил себе протезы.

К черту!

Именно сейчас, когда я чувствую, что мои духовные мускулы снова налились силой, что ноги могут месить десятки километров грязь или толочься по песку, что ненависть подстегивает мою смелость,— именно теперь я вынуждена смотреть, как руки мои бессильно повисли и ноги уже порядочное время неподвижно пребывают в одном положении. Стопы вовнутрь, словно пальцы присматриваются к шляпке гвоздя, который чуть выступил из половицы.

Все, у кого сердце хоть чуточку покраснее, действуют. То ли чистят вороненные стволы ружей, то ли учатся бинтовать внахлест конечности. Пусть носят на чердаки песок и дежурят при свете прожекторов у затянутых паутиной слуховых окон. Или просто подрубают на болоте лопатами корни у сосен, чтобы было где притаиться, если покажется враг. Устанавливают бетонные противотанковые надолбы и разматывают мотки колючей проволоки, которая на сей раз предназначается отнюдь не для домашних заборов, не для того, чтобы раздирать штаны у ребят, полезших за яблоками.

Но что делать, если на ногах и на руках у меня бетонные гири долга и сострадания, даже жилы на шее кажутся покрытыми цементным панцирем.

Жена Арнольда на оборонительных работах, и детишки, эти растормошенные тревогой непоседливые существа, находятся невзевать у какой знакомой.

Кто бы из чужих смог сейчас усидеть возле больной? Особенно теперь, когда город задыхается в сжимающемся кольце осады и когда старушки, единственные, у кого нет обязанностей поважнее, думают: лишь бы выжить, схорониться, получше обеспечить себя хлебом-солью. На своем веку они довольно повидали и голодной поры, и того, как одна власть сменяет другую!

Смена власти!

Кое для кого это, к сожалению, всегда лишь смена власти и судорожное старание вовремя склоняться в нужную сторону. Чтобы, не дай бог, не опоздать и не на ту карту не поставить, чтобы и дальше жевать свой кусок хлеба и иметь, по крайней мере, возможность посыпать его щепоткой соли.

В этой спертой каморе недалеко до того, чтобы стать человеконенавистником.

Если я вовремя не исчезну отсюда — подведут черту. И жизнь моя будет окончена.

И всяк, кто пышет злобой к красным, может тогда злорадоваться. Да нет, не по поводу моей физической сущности, которая перестанет быть явью, а потому, что в фашистском тылу не останется одного коммуниста. Один коммунист — это не так уж и мало, — распространение убежденности в нашей победе, организация сопротивления, подтачивание чувства смиренной покорности — да мало ли что может сделать один коммунист!

Если бы все это слышал какой-нибудь циник, он наверняка посмеялся бы мне в лицо: ну, что с тебя, немощная баба! У самой уже морщины под глазами, твое дело — стоять у плиты да караулить невинность у девок, что выросли из детских платьиц. Коли бог не дал тебе своих детей, сторожи чужих.

Зубоскальством можно все опозлить.

Все можно пустить по ветру.

Не мины ли уже там грохочут? Разве не смеются исподтишка, поглядывая на приближающийся фронт, те, кто в любой обстановке считает за высшее благо лишь бы выжить, покорно, смиренно?

Уморенные жарой мухи жужжат в душной комнате.

Может, шипят уже синим огоньком запальные шнуры? Кристьян сам присутствовал при минировании Балтийской Мануфактуры.

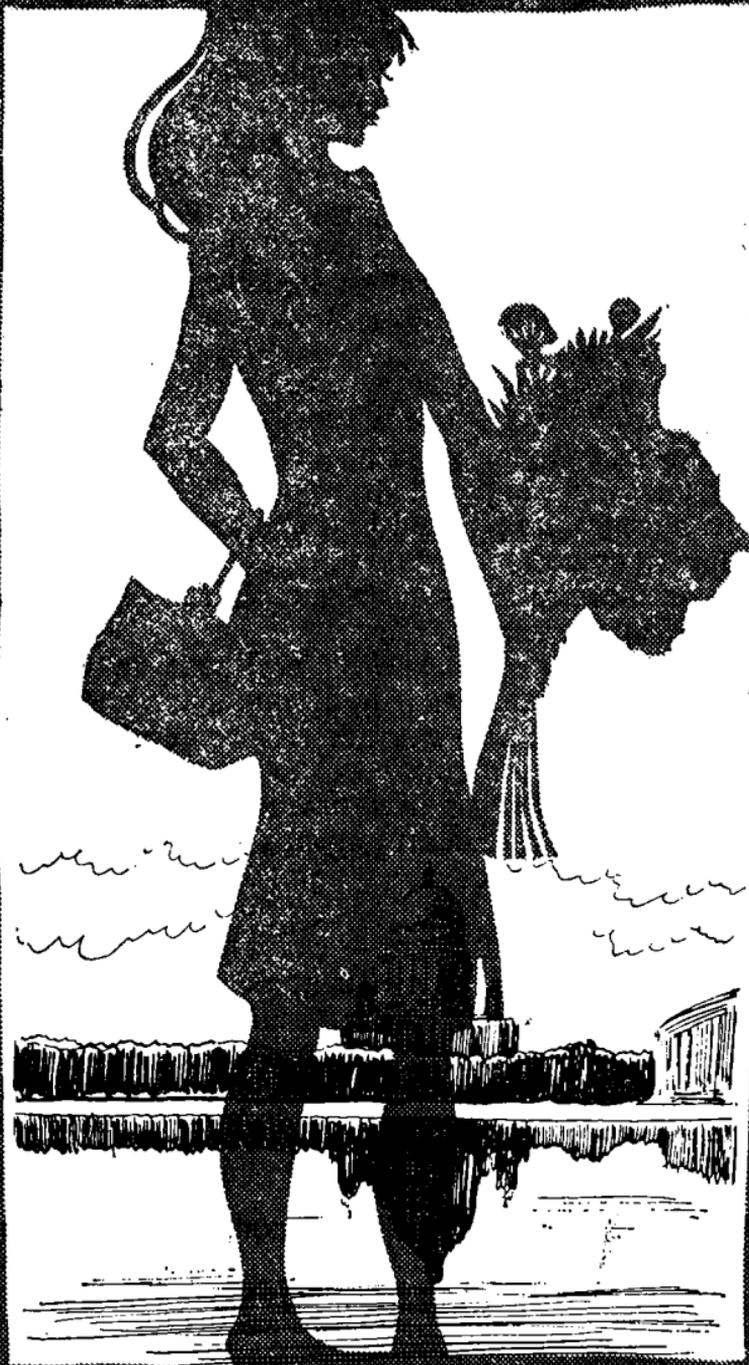
— Всего одно движение, — сказал он, когда вернулся домой, — и разлетятся в пух и прах кирпичные стены и каменные фундаменты; искорежатся в груды металла машины, что были налажены слесарями до микронной точности, и железные балки, десятки лет выдерживавшие вибрирующее дыхание фабрики, начнут извиваться на жару.

Всего лишь одно движение?

В тот момент лицо Кристьяна показалось каким-то неприятно плоским.

Минутное противоестественное оживление сменилось очень быстро подавленностью.

А люди, которые в таких случаях теряют равновесие? И, подобно наркоманам, снова и снова жаждут возвышенного блаженства?



Проклятие, вдруг и Лийна по-своему тоже наркоманка, неожиданно лишившаяся своей порции опиума?

Она прислала записку — явилась какая-то девчушка с косичками и, сделав книксен, подала мне небрежно заклеенный конверт.

«Немедленно приходи ко мне», — было нацарапано под адресом.

Мы не виделись уже целую вечность. С тех пор как она сошлась с Мироновым.

— Безумие! — отчаивалась Лийна и почему-то металась из комнаты в комнату — длиннополый утренний халат на плечах, хотя уже был полдень, — несколько раз теряя равновесие на ковриках, которые при небрежной ходьбе проскальзывали по паркету.

— Как жизнь? — обычным вежливым вопросом я пыталась остановить ее и успокоить.

— Оболтус он, этот Миронов! — повернувшись ко мне спиной, крикнула она в открытое окно; такая вспышка, видимо, приносила облегчение. — Рыпается в гавани, словно стреноженный мерин, пароходов не хватает, а мобилизованные все прибывают. Куда их девать? Люди по нескольку дней ожидают отправления. Разве таким способом можно остановить фашистов, если мужики загорают на бережку?

Лийна тяжело дышит, замечая, что груди у нее постарушечьи обвисли.

— Ты что, затем и позвала меня, чтобы я послушала, как ты ругаешь своего мужа?

— Какой там муж? Не всякий мужик, с которым спят, муж! — Лийна всхлипывает. — Василий все бы сумел, у него хватило бы здравого смысла.

Хрусталь в буфетной стойке, высвеченный солнцем, отсвечивает в Лийниных глазах множеством холодноватых огоньков.

— Я все надеялась подняться повыше к воздуху, чтоб свободно вздохнуть и насладиться спокойной жизнью. Шут с ним, что прошло мое бабье цветенье, по крайней мере, пожую наливных плодов, а уж потом смирюсь с тем, что придет зима и не спеша осыплет снежком. Красота вроде той, что на рождественских открытках.

Закинув голову, гоготнула.

— Ну, а потом?

— А теперь события насильно рвут в клочья нагроможденную перед глазами кисею; и душа вдруг стала та-

кой старой, что хоть пляши отходную! Жалкий олух! Для того ли мы сидели в тюрьмах, терпели голод, выполняли сложные и опасные задания, чтобы какой-то тупица пустил все насмарку!

— Советскую власть нечего равнять с Мироновым! — выкрикнула я. — Чего ты ждешь? Иди добровольцем! Твоя мощная энергия, если ты будешь закатывать истерики, и впрямь пойдет прахом! Вполне бы могла стать санитаркой, тебе ничего не стоит взвалить на спину парочку раненых!

— Я — беременная, — прошептала она, нижняя губа у нее отвисла, и, словно в оправдание свое, на этот раз Лийна набычилась. — Никуда я не пойду. Ой, как бы мне хотелось освободить свое чрево от этого мироновского последыша!

— Не ори! — кричу ей.

Потом, взявшись под руки, мы поплелись к порту. Я была взволнована словами, которые так, между прочим, пробормотала уставшая от всего Лийна.

— Кристьяна все еще не отправили. Можешь увидеться.

Она чуть не забыла сказать об этом.

Кристьян в порту!

Первый же пост преградил нам путь. Лийна сунула руку в сумочку и выхватила с самого дна перемазанную губной помадой бумажку. Булыжник под ногами у меня казался невероятно скользким, удерживая равновесие, я так сильно привалилась к Лийне, что ее потное запястье, щелкнув, прилипло к моей ладони.

Нас пропустили.

Мы оказались в хвосте колонны мобилизованных. Кепки, шляпы, холщовые вещмешки, стоптанные ботинки, кто-то был в черных носках и светлых сандалиях. На войну в сандалиях!

Женщины и дети махали из-за спины постового мобилизованным солдатам. Им кричали наперебой, голоса сливались, никто из людей, шедших к причалу, не мог разобрать слов, которые предназначались ему.

При расставании обычно что-то неотложное и важное остается несказанным.

Так же, как у меня с Кристьяном.

Теперь я оказалась в предпочтительном положении, что увижу его, смогу дотронуться, сумею все досказать.

Только что же я такое недосказала?

Заставляю бесчувственную Лийну ускорить шаг, буд-то нам нужно обязательно пройти ворота вместе с мобилизованными.

У нас снова требуют пропуск. Лийна подает скомканную в руке бумажку приземистому солдатику. Мрачный постовой, со вздувшимися жилами, требует паспорта. А беспорядочно шагавшая колонна мобилизованных между тем дошла уже до середины бесконечной складской стены.

Получив разрешение, полубегом спешим за мобилизованными.

За воротами попадаем в плотную мужскую толпу.

Отыскать здесь Кристьяна?

Тычусь бровями в чей-то заросший подбородок. На меня смотрят бесцветные глаза, обложенные глубокими морщинами. Чьи-то спекшиеся губы пынут мне в лицо перегаром. Дорогу преграждает в потных разводах рабочая блуза, но по какому-то счастливому внутреннему побуждению спина поворачивается и пропускает меня. Из расплывшегося шва выглядывает локоть и нечаянно задевает мое плечо. Оказываюсь лицом к лицу с белобровым рабочим парнем, который радостно гаркает:

— Ой, вы, милашки!

— Пропусти дамочек! — Господин в очках с золотой оправой отталкивает парня в сторону, нагибается, и я чувствую, как он ущипывает меня сзади.

— Ай! — вскрикивает также Лийна.

Оборачиваюсь — золотоочкарика из-за толпящихся мужиков не видно. Чтоб ему пусто было!

— Как найти Кристьяна? — выставив вперед плечо и пробираясь в толпе, кричу я в Лийнино ухо.

Лийна мотает головой и шевелит губами. Но я ничего не слышу.

Мы потеряли направление. В какой стороне шумит море? Где причал? В нас бьет запах пота и табака, тело распарено, в горле беспомощно застрял комок.

— Где Миронов? — кричу я снова Лийне.

— Миронов, Миронов! — передразнивает меня долголицый и, вытянув подбородок, показывает мне язык.

— Откушу! — кричу ему в ноздри и, ощерившись, клацаю зубами. Долголицый, закинув голову, гогочет. Протискиваемся мимо его кадыка.

Наконец открывается простор. На набережной люди расположились на земле: кто лежит на боку, кто уселся

на изгрызенные тросами причальные тумбы и болтает ногами. Смотрят на воду и плюют в мутные волны, что плещутся о стенку. Подогнув под себя ноги, сидит редковолосый мужчина: плечи опущены, ладошки сложены пригоршней, кажется, что собирается зачерпнуть родниковой воды, разглядывает фотографию. Не первый день, видать, ждут здесь парохода те, кто отвоевал себе клочок серого, запыленного причала и теперь лупит по нему засаленными картами.

Мое колено задевает пожелтевшую газету, которую с жадностью читают, прижавшись друг к другу щеками, двое мужчин.

Как мне найти Кристьяна?

Все причалы, все разгрузочные площадки, все маломальски возможные углы и закоулки забиты людьми.

— Смотри, Миронов! — вздыхает Лийна. Смотрю в сторону, куда направлен ее указательный палец, — через замазученную рябь на следующий причал, за которым стоит, накренившись мачтами, рыбацкое судно.

Лийна хватает меня за руку и тащит за собой. Она торопится, без стеснения отпихивая людей, требует, чтобы ее пропустили, протискивается с удивительной рьяностью сквозь людскую массу — никак не могу поверить, что делает она это только ради Кристьяна. Наступаю кому-то на пальцы, задеваю бедром затылок подымающегося мужчины. Времени извиняться нет. Мы с Лийной обе впились взглядом в Миронова, который снует взад-вперед — то исчезая в толпе, то снова появляясь на виду — и размахивает над головой какими-то бумагами. И думать нечего, что он дает нам знак. Его действия, насколько мы можем разглядеть отсюда, кажутся такими неосмысленными и беспомощными.

От него нас отделяет еще невероятное расстояние. Может, шагов сто, а может — семьдесят. Уж догадались бы эти бездельники подобрать свои ноги и руки, чтобы мы смогли проскочить побыстрее!

Лийна отпускает меня, тяжело дышит и достает из сумочки овальное зеркальце. Мельком взглядывает в него, затем поднимает брови и кидает зеркальце обратно в сумку.

Вдруг на набережной, будто по мановению волшебной палочки, становится просторнее. Мобилизованные начинают строиться по двое, перед нами открылась ши-

рокая полоса деревянного настила, и, направляясь к Миронову, мы с Лийной можем свободно идти рядом.

Какое-то неожиданное ощущение торжественности затрепетало в воздухе, есть что-то трагически-прекрасное в этих мужчинах, которые построились, чтобы идти на войну. Хотя у них и нет еще солдатской выправки, стоят они в разношерстных пиджачках, в смятых, вытянувшихся на коленках брюках, за плечами замызганные вещмешки, у некоторых на скорую руку и явно в последний момент сшитые мешочки, горловины стянуты первой попавшейся веревочкой.

Хочется крикнуть им: «Будьте славными! Победа с нами! Берегите себя! Вас будут ждать!» Но куда исчез Миронов? В прежней суматохе мы не упустили его из виду, а теперь он вдруг исчез. Может, его приземистую фигуру заслонил строй новобранцев? Смотрим по сторонам, беспомощно приостанавливаемся.

Колонна страгивается с места, чтобы подняться по трапу на чернобокий пароход. Все оставшиеся на пирсе люди смотрят на тех, кто отправляется в дорогу. Мужчины — лежавшие и сидевшие — поднимаются, и вот уже в воде у причала отражается темная, стоящая на сотнях расставленных ног человеческая стена.

Неожиданно вижу Кристьяна. В числе первых он вступает на палубу.

— Кристьян!

Он оборачивается, хочет вернуться. Но мужики напирают, и он вынужден двигаться дальше. Вижу, как он проталкивается и выбирается из толчей к поручням, куда протискиваются и другие мужчины.

Теперь я вижу Кристьяна совсем рядом.

Лийны нет, я уже не чувствую на своей спине ее теплой груди.

Касаюсь пальцами просмоленного корпуса — так легче стоять: голова закинута назад, небесная синь слепит глаза.

— Ты пришла! — кричит Кристьян, чтобы в этом гаме что-нибудь расслышать, приходится напрягаться. Но интонации исчезают, поэтому я так и не знаю, сказал ли Кристьян это нежно, с удивлением или грустью.

Пронзительный звук сирены прорывается неожиданным толчком, черный корпус судна утыкается в причал, деревянный настил под ногами вздрагивает, и я с усилием отрываю прилипшие к смоле пальцы. Кристьян

перегибается далеко через поручни и тянет руку, словно хочет поддержать меня. Оттираю за спиной платком пальцы, чтобы хоть немного отодрать смолу.

Все отъезжающие и оставшиеся на причале люди смотрят вверх.

И мы словно бы остаемся наедине с Кристьяном — все глаза устремлены в ясное небо. Сколько самолетов?

Откуда начнут бить зенитки?

Кристьян кивает, пожимает беспомощно плечами, и мне тоже становится жаль, что не умеем объясняться на пальцах.

Меня вдруг охватывает нетерпение, которое вызывает дрожь, соединяющаяся с воем сирены. Расставляю ноги, чтобы обрести устойчивость.

Ловлю себя на желании увидеть, как немедленно отчаливает от набережной судно, хочу, чтобы кончилось это половинчатое свидание, чтобы опустился наконец занавес в той сцене, где действующие лица никак не дотянутся друг до друга руками.

Прежнее ощущение непричастности вдруг начинает мучить меня. Я вроде все еще не поняла, что необходимо перестать быть зрителем, подобно тому как следует отказать от довоенного цветастого шелкового платья, которое носить сейчас, по меньшей мере, неуместно.

Чернобокое судно может отдать концы в любой миг.

И мне тоже нужно оторваться от этого состояния нерешимости и немедленно идти...

Что же я умею?

Наконец-то сирена умолкла.

— Я тоже пойду! — в наступившей тишине кричу я Кристьяну. Это прозвучало невероятно громко, все с любопытством устремляют на меня свои взоры. Вот я и нарушила нашу с Кристьяном относительную интимность.

В небе появляются завывающие самолеты. Людская масса на причалах медленно, с явной неохотой откатывается в сторону приземистых пакгаузов, судовая сирена, словно запоздалое эхо воздушной тревоги, взвинчивает напряжение. На рейде взвивается гигантский водяной столб, опустившись, он кругами разбегается от места взрыва.

Кто-то оттаскивает меня от парохода. В руках у Кристьяна белый носовой платок, которым он медленно машет. Это выглядит наивно — вроде бы уезжает в отпуск.

Меня затаскивают в затхло-пропахшее помещение пакгауза. С большим трудом удается мне найти местечко у зарешеченного окошечка. Кристьян все еще машет, будто знает, что я вижу это.

Только он ли это?

Голова, плечи и руки, если смотреть отсюда, образуют мужской силуэт вообще, и он вовсе не обязательно должен принадлежать Кристьяну.

Чье-то жаркое дыхание обжигает мне ухо.

Боюсь оглянуться, чтобы не упустить из виду черное судно.

— Это я,— слышу Лийнин голос.

— Спасибо,— растроганно говорю ей, и зазубренные пластины решетки расплываются в расплющенные полосы. Сжимаю веки, чтобы выдавить слезы.

Решетка вновь обретает свои четкие контуры. Между железными заусеницами исчезает вдали пароход.

Разрывы зенитных снарядов рассыпаются на множество дымков, и если бы не было этого противного завывания вражеских самолетов, медленное удаление судна можно было бы счесть за торжественную церемонию с орудийным салютом.

Из порта я отправилась прямо к инструктору горкома.

Что из того, что поклялась: ноги моей на ее пороге не будет.

Нет у этой клятвы никакого весу теперь, когда Кристьян находится на пути в Ленинград, когда приближаются немцы и о себе думают лишь те, кого причислить к роду человеческому можно разве что по внешнему облику. У кого, явно по чистой случайности, оказались руки, ноги, глаза и рот.

— Анна...

Вздрагиваю от Юулиного голоса.

— Да?

— А помнишь граупнеровскую ригу?

Подхожу к постели больной. Может, у Юули жар? Вроде бы нет, в глазах появилась искорка осмысленности, и, хотя голос слабый, ее слова все же можно разобрать.

— Помню, помню,— успокаиваю я ее; некоторое время уходит на то, чтобы переключиться, и я начинаю напоминать: — Сеновал находился на кяруских лугах с того края, где стояла стекольная фабрика. Ох и громадина была! Воз с сеном заезжал в южные ворота, разворачи-

вался у противоположной стены, где бабы укладывали сено, и затем уже порожняком громыхал по каменным плитам к северным воротам. Под высокой крышей, между стропилами, в полумраке попискивали в гнездах птенцы ласточек, а балки там были вытесаны из корабельных сосен.

— Помнишь! — удивляется Юули. В уголке рта, не тронутым параличом, появляется подобие улыбки.

— Там на сене... мы с учителем... Уснули. Утром приехали с возом... И застали.

— Не плачь, Юули.

— Да я... Раньше того был случай...

— Раньше того? — стараюсь я предугадать слова, чтобы ей не надо было так мучительно превозмогать беспомощность сведенных параличом губ. — Это что, с барышней Аделей? — подсказываю я.

Юули благодарно кивает.

Будучи уже почти что девицей на выданье, Юули во всем старалась походить на дочь Граупнеров Аделю. Стоило той завести себе юбку, отороченную шелковой оборкой, — и Юули тоже сделала себе такую. Брала имевшуюся под рукой материю, обновляла старые тряпки — выглядело это чаще всего жалко и смешно. Вздумалось Аделе носить надо лбом кудряшки, и Юули накалила над плитой железный прут и тоже накрутила себе волосы.

— Да, Аделе красотой до тебя ни за что не дотянуться было, — говорю я. — Если бы ты это тогда понимала — тебе бы не за что было ее возненавидеть.

— Откуда... тебе известно все?

Была попрыгушкой и шаталась всюду, в то время как они взапуски с Аделей учились кокетничать и, отправляясь купаться на речку, стыдливо закрывали руками груди. Хотя они еще все равно оставались детьми и забывали свои тонкие манеры, когда принимались шалить.

Шалить?

— С чего это вы тогда забрались на балку?

— Я... заманила туда Аделю. Я... сказала, что на балке... хорошо... учиться... красивой походке...

Да, это я видела. Всегда больше запоминаются случаи, когда тебя охватывает страх. Ну и ревела же я! Ох и разносился под крышей этот рев! Метались встревоженные ласточки, а я молила бога, чтобы въехал воз с сеном и Аделя могла бы спрыгнуть на него.

— Это было в начале сенокоса. Только в одном месте сено доходило до балки, оттуда Аделя и забралась наверх. Шаг за шагом она осторожно пошла вперед. Над сеном ступала довольно смело, но как только внизу разверзлась пропасть с каменным полом, в нерешительности остановилась. А ты все подзуживала ее, чтобы она прошла по балке до конца, а потом, ухватившись за стропило, повернула бы обратно. Самой тебе сноровки было не занимать!

От неловкости умолкаю. Напоминать о былой резвости человеку, который лежит неподвижно в постели!

— Говори! — просит Юули.

— Ты легко дошла до середины перекладки и остановилась. Аделя, расставив для равновесия руки, шла тебе навстречу. Она думала, что ты попятишься, и подступила совсем близко. Но ты не сдвинулась. Словно вросла в балку. По правде сказать, она там была довольно широкой.

— А ты... как ненормальная... кинулась реветь...

— Аделя дрожала, боялась посмотреть вниз. Вот я и попятилась к воротам. Туда доставало солнце, и тепловатый ветерок обдувал застывшие ноги.

— Как ты орала...

— А ты все стояла на прежнем месте, Аделя больше не могла удержать равновесия и опустилась на колени. Для большей уверенности ухватила руками за пыльную перекладину. И распласталась перед тобой на животе.

— Вот уж посмеялась... всласть...

— Ты так хохотала, что я с испугу поперхнулась. «Проси,— сказала ты Аделе,— сложи свои ручки и моли, как молят бога»,— приказала ей. Аделя охала, что-то бубнила, но все же, пересилив страх, оторвала руки от бревна и сложила их у себя над затылком, а сама уткнулась лицом в перекладину и пробормотала свою просьбу.

— Хаа-аа.— Юули и сейчас еще пытается смеяться.

— Ты стала нехотя пятиться, и Аделя поползла за тобой.

Добравшись до сена, Аделя перевалилась через перекладину и еще долго плакала в сене.

— Да, да...— кивает Юули.

— А тебе потом не влетело?

— Нет.

— Почему же Аделя не пожаловалась?

— Я... пригрозила, что подкараулю, когда она пойдет на речку купаться, и утащу под воду... пусть только попробует...

Да, такая вот история. Уже истекает крайний срок, а вместо этого мы перебираем с Юули детские воспоминания, историю тридцатипятилетней давности, которая в данный момент не имеет никакого значения.

Глупое положение.

— Теперь... я... все равно что Аделя...

— Почему? — бросаю я резко, ибо меня так и подмывает уйти.

— Теперь... я должна... просить тебя... валяясь в ногах. Не оставляй... меня одну... Неужели ты хотела бы... умереть... покинутой...

— Не реви, Юули. Страх отнимает у тебя силу. Как в тот раз у Адели. Через некоторое время поднимешься на ноги и пойдешь...

— Ты сама не веришь этому,— говорит Юули и все же старается с какой-то внутренней надеждой поймать мой взгляд, чтобы уловить в моих глазах искренность.

— Кристьян как тяжело болел. Врачи уже ничего не обещали, а видишь...

— Где он сейчас?

— Уплыл.

Даже не могу сходить к Лийне, чтобы узнать, дошло ли до места это черное корыто или... Пароходик маленький, попасть в него с самолета... А вдруг! Слепой случай не разбирает.

Все приходится терзаться в неведении — да сколько же наконец можно?

У Кристьяна все должно пойти хорошо. Я уверена. Уверена, уверена, уверена.

Ах, идти узнавать у Лийны, уже, наверное, бессмысленно. Может, Миронов посадил ее на пароход, и теперь Лийна снова расхаживает по знакомым ленинградским улицам.

И чудно, что такой Миронов боготворит Лийну.

Как же это она сказала: «Днем я его просто не перешу, а вот ночью злость забывается».

Но тот же Миронов по нескольку раз на дню посылал матроса домой, чтобы узнать, надо ли чего Лийне, как она себя чувствует. И это в такой сумятице! Миронов мечется, что-то предпринимает, рвет на себе волосы из-за

того, что не хватает транспортов, и все же думает о Лийне.

Следовало хоть бы уважать его любовь.

Таким образом, я и не знаю никаких подробностей о Миронове. Все только то, что рассказала Лийна, хотя ее слова вряд ли полностью правдивы.

Война еще была не ахти как близко, но белобандиты в эстонских лесах уже начали стрелять. Никто не предполагал, что заросли могут скрыть такую враждебную силу. Может, мы даже слишком мало приглядывались к людям.

— О чем ты думаешь? — спрашивает Юули.

— Думаю, где бы еще найти врача,— вру я без стеснения.

— Какое-то предчувствие... что война подбирается все ближе, и... никто... не придет... к больной.

— Возможно, нельзя пройти, я же ничего не знаю, что происходит, даже радио нет,— выпаливаю в сердцах.

— Теперь я... все равно что Аделя на той балке,— повторяет Юули.

Давняя несправедливость не дает ей покоя. Или она сожалеет?

— Чего ты за Аделю беспокоишься? — делаю вид, что не понимаю.— Сидит себе в Германии, в каком-нибудь маленьком городке, под окошечком, с чепчиком на голове, и смотрит на улицу. Уселась и вяжет своему сыночку, которого Гитлер на войну позвал, носки.

— Ну, Аделя... большой барыней стала,— опровергает торопливо меня Юули.

Шут с ней, с Аделей! Будто кто привинтил ее образ между креслом и кроватью, ни Юули, ни я не можем обойти его.

Кого же мне поставить вместо себя караулить возле Юулиной кровати?

Солнце освещает чучело над софой, приближается вечер. Ночью идти было бы лучше всего. Августовские ночи укромные, темные ночи.

— Где у тебя корзина, та, что с розами? — требую я.

— В чулане,— говорит она машинально, без дальнейших допытываний.— Надо поставить табурет и скамеечку для ног тоже. Иначе не достать... Однажды упала, доставала бутылку... которую спрятала. Покойный не любил вина. Он тогда еще в живых ходил,— предавшись воспоминаниям, тянет Юули.

— Надо сказать, что закладывала ты порядком,— не без ехидства поддеваю я.

— Не всегда же... я... так много,— коротко говорит она.

Извиняется моя воинственная сестричка Юули!

Раньше, и не в столь уж давние времена, готова была в волосы вцепиться, если бы я посмела упрекнуть ее.

— Горит! Город горит! — кричат в коридоре. Кто-то колотит в дверь.

Опираясь на руку, Юули хотела было подняться, но валится назад. Так я и оставляю ее лежать — подбородок выставлен вперед, шея напряжена, лицо бледное, как у мертвеца.

В коридоре никого. Лишь качается наружная дверь.

Шлепаю подошвами по каменным ступеням. На чердак в этом доме ведет крутая лестница с железными перекладинами. Нажимаю правой рукой на обитый жестью люк — он дюйм за дюймом поддается и, наконец, поднимая пыль, грохается на песок.

Откидываю крючки на слуховом окне. Несколько раз ударяю кулаком по раме, и вот уже под железную крышу бьет терпкой горечью.

Горит!

Со стороны гавани, вздымаясь, клубится черный дым — рыжеватое пламя подпирает его и поднимает все выше.

Неужели угодило в цистерны и загорелось горючее? Далеко ли от причалов, где ждут отплытия мобилизованные мужчины? Может, успели вывезти людей?

Или это мы сами?

Чтобы врагу не досталось ни одного вагона, ни литра горючего, ни одной машины, ни крошки еды...

Так далеко ли еще отсюда сама война?

Газета вышла утром. Немцы еще не могут быть слишком близко.

Там, где город, стоит тишина. Вечернее солнышко отсвечивается в окнах Вышгорода. Если не изменяет зрение, над башней Длинного Германа развевается наш флаг.

А может, просто произошел несчастный случай? Бывает, что и в мирное время загораются цистерны с горючим.

Постой, постой... а не горит ли что на железнодорожных путях?

Почему так расплозлось пламя?

Отвернувшись от пожарища, вижу на чердаке переднего дома женщин, которые навалились на рамы и тоже выглядывают наружу.

Старый Нигул на хуторе в Пярнумаа, наверное, уже ждет меня.

Как мне отсюда выбраться?

А если все-таки бросить Юули?

Люк остается открытым. Подошвы соскальзывают, скрюченными пальцами цепляюсь за железные прутья. Наконец вновь ощущаю ногами холодное дыхание каменного пола.

Вдруг Юули умерла с испугу?

Странно, что во мне не возникает никакого сожаления; скорее пугает мысль: кто похоронит, кто обрядит?

— Мои дома не горят? — беспокоится Юули, когда я возле ее кровати плюхаюсь в кресло.

— Нет, — выдавливаю сквозь зубы.

Опускаю веки, чтобы не видеть ее, чтобы собраться с мыслями.

Юули пока вопросами больше не беспокоит. До слуха доносится ее ровное дыхание.

Пропадай все пропадом, лишь бы ее дома не горели!

Кто же из нас оказался в действительности в Аделином положении? То ли Юули, то ли я?

— Арнольд сказал, что карманы... похожи на купола... русской церкви... Ха-ха! — полузапинаясь, произносит Юули.

13

Нет, Юули не бредила.

Она была в полном сознании и заставила меня взяться за работу.

Я оклеила оконные стекла накрест белыми полосками бумаги. Принесла из подвала два трехсвечных подсвечника, в присутствии Юули начистила их асидолом. Мол, если случится умереть, то надо, чтобы все было готово, похоронить ее следует достойно.

Я попыталась возразить, развеять заупокойные мысли, но мои слова были отменены властным движением ее здоровой руки, и на меня сыпались все новые распоряжения.

Я притащила на овальный стол ее старую швейную машинку. Раскроила кусок черного шелка — самое время приготовить ей похоронное платье. Пододвинула стол с ручной машинкой под люстру с хрустальными подвесками. Опустила светомаскировку, с шорохом скользнувшую до подоконника, задернула темно-вишневые шторы, чтобы ни один луч не падал на улицу.

Деловитое стрекотанье машинки угасло среди ковров, мягкой мебели и птичьих чучел в зале, превращенном сейчас в больничную палату.

Дремавшая Юули несколько раз просыпалась, чтобы делать мне наставления. На манжетах должны быть маленькие пуговицы и блестящие петельки, на груди шелк нужно уложить в складки, чтобы благородная драпировка оттеняла красоту материала.

Вначале, прогоняя первые стежки, пальцы никак не хотели слушаться. Скользящий материал все норовил вылезть из-под иголки. Меня обуяло желание встать, забиться в тихий уголок, собраться с духом, и затем уйти отсюда, уйти по велению жизни, дорогами живых людей.

Оторвавшись взглядом от работы — в пальцах уже появилось какое-то механическое проворство, — вижу на темной печной глади неровное светлое пятно — мое лицо.

Под тиканье часов погребальное платье помаленьку начало принимать какой-то вид. Длиннополое одеяние крупной рослой женщины все больше спадало на мои колени. Когда я наконец пристрочила рукава и подняла на вытянутых руках готовое платье, я почувствовала, стоя перед черным ниспадающим шелком, как глаза мои наполнились слезами.

Мне стало нестерпимо жаль себя.

Я оставила работу и подошла к светомаскировочной шторке. Проковыряла в ней маленькую дырочку и увидела три гаснущие в утреннем полумраке звезды.

Очнувшись от моих тихих шагов Юули объяснила, где лежит белый батист, из которого мне следовало выкроить отложной воротник для платья. А оставшийся кусок батиста украсить кружевом — волосы поседели, поэтому голову придется покрыть белым полушалком.

Я, видимо, накричала на нее, потому что, когда пришла в себя, Юули посоветовала мне выпить подслащенной сахаром холодной воды, она, мол, и сама не отказалась бы — сердце просто заходится, когда видишь, что у родной сестры нет к тебе и капельки жалости.

Юули тянет из носика кувшина сладкую водичку, я же поднимаю шторы затемнения. Утренний свет заливает пол, поднимается по изразцам печи все выше, пока не загорается на слегка позвякивающих подвесках люстры.

На ветке сидит малюсенькая птичка и заглядывает в окно. Юулино лицо остается в тени, которую отбрасывает спинка кровати. Посеревшие руки лежат на отвороте белого пододеяльника, вдове кольцо ее, перекосившееся на костлявом пальце, напоминает обруч на разошедшейся бочке.

Показываю Юули по отдельности воротник, платье и обрамленный кружевом платок. Едва заметным движением век она выказывает свое одобрение.

Запрятав машинку обратно под вышитый футляр, я оттаскиваю овальный стол на прежнее место — туда, где посреди ковра красуется веночек из роз. Равнодушно опускаюсь в кресло, в его обивку, сердце мое дрябло отстывает секунды.

Может, немцы уже хозяйничают в центре города и, подобно сточной воде, переливающейся через края канавы, растекаются по улочкам и улицам.

В углу, на полочке, по которой скользит мой усталый взгляд, между морскими раковинами, перед Библией, театральный бинокль.

Как же это я раньше не заметила его?

Железные перекладины на чердачной лестнице сегодня ужасно холодные. Или это уже осень прокралась ночью в распахнутое настежь окно и оставленный открытым люк?

На горизонте по-прежнему по небу размазываются клубы черного дыма. Но в окуляре бинокля все еще трепещет огромный красный флаг! Прислоняюсь лбом к затянутому паутиной оконному косяку и долго-долго смотрю на прямоугольное красное полотнище в отливающих медью лучах утреннего солнца.

Под навесом переднего дома воркуют голуби, где-то над головой жужжит шмель. Со звоном падают с железной крыши капельки росы.

Сажусь на подоконник. От освежающей утренней прохлады спина сама собой распрямляется. Сухой песок на чердачном полу уже затянул следы, и только небольшие ямки, идущие от люка по направлению к окошку, отмечают мои шаги.

Вдруг замечаю в дальнем темном углу чердака старательно свернутый трехцветный флаг.

Вроде бы дома, возведенные под этим флагом, уже давно занесены в списки национализированных зданий!

Вернувшись в комнату, натываюсь на Юулин тревожный взгляд. Лишь после того как я опускаюсь в кресло, она тоже расслабляется и уже больше не сверлит меня взглядом.

— У тебя есть замечательное похоронное платье, подсвечники начищены, и все же для полноты картины еще чего-то не хватает!

Трехцветный флаг, спрятанный на чердаке, не дает покоя, и хочется сразу же хоть слегка уколоть.

— Чего не хватает? Чего?

— Тебя должны бы окружать дети и внуки,— продолжаю я с ледяной бесцеремонностью.

— А я... пока еще не умираю,— не скрывая злорадства, говорит Юули.

— Да я и не жду твоей смерти. Живи,— чувствую неловкость за свою грубость.— Просто мне время уходить.

Юули многозначительно начинает помаргивать ресницами.

Одновременно вздыхаем.

В соседней квартире все еще стоит тишина.

И Юули вроде бы прислушивается к ней.

— Вчера говорила о карманах, которые похожи на купола русской церкви?

Ответ меня несколько не интересует. Просто надо было о чем-то говорить, чтобы разорвать этот жалостливый обруч молчания, который сдавливал шею.

— Это...— торопится рассказать она, ее усердие сдерживается лишь скованностью самой речи.— Отец наш ведь умел делать любую работу, за какую только брался. Однажды сшил Арнольду пиджак — с накладными карманами на груди. Только вот таких в то время уже не шили. Арнольд и заупрямился: мол, я этот кафтан с русскими куполами носить не стану. Муженек мой, понятно, огорчился, он все надеялся, что его работу оценят...

«Ну и что?» — хотелось мне недовольно спросить.

— Да, ворочать он был горазд! Помню — когда мы еще держали на улице Нигулисте мастерскую по ремонту велосипедов и сдавали машины напрокат,— выходит как-то папочка наш на улицу и удивляется: да ты гляди, не-

ужто уже весна на дворе! Деревья бог знает когда в лист пустились, а он и не заметил, что снег сошел... Сада своего у нас тогда еще не было, одни только железяки...

— А ты все каталась в Ригу, возила запасные части для велосипедов,— могу я добавить.

— Да,— с достоинством подтверждает Юули. Приподнимает с одеяла руку и рассматривает золотое кольцо, словно бы ищет заверения, что так оно все и было.

Как я жду, чтобы в соседней квартире стукнула дверь и раздались шаги!

— Набрасывался на работу, будто собирался вечно жить. А кому оно потом все это нужно?

— По работе его и помнят.

Стараюсь припомнить лицо Юулиного мужа, однако пелена рассеянности не дает возникнуть какому-либо зримому образу.

— Дом, вот кто нас сожрал,—неожиданно роняет Юули.

Боюсь вмешаться, чтобы не спугнуть ее откровенности.

— Мастерскую мы продали, от порядочного общества отошли. Поездки в Ригу кончились. Отец наш купил лошадь. Каждую неделю сам вывозил мусорный ящик и каждый божий день привозил из Строоми по два воза песка. Двор у нас был что твое болото, вот он его и засыпал. И коня мучил, и себя тоже. Вечером заходил в комнату — ни дать ни взять изошедшая потом скотина. Не старыми были мы еще. Когда он первый раз опоражнивал мусорный ящик, я смотрела на него из-за гардин и плакала. Пригородными крысами — вот кем мы стали.

Трагедия!

— Доход никак не повышался. А долги за дом наседали, деньги, что выручили за мастерскую, скоро все вышли, будто волку в глотку, потому-то отец все и ворочал сам. Как никто другой, так тонко умел припаивать медью ружейные стволы. Но в арсенале, что в Тонди, проработал всего ничего — уволили, как же, домовладелец. Надо работу дать тем, у кого никакого дохода в хозяйстве нет. Бог ты мой! Он и помидоры выращивал, сколько он для них таскал на коромыслах нечистот, и в конском навозе, бывало, весь извозится! Дом его и съел.

Солнце, просочившееся в садовую зелень, отбрасывает в комнату зеленоватый отсвет. День в полном разгаре. Все вдруг по-прежнему кажется покинутым и без-

молвным, только, быть может, раньше никто в этой комнате не ловил с такой жадностью уличные звуки.

— Ты меня не слушаешь.

— Поди, пекарня тоже давала приличный доход,— пытаюсь я разбить ту картину бедности, которую нарисовала Юули,— и за квартиры каждый месяц выручали, поди-ка, прилично.

— Ох, с пекарней этой мы совсем прогорели. Городские власти, вишь ли, запретили в подвальных помещениях производство пищевых продуктов. Мы уже было отчаялись — плакали денежки, ломай ни за что ни про что печь! Вот тогда и начали расчищать с улицы фундамент — решили перехитрить городские власти! Ведра в руки — и пошел таскать песок. Все плечи оттянули — и старик мой, и сама я, да и парни тоже. Столько повытаскивали земли, что строй с улицы лестницу хоть до самой калитки, а въезд во двор приподнялся, будто он ведет на сеновал. Однако явились землемеры городской управы с планами в руках и высмеяли нас.

— Пришлось землю носить обратно?

— Да, пришлось обратно. Другие хозяева на нас пальцами показывали, жильцы хмыкали в кулак. Почитай, все божье лето ушло на эту возню с песком. Парни от такого подневолья входили в злобу. По вечерам хлебали суп из костей и требухи, угрюмые, как сычи. К счастью, выдалось теплое лето.

— И тогда из пекарни получилась мастерская?

— Ты приглядывалась к тротуару возле нашего дома? Жаль. Не умеют люди ничего замечать! Конечно, тротуар, как у всех других, выложен известняковыми плитами, это верно. А вот борта, те из чистого гранита. Закраина получилась вечной. У других так себе, мелочь да обломки насованы, а наш отец, после этой истории с фундаментом, взял да и навозил с берега порядочные валуны. А к въезду во двор приглядывалась? Все выложено камнями, которые отец привез. Коль что делал, то так, чтобы хватило на сто лет.

— Юули, мне надо собираться.

— Словно ему вечно жить,— повторяет Юули.

— Юули, больше я ждать не могу.

Она не отвечает.

— Вот так и жилось. И с одного места на другое перетаскивали, и опять назад волокли. Дом выстроили, тот, что отобрали. Заложил отец сад — так и его пере-

кроили да перекопали. Второй дом возвели, и тоже прахом пошел. Теперь умирай на залатанной простыне, ничего после тебя не останется.

— Если так рассуждать, то следует уже с рожденья готовиться к смерти.

— А какое оно, счастье-то,— так мне и не довелось увидеть. Был муж у меня... и другие... случались. Сыновей родила, семью имела. И вина попила, и повеселилась тоже. В бедных бывала и богатой жила. Только вот какое оно — это счастье? Молодость до последнего гроша оплачивается старостью, ничего не остается, кроме глупых воспоминаний о том, как ты ведром уносила песок и опять его назад приносила.

— У меня...— машинально повторила я.— Нельзя мне дольше оставаться.

— И ты тоже свой песок утаскивала и опять назад его тащила. Было время, гонялись красные за своей властью и своим правом, в тюрьмах сидели, прахом становились, голод терпели и лиха испытали. Ну, получили в руки то, что хотели, надолго ли?

— Нет, Юули, не всякая жизнь сродни твоей истории с песком.

— А, все химеры, химеры. Все равно все одинаково помирать будут. И те, кто в идейных ходили, и те, кто ради своего живота гнулись. Только одни жили в свое удовольствие, другие — и сами не знают, для чего или для кого. Нет, ничего тут не поделаешь — эстонскому народу судьбой начертано под немцем ходить. Вернутся немцы, и та история, что на время прервалась, пойдет своим чередом.

Цинизм уставшей от жизни, раздавленной безнадежностью Юули чернит и жалит. Уж если уходить с этого света, то не втихую, а, по крайней мере, так, чтобы опустошить и другие души.

Неужто старые люди потому в большинстве своем такие капризные и упрямые, что хотят насолить своим потомкам? Дескать, с какой стати только мне одному испытывать разочарованность и опустошенность.

— Слишком ты, Юули, мелочную жизнь прожила, потому и говоришь так,— негромко замечаю я, еще раз подавляя в себе желание уйти.

— Я — маленький человечешка? — растерянно спрашивает Юули и начинает тяжело дышать.— На весь пригород... была! Да на меня равнялись другие!

— Ладно, пусть,— успокаиваю я. Ее временное оживление отступает на проторенную тропку укоренившихся представлений, нет смысла спорить, если каждый говорит свое.

Объяснять такому человеку, как она, что в истории год, десять, даже двадцать лет — это всего лишь крапинка, что переломные события сами еще не сразу проводят четкие разграничения между эпохами, что нельзя шеренгой полосатых столбов напрочь отделить их одну от другой, что нынешнее отступление можно сравнить лишь с крепкой пружиной, которую сжимают и которая, когда она разожмется, устремится бог весть в какие выси! Важна прочность закалки общественной пружины. Нет, не зря сидели мы в тюрьмах, терпели невзгоды, и не бесцельно погибли схороненные в Иерусалимском сосняке люди, хотя, если смотреть на вещи с точки зрения отдельной личности, это все и может показаться бессмысленным.

В сложных исторических переплетениях бывает, что современникам действительно трудно определить, что сделано правильно, а где была совершена ошибка. И все же большие истины останутся жить.

— Я пошла,— говорю я, поднимаясь.

Нельзя безвольно следовать за уставшим человеком, если являешься частицей той пружины, которая, сжимаясь сейчас, готовится к удару.

— Я оставлю в дверях Арнольда записку и попрошу, чтобы дворничиха приглядела за тобой.

— Анна! — вскрикивает Юули.— Анна! — умоляет она.

Не обращай внимания на то, что она твоя сестра! В свое время она предала тебя, уходи! Оставь ее, она принадлежит к твоим классовым врагам! Не жалея, уходи, коль требуется постоять за интересы живых людей! Не мешкай! Почему ты остановилась? Ты тоже живешь всего один раз, и, может быть, ночью или даже вечером будет уже слишком поздно!

Щеки под ладонями горят.

Юули бьется в кровати.

На стене напротив висит наивно-романтическая картина с изображением плывущей лодки — море, закатное солнце. Хочется вскинуть винтовку и пальнуть в этого идиллического гребца.

Пусть не встречаются в дело жалостливые бабы! Пусть не лезут, если нет решимости переступить порог!

— Что ж, иди! Смотри, чтобы сама, как собака, не околела в какой-нибудь придорожной канаве. Когда никого не будет рядом и никто не захочет выслушать тебя!

Вот это уже похоже на прежнюю Юули, которая, если бы она только могла оторвать от постели свое хворое тело, выдрала бы мне волосы и надавала бы тумачков.

Обивка кресла скрипит, и в комнате устанавливается тишина.

Может, мы в последний раз вместе? Уйти — под аккомпанемент упреков и проклятий? Потом было бы невыносимо тяжело вспоминать.

Протягиваю чайник с сахарной водой. Юули пьет и искоса поглядывает на меня. Зрачки сузились до размера булавочной головки, и раздужья отблескивают желтизной — случай редкостный. В человеческом организме скрыты поразительные силы — их только нужно пробудить. Тем... или другим способом. Я даже начинаю верить, что Юули когда-нибудь действительно встанет на ноги, обопрется на палку и пойдет, чтобы потолковать с каким-нибудь фашистом на его родном языке. Пройдется по всему дому и объявит, какая будет теперь плата в рейхсмарках, и нашу квартиру снова сдаст внаем, на забор натянет колючую проволоку и отдаст распоряжение сровнять все грядки, возделанные жильцами.

И после того как ты уверилась, что твое предположение, по всей вероятности, сбудется, ты еще продолжаешь сидеть?

Краску с резного подлокотника на кресле, видимо, стерла я своей потной ладонью.

Ничего, придут лучшие времена, и все будет приведено в порядок.

Ordnung!

Беззубая ирония!

— Анна! — жалобно тянет Юули.

— Да-а?

— Я должна попросить у тебя прощения.

— ... и отпусти нам долги наши, яко и мы должники своя... Не надо, Юули.

— Нет, нет, ты и понятия не имеешь.

— Ну?

Пусть себе говорит, вздремну чуток.

— Ты его и в глаза не видела. Он родился за четыре года до тебя и умер, когда ему было всего три. Я его нянчила, я ему пеленки стирала. Кожица у него была словно папиросная бумага, черные волосики в завитушках, прожилочки все на виду, будто синее кружево. Не жилец был. Глаза такие грустные. И такой смышленный взгляд. Видно, жизнь торопилась подарить ему и юность, и зрелость, и старость заодно. До смерти так почти ничего и не сказал, все, бывало, стоял возле житного поля и перетирал на ладошке колосья, совсем как умудренный старец, что смотрит, пора ли за жатву браться. На руках снесли маленький гробик в лес, на кладбище, отец тащил под мышкой белый деревянный крест и привалил к нему, в изголовье могилы, светлый в крапинку камень. Мать все плакала и причитала: цветик ты, мой Яничек.

А я стояла рядом, и на душе было совсем спокойно. Думала, ну что они воют, избавились от горя, ей-богу, ведь не годился такой хилый в батрацкую хибару. А мать знай свое: цветик ты, мой Яничек...

Мне вдруг ясно вспоминается пронизанное воскресной благостью утро. Со стороны мызы, из Кяру, доносился зовущий колокольный звон. Мы с мамой — она в длинном белом переднике, а я вперевалку рядышком — направляемся к раздольным кярусским лугам. Оставила меня мама забавляться одну, а сама бросилась собирать цветочки, от кустика к кустику, пока не набрала букетик примул и огнецвета. Потом посадила меня к себе на левую руку, ножка моя уперлась ей в карман передника, в правой руке мама держала нарваные с корнями луговые цветы. И пошли мы на лесное кладбище. С тех пор на могилке моего маленького брата росли лиловые огнецветы и желтые примулы. Надпись и дата стерлись, белила на кресте облупились, и, по совести, уже никто из обитателей здешнего края не помнил, кто тут похоронен, под заросшим холмиком, однако в начале каждого лета перед камнем, на котором не было ни одной трещинки, распускались желтые и лиловые цветы.

Так какого же прощения просит Юули?

— Да, была я считай что в девицах, и вот перед сном, когда за печкой вовсю шуршали тараканы или когда жужжала какая-нибудь муха, угодившая в ламповое стекло, я развлекалась тем, что строила воздушные замки. По примеру граупнеровской Адели ходила по лу-

гам — венки на голове, пятнистые легавые собаки справа и слева. И тогда появлялся из лесу молодой охотник, и его черная лошадь вскидывалась на дыбы и ржала.

Юули издает звук, напоминающий смех, открывать глаза не хочется, чтобы не видеть ее выдающийся вперед подбородок и бледное лицо.

— Порой я слышала, как скрипит кровать, на которой спали отец с матерью. И сразу же летели в тартарары мои воздушные замки. Утром в сердцах жаловалась нашему Михкелю: мол, снова они делают на мою голову ребеночка. Братец отмахивался и ковылял себе дальше, а я со страхом всматривалась в материн живот... — Юули делает паузу, чтобы очень медленно произнести: — Надо думать, Анна, что и при твоём зачатии я говорила то же самое.

— Ничего, сошло, — бормочу я.

Вспоминается Юули — сильная, прямая, когда она, пригибаясь в дверях, оббивала на пороге заснеженные метелью ноги. Из-под грубошерстного платка выглядывают покрасневшие щеки, густо заиндевевшие брови словно стремятся разлететься в стороны. На коромысле полные ведра воды — с какой ловкостью ставила она их на скамейку и капельки не расплескивала!

Кто-то громыхнул? Или это всего лишь давно забытый стук ушедшей в воспоминания Юули — однажды весной она прогуляла до рассвета, и вечером рассердившаяся мать заложила дверь черенком от метлы, чтобы распутная девка не смогла неслышно пробраться в дом.

— Пойди взгляни, — просит Юули.

За дверью, если только верить глазам, стоит Мирьям.

— Милая детка!

Мирьям, заметив мое блаженное облегчение, чуть снисходительно усмехается.

— Мама сказала, что в войну родня должна держаться вместе, — объявляет она. — Как дела у бабушки?

— Бабушка тяжело заболела. — В голосе у меня проskalзьывают неуместные нотки радости.

Мирьям отталкивает меня и бросается в комнату.

Не торопясь, прикрываю дверь и никак не могу справиться с мыслями. Что взять с собой? Когда уходить? Сейчас же или дожидаться ночи? Почему я все это не прикинула наперед, время-то было!

Вернувшись в комнату, я увидела, что Мирьям сидит на моем месте, в кресле.

— Я, бабушка, так думаю,— говорит она с уверенностью взрослого человека,— залезу-ка я на иву и срежу там две крепкие палки. Мама пристроит к ним кусок холстины, и получатся у нас совсем неплохие носилки. А то как мы тебя стащим в убежище, если станут бомбить? Ты же сама говоришь, что у тебя один бок отнялся и ходить ты не можешь.

Ну, да время терять нечего, откуда знаешь, когда опять бомбить начнут. В Нымме одна прямо в сад угодила — ба-бах! — столько землищи выворотила! Хозяин решил из этой воронки себе погреб сделать.

Мирьям смеется, хлопает ладошками по подлокотникам и вскидывается на ноги. Загорелые икры промелькнули мимо, и вот я уже слышу ее топоток на крыльце.

Видимо, собирается пойти в подвал за пилой.

— Ну... и... девка,— радуется Юули. Уголки рта поднимаются от усмешки вверх, и слезы градом катятся на подушку.

Пожимаю Юули руку — сперва здоровую, потом больную, медленно киваю. Медлю — рука моя повисла в воздухе, и все же я не смогла погладить ее по голове, ушла, не в состоянии оглянуться назад.

На дворе пусто — ни единой живой души. Поднимаюсь по скрипучим деревянным ступеням, обитым железными угольниками, рука скользит по отшлифованному поручню. С чердака доносятся глухие шаги, возгласы, говор.

Открыла дверь, в нос ударил спертый воздух. Распахиваю окна и стою на сквозняке, чувствую, как во мне пробуждается жажда к действию.

В ведре, до половины наполненном тепловатой водой, плавают несколько утонувших мух. Оставляю дверь за собой открытой и направляюсь в сени, открываю кран. Жду, пока с журчанием стечет теплая вода, и наполняю ведро водой, такой ледяной, будто сходила к роднику.

В кухне раздеваюсь догола, ступаю с ногами в таз и моюсь вся, беззаботно разбрызгивая на половики воду.

Темная юбка и выгоревшая на плечах шерстяная кофта, полосатая ситцевая блузка с обтрепанными петлями — все это мне сейчас отлично подходит. Когда-то Юули дала мне белый платок — по краям фабричный рисунок из завитушек — великолепно, именно то, что надо!

Обувка?

Взять с собой туфли, но на долгую дорогу нет ничего лучше вязаных поршней. Носки шерстяные, в них ноги потеть не будут, да и не натрет.

Все?

Да, надо спрятать незаконченный перевод. Провожу указательным пальцем по тисненым буквам коленкорового переплета — «В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм» — и кладу книгу вместе с рукописью в папку. Ну да, и закладка здесь, не стерлась и галочка, поставленная карандашом на том месте, где работа прервалась на половине. Правда, не столь уж и на половине, перевести осталось с дюжину страниц.

И альбом с фотографиями — как хочется полистать его! Но нельзя терять время! Рывком сдергиваю со стола клеенку, на пол летит стакан, в котором торчком стояла ложка. Пусть валяется. Стол весь в каких-то несусветных пятнах. Покрываю столешницу полотенцем, запикиваю в карман кофты сырой обмылок крапчатого хозяйственного мыла.

В погребе под капустной бочкой была расшатана каменная плита. Вполне подойдет. Те горсти сухого песка, которые потребуется убрать, чтобы освободить место для свертка, можно превосходно засыпать между другими плитами.

Ключ оставляю в замке. Пусть растаскивают дрова и нюхают пустую кадку. Ящик с инструментами Кристьяна? Да ну его, кому нужно это ржавое барахло.

Когда дровяник будет опустошен, к нему быстро пропадет интерес.

Придется еще раз зайти к Юули, чтобы взять корзину с намалеванными розами. Когда я в последний раз ела? Дома ни корки хлеба, чтобы взять с собой. Не станешь ведь напихивать в корзину крупу или манку. Зачем?

В конце концов повсюду есть люди, которые не откажут в куске хлеба.

В нагрудном карманчике похрустывают сто двадцать рублей, может, кто посчитается еще с советскими деньгами.

Приоткрывшая было дверь Мирьям тут же быстро шмыгает обратно в Юулины покои.

Достала из чулана корзину, прохожу через комнату, в которой лежит Юули. Перед ее кроватью собрались все: жена Арнольда и обе их дочери. На лице больной светится глубокая умиротворенность, руки покоятся свер-

ху на пододеяльнике. Заметив мой торопливый шаг, Юули просит на секунду задержаться.

— Анна, я должна тебе сказать... я... сожалею, что так плохо говорила Михкелю о своих родителях. В семье должно быть много людей. Видно, и ты должна была родиться.

Мирьям, Лоори и Арнольдова жена поворачиваются ко мне взглядами, стою перед ними какой-то слишком одинокой, ручка разрисованной корзины лежит на выцветшем рукаве кофты. Вязаные поршни делают меня очень приземистой; на плечи, кроме тяжести неведомого, давит также неуверенность в собственной силе и стойкости.

Ощущаю себя ужасно одинокой перед ними.

Взрывная волна сотрясает дом. Юули охает, Арнольдова жена закрывает уши руками. Вижу, что она страшно боится оставаться с детьми и с неподвижной Юули за этими стеклами, которые ни от чего не могут защитить.

— Ну, держитесь, — вот все, что я могу сказать им.

Подбегает Мирьям, хватая меня за руку, выходит со мной в коридор и шепчет:

— Давай слазим разок на чердак!

Бегу вместе с ней по лестнице, перемахивая сразу через две ступеньки. Болтающаяся на руке корзина задевает краями за побеленную стенку. Нащупываю ногой железную перекладину чердачной лесенки, корзину ставлю на пол.

Мирьям уже исчезает в люке. Проклинаю свою неудобную старушечью юбку, что путается в ногах и делает меня неуклюжей. Мирьям с готовностью подает руку, но я все же не хватаюсь за ее тоненькие пальчики.

Особых изменений не замечаю — все тот же черный задымленный горизонт, который выглядит под светлым небом словно провалом или же вырезанным из общей картины куском. Мирьям высунула голову из окошка, и теперь ее затылок упирается мне в грудь.

Что это — мираж? Балтийская Мануфактура вдруг приподнялась над дымом?

Прежде чем взрывная волна успеет докатиться до нас, я успеваю оттащить Мирьям от окна и броситься вместе с ней на песок.

Старые ивы, высокая береза и, наверное, даже яблони в саду шумят, будто перед грозовой бурей. Что-то грохается на железную крышу, скатывается к стрехе и па-

дает наземь. В дымоходах гудит, взрывная волна охватывает жаром икры ног и скользит по тыльной стороне рук. Мирьям горячо и влажно дышит мне за пазуху.

Постепенно все успокаивается. Лишь однотонно трещат листья, словно кто настраивает скрипку.

Поднимаемся на ноги. Без желанья взглянуть друг другу в лицо подходим к слуховому окошку.

На том месте, где раньше над дымом вздымалась крыша Балтийской Мануфактуры и высилась труба котельной, сейчас вскинулся столб пыли.

Значит, всего одно движение...

Да и на что тут еще было надеяться?

Поддерживая друг друга, спускаемся с чердака.

В коридоре на побеленной стене появилась трещина — от потолка до лестничной площадки. Мирьям останавливается и ковыряет ногтями края трещины.

Спускаемся снова, и в нестерпимой, давящей на перепонки тишине гулко отдаются наши шаги. У парадного выхода Мирьям преграждает мне дорогу.

— Мама сказала, что в войну вся родня должна держаться вместе, — произносит она, хотя и без особой уверенности.

Мирьям ждет ответа, ее что-то мучит, она жаждет немедленной ясности, — а у меня пересохло в горле, и нужные слова никак не хотят сойти с языка.

— А может, ты и не принадлежишь к нашей родне? — подгоняет она.

— Время покажет, кто принадлежит к моей семье и к моей родне, — говорю я.

Дотрагиваюсь сквозь ситцевое платье до ее разгоряченных плечиков и открываю дверь.

Некоторое время слышу за собой легкие шаги. Не оглядываюсь, и Мирьям тоже не останавливает меня.

К удивлению своему, встречаю на улице довольно оживленное движение. Но встречные словно бы не люди, а какие-то неведомые существа из фантастических рассказов. На меня натывается какая-то госпожа — глаза выпучены, за спиной огромный мешок. Шелковое платье под мышками расплзлось по швам, и оттуда выбиваются вьющиеся волосы. Над мешком, который она тащит на спине, поднимается белый дымок.

— Горит ведь! — кричу я и свободной рукой дергаю ее за вырез платья.

Тяжелый мешок с маху падает на мостовую. Веревочка, стягивавшая горловину мешка, слетает. Женщина по самые локти залезла в мешок с горячими хлебами, пока не отыскала обуглившуюся буханку. Протягиваю руку, и она отдает мне обгорелый хлеб. Помогаю ей снова взвалить мешок на спину; в корзине у меня лежит очищенная от пригоревших корок ароматная горбушка. Не могу избавиться от искушения, отламываю от горбушки кусочки и с удовольствием жую.

На углу мальчишки ногами перекатывают по тротуару куски водосточных труб. Так и есть, под стрехой висит лишь воронка — все остальное то ли сорвано, то ли сбито воздушной волной. Боязливо оглядываясь, крадется какой-то мужчина в длинном коричневом пальто, обвислая шляпа надвинута на глаза, в руках замызганная котомка. Случаем, не сбежавший ли мобилизованный?

Старик со старухой катят перед собой рессорную тележку, такую, на какой обычно возят на рынок разную снедь, но сейчас на тележке ни капустных кочанов, ни морковных пучков нет, зато лежат свертки ткани. Шагают стремительно в ногу, напряженные руки судорожно вытянуты перед собой — совсем как лунатики, глаза блестят, разговаривают громко.

— Айно и метра не получит!

— Эльмара нельзя и близко подпускать!

— Навесим на сарай два замка и сразу же пошли назад!

— Эрна приволокла себе под кровать целый мешок сахара!

Какая-то девица с накрашенными губами идет посреди улицы и ревет, словно обиженный ребенок, — трет кулаками глаза.

Скорее вон из города, скорее, скорее!

Хочется попасть в центр, к воинским частям, но вынуждена идти окраинными улицами.

Поторапливаю свои и без того шустрые ноги. Перекидываю корзину с руки на руку и отгоняю усталость после бессонной ночи, — почему-то ноет в поясе.

Заклеенные накрест бумажными полосками окна большей частью закрыты — завешены одеялами или задернуты гардинами, но в слуховых оконцах мелькают лица. Кажется, будто люди потому забрались под самые

крыши, что хотят уберечь ноги от грязи, которая уже растекается по улицам.

Впереди виднеется тенистый парк.

Пусть живые изгороди всегда будут буйные и нестриженные!

Еще перейти, и тогда...

Из проулка выворачивает несущаяся во весь опор лошадь, таща за собой грохочущую телегу. Чтобы убежать от вскидывающихся копыт, пробегаю несколько шагов. На возу сидят две бабы, каждая держит в руке по вожжине и без конца нахлестывает конягу. С телеги соскальзывает алюминиевый кофейник, ударяется об асфальт и, набив себе вмятины, останавливается.

Несмотря на то что кругом светло, город перед смелой властью кажется каким-то ненастоящим. Ни будничного движения, ни трамвайного погромохивания, ни одного почтальона, который шагнул бы от дома к дому. Никто не подметает улицы. Не гуляют с детьми.

В сосновой рощице хвоя под ногами шуршит такой сушью, что я не удивилась бы, если бы она вдруг за спиной занялась огнем.

Снова дома, безмолвные дома. Не иначе, даже собаки посажены в подвалы на цепь, и намордники надеты. С афишной тумбы кинотеатр «Victoria» приглашает посмотреть «Великого гражданина». Кто-то сорвал нижнюю часть афиши, избавив имена артистов от вражьего взора.

Видимо, все же легкомысленно идти по тротуару, каждую минуту могут хлынуть мимо, к центру города...

Но нет, не все дороги еще открыты перед ними. Откуда-то до слуха доносится гул сражения. То ли с запада, то ли с юга — сказать наверняка невозможно.

Очень высоко над головой завывает одинокий самолет. Но сирены молчат. Доносящийся из поднебесья звук словно бы прощупывает осторожными прикосновениями ясные контуры города. Пустые и узкие, окаймленные липами улочки проглядываются насквозь, подобно упавшим наземь трубам.

И тем не менее! Навстречу мне движется мужчина на костылях. Может, он выглядит по-будничному спокойным только потому, что не способен бежать?

— Ты чего бродишь, иди прячься,— говорит он, поравнявшись со мной.

— У меня дочка в Рапла, вот-вот родит, как ей там без меня? — отвечаю я.

— А ты бы рукой заслонила,— мрачно усмехается мужчина.

Хочу обойти его, но он хватает меня за локоть и больно сжимает. Так обычно причиняют боль другим, когда самому невыносимо плохо.

— Не бойся,— снова щерится он, оголяя редкие, прокуренные зубы,— я уже не человек, я голая видимость, символ...

Решив, что все равно деревенская баба, которая торопится в Рапла помогать при родах, не поймет его, он поправляет под мышками костыли и, со страшной медлительностью выбирая места поровнее, куда упереться костылями, направляется к городу.

Мысленно твержу себе: учись опять ходить так, чтобы не оглядываться, хотя самой хочется задержаться и, поженски прикрывшись платком, взглянуть на мужчину с костылями.

«Учись,— повторяю себе,— забудь,— внушаю,— забудь вчерашнее и позавчерашнее, все минувшие дни. Драночная корзина — не реквизит, а твоя привычная повседневная ноша, и ты поэтому, естественно, не должна знать, что такое «символ».

Ты уходишь все дальше и дальше от тех, кого еще вчера называла товарищами. У тебя никогда не было непреклонного мужа, которого звали Кристьяном. Ты идешь все дальше и дальше и с каждым шагом должна становиться все смиренней, если еще недавно ты ломала над чем-нибудь голову, то с этой минуты тебе пристало лишь поддакивать. Единственная забота, которая может волновать тебя, подоена ли утром коровушка! Поди знай этих соседок, сцедят кое-как, для виду, ведать не ведаешь — вдруг Краснушка мычит и выглядывает тебя с дороги...

И глаза-то твои, наверное, наполнились внутренней пустотой?

Железная тяжесть после бессонной ночи, все еще ломит и гнет поясницу — да и было ли у тебя времечко, чтобы разогнуться? Морковку прореживала, капустницу с кочанов собирала и поросенку сечкой свекольную ботву рубила...

Охо-хо...»

После того, что я увидела, я прошла пять, а может, все десять километров.

Желание казаться боязливой бабой, которая ни о чем не задумывается, словно бумеранг, ударило меня по голове. Я и впрямь потеряла способность мыслить. И только сейчас, когда я перелезла через откос противотанкового рва, во мне начинается клочкотать гнев. От жажды мести зудят руки. Если бы у меня была сила, была возможность — я бы уничтожала, рушила, сшибала бы головы!

На том месте, где за спиной остались последние дома и где начиналось болото, поросшее вереском да чахлыми сосенками, я увидела труп.

Увидела труп?

Детский красный флажок, скатившаяся с головы офицерская фуражка среди лиловых цветков, раскинутые руки, на рукаве нашита красная звезда политрука, ворот разодран.

Детский флажок из красного таместика... Нет, слова тут, видимо, не в силах выразить это сколько-нибудь точно и логично.

Задержавшийся на бровях пот из-под пальцев скатывается на скулы.

У политрука ниже пояса одежда содрана, и между ног на расщепленной палочке воткнут детский флажок.

Нет, это сделали еще не немцы.

Уж не тот ли мужик на костылях, который шел с той стороны?

Земля под ногами у меня вся перевернута. В это лето здесь уже ничего расти не будет. Но в следующем году в окопах и противотанковых рвах буйно разрастутся сорняки, и лопата, что позабыто воткнулась в кочку, упадет на ветру, начнет понемногу ржаветь, пока не станет вкопец тупой и ненужной.

Может, и я уже по-своему притупилась, что все спешу и спешу, передвигаю ноги, обувка на одной ноге прохудилась, беззащитная пятка быстро намялась и уже ничего не чувствует.

Только одно: на хуторе Сязе старый Нигул. Старый Нигул на хуторе Сязе.

Флажок выдернула и отбросила в сторону. Нет у меня голоса, громкого, как сирена, и крика никто бы не услышал. Отломала ветку вереска и положила на грудь политруку. Переложила ближе руки, застегнула одежду. Смежила веки и прикрыла лицо фуражкой.

Постояла, скрестив руки,— может, вживалась в новую роль? Беспомощная, с душой, подвергшейся надругательству, я была готова где угодно искать опоры и как угодно противостоять похабному разбойничьему оскалу.

Не было лопаты, чтобы вырыть могилу.

Старый Нигул на хуторе Сязе.

Видимо, это я прошептала вместо клятвы, когда грозилась расплатой. Быстро-быстро, земля подошвы жжет — все дальше и дальше. Быть ниже травы, быть тише воды...

Ох, нет.

Торопись, бабонька!

Та, другая Анна, до мозга костей красная и жаждущая мести, та неизменная в своих убеждениях Анна постарается с помощью твоих пустоватых голубых глаз подкараулить самый подходящий случай, выбрать самый сладостный момент и действовать, действовать! Эта Анна снова изворотлива и снова расторопна, легко и без усталости передвигается она с места на место. Она пройдет повсюду, куда только потребуется, как некогда девчонкой шла она рядом с Антоном. И Кристьян тоже стоит за ее спиной, охваченный пышущим солнцем, пристроившись на корме, он простодушно машет носовым платком.

Такие мгновения, свободные от налета иронии, наращиваемого годами, никогда не забываются.

Наклоняюсь у края поля, беру горсть каменистой, пыльной эстонской земли. И снова торопливо ступаю на захоженную тропку, что вьется возле шоссе и шаг за шагом приближает меня к пярнуским лесам.

14

Свечу Михкель Мююр сунул мне явно зря.

Я должна выспаться, должна сразу уснуть, чтобы на зорьке продолжать свой путь. Впрочем, Михкель особо хлопотать и не стал, тут же догадался по кончику моего заострившегося носика, что я предпочитаю быть тихой да скрытной, чтобы никаких чужих глаз.

Он мне дал две старые шубы, и валявшуюся в высокой траве под березой старую дверь Михкель притащил: мол, как хочешь, а на землю ложиться не след.

Августовские вечера темные, заметить меня никто не мог.

Никто не заметил, никто не увидел, никто подглядеть не сумел — убаюкивали красивые слова!

Добрые старые шубы! Пропитанные острым запахом пота, земли, навоза, сена и чуланной сырости, и, как знать, может, сохранили в них свой дух для прочего мира резвившиеся когда-то ягнята.

В темноте обоняние становится по-собачьи острым, нет надобности даже шупать рукой — ясно, что справа гниет картошка, примерно с корзину.

Пятки ноют, даже по пальцам идет зуд, с лица на шубу спадает пыль дневного пути.

Пусть стрекочут себе кузнечики за дверью погреба, пусть поют.

Проклятие, затылок, кажется, повис в воздухе, и обрывки мыслей не дают ему опуститься.

Надо стряхнуть усталость, усыпить себя. К вечеру мне нужно быть на месте, вечером нога моя должна коснуться порога хутора Сяезе.

Словно тебя буравят заостренными карандашами. Но они остались на столе.

Из-за Рууди?

Родственники тут, родственники там! В силах ли я заботиться о всех?

И это апоплексическое лицо под льняной кепкой...

Виолончели тянут визгливую мелодию.

Музыканты одеты в зеленое, в руках смычки. «Родина, счастье и радость моя... Роо-оодина, счастье и радость моя... Роо-оодина, роо-оодина». Горсть льна из мочила в мялку. Для Ватикеровой белой кепки. Старые больные мужики любят носить льняные кепки. Старые мужики, безобидные старые мужики. «Отчизны краа-аасу охраа-аая, враа-аага за проступком застаа-аав...» Под льняными кепками лишь гордости ради носят на плече ружья. Хочется ощутить мужицкую удадь. Патроны давно кончились, и порох пошел на лекарство, на поправку живота. Зеленые виолончелисты! Скачете и скачете, а следов почему нет? Движение руки, и смолкла музыка. Взлетела в воздух фабрика, сглотнула новый фундамент. Новый фундамент. Под станки придется залить бетон. В насыпь покинутого противотанкового рва воткнут на палочке красный детский флажок. Видно, и ты должна была на свет появиться! Опять делают на мою голову ребеночка! Они торжественно стоят перед портретом, держат в руках щепки, будто выставили иглы, — учатся патриотизму.

Сверхъярое национальное представление под крышей отечественного овина. Дюжие мужики с дубинами играли в считалки: я тебе владыка, ты мое корыто! Пот лился градом от такого занятия. Кепки на глазах. Жесткие льняные кепки. Остывают, остывают, зеленые музыканты, складывайте же наконец в футляры свои инструменты.

Или уже утро?

Что-то удерживает меня под шубой, никак не дает подняться. Колочу руками, словно палками, по двери. Ну вот, теперь снова начинаю ощущать себя. Кажется, кто-то сказал, что уже утро?

Натыкаюсь на каменную кладку, нащупываю, пока руки не упрутся в трухлявую дверь. Полевица и чертополох царапают ноги. Кругом кромешная тьма. По дороге сюда мы с Михкелем Мююром проходили мимо корыта. Оно стояло недалеко от хлева возле самой ограды из жердей.

Никто же меня не увидит?

Умиляющая аккуратность! Смехотворные привычки! Отряхиваю от пыли кофту и юбку — всем нам хочется быть чистыми, всем — красивыми!

Одежда вся по порядку развешана на заборе. Сама я разлеглась в водопойном корыте. Под затылком вогнутый, обглоданный торец корыта, размочаленная древесина — что кедровые иголки; бедра охвачены скользкими гладкими боковинами. Блаженная холодная вода.

В небе гаснут звезды.

Стреноженная лошадь ковыляет к корыту, пьет возле моих ног медленными глотками. Вода плещется о стенки желоба, ночная прохлада на мгновение касается моих коленей.

Утолив жажду, лошадь оживляется, встряхивает гривой. Полукружья влажных глаз, отражая скудный свет занимающегося дня, придвигаются совсем близко. Лошадь касается губами моего плеча.

Тихонько смеюсь и слегка почесываю ее светлую отметину. Лошадь выгибает шею, фыркает и пятится неуклюжими скачками.

Не одни лошади стреножены. Размочаленный торец корыта под головой вдруг взъерошивается и начинает покалывать бесчисленными занозами. По телу проходит дрожь. Выбираюсь из своей корытной ванны.

Все-таки освежилась. Снова ощущаю в себе избыток сил.

Никто не видел? Не слышал моего тихого смеха? И не заметил моей белой руки, что поднялась к лошадиной отметине?

Если и видели, то приняли за наваждение, за необъяснимое привидение сонных глаз. Бывает, что именно необычное отводит подозрение.

Что там за человек стоит? Оперся локтями о бугор погребя и вглядывается в утреннее небо.

Застываю на месте и измеряю расстояние до темнеющего леса.

— Анна,— шепотом доносится до моего напряженного слуха.

Обнимаемся с Рууди.

— Откуда ты?

— Собираешься поутру в путь?

— Михкель Мююр...— скороговоркой выдыхаем друг другу в лицо.

Великая радость охватывает меня.

Я люблю Рууди. Он ведь отчасти мой сын.

Почему я все поглядываю на его рукав, боясь увидеть там белую повязку?

Словно и любовь должна размежевываться на красное и белое.

— Где ты был, Рууди? Михкель Мююр...

— Ходил охотиться.

— На зайцев,— киваю я, хотя сейчас совсем не время, чтобы заниматься болтовней.

— А ты? Ясное дело, романтика погребя, дух предков.

— Поила лошадей. Когда-нибудь снова придется пахать и бороновать, кто тогда потащит плуг и борону?

— И все опять начнется сначала,— тянет Рууди.— Люди выберутся из своих берлог, прищурятся на солнце и начнут изобретать каменный топор.

— В какую сторону путь держишь, Рууди?

— Да куда мне? Сяду вот здесь на травку, смастерю себе дудочку и — туу-ту-лууту — начну пасти овец и ждать.

— Рууди...

— Непостижимо — привязали лыком березку к палочке! Совсем как яблоню. Но во дворе у нас росла береза, прямо под окном... Как же их величают? Ах да, но-

воземельцы. Вот только земля старая и корнями вся просла.

— Ты о чем?

— Женщина выскочила на улицу, на большущих руках — маленький ребенок. Чтобы сырые бревна взялись таким огнем... Еще смола не просохла. Керосин, фирмы Шелл, а может, уже советский?

— Говори яснее!

Расслабленно стоявший Рууди, казалось, обдавал меня огнедышащей тревогой.

— Оскар, вот кто в них целился.

— Какой Оскар?

— Разве это имеет значение? Просто один эстонский Оскар.

— И у тебя было оружие?

— Он дал мне.

Пробирает жуть.

— Откуда только навалились эти бойцы истребительного батальона, дали мы деру, лишь пули сзади свистели.

— Немцы, далеко они? — спрашиваю, едва сдерживаясь.

— Немцы? Они воюют по шоссе́йным дорогам. Лесная война идет по хуторам да болотным тропкам.

— Что ты сам делал?

Некогда развязывать узлы. Становитесь же наконец, люди, в две шеренги.

— Когда наступают и отступают — в этом еще есть какая-то логика. Но слепое сведение счетов...

Кто же ты все-таки, Рууди, ты, мой почти что сын?

Невольно гляжу в сторону батрацких хибар, всматриваюсь в вековые деревья парка, за которыми виднеются бывшие баронские хоромы, вслушиваюсь в ельник.

Все еще стоит спасительная темнота.

— Михкель Мююр говорил, что...

— Юули осталась не одна... — резко перебиваю я.

Могут же когда-нибудь вконец истощиться запасы жалости.

— Я выстрелил Оскару в спину. Может, это и не моя пуля убила его, — с пугающим безразличием произносит Рууди.

— Пойдем со мной, — предлагаю ему, когда после долгого молчания мои сомнения перекрылись доверием.

— Помнишь Сельму? Ее увезли.

— Никакой Сельмы я не знаю,— раздраженно отвечаю я.

— Поразительно! Совершенно непостижимо! Один момент — и вынесен приговор. Всего мгновение — и спущен курок. Момент — и...— Рууди опускается перед дверью погребца. Шарит в траве, наверное, ищет соломинку.

— Это был бандит.

Скорее в строй! В две шеренги. Оскар — бандит. Рууди...?

— Ах, тебе все ясно. А если бы я не видел этих больших рук крестьянки, которые держали крохотного ребенка? Что тогда? Не знаю, может, я жалостливый, возможно. А может, я убил не Оскара? А собственное безразличие. Щелк — и все!

— Нет, ты не был безразличным, когда ходил убивать новоземельца,— я пытаюсь встряхнуть его элементарной логикой. Нет времени! Времени нет, чтобы разбирать непролазные завалы эмоций.

Я должна вышагивать к старому Нигулу, как лошадь в наглазниках. Когда идет война, каждый обязан точно знать, на чьей он стороне.

— И ты неправа, коль разговариваешь тут с такими, как я!

Опускаюсь на землю рядом с Рууди. Прислоняюсь головой к его плечу.

— Пойдем со мной! — повторяю требовательно.

— Ты не помнишь Сельму? — произносит Рууди так, будто поток его мысли снова уперся все в ту же плотину.

— Чего тебе далась эта Сельма? — говорю без всякого сочувствия и понимаю, что того беспокойного сна, который мне выдался в картофельном погребе, на козюхах, должно хватить на предстоящий день и, как знать, может, и на предстоящую ночь.

С этой минуты вообще неизвестно, на сколько тебе должно хватить последнего сна.

— Видишь ли, Сельма была в имение у господ кухаркой. Она-то и подавала Михкелю Мююру его прикухонный паек. Давным-давно, как-то на троицу, повязал себе Михкель на шею чистый платок и объявил, что пойдет к Сельме свататься. Захотелось мне подсмотреть, как это сватовство происходит, прокрался следом. Оскар увязался тоже.



Голос у Рууди ломается, будто у мальчишки в переходном возрасте. Понимаю без расспросов, что речь идет о том самом Оскаре.

— Накануне из лесу нанесли березок. Из Сельминого окошка в нос шибал сладковатый запах увядших листьев. Мы стояли с Оскаром в крапиве и прислушивались. Вначале разговор шел о том о сем, но стоило Михкелю под нервный смешок сделать Сельме предложение, как тут же вскинулись сто чертей. Сельма обозвала Михкеля нищим и хромым, как мол, он посмел подумать, что ей не найти себе настоящего мужика, неужели это она вынуждена будет пойти за такого, как Михкель!

Прижимаю ладони к гранитным глыбинам, которыми выложен картофельный погреб. С каким мастерством отец Тааниель расколол пополам эти камни. В общем-то, жить просто, если есть инструмент и сноровка.

— После было такое ощущение, будто меня протасили по крапиве. Оскар хихикал и раструбил это дело на всю деревню.

— И эту Сельму теперь увезли?

— ...Сельма, отвергшая Михкеля, сейчас далеко; под кустом, по-волчьи, скovyрнулся Оскар. Словно справедливость сочлась с унижением, и мы теперь можем радоваться, ибо отмщение сладостно и пьянит. Только что за чертовщина, голова у меня сейчас точно с похмелья. Какой-то кавардак, нет ни душевного покоя, ни стремления действовать. Женщина с большими руками и Михкель Мююр — за них я вроде бы вступился, хотя и со страшным опозданием. Ну почему люди столь высокой мерой карают друг друга?

— И бесповоротно,— поддакиваю я и с отвратительной отчетливостью вижу тот красный детский флажок на расщепленной палочке, которым было совершено глумление над политруком.— Нужно идти,— повторяю настойчиво.

Рууди качает головой, не знаю только, по какому поводу.

Как просто тесать камни — рука моя скользит по розоватому граниту, слюдяные прожилки на зоревом свете занимаются огнем.

Светает с пугающей быстротой. Будто какой нетерпеливый человек срывает у нас над головой черное покрывало, словно выносят из темноты для осмотра картину величиной с окружающий пейзаж. Видны заржавленные

петли на двери картофельного погреба, стреноженная лошадь с белой отметиной, похрустывающая росной травой, и жердевый забор, на котором висят вымытые подошники, дожидаящиеся утренней дойки, и плешивая тряпичная кукла, забытая ребятишками на притоптанной траве. Поет петух, но вместо привычного идиллического погромохивания телеги откуда-то издали доносится гул моторов.

Разом вскакиваем на ноги. Сгребая в охапку шубы, Рууди выволакивает из затхлого картофельного погреба старую дверь и швыряет ее к березам. Впопыхах спешим к крайней батрацкой хибарке, чтобы укрыться у Михкеля Мююра.

Не слышал он, как стукнула дверь, не проснулся, когда скрипнула половица. Остановились мы с Рууди возле Михкелевой кровати. И ни у кого из нас не поднялась рука, чтобы потревожить Михкеля. Застонал во сне, бумажно-тонкие веки вздрогнули.

Какое-то чувство вины заставило нас попятиться от печи, где над изножьем Михкелевой кровати на крюке сушились его носки. Переступили через сучковатую половицу, что так сильно скрипнула раньше под ногами.

Собралась уходить; заметив нерешительный взгляд Рууди, подумала, что он остается. Однако Рууди давал знак, чтобы я подождала. Взяла со скамейки Юулину корзину, застегнула на кофте пуговицы.

Впереди ожидала долгая дорога.

Сквозь приотворенную дверь увидела Рууди, который по-хозяйски шарил в чулане. Пришел оттуда с куском сала и краюхой хлеба — все это нашло себе место в корзине. Стало неловко.

И только в лесу кольнула мысль: надо было оставить Михкелю хотя бы те рубли, что лежат в кармане.

— Провожать? — спрашиваю у Рууди, который плетется сзади.

— Есть хоть когда-нибудь дадут? — отвечает он вопросом и отходит с тропки в сторону — к большому пню.

Усаживаемся на брусничник, совсем как беззаботные дачники, и тянемся, чтобы сорвать полукрасные ягодки и отправить их в рот.

Рууди нарезает перочинным ножом тоненькие ломтики сала и режет хлеб.

Скачут в своей не подвластной никому выси утренние белочки, колышут ветви. Приступает к работе дятел.

— Красота, черт побери,— бормочет Рууди и протягивает руку за едой.

— Так пойдешь со мной? — уже в который раз допытываюсь я. Смолистый лес выглядит таким мирным, но одной продолжать путь никак не хочется.

Очень не хочется, хотя я и не придумала еще ответа, если какой-нибудь встречный с подозрением спросит: куда идете, почему спешите?

Только попадутся ли здесь, на лесных тропках, навстречу нам страдающие подозрительностью люди?

— Могу и пойти,— рассеянно отвечает Рууди.

— Идем! — поднимаясь, командую я и отряхиваю юбку.

— Власть подобна женщине,— дожевывая еду, Рууди послушно следует за мной.

— И что же общего у власти с женщиной? — Я повторяю его слова таким тоном, которым объясняют детям их глупости.

— Если женщина хочет выйти за тебя замуж,— громко продолжает Рууди,— пока она еще собирается выходить — она и бедрами поводит, и хихикает, и эдаким вот беспечным существом представляется. Но стоит тебе сказать «да», и вот уже постепенно начинаешь замечать, что у женушки твоей и уши великоваты, и что уголки рта, как правило, опущены, и обязан ты ей довольно точно отчитываться — где был, что думаешь и нет ли у тебя еще кого. И что самое страшное — она же без конца требует заверений, что ты ее любишь.

Ощущение избавления придает смеху звонкость. Гул военных машин до нас не доходит, и открытое место вокруг картофельного погреба осталось позади, нас окружает замечательный лес — для полной идиллии тут недостает лишь пятнистых оленей.

— Тетя Анна!

Рууди длинными шагами догоняет меня, берет за руку. Улыбаясь, смотрим друг на друга.

— И мы уже больше не боимся крыс, которые по ночам возятся на чердаке! — тоненьким голоском говорит Рууди и по-детски склоняет голову. И хотя я вижу его заросший подбородок, мне кажется, будто я легконогой барышней шагаю рядом с худеньким мальчонкой — коленки у него костлявые и острижен наголо, чтобы лучше росли волосы.

Размахиваем руками, улыбаемся про себя и внутренним взором заглядываем в колодец воспоминаний — поверхность его кажется голубой, без ряби. Солнечное утро, шустрые белочки скачут за нами с ветки на ветку, и колыхание верхушек стройных деревьев знаменует наш путь.

Что за жестко-белый обрез вдруг резанул по бровям?

Старые хворые мужчины любят носить белые льняные кепки. Под белыми кепками топчутся хворые безобидные мужчины по последним километрам своей жизни. И лишь затем таскают за плечами ружья, что хотят выглядеть мужиками.

— Ватикер?

— Я был уверен, что еще встречу с тобой, Анна!

— Ватикер?

— О, и ты, парень, стал мужиком. Ни за что не подумал бы, что сможешь в спину стрелять.

Ватикер закатывается смехом, Ватикер трясется от смеха, Ватикер заходится — так, что слезы выступают на глазах.

— Ха-ха-ха! — передразнивает Рууди и спрашивает, ловко копируя Ватикера: — Чего этот старик придуривается?

И только теперь вижу за спиной Ватикера еще двух мужчин — по годам они гораздо моложе его. Стоят мрачные и нетерпеливо долбят сапогами сухую землю.

Чтобы не забыть, помнить все до конца. Косой взгляд — и тот, чтобы не забыть. С прощением следует быть столь же осмотрительным, как и с осуждением.

Видно, останется уже невысказанным. Да и нуждается ли Рууди в моем наспех составленном духовном завещании.

Окольная дорога по кярусским лугам, та пыльная лента, что вилась в обнимку с голубой лентой речки, расхрабрила меня вчера до беспечности. Так близко дом Михкеля Мююра — чего там ждать вечера? Кругом ни души — и вдруг из-за ольшаника вышел Ватикер. Скрыться было некуда, смотрела на него пустым взором. Была уверена, что он не узнает. Потом, правда, слезы от напряжения застлали глаза — не оглядываясь, пошла дальше. Тревожные сновидения в картофельном погребе подстегнули скопившиеся в подсознании предостережения, но холодная ванна в водопойном корыте вновь смыла их. Надо ли бояться человеку, который выбрал себе труд

неустрасимых? Да и Ватикер совсем не был страшным, когда я в тот снежный день навестила его в лесной сторожке. В тот раз я отошла, даже вроде как бы простила его — в самом деле, можно ли таить зло столь долго?

Так почему же я испугалась теперь?

Он не смеет задерживать нас.

Медленно протягиваю руку и кривлюсь усмешкой.

— Ну, Ватикер, до свидания, и чтобы когда-нибудь снова встретиться.

Ватикер громко сморкается и словно против воли бросает мужикам, которые стоят за его спиной:

— Обыскать их!

Грубые руки ощупывают бедра, живот, выворачивают пустые карманы, шарят в корзине. Хлеб и оставшееся сало выбрасывают через плечо в ельник.

— Давно пора землицы пожевать, — выпячивая губы, говорит Ватикер.

Вижу на лице Рууди удручающее безразличие. «Власть подобна женщине», — вспоминаются его недавние слова, которые кажутся мне сейчас произнесенными так давно, так давно.

Если бы можно было как-нибудь перемотать обратно дорогу, чтобы начать сызнова?

Ватикер взвешивает на ладони Руудин браунинг.

— Одной пули не хватает, — произносит он, проверив магазин. — Вы слышали, одной пули не хватает, — повторяет Ватикер, обращаясь к своим молчаливым сообщникам.

Один из них, тот, у которого над верхней губой искрятся бисеринки пота, ударяет меня по локтю ружейным стволом. Правая рука бессильно повисает, но тем сильнее скрючивается левая, так, что, причиняя боль, в тело врезается ручка корзины.

— Чертов хрен! — клянет Рууди. Он избегает моего взгляда.

— А ну, шагом марш! — командует Ватикер.

И вот мы уже все впятером привычно занимаем свои места, словно мы играем в дурной пьесе, где арестованные с серьезными лицами шагают впереди, а конвоиры, выставив ружья, вышагивают сзади.

Сколько раз разыгрывали подобную ситуацию! Какая примитивная мизансцена, что ведет обычно к одной и той же развязке.

Глупость! Всего лишь бездарный театр, не станет Ватикер расстреливать нас.

И словно в подтверждение этой мысли Ватикер приближается ко мне, подсовывает руку под мой ушибленный локоть — по его прерывистому дыханию можно предположить, что он хочет что-то сказать.

— Стареем,— делает он вступление. Столь же остроумно было бы сказать, что стоит хорошая погода или что идет война.

— Щеки у тебя начинают обвисать, совсем как у старой собаки,— произносит он более конкретно.

Что ответить? Опуститься до его уровня — мол, я дура, а ты еще... и тому подобное?

Ватикер старательно пристраивается к моему шагу. Намеренно задерживаюсь, чтобы он снова выбился из ритма.

Лесная дорога виляет, вдруг меня наводит на смех кустик вереска — расправил ветки, словно какое высокое дерево. Кажется, сама природа смеется над людьми: видите, стоят большие деревья, истинные великаны, а есть вот такие пигмен, которые тоже выдают себя за деревья.

— И что за жизнь была у тебя,— сожалеет Ватикер.— Не обрела ты счастья тем, что служила у красных. Хлебнула горяшка на своем веку, столько лет среди чужих людей мыкалась и теперь вот понеслась сломя голову. Как это глупо, как глупо!

— Как же ты не понимаешь? — круглю глаза и всматриваюсь в его глазки-прорези.— Я же просто мчалась сюда, чтобы под твоим благородным сиянием, преклоняясь перед тобой да согревая твои старческие кости, по меньшей мере, провести достойно последние дни.

Ватикер беззвучно шевелит губами. Но лицо его тут же становится хмурым, когда, громко рассмеявшись, я поддеваю носком туфли камешек, который отлетает далеко в кусты.

Мое резкое движение остановлено дулом — оно предостерегающе уперлось между лопатками. Ослабившись, взглядываю через плечо, только вряд ли это похоже на усмешку. Дуло отводится назад. В глазах конвойных проскальзывает любопытство.

Их интересует, когда же Ватикер закончит этот жалкий прогулочный фарс. По всему видно, что именно Ватикер главный и ему принадлежит последнее слово.

Сказать по совести, меня тоже интригует, когда и как мы с ним расстанемся. Подавляю свое угнетенное состояние, будто самоуверенность и бодрое настроение способны привести к благоприятному исходу.

Бедный Рууди!

Безразличный вид, склоненная голова и безвольно повисшие руки свидетельствуют, что он будто уже приготовился к безжалостной расплате. Человек, который никогда ни на кого не поднимал руки, не может простить себе даже уничтожение садиста.

Таких, как он, остается на земле все меньше и меньше.

И вообще, какая она, действительная мера добра и доверия?

Рууди?

А сама? Почему я зимой не явилась к Ватикеру с милицией?

Не брели бы мы здесь, как дураки, под дулами ружей.

Или, может, я сама, не отдавая себе отчета, пыталась подсластить сахаринном колодезную воду?

Попытайся сохранить спокойствие!

Рууди начинает кашлять. Вздрагивает, плечи опускаются еще ниже, того и гляди, свалится в вереск.

Пастушок под голубыми небесами — зачем я уговорила тебя?

Вырываю руку из Ватикеровой лапы, поддерживаю Рууди. Все вынуждены остановиться. Безмолвные мужики с ружьями обмениваются взглядами и нетерпеливо переступают с ноги на ногу.

— Может, хватит? — я оборачиваюсь к Ватикеру с приказным превосходством. — Оставим эту комедию! Вон дорога впереди раздваивается. Мы пойдем направо, если вам — налево, или наоборот. Комплиментами с тобой мы обменялись, на этот раз, пожалуй, хватит.

— Что, что, что? — Ватикер выпячивает губы и, подняв брови, приподнимает также свои дряблые веки. — Вас нужно покарать!

— Ваше присутствие было для нас уже достаточной карой.

Молчавшие доселе мужики вдруг раздражаются громким смехом. Астматическая грудь Ватикера начинает колыхаться над животом, и через некоторое мгновение к общему смеху присоединяется и его смешок.



— У кого власть, тот и карает,— произносит Ватикер; как резкий укор, отношу это к самой себе.— И вообще...— продолжает Ватикер, когда после нескольких глубоких вдохов он подавляет колыхание своего живота.— Вообще эстонскому народу настоятельно требуются и кнут, и пуля, и дубинка. От рук, паршивцы, отбиваются, если нет плетки. Разве бы мы когда смогли так сблизиться с западной цивилизацией, если бы нас не драли на баронских конюшнях, как сивых мерингов? А? Захотели теперь удушить нас советским духом! Не выйдет! Не выйдет!

В подкрепление своих слов Ватикер вертит у пупа указательным пальцем; его сообщники, восхищенные мудростью Ватикера и собственной невысказанной философией, всюду ржут. Их липкий смех пристаёт и марает.

Вот он какой, этот имеющийся в наличии человеческий материал, который тоже придется как-то переплавлять в новое общество.

Метаморфозы и метаморфозы! Слишком много вы отнимаете времени.

Нелегко вдохнуть искренность и разум в эти глаза, что бурвят сейчас мой затылок, о благородстве же и говорить нечего.

— Что же ты задумал? — спрашиваю, не глядя в сторону Ватикера.

— Да чего уж там особого такого? — буркает он.— Может, устроим небольшую купель?

— Река у нас чистая, с песочком на донышке,— цедит один из мужиков.

Другой икает, будто его сейчас вырвет.

Лес неожиданно кончается. Кажется, что даже дорожка смутилась, тыкается вправо-влево, пока не отыскивает межу, и, робко отступая от ивовых кустов, змеится дальше к горизонту, окаймленному ольшаником.

По обе руки от нас раскинулось желтое жнивье. Рядами стоят старательно уложенные копны, и — в груди вдруг разливается тепло — я вижу впереди трех человек!

Две женщины в белых платках и мужчина в заношенной шляпе стаскивают в кучу снопы.

Они, совсем как в мирные дни, выполняют свою будничную работу. Точно нет ни войны, ни ружей!

— Люди, помогите!

Никогда в жизни я не кричала таким громким голосом. Ах, нераскрытые возможности, неиспользованное мастерство!

Трое на поле останавливаются. Смотрят, приставив к глазам руки.

Почему наши конвойные не разбегаются? Почему не бегут прятаться за копнами? Ведь рядом люди! Они не дадут убить нас! Эти люди, что любят животных и любят природу, разве они могут оставить в беде себе подобных?

Рууди украдкой нервно сжимает мое запястье.

Что, Ватикер все еще сопит рядом?

Нет, не испугались они моего крика, эти белолычие мужики и астматический Ватикер. Белые кепки носят боязливые старики...

О, дети природы, дети природы! Выпали у вас из рук снопы, и остались валяться на поле вилы, и грабли, и ведро с водой.

Омерзительно звучит хихиканье наших конвоиров. Живот у Ватикера колышется.

— Эстонский народ еще далеко пойдет! — зло восклицает Рууди.

— Эстонский народ всегда с нами! — в экстазе вскрикивает Ватикер.

— Небо голубое над тобой...— войдя в азарт, напевает один из мужиков.

— Все очистить, очистить от красных,— вторит тот, что недавно икал.

— А я чахотки боялся! — говорит про себя с удивлением Рууди.

— И земля почернела, та, что потом напоили...— пел все более распалывшийся приверженец отчизны.

— Все чтоб чисто было от красных! Пусть сгинет это нищее стадо новоземельцев, и все, кто на красных молились, пусть сгинут!

— Рубаха белая, из рода в род, что грудь эстонцу прикрывала...

— Ты отчий рай, крикучий край, ты с петушиным горлом сказочный народ,— перебивая охранника, орет разъяренный Рууди.

— Могильщики, неужто все надеетесь? — смеюсь во всю мочь.

— Ты лучше помолилась бы, дочь блудная,— шепчет очнувшийся от общего галдежа Ватикер.

Вдруг мужики умолкают и вскидывают ружья.

Аист!

Сраженная, падает огромная птица.

И я никогда не видела, как аисты учат на желтом жнивье летать своих длинноногих аистят.

По бровям резанул белый козырек.

Надеялась как-нибудь взглянуть из иллюминатора самолета на эту землю, по которой снуют человечки, на землю этих человеческих созданий, которые сверху выглядят, наверное, такими мирными и трудолюбивыми муравьями. До той самой минуты, как... Как же это Ватикер сказал? Землицу пожевать! Землицу пожевать!

Неужели мы с Рууди и в самом деле оказались на последней черте?

Дорожка больше не виляет — устрашающе прямая, она обрывается перед ольховой стеной.

— А я боялся чахотки, — бормочет Рууди возле меня.

«Как там замужем?» — спрашивала та, что в нашей камере харкала кровью и на которую мы сваливали все одежды, потому что думали: тепло успокаивает, тепло лечит.

О чем думал Антон, когда он в Иерусалимском сосняке слышал последние живые голоса?

Антон и Кристьян, махавший мне белым платочком. Мужчины в порту не должны были ждать у моря погоды.

Может быть, Ватикер со своими сообщниками надеется, что мы с Рууди выкинем белый флаг — поднимем руки, и станем молить, и сгинем под их улюлюканье...

Лишь животные бегут в заросли и дрожат.

То ли старый Сязе на хуторе Нигула, то ли старый Нигул на хуторе Сязе?

Рууди они могли бы оставить в живых.

Стена корявого ольшаника уткнулась в лицо.

Бежать? Спасаться?

Нет, нет, тогда верная смерть.

А пока еще есть крохотная надежда.

И нога моя не коснется порога на хуторе Сязе. А вдруг?

Ольшаник расступается.

Все. Случись, что рухнет кочковатый край обрыва и тропка подроется. Впереди журчит речка, внизу, прямо под нами, — тихая излучина с белеющими кувшинками.

Стоим спиной к воде.

У распевшегося приверженца отчизны в уголке рта приклеился потухший окурок.

Ватикер смотрит на циферблат своих карманных часов и, защелкнув крышку, стучит по ней с секундной размеренностью.

— У нас... времени-то нет! — икает третий. В его широко раскрытых глазах копошатся полуденные кошмары.

— Оставьте в живых моего сына.

Все, на что я способна.

Ружья, вскинувшиеся для наведения в цель, дрогнув, опускаются вниз.

Мужики смотрят на Ватикера, мои же глаза ищут на желтом жнивье аистов, которым уже пора учить летать своих длинноногих аистят.

Нет ни птиц, ни людей.

Все живое выкачано из-под земного купола.

— В его пистолете не хватает одного патрона. Почему он не остался с нашими людьми, а пошел с тобой? Почему он убил Оскара?

Как мило Ватикер извиняется. Интеллигентный человек.

Тяжелая Руудина рука обнимает меня за плечи.

— Еще нежности разводят, сволочи! — орет поклонник отечества.

— Эстонскому народу надо пустить кровь, — вторит его сообщник и, скрипя зубами, дает выход скопившейся злобе.

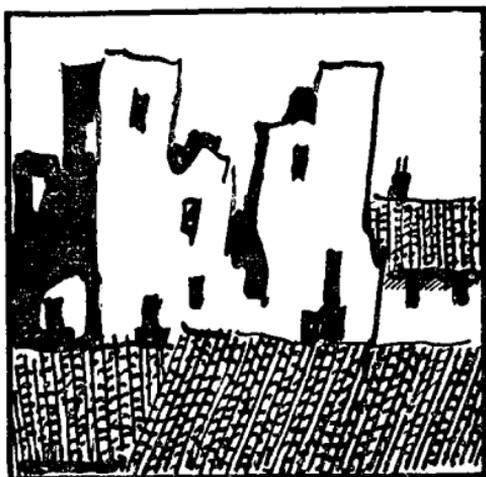
— В воду! — дышу в ухо Рууди.

Делаю шаг вперед. Рууди бросается в темнеющую излучину реки. В мутной пелене возбуждения раскрытый рот Ватикера — вот тебе и на! Розовая корзина нахлобучивается на голову! Конвойным — одному и другому — ногой в пах! От выстрелов вздрагивают ольховые листья. Вцепляюсь зубами в приклад, руки ухватываются за горячий ствол... Отдирается мясо от костей, лицо, будто занавес, расплзается в разные стороны.

Прохладная вода. Прох...лад...

На колышущейся поверхности воды покачиваются кувшинки.

Таллин, 1963—1965.



старые дети
РОМАН



Мирьям болтала ногами, теплый ветерок ласкал ее голые пятки. Ох вы, мои бедные, натруженные, выдавшие виды ноженки, думала она. Подвинувшись немного, Мирьям стала срывать пальцами ног листочки с дерева. Если по черепкам можно изучать историю, то почему нельзя что-то узнать по шрамам? Мирьям осторожно, будто историческую находку, поставила ногу на тот же гладкий от сидения сук, на котором громоздилась сама. Раньше колени ее были всегда изранные или в ссадинах — да и можно ли бегать и носить-ся без того, чтобы иногда не споткнуться и не грохнуться наземь! Когда человек выбирается из детства, то уходят в небытие и старые ссадины, с годами и раны становятся больше и рубцы остаются надольше. В ми́нувшую зиму Мирьям, катаясь на лыжах, упала коленкой на острый камень. Раз уж ты неуклюжа, то скрипи зубами, терпи. Мирьям привыкла к тому, что ее никто никогда не жалел. Да и у кого найдется в войну время, чтобы нянчиться с коленкой бестолковой девчонки? В тот раз Мирьям плюнулась на свою коленку, похожую на маковый бутон, и думала, как бы ей с честью выкарабкаться из этой дурацкой истории. Она крепко перевязала носовым платком зияющую рану, булавкой схватила разодранную штанину лыжных брюк, чтобы морозу не добраться было до пораненной ноги. Так она с трудом дотащи-лась до дому,

нога за это время одеревенела, прямо хоть костыль под мышку. Колено долго не заживало,росло дикое мясо, и теперь вот остался широкий шрам. Да невелика беда, главное, что ноги ходят. Вот когда она однажды спрыгнула с забора и лежавшие в высокой траве навозные вилы вонзились ей в подошву всеми тремя зубьями, то пришлось хромать целых два месяца. Так и ковыляла — одна нога обута в тапочку, другая — в галошу. Беда эта случилась давно, еще до войны, на пороге детства, перед школой.

Мирьям поставила на сук и другую ногу и крепко, чтобы сохранить равновесие, оперлась спиной о ствол дерева. Если уж отсюда загремишь, то не соберешь костей, сомнения в этом не было.

Мирьям прекрасно понимала, что ей давно следовало бросить свою резиденцию. Забирайся сюда, как вор, и следи по сторонам, чтобы никто тебя не увидел. Без конца донимают, — мол, вроде бы выросла уже, а все по деревьям лазает. Взрослые всегда хотят навязать свою волю, их прямо бесит, если не могут на своем настоять. В случае необходимости не останавливаются даже перед низостью. Если хотят пристыдить, говорят: ведь уже взрослая — и осуждающе качают головой. Но если потянет их секретничать, то сгрудятся вместе и давай хихикать как дурные, а на тебя руками машут: ты еще ребенок, лучше не суй сюда свой нос. Не стало справедливости на земле. Жизнь ведь принадлежит всем поровну, все хотят видеть и слышать, — а вот взрослые думают, что им на любопытство выданы льготные карточки.

Мирьям осторожно уселась, скрестив по-турецки ноги; настал черед исследовать и свои многострадальные пальцы на ноге. В войну им здорово досталось — в те дни, когда Мирьям носила обувь нового образца. Ее она изобрела сама — обрезала у довоенных закрытых туфелек носки. Избавленные от тесноты пальцы выпирали через край носка и чувствовали себя свободно. Своей новой обувкой Мирьям вмиг обрела среди других детей известность. Вскоре все щеголяли с голыми пальцами. Однако продолжалось это недолго: человеческая кожа нежная и легко наживает мозоли. Над Мирьям стали издеваться — так ведь хлеб первопроходцев никогда не был сладким. У самой Мирьям пальцы на ногах тоже огнем горели, но она вымучивала улыбку и повторяла, что никогда еще у нее не было столь удобной обуви. Под-

даваться боли было нельзя. Взрослые и без того говорили, что лучше было бы дать объявление в газету и обменять тесные туфельки на больший размер. Интересно, у кого же это ноги ссохлись? У Мирьям они, во всяком случае, до сих пор продолжали расти, да и у других, слышать, тоже. Мирьям вздохнула. Ничего, теперь война кончилась, настанут лучшие времена. Скоро у всех будет мягкая и по ноге обувь. Мирьям усмехнулась. Уж она-то в это не верила, но пусть поговорят да потешатся. Кое-кто бывает сыт и воздушными замками, как будто ему в руки сунули толстый ломоть хлеба. Эдакую краюху с маслом и медом. Откусишь — и от блаженства в глазах туманится.

Мирьям с грустью подумала, что, может, именно сегодня она в последний раз забралась в свою резиденцию. В войну резиденции вошли в моду, все деревья вокруг были поделены между ребятишками. Соседская девчушка, которая боялась залезать на ветки, притащила под яблоню ящик и устроилась на нем.

Сегодня Мирьям забралась на дерево с ясной целью, захватив с собой оставшиеся от бабушки очки с синими стеклами. Мирьям была уверена, что именно бабушка был тем, кто когда-то сказал: каждый человек должен хотя бы раз в жизни увидеть солнечное затмение, иначе не стоит жить. Кто его знает, Мирьям и раньше замечала, что все самые важные и приятные мысли она стремилась задним числом приписать бабушке. Будто он оставил после себя целый кладезь мудрости. Может, он где-нибудь в самом деле спрятан — в войну все перепуталось и смешалось, попробуй найти что-нибудь.

Мирьям старалась отогнать мысли об умерших людях и найденных вещах, которые то и дело одолевали ее.

Она вздохнула и натянула на нос очки.

На темных ветках висели грузные, будто выкованные из свинца, синие листья. Свои многострадальные ноги она явно окунула в чернила. Заросшее сорняком подножье дерева, казалось, проваливается в бездну; Мирьям ухватилась обеими руками за ветку, чтобы не кружилась голова, уставилась в небо. Синие облака дышали холодом, вот-вот начнут сечь свинцовым дождем землю. Вдали рокотал гром — это по булыжной мостовой грохотали колеса телеги. Море поднялось в небо и утопило солнце.

Постепенно ужас, навеянный синим миром, рассеялся. Мирьям смогла более трезво оценить окружающее. Де-

душка всегда говорил, что люди ничего не должны забывать, поэтому у Мирьям вошло в привычку испытывать свою память. Сейчас кое-кто мог бы всплеснуть руками и сказать: невероятно, но Мирьям действительно знала, что в начале войны на этом самом месте вырыли окопы. В окопы набралась вода, и никому, кроме детей, не было дела до этих извилистых канав со стоячей водой. Однажды весной в половодье там утонул мальчишка. Какое-то время дети держались подальше от окопов, но вскоре по-прежнему стали через них прыгать. Не играйте со смертью, предупреждали взрослые. Но отказаться от сладостного страха было невозможно. Бедные детишки военного времени, сокрушались женщины, устав вмешиваться в их рискованные проделки. И раньше в трудные времена, бывало, пропадали дети. Не могли же взрослые ежеминутно держать судьбу за хвост.

Этой весной полуосыпавшиеся окопы завалили, и бывший парк разбили на огороды. «С лица земли исчезают раны и шрамы», — прочла в газете Мирьям.

Теперь на залеченном лице земли росла картошка. Синяя ботва кустилась вовсю, и среди листвы покачивались мелкие соцветия. Какой-то наивный человек посадил на грядке горох, и туда среди бела дня ходили за стручками. Зато никто не мешал спокойно цвести синим нсготкам.

Солнце по-прежнему мерцало в пучине моря, и над ним чередой проплывали облака. Может, затмения и не будет? Кому же это под силу — рассчитать по минутам само движение небесных тел. Одна пропаганда.

В послеобеденные часы никто не приглядывал за огородами. Люди ночью поочередно стерегут свою картошку. По весне таскали на перекопанную почву печную золу, и тогда земля выглядела безжизненной, будто была обожженной.

На развалины Мирьям старается не смотреть, что там за радость — синие трубы уставились в небо, как угловатые пугала. Мирьям ненавидела кошмары, всю зиму ей пришлось спать с ними в одной постели. На самом деле это душили одеяла, пальто и шерстяные платки, которые приходилось натягивать на себя из-за нетопленной комнаты, душили, пожалуй, страшнее, чем это смогла бы сделать свора тощих привидений.

Мирьям вытянула синюю ногу и попыталась ухватить пальцами темные свинцовые листья. Скучно! Сук же

жесткий, долго не усидишь — больно станет. Во имя великого мгновения приходится сносить телесные муки. По-ди, не каждый день смолят солнце.

Кто это там бродит меж картофельных борозд?

Мирьям забыла о солнечном затмении, подалась вперед, так что закачался сук, и протянула руку, чтобы отодвинуть в сторону листву. Странный вор! Опустился в борозде на корточки, держит портфель под мышкой. Две синие женщины, скрестив руки, стоят в стороне.

Мирьям стянула с носа очки. Мужчина, видно, очень дорожил своим парусиновым портфелем, так что не решался положить его на землю. Вот ведь незадача какая, он как будто хочет что-то поднять с земли, но прижатый локтем портфель мешает этому. И, как назло, еще и кепка сползает на глаза. Женщины и ухом не ведут; вот истуканы, не могут человеку помочь. В последнее время тут и там находят разное добро, кто знает, что это они за клад в картошке отыскали. Странно, что в такую жару мужчина обут в сапоги, ходил бы лучше босиком. Мирьям болтает ногами, воздух совсем теплый.

Из-за ботвы показывается полосатый, черно-белый узелок, совсем как куколка бабочки. Мужчина держит находку на вытянутых руках, может, хочет отдать ее женщинам. Те судорожно прижимают руки к груди, и виду не подают, что им что-то протягивают. Прижатый к боку портфель все же соскальзывает наземь, одна из женщин не спеша наклоняется — видать, у нее болит поясница — и берет портфель за ручку. Что же это такое мужчина взвешивает на руках? У насекомых столь больших куколок не бывает. Вдруг из земли вылез снаряд? Однако по виду узелок на снаряд не похож. А может, его нарочно обмотали тряпками? Собираются унести и обезвредить. Главное — с такой ношей уже не споткнешься, и взрыватель нельзя трогать. Не то придется потом сидеть в компании с ангелами на облачке и от нечего делать трепыхать крылышками. Ну, он уже взрослый, сам должен знать.

Любопытство так и подгоняет Мирьям.

Она поднимает к глазам синие очки и испытующе глядит на солнце. Затмение, наверное, будет еще не скоро. Да, впрочем, его с земли можно наблюдать. Намного ли ближе к небу верхушка дерева?

Мирьям охватывает ствол обеими руками и начинает сползать вниз. В одном месте расстояние между ветками

слишком большое, опереться пальцами не на что. Того и гляди, живот обдерешь. Подошвы и без того горят. Мирьям спрыгивает в сныть и кладет в карман очки, которые она до сих пор держала в зубах. Размышлять о том, действительно ли она в последний раз поднималась в свою резиденцию, у нее уже нет времени.

2

Мирьям на цыпочках переступает из борозды в борозду — лучше не оставлять за собой следов. Она пробирается сквозь проволочное ограждение вокруг огородов и не спускает глаз с мужчины, несущего в руках загадочный узелок.

Женщины спешат на некотором отдалении впереди мужчины. Не стали бы они так улепетывать, если бы сзади не несли снаряд. Мирьям тоже знает, что от опасности разумнее держаться подальше. Но заставить себя остановиться она не в силах.

Все трое сворачивают с вьющейся за развалинами тропки во двор углового дома.

Мирьям делает небольшой крюк в сторону покосившихся сараев и останавливается на тротуаре. Отсюда весь двор как на ладони. В войну забор постепенно перевели на дрова, дымоходам и трубам достался лишний глоток дыма — теперь меж каменных столбов осталась одна калитка.

Мирьям нерешительно распахивает ее. Заржавевшие петли скрипят.

И откуда только народ взялся? Мирьям пробирает дрожь, словно ей за шиворот плеснули холодной воды. Ей не по себе, когда на приступках стоят люди. Будто ступеньки поставлены для того, чтобы все могли смотреть, не загоразивая другим. Спускайтесь, подходите ближе — но нет, двор пустой. Опять все делают вид, что происходящее их не касается.

В свое время, когда выносили бабушку, крыльцо переднего дома также кишело людьми и никто из них и шагу не сделал, чтобы сойти. Что они, боялись гроба? Или бабушку в гробу? Мирьям была тогда до слез оскорблена тем, что жильцы чурались бабушки.словно стоявшие на крыльце отрешились от памяти по бабушке и одновременно давали понять, мол, постарайтесь сами справиться со своим несчастьем. Нас уж лучше не тре-

вожьте. Потом Мирьям буквально оторопела, когда мама сказала, что жильцы стояли в почтительном отдалении.

Вот и пойми этих взрослых!

Казалось, землетрясение качнуло крыльцо и смахнуло с него людей. Они толпятся и тянут шеи, чтобы разглядеть узелок, который незнакомый мужчина положил на дно бочки. Мирьям не смогла воспротивиться внутреннему побуждению и тоже пробралась поближе. Сухопарая старуха, по прозвищу Горшок с Розами, беспрерывно попыхивавшая небольшой трубочкой, и на дюйм не сдвинулась с места. Мирьям тянулась, чтобы заглянуть через ее плечо. От резкого табачного чада защипало в глазах. Мирьям все же увидела, что незнакомый мужчина одет в полосатую рубашку и что пуговка под воротником у него болтается на ниточке, вот-вот оборвется. Мужчина уставился в землю и отступает в сторону, словно из желания дать пуговице больше простору для падения.

Мирьям видит полосатый сверток.

До этого мгновения Мирьям полагала, что свою долю всяких неожиданностей она уже получила сполна.

— Итак, граждане свидетели, теперь придется чисто-сердечно выложить, каким образом умерла эта крошка,— произносит мужчина.

Кашлянув, он достает из кармана носовой платок и начинает вертеть его, словно размышляя, стоит ли ему все-таки сморкаться.

Грудной ребенок с синим лицом уставился застывшими синими глазками прямо в небо. Вместо рта у него малюсенький, без единого зубика синий кружочек. На головке у младенца чепчик, выпачканный в земле, тельце завернуто в пеленки. Белый сверток обвязан черным шелковым чулком, концы его где-то под коленками накрепко стянуты узлом.

— Так кто будет говорить первым? — настаивает мужчина.

Он и не пытается скрывать своего ворчливого тона. Нагнувшись, он подкатывает чурбак, на котором колют дрова, чтобы сесть. И опять он занят тем, чтобы удерживать все свои вещи. Парусиновый портфель обязательно должен находиться у него под мышкой, меж пальцами трепещутся чистые листы бумаги, которые никак нельзя уронить в пыль. Карандаш он все же догадывается сунуть за ухо.

Прикрыв растопыренными пальцами бумагу, мужчина сидит на чурбаке и выжидающе смотрит на женщин. Он прикладывает кончик карандаша к языку и слюнявит грифель. Все, затаив дыхание, следят за карандашом. Мирьям чувствует, как у нее в голове раздаются команды: говори, признавайся, объясняй! И ей становится как-то неловко оттого, что сказать нечего.

Тут женщины начинают наперебой тараторить. Мирьям удивляется и с почтением глядит на говорящих. Эти люди пустое молоть не станут. Сколько всего они успели заметить!

Позавчера какая-то барышня в шляпе и кофточке в горошек подозрительно долго разгуливала за картофельным полем. Еще одна женщина в мешковатой юбке, кряхтя, уселась передохнуть под кустом. А не мог ли принести мертвого ребенка старик, который недавно бродил здесь? Он то и дело опускал на землю корзину, покрытую цветастой тряпкой, и поглядывал на окна, будто боялся погони. А мужчина с вещевым мешком? Зачем ему надо было останавливаться под вязами и закуривать? У самого руки дрожали, полкоробки спичек извел, прежде чем прикурил.

Язык у мужчины, сидящего на чурбаке, стал от карандаша совсем фиолетовым. Положив портфель на колени, он усердно пишет. Время от времени задает вопросы. Бабья трескотня обрывается, женщины окидывают следователя сердитым взглядом, словно ему нельзя вмешиваться в их объяснения. Пусть не мешает им обсуждать меж собой происшедшее! Временами деловой разговор, того и гляди, перейдет в спор. Ясно лишь одно: детоубийцу надлежит найти и наказать самым строгим образом.

Мирьям старательно разглядывает синее личико, которое виднеется из полосатого свертка. Уж не забыла ли она снять очки? Мирьям шарит по переду платья, рука утыкается в оборванный с угла карман. Пальцы нащупывают округлую проволочную оправу.

Лежащий на дне бочки младенец умер прежде, чем начал говорить. Этот ребенок никогда не произнес с сожалением: и для чего только я родился на белый свет? Уши у Мирьям начинают гореть. Просто позор, что она, будто сентиментальная дурочка, порой поддается минутной слабости и по ночам спрашивает у подушки: зачем? кому я здесь нужна?

На дворе собирается все больше людей. Откуда они узнали? Будто все ближние деревья были усеяны бездельниками, которые забавы ради разглядывали картофельные борозды, чтобы примчаться к мужчине, нашедшему узелок, с вопросом — в чем дело? Подошедшие напирали сзади, вытягивали шею, пялили глаза и требовали ответа: кто убил ребенка?

— В наших краях черных чулок никто не носит! — заверяет кто-то дрожащим голосом.

Мирьям прижали к спине Горшка с Розами. Ну и влезает же табаку в эту трубку, все еще чадит. Мирьям готова уйти, но какое-то непонятное чувство долга устами доброжелателя нашептывает: запомни, запомни. Глупость, думает Мирьям, разве такое забудешь? Мирьям хочется пропустить и других вперед, ей кажется, что все должны своими глазами увидеть мертвого ребенка. Может, у них не было умного дедушки, который сказал бы им, что есть вещи, которые надо запомнить навсегда. Мирьям вздыхает. На мгновение ей представляется, как она, сторбленная старушка, готовится уйти в потусторонний мир, но земля не принимает ее. Наконец ей припоминается полосатый сверток, и старушка по имени Мирьям облегченно улыбается, словно давивший ее в груди кошмар вдруг дружески помахал и исчез.

Неожиданно диск солнца тускнеет, будто на него обрушился проливной дождь. Люди начинают ерзать, кое-кто робко, втянув голову в плечи, озирается; разговаривают шепотом — секретами-то все равно надо делиться.

— Что вы с этим ребенком сделаете? — спрашивает Мирьям и сама пугается своего громкого голоса. Дура, клянет она себя. Ведь ясно, что мертвых хоронят.

Мирьям выглядывает из-за старухинового уха, стараясь поймать взгляд мужчины. Ответ последнего нисколько не согласуется с его грустным взглядом:

— Сварю щи.

Он встает, сдувает с бумаг пылинки, которых там нет, свертывает исписанные листочки в трубочку и сует их за пазуху. Расстегнув ремни своего парусинового портфеля, он просит Горшок с Розами подержать его открытым. Затем берет перевязанный черным чулком сверток, взвешивает его на руках и запикивает мертвого ребенка в портфель.

Мирьям не может это вытерпеть. Мурашки бегут у нее

по телу. Она прижимает локти к бокам, втягивает голову в плечи и, пятясь, выбирается из толпы.

Домá между тем заметно потеснились. А вдруг старые здания устали? Наверное, хотят повалиться прямо на улицу, сомкнуть навесы, чтобы шепотом сетовать о своих деревянных ревматизмах и каменных одышках.

Окна у них пустые и темные, будто глаза больного. Становится все темнее. На столбе дремлет ворона. Мирьям хочется куда-нибудь спрятаться. Она перебегает через улицу и укрывается за воротами. Какая-то собачонка подползает к ней, укладывается возле ног и свертывается клубочком. Света нет, но шерсть на затылке у собачки поблескивает.

— Золотой песик, золотой ты песик,— замороженно шепчет Мирьям.

На ветках вербы тихо щебечут какие-то маленькие птички. Мирьям пытается выйти из оцепенения. Сейчас навалится сон, и она ляжет спать рядом с собачкой. Сновидение кишит резвящимися щенками, там нет детоубийц и тех, кто варит щи невесть из чего.

— Нет! — Мирьям заставляет себя очнуться. Дедушка ведь сказал, что каждый человек должен хотя бы раз в жизни увидеть солнечное затмение. Она встряхивается, сбрасывает сонливость. Выйдя из-за ворот на сумеречную улицу, она направляется туда, где навесы крыш и чердаки не затеняют неба. Она продирается через проволочную ограду, проволока за ее спиной звенит, словно струна. Посередине картофельного поля самое лучшее место, чтобы наблюдать затмение. Дедушкины синие очки ладно сидят на носу. На небе виднеется черный диск, с одного бока которого начинает мало-помалу разрастаться искрящаяся полоска.

3

Раньше, до войны, Мирьям верила женским байкам, что смерть подает о себе знак загодя. Старуха с косою особой выдумкой не отличалась, и приметы в большинстве были по-человечески обыденными. Близкие будущего покойника слышали стук в окошко, в дверь или потолок. Видно, смерть готовилась прийти и подыскивала дыру, где бы ей удобнее было протащить свои кости. Иногда от такой однообразной стукотни у нее начинали ныть костяшки пальцев — или, может, костлявой надоедали

одни и те же обычаи — тогда она принималась мяукать, с отвратительным хрустом грызть стекло или с чавканьем поедать своих собратьев — пауков-крестовиков. В другой раз на нее находила ужасная тоска, и она завывала и повизгивала за вентиляционными решетками, гудела и свистела в дымоходах. Когда смерть сердилась или у нее болел живот, она бушевала в подполе. Расшвыривала бутылки и звонкие березовые поленья, размахивала колуном так, что сверкало лезвие, и изображала из себя палача над пустым чурбаком.

В войну люди нагнали страху на костлявую, и в ее проделках прежней удали уже не было. В смертных делах люди сами по всем статьям превзошли безносую. Перед тем как умереть дедушке, скребшаяся в окно ветка заранее подала знак, что старуха с косою бродит поблизости. В войну только избранные души отправлялись из-под одеяла и из теплой комнаты в царствие небесное, куда чаще становились свидетелями смерти окопы и придорожные канавы. Легкий стук в окошко уже никого в дрожь не бросал — кончину человека обозначали выстрелы, обвалы, взрывы и вздымавшиеся к небу искры пожаров.

Хотя у Мирьям не было основания жаловаться на недостаток жизненного опыта, во многих вещах она просто ничего не смыслила. Раньше плакали чаще, даже вымерзшее дерево вызывало слезу. Теперь говорили спокойно, что тот или другой умер, расстрелян, околел на морозе. Возле синелицевого ребенка никто не утирал слезы, неужели им совсем не было жалко, что ребенок умер раньше, чем начал говорить?

Мирьям закладывает руки за спину и расхаживает по двору, брови ее нахмурены, и где-то у самого сердца сосет смутная тоска. Война кончилась уже давно, весной; наступил разгар лета — столько мирных дней! — почему все не стало по-прежнему? На минувшем поставлен крест, мало ли что кое-где с оконных стекол до сих пор не смыты полоски бумаги. В свое время перед окнами подвального этажа для защиты от бомбежек были уложены мешки с песком. Теперь мешковина истлела и песок рассыпался. Война кончилась, кончилась, кончилась!

Да и у самой сердце как из камня, мысленно выговаривает себе Мирьям. Пялилась она, как и все, на посилившего мертвеца и говорила глупости. А когда-то чуть было не помешалась от горя, увидев повешенную кошку Мурку.

Мирьям стонет под тяжестью вины и не знает, как избавиться от этого груза. Она трусит по кругу — раз-другой, — может, тоска развеется? Притопывает ногами — авось из-за пазухи вывалится тяжесть? Размахивает руками — глядишь, станет легче на душе?

Не будь этой ноющей боли, Мирьям решила бы, что она бежит во сне. Да и как могло быть иначе? Там, где сейчас лежали груды камня, тогда стояли дома. Темные двери поскрипывали, в каком-то открытом окошке, удерживаемый руками, трепыхался вверх и вниз ярко-желтый кусок материи.

Мирьям казалось, что она никак не стронется с места. Будто приходится всю дорогу подталкивать каменную плиту, которую ни за что нельзя столкнуть в канаву.

Один из домов словно бы всосал их в себя. На шишковатых сучках истертого пола можно было раскачиваться. За серыми дверьми длинного коридора слышалось невнятное бормотание, оно звучало устрашающе, и у Мирьям была надежда, что мама ни в одну из дверей не толкнется. Мирьям споткнулась о мамину пятку, мама запыхалась. Ее пальто отдавало осенью, будто материя была соткана из намокших веток. Мирьям подняла голову. Потолок был поврежден, драночные плиты лишь местами прикрыты штукатуркой.

Из-за какой-то двери вышел мужчина в синем халате, он отставил руки назад, словно приготовился к прыжку в воду. На миг застыл в нерешительности, затем подался вперед, его костлявые кулаки сжимали ручки носилок. Медленно выплыла из проема лежавшая на брезенте фигура. Мужчины в синих халатах с носилками в руках стали приближаться из глубины коридора.

Мирьям прижалась спиной к стене, чтобы пропустить их. Мамина рука была холодной и сдавила ей пальцы, будто хотела заставить Мирьям вжаться в стенку сквозь обтрепанные обои.

В больнице люди должны бы носить белые халаты, подумала Мирьям. Может, они одевались в синее из-за светомаскировки, чтобы не бросаться в глаза?

У них в коридоре до сих пор по ночам горела синяя лампочка.

Мужчины со своей ношей все приближались. Носилки проплыли мимо.

Мирьям вроде бы даже не поняла, почему по телу прошла холодная дрожь.

Почему лежавший на носилках человек был накрыт отцовым пиджаком?

Кто-то растворил одну из серых дверей и велел им войти. Мирьям остановилась и принялась считать оконные квадраты. Хотя люди и обходили ее, они все же мешали ей, не давая сосредоточиться. Она все сбивалась со счета. К тому же Мирьям не знала, можно ли разбитое с угла стекло считать за целое. Мирьям беспомощно оглянулась, будто хотела спросить совета, и увидела за столом женщину, которая водила пальцем по строчкам в толстой тетради. Наверное, и она тоже мучается со счетом, предположила Мирьям. На пухлом пальце у женщины поблескивало золотое кольцо. Она же никогда не сможет снять его — Мирьям почувствовала удушье, кто-то медленно, но решительно сжимал ей горло. Мама стояла возле стола, руки ее были заняты. Сумка раскачивалась, выжженная на фанере дубовая веточка с желудями начала слегка шуршать. Будто легкий ветерок тронул живые листья.

Женщина вытянула руку, ее пальцы ухватились за краешек белого табурета. Покачиваясь на неровностях пола, табурет подвигался к матери. Мама все не догадывалась сесть. Женщина навалилась грудью на стол, взяла графин и налила в стакан воды. Мама поставила деревянную сумку на пол, сумка со стуком повалилась набок. Мирьям, насколько могла, заткнула уши пальцами. Мама отпила глоток из стакана. Мирьям видела, что она никак не может проглотить воду.

Женщина сдвинула брови и принялась выдвигать ящик стола. Мирьям приподнялась на носки. В ящике лежало несколько коричневых бумажных мешочков. Женщина перекладывала их из одной руки в другую, пока не нашла нужный. Она потрясла им возле уха, раскрыла завернутый пакетик и вывалила содержимое на стол.

Женщина кончиками пальцев разгребла небольшую кучку. Отцовская расческа с тремя сломанными зубцами, клетчатый носовой платок. Два обтрепанных документа и тисненый, с гербовыми львами, поистертый кошелек для мелочи.

Женщина похлопала пухлой рукой по вздрагивающему маминому плечу. Затем поднялась из-за стола и, волоча негнущуюся ногу, потащилась по шишковатому полу к висевшему на стене телефону. Повелительно помахала рукой. Мама пошатываясь подошла к ней. Женщина под-

няла черную трубку, не прикладывая ее к уху. Мама пыталась набрать номер, ей с трудом удавалось попасть пальцем в нужное отверстие на диске.

Какого цвета был у отца пиджак? Мирьям силилась вспомнить. Она оглядела свое пальто. Синее, в серую елочку. Мама переделала его из старого, и на воротник не хватило материала. Отворотам не хватало опоры, и они коробились, словно листья капусты.

Какого цвета был у отца пиджак? Синий, ярко-синий, без единой полоски или пятнышка.

Женщина шевелила ртом возле черной телефонной трубки. Время от времени ее голова наклонялась вперед, и женщина сердито смотрела на маму. Она не скрывала своего нетерпения. У Мирьям появилось желание поднять с пола деревянную сумку и ударить женщину. Но в белых как мел пальцах у нее не было никакой силы, и ноги, казалось, были прибиты к полу гвоздями.

По дороге домой Мирьям видела в руках у прохожих синие зонты. А может, это и привиделось ей? Плеск дождя был единственным, с чем связывалась ее мысль. Лужи переливались через края, водосточные решетки с клеточком втягивали в себя воду. Мужчины в синих халатах убегали от дождя под виадук. Из каменных стен сочилась вода, и букашки полчищами сбегались на плесень. Серые елочки рисунка на пальто обернулись настоящими плавниками. Вода все поднималась, на поверхности ее кружились желуди. Мирьям барахталась так, что вода пенилась. Она плыла изо всех сил. Ей нужно было поймать отцовскую расческу, которую относил течением. Она схватила ее, поднесла к губам и начала наигрывать знакомый мотив, который в одном месте прервался. Мирьям начала было снова, мелодия опять оборвалась. Она поняла, что это из-за трех сломанных зубцов.

Улицам не было конца. По обе стороны стояли безмолвные дома, людей не было видно, хотя двери поскрипывали то тут, то там.

Она еще издали увидела эту одетую по-летнему женщину. Мирьям сбавила шаг и попыталась придержать и маму. Должна же эта женщина скрыться за дверью! Но та словно учуяла новость и выжидала с разинутым ртом, готовясь заглотать весть.

Впоследствии немало было людей, кому мама обрывочно, подыскивая слова, говорила о случившемся. Однако кто-то должен же был быть первым.

Женщина, пожелавшая стать первой, сказала маме: — Я тоже овдовела смолоду.

Мама начала всхлипывать. Дверь едва успела закрыться, как женщина уже вернулась со стаканом воды в руках. Или она предчувствовала, что весть будет тяжелой, и держала воду в коридоре наготове? Мама пила большими глотками и хватала ртом воздух. Она захлебнулась водой и закашлялась. Женщина постукивала маму по спине. Рукав кофточки на локте просвечивал.

Женщина хотела знать все.

— За что его убили?

— В портфеле было много денег.

Отец однажды рассказывал о ребенке, который тайком открыл портфель, нашел там пачку десятикратных ассигнаций и побросал деньги в горящую печь. Мирьям не помнила конца той истории: то ли отец пришиб сына, то ли сам повесился.

Деньги и смерть — это близнецы, решила Мирьям. Ей стало немножко жутко от сознания, что отец за каждую пятерку в школе платил ей по пять марок.

Со смерти отца прошло немало времени, и немцы уже убралась, когда Мирьям еще раз пришлось иметь дело с марками. Она пришла к своему школьному товарищу как раз в то время, когда ребята во дворе играли найденными где-то деньгами.

Какой-то парнишка из шумной компании взбежал на верхний этаж, перегнулся через подоконник коридорного окна и завопил во все горло:

— Внимание, пошел!

В следующий миг в воздух взлетела пачка денег, и бумажки начали медленно опускаться на землю. Деньги сыпались во двор подобно манне небесной, орава детишек взвизгивала и кричала, каждый пытался поймать купюру. Тот, кто больше всех успел нахватать бумажек, оказывался победителем и отправлялся с пачкой денег наверх, чтобы в свою очередь швырять их в воздух. Победитель смеялся до слез, остальные сновали вниз в облаках пыли, прыгали и вырывали друг у друга, хватали и подбирали. Никакого снисхождения, соперники оттапывали друг другу ноги, оттаскивали за волосы, кое-кто, подобно кузнечнику, подпрыгивал, чтобы поймать витающие над головами бумажки; кто-то бросился плашмя в пыль и прикрыл собой упавшие на землю марки.

Среди игры Мирьям вдруг остановилась, пораженная.

Запыхавшаяся, ей было трудно привести в стройный порядок свои мысли, но все же...

Не те ли самые это деньги, из-за которых убили ее отца?

Мирьям попятилась, ее пинали, отпихивали, она мешала играющим. Спина коснулась холодной каменной стены. Мирьям глядела разинув рот, как порхали бумажные деньги.

Отца нашли у подножья длинной лестницы, которая вела с горы в овраг.

Тогда он был еще жив.

Грабитель стоял на верхней ступеньке и держал в окровавленных руках пачку денег. Внизу, в темноте, стонала жертва.

Ничего другого Мирьям представить себе не могла. Она никогда не видела, как убивают человека.

Холодная каменная стена не способна была остудить Мирьям. Она все сильнее убеждалась, что именно из-за этой пачки денег и убили ее отца. У нее не было ни малейшего сомнения, что так оно и есть.

Мирьям сжала кулаки и ринулась к играющим.

Игра продолжалась. Мальчишки толклись что было мочи. Потные руки отталкивали Мирьям. Все с горящими глазами хватали деньги. Мирьям от злости напряглась, словно пружина. Она шмыгала среди игроков, давая подножку кому только могла. То один, то другой шлепался наземь. Только что тянувшиеся за купюрами руки начали замахиваться, чтобы ударить Мирьям.

— Вот мы тебе покажем! — цедили сквозь зубы мальчишки.

Мирьям бросилась бежать со всех ног.

Впоследствии Мирьям не раз дралась в одиночку с остервеневшими мальчишками. Это были жестокие, не на жизнь, а на смерть, схватки — только и всего, что в сновидениях.

4

Одно облако заблудилось, ринулось вниз и беззвучно разлетелось в клочья. Тысячи белых мотыльков рассыпались в воздушном пространстве между двумя домами. В воздушном пространстве? Мирьям усмехнулась.

В воздушном пространстве появлялись вражеские самолеты... В воздушном пространстве происходили жестокие сражения...

Стиснутый крышами клочок неба был весь в белую крапинку. Мотыльки порхали всюду. Они норовили залезать в открытые окна, они парили под стрехами, где в старину обитали голуби. Белые крылышки скрывали загаженные птичьим пометом стены. Казалось, что пляшущие мотыльки собираются закутать обшарпанный и грязный дом в белое покрывало. Порыв ветра принес с собой стаи новых мотыльков, раскаленный воздух мерцал и благоухал цветочной пылью.

Зачарованная Мирьям помахивала руками, словно крыльями. Тело ее стало невесомым, ноги не чувствовали земли, она была мотыльком среди мотыльков. Парила вместе с ними, застывала возле черневшего провала открытой в подвал двери и жадно вдыхала холодный воздух, которым тянуло из-под дома. На выступах каменного цокольного этажа распустились белые цветы, которые беспрестанно колыхались и меняли свои очертания.

Большие чудеса лета растопили сердце Мирьям. В ее воображении цвели одновременно и жасмин, росший в глубине сада возле воронки от фугаски, и вековечные каштаны, от которых остались одни пни.

Мирьям закружилась, от белых мотыльков перед глазами у нее зарябило. Она остановилась, отдышалась и попыталась вспомнить, видела ли она когда-нибудь прежде такое множество бабочек. Нет, видимо, они появляются только очень тихим и мирным летом. Мирьям запомнилась одна почтовая открытка, на ней, распустив волосы, бежала с сачком в руках краснощекая девочка. В голубом небе повисли неестественно крупные пестрые бабочки. Мирьям знала, как называют такие картинки: беззаботное детство.

Мирьям неловко усмехнулась. И сейчас можно было бегать с сачком в руках. Трудно ли вообразить, что у тебя светлые волосы и на макушке шелковый бант. Под ногами не пыльный двор, а цветущий луг, сплошь усыпанный ромашками. А над тобой — бескрайнее небо.

Мирьям пальцами ноги нарисовала на песке бабочку. Взгляду моему открылся голубой простор, торжественно пробормотала себе под нос Мирьям.

И кто его знает, что подгоняло этих людей, что заставило с мешками в руках толпой пуститься в путь. У них

не было ничего общего со стаей мотыльков. С сурово-строгими лицами, грузным шагом шли они гуськом по вязкой тропке между огородиков. По обе стороны в канавах струилась грязная вода. Подгнившие мостки перерезали поблескивающую темную ленту, местами течение преграждалось вкопанными в канаву бочками, обросшими зеленой тиной. Земля пошмякивала и как будто колыхалась под ногами. Мирьям слышала, под идущими в ногу людьми могут проваливаться даже мосты. А вдруг почва разверзнется? Может, под землей течет неведомая река или плещется бездонное илистое озеро?

И все равно Мирьям не решилась повернуть назад. Все шли, и она тоже чувствовала обязанность идти.

Впереди высились отвалы золы. По-над серыми холмами полыхала фабрика, она горела уже давно.

Когда дым начал вздыматься кверху и черные клубы его снизу окрасились в багровый цвет, людей охватил страх.

Вскоре уже казалось, что пожар слился воедино с горизонтом.

Между вчерашним и сегодняшним днем встала огненная стена, за ней сгорело прошлое.

В тот раз, когда с начала войны прошло лишь чуть больше двух месяцев, Мирьям не способна была понять, что же на самом деле происходит. Город будто охал, вздыхал, кашлял и хрипел. Сквозь гул и рокот завывали и взвизгивали пронзительные гудки. Одно событие набегало на другое.

Вдруг с гребня отвала начали скатываться колесные пары. Вначале они катились медленно и зарывались ничком в золу, взметая седые облака пыли. Стронутая ударом серая масса сдвигалась с места, оползала и открывала колесам новую дорогу. Теперь они неслись с безумной скоростью. С вершины серой горы переваливались через хребет вагонетки и, вспахивая золу, скользили вниз все быстрее и быстрее. Казалось, что гора хочет сбросить с себя все: под страшный грохот сверху неслись все новые груды железа. Они наскикивали на застрявшие у подножья горы колесные пары, вагонетки опрокидывались, колеса срывались с осей, перескакивали через весь этот железный лом и катились дальше, будто собирались одним духом докатиться до самого моря. Перед скользящими по откоосу рельсами скатывались волны золы, разыгралась

зольная буря, которая разметывала далеко вокруг серые хлопья.

Вдруг гора успокоилась. Туча золы начала медленно оседать. Крики о помощи и вопли стихли, однотонный гул снова обрел силу. Фабрика выбрасывала клубы огня и искры.

Понемногу из золы стали появляться призрачные фигуры. Кто-то, словно кошка, выгнув спину, поджидал, прежде чем поднять голову. Серые фигуры бесцельно бродили туда-сюда, отряхивались, исчезая в облаках пыли, кашляли и отфыркивались. Пепельные лица обращались к вероломной горе, никто не мог понять, что это вдруг встряхнуло ее внутренности.

Все мгновенно поседели. Вначале Мирьям решила, что это от страха у людей изменился цвет волос. С этой минуты так и пойдут они, седые дети, седые женщины, с вечной печатью этой седой горы.

Мирьям опустила на камень и посмотрела на фабрику. Нет, это было не просто горящее здание, а судно, которое несло под пылающими парусами. Благородный корабль, который выбросил из своего чрева бесчисленные кипы хлопка. Они упали перед горой, встали стеной и спасли людей от железной и зольной смерти.

Мирьям оцепенела, в ее уши ворвался смех.

Сзади стояли серые фигуры, серые руки были сложены на животе, люди смотрели на гору и в самом деле смеялись. Волоча в золе ноги, Мирьям направилась к остальным. Ей вовсе не было весело, но и она принялась хохотать. Ей было стыдно, но, несмотря на это, она тоже держалась за живот, который готов был надорваться от смеха.

После того как все успокоилось, люди принялись за тюки с хлопком. В крепко спрессованных кипах тлел огонь. В нос било резкой гарью, но, несмотря на это, люди вырывали скрюченными пальцами клоки ваты и швыряли их в мешки. Гарь разъедала глотку и вызывала кашель. Перед глазами ходили круги, в них плыли горсти хлопка. Все это вместе напоминало странную игру: перед пламенем пожара и горбатой горой золы стояли люди и швыряли в воздух легкие белые пригоршни — они летели и в мешки и под ноги в золу. Пир хлопка в какой-то далекой жаркой стране, где огонь наперебой с солнцем накалял воздух и каждый шаг поднимал вверх сухие шуршащие хлопья. Хлопковый пир, где можно было вволю раз-

гуляться,— в этой стране не было законов, не было ни запретов, ни указов.

Волокна ваты прилипали к потным рукам, Мирьям разглядывала свои пушистые пальцы. Ей вспомнилась давно услышанная страшная история, которая когда-то произошла на фабрике. Развязали тюк хлопка и обнаружили в нем расплющенную змею. От прикосновения змеиная кожа рассыпалась, остались хрящик и кривые зубы, на которых поблескивали кристаллики смертельного яда.

Мирьям и раньше замечала, как не к месту ей вспоминались разные вещи. Змея, которая могла оказаться в тюке, пугала ее. В голове как-то странно прояснилось. Мирьям была уверена, что стоит ей еще раз коснуться тюка, и яд оттуда попадет под ногти и всосется в кровь. Мирьям уже почти видела, как падает ее мертвое тело и хлопья золы волной сходятся над ней.

Аминь, хватит, решила Мирьям и вытерла руки.

Она отыскала камень, уселась и стала смотреть на фабрику. Ей было до боли жаль здание. Это исполинское с огненными парусами судно уткнулось носом в золу и уже никогда не сможет вырваться из серого плена.

А может, пришел судный день? Мирьям никогда не принимала всерьез бабьи рассказы о конце света. Ею владела уверенность, что, пока живет она, Мирьям, судного дня не будет. Здесь, у подножья горы, она впервые задумалась о продолжительности собственной жизни. Вдруг показалось возможным, что ее дни могут совершенно неожиданно закончиться. С какими глазами она в загробном мире посмотрит в лицо другим и скажет, что ах, я недавно ходила потрошить кипы хлопка. Воровка, в сердцах обозвала она себя.

Пришел вечер, и игра белых хлопьев кончилась.

Они снова шли гуськом по тряской земле. По обе стороны тропинки за проволочной оградой росла обычная капуста, с сонными червями на кочанах.

Пока не вскрикнула одна из женщин, никто и не подозревал, что они сами несут на себе огонь судного дня.

Женщина скинула мешок и начала вытряхивать его содержимое. Она разворошила кучу и выбросила тлевшую вату в канаву. Вода унесла полуобгоревший клочок. Какое-то злорадство охватило Мирьям, она не могла объяснить себе этого чувства.

Через несколько дней, когда от фабрики остались одни закопченные развалины, в подвалах окрестных домов то и дело вспыхивали маленькие пожары. Просачивающаяся гарь гоняла женщин с ведрами в руках в подвалы. Заходясь кашлем от угара, на этот раз они снова и снова наводили где-нибудь в сарае порядок. Содержимое мешка вытряхивалось на пол и тщательно перебиралось. Но искры, запавшие в хлопок, были живучими. Кое-кому пришлось по нескольку раз вытряхивать на пол свою добычу и тушить в ведре с водой клоки тлеющей ваты, пока зловещий чад не рассеивался. После этого содержимое мешков заметно таяло и некогда столь белая вата оказывалась перепачканной.

В те дни окрестные ребятишки превратились в неплохих ищек, которые с увлечением сновали по подвалам. Заметив что-нибудь подозрительное, они бежали наверх и хором кричали:

— Воришки, воришки, ваш хлопок горит!

Никто не хватал их за волосы и не наказывал.

Должно же у детей и в войну быть какое-нибудь развлечение, ведь в те времена не было нашествия белых бабочек, на которых можно было любоваться.

5

Мирьям знала, что от белых бабочек родятся вовсе не феи, а зеленые гусеницы. И все же неожиданно появившаяся белая стая пробудила в ней какие-то светлые чувства. В глубине души некий легковер возводил хрупкое здание надежд. А вдруг и в эти края вернутся старые добрые времена?

Действительность с необыкновенной легкостью разрушила призрачные стены воздушного замка. Куда бы ни устремлялась мысль, она всегда заходила в тупик. Мирьям не знала, как это поточнее выразить: то ли ее сжимает мертвящий круг, то ли она сама находится в кругу мертвецов.

В свое время, когда умер дедушка, родные торжественно провозгласили: он ушел от нас в царствие небесное. К другим применяли слова попроще. Отца убили. Дядю Рууди одолела чахотка. Бабушку разбил паралич. Тетю Анну застрелили, никто даже не знает, где ее похоронили.

Порастерялись и старые друзья Мирьям. Кто остался сиротой и был увезен родственниками, кто перебрался в деревню, а кто — в другой город. Соседская девчонка вместе с отцом и матерью удрала в Германию.

Даже белая лошадь, жившая у них во дворе, такая большая и сильная, и та не выдержала. В одну из долгих и мрачных военных зим она протянула ноги, испустила дух. Люди говорили: не выдержала животина. Конюшню разобрали, доски пошли на топку.

Осталась голая земля.

Мирьям не помнила ни одного лета, когда бы она чувствовала себя такой одинокой. Теперь можно хоть навесить на рот замок, отмыкать его только во время еды, и все. И сестра далеко, за время войны у Лоори ослабли легкие, и ее отправили в санаторий. Мама уходит рано утром, возвращается поздно вечером, с посеревшим лицом. Хлеб режет тонюсенькими ломтиками и без конца повторяет, что надо как-то перебиться.

У Мирьям и желания нет заводить новые знакомства. Да и кто бы мог заменить собой умерших или потерявшихся людей? Кто бы только мог счесть себя достойным!

Мирьям вздохнула и с благодарностью подумала о дедушке, который наказывал все запоминать.

Теперь Мирьям общается с воспоминаниями. Она испытывает удовлетворение от того, что воспоминания принадлежат ей одной. Прошлое нельзя терять в отвалах золы, как это случилось однажды с ключом. Никто не может присвоить чужих воспоминаний, их даже невозможно сжечь.

Мирьям может в своем воображении встретиться с кем угодно. Стоит лишь захотеть, и будет мигом придумано, что бы она написала отцу, если бы он был жив. А если как следует сосредоточиться, то можно представить и ответ отца.

В жизни Мирьям только однажды написала отцу, да и то это была приписка в конце маминого письма. Случилось это давно, в один из ясных зимних дней. Мороз трещал по заборам, и снег искрился. Мама же сказала, что синицы падают на лету. Если еда придает силу людям, то почему бы она не могла придать силу птицам и животным? Они приколотили за окном кусок фанеры, на который насыпали хлебных крошек. Синицы начали прилетать и совсем не боялись людей, которые разглядыва-

ли их сквозь стекло. Голод оказался сильнее страха, и синицы не пугались даже кошки Нурки, которая прилипла к стеклу передними лапами и щелкала зубами. Вечером Мирьям так и написала отцу о самом важном событии дня. Это было единственное, с усердием и трудом выведенное предложение:

«К НАМ ЗА ОКНО ПРИЛЕТАЮТ КОРМИТЬСЯ СИНИЧКИ НУРКА ЩЕЛКАЕТ НА НИХ ЗУБАМИ».

Теперь, задним числом, было чудно подумать, что Мирьям за всю свою жизнь не написала отцу больше ни единого слова. Еще более невероятным было сознание того, что она никогда не получала писем от отца. Почему же мама смеялась, когда Мирьям выводила печатными буквами слова в конце ее письма? Может, она просто не знала, что Мирьям составляет самое важное в своей жизни послание. Его уже никогда нельзя будет ни повторить, ни исправить.

Не раз Мирьям размышляла об этом единственном предложении. Она пыталась внушить себе, что всегда надо делать все так, будто настал твой самый последний день. Но Мирьям не была достаточно твердой, и из зарока ее ничего не получалось. Слепая вера в то, что ее час еще не настал, мешала ей всерьез воспринимать злую судьбу. Несомненно, что каждая песчинка на дворе голосила бы что есть мочи, если бы здесь больше не появлялись ее голые пятки.

Мирьям никак не могла привыкнуть к переменам.

На ее взгляд было что-то совершенно нелепое в том, что новые жильцы в доме никогда не видели бабушки. Попробуй поведай ты им о бабушкином халате-спасителе! Пожмут плечами, да и пойдут своей дорогой. Они же не знают, как это бабушка одетая плюхнулась в море, чтобы тонувшая подруга могла ухватиться за полы ее халата. Они даже в жизни не видели, как бабушка шла из винного погреба, держа графин в руке и распевая песни.

Что из того, что бабушку все время тянуло выпить, зато при ней в доме был порядок. Раньше, прежде чем въедут новые жильцы, бабушка всегда производила в пустой квартире ремонт. Сама белила потолки и обклеивала стены новыми обоями. Только и латай этот Ноев ковчег, ворчала бабушка.

Без бабушки жизнь покатила под гору.

Вчера будто из-под земли появилась какая-то чуд-

ная пара и в нерешительности остановилась возле дома, выходящего на улицу. Мужчина был в сапогах и слегка прихрамывал на одну ногу. На голове женщины красовалась свадебная фата, но обута она была в синие носки и белые теннисные туфли. Открыли ключом дверь лавки и стали устраиваться на житье в подвале. Было странно подумать, что они поставят кровать на каменный пол в каморке, где когда-то держали молоко, будут глядеть из окошка на тротуар и по утрам выходить прямо из комнаты на улицу.

А сегодня прилетели два голубя и начали устраиваться под пустым навесом.

Кто-то вымазал голубей в саже и повыдергивал из хвостов перья.

Прежде голуби прямо-таки лоснились на солнце. Это были совсем другие птицы, с роскошными сизовато-зелеными выгнутыми шеями. Под стрехой жила огромная голубиная семья. Они были словно прирученные орлы, весь двор наполнялся шумом крыльев, когда кто-нибудь бросал голубям крупу или крошки хлеба. Голуби пожирали еду жадно, устраивали из-за лучших кусков маленькие драки и много гадили. Под вечер они нахохливались и начинали сладко ворковать. Иногда устраивали представления для своих птенцов: пролетали низко над землей и дразнили разъяренных кошек.

Эта общипанная пара под стрехой была жалкой и робкой. Они словно раздумывали, стоит ли им поселяться тут.

Вдруг они прослышали что-то о судьбе своих сородичей?

В третье военное лето всех прежних голубей порешили.

С едой, как обычно, было туго — да Мирьям уже и не помнила, когда она в последний раз наедалась досыта. Бабы то и дело повторяли, что на рынке торгуют одними цветиками да приветиками, есть нечего.

Видно, именно бабушка и стала зачинщицей. Вряд ли кто из жильцов осмелился бы без разрешения хозяйки пойти на такое дело. К тому же бабушку окружал некий ореол власти, и к ней все относились с особым почтением. Ведь это она смогла подняться со смертного одра, далеко не всякий человек настолько крепок, чтобы пойти наперекор смерти. Мало ли что после паралича у бабушки слегка перекосило рот и что при ходьбе ей приходилось

опираться на палку. Все равно люди говорили, что с бабушкой произошло чудо. В те времена, даже когда палило солнце, бабушка не расставалась со своим халатом-спасителем. Длинные полы скрывали изуродованные болезнью ноги, издали бабушка казалась прежней — солидной, прямой и сильной.

Когда Мирьям очутилась во дворе, ловля голубей уже была в полном разгаре. Бабушка стояла на крыльце и отдавала приказания. Бабы рассыпали перед дверью прачечной хлебные крошки и медовыми голосами приманивали голубей. Все: гули-гули-гули! Голуби не заставили себя долго упрашивать, и они в эти годы прозябали на скудных кормах. Не иначе как подумали, что наконец-то вернулись лучшие времена. Птицы кружили плотной стаей, шумно били крыльями и одна за другой опускались на землю. Они жадно клевали, некоторые, побойчее, насакивали на других — но и то, пожалуй, скорее от озорства, чем от злости.

Когда голуби, расхватывая последние крохи, сбились в кучу, бабы, выжидавшие подходящий момент, набросили на голубей кружевные занавески.

Птицы начали остервенело биться. Они пытались разорвать крыльями сети, запутывались еще больше, ломали свои птичьи косточки и теряли перья. Спасения не было. Бабы подкатили деревянную кадку с крышкой, залезали руками под сети и совали схваченных голубей по одному в кадку. У Мирьям заколотилось сердце, будто кто ее саму схватил полными руками за грудки. Каждый раз, когда приоткрывали крышку кадки, оттуда летели перья.

Бабушка уселась на крыльцо и неестественно рассмеялась. Мирьям душил страх. Она опустила рядом с бабушкой и внимательно смотрела на нее. Перекошенный бабушкин рот дергался, ее неверные пальцы почему-то поглаживали засаленные обшлага халата-спасителя. Мирьям охватило отчаяние, бабушка вдруг превратилась в глупого ребенка. Мирьям почувствовала, что ей надо отвечать за бабушку. Никогда раньше ей и в голову не приходило, что бабушка дряхлая, а она, Мирьям, наоборот, — сильная. Мирьям хотелось как-то поддержать бабушку. Будто они с этого момента поменялись ролями: бабушка была ее плотью и кровью. Мирьям взяла своей ручонкой больную бабушкину руку. Рука была белая, жилистая и холодная. Мирьям гладила дрожащую руку,



бабушка даже не взглянула в сторону внучки. Может, у нее кожа стала бесчувственной?

Занавески валялись на земле. В вышитых шелковыми нитями розах торчали голубиные перья.

Кто-то из женщин отвернул в прачечной кран. Вода полилась на каменный пол. Мирьям догадалась, что они там за стиральной лоханью будут отрезать голубям головы. Вода смывает с пола кровь.

Мирьям поняла, что она и сама оказалась бесчувственной. Они с бабушкой словно соединенные воедино. Мирьям была не в состоянии подняться со ступеньки. Казалось, что у нее с бабушкой одни вены, по которым медленно струится почти бесцветная жидкость.

Почему она не бросилась к убийцам птиц, почему не сорвала с живых голубей занавески? Она должна была кричать, реветь, топтать ногами, бить женщин, кусать их за руки или за ноги. А она, как парализованная, сидела возле своей немощной бабушки. Почему? Наверное, на нее давила невидимая сила. Мирьям ненавидела эту волю толпы, которой невозможно было противостоять в одиночку. Она презирала галдевших баб, которые вкатили лохань с голубями в прачечную. Сквозь зарешеченное окно летели перья.

А бабушка? Ведь это она начала? Ненавидеть ее Мирьям не могла. У бабушки уже нет полного разума, старалась она внушить себе.

Вот она бредет. Полы ее халата-спасителя волочатся по пыли.

Раньше Мирьям не раз ходила за ручку с бабушкой в баню. В заполненном паром помещении собиралось много женщин. Мирьям представила себе на миг, как на беззащитных голых женщин сверху опускается сеть. Они барахтаются, падают на скользком полу, руки-ноги переплетены. Из кранов вырывается пар, а сеть все стягивается.

Вечером устроили семейное пиршество. На столе, застеленном белоснежной скатертью, стояло блюдо с мясом. Никто о голубях не говорил. Все делали вид, что ничего не понимают. Мирьям знала, что, если бы она назвала живущих в доме женщин убийцами птиц, отец сказал бы:

«Куриное мясо ты ведь ешь, а у кур точно так же отрезают головы».

Мирьям нечего было бы на это ответить.

Когда-то давным-давно по булыжной мостовой погромыхивала тележка и тряпичник выкликал:

— Тряпки! Кости! Старое железо!

Мирьям незаметно похлопала по столбу возле ворот, хорошо, хоть он еще устоял. Теперь уже никто не собирает тряпки, кости и старое железо, потому что ничего, кроме тряпок, костей и старого железа, у людей и не осталось. Никому и в голову не придет охотиться за тем, чего стало слишком много. Сгорело пол-улицы, там валяется всякий хлам. Камни вперемешку с золой, на ветру громыхают разбросанные листы кровельного железа. Возле развалин деревья круглый год стоят голые, кора спалена, и обугленные ветки уже никогда не зазеленеют. Ох и костей же захоронено в развалинах по всему городу! Говорят, что жуть сколько людей сгорело.

Теперь уже никто не бродит среди развалин и не просеивает золу. После большой бомбежки люди выбрались к своему бывшему жилью, еще когда тлели головешки и зола была неостывшей. С железным прутом или кочергой в руках они рылись на пепелищах своего недавнего очага и выискивали уцелевшую утварь. Многие находили под обломками кирпичей то помятые кастрюли, то сковороду либо ковшик. Особенно хорошо выдержали испытание огнем печные щипцы. Полуобгоревшие книги люди раскидывали вокруг развалин. Стоило неосторожно коснуться горелых страниц — и слова рассыпались в прах.

Сперва на пепелищах маячили погорельцы, уносившие с собой закопченные горшки, потом появились добытчики. Когда Мирьям услышала о них, ей это показалось смешным — она представила себе согбенные фигуры. Подняв воротники, они зыркали по сторонам и наполняли обломками кирпичей мешки. Ведь говорилось, что вор оставляет за собой хоть вешалку на стене, после пожара же остается один лишь пепел — чего там в этих развалинах было добывать?

Но стоит человеку хоть чуточку раскрыть глаза и уши, как он тут же, сам того не желая, набирается ума-разума.

В центре города мужики откопали под обломками кирпича железную дверцу, которая вела в винный погреб. А там полки до самого потолка были уставлены

дорогими винами, зови на пир хоть царей да королей. Мужики, конечно, уселись на дубовые бочки и принялись осушать бутылки. Несколько дней из-под развалин неслись пьяные песни и галдеж. Объятые страхом люди далеко обходили это место. Видно, думали, что души погибших разгулялись и справляют вознесение господне.

Мирьям не понимала, почему люди боятся воскрешения мертвых. Сами ведь отлично знают, что умершие не могут вернуться. Можешь ждать их духов хоть до седины, однако на такую встречу надеяться не приходится, разве что когда сам отправишься на тот свет.

Будь у Мирьям королевство, она бы отдала половину его, лишь бы еще разок посидеть на крыльце возле своей беспомощной, неестественно смеющейся бабушки. Только пусть бабы усмирят свою страсть к убийству и оставят в живых голубей.

Мирьям не испугалась бы, появиись дядя Рууди, с тросточкой в руках, с улыбкой во все лицо, и спроси: ну так как, пойдем прожигать жизнь? Люди, собравшиеся у его гроба, говорили, что покойник красивый. Так что внешний вид дяди Рууди не был бы помехой его возвращению.

Добытчики знали, где их ждет добыча. Они были хитрые. Стоило в нужном месте накидать в решето золы и промыть просеянный мусор водой, как можно было набить карманы золотом. Ходил слух, что кто-то отвозил на тачке домой спекшееся в слитки столовое серебро. Говорили, что какой-то человек нашел горсть сверкавших, как звезды, драгоценных камней, которые стоили жутких денег. Почему только люди до сих пор еще все меряют на деньги — этого Мирьям понять не могла. Деньги — это же просто бумажки. Они бы могли лучше сказать, что за эти драгоценные камни можно получить уйму свиной поджарки, клубничного варенья или даже бананов и апельсинов, сам вкус которых и то уже позабыт.

Прислонившись спиной к столбу, Мирьям размышляла о сокровищах, которые находят в развалинах. Ее рассеянный взгляд скользил по пепелищам. Вдруг она заметила там какое-то движение. Мирьям нахмурила брови и напрягла зрение — возле полуобвалившейся трубы виднелась какая-то фигура. Человек что-то раскапывал — в воздух взлетал пепел, и порой доносилось глухое покашливание. Накликала-таки духов, подумала Мирьям.

только этот добытчик безнадежно опоздал. Времена «золотой лихорадки» уже минули. Теперь кое-где из развалин вывозят кирпич, чтобы строить новые дома.

Мирьям сплунула на тротуар, засунула руки в карманы и решила внести ясность. Истории, которых она наслышалась, всплыли в ее памяти. Она предпочла бы встретиться с духом какого-нибудь знакомого человека. Только ведь в то же время среди развалин бродят разные проходимцы и прочая шпана. На всякий случай Мирьям продвигалась не спеша, остановилась посреди улицы и принялась разглядывать канализационный колодец, который из-за отсутствия люка был накрыт конфоркой старой кухонной плиты. Дух, видимо, испугался Мирьям — что за наваждение, фигура, которая только что копалась в золе, будто сквозь землю провалилась. У, страшилище, пробормотала для бодрости себе под нос Мирьям. Она взобралась на грудку мусора, столкнула ногой пару кирпичей, вспрыгнула на угол цокольной кладки и огляделась. Дух бросил на куче золы маленькую саперную лопатку. А работающие пошли духи, подумала Мирьям. Она решила немного подождать. Дух мог и сам объявиться. Мирьям не хотелось пачкаться, лезть за ним в трубу. Где еще могут прятаться духи, как не в дымоходах или в бутылках? Мирьям переминалась с ноги на ногу, ей надоело торчать здесь впустую. Мирьям охватило беспокойство, она сунула в рот два пальца и пронзительно свистнула.

От резкого звука она и сама вздрогнула. Давно уже не свистела вот так, в два пальца. Кого тут звать, когда все либо пропали, либо разбрелись.

— А я тебя вроде знаю, — раздалось за ее спиной.

Мирьям молниеносно обернулась и увидела Клауса. Парень навалился грудью на неровный край ямы, уперев локти в золу, в зубах у него дымился какой-то странный окуроч. Когда Мирьям бегло оглядела Клауса, до ее сознания дошло серьезное изумление. Она пошевелила губами, собравшись с духом, как можно презрительнее сказала:

— Да, я твою вывеску тоже где-то встречала.

Клаус прыжком уселся на край ямы, он не обращал никакого внимания на золу и кучи мусора.

— Духи среди бела дня, — заметил Клаус, дымя во всю.

— Мои слова, — отозвалась Мирьям.

— Ну, барышня, приземляй свой зад на мой диван,— предложил Клаус и, хлопнув ладошкой, взметнул золу.

— Пошел к чертям,— дружески отозвалась Мирьям. Оглядевшись, она отыскала камень почище, положила его поблизости от Клауса и села.

Клаус вытащил ноги из темной ямы, и Мирьям устала на его брезентовые ботинки с деревянными подошвами. Такой обуви она нагляделась вдоволь, но то, что и Клаус ходил в ней, казалось невероятным. А впрочем, чему тут удивляться, подумала Мирьям, и по нему война прошла. Последний раз Мирьям видела Клауса прошлым летом, перед тем как бежали немцы. Тогда Клаус щеголял в вязаных гольфах, в штанах из козьей кожи и в зеленой шляпе с пером.

— Значит, переменял декорацию? — невольно спросила Мирьям и прикусила губу. Она нечаянно произнесла один из любимых оборотов Клауса — раньше они старались ни за что не пользоваться его фразами. Немчишка, презрительно называли они его. Другого, более обидного прозвища никто придумать не смог.

— Слегка опустился,— беззаботно ответил Клаус.

— Ты прямо из Берлинской оперы? — спросила Мирьям, сосредоточилась и сплюнула в золу. Ей хотелось выглядеть как можно независимей.

Клаус рассмеялся:

— А у тебя мозги на месте, не свихнулись.

Клаус во время войны был в здешней округе самым важным и знатным парнем, хотя его и редко видели. Большею частью он появлялся весной, летом загорал на пляже, говорил, что книги намного лучше людей, носил часы, которые показывали число месяца, умел плавать под водой и, заходя в море, надевал резиновую шапочку. Когда наступала школьная пора, он, заложив руки за спину, разгуливал с озабоченным видом. Случалось, кто-нибудь из ребятшек заговаривал с ним, и тогда Клаус сбывлял, что в общем-то здесь и ничего, однако его ждет Берлинская опера.

— Послушай, как же это пароход тебя здесь бросил? — удивленно воскликнула Мирьям.

— Это я его бросил,— заносчиво ответил Клаус.

— Тогда ты просто авантюрист,— кивнула Мирьям, словно ей теперь все стало понятным. Она была слегка разочарована — в здешних краях к людям с жадной приключений всегда относились с осуждением.

— Дурочка,— дружелюбно сказал Клаус, вздохнул и заявил: — Я же не за ветром бегаю.

Мирьям решила обуздать свое любопытство. Клаус, несмотря ни на что, вызывал у нее уважение. Он прожил на свете на целых два года дольше ее. Было бы глупо надеяться, что человек его склада станет распространяться о своей жизни случайно повстречавшейся девчонке. Много ли ей понять! Хотя Клаус и изъяснялся бегло по-эстонски, но в свое время он употреблял такие мудреные слова, что хоть убей — ничего не поймешь.

Тоска подкралась к Мирьям. Видно, мама права, когда она спрашивает у своей младшей дочери: и когда только ты наконец ума наберешься?

Клаус пристально взглянул на Мирьям, которая сидела и посапывала. Может, его удивило, что девчонка умолкла и больше ни о чем не спрашивала. Болтливые карапузы действуют на нервы всем нормальным людям.

Клаус встал с золы и хлопнул ладонью по обвислому заду солдатских брюк. Взял окурок пальцами, вытянул руку и изобразил, будто он тушит папироску о стену.

— Мне пора.

Мирьям тотчас же послушно поднялась, словно не имела права одна оставаться тут, среди развалин.

Следом за Клаусом она спрыгнула на землю. Мирьям едва не схватила его за плечо. Внезапно она отчетливо почувствовала, что не в силах будет дольше выносить одиночество.

Мирьям попыталась изобразить на лице презрительную гримасу и в мыслях все повторяла: немчишка, Берлинская опера, авантюрист. Он ведь табак курит, припомнилось ей еще одно позорное пятно Клауса.

Мирьям заставила себя остаться на месте и посмотрела вслед удалявшемуся Клаусу. Тот шел, стуча по каменным плитам деревянными подошвами. Ему что, он и один проживет. Исчезнет сейчас за углом и забудет про Мирьям, явившуюся в развалины искать духов.

Мирьям еле сдерживалась, ею овладело желание окликнуть Клауса. Надо воспитывать характер, внушала себе Мирьям и не открывала рта. Хоть бы этот Клаус оглянулся! Ведь как знать — может, они встретились в последний раз. Она пыталась оправдать в собственных глазах свое желание.

Мирьям за свою жизнь успела украдкой прочесть пару романов. Там женщины с плачем бежали за поки-

давшими их мужчинами, заламывали руки и умоляли: не оставляй меня, вернись, я буду вечно тебя ждать! Мирьям было как-то даже неловко думать о такой чепухе. По книгам ничему разумному не научишься. Задуманные слова не годились здесь, среди развалин. И вообще — очень ей нужен этот Клаус?

Мирьям подняла руку и тут же опустила ее. Она сама не знала, что означало это движение — то ли она хотела помахать удалявшемуся Клаусу, то ли просто махнула рукой.

Она поддала еще и ногой, скорее затем, чтобы придать себе твердость. Поддала, глянула на землю и уставилась на выщербленную каменную плиту. Мирьям была готова биться об заклад, что эту зеленую лягушку подбросил ей под ноги именно Клаус. Идет себе, ухмыляется и думает, что Мирьям сейчас завизжит. У нее на душе стало как-то легче. Она взяла лягушку в руки, отнесла ее на поле и опустила в картофельную борозду.

7

После встречи с Клаусом Мирьям частенько околачивалась возле ворот. Она была убеждена, что встретишься с Клаусом по чистой случайности, надеяться на повторение приятных неожиданностей было бы глупо. И все же Мирьям каждый день хоть разок обходила развалины, а затем с независимым видом, заложив руки за спину, прохаживалась по улице.

Задумавшись, Мирьям однажды чуть было не наткнулась на красотку Айли. Красотка Айли как-то виновато улыбнулась, хотя неуклюжей оказалась Мирьям, а вовсе не она. Мирьям невольно пригнулась. При виде Айли у нее всегда появлялось желание низко поклониться и возвестить: слава падшим. К счастью, Мирьям спохватилась. Если припомнить как следует, то именно Клаус бросил ребятам упрек в пошлости. Тоже мне дело — дразнить немецкую потаскуху. Сейчас немцы убрались, может, поэтому красотка Айли и улыбалась так виновато. Странно, что она не удрала вместе со своими ухажерами.

И почему только Клаус не отчалил?

В те времена, когда Айли еще гуляла с немецкими офицерами, про нее рассказывали всякие истории. Говорили, что она моет молоком лицо и носит кошачью шубку. Мирьям стало страшно за свою Нурку. Вообще-то

бабы Айли не поносили: потаскухой она была вполне приличной и опрятной. Даже ночные рубашки у нее висят в шкафу на вешалках, и плечи у них подбиты ватой, как того требует мода.

Мирьям вздохнула. Редко приходилось встречать таких красивых, как Айли. Она была ничуть не хуже киноактрис, а некоторых из них даже и превосходила.

И надо же случиться — было это еще в войну, — что Мирьям попала в кино именно в тот вечер, когда началась большая бомбежка! Конечно, попала она туда далеко не случайно, напротив, посещение это она подготовила до мельчайшей подробности. На фильм дети до шестнадцати лет не допускались. Попробуй пробраться, когда тебе до этого почтенного возраста недостает еще стольких лет. Мирьям замаскировалась, как только могла. Намазала губы в ярко-красный цвет — помада попала также на зубы, у нее оказался отвратительный вкус. На голову Мирьям нахлобучила мамину широкополую шляпу, которая никак не подходила к ее убогому пальтишку. К тому же какая уважающая себя шестнадцатилетняя девушка станет носить заштопанные на коленках чулки?

Но билетерша отвела взгляд и пропустила Мирьям в зал.

После темной, в бугристой наледи улицы, после мрачных, безглазых домов и скрипевших на ветру висящих на одной петле ворот Мирьям вдруг очутилась в совершенно другом, удивительно красочном и живописном мире. На экране возникали сказочные картины: разливались хлебные поля, сверкали реки и белоснежные овцы пощипывали в тени дубравы травку. Мирьям глядела во все глаза, приоткрыв рот, она даже забыла о голодных крысах, которые всегда во время сеанса шумно бегали по полу в поисках пищи.

Меж зеленеющих лугов неслись сытые кони, в коляске сидела удивительной красоты девушка, волосы ее развевались на ветру. Ее кружевной воротник был таким же белоснежным, как и куриное стадо, что копошилось возле построек богатой усадьбы. На дубовом обеденном столе стояли блюда с хрустящей поджаркой, лежали красные помидоры и росные огурцы. Яблочная корзина издавала такой аромат, что можно было учуять даже в кинозале. Но красивая девушка все же была недовольна жизнью. Она хотела непременно жить в золотом городе. Там она повстречалась с распутным мужчиной, который

носил усики. И почему только девушка была столь глупой,— не знала, что усатые, с прилизанными волосами мужчины, как правило, бывают распутные. Понятно, пришла из деревни, от хорошей жизни, у нее не было опыта. А тот прощелыга закружил ей сладкими речами голову, напустил туману, наделил ребенком и выгнал напоследок из дому. Собрала девушка свои пожитки и вернулась с поникшей головой в богатую усадьбу. Родители разгневались по поводу дочкиных городских походов, да и нужды в наследнике не было. Брюхатая девушка в плач — ясное дело, сперва веселишься, потом прослезишься. Что ей оставалось делать, кроме как бултыхнуться в болото.

В тот самый миг, когда девушка разбежалась, чтобы прыгнуть в омут, в зале включили свет и по ушам резанул сигнал воздушной тревоги.

Мирьям всей душой сочувствовала девушке. Она горько плакала, терла кулаками щеки, и шляпа сползла с затылка на глаза. Мирьям как-то сразу даже и не сообразила, что происходит вокруг нее. Когда зрители с шумом повалили из зала, пошла и она. Но перед ее глазами все еще стоял отливающий синью болотный омут. Вот-вот девушка исчезнет в его бездонной глубине, на поверхности заколышутся лишь ее золотистые волосы.

Сгрудившаяся в дверях толпа вынесла Мирьям на улицу.

Над головами людей мерцало призрачное сияние. Земля в обледенелых буграх светилась зеленоватым отблеском. От торопливых ног падали неверные, изломанные тени. Мирьям стащила с головы шляпу, ее неровные поля мешали обзору. В небе, прямо в воздухе, висели невероятных размеров светящиеся фонари. Пронзительный сигнал воздушной тревоги подстегивал искать убежище. Мороз щипал пальцы.

От холода Мирьям дрожала. Ноги отказывались слушаться. Мирьям хватала ртом воздух и заставила себя бежать. Суставы хрустели. Гололед старался сбить с ног. Она успела ухватиться за забор. Мирьям громко кричала. Она слышала себя — значит, была еще жива. Где-то поблизости разорвалась бомба. В лицо ударила воздушная волна. В ноздрях защипало от резкой гари. Мирьям зацепилась рукавом за что-то острое, она изо всех сил дернула, чтобы освободиться. Нельзя было от-

ставать от других. Они завернули в какую-то подворотню. Мирьям ощутила под ногами ступеньки.

Бомбы сыпались градом.

Где-то запылал пожар. Сквозь незавешенное подвальное окно отсвечивало жуткое кровавое зарево.

Подвал был забит людьми. Какой-то маленький ребенок, всхлипывая, плакал. Чей-то голос между взрывами мрачно произнес:

— Души невинные испепеленные уносятся в рай.

Мирьям присела на корточки, она стала пробираться через частокол людских ног и остановилась лишь тогда, когда уткнулась лбом в сырую и холодную каменную стену. Спрятав лицо в колени, она все еще не могла отдышаться. Понемногу одеревеневшие от холода колени начали отходить. Мирьям не желала быть невинной душой, которая испепеленной уносится в рай.

После каждого взрыва что-то с грохотом скатывалось по ступенькам, которые вели в подвал. Словно кто-то бросал временами сверху вниз пригоршни гороха. И хотя этот звук был странным, ничего устрашающего в нем не было. Другое дело — завывание бомб. Когда звук становился особенно пронзительным, бомба через мгновение взрывалась где-то поодаль. Наоборот, когда завывание неожиданно, словно обрезанное, прерывалось, тогда жди худа. Бомба могла свалиться прямо на голову. Последнее злое мгновение перед взрывом пошло бы только на то, чтобы попрощаться с жизнью.

Люди в подвале, затаив дыхание, прислушивались, как несшаяся к земле бомба временами, подобно обезумевшему человеку, свистела и визжала. Когда грохот очередного взрыва спадал, начинались причитания, хотя именно в этот миг непосредственная опасность миновала. Господу богу пришлось бы разрываться на тысячи частей, чтобы поспеть повсюду, где зывали о помощи. Галдеж и всхлипывания стихали, когда слух прорезало завывание новой бомбы. Размеренность накатывавшихся и отливавших волнами причитаний нарушалась лишь монотонным плачем грудного ребенка.

Мирьям была уверена, что после первых же взрывов наступит тишина и она сможет отсюда выбраться. Теперь время словно бы обернулось неверным призраком, который с трудом, пошатываясь, волочил свои озябшие ноги от одного часа к следующему. Когда бомбы начинали падать гуще, призрак времени передвигался

ползком, в растянувшуюся минуту вмещалось несколько взрывов.

Мирьям уткнулась лицом в колено — чулок от дыхания отсырел. Она старалась всячески убедить себя, что все еще жива. Она-то конечно, но, может, одна из этих пронзительно завывавших бомб угодила в ее родной дом? Как там вообще домашние без нее справляются? Мирьям уже не была столь наивной, чтобы верить в благосклонность судьбы. Смерть уже успела вдоль и поперек пройти по их семье. Дорожка была протоптана.

Мирьям подняла голову, прижалась лбом к камню и пожелала, если уж тому быть, пусть бомба лучше упадет сюда. Не обращая внимания на шум и грохот, она судорожно пыталась вспомнить какую-нибудь приятную мелодию. Иногда Мирьям с утра до вечера преследовала веселая песенка, а сейчас ни один ласковый звук не хотел венчать конец ее жизни.

Мирьям внушала себе, что бомба сейчас упадет именно на этот дом.

Она старалась обрести полное безразличие. Чтобы ноющие от усталости ноги больше не докучали ей, Мирьям опустилась на пол. Аллилуйя, аллилуйя, повторяла про себя Мирьям. Слово это всегда нравилось ей своим звучанием. На то, чтобы припомнить какое-нибудь приятное мгновение из прошлого, уже не было сил. Только аллилуйя — будто врата небесные, на которых она раскачивалась в этом призрачном, растянутом времени.

В подвал начал просачиваться дым. Чувства Мирьям снова обострились. Давным-давно она раз или два по глупости запиралась в платяном шкафу и испытывала удушье. С тех пор она безумно боялась нехватки воздуха. Теперь ей так же, как некогда, хотелось бы выкатиться из шкафа на пол и хватать ртом свежий прохладный воздух.

Дольше тут нельзя было оставаться.

Мирьям понимала, что, если она сейчас вздумает подняться по лестнице, ее тут же стащат обратно вниз. Приходилось хитрить. Она поднялась и начала пробираться к двери. Кто-то возмутился — что это ребенку спокойно на месте не сидится. Мирьям буркнула в ответ, мол, потеряла на лестнице туфельку, нога замерзла. Люди старались пропустить ее. Странно, что их не пугает запах дыма. Все по-прежнему охают да причитают после каждого взрыва.

Мирьям споткнулась, руки уперлись в ступеньку. Она так и осталась стоять в согнутом положении, подобно бегуну на старте,— отсюда, с этих ступенек, надо было одним махом проскочить до входной двери.

Еще можно было немного переждать, пока оставался воздух.

Всегда, когда положение хоть немножко улучшается, непременно кажется, что был достигнут предел — больше выдержать не было сил. Как только взрывы бомб улеглись и завывание самолетов удалилось, люди бросились к выходу.

В дверях в нос ударило запахом горячей смолы. В воображении Мирьям мелькнула страшная картина: пылающее озеро стекает сверху, с горы, в город. Скоро все улицы будут в огне.

Со всех ног Мирьям побежала домой.

Она смотрела прямо перед собой, будто можно было взглядом укоротить улицу. Она не хотела видеть ничего, кроме своего дома. И все равно все как бы само собой входило в сознание, словно у Мирьям было несколько пар глаз. Окружающее властно напирало на нее.

Спутанная проволока норовила свалить с ног. Осколки стекла скрежетали под подошвами, куски кровельного железа скользили по обледенелой земле. Мирьям бросалась в сторону, когда какой-нибудь лист железа грозил впиться в ногу.

Кругом горели дома. Огненные столбы шумели. Порывы ветра то налетали сзади, то били в лицо.

Какой-то старик обхватил руками ствол большущей ивы. Он прижимался лицом к шершавой коре. Ветер развевал красные кисти его шарфа — казалось, что огонь когтями вцепился старику в шиворот.

Немного поодаль рухнуло перекрытие зеленого дома, искры роем взметнулись вверх и облаком опустились на верхушку росшей в углу участка туи. Больше не было над парадной дверью круглого окошка. Там, за стеклами, стоял мохнатый кактус. А девочка? Та, что носила клетчатую шапочку, которая под подбородком застегивалась на пуговку? Она ходила легким пружинистым шагом и всегда поднималась на цыпочки, чтобы нажать на кнопку звонка. Мирьям не раз видела, как отворялась дверь. Ей никогда не удавалось разглядеть в дверях человека, открывавшего замок.

Над улицей поплыл какой-то флаг. Мирьям втянула голову в плечи и взглянула вверх. В воздухе парили вышитые на белом коврике гномики в остроконечных шапках.

Мирьям неслась домой что было духу. За спиной слышался грохот. Длинноногий парень вприпрыжку катил тележку. Спереди на тележке крутился пропеллер. Парень изо всех сил нажимал на поперечину, но она все равно вырвалась у него из рук. Парень откидывал голову назад, чтобы поперечина не ударила его в подбородок. Мирьям испугалась — какой ужас, если челюсть, словно стручок гороха, расколется пополам!

Сломанный у самой земли каштан привалился к стене какого-то дома. Огонь пожирал строение изнутри, развистая крона навалилась на обуглившуюся обшивку.

На фоне зарева метались люди, кто-то выкидывал из окна первого этажа узлы. Падая, они развязывались, и на тротуар беспорядочно вываливались белье, обувь и диванные подушки. В стороне, перед не тронутыми огнем воротами, стоял комод, и какая-то женщина рылась в его ящиках. Медная ручка одного выдернутого ящика покачивалась, словно пушинка, которую вот-вот подхватит ветерок.

Горячим порывом ветра обдало ноги. Мирьям остановилась, судорожно хватая ртом воздух. Ей казалось, что сейчас возникнет смерч, который с неимоверной силой втянет в себя и людей и вещи. Мирьям глянула в небо, она почти что уже видела там парящих людей, которые цеплялись за какой-нибудь летающий ящик комода или обломок доски. Потерпевшие кораблекрушение в воздушном океане.

Языки пламени с горевшего дома лизали соседнюю крышу. От жары смола там начала пузыриться, будто сало на сковородке. С домом через дорогу огонь свое дело уже сделал: на нижнем перекрытии потрескивали обломки потолочных балок. Вокруг стояли люди, на мрачных лицах блуждало красное зарево.

Мирьям споткнулась о кусок стропила. Возле него змеилась веревочка, которая словно бы хотела указать куда-то дорогу. На самом деле ее обгоревший кончик указывал на валяющуюся на земле рубашку с защепками. Мирьям обошла стороной белую сорочку.

На углу стоял высокого роста человек, его черная шуба доставала почти до самой земли. Мирьям стало

немного легче. Она встанет за мужчиной и попытается глянуть из-за его шубы на свой дом. Горящие дома будут появляться на виду постепенно. Увидеть все несчастье разом — этого бы Мирьям не вынесла.

Дюйм за дюймом подкрадывалась Мирьям к шубе. Она внимательно оглядывала черную спину. Из-под нижнего края шубы виднелись белые подштанники. Мужчина был обут в комнатные туфли. Фигура его показала Мирьям подозрительной: голова мужчины была скрыта за меховым воротником.

Вдруг Мирьям почудилось, что возле ее ушей гудят бабушкины морские раковины. Внутри этих больших раковин были, в свою очередь, скрыты какие-то маленькие инструментики, которые издавали свист.

Мирьям поняла, что звуки раздаются из-за поднятого воротника.

Чего я жду? Мирьям пыталась успокоиться и ободриться. Она втушала себе, что на их дом не упала ни одна бомба.

Неожиданно мужчина оглянулся через плечо. Опешившая Мирьям чуточку попятилась. У дяди Рууди в глазах отсвечивалось зарево пожара.

8

У отца в общем-то не было привычки отмечать день рождения. Мирьям замечала, что взрослые не проявляют особого воодушевления, когда становятся на год старше. И все же, когда отцу исполнилось тридцать девять — это был его последний день рождения, — позвали нескольких гостей. Отец заранее принес домой небольшой бочонок рома, мама раздобыла ячменной муки. Вечером на стол поставили пирог из темного, сероватого теста, мама сварила целую кастрюлю злакового кофе и высыпала из коробочки в сахарницу таблетки сахарина, будто это были кусочки сахара.

Отец был в том же синем костюме, пиджаком которого спустя полгода был укрыт его покачивавшийся на носилках труп. Сейчас этот пиджак, отмытый от крови, с помятыми лацканами, висел на плечиках в шкафу. Видимо, это единственная одежда, которая осталась от отца. Когда отец праздновал свой последний день рождения, он и подумать не мог, что уцелевшую после него одежду уже на следующий год обменяют в деревне на продукты. То,

что в один прекрасный день на улице мог попасться на-встречу какой-нибудь незнакомый мужчина в отцовском пальто, казалось невыносимым.

Тогда, на дне рождения, гости наперебой хвалили как пирог, так и сладковато пахнувший ром. Они вообще слишком много говорили о напитках и выпивке. У Мирьям заняло сердце — и чего они там подогревают отцовскую слабость к вину. Мама тоже смеялась так беззаботно, будто она никогда не втаскивала на кровать мертвецки пьяного отца. Не умеют они держать себя в руках, думала возмущенная Мирьям.

Знала бы она, что они в последний раз празднуют день рождения отца, не корчила бы такой рожи. Даже гости заметили, что Мирьям бурчит что-то себе под нос. Они говорили, ты только погляди, какой милый сердитый ребенок. Им это казалось ужасно потешным, все смеялись до слез.

Когда гости ушли, отец взял Мирьям за челку. Он дружески потрепал ее и спросил, чего это она дуется. Мирьям не посмела бросить отцу упрек и буркнула, что ей скучно.

Она не помнила, чтобы отец когда-нибудь пытался веселить ее. Теперь же он разыскал бутылочку с валерьянкой и позвал в комнату кошку. Он налил на пол валерьянки, и кошка бросилась лизать. От удовольствия глаза у Нурки щурились и горели зеленым огнем. Валерьянка так понравилась Нурке, что она готова была слизать с пола краску.

Затем Нурка принялась кататься. Лапы у нее обмякли, хвост волочился по ковру и брюхо все время было выставлено вверх.

Отец смеялся и мельком поглядывал на Мирьям. Мирьям чувствовала, что должна радоваться. Она пыталась визжать, но выдавить из себя смех было трудно. Тем более что опьяневшая кошка была просто противной, Мирьям сдерживалась, чтобы не ударить барахтающуюся Нурку.

Потом, когда стало ясно, что отец отпраздновал свой день рождения в последний раз, Мирьям ощутила угрызения совести. Ну почему ей было не постараться? Могла бы спеть какую-нибудь песенку собственного сочинения или просто попрыгать, подхватив краешек платица. На худой конец, могла бы выучить наизусть какой-нибудь стишок из хрестоматии и прочитать его. Неужели так

трудно подавить свое настроение, чтобы доставить другим удовольствие!

Вечером появился Клаус и даже зашел к ним во двор. Он словно кого-то искал. Когда он увидел Мирьям, на лице у него возникло некое подобие разочарования. Что поделаешь, если здесь не осталось ни одного дельного парня. Клаус буркнул, что коль скоро он уж наткнулся на Мирьям, то пусть она завтра зайдет к нему в гости. Горя от возбуждения, Мирьям пробежала несколько шагов следом за ушедшим Клаусом и услышала, как тот кисло произнес:

— Четырнадцать тоже так себе дата. Придется и этот возраст прожить.

Все утро Мирьям готовилась ко дню рождения Клауса. Второй раз она никому не хотела омрачить его торжественный день.

На радость Клаусу надо было прилично одеться.

У Мирьям были красивые деревянные башмаки, которые ей все жалко было надевать. Теперь она их достала. Много в этих башмаках, конечно, не находишься, украшенные орнаментом подошвы были цельные, у них не было обычного сгиба под ступней. При каждом шаге ремешки из редкой тесемки растягивались, концы вырывались из-под шляпок гвоздей, которыми были прибиты.

Мирьям натерла промасленной тряпицей края подошв с выжженным узором. В лоснящихся, словно лакированных, башмаках можно было идти на любое празднество. Пригодным оказалось и отутюженное платье, тем более что оборванные уголки карманов она зашила. Потом настал черед прическе. Мирьям взяла большие ножницы и развела их над самыми бровями. Щелкнули лезвия, прядки волос стали разом короче, теперь и глаза были хорошо видны.

В назначенный час праздничная Мирьям вышла за ворота и мелкими шажками великосветской дамы — чтобы не развалились башмаки — засемила к развалинам.

Мирьям осторожно забралась на край фундамента, обходя стороной толстый слой золы, пробалансировала по согнутой железной балке, которая местами выступала из-под камней, и медленно, дюйм за дюймом, приблизилась к обиталищу Клауса.

Для посторонних валявшийся среди битого кирпича кусок жести мог ничего не сказать. Но Мирьям знала, что под этим как бы случайно оброненным листом жести находится жилище Клауса. Гостья осторожно, чтобы пятки не отрывались от земли, присела на корточки и постучала по железу.

Клаус отодвинул крышку с входа в подвал.

— Прошу, уважаемые дамы и господа,— вежливо пригласил он и пригладил рукой волосы, которые волной падали на лоб.

Мирьям вытянула шею, чтобы заглянуть в подпол. Взгляд ее уткнулся в темноту, словно там внизу был бездонный колодец. Просто страшно было подумать, что сейчас придется нырнуть туда, в неведомое. Однако Клаус отнесся заботливо к растерянной гостье. Он поставил внизу какой-то ящик. Мирьям опустила ноги и юркнула вниз. Следом посыпалась зола, и в следующий миг башмаки стукнулись о ящик.

Мирьям спрыгнула с шаткой опоры на каменный пол и удостоила Клауса вежливым довоенным книксеном. Протянув имениннику в подарок пучок моркови и завернутые в бумагу ломтики хлеба с мясом, Мирьям выразила пожелание, чтобы Клаус рос большим и был что надо, Клаус расхохотался и потрепал Мирьям за челку.

Мирьям оглядывала темные углы и вздыхала. До этого ей всего один раз пришлось бывать на именинах мальчишки. Было это перед самой войной, огромный стол был накрыт белоснежной скатертью. После еды мать именинника раздала всем гостям по карандашу и велела каждому написать прямо на скатерти свое имя. Мирьям еще никогда не приходилось сталкиваться с такой порчей вещей, но она сделала, что было велено. Потом мамаша сказала, что она вышьет синим шелком все имена и ее сын сможет по этой скатерти даже через сто лет вспомнить своих друзей. Мирьям испугалась, ведь она написала свое имя очень большими буквами. Подумать только, сколько матери именинника придется трудиться, чтобы вышить все эти столбики!

С днями рождения Мирьям решительно не везло — все как белая ворона среди других.

Мирьям уселась на пододвинутый Клаусом ящик, стараясь держаться прямо, положила руки чинно на колени и ждала, что будет дальше.

Клаус чуточку попятился, зацепился каблуком за рванный картофельный мешок, который лежал на полу вместо ковра, и уселся в продолговатый ящик, держа в руке пучок моркови, как букетик цветов.

Постепенно глаза Мирьям стали привыкать к темноте. Продолговатый зеленый ящик служил, видимо, Клаусу кроватью, сложенное серое солдатское одеяло свисало с одного конца.

Клаус понюхал морковку. Обломал у одной верхушку и бросил корешок Мирьям. Морковка приятно хрустела на зубах. Клаус пристукнул пяткой по ящику и сказал: — Обрати внимание, ящик этот из-под снарядов.

У Мирьям похолодело под сердцем. Вдруг Клаус спит в обнимку со снарядом?

— Ящик что надо, как люлька, — усмехнулся Клаус. Он пошевелился, и сено под ним зашуршало.

— А сны в этом ящике снятся? — в нерешительности спросила Мирьям.

Клаус не обратил внимания на вопрос, он продолжал свое:

— В следующую войну снаряды будут куда больше и ящики для них будут с жилой дом. Все здания сровняют с землей, оставшиеся в живых люди будут жить в снарядных ящиках. Выпилят в них окна, поставят перекрытия и сложат трубы.

— И насовсем туда жить переедут? — удивилась Мирьям.

— Должна же у них быть хоть какая-то крыша над головой, чтобы выпускать еще более мощные снаряды и строить для них еще большие ящики.

— Разве и нам придется в будущем жить в ящике? — испугалась Мирьям.

— Нет, я думаю, что в следующую войну настанет наш черед погибать.

— Не хочу я больше слушать эти погибельные разговоры! — рассердилась Мирьям.

— Тогда заткни уши, — дружелюбно посоветовал Клаус.

Мирьям заставила себя быть поприветливее. Клаус указал большим пальцем в потолок и заявил:

— Там, где-то у нас над головой, лежат под золой и камнями кости моей бабушки. Не правда ли, своеобразное положение: живые — под землей, а мертвая — на земле.

Мирьям не помнила бабушки Клауса, но слышала, что в бомбежку она осталась в доме. Клаус мог испытывать точно такую же жалость к Мирьям, какую Мирьям испытывала к людям, которые никогда в жизни не встречались с ее бабушкой. И как только Мирьям жила так замкнуто, что никогда даже не говорила с бабушкой Клауса. Сколько дней уплыло впустую до той большой бомбежки!

— Ты караулишь кости своей бабушки? — заинтересовавшись, спросила Мирьям.

Клаус кинул гостье еще одну морковку.

— А ты бы караулила?

— Не знаю, — жуя морковку, ответила Мирьям.

Клаус перегнулся за ящик, пошарил в темном углу и достал закоптелый подсвечник. На три медных рожка у него был всего один огарок свечи.

Клаус поставил подсвечник посреди пола, зажег фитилек, забрался, громыхая сапогами, на ящик и натянул сверху на лаз железный лист.

Теперь в подвале стало еще таинственнее. Мирьям увидела в углу приваленную к стене груду полуобгоревших книг. Заржавленные полозья санок взвизгнули, подобно замерзшей на ветру собачонке, когда Клаус коснулся их носком своего сапога. В бутылки из-под вина раскачивался на паутине паук. Бока деревянного чемодана покрывала плесень, в поломанной корзине валялась жухлая крапива.

Пока Мирьям оглядывала подвал, Клаус молча стоял за подсвечником. Он медленно поднял руки и скрестил их на груди. Затем откашлялся и провозгласил:

В больших дворцах пиры горой,
я росную розу держу рукой.

Завороженная Мирьям пялилась на Клауса, его огромная тень покрыла всю стену и упиралась в потолок. С побледневшего лица вдаль глядели горящие холодным блеском глаза, но вслед за его словами в стылый подпол донесся приглушенный гомон роскошных пиров. Дворцовый зал ломился от людей, развевались пурпурные одежды, сверкали тысячи свечей, светились высокие сводчатые потолки, и в окна с цветущими яблоневыми веточками в клювах влетали ласточки.

Ты видишь, как пляшут скелеты,
все требуют: где ты, ну, где ты?

Мирьям слышала шелест тяжелых шелков, видела красные халаты-спасители, опушенные белым мехом, слуги разносили на серебряных блюдах стручки гороха; золотые туфельки скользили по черно-белым квадратам пола, и в углу стоял бочонок с ромом. Но скелетам до сияния свечей не было дела. Оскалив зубы, они плясали прямо среди веселившихся гостей, они ничуть не стыдились того, что их бедра прикрывали дырявые картофельные мешки. На паркет сыпалась земля и жухлые, проросшие белыми ростками картофелины.

Мирьям попало под ногу что-то круглое. Она взглянула вниз и увидела прошлогоднюю картофелину с длинным ростком. Или она оставалась тут еще с той поры, когда был цел и невредим дом?

Мирьям помрачнела, красивая жизнь так скоро кончилась.

Клаус заглянул в глаза Мирьям и настоятельно произнес:

— Нам следует сыграть спектакль.

9

Однажды Мирьям пришлось стоять на виду у множества людей. Всяк мог видеть ее мокрые щеки и опухшие от слез веки.

Там, перед алтарем, Мирьям очень хорошо поняла, что, если человек поставлен у всех на виду, он должен вести себя достойно. Она не смогла совладать с собой. В крайнем отчаянии мысли ее ухватились за бабушку. Темная фигура, руки сложены на животе, лицо спокойное и задумчивое — так она стояла часами у дедушкиного изголовья. Мирьям воскресила перед собой ту далекую картину и попыталась сквозь завесу времени заглянуть бабушке в глаза. Может, сила духа передается из поколения в поколение? Что, если бабушка находила опору, вспоминая свою бабушку! Стояла когда-то в древности над гробом старушка в домотканой одежде, с ясными и сухими глазами.

Мирьям попыталась выпрямить спину. Пальто вдруг стало словно скорлупой жука и трещало по швам.

Люди продолжали подходить, они по очереди пожимали всем троим руки. От каждого невнятно произнесенного соболезнования у Мирьям подкатывал к горлу новый комок. С одной покосившейся свечи стекал на пол

стеарин. Мирьям уставилась на трепещущий огонек и всякий раз, когда падала капля, смежала веки.

Самое страшное — неожиданная смерть, говорили жилички дома. А разве смерть может быть когда-нибудьжданной? Ошеломленная этим новым сознанием, Мирьям начала потом кое-что соображать.

Мама долго рылась в комодe, чтобы отец мог в подо-бающем одеянии отправиться в последний путь. Мирьям, затаив дыхание, следила за тем, как мама разглядывала чернѳй отцовский костюм. Было ужасно неприятно, когда мама достала коробку с нитками и принялась латать протершиеся сзади черные отцовы брюки. До поздней ночи она сидела, склонившись перед лампой. Проходило немного времени, и в коробке опять поскакивала катушка: мама вдевала новую нитку. Она все штопала и штопала, веки у самой были вспухшие и кончики пальцев дрожали. Потом она подняла брюки к свету и оценивающе посмотрела на результаты своей работы.

Мирьям решила никому вовек не говорить, что отца положили в гроб в латаных брюках.

Рано утром утюг с шипением разглаживал только что накрахмаленный воротничок. Шел пар, мама отворачивала лицо, глаза у нее были и без того красные. На столе петлей лежал чернѳй галстук, рядом с ним белое теплое белье.

Затем мама отправилась в покойницкую, держа в руке чемодан с отцовской одеждой.

Мирьям глядела матери вслед. Она пыталась представить себе, что где-то по перрону прохаживается в нетерпении отец, к глухому вагону прицеплен спереди орган. Тысячи его труб испускают пар и гудят. Наконец прибегает запыхавшаяся мама. Одетѳй в черное дежурный по станции урчит и щербит зубы. Мама плачет и извиняется: неожиданная смерть.

Когда умер дедушка, со шкафа сняли фанерный с закругленными уголками чемодан. Отщелкнули замки и открыли крышку. Из-под пахнувшей горечью полыни достали новый с иголочки суконный костюм. Похоронное платье для бабушки было сшито еще во время ее первого паралича. Оба они смогли достойно предстать перед господом богом.

В церкви у гроба Мирьям снова начала плакать. От стыда и смущения щеки у нее зарделись. Отец не мог повернуться к богу спиной, вдруг будут видны заплаты.

Стоя перед алтарем, Мирьям снова начала всерьез верить в бога. Да и священник сказал, что господь послал вдове и детям тяжелые испытания.

С трудом Мирьям удалось взять себя в руки и немного успокоиться. В набрякший от горя мозг железным клином вонзалось своеобразное чувство гнева. Сердитой Мирьям бывала и раньше, она способна была с легкостью вспылить, когда причинялась несправедливость, — но этот неизведанный доселе гнев, который охватил ее в церкви, удивлял ее саму. Мирьям искала объяснения своему подспудному ощущению — сознание было беспомощно и нерешительно нашептывало на ухо, что новый гнев вроде бы синего цвета. Синий гнев, словно ища выхода, сотрясал Мирьям, когда она стояла у ног отца, в непосредственной близости от его черных носков. Мирьям чувствовала, что она должна восстать против незримой несправедливости и отплатить. Она готова была взять своего безмолвного отца за руку и самолично предстать пред очами всемогущего, дабы объяснить, почему отец не может повернуться к богу спиной. Поймите же, его убили. Неожиданная смерть.

Синий гнев придал Мирьям какую-то необычную силу, которую было страшно трудно держать про себя. Когда Мирьям раньше, бывало, ощущала свою силу, ей хотелось лететь и петь.

Мирьям словно бы забыла, что она поставлена у людей на виду и не смеет обращать на себя внимание. Обязана была стоять с опущенной головой, смиренно, она же, наоборот, сверкая голубыми глазами, глядела вокруг и совсем не слышала проповеди священника.

Перед похоронами отца многие нашептывали, что убийца обязательно явится взглянуть на свою жертву. Мирьям скользила взглядом по лицам, — убийца должен был находиться среди присутствующих.

Священник стоял как раз на коленях перед алтарем, и лоб его касался книги с крестом. Почему бы ему не обратиться к народу и не сказать, что пусть отойдут в сторону те, у кого совесть чиста?! Убийца остался бы в одиночестве стоять посреди церкви.

Мирьям отбросила эту мысль. Надеяться на чужих не стоит. Никто не сделает того, что ему не угодно.

Казалось, что стены церкви пронизаны холодом и мраком, чем угол дальше, тем он чернее. На скамьях из темного дерева и за высокими прислонами могла упря-

таться целая разбойная рать. Трудно ли укрыться за столбом или под кафедрой?! Может, убийца в этот миг выглядывает из-за алтаря? Одна деревянная статуя как раз подозрительно вздрогнула. Та самая, что держала в руке секиру, отточенное полукруглое острие готово было опуститься на шею жертвы. Может, это и есть бог душегубов? Вдруг за его спиной стоит именно тот, кто убил отца?

Мирьям склонилась и осмотрела пол. Нет, из-под алтаря ничьих ног видно не было.

Она разглядывала лица собравшихся в церкви людей. Большинства из них Мирьям не знала. То ли они отцовы прежние друзья, то ли враги? А может, приходят поглазеть на покойника и скорбящих из простого любопытства? Мирьям хотелось заглянуть каждому из них в глаза, но все они стояли слишком далеко. Время военное, электричество было тусклое, и горела только та люстра, которая освещала место перед самым алтарем. Посреди свечей на железной лошади сидел железный человек. Из головы всадника прорастала толстая металлическая петля, в нее был продет крюк. Если бы у железного человека было в груди сердце, можно было бы попросить: спустись и возьми с собой свечи. Посвети, я должна всех их хорошенько рассмотреть. Мирьям слышала, что в глазах убийцы будто бы навсегда застывает лик жертвы. Душегуб может потом хоть широко раскрытыми глазами смотреть прямо на солнце, напрасно было бы надеяться, что сильный свет сотрет образ жертвы. На веки вечные останется на нем печать преступления. Поэтому убийцы и прячут глаза и отворачивают лицо, когда с кем-нибудь разговаривают. Они живут в постоянном страхе — вдруг кто-нибудь укажет пальцем и скажет, глядите-ка, в его глазах застыла жертва: из головы льет кровь, она стекает по плечам и капает с пальцев на землю.

Человек, который поднял на кого-нибудь руку, никогда уже не обретет покоя.

Мирьям представила себе, как убитый преследует своего убийцу. Душегуб открывает случайно дверь, она пронзительно скрипит, будто вскрикнула жертва. В безумном страхе, задыхаясь, бежит он по темной улице, мертвец легко приплясывает рядом и смеется убийце прямо в ухо. Задыхающийся душегуб замедляет шаг, и невидимый мертвец своими костяными пальцами тут же оттап-



тывает ему пятки. По своей воле убийца к гробу жертвы не явится. Мертвец холодной рукой сжимает его запястье, упирающийся убийца тащится по мокрой от дождя улице и вдруг натывается на церковную дверь, из-за которой доносится гудение органа. Убийцу втаскивают, перепуганный преступник волочит ноги по каменным плитам, в полумраке, под хорами, он чувствует себя запертым в покойницкую. Если бы смог, он вцепился бы в скамейки, спрятался бы за высокие прислоны или, взывая к помощи, ухватился бы за бороду какого-нибудь святого. Он не хочет смотреть на труп, который лежит перед алтарем. Перепуганный убийца дрожит. Сжимающая запястье холодная рука направляет его. Убийцу приводят на свет, под люстру. Скрутки троса под высоким сводом расплетаются, железная люстра грохается вниз и разбивает убийце череп так же, как он разбил голову другому человеку.

Убийце приходится бояться всего вокруг себя. Он уже начал презирать безжизненную люстру, которая висит над его головой. Убийцу ведут вперед. Он останавливается перед алтарем, ботинки носками упираются в каменную ступеньку. Прямо впереди, рукой подать, стоят скорбящие. Убийца вынужден смотреть на них, он обязан замечать даже малейшие подробности. Последней стоит девочка в синем пальтишке. У пальто почему-то нет воротника. И шапка у нее маловата. Потрепанные завязки крепко стянуты у подбородка, из-под длинной, скрывающей брови челки смотрят большие, излучающие синий гнев глаза. Взгляд ребенка сверлит убийцу. Он опускает веки и смотрит на девочкины чулки, которые на коленках заштопаны темными нитками. Преступник почти совсем закрывает глаза и все равно видит разъехавшиеся с задника по шву туфельки и шерстяные в полосу носки, которые на щиколотках отвернуты вниз.

На уровне скрещенных на груди рук покойника стоит другая скорбящая. Убийца не знает, что зовут ее Лоори. Он лишь видит, что у светловолосой девчушки на уши натянута подобие шляпы. Девочка, видно, больная. Иначе зачем бы ей склонять голову на плечо, будто хочет согреть больное ухо. Руку прижимает к боку, будто там колет.

Не может быть сомнения, что третья в этом ряду — вдова жертвы. Со странной, плоской шляпки вниз свисает черная вуаль, женщина вся в черном. Даже чулки

черные, в угольно-черную полоску, и кажутся светлее возле икр, чуть выше верхнего края обуви. Каблуки у ботишков сзади стоптаны.

Убийца медлит, он собирается с духом, чтобы взглянуть на жертву. Еще раз скользит взглядом по черной вуали, которую прижимает к вдовьему лицу поток теплого воздуха, поднимающийся от свечей. К удивлению своему, он замечает, что у склонившего голову ребенка кончики волос в мелких завитушках.

Ледяное кольцо на запястье убийцы сжимается. Душегуб знает, что от него требуют.

Он видит беловатые костяшки длинных пальцев, желтоватый кончик носа и выпуклый лоб. За ним застыли извилистые мысли. Две из них в роковую секунду оказались одна подле другой, чтобы в момент удара вклиниться друг в друга: скоро я буду дома; я никогда уже не попаду домой.

Мирьям сжала зубы. Когда она в своем воображении дошла до этой точки, ее вновь потрясла огромность утраты. Душа отца унеслась, и мысли его застыли наполовине. Все равно в другом мире его станут мучить вещи, оставшиеся при жизни незавершенными либо непонятыми.

Отец так никогда и не узнает, что стало с его детьми. Может, он не успел дописать какое-нибудь важное письмо? А вдруг осталось невысказанным какое-то существенное слово?

Возбужденная Мирьям готова была поклясться, что с этого момента будет говорить людям только добрые слова. Она уже готовилась побожиться землей и небом, что это станет основным правилом ее жизни. Но какой-то трезвый рассудок отклоняет ее благие неземные намерения. Ведь Мирьям не знает, кто убийца ее отца. Любой из этих благоговейно стоящих людей может быть тем, кто поднял руку, чтобы нанести смертельный удар. Нет, лучше уж отказаться от клятвы. Не то вдруг и убийца услышит из ее уст приветливые слова.

А это было бы предательством!

Орган с хрипом вдохнул воздух, трубы начали с пропусками издавать скорбные звуки.

Люди подпевали жалостливыми голосами. Кто из них молчит? Мирьям ревностно вглядывалась в сгрудившихся людей. Рты у всех шевелились. Но ведь убийца не смог бы петь! И все же позади, возле столба, понури-

лась высокая фигура, лицо человека было прикрыто поднятым воротником. Он склонил голову просто так. Мирьям напрягла зрение. Ей хотелось снять люстру с крючка. Собрала бы все силы и потащила бы эту гроздь свечей за собой по полу, проверила бы все темные уголки в церкви, заглянула бы каждому присутствующему в лицо.

Прищурившись, она узнала длинного человека. Дядя Рууди все-таки сбежал из больницы и явился на похороны.

Мирьям спохватилась, ведь она и сама не раскрывала рта для пения.

10

Мирьям питала глубокое уважение к тем, кто был при рождении наделен талантом. Дядя Рууди как-то сказал, что человеческая жизнь — сплошная лотерея на лотерею. Уже при появлении на свет каждый держит в руке свой жребий — ребенок то ли здоровый, то ли увечный, талантливый или бесталанный.

Она была убеждена, что у Клауса в кармане лежит золотой талер таланта.

Затея Клауса сыграть пьесу взбудоражила Мирьям. Засыпая вечером и просыпаясь утром, она представляла себе занавес, который медленно отходил в сторону. Из-за него появлялся сводчатый зал древнего замка. Даже дух захватывало — настолько это было интересно. Когда же Мирьям поосновательнее задумывалась над всей этой историей, ей становилось грустно. Актрисы из нее не получится. В школе не приняли даже в хор, куда зачисляли даже почти что последних двоечников. Что поделаешь, если Мирьям была способна тянуть лишь одну ноту. И хотя на торжественных вечерах ей никогда не поручали читать стихи, Мирьям все же не могла сетовать на несправедливость. Она понимала, что никому не доставляет удовольствия слушать, когда красивые слова просто тарабанят скороговоркой. Учитель подчеркивал, что стихотворение нужно читать с чувством, так, чтобы у других в душе начали звенеть колокольчики. Про себя, когда никто не слышал, Мирьям блистала красноречием. Но от этого никакой пользы театральным планам Клауса не было.

Мирьям искренне жалела, что она проиграла самую важную лотерею своей жизни и явилась в свое время на свет с пустым билетом.

Зато сама она нашла в искусстве поддержку.

Было это давно, года два тому назад, когда кошка Нурка вдруг стала какой-то беспокойной. Она жалобно мяукала, бродила из комнаты в комнату и пыталась забраться под шкаф, но не поместилась там. Мирьям начало мучить грустное предчувствие, что неспроста кошка становится все толще. Не иначе как собиралась окотиться, котята уже не умещались в животе. У Нурки раньше котят не бывало, откуда было бедной кошке знать, как котят принимают. Мирьям тоже не приходилось видеть такого дела — как тут поможешь Нурке? Только Нурка оказалась куда сообразительнее, чем Мирьям могла предположить. Кошка свернулась за дверью возле печки клубочком, и вскоре из нее посыпались жалкие мокрые котята.

Хотя воздушная тревога начиналась всегда внезапно, Мирьям все же показалось, что в это ясное апрельское предвечерье сирены завывали настолько неожиданно, что сердце готово было остановиться. Нурка на тревогу и внимания не обращала. Уже появилось целых четыре котенка — и хватило бы. Но Нурка все вылизывала их и продолжала тужиться. Мирьям сделала пару нерешительных шагов в сторону двери — при воздушной тревоге нужно было немедленно спуститься в подвал. Но не могла же она оставить Нурку с ее беспомощными котятами одну! Она понимала, что Нурке и без того трудно, и слезами ее утешать нечего. Надо было предпринять что-то более разумное. Тогда-то Мирьям и нашла опору в самом красивом стихотворении из всех, которые знала. Она глубоко вдохнула, подобно певцам, надавила руками на грудь и прочла как можно громче и выразительнее:

Много цветов собрал бы,
я пояс бы сплел — пускай
в одно бы связал тот пояс
тебя, мой несчастный край!¹

Так как в апреле Эстония выглядит особенно несчастной, это обстоятельство предоставило простор воображению Мирьям. Деревья стояли в талой воде и потрясали голыми ветвями. Ручьи несли с собой ящики из-под взрывчатки, в которых сидели покорившиеся судьбе зайцы. Постепенно на берегу моря таяли груды льда, обна-

¹ Стихотворение классика эстонской литературы Юхана Лийва (1864—1912).

жаллись прибитые осенними штормами бутылки, в которых содержались немые призывы о помощи. Дороги превратились в трясины, при дожде по ним плыли пузыри. Будто болотные черти дышали из-под земли ядовитым смрадом. Зима перекосила садовые скамейки, на них выросли грибы.

Холодная дрожь, которая всегда при пронзительном реве воздушной тревоги извивалась возле позвоночника, теперь куда-то исчезла, Мирьям нагнулась и погладила голову уставшей Нурки. Между лап у кошки лежали шесть полосатых котят, и Нурка по очереди облизывала их. Обмытых деток нельзя было оставлять на голом полу, они могли простудиться. Мирьям ходила по комнате, нахмутив брови и засунув руки глубоко в карманы. Надо было действовать. Мирьям принялась громко на-свистывать, надо же было и себе показать, что она стоит выше времени и обстоятельств. Она с шумом пробежала в подвал — пусть они сидят себе в проходе — и принесла сттуда подходящую корзинку. Мирьям металась между комнатой и кухней, нашла кусок материи на подстилку и переложила Нурку вместе с котятами на новое место. И вовсе не было противно брать в руки этих чуточку мокрых и беспомощных котят. Они начали тыкаться мордочками Нурке в живот и отыскивать сосочки. Глаза у Нурки заблестели. Послышалось мурлыканье — Нурке было ни холодно ни жарко оттого, что где-то поодаль рвались бомбы.

Когда Клаус говорил о спектакле, он между прочим сказал, что, доставляя переживания другим, мы и сами переживаем. Мирьям, которая на людях не могла петь и декламировать, услышав такое, расстроилась. Так как Мирьям не хотела признаться Клаусу в своей бесталанности, она просто смолчала, как чурбан. Показное безразличие Мирьям подстегнуло Клауса разразиться еще более пламенными речами, чтобы пробудить сообщницу от равнодушия и приобщить к своим грандиозным планам.

Пьеса, которую собирался поставить Клаус, была, в общем, что надо.

Принц недавно похоронил отца. Он скорбел и никак не мог смириться с потерей. Однажды мрачной ночью покойный король явился к сыну. Принц узнал, что отец умер не своей смертью, а погиб от руки брата. Король прилег после обеда отдохнуть в саду под яблоней и не мог даже предположить, что коварный брат нальет ему

его сне в ухо яду. Злодей хотел завладеть тронем и королевой.

Узнав от духа отца всю правду, принц решил проследить, доказать виновность и отплатить злодею. Для этого подвертывается подходящий случай. В замок прибывают на ночлег бродячие актеры, и принц просит их дать представление. Пьесу принц выбирает сам, и в ней рассказывается история страшного злодейства: родной брат наливает королю в ухо яд. Принц приглашает нового короля вместе с королевой на представление. Все замечают их волнение, и принц улавливает в глазах нового короля лик убитого отца. Испуганная королева нечаянно выпивает вино, которое было приготовлено для сражавшегося на дуэли принца. Новый король хотел и от принца отделаться, он налил в вино яд. Кроме этого, он намазал ядом меч противника. Оружие переходит из рук в руки, и раненый принц закалывает своего противника отравленным мечом.

В том, что король виновен в отравлениях, признается перед смертью противник принца. Принц хватает меч и убивает под конец самого короля.

К концу представления сцена оказывается заваленной трупами. Королева лежит навзничь, новый король повержен на вожделенном троне, принц и его противник валяются на полу замка. Нежную невесту принца пришлось схоронить еще в середине представления. Она с горя сошла с ума, прыгнула в омут и утопилась.

На сердце у Мирьям долгое время камнем покоилась грустная судьба королевского семейства. По крайней мере, боровшийся за правду принц мог бы остаться в живых. От этого представления остается ощущение, что в жизни и нет ничего другого, кроме черной несправедности. Человеку, который смотрит спектакль, следует все же оставить в душе хоть какую-то надежду — как же так, неужели вся справедливость на земле кончилась?

Одновременно в сознание Мирьям стала просачиваться и другая, более личная забота. Даст ли Клаус ей все же чью-то роль? Мирьям не знала даже, кого бы она желала сыграть. Умирать ей не хотелось даже на сцене. В пьесе, конечно, кое-кто оставался в живых, но это были все второстепенные персонажи. Простые стражи и прислужники, советники короля и принца. Куда приятнее было бы сыграть королеву или сошедшую с ума невесту принца. Мирьям понимала, что это наивно, но ей все же

хотелось бы восседать на сцене увенчанной короной из золотой бумаги.

Да какая там корона, думала Мирьям. У самой нет никакого таланта, а тоже блистать хочет. Сознание подсказывало, что надеяться не на что, однако сердце не хотело смиряться и где-то в глубине души непрерывно щемило. Мирьям уже наперед завидовала тем, кому достанутся лучшие роли.

Вдруг Мирьям спохватилась, что она и брат короля — сдного поля ягоды: тот тоже завидовал настоящему королю.

Мирьям наступила пяткой на пальцы другой ноги и надавила изо всех сил, чтобы только было больнее. Этот старый испытанный прием помогал всегда, когда в голову лезли дурные мысли и всякое ребячество.

Если у человека нет отца, то он сам должен при необходимости наказывать себя. Мирьям была уверена, что отец презирал мелочных людей.

11

Серый борт судна словно отвесная скала поднимался из моря. Вверху, на огромной высоте, прислонившись к поручням, стояли матросы. Лица, будто булавочные головки, уставлены в ряд. Отец стоял, засунув руки в карманы. Он казался Мирьям капитаном, который не знает, что делать со своей жалкой посудинкой. Сейчас они с ходу врежутся в серую стену. Впоследствии Мирьям сердилась, что дает страхам овладеть собой. Ничего страшного не случилось. Их скорлупка развернулась и начала удаляться от кормы гигантского серого корабля. Железная стена проплыла за спиной отца. Он повернул голову, и Мирьям расхохоталась. Растрепанные ветром волосы разваливались на две стороны, отец напоминал грустного льва.

Они совершали прогулку вокруг стоявшего на рейде немецкого военного корабля.

Когда они потом сошли на причал, отец сказал о немецком корабле: карманный крейсер. Впервые Мирьям поняла, что единым словом можно большое обратить в маленькое. По дороге домой она развлекала себя тем, что без конца бормотала: карманная башня, карманный поезд, карманный автобус, карманный виадук, а когда увидела очень длинного мужчину, не смогла удержаться

и вполголоса проговорила: карманный мужчина. Просто удивительно, как обычный город при помощи одного только слова становился городом кукольным.

В то далекое время Мирьям еще пребывала в возрасте кукол и мишек. Именно в тот самый день Мирьям как раз вспорола мишке брюхо, чтобы посмотреть, что там у него внутри. Взбучку она уже получила, и мама даже упрекнула отца, что он ленится воспитывать детей. Мирьям благодарила бога, что поркой в основном занималась мама. Зад от ремня, правда, бывал в рубцах, но после отца от ягодиц, чего доброго, вообще бы ничего не осталось.

Теперь эти времена телесного наказания давно миновали. Только заду доставалось куда больше, чем когда-либо раньше.

В последние зимы на ягодицах появились гнойные нарывы. Едва заживал один чирей, как рядом возникал новый. Мирьям слышала про такую болезнь, как проказа, когда людей отправляли в заключение. Поэтому она всячески старалась скрывать от всех свои болячки. И без того иногда просыпалась по ночам в холодном поту, казалось, что за дверью громяют цепями — там для нее готовили кандалы и наручники.

В последние годы войны приходилось в ясные ночи спать одетым, накрывшись толстыми одеялами-кошмарами. Когда начинала завывать сирена воздушной тревоги, не нужно было долго собираться — хватай с кучи одеял пальто и напяливай на себя, обувь стояла всегда наготове возле кровати. Бредя спросонья в подвал, она не чувствовала особых болей; но внизу, на чурбаке, начинался ад. Чирьи на ягодицах особенно злобились, что потревожили их покой. Нарывы вот-вот должны были прорваться, кожа грозилась лопнуть, хоть в голос кричи. Но Мирьям приходилось скрывать свои болячки. Когда поблизости разрывалась какая-нибудь бомба, Мирьям могла, как бы со страха, ради облегчения громко вскрикнуть. Никто не допытывался, где там у тебя что болит.

Потом Мирьям стала замечать, что и другие дети не могут долго выдержать сидения на жесткой школьной скамейке. Когда отключалось электричество, в классе слышался вздох облегчения. Огарок свечи на учительском столе, к счастью, давал мало света, и всяк старался под покровом темноты устроиться поудобнее. Кто забирался с ногами на скамейку, кто вообще вставал на ко-

ленки и выставлял зад. Если же школа оставалась не-топленной и разрешалось приходиться на уроки в верхней одежде, все подбирали под себя полы пальто. На мягком чирьи как бы становились покладистее, хотя с их стороны это была временная уступка.

Наблюдая за другими, Мирьям поняла, что у всех у них страшная проказа.

Вскоре о чирьях, хотя и было стыдно, стали потихоньку говорить. Утром, по дороге в школу, жаловались друг другу, как кому накануне, придя домой после уроков, приходилось лечить себя. Прежде всего нужно было оттирать от тела белье, головки чирьев начинали кровоточить. Каждый накладывал на больное место что мог, большинство употребляло черную ихтиоловую мазь, которая ужасно воняла. Даже учитель однажды на уроке потянул носом и сказал, что в этом помещении, наверное, раньше размещался полевой лазарет.

Спустя некоторое время чирьи стали общей хворью, и о них заговорили совершенно открыто. Взрослые утверждали, что нарывы возникают от недостатка витаминов. Однажды в школе каждому дали с собой по коробочке драже. Был как раз пронизывающе холодный день, окоченевшие ноги отказывались держать тело. Мирьям решила, что если птахи от хлебных крошек получают на морозе подкрепление, то и эти витамины следовало отправить в пустой желудок. Окоченевшими пальцами она разорвала коробочку и в один прием съела все витамины. Да много ли их там было — всего пригоршня горошинок. На душе повеселело, и Мирьям была уверена, что уж теперь-то чирьям нанесен смертельный удар. Однако враг оказался сильнее, чем можно было предположить. Едва Мирьям добралась до дому, как ее вырвало, и чирьи никуда не исчезли. Она чувствовала себя слабой и разбитой, Мирьям уже подумала, что ей теперь, наверное, никогда не встать на ноги.

То, что Мирьям ходила учиться в такую даль, было ее собственной виной. Мама ей несколько раз говорила и настаивала, чтобы она шла в школу рядом, через площадь. Плохо ли: раз-два — и ты уже в школе. После смерти отца — занятия начинались только в октябре — Мирьям взяла и послушалась маму. Отыскала нужный ей класс, уселась на одну из дальних скамеек, положила руки скромно на парту и стала ждать, что будет дальше. Мирьям казалось, что в новой школе все начнется как бы сна-

чала, она подумала, что жизнь, видимо, и впрямь станет легче — отсюда после уроков можно мигом добежать домой. Да и утром можно будет дольше поваляться в постели.

Учительница в сером жакете занесла в журнал фамилии учеников, пожаловалась, что не хватает учебников, и посоветовала друзьям-товарищам готовить уроки вместе. Зазвенел звонок, и первый урок на этом закончился. Мирьям собиралась выйти из класса, но учительница подозвала ее. Она подвела Мирьям к окну, будто собиралась на свету разглядеть девочкино лицо. Мирьям растерялась. Учительница положила руку ей на плечо. Мирьям разглядывала полы серого жакета, прикрывавшие живот учительницы.

— Расскажи, как убили твоего отца?

Мирьям съежилась. Серый жакет зарябил перед глазами. Мирьям стала хватать воздух и вскинула голову. Она увидела в глазах учительницы уже знакомый ей блеск. В воображении Мирьям предстали женщины, которые накидывали на голубей сети. Отец наезжал полным ходом на серую стену. Мирьям захотелось с налету удариться головой в серый живот. Она сдержала себя. По телу прошла дрожь, и Мирьям разревелась самым непристойным образом. Оставив учительницу стоять в недоумении у окна, она бросилась вниз по лестнице. Гардеробщица не хотела отдавать пальто. Мирьям, всхлипывая, сказала, что у нее температура. Сорок градусов, заявила она, чтобы скорее отпустили.

— Карманная учительница! — громко и со злостью сказала она по дороге домой.

Больше Мирьям не переступала порога этой школы. Она будет каждое утро тащиться хоть за тридевять земель. Пускай лентяи дрыхнут вместе со своими кошмарами, сколько им влезет. А она может встать и пораньше, чтобы заблаговременно отправиться в путь.

Лишь теперь, после войны, Мирьям поняла, что ее чирьи и учительница в сером жакете не стоят того, чтобы о них вспоминать. Она вернулась в свою старую школу, и никто ее за это не наказал. Она могла свободно перебегать и выбирать себе место по своему усмотрению.

Старые рубцы показались Мирьям довольно ничтожными, когда она задумывалась об ужасах, о которых говорили женщины. Немцы избивали арестованных плетью из колючей проволоки. Жертвы не могли убежать,

они стояли прикованные за руки к стене. Просыпаясь по ночам, Мирьям видела перед глазами белые спины, колючая проволока впивалась в тело, из ран сочилась кровь. Алые струйки стекали по бокам, кровь сливалась в ручей и скатывалась по ногам. Ручьи крови, стекая с жертв, стоявших рядами, сливались в одну красную реку. Она катилась по стремнинам, чтобы только унести-ся подальше.

Мирьям казалось, что кровь живет и чувствует, так же как сам человек,— кровь хотя бы могла убежать оттуда, где уже никакой надежды не оставалось.

Люди ведь неспроста при несчастье становились мертво-бледными.

12

Клаус обидел Мирьям. Он сказал, что она тупа и неповоротлива, как крестьянская лошадь. Если человек хочет заниматься искусством, он ради достижения цели должен себя все время подстегивать. Почему Мирьям до сих пор не присмотрела подходящих людей, из которых вышли бы артисты! Дни идут, сетовал Клаус. Так можно всю жизнь проморгать.

От слов Клауса у Мирьям загудело в ушах. Она переминалась с ноги на ногу и не знала что делать. Послать Клауса к черту вместе с его королями? Тогда она опять останется одна-одинешенька. Стой в воротах или слоняйся по пустому двору. Обстоятельства вынудили Мирьям покориться. Она сцепила зубы и не стала спорить с Клаусом.

Откуда взять артистов? Все старые товарищи раскиданы по свету.

Под вечер Мирьям с поникшей головой поплелась в приморский лесок.

Былые сражения, которые они вели камнями с городскими ребятами, теперь казались смешными. Может, и они в этой большой войне поумнели и не будут раздувать старую вражду. К тому же это они в свое время вышли победителями. Не имело значения, что при плохой погоде у Мирьям ныло под левой лопаткой, туда как-то во время сражения с городскими угодило камнем. Ладно, можно и помириться. Кто не погиб в настоящей войне, тем теперь следовало бы держаться сообща, подружиться бы не мешало. Если вражда не уймется, люди

поубивают друг друга, и земля останется совершенно пустой.

Охваченная благородными мыслями, Мирьям надеялась встретить на лесной поляне городских.

Она опасалась сворачивать с большой дороги. С тех пор как в начале войны через город прошли бои, Мирьям тут, под соснами, не бывала. Война из некогда столь тихого лесочка сделала приют опасности и ужасов, куда осмеливались ступить лишь отъявленные смельчаки.

Кроватью для Клауса служил ящик из-под снарядов. Он явно притащил его в свой подвал отсюда. Мысль эта ободрила Мирьям и помогла ей побороть страх.

Когда полыхала текстильная фабрика, люди выходили на добычу и в этот прибрежный сосняк.

В то зловещее тихое утро не раздалось ни одного фабричного гудка, ни один автобус не подъехал к остановке,— казалось, что за воротами вместо города начинается огромная пропасть, на дне которой бушует огонь. Окна были закрыты до единого, в лучшем случае люди выглядывали на улицу из-за шторы. Прикрывшись личиной безжизненности, люди пытались обмануть судьбу. Случайной пуле нет смысла залетать в окно, тут властвует пустота. Однако ядовитый смрад страха развеялся уже через несколько часов. И хотя никто ни с кем не сговаривался, в путь все же пустились и те, у кого мешок под мышкой, и те, у кого тачка с собой.

Как всегда, они втроем оказались самыми беспомощными и ничего не сумели предпринять. Но наконец и до них дошел слух, от которого защекотало в ноздрях и потекли слюнки. Мама взяла дочек за руки, и они несмело вышли за ворота. Они тоже пытались по-своему провести за нос чреватую опасностями судьбу. Будто на прогулку отправились. Сколько раз они ходили этой дорогой, что вела к морю! Мирьям показалось, что за ночь сюда, под деревья, свалили железо со всего света. Перевернутые машины, пушки, пулеметы, отливающие холодом снаряды. Мирьям казалось, что снаряды поворачиваются ей вослед, под ними шуршала сухая хвоя. Недалеко от дороги провалилось в землю стадо маленьких слонят — из травы торчали противогазы с гофрированными хоботками и с большущими стеклянными глазами. Мирьям знала, что опасность коварна — не мины ли в тех ящиках, что сложены штабелями? Может, успели часть из них заложить под кочки? Наступишь — и взлетишь за

облака. Где-то поодаль, может, в центре города, в небе поплывут и опустятся на мостовую обгоревшие лохмотья ситцевого детского платица.

Там и сям между деревьями двигались люди, которые не боялись риска. За пушкой раскидывали какую-то кучу, лезли в кузов машины, перекачивали бочки, кто-то с граблями на плече протопал меж раскидистых сосен, словно разом собирался сгрести все лежавшее под деревьями добро.

Они втроем шли, прижавшись друг к другу, по самой середине дороги, держась инстинктивно подалее от лежавшей по обе стороны опасности. Будто лес вместе с боеприпасами мог сдвинуться с места и штормовой волной навалиться на них.

Прямо на берегу моря стоял хлебный фургон, колеса машины завязли в песке. Если бы шофер проехал еще чуточку, то хлебы разбросало бы по морю. Каких только странностей не принесла с собой война! Мирьям завороченно бормотала: караваи морские, караваи морские. В воображении своем она видела бабушку в халате-спасителе, которая плавала среди караваев.

Дверца автофургона была открыта, какой-то мужчина стоял перед сложенными штабелем буханками и раздавал людям хлеб. Собравшиеся у фургона женщины и дети становились в очередь — удивительно, что хлеб напомнил людям о правилах поведения. Вряд ли там поодаль в лесу кто-то с кем-то считался. Мужчина, раздававший хлеб, был справедливым — и выдавал каждому по две буханки. Даже детям, несмотря на то что они маленькие. Те, кто получил свою долю, не торопились уходить. Все нежно, будто младенцев, прижимали к груди свои буханки, вдыхали аромат запеченной корки и блаженно бормотали:

— Настоящий ржаной хлеб!

Мирьям оглядела берег. Тут не было ни снарядов, ни всенных машин, и все равно все изменилось. Нарисованные на деревянных щитах красивые женщины, которые держали в красных губах дымящиеся папиросы, валялись на земле. Огромные папиросины буравили тлеющими торцами песок. На крыше эстрады лежали камни. На крыльце этого восьмигранного строения валялась соломенная шляпа с черной лентой. Такой же головной убор носил тот противный мужчина, который до войны расхаживал голышом по набережной с тростью в руке.

Мирьям удивлялась, почему такого типа не прогоняют с глаз. Наоборот, взрослые говорили, что нагота входит в моду, скоро все будем ходить без штанов.

По дороге домой Мирьям отщипывала понемножку от буханки.

Лоори ворчала, мол, порядочные люди отрезают от буханки нужный ломоть. Непонятно, откуда у мамы взялось столько смелости, что она свернула с дороги. Она подошла к свалившемуся набор котлу с трубой и на колесах. Повар забыл возле походной кухни длинный нож. Мама держала его в руках, словно меч. Мирьям подумала, что теперь они защищены. Пусть только явится какой-нибудь алчный грабитель, который захочет отнять у них хлеб,— мама сунет ему под нос нож, и разбойник бросится наутек.

Позже Мирьям поняла, что их добыча никого бы на разбой не толкнула. Люди в тот день междувластья, оказывается, натащили себе большие богатства. Из леса несли солдатские одеяла, котелки, консервы и копченую рыбу. Мирьям представила себе, как на сосновых ветках висят, словно игрушки на рождественской елке, золотисто-коричневые рыбины. Какая вкусная еда: лесная рыба и морские караваи. Кто-то нашел среди снарядов целый бидон сахарного песка. Потом по дворам спорили, идет ли в бидон двадцать или тридцать килограммов сахара. А тот, кто отважился отправиться подальше, разжился такими трофеями, что и не снилось. Какой-то мужик на лошади перевез с ближнего к городу луга к себе в сарай полсамолета. Крыло так и осталось торчать в дверях. Мужичку привалило забот — стерег свое добро да отгонял ребятишек, которые норовили залезть на крыло и покачаться. Какая-то предприимчивая баба прикатила к себе во двор целых три бочки керосина. После она прибыльно сбывала его в розлив. Последнюю бочку обменяли на живую свинью, которая вскоре опоросилась. Самые большие погромщики обеспечили себя дорогими товарами на много лет вперед. Кто-то очистил магазин тканей, да и в обувных магазинах полки опустели. Куда хитрее оказался мужик, который привез домой ящики иголок. Люди говорили, что он в войну всего за четыре иголки наменивал столько еды, что мог всей семьей день прожить. Иголка — и обед. А может, кто-то наедался горстью гвоздей, другой же обращал в свиное жаркое кашку ниток.

Остановившись возле сосняка, Мирьям усмехнулась. Эти плуты в войну оказались куда искуснее, чем трюкачи в цирке. Весной на базарной площади выступал великан, который разом вливал в себя ведро воды. Потом надавливал руками на живот, и вода фонтаном извергалась наружу. А женщина, что в дни боев натаскала домой двести железных ведер, могла беззаботно валяться всю войну на кушетке. Ей не нужно было мучить себя непомерной работой, чтобы добывать хлеб насущный.

Мирьям осторожно пролезла через высокую траву на дне канавы. Нахлынувшие мысли оттеснили на задний план заботу об артистах. Мирьям вздохнула. Так можно извести хоть тысячу часов, выговаривала она себе. Нельзя больше мешкать. Она пойдет прямо на лужайку, из-за которой в свое время велись жаркие схватки. Она помирится с городскими и начнет им заговаривать зубы. Мирьям больше всего боялась, что деловитые мальчишки отмахнутся от нее: вот нашла занятие — кривляться перед людьми. Но она сделает все, что сможет. Подавит в себе зависть и пообещает городским самые лучшие роли. С великодушием в сердце она щедрой рукой раздаст золотые короны, лишь бы сыграть спектакль! Скажет с бесстрастным видом: благодарите случай, что не хватило принцев. Пользуйтесь возможностью! У благородного принца ведь может быть и свита. Да и парочка королей не помешает. Сперва она и не заикнется, что один из королей уже убит и является только в образе духа. А мальчишка покрасивей может сыграть королеву. Невесту принца она упоминать не станет. Эта чокнутая черт те что несет,— может, она, Мирьям, сама сойдет, чтобы пробубнить слова невесты. Уж лучше невеста принца, хотя и тронутая, чем стоять молчком в роли какого-нибудь стража в углу королевского зала.

Мирьям попыталась продвигаться как кузнечик. Перепрыгивала с кочки на кочку — было меньше риска угодить на скрытую мину.

Раньше казалось, что лужайка находится в глубоком лесу, далеко от дороги. Люди говорили, что в войну у детей остановился рост. Мирьям же полагала, что за последние годы она сама выросла, а старые тропинки, наоборот, укоротились. Дивись не дивись, только вот и лужайка, из-за которой в свое время возникла страшная междоусобица.

Какой жалкий клочок! Возле покосившихся волейбольных столбов кто-то свалил кучу мусора. Мирьям пошла и пнула ржавую пружинную сетку. Сетка качнулась и сверху с грохотом скатилось ведро без дна. Мирьям на всякий случай попятилась — перед ее взором, как предостережение, возникла колышущаяся гора золы. Не хватало еще, чтобы из кучи хлама начали извергаться консервные банки да осколки стекла.

Мирьям совсем пригорюнилась. Городских не было и в помине. От огорчения на глаза навернулись слезы. А вдруг бывшие недруги все погибли в войну?

Разнесчастная, стояла она рядом с кучей хлама. Ее надежды рассыпались в прах.

Прислушалась. Что это за голоса раздаются в кустах? В ее разочарованной душе затеплилось какое-то радостное предчувствие. Сердце громко застучало. Вдруг сейчас из-за деревьев появятся городские? Мирьям представила дружескую ватагу, ребята идут с граблями и лопатами на плечах. Мигом засучивают рукава и начинают убирать с волейбольной площадки мусор и хлам. Повсюду идут восстановительные работы. Каждый хочет сделать что-нибудь полезное. Мирьям уже была во власти своего воображения. На лице ее невольно появилась улыбка. Мирьям спряталась за раскидистыми соснами. Когда ребята будут на месте, она бросит в кого-нибудь маленьким камешком. Оторопевшие мальчишки начнут озираться. А из-за дерева выйдет не кто иной, как сама Мирьям, и с огнем во взоре объявит:

— Давайте сыграем спектакль.

Ребята обрадуются, что старый недруг жив, и не посмеют нос воротить.

Возбужденная такой торжественной встречей, Мирьям зажмурила глаза. Терпение, терпение!

Она столь стремительно раскрыла глаза, что хлопнули веки.

Нет, это хлопнула бутылка, которую поставили на осколок стекла.

Там пошатывались из стороны в сторону трое парней и три хихикающие барышни. Какая-то шутка их всех разом рассмешила. Один из парней стал растаскивать пошатывавшуюся компанию. Он тащил всех за руку и расставлял каждого вокруг мусорной кучи. Постепенно карусель задвигалась, парни с барышнями повели хором и, слегка заплетаясь, запели:

Кто в саду,
Кто в саду?
Пчелка в саду...

Слова смешались, и парни с барышнями так и пока-
тились со смеху.

Мирьям смотрела на их нетвердо переступавшие ноги.

У двух барышень чулки сползли на пятки, у третьей из-под задравшейся юбки выглядывали лиловые с кружевами панталоны. Один из парней принялся энергично размахивать руками, будто хотел созвать к мусорной куче весь город. На самом же деле его интересовала только бутылка вина, он чуть было не свалился на мусорную кучу, когда ухватил бутылку. Парень отхлебнул большой глоток и пустил бутылку по кругу. С охотой приложилась к бутылке и барышня, у которой из-под юбки выглядывали панталоны. Передав бутылку дальше, она стала возиться с юбкой. Мирьям облегченно вздохнула — наконец-то приведет себя в порядок.

Мирьям на миг прикрыла глаза, неприлично ведь смотреть на такие вещи.

Безумные надежды невесты принца!

Барышня все выше задирала подол юбки, лиловые с кружевами штанишки оказались уже совсем на виду. Все покатывались со смеху. На этом представление барышни еще не окончилось. Она принялась подбадривать себя возгласами: раз-два, раз-два! — и стала в такт счета подпрыгивать.

Мирьям не хотела смотреть на эти раздувающиеся панталоны. Когда у барышни от резкого движения волосы спали с лица, Мирьям узнала Аурелию.

В ту ночь, повстречав случайно на пожаре Мирьям, дядя Рууди, мельком глянув на нее, схватил за руку и потащил за собой. Мирьям шла спотыкаясь. Полыхавший через улицу огонь припекал бок. Мирьям смотрела под ноги, по хлопьям сажии волочились белые завязки дяди Руудиных подштанников. Мирьям боялась наступить на них. Когда она поймала себя на этих мыслях, то ей стало так стыдно, что хоть бросайся в дверь какого-нибудь горящего дома. Почему она не кричит и не плачет от ужаса? Языки пламени вздымались в небо, трещали бревна,

пылавшие куски досок факелами разлетались во все стороны.

Люди сгрудились перед крайним домом маленького переулка. Казалось, дом лишь на мгновение задержался на месте, чтобы уже в следующий миг ринуться в огонь. Мирьям показалось, что все стоявшие позади дома терпеливо ожидают своей очереди. Когда загорится угловой дом, горячая воздушная волна приведет в движение выкованный дедушкой флюгер. Красные от пламени окна мастерской уставились на огонь, от которого нет спасения. Железное кружево наличника над входной дверью начинает плавиться. Раскаленные капли, разбрызгиваясь, падают на тротуар. Когда огонь прогрызет чердачное перекрытие, противовес входной двери — огромная железная гиря — грохнется через квартиры в подвал и разнесет пол. Почва закачается, канализационные трубы переломятся, их концы вылезут из земли и начнут с клекотом втягивать в себя раскаленный воздух.

— Ведра! Веревки! Лопаты! Быстро! — кричал дядя Рууди, преодолевая шум пламени.

Безмолвно стоявшие женщины обернулись.

Когда Мирьям позднее услышала слово «пророк», она задним числом связала его с личностью дяди Рууди. По мнению Мирьям, пророк был именно таким человеком, который умел заставить стремительно биться сердца людей, вывести их из оцепенения. Вот он стоит, ес дядя Рууди, полы меховой шубы распахнуты, кадык будто огромная шишка посреди горла, щеки ввалились.

— Скорее! — гаркнул дядя Рууди. Его поднятая рука резко опустилась. Может, дядя Рууди представил, что в руке у него бич, может, он даже слышал сквозь ветер посвист воображаемой плети.

— Нет воды! — крикнула какая-то женщина.

— Черт! — завопил дядя Рууди. — Тогда мочитесь на огонь!

Женщины замахали руками. Они перекрикивались между собой, рты двигались быстро, будто откусывали воздух. Только что такие оцепеневшие, лица враз оживились. На них перемежались отчаяние с надеждой, неверие с жадной деятельностью. Галдящие бабы кинулись врассыпную, и Мирьям тоже бросилась бежать. Она изо всех сил толкнула ворота, лоб коснулся досок — они были теплыми. Вместе с Мирьям на обледенелую дорожку дво-

ра хлынуло красное зарево, жадный язык пламени лизал темноту. Железная крыша дома Мирьям поблескивала на фоне темного ночного неба. Казалось, будто на дом натянули светящуюся шапку. Передний дом разостлал по его стенам и окнам защитный покров своей тени. Белые накрест наклеенные полоски на оконных стеклах придавали заднему дому какой-то глуповатый вид.

С громким стуком за спиной захлопнулась входная дверь. Кромешная темнота на мгновение пригвоздила Мирьям к месту. Она вытянула руки и стала нащупывать перила. Пальцы коснулись гладкой доски. Теперь, когда нога оказалась на ступеньке, Мирьям захотелось немного поплакать. Скорее! Неужто и сюда донесся голос дяди Рууди? Ведра, веревки, лопаты! Мирьям споткнулась в проходе об узлы, рука, ища опоры, прошла ладошкой по шершавой штукатурке. Теперь небось содрала кожу до самой кости, подумала Мирьям и яростно прокричала:

— Ведра!

Кто-то схватил Мирьям за плечо. Она стала вырываться, чего они мешают, пожар не ждет.

— Мирьям! — всхлинула мама.

— Жива, здорова, некогда, — выпалила Мирьям одним духом. Она вырвалась из рук матери и стала ощупью пробираться в свой сарай. Там она зацепилась ногой за какой-то хлам и брякнулась носом в опилки. Мирьям отфыркивалась и ругалась. Когда она поднялась на ноги, как назло стали дрожать колени.

В подвальном проходе послышались голоса. Люди причитали и охали. Мирьям снова ощутила желание хотя бы немножко поплакать. Огонь не ждет, сказала сна себе. Она пинала ногой темноту. Ведро должно было находиться где-то рядом! Сейчас звякнет железо. Однако носок туфли угодил в корзинку, заложенную бутылками. Это так зазвенело, будто во всем доме разом посыпались из окон стекла. Кто-то жалобно вскрикнул.

— Мирьям! — запрещающе востепенулся беспомощный голос матери.

Мирьям еще сильнее раскачала ногу. Кто ищет, тот найдет. Откуда-то сверху в придачу к найденному ведру скатилась Мирьямина садовая лейка, которую в далекие мирные времена за ее зеленый цвет называли жаболейкой.

— Воды нет, ничего не спасешь,— сказал кто-то на грохот лейки.

Мирьям притопнула ногой на ступеньке и крикнула:

— Тогда мочитесь на огонь!

Хотя Мирьям и пыталась придать голосу бодрость, до выхода она дотащилась с трудом, будто болтавшиеся у нее в руках ведро и лейка были наполнены расплавленным свинцом.

Расставив ноги, дядя Рууди стоял посреди улицы. Лопата поднялась над головой, чтобы тут же со всего размаха опуститься. Брызги льда разлетелись во все стороны.

— Стена!

— Горит!

— Стекла в окнах плавятся!

Женщины старались перекричать шум огня.

Мирьям глянула на стену. Краска пузырилась, в щелях обшивки плясали огненные язычки, малюсенькие, будто пушинки от красной птички. Кто-то швырял в обугливавшиеся доски гнилые картофелины, слышалось шипение. Стоявшие на подоконниках цветы поникли. Мясистые листья сочились зеленым соком.

— Нету спасу, спасу нету,— охала закутанная в большой платок женщина и переступала с ноги на ногу, словно никак не могла дожидаться, когда пламя охватит стену.

— Черт! — ругался дядя Рууди. Он в одиночку поднимал крышку сточного колодца. Мирьям пригнулась рядом, из горла у дяди Рууди вырывался свист. Чугунная крышка с грохотом откатилась в сторону.

Теперь женщины усердно взялись за дело. К одному ведру привязали веревку. Ведро шлепнулось в сточный колодец, вверх брызнули помои. Но ведро не погрузилось.

И тут Мирьям проявила самую большую в своей жизни смекалку. Она притащила из-за ворот ослабившийся старый ботинок. Хорошо, что потерявший его бродяжка не снял шнурок.

Ведро, с бульканьем набирая воду, ушло в темневшую глубину и вскоре появилось вновь, дужкой наполовину в синей пене. Помои вылили в другое ведро, которое стало переходить из рук в руки. Последняя в ряду женщина размахнулась, и содержимое ведра плеснулось на тлевшую стену. С обшивки взметнулись в воздух клубы па-

ра. Вот так дом, обрадовалась Мирьям. Он сам задует огонь.

В ход пошли все ведра. Из окрестных подвалов на улицу выбирались жильцы. Теперь уже два ряда людей стояли между сточным колодцем и тлевшим домом. Ведро за ведром поднимали из колодца пенившуюся жидкость. Задыхавшегося дядю Рууди от колодца оттеснили. Водой без передышки окатывали стену. Мокрое пятно все росло.

Горшок с Розами взобралась по скобам водосточной трубы наверх. Там она обхватила коленками трубу и выливала на стену подаваемые ведра с помоями. С каждым новым ведром Горшок с Розами действовала все более ловко — ее тело выгибалось дугой, и — раз! Мокрая часть стены все увеличивалась.

Мирьям пробиралась сквозь людские ряды, под ногами хлюпала вода. Ведра гремели, помой плескались. Кто послабее, те стояли в сторонке и звонкими голосами поучали работавших.

Мирьям подошла к дяде Рууди и взяла его за руку. От меховой шубы исходил кислый запах.

— Если сгорит воздух, будем все как рыбы на берегу.

Мирьям замерла. Она-то думала, что дядя Рууди беспокоится о бабушкиных домах.

— Гляди, как пламя мечется! — продолжал дядя Рууди. — Огонь вытягивает воздух вверх, гарь опускается вниз, яд входит в кровь.

Дядя Рууди задыхался.

— Огонь уже отступает, — утешила Мирьям. Она чувствовала себя совсем беспомощной. Через улицу возле забора были накиданы узлы и набросаны стулья. Мирьям силком потащила дядю Рууди посидеть там. Стул заскрипел. Полы шубы распахнулись, белые дяди Руудины подштанники были полосатыми от копоти.

Дядя Рууди уперся ладошками в свои острые коленки и уставился на огонь.

Стену углового дома залили как следует. Однако рвения самозванных пожарников это не уменьшило. Горшок с Розами по-прежнему висла на водосточной трубе. Часть ведер вносили в дом, выливали на стену и из окон второго этажа. Те, кто посноровистее, плескал помоями вверх, чтобы окатить получше и под стрехой.

Столб огня, поднимавшийся над тремя горевшими домами, постепенно начал оседать. Опасность миновала.

Люди собирались в кучу, хвалили друг друга. Горшок с Розами, усмехаясь, от головешки раскурила свою трубку. Только дядя Рууди устало и безучастно сидел на стуле возле забора, будто он уже тогда знал, что бабушка Клауса сгорела.

14

Иногда бывает достаточно один раз чихнуть, чтобы освежить мозги. Прошлой зимой Мирьям как-то возле углового дома сильно расчихалась. Из глаз потекли слезы. Когда приступ прошел, она принялась разглядывать обгорелую стену. По телу снова прошла дрожь. Этот жалкий деревянный домишко грудью встал перед огнем. Мирьям почтительно посмотрела на обуглившуюся местами обшивку дома. Видимо, и у бессловесных домов есть своя душа и сокровенная жизнь, о которой у людей нет и понятия. Дом этот должен бы с благодарностью помнить дядю Рууди. Гляди-ка, в окне весь в ярко-красных бутонах кактус. Мирьям была уверена, что цветок выставлен в честь дяди Рууди.

Дедушка говорил, что каждый должен оставить после себя на земле что-нибудь хорошее. С дядей Рууди как раз и была такая забота, что люди считали его обсевком. Рууди? Ах, это тот долговязый бездельник и балагур, который прожигает жизнь. Так они говорили, хоть ты со стыда сквозь землю проваливайся. Не мешало бы и им порой как следует прочихаться, чтобы освежить мозги. Они же вовсе не помнили, что именно дядя Рууди стащил крышку со сточного колодца и заставил женщин таскать воду. По мнению Мирьям, это достойное дело вполне можно было поставить ему в заслугу. Разве этого так уж мало — спасти один дом? Это же все равно что построить новый!

Но уже тогда, в то хмурое утро, когда огонь унялся и повсюду лежала зола, а в воздухе реяли хлопья сажки, никто и не вспомнил дядю Рууди. Мирьям знала, что дядя Рууди лежит на короткой красной софе, выставив через край ноги и натянув на себя шубу. И все равно дрожит от холода. Мирьям пододвинула стул ему под ноги и со страхом увидела, что черные дяди Руудины носки покрыты белым налетом, будто заиндевели. Страшное предчувствие охватило Мирьям. Люди именно с ног и начинают остывать. Мирьям отгоняла дурные мысли. Ста-

руха с косой и раньше подступала к дяде Рууди, но всегда уходила ни с чем.

В то утро с неба сыпалась сажа. Кое-кто ходил смотреть город и возвращался с мрачными вестями. Горел театр. И надо же им было играть как раз эту историю с домовыми! От заигрывания с сатаной добра ждать нечего. В некоторых местах от целых улиц остались одни развалины, даже трамваи сошли с рельсов, лежат вверх колесами.

Невыспавшиеся люди снова собирались на улице, согревая руки, подвигались поближе к пожарищу. Головешки тлели, из-под золы курился дымок. Мирьям посмотрела на сваленные в кучу узлы возле забора. Какая-то швейная машинка была вытащена открытой, с шитьем под иглой. Всегда запертые, глухие ворота длинного забора были приоткрыты. Лээви тянула шею и выглядывала на улицу. Мирьям не знала, то ли кивнуть ей, то ли не надо. Может, неудобно беспокоить человека, который носит гипсовый жилет. И без того Мирьям пришлось в то утро выслушать, что она просто бессердечный ребенок. Порядочная девочка не бегаёт при затемнении и под бомбами смотреть кино. Мирьям была поражена, что вспомнили про ее отсутствие. Это же было так давно, когда золотоволосая красавица стояла на кочке и собиралась прыгнуть в омут. Башни златоглавого города сверкали сквозь густой туман — да было ли вообще когда-нибудь такое наяву?

Хорошо, когда человеку ясно, что он из себя представляет. Бессердечный ребенок заложил руки в карманы и принялся рассматривать чужих, вымазанных сажей и гарью людей, которые двигались по улице. Кое-кто тащил свой уцелевший скарб в мешке за спиной. Шла какая-то волочившая ноги барышня в шляпе — неуклюжие деревенские валенки на каждом шагу задирали край ее пальто. Рядом с барышней ковыляла женщина с безжизненными глазами, ее меховой воротник был местами опален догола. Куда они идут?

Из-за угла в переулок сворачивали все новые беженцы. Большинство их везло свои узлы-пожитки на санках. Кое-кто из пришельцев находил среди стоявших кучками женщин родственников или знакомых. Кидались друг другу на шею, плакали и смеялись попеременно. Мы идем из ада, мы идем из сущего ада, повторяли беженцы.

Мирьям больше не в состоянии была оставаться на месте. Внутри у нее что-то окончательно и бесповоротно перепуталось. Ей хотелось стряхнуть с себя это безликое оцепенение, она сновала среди людей, споткнулась о полз санок и присела на мгновение на тот же стул, на котором ночью отдыхал дядя Рууди. Перед Мирьям оставилась какая-то женщина, она держала за руку двух мальчиков. Она пристально смотрела на Мирьям, машинально застегивала и расстегивала пуговицы и все повторяла: ни кола ни двора, ни кола ни двора. Женщина уставилась на стулья. И вдруг она повалилась на сиденье со стоном:

— Где же ты, мамочка моя?

Мирьям сжалась в комочек и крадучись поспешила отойти подальше.

Женщина принялась разбирать узлы, лежавшие рядом со стульями. Будто помешанная: развязала несколько узлов и стала разбрасывать вещи. Она швыряла через голову полосатые нижние юбки, которые опускались, словно парашюты. Через плечо женщины летели полотенца и наволочки, вышитые покрывала и дырявые занавески. Мальчики взяли одну занавеску за оба конца и еще больше разодрали ее. Уж не думает ли эта женщина отыскать в узлах свою мать? Мирьям представила себе, как женщина вдруг вскрикнет: ощупывая кусок ткани, она вдруг наткнется на маленькую сухопарую старушку, которая застыла в сидячей позе. Старушка держит в руках спицы и смотрит поверх очков на собственную дочь. Женщина берет старушку на руки и не знает, что и подумать. Фарфоровая ли это статуэтка или ссохшийся от жары человек?

Женщина вскинула голову и стала топтать разбросанные вещи. За что она только мстила этим тряпкам?

Мирьям не могла больше смотреть на безумство женщины. Она ушла бродить по соседским дворам и садам. Повсюду сновали люди. Мирьям и представить не могла, что в этих домах живет столько народу. Кто-то готовился бежать: хлопая дверями, люди носились между двором и домом, кидали на санки чемоданы. Из какого-то окна вытаскивали мебель. Длинный диван со спинкой рывками соскальзывал вниз, женщины, стоявшие во дворе, были не в силах удержать тяжесть, и диван грохнулся наземь. От удара у него отлетели ножки.

Мирьям расспрашивала людей, не видел ли кто женщины, у которой есть дочь с двумя сыновьями. Той, чьи стулья и узлы свалены на улице возле забора. На вопросы Мирьям никто не обращал внимания. Может, они просто не слышали? Мирьям сглотнула, в горле застрял комок. А может, у нее пропал голос? Она стащила варешку и провела рукой по губам. Губы были опухшими и шершавыми.

В саду, между яблонями, ломом долбили мерзлую землю. Кого они там собираются хоронить? На краю воронки стояли ванны для стирки, полные домашнего скарба. Хотят зарыть вещи. Под землей ведь самое надежное место. Они собираются спрятать даже время — на куче компоста, подобно перевернутому на спину жуку, лежали напольные часы. Однажды, когда поблизости грохнет какая-нибудь бомба, из-под земли раздастся тиканье. Каждый час из могилы времени будет доноситься бой часов.

Мирьям нигде не сиделось. Она пошла на свой двор и тут же снова захотела выбежать за ворота. Ей пришлось заставить себя заглянуть в окно. За окном стояла бледная бабушка с перекусенным ртом. Занавеска вздрагивала, бабушка держалась за нее дрожащей рукой. Светомаскировка над бабушкиной головой висела в полуопущенном виде. Мирьям решила, что потом пойдет и подтянет черную штору. У бабушки самой не было сил, чтобы потянуть за веревочку.

На улице все еще стояли кучкой и разговаривали бабы. Будто пожар впервые свел их вместе и им теперь жаль расходиться. Кто знает, которую уже трубку выкуривала Горшок с Розами.

Сопевшая Мирьям поплелась за развалины — интересно, какими они выглядят с той стороны? Откуда бы ни смотреть на пустоту, все равно будет пустота. Мирьям поддевала носком золу и постукивала каблуком по обуглившимся головешкам. Она заметила, что чулки у нее были по колено в сажу. Мирьям нагнулась, схватила с земли уголек и на ощупь навела себе кошачьи усы.

Она принялась разглядывать полуобгоревший ствол дерева.

— Наша кошка — замарашка... — пробормотала Мирьям. — Черт возьми, — произнесла она, вздохнув. Мирьям хотела было поддеть какую-то кочку, однако нога на полдороге задержалась. Бугорок был с шипами. Мирьям

подняла находку и сдула с нее золу. Из маленького горшочка выглядывал малюсенький прелестный кактусик. Она поднесла его к щеке. Как мило он кололся, какая приятная всамделишная боль! Мирьям спрятала цветок за пазуху, как невеста какое сокровище.

Казалось, кактус излучал тепло, у Мирьям даже щеки зарделись. Она вдруг почувствовала голод. Но отправиться прямо домой она не могла. Надо было осмотреть улицу. Все ли еще топчет тряпки та безумная женщина? Странно, стулья и узлы исчезли. Кто же заново собрал эти выпачканные в саже тряпки? Мирьям направилась к сгрудившимся женщинам, чтобы расспросить о сумасшедшей. Подвинувшись ближе, принялась слушать Елену. Через какое-то время вдруг почувствовала, что клюет от усталости носом, и все равно не могла уйти, не дослушав рассказа.

Когда дрожавшая от холода Мирьям забралась наконец под одеяло, она снова задумалась об истории с Еленой.

Кто бы мог подумать, что и минувшая война была такой тяжкой, хотя тогда и не сбрасывали с самолетов бомбы.

Удивительно, что Елена все так хорошо помнила. Ведь было это так давно, когда Елена, теперь уже совсем старенькая, была еще ребенком. Она даже и думать не думала, что у нее самой когда-нибудь родятся дети: Аурелия, Валеска и Эке-Пеке.

И Мирьям вытеснила из своего сознания лиловые штаны.

Отец Елены вернулся с фронта домой. Пробыл всего несколько дней у себя на хуторе, как заболела вся семья. Только Елена не заразилась, но ей от этого легче не было. Что мог поделывать малый ребенок, когда отец с матерью и сестры с братьями метались в жару и все бредили. В хлеву мычала неухоженная скотина, просто с ума сойти. Отец пришел на какое-то время в сознание и велел Елене бежать к дедушке. Сказать, что всех, мол, скопил тиф. Елена в слезах отправилась в дорогу. Дедушка жил далеко, в соседней деревне. Может, Елене пришлось даже идти сквозь густой лес, вздохнула Мирьям, и озноб вновь потряс ее.

Дедушка оставил Елену у себя. Лечить заболевших отправилась бабушка. Деревенские порога дедушкиного и бабушкиного дома не переступали. Случалось, прихо-

дили по вечерам за ворота и кричали в сторону дома: убери ты этого холерного ребенка из нашей деревни. Дедушка ругался, хватал лежавший возле двери топор и вопрошал: звери вы там или люди?

Елене хотелось обратно домой. Она тосковала по братьям-сестрам и по отцу с матерью. Дедушка уходить никуда не разрешал. Однажды вечером Елене стало тяжело на сердце, она покоя себе не находила. Пойду на немного, только гляну издали, что они там делают, решила она и ушла от дедушки.

В той стороне, где находился их хутор, виднелось зарево. Елена бежала что есть мочи. Кто-то поджег на хуторе все постройки.

Откуда мог отец Елены знать, что вместе со вшами принес из окопов тиф?

Мирьям вздрогнула.

Ей снились вши, которые стояли на привязи возле длинной коновязи. В небе завывал самолет. В небе выли тысячи самолетов.

15

В тот раз, когда Мирьям искала в приморском сосняке городских ребят, она поняла, что судьба уже определила свой жребий. Скакавшая Аурелия, похваляясь перед пьяными барышнями и парнями своими лиловыми панталонами, казалось, растоптала в прах все другие шансы, и Мирьям волей-неволей пришлось положиться на Эке-Пеке и Валеску. Мирьям чувствовала себя перед Клаусом обманщицей — она ни разу не обмолвилась об Эке-Пеке и Валеске и не предложила их в артисты. Эке-Пеке и Валеску связывали с Мирьям какие-то весьма запутанные, хотя и невидимые нити. Нити? Сравнение такое потому-то и пришло ей в голову, что Эке-Пеке без конца возился с нитками. Он изводил их километрами. За свое излюбленное занятие Эке-Пеке постоянно получал взбучки, не иначе, как все кости у него уже отбиты. Домашние колотили его за то, что он переводил дорогое добро, окружающие тоже были вынуждены как-то изливать свою злобу, когда Эке-Пеке своими проделками пугал до смерти ничего не подозревавших граждан. Забавы этого парня могут довести до удара, жаловались люди. По слухам, в доме Эке-Пеке не найти было даже обрывка нитки, повсюду валялись одни пустые катушки. Стоило порваться

какой-нибудь одежде — хоть булавкой закалывай, а то просто выбрасывай. Но Эке-Пеке все равно не оставляя своих проделок. Поэтому перед ним держали двери на запоре. Чего доброго, еще придет и очистит коробку с нитками. Никто его за таким занятием, правда, не заставлял, но поди знай. Откуда-то он должен был доставать себе нитки.

Многие просто не хотели водиться с Эке-Пеке и за глаза называли его маленьким старичком. Смотреть на него было неприятно: бледный, лицо угловатое, на скулах неопределенного цвета пятна размером со сливу, взгляд острый и цепкий, а вместе с тем какой-то страдальческий, будто у него все время болел живот. Наверное, Эке-Пеке и хотел быть маленьким старичком, иначе с какой бы стати ему носить мужской костюм, который свободно болтался на нем, и этот обвислый, замызганный галстук с туго затянутым на шее крошечным узелком.

В действительности Эке-Пеке звали только Эке, а Пеке просто сорвалось у кого-то с языка и сразу же пристало к парнишке. Все старались всячески отплатить ему за то, что из-за него приходилось таскать с собой в кармане ножницы.

И у Мирьям сердце не раз готово было выпрыгнуть из груди, когда она, пробегая где-нибудь по дорожке или меж кустов, опять запутывалась в нитках, которые натянул Эке-Пеке. Однажды она мчалась на соседний двор, и черная нитка врезалась ей в самые уголки рта, образовав два тонких кровоточащих пореза. Потом она из-за этого долго не могла смеяться.

Так как Эке-Пеке в тот раз тут же попался на глаза обозлившейся Мирьям, она и набросилась на него. Ухватила изо всей силы за галстук Эке-Пеке и начала колосматить парня куда попало. Эке-Пеке стоял как столб, позволяя избивать себя. Только глаза зажмурил, их надо было беречь, не то в следующий раз не смог бы натягивать нитки. Припадок злости у Мирьям быстро прошел, что за удовольствие колотить бесчувственный чурбан, который совсем не сопротивляется. Мирьям просто не выносила покорных людей. После этого случая она ходила будто с камнем на сердце. Будто проявила несправедливость к Эке-Пеке. Собственно, так оно и было, ведь Эке-Пеке не нарочно для Мирьям натянул свою нитку. Дня через два Эке-Пеке швырнул ей из-за угла в лицо горсть

песка. Справедливость, таким образом, была снова восстановлена.

Отношения с Валеской у Мирьям были еще более запутанными, чем с Эке-Пеке.

В то лето, когда немцы начали войну и всех мужчин забирали в армию, у них у обеих отцы отправились на сборный пункт. Вначале их держали тут же, через площадь, в школе. Вместе с другими Мирьям тоже топталась возле железной школьной ограды, однажды она оказалась там рядом с Валеской. Сзади люди напирали, и их придавили плечом к плечу. Валеска и Мирьям смотрели сквозь железные прутья, как на вытоптанном дворе муштровали мужчин. Любопытно было смотреть на них: все оставались в своих одеждах, на отце светло-серый в черную полосу пиджак, который был узок в плечах — Мирьямин отец продолжал расти и став взрослым, — и все равно они шагали в ногу, как настоящие солдаты. Вот было бы смешно, если и на улицах людей заставляли бы ходить в ногу, и дома раздавались бы одни лишь приказания. Утром — встать! Вечером — ложись! Днем они с Лоори шли бы строем на кухню обедать.

Мирьям прыснула. У маршировавшего отца было суровое солдатское лицо, и чего только они там дурачатся, войны еще и духу нет, одни разговоры. С завыванием пролетал какой-нибудь самолет, сопровождаемый маленькими, похожими на белые хлопья, дымными облачками.

Валеска хотела просунуть голову между прутьями, но ей мешали большие уши. Тоже мне, строит из себя — как будто она станет важнее оттого, что окажется на вершок ближе к своему отцу. Тут-то Валеска и сказала, все еще держа голову между прутьями:

— Теперь мы с тобой одинаковые.

Слова ее остались для Мирьям непонятными. Все дети, у кого отцы были взяты в армию, становились через это событие одинаковыми. Почему же Валеска только себя и Мирьям ставила на весы?

Немного спустя мобилизованных отпустили на короткое время домой, потом собрали снова, на этот раз на ипподроме. Ипподром был окружен глухим дощатым забором, гладким и высоким, по которому могли ползать разве только мухи. Мирьям выковыряла перочинным ножом сучок и стала обладательницей вполне приличной смотровой щели. У Валески не хватило терпения на та-

кой труд. Она взобралась на плечи Эке-Пеке и попыталась заглянуть через забор. Росту Эке-Пеке на это явно не хватало, и Валеска велела брату, который и без того кряхтел под ее тяжестью, привстать на носки. Эке-Пеке недолго смог продержаться, Валеска соскочила на землю и принялась просто так сновать туда-сюда среди людей. Вдруг она увидела Мирьям. Лицо Валески расплылось в улыбке, нижняя губа оттопырилась, подобно дуге опрокинутой луны. Она встала за спиной у Мирьям и взялась заплетать ей волосы. Заплела две косички и наконец все же убрала руки. Однако она все равно не оставила Мирьям в покое. Мирьям ощущала ее дыхание на своей шее, неприятная дрожь пробежала от этого у нее по спине.

— Мы с тобой одинаковые.

— У тебя нет челки,— буркнула сердитая Мирьям и глянула на Валеску исподлобья.— Какие же мы одинаковые!

За полукружием опрокинутой луны выступили два ряда синих зубов, Валеска ела чернику.

— По отцам,— дружески объяснила Валеска.

Мирьям только надулась.

Слова Валески раздражали ее и, что хуже всего, никак не выходили из головы. Будто гвоздь торчком в туфле. Беспокойство, может, и улеглось бы, разгадай Мирьям, почему ее так рассердила Валескина болтовня.

Когда они вместе тащились от ипподромовского забора домой, Мирьям принялась выкидывать разные нелепые штучки. Возле дороги виднелся затянутый тиной пруд, полный мусора и железного лома. Мирьям, прямо в туфельках, прыгнула в воду, под сердцем даже холодок прошел. К счастью, вода доставала только до колена. Мирьям, хотя ей и было противно, брела по колено в тине среди хлама. Вдруг здесь живут пиявки? Мирьям то и дело поглядывала в сторону Валески — ну, думала она, если мы одинаковые, то не отставай от меня. Валеска улыбалась, словно одобряла ее проделки, но в воду не шла.

Свернув на лесную тропинку, Мирьям начала отщипывать с еловых веток молодые побеги. Она протянула руку и предложила Валеске.

— Бери, знаешь, какие вкусные,— советовала она.

Мирьям, конечно, знала, что побеги успели одеревенеть, время, когда их едят, давно прошло. Все же она закусила зубами хвою, пусть Валеска делает то же,— поди,

не дрянью какую-нибудь предлагает. Валеска швырнула побеги через плечо в лес. Жевавшая хвою Мирьям чувствовала себя рядом с ней полной дурой.

А если уж кому дают ясно понять, что у него не все в порядке с разумом, то у бедного недоумка в глубине души обязательно начнет тлеть затаенная злоба.

Потом Валеска забылась, потому что настоящая война вдруг подошла прямо к порогу. Война дотянулась даже к ним во двор, терпкий дым пожаров упорно полз вверх по ступенькам и пролезал, подобно серой змеиной тени, сквозь щели дверей. Крыши стали исполинским барабаном, который гремел от взрывов и стонал вместе с завывавшими сиренами. Неожиданная война вгрызлась и в нутро людей, бабушка говорила, что у нее голова готова разорваться. Война все продолжала трясти да трясти, какая-то жилка в голове не выдержала, и бабушку разбил паралич. И у бабушкиной сестры, тети Анны, видимо, тоже в голове что-то испортилось. Она схватила расписную корзинку, надвинула на глаза платок и исчезла неизвестно куда.

Словно ливневые тучи, проплывали над городом страшные слухи, изливая на каждого черные клейкие мысли. И хотя они своими глазами видели, как отец вместе с другими ушел на пристань, Мирьям все время вспоминался ипподром. Мужчины сгрудившись стояли на поле, подобно пчелиному рою. Они не могли выбраться с ипподрома, так как кругом горел забор. Недаром взрослые говорили, что город находится в огненном кольце.

Однажды утром от натужного завывания глотки у сирен охрипли, и они умолкли. Грохнула входная дверь. Кто-то поднимался по лестнице.

Кто же это там идет отцовской походкой?

В дверях стоял отец, мокрая рубашка прилипла к телу, и штанина на коленке была разодрана.

Получумевшие от радости и перепугу, они разом пустились тараторить. Спутавшийся клубок слов отскакивал от стен передней, и Мирьям казалось, что и ее собственная голова взмыла вверх и реет под потолком, уши, будто капустные листья, болтались на ветру.

У мамы подергивались уголки рта, она беспомощно озиралась вокруг, неожиданно лицо у нее прояснилось, и она заторопилась на кухню. Мирьям увидела, как над столом замелькал тот самый большущий нож, который забыл в сосняке у котла солдатский повар. Мама наре-

зала хлеб. Отец взял в руки лопоту и засмеялся. Он сел, закинул ногу на ногу, голое колено выглядывало из разодранной штанины.

Мирьям отправилась на улицу, чтобы прийти в себя. Ей хотелось объявить на весь мир, что отец вернулся с войны. Никто навстречу ей не попался, и Мирьям вынуждена была как-то иначе выразить свою радость. Она стала напевать, при хорошем настроении песни рождаются сами собой. Мирьям нравилось распевать по собственному почину, можно было что угодно насочинить. Никто не станет выговаривать, что с мелодии сбилась или пропустила куплет.

Росла шишка на сосне,
упала на солдата,
угодила по башке,
вышибла винтовку,—

напевала Мирьям свою песенку. Мирьям не питала страсти к тем вымуштрованным песням, где слова должны были обязательно вышагивать в ритме.

В тот прекрасный вечер Мирьям искренне пыталась поверить, что война окончилась. Долго ли люди выдержат такие страшные пожары и разрывы бомб! Мирьям так хотелось быть чуточку счастливой, она старалась забыть про ужасы, о которых сбивчиво поведал отец. Хотя на душе и щемило, она тем более дурачилась, скакала, носилась и напевала свои песенки.

Теперь, задним числом, Мирьям по-разному могла объяснить этот момент.

Дядя Рууди как-то сказал, когда его упрекнули в пьянке:

— Я не водку глушил, а пил большими глотками забвение.— По мнению Мирьям, это были хотя и грустные, но такие красивые и справедливые слова.

Ладно, правда взлетает птицей в небо, ее все равно не поймаешь.

Нынешней умудренной опытом Мирьям тем не менее было приятно вспомнить давнишнюю маленькую Мирьям, которая однажды под вечер в начале войны с простодушным удовольствием сочиняла свои песенки. Маленькая девчушка шла вперед, и песни следовали передом; когда она пятилась, то и песни шли задом наперед:

Положил рыбак на землю рыбу,
накатилась тут волна.
Так за лесом стало море...

Мирьям запнулась, четвертая строчка ускользнула. Чтобы песня не осталась неоконченной, она завершила ее очень просто:

Вот и все.

Дальше Мирьям шла с закрытыми глазами, чтобы интереснее было, и волочила ноги по пыли. Песня рождалась сама собой:

Была затычка в бочке с пивом,
 черт в затычке той сидел,
 парил над бочкой ангелок
 и крылышки почесывал.

Мирьям от собственной шутки сама рассмеялась. Она представила себе, как это ангел в розовом одеянии почесывает крылышки, так что скрип идет и пух белым облаком летает над ним.

Мирьям открыла глаза и увидела, что в двух шагах стоит Валеска и, склонив голову набок, разглядывает ее.

У Мирьям разом выступила в туфельках сотня гвоздей, и все они начали причинять боль.

— Теперь мы уже не одинаковые. Мой отец вернулся! — выпалила Мирьям резким голосом. И надо было этой Валеске оказаться здесь именно в такой счастливый миг! К тому же Мирьям не желала, чтобы кто-то подслушивал ее песни. Потом все равно только и делают, что смеются. Мирьям никак не хотела стыдиться своего счастья.

Валеска стала серьезной. Она сглотнула и покорно спросила:

— Может, он и моего отца видел?

— Вряд ли, — пожала плечами Мирьям. — У кого там в огне было время глазеть по сторонам. Говорит, море горело, пароходы один за другим идут ко дну, кругом кричат и стонут. Мой отец выплыл. Он что рыба, знаешь, вообще ничуть не боится, пусть море будет хоть десять километров глубиной.

Случалось и раньше, что Мирьям говорила не подумав.

Валеска повернулась и с громким плачем поплелась за ворота. В этот миг Мирьям презирала себя так, что в глазах темнело. Ей хотелось провалиться в какую-нибудь бездну и забыть обо всем.

Иди! Сострой приветливую мину! Не тяни! — понуждала себя Мирьям. Она никак не могла преодолеть своего строптивного настроения. В воображении она видела нескладную фигурку, которая стоит за воротами Эке-Пеке и Валески. Эке-Пеке накинул на шею бессердечному ребенку нитяную петлю, Валеска в знак презрения повернулась спиной. Мирьям поняла, что она человек нестоящий. Тот, у кого в груди бьется действительно мужественное сердце, способен во имя больших замыслов забыть старую вражду.

Мирьям как неприкаянная бродила вокруг домов. Никому не было до нее дела, не у кого было спросить совета, Мирьям с сожалением смотрела на знакомые окна, за которыми некогда жили ее старые друзья. Кто знает, возле каких чужих домов они сейчас бродят, и сердца их готовы разорваться от тоски.

Мирьям уселась на ступеньку крыльца, подперла голову руками и погрузилась в раздумья о своей тяжелой жизни. Легкий ветерок обдувал исцарапанные икры бедной страдалицы.

Вверху, на крытой толем башенке, поскрипывал сделанный дедушкой флюгер. А почему бы не явиться дедушкиному духу, не опуститься рядом с Мирьям и не погворить бы с ней немного! Мирьям напрягла слух — уж не дедушкин ли кожаный передник зашуршал поблизости? Глупая надежда, каждый человек должен сам справляться со своими заботами. Разве может усталый дедушка через столько лет все еще водить Мирьям за ручку. Дедушка и без того позаботился о своей семье. Оставил ей крышу над головой и мастерскую: живите да работайте. Для чего же еще рождаются на свет люди? Дедушка не мог предположить, что руки у его преемников окажутся слишком неуклюжими для тонкой работы с железом и что у них к этому нет ни интереса, ни таланта. Мирьям становилась совершенно беспомощной, когда задумывалась о своем будущем. Найдется ли у нее столько же упорства, как у дедушки, чтобы как следует выучиться какой-нибудь работе?

Флюгер скрипнул и затарахтел. Может, это дедушка рассердился, что Мирьям не способна ни на что другое, кроме как с мрачным видом околачиваться на ступеньках крыльца!

Ладно, она пойдет к Лээви. Все какая-то возможность.

Мирьям нашла в углу двора под вербой хороший сук. Что-то нужно было иметь с собой для поддержки. Она оперлась на палку, подобно усталому старику, и медленно вышла на улицу.

Когда Мирьям дошла до длинного высокого забора, ей надоело ковылять. Она побежала, ведя палкой по доскам, так что пошел сплошной треск. Удовольствия хватило ненадолго. Мирьям тут же поняла, что подобные детские проказы не пристали ее возрасту и заботам.

Лээви сама открыла дверь.

— Здравствуй, я пришла к тебе в гости,— улыбаясь, сказала Мирьям. Палку она прислонила к бочке, которая стояла возле угла дома.

От удивления у Лээви вздрагивали уголки рта; видно, она не знала, то ли ей улыбаться, то ли уместнее оставаться серьезной.

Мирьям огляделась в просторной передней. Тут стояла кое-какая случайная мебель, которая, видимо, не поместилась в комнатах. Лээви пошла к вешалке, отвела полы пальто и вытащила из угла стул. Она обхватила его, ее белые руки были такими же тонкими, как и темные ножки у стула. И без того сгорбленная спина Лээви выгнулась совсем дугой. Мирьям топталась на месте как остолоп какой и догадалась взять стул лишь тогда, когда Лээви вышла на середину прихожей. Одно мгновение Мирьям стояла впритык с Лээви и слышала, как та неровно дышала. Мирьям вопросительно смотрела на Лээви, ожидая знака, куда ей поставить стул. Лээви указала в ту сторону, где на стене висел барометр.

Мирьям уселась, закинула ногу на ногу — так она казалась себе более светской — и решила начать разговор. Взгляд ее упал на коленки, вечно эти ссадины,— у нее запылали уши. Приготовленные было слова разом улетучились, и Мирьям оказалась в затруднении.

Нескладная Лээви прислонилась к продолговатому темному шкафу, и Мирьям показалось, что она сейчас же исчезнет за этой полуоткрытой дверью — забьется, как ягненок от волка, в уголок. На шкафу стоял ящик с крышкой, на его боках летали вырезанные из картона ангелы, с изогнутыми трубами у рта.

Лээви заметила взгляд Мирьям.

— Я могу сыграть тебе пару песенок.



Мирьям благодарно кивнула. Она спрятала ноги под стул и натянула на колени платье.

Лээви привстала на цыпочки и стала поднимать у ящика с ангелами крышку. Заскрипела какая-то пружина, потом раздался громкий щелчок, и крышка, приподнявшись, замерла. Уставшая Лээви, натужно дыша, прислонилась рукой к шкафу и осторожно опустилась на корточки. Дверца шкафа стремительно распахнулась и еще какое-то время покачивалась, будто в передней дул сильный ветер. Лээви прижала к груди странные с дырочками круги и улыбнулась Мирьям. Она вынуждена была передохнуть, прежде чем смогла снова подняться. Мирьям не решилась прийти ей на помощь. Вдруг этот ящик с ангелами — самое дорогое у Лээви сокровище? Может, ей бы не понравилось, если каждый станет совать туда свой нос!

Мирьям вытянула шею.

Лээви положила пластинку плашмя в ящик и вытащила прищелкнутую зажимами к крышке рукоятку с деревянной ручкой. Совсем как у мясорубки, подумала Мирьям, только потоньше. Лээви сунула конец рукоятки одному из ангелов между крыльев. Ну вот, подумала Мирьям, теперь ангел распушит свои перья и пустится в пляс. Лээви вцепилась обеими руками в рукоятку и принялась крутить. Что-то в ящике задребезжало, кто-то пристукнул молотком, повел напильником, и где-то стали царапаться по стеклу кошки. Тут же вдруг в передней зазвучала настоящая музыка.

Лээви работала с полной серьезностью. Мирьям от удовольствия перебирала пальцами ног.

На другой пластинке музыка была куда мрачней, и Мирьям невольно вспомнились слова, которые перед смертью проговорил дядя Рууди:

— Слышите, как черт наяривает вальс?

Черт старался повсюду наяривать свои песенки.

Он даже не стыдился разгуливать по школьному коридору. Мало ли что там он расхаживал в образе ученика выпускного класса, черт на выдумки горазд. С виду так просто, обыкновенная дылда, лоснящиеся волосы зачесаны через голову. Всюду он старался вылезть на глаза. На одной перемене заявился на этаж к младшим школьникам, шел форсистой походкой, задрав нос. Насвистывал и подыгрывал себе на губной гармошке.

Мирьям сразу заметила, что глаза у этого парня, как у кота, с продолговатыми желтыми зрачками. Дело было явно не чисто. Вдруг эта самая дылда и приходила перед смертью дяди Рууди дразнить его своей гармошкой? Ну погоди! Малыши послушно отпрянули, давая сатане с кошачьими глазами дорогу. Мирьям изготвилась, сжала кулачки и в подходящий момент подставила верзиле ногу. Когда сатана, хватаясь за воздух, летел носом вниз, лоснившиеся волосы упали ему на уши, и Мирьям ясно разглядела над приплюснутым лбом бугорки — не иначе как рожки!

Дальнейшее тоже подтвердило, что Мирьям схватилась не с кем иным, как с отпрыском самого сатаны; у долговязого была сатанинская сила: почти коснувшись носом пола, он, словно играючи, вскинулся обратно на ноги.

Кошачий глаз расвирепел оттого, что прервали его музыку. Долговязый оторвался от пола и приземлился возле Мирьям,— известное дело, ведь у таких под подошвами пружины. Если надо, вскочит и в окно второго этажа. Кошачий глаз запустил свои растопыренные, словно лапки у паука, пальцы в волосы Мирьям и оторвал ее от земли. Мирьям висела в воздухе и чувствовала, как у нее растягивается кожа, совсем как у щенка, даже на ягодицах потянулась. Долговязый неожиданно отпустил ее, и Мирьям грохнулась об пол с такой силой, что изпод ног посыпались искры. Долговязый не обмолвился даже словом, повернулся и сгинул к своим сатанятам.

Мирьям стояла оглушенная. Когда колесики в мозгу опять пошли в ход, она догадалась ухватить себя за мочки ушей и, потянув с силой, расправила собравшуюся на макушке кожу.

Мирьям была уверена, что скоро ей придется снова иметь дело с тем самым или каким-нибудь другим чертом.

Лээви крутила уже третью пластинку, и через бровь на щеку скатилась одинокая капелька пота.

Мирьям потеряла всякий интерес к музыке. Она подыскивала какое-нибудь доброе слово, чтобы поблагодарить Лээви и отвлечь ее внимание от музыкального ящика. Мирьям кусала губы, ничего подходящего в голову не приходило, казалось, что по дороге сюда она все слова нанизала сквозь буквы «О» на веревочку и оставила связку вместе с палкой возле бочки.

Мирьям вежливо кашлянула, высморкалась и громко сказала:

— Через дорогу, в развалинах, под железной крыш-кой живет Клаус.

В конце концов, она пришла сюда не музыку слушать, а искать артистов.

Лээви разом отпустила ручку. Из ящика донеслись еще разрозненные звуки, будто какой-то дрожавший от холода человек издал под клацанье зубов немощный писк. Лээви же дула на побелевшие костяшки своих пальцев — уж не ручкой ли ее ударило? Она пытливо уставилась на Мирьям:

— Значит, это не духи там?

— Человек из плоти и крови, в деревянных башмаках,— твердо заявила Мирьям.

Лээви вытянула вперед свои худосочные руки и подобно лунатику подошла к Мирьям. Ее легкие, как ветерок, пальцы коснулись плеч Мирьям.

Будто ангел из папье-маше, подумала Мирьям, и ей стало невероятно жалко Лээви. Она готова была немедленно вступить за нее, только ни одного врага под рукой не оказалось. Вот если бы несправедливость жизни обрела, например, вид погнутой железяки! Тогда Мирьям, собравшись с силами, выпрямила бы эту железяку. Дедушка оставил после себя несколько больших молотов.

Лээви наклонила голову, указала взглядом и прошептала:

— Я боялась, что там, под золой, притаились духи и ждут случая, чтобы наброситься на моего отца.

Мирьям заглянула через две открытые в заднюю комнату двери. Там, возле стены, стояла кровать. Головы лежавшего в ней человека видно не было. Скрюченные колени приподняли одеяло. Из-за косяка показалась рука, державшая маленький мячик. Лээви поймала испуганный взгляд Мирьям и объяснила:

— Он сжимает мячик, чтобы мышцы не сохлись.

Мирьям склонилась к уху Лээви и буркнула:

— У меня нет отца. У Клауса тоже.

Лээви понимающе кивнула.

— Потому-то я и боюсь,— прошептала она чуть слышно.

Мирьям еще раз заглянула в заднюю комнату.

Над кроватью висел льняной коврик. По вышитой

синими нитками полоске воды скользили два больших белых лебедя. В середине коврика, там, где лебеди должны были соприкоснуться клювами, сидел черный кот, с красным бантом на шее и прищуренными желтыми глазами. Мирьям вообразила, как кот ночью спрыгивает со стены на пол и от удовольствия выгибает затекшую спину.

— Я никогда не видела такого красивого коврика,— почтительно сказала Мирьям.

— Мамино приданое,— шепнула Лээви.— Я тоже умею вышивать.

— Кот как живой,— похвалила Мирьям.

— У него и имя есть,— прыснула Лээви.— Кот Интс.

— До свиданья, Интс,— пробормотала Мирьям и помахала коврику.

Возле бочки прежние заботы снова всплыли и навалились на плечи Мирьям. Она схватила палку и шлепнула по темневшей в бочке дождевой воде — в лицо брызнули капли.

Выхода нет, как только она ступит отсюда за ворота, придется выкинуть из сердца старую злобу. Очень скоро Мирьям низко поклонится и скажет:

«Достопочтенная Валеска! Уважаемый Эке-Пеке! Да быть вам королевских кровей!»

Понуриив голову, Мирьям вышла на улицу. Она встала и оперлась обеими руками о палку.

— Мирьям!

На краешке лаза в подвал сидели Эке-Пеке, Валеска и Клаус.

— Где ты бродишь и изводишь время? — выразил свое недовольство Клаус.— Какой из тебя работник! — крикнул он.

Медленно ступая, Мирьям направилась на ту сторону улицы. Она не могла понять, то ли она недовольна, то ли рада. Мирьям прислонилась к цокольной кладке. Уткнула подбородок в золу, поглядела на ребят, у которых из плеч вырастали обгорелые деревья, и промолвила:

— Ну привет, королевский свет!

Как и можно было предположить, Валеска стала королевой, Эке-Пеке — новым королем, а роль принца взял на себя Клаус. Мирьям, словно бедный грешник, броса-



ла пепел на ветер и дожидалась, что же выпадет на ее долю. Наконец Клаус вздохнул и, глядя Мирьям прямо в глаза, произнес:

— Тебе придется крепко поднапрячься, чтобы не подвести других. Это не шутка — трижды перевоплотиться.

Сердце у Мирьям от испуга екнуло — перевоплотиться?

Впоследствии, когда она все продумала, страх и впрямь заполз за пазуху. Невероятно: дух короля, сумасшедшая невеста принца и дуэлянт, который дерется отравленным мечом, — они все должны были уместиться в ней одной! Как же она сможет трижды поменять свою сущность, где взять новые обличья? В последние дни Мирьям ходила потерянная, сердце было переполнено радостью и печалью. Она пыталась представить себя невестой принца — вздыхала и заламывала руки. Когда же она после таких упражнений глянула в зеркало, то увидела ту же самую Мирьям — снова челка свисала на глаза и красный от загара нос совершенно неуместно шелушился.

Затем Мирьям попыталась проникнуть в компанию духов. Чтобы самой стать духом, она должна была увидеть эти бестелесные существа. Она не смела действовать опрометчиво, едва ли духи потерпят навязчивые человеческие создания. По вечерам Мирьям скрещивала под одеялом руки и мысленно молила: милые духи, возьмите меня на немножко к себе. И как назло тут же засыпала, не в состоянии дожидаться прихода духов. Утром, когда Мирьям видела, что ночь опять прошла впустую, слезы гнева наворачивались на глаза. Она представила, как духи прокрадывались в комнату и безуспешно трясли ее за плечи. А она и не шевельнулась, храпела да сопела себе, ленивая, как бегемот.

Но однажды ночью Мирьям все же встретилась с духами.

Она и не представляла, что духи такие же прозрачные, как медузы в морской воде. Каждый мог заглянуть другому в душу. Дух ведь все же отличается от человека, который в действительности представляет из себя неправильный кожаный мешок, туго набитый тайнами.

Прежние люди отнеслись к Мирьям довольно дружелюбно. Жалко, конечно, что ей не встретился ни один дух-родственник. Мирьям, как будущему королевскому духу, в потустороннем мире предложили трон — как по-

том выяснилось, это был венский стул без сиденья. Мирьям провалилась и осталась висеть, с коленками возле подбородка. Духи корчились от смеха, они и не думали, что Мирьям на самом деле своим земным задом опустится на их потустороннее сиденье. Духи помогли Мирьям честь по чести встать, и ничего с ней не случилось, даже больно не было. В царстве духов боли не знали. Земной предшественник одного духа лишился на войне головы, другие духи каждый день шарили в ходах подземелий и искали для своего друга подходящий черепок. В присутствии Мирьям этому духу тоже примеряли одну голову: оказалась не его. Все равно как если бы голову Эке-Пеке навернули Клаусу. Дух без головы махнул рукой и на всякий случай взял найденную башку под мышку — может, посчастливится обменять на свою голову.

Духи пригласили Мирьям за стол и угостили своей пищей. Вот было славное застолье, не нужно было мыть посуду. Прочел страницу и сыт. На третье подали географическую карту, духи водили пальцами по горам и морям, лица смиренные, как у земного духовенства.

Проведя всю ночь в царстве духов, Мирьям под утро вернулась к себе в кровать. Усталость была такой, что Мирьям чуть ли не провалилась сквозь матрас. Она чувствовала, как, несмотря на одолевавший ее сон, улыбнулась — ничего, из нее получится вполне сносный дух короля. Вот и кровать у нее, как у духов, бездонная.

В тот день Мирьям не могла дожидаться назначенного часа релетиции. Она загодя вышла со двора, покружила по огородам и вернулась к развалинам под обгоревшее дерево.

Железная крышка гроыхнула, Клаус вылез наружу. Оглядел пепелище, словно бы искал чужие следы. Мирьям решила выждать за деревом, пока Клаус не закончит свои дела.

Клаус прервал свое занятие, подошел к трубе и, расставив ноги, застыл как статуя. Кого он там ждет? Мирьям вытянула шею. Поодаль, через дорогу, на углу мелькнула темная фуражка. Человек приближался. Мирьям забралась на обгоревший сук, чтобы лучше видеть. Теперь голова мужчины уже маячила над цокольной кладкой. Это был господин Петерсон с почтовой сумкой через плечо. Мирьям была с ним знакома с самого раннего детства. Тогда она думала, что господин Петерсон приклеил себе усы. Мирьям хотела с ходу познать все

тайны жизни, и любезный господин Петерсон разрешил ей потянуть себя за усы. Мирьям дернула изо всех сил, но щетка усов осталась на месте.

Позднее Мирьям пожалела, что не сумела в тот раз побороть свое любопытство. Как только почтальон замечал ее, он предлагал Мирьям подергать его за усы. Господин Петерсон получал большое удовольствие от того, что мог напомнить Мирьям про ее давнюю глупость.

Мирьям вздрогнула. Клаус лаял, как настоящая собака. Почему он дразнит господина Петерсона? Господин Петерсон остановился — теперь он был словно снимок человека по пояс, видневшийся в обрамлении расставленных ног Клауса. Почему он не грозит Клаусу кулаком? Наоборот, господин Петерсон вовсе не был задет поведением Клауса. Он грустно покачал головой, его пышные усы обвисли. Поправив сумку, он зашагал своей дорогой.

Мирьям стремительно слезла с дерева. Опять в этом мире что-то шло вкривь и вкось, она должна была немедленно внести ясность. Как это Клаус посмел дразнить господина Петерсона? В другой раз, чего доброго, вцепится почтальону зубами в штанину! Мирьям чувствовала, что ее долг — защитить почтальона. Ведь это именно господин Петерсон в свое время каждый день приносил отцу газеты и письма.

Мирьям бросилась вверх, на кучу камня, остановилась перед Клаусом, руки в бока, и требовательно спросила: — Почему ты лаял на господина Петерсона?

Клаус изобразил на лице высокомерие и невидяще посмотрел на Мирьям. Понятно, она же имела дело не с обычным человеком — все-таки изнеженный принц высоких королевских кровей. Мгновение спустя Мирьям осознала, что и ей, духу короля, нет причины для смирения.

— Отвечай, о несчастный. Дух короля должен познать всю истину! — произнесла Мирьям, придав голосу басовитость.

Не зря же Мирьям всю ночь бродила по подземелью — духи наделили ее силой духа.

— А разве я лаял непочтительно? — тихо спросил Клаус. Взгляд его был совершенно искренним.

Мирьям пожала плечами.

— Я просто просил его, — объяснил Клаус. — Ведь

если просит собака, человек не может оставаться безучастным.

У Мирьям не было причины возражать.

— Я очень просил, чтобы он дал мне письмо.

— От кого ты ждешь письма? — сгорая от любопытства, спросила Мирьям. Роль королевского духа была забыта, и в ее голосе зазвучала человеческая ревность.

Клаус усмехнулся, глаза у него были грустными.

— От отца, — помедлив, ответил он.

— От отца? — оторопела Мирьям.

Клаус отвел взгляд и засунул руки в карманы.

У Мирьям голова шла кругом.

— Или ты думаешь, — выдавил сквозь зубы Клаус и сплюнул в золу, — что я от нечего делать сижу тут в развалинах?

— Но ведь где-то надо жить, — кротко ответила Мирьям, чтобы погасить его раздражение.

Клаус уже не мог удержаться.

— Я — человек особый, — произнес он твердо — в нем снова пробудился принц. — Я на большой сцене ходил колесом. Я пел на радио — меня слушали миллионы людей. Стоит мне только пойти, и меня всюду примут с распростертыми объятиями и скажут: добро пожаловать, вундеркинд. Имей это в виду, — закончил Клаус и перевел дыхание.

У Мирьям от возбуждения задрожали поджилки. Она никогда еще не встречала вундеркинда. Теперь она жадно смотрела на Клауса, будто впервые его увидела. Худое и изнуренное лицо Клауса пошло красными пятнами, одна прядка волос возле уха отсвечивала серебром. Сереброголовый, с уважением подумала Мирьям. Будто он явился сюда из иного мира! Нет, успокоила себя Мирьям. Духи не ходят в деревянных башмаках с брезентовым верхом. Эта привычная обувь вернула Клаусу обычное человеческое состояние.

— Ты немного перевоплотился, да? — осторожно спросила Мирьям.

Клаус пошарил за пазухой и вытащил что-то из внутреннего кармана. Он нерешительно повернул ладошку к Мирьям. Она наклонилась поближе. Клаус немного отдернул руку, будто дыхание Мирьям могло замутить фотографию.

— Мой отец, — сказал Клаус.

Мирьям стояла в почтительном отдалении и досыта насмотрелась на снимок.

По ее мнению, человек на фотографии должен был быть по меньшей мере всемирно известным артистом. Черный цилиндр, галстук бабочкой, пиджак с блестящими лацканами, невиданной величины махровый цветок в петлице. Странное лицо было у человека: линия губ необычно резко очерчена, будто ее провели карандашом, ни одна волосинка в бровях не торчала, брови явно были напояжены и приглажены дугой. Человек на снимке почему-то рассмешил Мирьям. Она едва не брякнула, что может притащить целую охапку фотографий знаменитых артистов, выбирай себе любого отца. К счастью, Мирьям сумела удержать язык за зубами. Она взглянула Клаусу в лицо — сомнения не оставалось, у него были глаза человека с фотографии.

— Где твой отец сейчас? — спросила Мирьям.

Клаус разгладил шершавую папиросную бумагу и старательно завернул фотографию. Он долго возился за пазухой, прошло время, прежде чем фотография оказалась надежно запрятанной в потайной карман, который явно запирался на семь замков.

— Если бы я знал, — соизволил наконец ответить Клаус.

— Главное, чтоб был живой, — попыталась Мирьям рассеять явную озабоченность Клауса.

— Главное, чтобы был, — неопределенно ответил Клаус.

Он стукнул ногой по железной крышке и, раздосадованный грохотом, поморщился. Постояв немного так — руки в карманах, спина ссутулена, — Клаус уселся на золу и свесил в подвал ноги в своих тяжелых башмаках.

Мирьям вздохнула.

Клаус сощурился, будто со сна.

— Отец был уверен, что бабушкин дом самое надежное место на свете. Я жду здесь его письма.

— А как же зимой? — встревожилась Мирьям.

— Письмо должно прийти до холодов.

— Разве у тебя нет родных в нашем городе?

— Один родственник есть, — коротко ответил Клаус.

Мирьям вспомнила странную женщину, которая однажды весной расхаживала тут перед развалинами. Может, она как раз и принадлежала к знатному семейству Клауса?

Женщина хромала, но, несмотря на это, передвигалась легко. Ее латаные черные туфли прямо-таки скользили по выщербленной мостовой. Ветер развеивал позади женщины ее длинные волосы. На белом исхудалом лице цветками одуванчика светились желтые глаза. Женщина улыбалась, хотя рот ее был обветренным, из трещинок натянутой кожи сочились крохотные капельки крови.

Мирьям шла следом за женщиной, она просто не могла отстать, что-то заставляло ее идти. Может, Мирьям дождалась незнакомой женщины так же, как тех духов, с которыми она наконец-то, хоть ненадолго, встретила в подземелье.

Мирьям пожалела, что у нее не было длинных волос, которые бы тоже развеивались на ветру. Зато руки Мирьям протянула вперед, по примеру той женщины, и неважно, что они были пустыми. Она была всего лишь маленькой тенью большой женщины — не было у нее в руках странной метелки, из которой выпали листья, и подавно не знала она, где растут ранней весной ярко-красные помидоры, те самые, что женщина держала на ладони.

Мирьям понимала, что женщина нарочно держит эти рдеющие плоды на солнце, чтобы они не замерзли на пронизывающем ветру.

18

Впоследствии Мирьям удивлялась, как же это она была в состоянии мириться с пустыми и серыми днями. Нередко миновали целые недели, не оставляя после себя хоть малейшего следа или воспоминания. Чудно, что бесцветные дни походили на отвалы золы, которые стремились обрушиться и похоронить под серыми пластами даже более далекие воспоминания.

Нет, Клаус не был заурядным хвостуном. В нем скрывалась таинственная сила. Какое счастье, что она, Мирьям, встретила с вундеркиндом! Беспокойство, излучаемое Клаусом, передалось и Мирьям. Мало ли что временами от раздумий пухла голова и порой совершенно простые вещи вдруг казались такими сложными. После репетиций Мирьям приходила домой, валясь от усталости, и все равно думы одолевали ее. Каждый должен сам взбираться на вершину горы со своим прошлым в рюкзаке, — обычно повторял Клаус и говорил, что это слова его отца.

В другой раз Мирьям казалось, что она довольно обрывочно помнила все до сих пор виденное и пережитое. Как хорошо, если бы прошлое было просто большущим темным залом, куда нужно смело входить, зажечь люстры и открыть окна, чтобы все заново осмотреть. Если бы можно было вернуть ушедшее, она бы не обошла вниманием и самого малого. Раньше казалось, что всему происходящему суждено вечно повторяться. Кто мог подумать, что придет однажды вечер, когда отец не вернется домой.

Кто мог предвидеть, что умрет дедушка и не будут больше расти помидоры. Когда Мирьям крепко зажмуривалась и сосредоточивалась, она еще и сейчас ощущала в ноздрях терпкий запах помидорных стеблей. Росные, ворсистые листья шлепали ее по щекам, тяжелые гроздья плодов начинали раскачиваться, когда Мирьям бежала между огромными дедушкиными томатными стеблями. Огородным чудесам не было ни конца ни края — среди зеленых-презеленых вечером плодов утром можно было обнаружить розоватую помидорину. Будто маленькие солнышки сбились в темноте с дороги и попадали в огород.

Когда они с дедушкой ели помидоры, макая их в сахарный песок или соль, то нельзя было и представить себе, что придут долгие годы, когда она вообще не увидит помидоров, даже издали, на чьей-нибудь ладони.

Дедушка умел отодвигать осень. Мало ли что ночные заморозки проходили по огороду и посыпали траву инеем, все равно пора помидоров еще не кончалась. В углах комнаты, под кроватями и на шкафу стояли ящики, чемоданы и корзины, полные помидоров. В долгие темные вечера, когда на улице стучал надоедливый дождь, лето снова и снова являлось в дом. Улыбавшийся дедушка опять вытаскивал какой-нибудь чемодан или ящик, открывал крышку и велел Мирьям поглядеть, как там живут помидоры. Мирьям откладывала в сторону пожелтевшие газеты и выбирала среди зеленых плодов красные. Эти дедушкины корзины были подобны многоэтажным домам, между бумажных пластов в них жили люди-помидорины. Молодые, зеленые вперемешку со старыми, зрелыми. Чем дальше шло время к зиме, тем больше становилось красных плодов. Когда томаты в этом году кончились, дедушка утешал, что теперь станем ждать но-

вый урожай. Ведь и дедушка думал, что все начнется сначала и будет продолжаться вечно.

Однажды вечером, снимая с помидорин газеты, Мирьям как-то само собой начала складывать буквы заголовков. Получилось непонятное слово: война. Мирьям принялась расспрашивать о его значении, только из дедушкиного объяснения она мало что поняла. Было странно думать, что, если бы дедушка теперь встал из мертвых, Мирьям могла бы ему обстоятельно объяснить, что из себя представляет в действительности война. Совершенно невообразимо, что Мирьям сейчас знала больше дедушки. Дедушка никогда не слышал такого обыденного звука, как сирена воздушной тревоги. Не видел он также висевших на парашютах гигантских свечей, которые в одно мгновение превращали ночь в день.

О многом можно было бы поведать дедушке! Только все это были бы очень грустные рассказы. Знаешь ли, деда, что умерла бабушка; знаешь, что нет больше дяди Рууди? Может, ты помнил бабушку Клауса? Она заживо сгорела в своем доме. Дедушка посмотрел бы на обгоревшие деревья и не поверил бы своим глазам, как не поверил бы он и своим ушам. Тогда пришлось бы ему сказать, что убили отца. Убили? — вскрикнул бы дедушка, обратив к небу свой беззубый рот. Кому он сделал плохое, что его убили? Откуда у него взялись такие злые враги? Мирьям подставила бы плечо, чтобы дедушка оперся о него своей дрожащей рукой. Да, сказал бы дедушка, так и быть, пойдем посмотрим помидоры. Мирьям осталась бы беспомощно на месте, с поникшей головой, не смела бы и глаз поднять. Как признаться, что в войну помидоры не росли, ни одного красного плода нигде не было. Так что же вы ели? — удивился бы дедушка. Довольствовались одной земляникой? Земляника... бедненький, глупенький дедушка, ну как ты ему объяснишь, что даже земляничный дух исчез со свету.

Мрачный дедушка подавленно покачал бы головой, застегнул бы сюртук и сказал бы, что ничего не поделаешь, я вынужден оставить тебя, Мирьям. В таком мире я жить не умею. Угнетаемый тяжестью услышанного, дедушка, пошатываясь, пошел бы своей дорогой, никто не в силах был бы ему помочь. Даже изъеденная жуком-точильщиком палка не дает возможности опереться — с каждым шагом она крошится и становится все короче. Дедушка идет, и полы его сюртука волочатся по золе.

Мирьям смотрит ему вслед, и ей хочется кричать от сознания своей вины. Почему ее нынешний мир должен быть столь негодным для жизни?

Дедушка все удаляется и удаляется. Он растворяется в вечерних сумерках, и никакого утра ему уже не дожидаться.

У Мирьям сжимается сердце, ей хочется схватиться за дедушку. Она не может смириться с тем, что уже задолго до рождения ей было на роду написано прожить свою жизнь без дедушки.

Когда Мирьям вновь и вновь вспоминала дедушку среди помидоров, она порой начинала сомневаться в себе. Что она вообще знала о дедушке? Почему только помидоры? Ну да, и помидоры тоже, но ведь дедушка ковал и железо. Дедушка мастерил ружья, изготовленное им оружие он украшал перламутром и искусственным жемчугом, и оно показывалось на выставках. Однажды дедушка позабыл про еду и про сон, люди, в свою очередь, забыли о его существовании — в руках дедушки рождалось новое ружье. Оно отняло у него куда больше времени, чем сотворение света у господ бога. Невероятно большое ружье было таким мощным, что его надо было нести трем мужчинам. Дедушка взял с собой сыновей и отправился в лесок на болото испробовать свою пищаль. Обеими руками пришлось нажимать на спусковой крючок, выстрел грянул с такой силой, что сыновей расшвыряло по кочкам. Пуля была такая большая, что пригвоздила к дереву случайно шатавшегося поблизости медведя. Бабушка перед смертью рассказывала, что дедушка потом долго жалел о косолапом. Все время он перепрятывал в другое место медвежью шкуру — может, надеялся обмануть память и найти покой своей душе. Недубленая шкура все лысела; когда ее переносили из чердачного угла в дальний угол подпола, она осыпалась бурой шерстью. Больная бабушка, с окаменевшей наполовину головой, уже не помнила, куда же в конце концов подевалась шкура. А вдруг дедушка зарыл ее в землю и насадил сверху помидоры. Почему дедушка не находил покоя? Ружья ведь затем и делают, чтобы из них стрелять да убивать.

Мирьям общалась с дедушкой непродолжительное время. В те годы дедушка ружей не мастерил. Он занимался повседневной утварью, смертоносное оружие его

больше не привлекало. По весне он ухаживал за помидорами. Мирьям вспоминала один поздний вечер, когда дедушка разжигал в саду костер. Он отгонял мороз. Дедушка в тот раз так и не смог уснуть, всю ночь напролет караулил, чтобы мороз не побил цветы на яблонях. Кто знает, думал ли он в эти долгие одинокие часы о ружьях? Вдруг из какого-нибудь смастеренного им ружья стреляли в человека?

Мирьям давно решила, что когда-нибудь отправится посмотреть на дедушкин большой камень. Он находился далеко, за сто верст, рядом с местом, где родился дедушка. Оба, и бабушка и дядя Рууди, перед смертью говорили об этом валуне. Накануне смерти дедушка сам побывал на своей родине и соскоблил с камня толстый слой мха. Дядя Рууди с каким-то особым трепетом произнес: видите, жизнь настолько коротка, что я так и не повидал дедушкин камень.

Мирьям все выпрашивала бабушку, стараясь узнать или хоть представить себе, как же выглядел знаменитый дедушкин камень. Бабушка сетовала на плохую память, но все же кое-что вспомнила. Подумать только, в детстве бабушка вовсе и не была знакома с дедушкой, это она потом с его слов должна была составить себе представление. Почему бы близким людям не встречаться сразу, с самого начала, чтобы не тратить время попусту!

С детских своих лет дедушка обращал на себя внимание умелыми руками. Домашние удивлялись, когда изо дня в день возле огромного валуна стали раздаваться удары молотка. Дедушка уже и в старые годы был способен забываться в работе. Пошли тогда родители посмотреть и увидели: на гладком боку камня высечен велосипед. Работа точная и чистая, спицы прямые, будто по ниточке проведены. Вскоре к валуну потянулся окрестный народ, чтобы подивиться дедушкиному мастерству. Люди рассуждали, что если у парня такие умелые руки, то с какой стати он тупит зубило ради мертвой вещи, выбил бы лучше какого-нибудь рогатого черта, богатыря или, на худой конец, русалку. Но нет, дедушка чувствовал, что будущее принадлежит колесу. Его влекли новые времена. В любой миг он был готов усесться в седло высеченного на валуне велосипеда, чтобы нажимать на педали и мчаться за леса и моря.

Мирьям пыталась представить себе молодого дедушку. Постепенно из земли поднимался камень. Щуплый

дедушка, у самого ноги в ссадинах, стоял перед гладким боком валуна, с зубилом в одной руке и молотком в другой. Тук-тук-тук — камень прорезали бороздки, подобно тому как морщины появляются на лице человека. Наконец дедушка поднял взгляд на Мирьям — на фоне велосипеда стоял усталый старик, в очках с металлической оправой и в коротких штанишках.

Во всем доме не было ни одной фотографии молодого дедушки.

Нет, Мирьям не смеет умереть раньше, чем увидит дедушкин камень с велосипедом. Может, дедушка высек где-нибудь на камне даже какие-нибудь очень важные слова, которые сможет открыть только острый глаз.

Мирьям решила обострить свое зрение. Завтра же возьмет и сосчитает, сколько листьев на самой высокой ветке ивы.

Это вовсе не было пустой затеей, потому как и это дерево в свое время посадил дедушка.

19

С фотографиями их семье, по правде сказать, никогда не везло. В повседневной жизни каждого без конца понимала суета, ни у кого не находилось столько терпения, чтобы надеть выходное платье, вместе выстроиться перед черным ящиком и изобразить на лице подобающую мину. Только однажды они собрались всем семейством — возле дедушкиного гроба. Но так как в руках у фотографа что-то вспыхнуло ослепительно белым светом, то большинство из них зажмурились. Лицо Мирьям получилось наподобие светлой дыры — точно на месте отцова сердца. Кроме семьи на снимке было еще и другое, что любил дедушка. Из стены вытягивала голову косуля, возле кружевной занавеси висел кусочек моря. На ленивой волне покачивалась лодка, солнце на горизонте опускалось в туманную пелену.

После этого общие снимки уже никак не получались. То бабушке из-за перекошенного рта не подобало возглавлять семью, то дядя Рууди угождал в больницу.

Кое-кто из их семьи в одиночку все же побывал перед фотоаппаратом, но большей частью случалось так, что от непоседливости то ли рот оказывался размытым, или на лице появлялись двойные глаза.

И все же дядю Рууди более или менее можно было узнать по его свадебному снимку. Он стоял выпрямившись на продолговатой фотографии, страшно длинный, так что касался волосами верхнего обреза снимка. Почему-то он надул щеки, или хотел показаться возле невесты полнее и представительней. Фотография много потеряла и оттого, что глаза у дядя Рууди выглядели одинаково — вместо коричневого и голубого оба глаза казались серыми.

И от отца остался всего лишь один отчетливый снимок, да и тот из Германии. Отец стоял на берегу водоема, посередине которого возвышался громоздкий серый памятник. Верхнюю часть строения окружали каменные мужчины. Отец рассказывал, что памятник воздвигли на том месте, где некогда народы Европы страшным образом проливали кровь. Мирьям долгое время думала, что вокруг этого гигантского памятного сооружения и растируется Красное море.

Больше всего сожалела о пробелах в семейном альбоме мама. Она отправляла Лоори и Мирьям по крайней мере раз в году к фотографу. Частенько говаривала, что вот погодите, скоро и отец соберется, мы пойдем все вчетвером и закажем большой красивый снимок нашей маленькой семьи.

В тот самый день, когда отец вечером не вернулся, Мирьям должна была принести от фотографа свой и Лоорин снимки.

На дверях фотографии висел замок. Возле него на ветру трепыхался листок бумаги, где было сказано, что фотограф скоро вернется. У Мирьям упало настроение — то ли дожидаться, то ли уходить домой? Она в нерешительности сделала несколько шагов, попрыгала на тротуаре и стала искать подходящий камешек, чтобы от нечего делать перекачивать его ногой.

Внезапно кто-то сзади закрыл Мирьям глаза. По старому надоедливому обычаю, нужно было угадать подкравшегося человека. Мирьям не любила этой игры, в большинстве случаев она злилась и вырывалась. Сейчас она решила стоять как безмолвная статуя. Когда не визжат, подкравшемуся скоро надоедает. Пускай себе напрягает руки, пока они не опустятся сами собой от усталости.

И в самом деле, холодные пальцы слегка задрожали

и ладони соскользнули вниз по Мирьяминым щекам. Раздался знакомый смех — Валеска, конечно это она.

Мирьям заставила себя приветливо улыбнуться. Она все еще ощущала свою вину перед Валеской. Надо же ей было хвастаться, что отец выплыл из горящего моря. Вот сболтни, корила себя в мыслях Мирьям, так потом старые глупости будут висеть на ногах как гири.

Мирьям тяготило то, что Валеска, несмотря ни на что, все еще искала с ней дружбы. Глядит на тебя, а у самой лицо расплывается от неподдельной радости. Или Валеска совсем забыла про свое горé и обиду? Ведь она в тот раз с жалостным плачем выбежала за их ворота. Вряд ли ей удалось получить о своем отце какие-нибудь вести. Говорили, что те, кого взяли в армию, все утонули вместе с пароходами.

Мирьям с радостью бы улепетнула, но ей не хотелось выглядеть трусихой. Оставаться на месте было еще труднее: о чем говорить, как вести себя, если на сердце камень. Мирьям подыскивала, чем бы заняться. Пошарила в карманах, высморкалась, устала на свою перчатку, из которой выглядывал палец.

Валеске ее молчание не понравилось.

— А знаешь? — спросила Валеска, пытливо оглядываясь и даже пригнувшись.

Чего это она фокусничает, поблизости нет ни единой души. Тоже мне военные тайны! Глаза Валески бегали по сторонам, она переминалась с ноги на ногу, поджимала губы и время от времени бросала на Мирьям испытующий взгляд. Мирьям не давала увлечь себя этой безмолвной игрой, пускай Валеска пытается распалить ее любопытство. Она будет держать себя в узде, не проронив и звука.

— А знаешь?

Мирьям надоел такой пустой соблазн.

— Знаю, — ответила она.

— Ничего ты не знаешь, — твердо сказала Валеска. — Ты вовсе и не знаешь, что фотограф лиловый¹.

Мирьям рассмеялась. На мгновение задумавшись, она по-настоящему растерялась. Как это лиловый? Хоть сторай со стыда, как хочешь верти, но она просто не понимала этого нового Валескиного слова.

¹ На эстонском просторечии «лиловый» употребляется для обозначения гомосексуалиста.

— Ах, вот как,— промямлила Мирьям с деланным безразличием. Ей не хотелось еще раз выглядеть перед Валеской дурачком.

— Жутко, правда?

— Ну да,— нерешительно ответила Мирьям.

Она почувствовала, что лицо у нее запылало. Просто проклятие какое-то, как только она говорила неправду, сразу краснела. Ведь она сказала неправду, когда подтвердила, что быть лиловым жутко. Чего уж тут поддакивать, если ничего не понимаешь! Произнесенные Валеской полусшепотом слова, ее своеобразное кисло-сладкое выражение по-настоящему напугали Мирьям. В самый раз было давать деру. Все непонятное обычно наводило на нее страх. Что значит, если о человеке говорят, что он лиловый? Может, это какая-нибудь кожная болезнь? Или его бьет падучая? Брякается на землю и исходит пеной изо рта? Такого Мирьям подумать о нем не могла. Приветливый и милый молодой человек, заверила себя Мирьям, хотя ее отношение теперь и было поколеблено некоторым сомнением. Вежливый фотограф даже беседовал с детьми, он называл Мирьям барышней и никогда не забывал справиться о новостях. В последний раз Мирьям пожаловалась ему, что они никак не могут собраться всей семьей, чтобы сделать общий снимок. Фотограф участливо выслушал ее. Потом задумался. Наконец он веско сказал, что в жизни бывают неотложные дела: Мирьям нравилось, что фотограф всегда разговаривал с ней как с равной. Никогда не смеялся над детьми, не хлопал по плечу и не болтал пустых комплиментов или утешений, чтобы тут же их забыть.

— Потрясающе, правда? — Валеску вовсе не удовлетворяло то, что Мирьям не высказывала своего испуга.

Что ты тут скажешь! Мирьям оглядывала обитую жестью подвальную дверь, на которой висел испещренный ржавчиной замок. Окно ателье было завешено черной занавесью. Вдруг за ней скрывались страшные, таинственные дела? Выражение Валескиного лица и ее голос явно указывали на что-то дурное. Может, фотограф сидит по ночам за черной занавесью с раскаленными щипцами в руках и хватает ими кого-нибудь, так что кожа шипит? И все же — почему лиловый?

Вон он идет. Мирьям уже изготовилась, чтобы побегать фотографу навстречу и спросить, что значит лиловый. Нет, нет, Валеска ясно дала понять, что это слово

вслух произносить нельзя. Вдруг фотограф страшно рассердится на такой вопрос. Нажмет на потайную кнопку, из трости выскочит острый нож, и фотограф тут же на улице проткнет Мирьям насквозь. В кино показывали, как люди среди бела дня протыкали друг друга штыками. С чего бы и лиловому господину себя сдерживать?

Ее возбужденный рассудок полностью погрузился в трясину кошмаров. Мирьям заметила, что, хотя фотограф слегка прихрамывал, он не опирался на трость. Она скорее для виду болталась на руке. Выходит, что трость эта не обычная, а является секретным оружием. Почему фотограф всегда ходит без шапки? Даже зимой, на морозе. Ну ладно, голову его прикрывали крупные светлые локоны — а может, он носил парик? Мирьям представила себе, как молодой человек со злости хватается парик, швыряет копну волос на тротуар — а что дальше? Сейчас произойдет что-то неестественное. Может, фотограф наклонится, пройдёт сквозь зубы: да, я такой, и покажет свою лысину, всю в лиловых разводах.

На самом же деле на лице фотографа не было и тени дурного настроения. Он весело поздоровался и принялся отпирать замок. Ключ заскрежетал, ноги Мирьям прожгли жаркие струи. Хорошо, что рядом стояла Валеска. Смотри, какая смелая — улыбается фотографу, нижняя губа по-прежнему как серпик перевернутой луны.

Мирьям быстрым взглядом окинула фотографа. Для трудного военного времени он носил слишком красивую одежду. Бархатный воротник сшитого в талию пальто сзади чуточку приподнялся; фотограф явно не жалел труда и, видимо, каждый день отглаживал свои серые клетчатые брюки. Больше всего Мирьям раздражали его белые кожаные перчатки. Ребята говорили, что убийцы и грабители, которые взламывают сейфы, не делают ни одного движения, не натянув перчаток. Из-за отпечатков пальцев.

— Идем же, — сердито сказала Валеска, обращаясь к Мирьям, которая застыла на улице словно изваяние.

Фотограф снимал белые перчатки, стаскивал палец за пальцем, движения его были резкие и быстрые, будто у клевавшей зерно курицы. Так, между прочим, он спросил, как дела и какие новости.

Валеска сказала, что подох хозяйский пес. Жалко, заключил фотограф.

Обе они получили заказанные снимки.

Мирьям жаждала как можно скорее улизнуть отсюда. Она споткнулась на лестнице. Фотограф подхватил ее за локоть. Мирьям от страха оцепенела.

— Что с тобой? — сочувственно спросил фотограф. Горло перехватило, оттуда и писка не выдавить было.

Мирьям заметила, что Валеска разводит руками перед фотографом, словно извиняясь и намекая, что ждать разумного слова от этой дурочки нечего.

По дороге домой Мирьям оправилась от своего жаркого испуга. Стало стыдно за себя. Кто знает, чего эта Валеска насочинила. Так можно про всякого сказать, что этот розовый, тот зеленый, а третий вообще желтый. Представляете себе! Все всплеснут руками и станут хором повторять: просто жуть! Мирьям попыталась забыть Валескины слова, но чувствовала, что она уже никогда не сможет непринужденно разговаривать с приветливым фотографом.

Валеска свернула к себе в ворота. Мирьям вдруг охватила злость. Ей хотелось кинуть в Валеску камнем. Но почему? Может быть, Валеска предостерегла Мирьям от чего-то ужасного? Вот тебе и благодарность: платой за доверчивое добродушие оказывается несправедливость. И без того душа Мирьям была не совсем чиста перед Валеской.

Мирьям потопала домой, неведение душило ее. Лиловый! Что скрывается за этим странным определением?

В последнее время отец начал проявлять интерес к медицинским книгам. Толстые тома на иностранных языках лежали на письменном столе и на ночной тумбочке. Мирьям тоже тайком заглядывала в них. Она и сама не знала, почему листала эти книги тайком, никто ведь прямо ей ничего не запрещал. На заполненных убористым текстом страницах в большом количестве были помещены картинки. Большей частью они изображали голых розовых людей. Ни одной лиловой фигуры в тех книгах не попало на глаза Мирьям. Но и эти розовые люди были достаточно страшные: у кого на ногах огромные язвы, у кого тело в нарывах и волдырях. В тех книгах можно было увидеть больные глаза, перекошенные рты, вывороченные суставы, сгорбленные спины — и все равно все люди там были напечатаны розовым цветом.

Мирьям задним числом не раз ломала себе голову, зачем все-таки отец копался в этих книгах? Ведь люди говорили, что он был совершенно здоровым человеком.

Кровь с молоком, не то что дядя Рууди, который всю жизнь брал отсрочку у смерти.

В тот самый день, когда Мирьям встретила с Валеской, отец вечером не пришел домой. На следующее утро они с мамой побежали в больницу. По длинному полутемному коридору несли какого-то человека, который был накрыт синим отцовым пиджаком.

Много раз Мирьям возвращалась в своих мыслях к тому дню, за которым последовала ночь, когда убийца поднял на отца смертоносное оружие. Начиная с того времени жизнь стала не только ужасной, но и загадочной. Светлые моменты ясности и прозрения случались редко. Мирьям верила, что остальные люди куда лучше ее подходят для жизни на этом свете. То ли их направляло чутье, или у них имелись шупы мудрости — подобно шупальцам у жучков — или что-то еще, о чем Мирьям и не подозревала, — во всяком случае, в сложных положениях другие вели себя куда разумнее. Мирьям верила, что другие люди догадывались, что несет с собой будущее, неожиданности не поражали их, подобно молниям.

А может быть, отец, предчувствуя нечто ужасное, искал в докторских книгах картинку своей страшной раны на голове. Почему только он поддался? Человек, который выплыл из горящего моря, не может же смиренно ждать удара.

Истина была на замке, а ключ к нему сломан.

Возможно, фотограф, прятая руки в белые перчатки, знал, что дни отца сочтены. Иначе почему он сказал, что в жизни бывают неотложные дела.

Все были невероятно умными, даже Валеска соображала с ходу. Иначе с какой стати она все время морщила нос и принюхивалась — очередная новость явно висела уже в воздухе и щекотала ноздри. Валеске не нужно было мучиться сомнениями или заниматься загадками, она знала даже то, что лиловое — не просто цвет.

Мирьям сильно тосковала по своему прерванному войной детству. Хотелось еще раз постоять в дверях в тот давний зимний вечер, когда мама с папой смотрели в окно и гулко звенели колокола. Родители не замечали Мирьям. Отец положил руку на плечо маме и произнес удивительные слова:

— Послушай, ведь колокола не звенят, они разговаривают. Слышишь: ласково — нежно, ласково — нежно!

По мнению Мирьям, отец говорил очень красиво, хотя колокола и звенели вполне обычно. Мирьям много раз видела, как в звоннице раскачиваются колокола, зимой с них толстыми слоями осыпался иней.

20

Репетиции продолжались. Вначале участники спектакля регулярно собирались в подвале у Клауса и учили текст. Будто собрания тайного общества, лаз закрыт листом железа, чтобы случайное ухо не услышало, как они бормочут. После приступили к репетициям на открытом воздухе. Ясно было одно, что от домов следовало держаться подальше. Только и не хватало, чтобы кто-нибудь сказал: смотрите, опять эта шайка собралась, кто знает, что за мерзкие штучки у них на уме. Кроме того, Клаус хотел, чтобы спектакль был для окрестных жителей сюрпризом.

Ни одна посторонняя душа не забредала просто так на отвалы золы, здесь был приют тишины и свободы, будто нарочно созданный для королевского общества.

Мирьям уже не боялась перевоплощаться. Серые горы и без единой травинки земля, на которой валялся железный хлам, сами собой помогали человеку становиться другим. Тут, на зольной пустоши, где поодаль возвышались остатки фабричных стен, похожие на развалины замка, не пристало заниматься пустопорожней болтовней и думать о посторонних вещах.

Клаус помогал Мирьям осмыслить ее трудную роль. Он объяснил, что с этого момента Мирьям — дряхлый старик, у которого уже руки-ноги не сгибаются. Ступать нужно с трудом, но и с достоинством. И пусть Мирьям забудет, что у нее длинные прямые волосы, с этого мгновения ее затылок прикрывают лишь выцветшие патлы, какие и положено иметь старикам. Духу старца не подходят розовые щеки и загар. Клаус посоветовал Мирьям перемазать лицо сажей.

Он велел Мирьям сосредоточиться. До того как подадут знак, дух брел по золе и старался думать о вещах, которые подобали королю. Король обязательно держал лошадей. По воскресеньям он седлал белого коня и ехал в гости к соседнему королю. Они сидели вдвоем на мягких подушках, пили из серебряных бокалов мед, пока не начинало переливаться в животе, вели королевские беседы, обсуждали военные походы и резались в карты.

Что же еще мог делать король? Видимо, иногда он выходил к своему народу. Он помогал людям сажать яблони, лечил больных и утешал страдальцев. Народ любил своего короля, как честного и справедливого человека. Поэтому и не было королю в могиле покоя — убийца убил не только его, он лишил народ вождя и оставил принца без отца.

Когда Мирьям подумала об этой несправедливости, на глаза у нее навернулись слезы гнева. Струйки слез размазали сажу на щеках. Глупая, выговаривала себе Мирьям, будто не знаешь, что духи не чувствуют боли. В подземельях не хнычут, душевные переживания — удел земной жизни. Духи занимаются главным образом тем, что терпеливо высеивают правду из лжи.

Дух короля взбирался вверх по тыльной стороне отвала. Это был трудный путь — достичь назначенного места, чтобы возвестить истину. Спекшиеся на дожде глыбы золы скользили и старались сбить с ног карабкающегося духа. Острые камни готовы были впиться в ноги, и без того покрытые ссадинами. Ни одного деревца, ни одного сучка, ухватившись за которые можно было бы легче забраться наверх.

Неожиданно дух появился на гребне горы. Чутьочку переведя дыхание, он возвестил о том, о чем и должен был возвестить. Принц стоял у подножья и простирали руки к духу своего отца. Он двинул ногой, обвалившийся сверху пласт золы почти по колено завалил его серым пеплом.

— Это ужасно, невозможно поверить! — воскликнул принц.

Дух воздел руки к небу и, подобно распятому Христу, склонил голову на грудь — так велел Клаус. Дух ждал, пока принц опустится на колени в золу и закроет лицо руками. В этот миг дух должен был исчезнуть. Явившемуся из подземных владений не годилось объясняться пространно, по-земному, достаточно было намекать.

Отчаявшийся принц отнял от лица руки, его потрясенный взор искал стоявшего на вершине горы духа, — не иначе, ему хотелось еще немного поговорить со своим покойным отцом. Что ушло, то ушло — Мирьям, пыля золой, уже неслась по тыльной стороне горы вниз. Оставшийся в одиночестве принц заламывал руки и впервые произносил свою леденящую кровь фразу:

— Быть или не быть?

Принц сумел задать свой вопрос с такой проникновенностью, что у Мирьям прошла по спине дрожь. Было бы не удивительно, если бы сила этих слов расколола надвое гору золы. Из широкой расщелины появились бы отцы: отец Клауса, приветственно вскинув цилиндр, как обычно, с махровым белым цветком в петлице; рядом с ним шел бы отец Эке-Пеке и Валески в навощенных скрипящих сапогах; сзади, может быть, шагал бы отец Мирьям, не беда, что он придерживает рукой рану на голове. И все они хором восклицали бы: быть, конечно быть, всегда быть!

В последующие дни было много споров об облачении духа короля. С одеждой других действующих лиц было проще — чем красивее, чем лучше. У Валески на шее будет колье из золотой бумаги и золотая корона на голове. Новый король должен носить порфиру. Клаус обещал объяснить, как они смогут подделать опушку мантии под настоящего горностаю.

Ну, а дух?

Валеска была убеждена, что мертвых в хорошую одежду не обряжают. И в королевские времена велись войны и не хватало материи. Королева явно отдала новому королю корону, шубу и другую одежду своего прежнего мужа.

Мирьям вспомнилось, что ее отца положили в гроб в латаных брюках.

Клаус был с ними не согласен, он неприятно, как-то надменно, улыбался, но, невзирая на это, позволил всем высказаться. Всегда немногословный Эке-Пеке вошел в необыкновенный азарт, он сказал, что человека надо похоронить в той одежде, которая была на нем до смерти. Откуда взять другую, лучшую? Да и не принято раздевать покойного. Эке-Пеке вдруг умолк и принялся разглядывать свой костюм. На пиджаке отсутствовала половина пуговиц, широкие штанины были изъедены молью, все в мелких дырочках.

Нельзя все мерить будничной меркой, возражал Клаус. Как-никак они ведь хоронили короля большого государства!

Являлось ли то давнишнее государство большим и богатым, на это сейчас обращать внимание было невозможно. Трудные времена определяли, какая одежда пристала королю и вместе с тем королевскому духу. Они взяли картофельный мешок, проделали в нем отверстия, и дух

короля получил себе достававшее до пят рублище. Подгнивший картофельный мешок, по мнению Мирьям, способствовал исполнению роли. Когда Мирьям лезла на гору, в нос ударяло запахом земли и тлена — дух ведь только на немножко поднялся из могилы, запахи подземелья не могли отстать от него.

На затылке у духа свисал пук пакли — не класть же королю в могилу расческу, тем более что в старину в королевских дворцах пользовались для расчесывания исключительно золотыми гребнями. Кому была охота зарывать в землю такую вещь.

Во всяком случае, и Клаус остался довольным, когда он глянул на стоявшего на гребне горы духа короля, над которым проносились низкие облака. Ветер трепал во все стороны пакляные волосы, вымазанное сажей в серый цвет, лицо было одного оттенка с полощущимся картофельным мешком.

Ветер прибывал к земле облака и острые углы горы разрывали их. Дождь лил как из ведра.

Мирьям стянула через голову картофельный мешок. Они бежали во все лопатки. И все равно примчались в подвал к Клаусу промокшие насквозь, дрожащие от холода. Они все вчетвером забрались в снаряжный ящик, поджали коленки к подбородку и пытались таким образом согреться.

Дождь стучал по куску жести, которая прикрывала вход, и требовал впустить его. Разве запретишь, вскоре сверху через лаз струйками полилась мутная водичка, разбрызгиваясь по полу.

— Затопит подвал, придется на ночь подвесить койку к потолку, — сокрушался Клаус.

Мирьям с ужасом подумала, как вода будет подниматься все выше и выше. Ночью в темноте Клаус свесит руку через край снаряжного ящика, и пальцы окунутся в воду.

Другие тоже вздохнули вместе с Мирьям, всем пришли в голову тяжкие мысли.

— Мама все корит себя, что не положила отцу с собой теплых носков и заячьей поддевки, — проговорила дрожащая Валеска.

— Так время-то было летнее, когда мужиков брали на войну, откуда она могла знать, что война протянется так долго, — вступился в защиту своей матери, Елены, Эке-Пеке.

— Порой по ночам, когда ветер воет и нет сна, я ясно вижу отца,— прошептала Валеска.— На улице холод собачий и метель. Отец выходит из шеренги, приседает за сугробом, нагибается и начинает прикуривать, чтобы хоть немного согреться. Снег метет стеной и заваливает отца. Другие идут мимо, глаза забиты снегом, и вовсе не видят, что один из них отстал.

— Да вернется он домой,— успокаивает Валеску Клаус.

Наверняка и он думал о своем отце.

У них троих оставалась надежда. Никто из них не стоял в церкви возле гроба своего отца. Какая же она была глупая, что радовалась, когда отец доплыл с тонущего корабля до берега и явился домой. Неведение лучше. Можно было, по крайней мере, надеяться.

Недавно Мирьям увидела на углу улицы Эке-Пеке, который катил рядом с собой большущий военный велосипед. Машина была почти негодной, без шин, голые неровные обода вихляли на камнях. Маленький старичок вцепился изо всех сил в руль и старался удержать покорженный велосипед. Мирьям подбежала ближе, чтобы увидеть, почему это от велосипеда Эке-Пеке доносится такое страшное дребезжание. Привязанная к багажнику корзина была доверху наполнена стеклянным боем. Эке-Пеке остановился и серьезно взглянул на Мирьям из-под насупленных бровей, с которых скатывался пот.

— В городе за разбитое стекло дают целое,— объяснил он.

Мирьям удивлялась вовсе не осколкам, а тому, что за время репетиций Эке-Пеке стал куда разговорчивее и дружелюбнее.

— А мерка для стекла у тебя с собой? — побеспокоилась Мирьям.

Эке-Пеке достал из-за пазухи складной метр и раскрыл его. На нем химическим карандашом были сделаны метки.

Мирьям поддерживала тяжеленный велосипед, пока Эке-Пеке лазил в карман. Она решила, что Эке-Пеке маленький, славный старичок.

— Видишь ли,— доверительно объяснил Эке-Пеке,— если случится, что отец придет ночью, он сможет постучать в стекло. У фанеры звук глухой. А в дверь барабань

сколько хочешь, все равно в спальне не услышишь, и звонка у нас нет.

Мирьям кивнула — чего там спорить, у Эке-Пеке у самого голова варила.

— Я немного помогу тебе,— предложила Мирьям и взялась за руль. Они толкали с двух сторон тяжелый велосипед, развалина эта когда-то явно принадлежала солдату-великану. Сиденье находилось точно на уровне ушей Эке-Пеке и Мирьям.

— Ради удовольствия на нем, конечно, не покатаешься,— извинился Эке-Пеке за свой велосипед.— Только ведь и тягло тоже нужно.

— Да,— вздохнула Мирьям.— Была бы сейчас жива извозчицкая белая лошадь!..

Мирьям хотелось рассказать Эке-Пеке, как они на рождество на белой лошади ездили с дядей Рууди на кладбище, чтобы зажечь на могиле дедушки свечи. Звенели бубенцы, и соболиная или медвежья полость укрывала ноги. Может, Эке-Пеке и не понял бы этого. По крайней мере, одного своего дедушки он никогда не видел. Знал только, что тот вернулся из окопов и вместе со вшами принес с собой тиф.

Сейчас, в подвале у Клауса, в голову лезли всякие мысли, и вдруг Мирьям захотела узнать, как звали умершего от сыпняка дедушку Эке-Пеке и Валески.

— Ох, а я и не знаю,— испугалась Валеска ее вопросу.

— Мама всегда говорит: мой отец, мой отец, никогда не называет его по имени,— извинился Эке-Пеке.

— Стыдно слышать,— проворчал Клаус.— Моего дедушку по материнской линии звали Мадисом, он был георгиевским кавалером и погиб в первую мировую войну. Дедушка по отцовской линии, Манфред фон Вальдштейн, умер от инсульта в тридцать восьмом году. Отцовская родословная в нашей семье исследована до первой половины шестнадцатого века.

Мирьям съежилась. Она не видела даже дедушкиного каменного велосипеда и особого представления о своей родословной не имела.

— Что ты говоришь! — удивленно воскликнула Валеска.

— Фон-барон,— насупившись, пробурчал Эке-Пеке.

— Клаус фон Вальдштейн,— задумчиво произнесла Мирьям.

— Будем знакомы, милостивая барышня,— насмешливо промолвил Клаус и постучал носком деревянного башмака по боку снаряжного ящика.

Мирьям улавливала раздражение Клауса — тоже мне компания. Что это за люди, которые не знают даже своей родословной. Хотя бы за последние сто лет!

Маленький старичок Эке-Пеке и Валеска, пришибленные, сидели молчком. Сейчас они никак не выглядели королем и королевой.

21

После заявления Клауса фон Вальдштейна о своей родословной Мирьям поняла, что она появилась на свет случайно. В сумраке далеких времен какие-то стихийно сошедшиеся люди начали плодить наобум потомков, те в свою очередь сходились с кем-нибудь, пока не появился на свет божий дедушка, а вскоре и бабушка. Бабушка стрекотала на швейной машинке, и дедушка женился на усердной барышне. Родился отец. Когда подошло время, папа с мамой повстречались на углу улицы и вместе отправились дальше по дороге жизни. Вскоре запищала Лоори — в конце всего этого возникшего наобум ряда стояла Мирьям, которая уже не знала ни одного родственника моложе себя.

Мирьям огорчало то, что у нее не было столь знатной родословной, как у Клауса. Может, потому-то у Клауса и лежал в кармане талер ума и таланта, что за его спиной стояли избранные люди, имена их были вырезаны на ветвях древа времени. У Мирьям в этом плане все было туманно. Даже живые родственники раскиданы по белу свету. Бабушка по материнской линии и тетя после той страшной бомбежки уехали жить в деревню.

Перед войной сюда приехала бабушкина сестра, о которой никогда раньше ничего не говорили. Тетя Анна приехала, а вскоре исчезла, и никто не знал, под каким камнем спит она своим вечным сном.

Занятая думами о загадках родословной, Мирьям с тех пор осматривала все валуны и камни особым, умиленным и изучающим взглядом. Ведь не знаешь, под какой глубиной покоится кто-нибудь из твоих же предков. Мирьям не могла понять, почему в их семье никогда особо не заговаривали о прародителях, почему никто не заботился о тех, от кого происходил сам. Видимо, все сми-

рились с тем, что оказались на земле случайно и ненадолго и не стоят того, чтобы разыскивать следы предшественников или оставлять следы самим. Вон и дядя Рууди удивлялся скоротечности жизни, он не успел даже съездить и повидать дедушкин камень с велосипедом. Так вот и жила их родня: тот, чья очередь настала уходить, слышал вдруг, как дьявол уже наяряивает похоронный вальс, а тут ему и веки смыкать. Этот проклятуший хвостатый старался появляться слишком часто и вгонял их в настоящую панику. После смерти дяди Рууди его двоюродный брат грустно заметил, что дьявол постоянно прореживает человечество и кто-то из наших родственников обязательно попадает ему под руку. Значит, люди подобны деревьям в лесу, старуха с косой скашивает увечных и хилых, чтобы к другим могло подобраться солнышко.

Как и этот двоюродный брат — кто знает, какие ветры носят теперь его, или, может, и на его могилу уже навалили камень.

Когда в их семье пошли похороны, люди говорили: если кладете в гроб покойника — замечайте, очоченелый он или ослабший. Если тело одеревенело, можете вздохнуть полегче, косая оставит ваш род на время в покое. Но если кости умершего прогибаются, ждать добра нечего. Близкие, опуская в гроб очередного усопшего, внимательно следили за зловещей приметой. Так как ничего хорошего о будущем они узнать не смогли, то старались от него откреститься. Постепенно безутешная правда все же просачивалась. Никто из трех усопших не оставил преград судьбе. Мирьям это очень хорошо знала, и пусть они не делают вид, что ничего такого не было.

Что могла поделаться с собой Мирьям, когда, дожидаясь домашних и переживая, что они запаздывают, она всегда думала о худшем. Было жутко представить кого-нибудь из них мертвым, и все равно жизнь подсказывала ей подобные картины. Когда отец в тот темный осенний вечер не явился домой, они решили, что он пошел выпить с друзьями. После нескольких похорон Мирьям постоянно представляла домашних на носилках, хотя они и возвращались всегда домой.

О дяди Руудином родиче, который объявился во время войны, Мирьям ничего определенного не знала. Если вспомнить, то был он ничего себе человек, хотя его барышня при встречах и портила общее впечатление.

Вначале кузен приходил один и вел с отцом разговоры. Водился он также и с детьми, не отмахивался, как от надоедливых мух. Однажды, когда опять погасло электричество, Мирьям пристала, чтобы двоюродный брат изобразил привидение. И хотя Мирьям знала, что в зубах у него горит карманный фонарик и что он завернулся в обыкновенную простыню, все равно ее охватывала сладостная жуть, когда белая фигура со светящимся лицом махала руками и гонялась за ними по комнатам. Мирьям с визгом убежала, пряталась за мебель и за дверь, но пугало всюду настигало ее и хватало за волосы. Конечно, Мирьям выдавала себя криком и смехом, но разве умолчишь, когда тебе так весело! Жалко, что скоро снова дали свет. Запыхавшийся кузен стоял посреди комнаты, простыня от большой возни измялась и с одного угла была испачкана черным гуталином. Недавнее привидение обтерло карманный фонарик платком, а мама сняла с его плеч простыню.

Ясно было одно, что, исполняя роль королевского духа, Мирьям никак не могла брать пример с простого детского привидения, которое изображал кузен. Жизнь становится все серьезнее, с удивлением думала Мирьям.

В один из давних вечеров двоюродный брат пришел с какой-то барышней. Она не сняла черной бархатной шляпки, только пальто и калоши оставила в передней. Кто знает, почему эта рыжеволосая барышня стыдилась своей макушки, возможно, хотела создать представление, что она вот-вот встанет со стула и отправится домой. Мирьям с нетерпением ожидала, чтобы гостя поступила именно так, но барышня, наоборот, осталась вместе с кузеном у них ночевать. У Мирьям испортилось настроение — ей вовсе не нравилось, когда невенчаные женщины спали с мужчинами. Она презирала этих легкомысленных завлекательниц с той самой поры, когда отец однажды собрался было пойти к одной из таких на день рождения. Хорошо, что Мирьям тогда закапризничала и помешала отцу пойти. Отец потом был явно рад, что не сделал глупость. Мирьям всегда хвалила себя, когда случалось удержаться и не отдубасить какого-нибудь противного типа. Дома тоже говорили, что человеку для того и даны язык и разум, чтобы он все улаживал словами. К тому же было важно, чтобы на душе не оставалось чувства вины, поди знай, когда в ушах зазвучит этот вальс смерти. На том свете уже не сможешь ула-

дить земные дела. Мирьям однажды читала такой детский рассказ, где старик плакал перед смертью горючими слезами из-за того, что когда-то убил со злости собаку.

Ну конечно, кузен много раз ходил со своей барышней к ним ночевать. Мирьям частенько подмывало спросить, есть ли у него законная жена и дети, но взгляд барышни всегда останавливал ее.

Она имела обыкновение смотреть на Мирьям в упор, иногда становилось просто не по себе. Так как барышня болтливой не была, то, видно, поэтому она и пыталась разговаривать с Мирьям на языке взглядов. Она запрещала взором: не спрашивай! Не суйся в чужие дела! Мирьям подумала, что и ей не мешало выучить этот разговор глазами или язык взглядов. Тогда все же сможешь спросить о том, что хочешь узнать. Иногда, конечно, стоит дать кое-кому понять, что лучше помалкивай и не вякай, сиди тихо, твои слова не вмещаются людям в уши.

Мирьям хотелось бы посмотреть, снимает ли все же барышня кузена свою бархатную шляпку, когда ложится спать,— но двери на ночь закрывали. Мирьям могла только представить, как белотелая голая женщина лежит на диване, черная шляпка натянута на глаза, словно кепка.

Двоюродный брат помогал хоронить отца. Барышня принесла матери черную вуаль и сказала Мирьям и Лори, что не находит слов для утешения. Потом двоюродный брат исчез до следующих похорон в их семье.

Однако кое-что о нем все же услышали.

Ночью, во время большой бомбежки, какая-то незнакомая Мирьям родственница со своим мужем и дочерью вышли из подвала, чтобы подышать свежим воздухом и оглядеться. Они, видимо, думали, что самолеты уже улетели и этой ночью на земле настал покой. Втроем они стояли в своем саду, когда вдруг туда упала бомба и разметала всю семью. Утром кузен явился проведать их и обнаружил одни клочья от родственников. Он будто бы собрал руки, ноги, головы и туловища в большой мешок и на санках отвез на кладбище.

Люди начали нашептывать, что над их родом висит проклятие. Ну хорошо, если уж им положено по каким-то таинственным причинам в спешном порядке исчезнуть с лица земли, то это злосчастное проклятие могло бы

хоть немного смилостивиться и оставить жертвы по крайней мере при руках и ногах.

Иногда Мирьям думала, что, видно, потому тот неизвестный доселе двоюродный брат и появился неожиданно во время войны, что предчувствовал свой долг похоронить целую вереницу родственников. Возможно, что он дни и ночи находился в ожидании, и барышню подобрал себе подходящую, такую, которая носит черную шляпу — это соответствующее одеяние, чтобы возиться с покойниками. Правда, мама после говорила, что так как двоюродный брат отца скрывался от немцев, то он просто вынужден был скитаться и присматривать, где бы ему переспать ночь.

Хорошо, что немецкие шпики не напали на его след. Кто бы тогда собрал в мешок останки своих родичей и схоронил бы их? Отец к тому времени уже покинул этот мир, а дядя Рууди метался в жару. Мужчин в доме не было.

Теперь кузен сгинул бесследно. Когда Мирьям становилось очень грустно, она утешалась тем, что можно, по крайней мере, ожидать возвращения хотя бы одного человека. Ничто не запрещает надеяться, что в один прекрасный день кузен постучится в дверь и войдет к ним со своей барышней. Больше Мирьям не будет обращать внимания на запрет во взоре рыжеволосой барышни и обо всем его расспросит. Может, они сумеют вдвоем с кузеном как-нибудь распутать эту родословную, все-таки очень важно знать, от кого же ты приходишь.

22

Когда Клаус сердился, у него белел кончик носа. Досталось всем троим. Клаус сказал, что они в жизни ничего не видели, еще меньше пережили; но что куда хуже — они не желают ни думать, ни поглядеть вокруг себя. То же мне сумасшедшая невеста, отчитывал он Мирьям, — вывернула глаза, склонила голову на плечо и думает, что это все! Любящую невесту доводит до отчаяния жестокая ложь, которую она ощущает вокруг себя, настаивал Клаус. Мирьям не знала, как ей выразить эту ложь и отчаяние.

Король у Эке-Пеке бесчувственный, словно ломовой извозчик, — душегуб же должен дрожать от страха, хотя он и пытается это скрывать. Валеска кивнула и сказала

Клаусу, что ее королева бесчувственная, как извозчицья баба. Точно! — воскликнул Клаус. Королева предала отца принца, но сердце ее истекает кровью из-за принца. Любая мать волей-неволей тянется к своему ребенку. Противоречия разрывают ее душу.

Внимательно оглядев три жалких и обиженных лица, Клаус умолк. Он словно бы понял, что палку нельзя перегибать. Больше того, он как бы начал постепенно раскручивать жесткую, сплетенную из гневных слов веревку.

Кислое лицо Валески стало светлеть, ну конечно же Клаус прав: она действительно умеет опускать длани на колени с истинно королевским достоинством. Валеска удовлетворенно рассматривала свой перстень, в котором сверкал розовый камень, большущий, будто леденец. Клаусу не нравилось, что Валеска расплылась в блаженной улыбке. Он тут же круто повернул разговор. Подавляя раздражение, он объяснял, насколько важна немая игра королевы в том месте, где принц рассказывает ей и королю о представлении бродячих актеров. Чувство вины на ее лице сменяется страхом — Валеска же вместо всего этого безразлично крутит глазами, будто она и не человек вовсе, а букашка.

— А почему королева позволила убить прежнего мужа и взяла себе нового короля? — сердито спросил Эке-Пеке.

Мирьям тоже сказала, что если бы люди всегда жили честно и не убивали бы друг друга, то вообще бы не нужно было таких представлений.

— Глупый, — ответила Валеска брату, — новый король до тех пор щекотал королеву, пока у нее не задурела голова.

Клаус закрыл лицо руками и тихонько застонал. Между пальцев высывался известково-белый кончик его носа. Он бормотал что-то невнятное, покачивался и выглядел маленьким и измученным.

Неприкрытое отчаяние Клауса испугало их: они сидели друг против друга убийственно серьезные и молчали.

Клаус поднялся с чурбака — сегодня они репетировали с Эке-Пеке и Валеской на задворках между поленницами — и со вздохом сказал:

— Что ж, в театре им тоже крепко достаётся.

Мирьям догадывалась, почему Клаус все время ходил мрачный и легко взрывался. Человек и в одиночку в

силах вынести счастье, с горем же другое дело. Как бы ты ни держал себя в руках, горе невольно расходится, как чернильное пятно. Чему тут радоваться, если почтальон останавливался возле Клаусова подвала лишь затем, чтобы сокрушенно покачать головой. Иногда Клаус оставлял в карауле Мирьям, она кое-как сносила вечно повторявшееся подшучивание господина Петерсона по поводу усов — ради письма Клаусова отца можно было стерпеть чувство неловкости. Так как Мирьям оставалась безразличной к словам почтальона, то шутливый господин Петерсон решил подразнить ее иначе. Он покрутил ус и спросил: а что, разве Мирьям стала невестой Клауса, что она вместо него дожидается письма? Мирьям обозлилась и резко ответила, что, наоборот, она дух старого человека и явилась временно на землю, чтобы позагорать. Господин Петерсон пожал плечами — он ничего не понял.

Клаус потому оставлял сторожить вместо себя Мирьям, что сам ходил прочесывать город. Он все искал своего отца.

По мнению Мирьям, это был разумный шаг. Повсюду работали военнопленные. Мирьям сама видела их не так уж много, зато возвращавшийся из очередных походов Клаус точно отчитывался, какой работой занимались немцы. В разрушенном городе дела хватало с головой: надо было убирать развалины, чинить водопровод, соединять оборванные провода, разравнивать землю, свозить камни, мостить улицы.

Клаус отправлялся в путь спозаранку, Мирьям казалось, что она слышит сквозь сон, как по мостовой грохочут деревянные подошвы Клауса. Однажды он добрался до дому только под вечер. Ходил за город, туда, где немцы прокладывали шоссе. Клаус до того устал, что едва мог выговорить слово. Он уселся в снаряженный ящик, кряхтел и стягивал башмаки. У Мирьям на мгновение поплыли перед глазами черные круги, — таких стертых, в волдырях и ссадинах ног ей еще не приходилось видеть.

Вот так принц, подумала Мирьям, ее сердце от жалости готово было разорваться, и она отправилась собирать листья подорожника. Заодно принесла в своей маленькой зеленой жаболейке теплой воды. Клаус свесил ноги через край ящика, и Мирьям принялась их поливать. Не беда, что вода лилась прямо на пол, в дождь

она тоже просачивалась в подвал. Затем Мирьям обложила подорожником большие куски тряпок и обмотала ими больные ноги Клауса. Потом Мирьям принесла Клаусу смородины и хлеба, в утешение заявила — мол, не беда, все пройдет.

У лежавшего с закрытыми глазами Клауса губы тронуло нечто похожее на улыбку, и Мирьям успокоилась. Подорожник был, по ее мнению, самой сильной лечебной травой, с ее помощью она не раз вылечивала свои нарывавшие пальцы. В свое время коленка потому так и разболелась, что зимой неоткуда было взять подорожник.

Вскоре измученный Клаус спал сладким сном, и Мирьям вылезла из подвала.

Нельзя было опускать руки только потому, что дальние походы Клауса все еще оставались безрезультатными. Упорство должно было в конце концов принести свои плоды. К тому же можно было предположить, что время от времени военнопленных будут менять, и таким образом через год пройдет половина бывшего войска. Город был настолько разрушен, что работы хватало и своим и чужим. Мама тоже сшила себе брезентовые рукавицы и по вечерам ходила на восстановительные работы.

Почему бы среди такой массы военнопленных не мог оказаться и отец Клауса?

Во время войны русские военнопленные копали на их улице канаву. Мирьям была тогда еще такой глупой, что не могла представить себе, как выглядят дети, которые ждут домой этих людей. Теперь, по прошествии времени, можно было полагать, что они более или менее похожи на Клауса, Эке-Пеке и Валеску.

Русских военнопленных пригнали на их улицу сразу после рождества. Они долбили мерзлую землю, кирки и ломы звенели у них в руках. Пленных приводили еще затемно, за плотным строем шагали два немца в шубах, с черными автоматами на груди. Когда Мирьям впервые увидела конвойных, страх пригвоздил ее к месту. Она знала, что на войне только тем и занимаются, что убивают, — кто сильнее, тот и прихлопывает других. Мирьям стояла на углу улицы, ноги налиты свинцом, и думала, что вот теперь военнопленным прикажут стать у стенки и начнется бойня. Мирьям не знала, почему людей расстреливают именно у стенки, но все время гово-

рили, что того или другого поставили к стенке и расстреляли.

Военнопленным приказали остановиться напротив переднего, выходявшего на улицу дома, и стена оказалась у них за спиной. Мирьям хватала ртом воздух. Она представила, как пленных придвинут к цокольному этажу и они закроют своими спинами окна дедушкиной мастерской. Немцы нажмут на спусковые крючки автоматов, из стволов с жутким треском вырвутся пули и продырявят пленным грудь. Со звоном посыплется стекла в окнах мастерской, человеческая кровь брызнет на дедушкин верстак, польется на наковальню, и под тисками в углублении пола натечет лужа крови.

Мирьям зажала руками уши и зажмурила глаза.

На этот раз пленных оставили в живых.

В том году стояли такие трескучие морозы, что земля напоминала темный стекловидный камень, который стойко противостоял железу. Со звоном во все стороны разлетались черные осколки, но все же через несколько дней по обе стороны канавы поднялись насыпи — снег, камни и глыбы земли вперемешку.

Однажды утром Мирьям опоздала. Пленные уже успели набросать на свежевыпавший ночью снег комья земли. Какое-то таинственное событие, подобно электрическому току, встрепенуло стоявших по колена в канаве людей. Конвойные с автоматами в руках метались от одного конца канавы к другому и что-то сердито выкрикивали по-немецки. Мирьям заметила, что пленные передают из рук в руки дымящиеся картофелины. Они так здорово поставили дело, что, пока один жевал горячую картофелину, другой, рядом, остервенело работал. Откуда здесь появилась картошка? Видимо, это хотели узнать и немцы, ведь поблизости от пленных не было ни одного человека. Окна выходявшего на улицу дома тоже были совершенно безжизненными, как будто обычно столь любопытные женщины в тот момент играли в прятки и забрались под кровать или под стол.

С тех пор было занятно наблюдать, как по утрам идет картофельная война. Какой-то незнакомый благодетель еще в темноте умело припрятывал где-нибудь под глыбами земли узелок с картошкой. Пленные сразу же находили это место и быстро делили между собой горячие картофелины. Немцы бегали по краю канавы, споты-

кались на комьях земли, кричали «Donnerwetter!» и выкрикивали всякие другие неприличные ругательства.

И все же конвойные как-то умели не замечать того момента, когда пленные доставали из-под комьев узелок с картошкой. Они поднимали крик, когда пленные уже успевали отправить теплую картошку в рот. Немцы втапывали каблуками в землю бумажки и тряпки, которые после картошки оставались валяться между мерзлыми комьями. Немцы словно доказывали друг перед другом свою отчаянную злобу, не иначе как один боялся другого, что тот возьмет и нажалуется начальству.

Когда немцев вышибли, бабы не раз принимались обсуждать подробности картофельной войны. Прикидывали, кто бы это мог пойти на такой подвиг. Причин удивляться было предостаточно — ведь и здешние женщины обычно следовали воззваниям немцев и вязали из серой пряжи, выдаваемой в конторе вспомогательной тыловой службы, для героев восточного фронта теплые носки. Было очень странно подумать, что кто-нибудь из них вечерами работал на немцев, а ранним утром варил для русских картошку.

Поди-ка пойми этих людей: свои и чужие — все перемешаны.

И немцев невозможно было понять. Заставили пленных вырыть вдоль улицы длинную канаву и так же ни с того ни с сего велели ее снова засыпать. Мирьям своими глазами видела, что ни одной трубы и ни одной проволоки из земли не достали и никакой штуковины не укладывали на дно глубокой канавы.

Мирьям снова вспомнились эти старые загадки, когда она увидела Эке-Пеке у себя на дворе возле поленницы. Он держал обеими руками березовое полено и зубами сдирал с него бересту.

Мирьям вздохнула и подумала, что иногда у нее в голове начинает что-то вязаться узлом.

Выходило, что Мирьям не понимала даже собственных действий.

Накануне отцовых похорон в доме у них появились привидения. Стоявшие в ряд на полке в шкафу книги вдруг привалились корешками к стеклу. Зеленый абажур настольной лампы закачался, собираясь выскочить

из медного кольца. Из-под письменного стола медленно растекалась черная жидкость. И хотя Мирьям понимала, что просто призраки разбили в ящике стола чернильницу, все равно было так страшно, что дрожь пробегала по спине.

Мирьям не хотела пугать Лоори и ничего не сказала ей про эти бесовские проделки. Вернее, просто не было сил, чтобы заботиться еще об этих привидениях,— в распухших мозгах, которые со страшной силой давили на череп, так что он скоро должен был расползтись по швам, господствовало лишь одно сознание: отец умер! Чей-то звонкий голос наивного человека слабо возражал: неправда, это невозможно. Вот сейчас стукнет наружная дверь, на лестнице раздадутся знакомые шаги, откроется дверь в комнату и на изразцах печки появится отражение отца. Темная фигура повернет голову, поставит портфель и спросит: что это вы тут носы повесили?

Какой-то ангел прореял утром по комнате и распорядился: не шалить, не бегать, а голову склонить. Мирьям несколько раз садилась и склоняла голову на грудь — по случаю траура человеческие чувства должны быть ко всему прочему глухи.

Но какой-то дьявол тыкал в Мирьям иголками и тормошил за ноги так, что похрустывали суставы. Она пыталась избавиться от этого искуителя и без конца слонялась из комнаты в комнату. Лоори также была не в состоянии, забившись в уголок, безмолвно плакать, она тоже бродила по квартире. Непонятно, почему она среди бела дня так часто натыкалась на стулья, в кухне с грохотом опрокинулся табурет. Лоори держалась от Мирьям подальше. Она словно боялась, что младшая сестренка скажет какую-нибудь глупость, которая была бы невпопад в этот день. Или же ей казалось, что с этого момента вообще запрещено разговаривать. Может, нечистые, наострив уши, прислушивались, чтобы при неуместном слове противно похихикать и удовольствия ради поцокать языком. В тот момент ничего отвратительнее смеха нельзя было себе представить.

Мирьям прошла из кухни в переднюю. В дверной петле пискнула мышь. Нечистые силы вдруг ухватились за половик и попытались вырвать его из-под ног. Мирьям хватала руками воздух. Она пыталась сохранить равновесие, старалась не грохнуться на спину и схватилась

за висевшее на вешалке пальто. Когда она назло нечистым расправила половик и глянула в сторону печи, то увидела Лоори, которая вела себя довольно странно. Сестренка сидела на корточках перед холодным очагом, обе дверцы — наружная и внутренняя — были настежь открыты. Лоори пыталась всунуть голову в печь. Непонятным образом она непременно хотела, выставив вперед ухо, забраться в темноту.

Заслонка в печи была открыта, и волосы Лоори шевелились от тяги, того и гляди этого тщедушного ребенка вытянет через дымоходы и трубу на крышу.

Загадочное поведение Лоори обеспокоило Мирьям, как будто мало было этих неслышно крадущихся бесов! Мирьям, недолго думая, схватила сестренку за волосы и начала оттаскивать ее от печи. Лоори ухватилась за ручку дверцы — вошедший в нее колдовской дух оказался весьма упрямым.

— Я слушаю, — боязливо прошептала Лоори.

Мирьям опустилась рядом на корточки и в свою очередь ухом вперед принялась залезать в печь. Ну и развели же там нечистые свою свистопляску смерти. Сатанинские отродья бурчали и всхлипывали. Они посвистывали и завывали, шипели и стонали, перекатывались с грохотом, подобно железным бочкам, и шмякались куда-то вниз. Затем раздался страшный шелест, невидимый водопад сносил преграды. Шум и плеск стали громче, теперь нечистым явно придется перебираться на новые, более спокойные места.

Мирьям отодвинулась от печи. Она почувствовала какое-то мгновенное облегчение. Она не станет киснуть в углу, а начнет колошматить нечистых. Прежде всего бухнула кулаком по внутренней решетчатой дверце печки. Та защелкнулась. Наружная чугунная дверца закрылась с такой силой, будто по ней пальнули из пушки. От грохота у нечистых должны были полопаться перепонки. И поделом! Нужно им было вылезать в такой тяжелый день из своих щелей, чтобы изводить людей.

Мирьям готова была расплакаться, но сжала зубы. Привидения парили в воздухе над ее плечами и тяжело дышали. Ну погодите! В одной из бутылок хранилась могучая жидкость под названием чернильная смерть. Этому мерзкому духу, который барахтается там в лужице, немедленно придет конец. Пусть убирается скорее, не то будет худо.

Рука у Мирьям дрожала. Чернильная смерть булькала в прозрачной бутылке и поднимала синие пузыри. Мирьям воинственно оглянулась, сейчас она зальет черную лужу. Ага, как в воду сгнули! Испугались нечистые!

Зато послышался страшный топот в спальне. Ну, теперь держись и вступай в бой! Мирьям поставила бутылку и схватила длинную половую щетку. Она ползала на четвереньках по спальне, двигала с грохотом перед собой щеткой, гремела ею под кроватями и слышала, как там, в темноте, под ударами глухо шмякали мягкие бока привидений. Мирьям снова и снова била щеткой — сатанинское отродье и всякая другая нечисть получали сполна. Уж теперь-то они уберутся, лишь бы хватило подходящих щелей.

Но нет, эти упрямые прохвосты никак не желали поддаваться. Теперь они стали топотать в платяном шкафу. За полуоткрытой дверью трепыхался подол маминого зеленого платья, желтые цветы на нем горели, как глаза дьявола. Мирьям ухватилась обеими руками за черенок щетки и начала колотить по верху шкафа. Несладко приходилось там этой дряни. Дверца шкафа распахнулась, взметнулись халаты и платья, чего доброго, зацепятся еще за рожки люстры и разлетятся пополам.

Мирьям решила, что хватит. Она пойдет и вытащит чертей за шкурку из шкафа. Их следует потрясти, как пакляную кудель, силы вдруг прибыло столько, что хоть разноси стены.

Мирьям прыгнула, головой вперед, в шкаф, угодила коленом на завязку какого-то узла. Она раздвигала в стороны платья и пальто, исходившие от одежды запахи заставили на мгновение позабыть о нечистых. В ноздри ударило табаком, слегка серой. Какая-то одежда пахла камышами, хотя бездонная воронка прошлого и заглотнула уже в себя летнее море. И все же Мирьям ясно видела, как отец в плавках пружинистым шагом прошел по намокшему дерну, пробрался сквозь ивовые кусты, спрыгнул с дюны, остановился и поддал ногой мяч. Красно-желтый шар взвился в небо, упал на крышу эстрады и отскочил вниз, к загорелым ребятам, которые с криком, размахивая руками, кинулись за мячом.

Они шли по купальному мостику. Отец впереди. Мирьям, стуча пятками, следом за ним. Выгоревшие на дожде и ветру серые доски прогибались под ногами.

Мирьям поглядывала сквозь щели настила на темную воду и на воротнички зеленой тины вокруг нижних стоек.

Волна в конце мостика плескалась о низ настила, обдавая брызгами колени Мирьям. Отец поднял козырьком руку к глазам и оглядел переливающееся море.

— Время учиться плавать,— сказал отец и подбадривающе сжал плечо Мирьям.

Отец не дал Мирьям долго терзаться страхом и скинул ее с мостков в воду.

Мирьям вдруг потеряла слух, вокруг нее пенилась зеленая вода, слепило солнце. Она колотила руками и ногами, отфыркивалась, хватая ртом воду и воздух. Вдруг она выскочила на поверхность воды. Мирьям вскинула голову и увидела рядом с собой отца, который спокойно, точно веслом, вел в воде рукой. Держа ее за купальник, он подвел Мирьям к ступенькам мостка и помог ей подняться наверх.

Мокрая и оглушенная Мирьям дрожала, колени, казалось, сделались ватными. Отец похлопал ее по щеке и сказал:

— Будешь плавать как кит.

Мирьям видела немало картинок с китами, которые фыркали и выпускали из затылка струю воды. Она представила себя верхом на ките, с зонтиком в руках.

Хотелось чихать, но не из-за табачного запаха, это нечистые щекотали ее.

Ее гнев против бесов получил новый заряд. Она била кулаком по одежде, которая висела над головой. В каком-то кармане шуршал коробок со спичками. Мирьям хватала наполненный запахами спертый воздух, будто просеивала чертей. Нечистые должны были испугаться этого яростного напора. Рука Мирьям коснулась чего-то мягкого и теплого.

Мирьям вздрогнула. В руках у нее оказалось Лоорино ухо.

— Дай мне умереть здесь, в темном углу,— хныкала сестра.

Мирьям откинулась в шкафу на спину, твердая завязка узла оказалась как раз между лопаток. Глаза у Мирьям наполнились слезами. Нечистые были недостойны того, чтобы с ними связываться.

— Вылезай, или я отколочу тебя,— процедила Мирьям таким злобным голосом, на какой только была способна.

Они обе выбрались из шкафа. Впереди Мирьям, всхлипывающая Лоори вслед за нею.

Они в полном согласии направились в другую комнату, забрались на диван и подобрали под себя ноги. На полу, казалось, плескалась тинистая вода, кишевшая всевозможными нечистыми тварями, которые обрели образ щелкающих челюстями крокодилов.

Мирьям и Лоори прижались друг к другу, это подействовало успокаивающе.

На столе, на расстоянии вытянутой руки, лежала пачка фотографий киноактрис и киноактеров. Мирьям и Лоори поделили их поровну и стали играть в старую игру, которую придумали когда-то в дождливый вечер. Каждая брала из своей стопки одну фотографию, две фотографии выкладывали рядом, сравнивали и определяли, чей артист или артистка красивее. Владелец более красивого лица получал выигрышные очки. Игра продолжалась, в оценке прекрасного Мирьям и Лоори проявляли исключительное единодушие. И без спора было ясно, что Кристина Сэдербаум превосходит Паулу Весели, а Вилли Форст — Пауля Хэрбигера.

Несколько часов они просидели так, прижавшись друг к другу, раскладывая рядышком ослепительные, счастливые лица, вводя в игру все новых — ужасно красивых и безумно прекрасных. Когда фотографии кончались, их снова собирали вместе, перетасовывали, подобно игральным картам, и игра начиналась сначала.

Нечистые сгнули, крокодилы в париках, сплетенных из морских водорослей, уплыли. Мирьям и Лоори опустили затекшие ноги через край дивана, они впились взглядами в счастливые светлые лица, пока их не зашлошило от всей этой красоты и блеска. Тогда они оставили фотографии и свернулись в разных уголках дивана клубочком. Сон пришел без сновидений, как будто они выпили какой-то жидкости, под названием смерть памяти.

После Мирьям со стыдом думала о том часе, что они выкрали для сна. Мама была права, когда впоследствии жаловалась другим, что не понимает своих детей. Будто у них сердца нет! В такой день перевернуть все жилье, даже в платяном шкафу перевернули все вверх дном. Когда она вернулась домой, фотографии артистов валялись на полу, а Мирьям и Лоори спали себе спокойным сном.

Вспоминая этот день, Мирьям поняла, что вовсе не следует всему удивляться. Может, у Эке-Пеке знакомые привидения живут под корой дерева и он потому и срыгает зубами бересту, что надеется вывести нечистых на свет божий.

24

В тот день местом репетиции опять стали задворки дома Эке-Пеке и Валески. Для королевского трона подошли полуразвалившиеся финские санки, ржавые полозья которых поросли лебедой. Эке-Пеке натянул черную нитку между кленом, кустами сирени и столбом — для сцены был отведен небольшой клочок земли. Устройство такого загона встревожило Мирьям. И хотя она понимала, что на настоящей сцене тоже не разгуляешься, все же чувствовала себя скованной. К тому же, надо было думать, живший на верхнем этаже хозяин будет ругаться из-за этого загона. Какое удовольствие наперед знать, что зреет скандал и их погонят отсюда, как из райского сада! Возможно, движения хозяина оттого и были такие угловатые, что он все время боялся наткнуться на Эке-Пекины нитки. Мужчина был еще молодой, а голова у него тряслась, при ходьбе он выкидывал руки далеко вперед, будто пытался выдернуть их из плеч. Однажды Мирьям видела, как хозяин тут же на дворе гонялся за Аурелией. После каждого скачка его как-то страшно трясло. Шея дергалась, одно плечо выдавалось вперед, и ноги в коленях прогибались. Несмотря на такую тряску, хозяин передвигался довольно проворно, визжавшая от смеха Аурелия смотрела, как бы улепетнуть, и убежала в конец сада, в кусты крыжовника. Оттуда доносился легкий смех, пока не взлетела вверх пригоршня мусора и хозяин не зачихал.

Валеска как-то сказала, что хозяин втюрился в Аурелию.

Мирьям, которая Аурелию совсем не уважала, решила, что хозяин человек легкомысленный. Также мне девка, чтобы глядеть на нее. Что за невеста может получиться из девки, которая в лесу перед парнями скачет в своих лиловых панталонах.

Клаус стукнул деревянным мечом по оружию своего противника. От неожиданного удара у Мирьям чуть рука не отвалилась. Сама виновата, если ты сражаешься, то

нечего витать где-то. Принц и его противник принялись неистово сражаться, опилки взлетали вверх, и от азартного топтанья земля под ногами раскалилась.

И хотя оба противника должны были в конце концов пасть мертвыми, принц все же во всем превосходил своего врага. Королева держала в руках кубок с отравленным вином — железную кружку, которую Валеска принесла из дому для такой надобности. Мирьям стало так жарко, что она сейчас, подобно лошади, осушила бы целое ведро воды. Мирьям опечалилась: искусство перевоплощения оказалось таким неуловимым; она невольно брала верх над образом — у нее не было никакого намерения протыкать Клауса мечом, как того требовал ход пьесы.

Наконец устал и Клаус и дал отдых остальным. Принц и его противник кинулись навзничь на траву. Король с королевой остались сидеть на санках. Мирьям приподняла голову, она услышала, как лопнула нитка ограждения. С тарелкой в руках к ним шла улыбающаяся Аурелия.

Лицо у Аурелии было из тех, что быстро улечиваются из памяти. Поэтому Мирьям принялась снова и с интересом разглядывать Аурелию. И что только хозяин нашел в ней? Может, он, наоборот, ненавидел Аурелию и со злости гонялся за ней! Когда Аурелия в крыжовнике швырнула сором, хозяин пытался ухватить ее. По его угловатым движениям было трудно понять, хотел ли он обнять Аурелию или ударить. В сознании Мирьям и раньше мешались чувства расположения, отвращения и корысти. В первом классе Мирьям провожал один мальчишка, который нес ее портфель. Мирьям гордилась: смотри, какой кавалер. Потом выяснилось, что мальчишка просто хотел скатиться на ее портфеле с горы — свой портфель приходилось беречь, строгая бабушка не разрешала портить вещи.

Мирьям разглядывала Аурелины волосы, кончики их были опалены щипцами для завивки. Аурелия вся пылала, не помогало и то, что она усердно обмахивалась носовым платком. Подав тарелку Валеске, Аурелия опустилась на траву.

Она подтянула колени, обхватила их и откинула голову назад. Аурелия отдувалась, только у человеческого дыхания нет такой силы, чтобы разбудить ветер. Форсунья, подумала Мирьям. Видно, ходила всю зиму в то-



леньких чулочках, иначе бы икры не были в лиловых разводах от мороза. В лиловых? Лиловые? Мирьям все еще мучило это слово, смысл которого оставался неясным.

— Меня одолела такая страсть к пряникам, что не было мочи выдержать,— вздохнув, сказала Аурелия, будто сожалела, что поддалась своему желанию.— Попробуйте, дети,— предложила она.

Валеска протянула тарелку Клаусу и Мирьям. Эке-Пеке старательно уминал, так что даже скулы двигались. Ну и жевалка у него! Мирьям глядела на остальных, и у нее потекли слюнки. Ей попалась под руку лошадка. Просто удивительно, что Аурелия удосужилась в середине лета испечь такие чудесные пряники. Дома у Мирьям даже на рождество пекли только обычные звездочки. И без того хлопот хоть отбавляй. Целую неделю приходилось выпаривать свекольный сок, прежде чем получался стакан горчащего сладковатого сиропа. Мирьям пошевелила большим пальцем и заметила, что у пряника-лошадки есть на лбу даже лиловый глаз.

Тайна лилового цвета насадала на Мирьям с какой-то кошмарной навязчивостью. Раньше чем откусить Мирьям поглядела на оставшиеся на тарелке пряники. Там лежали вперемешку всякие зверюшки. Петушки, курочки, зайчики и слоники с маленькими хоботками — у всех одинаковые фиолетовые глаза.

— Такое напало желание на пряники, как болезнь какая. Пусть, думаю, хоть весь свет перевернется, но я должна эти пряники испечь,— вздыхая, сказала Аурелия, а сама все отдувалась да раскачивалась.

Мирьям выковыряла у своей лошадки-пряника глаз и уронила его в траву. Теперь можно было и заморить червячка. На самом деле, это вовсе не такая уж плохая мысль — испечь в середине лета пряники. Надо же иногда делать что-то по своему хотению и не думать о том, что принято.

Дети уплетали пряники, пока тарелка не опустела. И только Аурелия оставалась безразличной к пряникам, но это никому из угощавшегося королевского дома в глаза не бросилось.

Мирьям положила голову на траву и ощутила приятную истому. Пальцы нащупали в траве деревянный меч, и Мирьям мельком глянула на Клауса. Слава богу, даже он, видимо, забыл о том, что сражение осталось неокон-

ченным. Они еще не успели нанести друг другу смертельные раны. А что, если переделать пьесу? У зрителей явно было бы легче на душе, если бы принц и его противник остались в живых.

Маленький старичок покачивал закинутой через колено ногой, широкая штанина болталась. И Валеска тоже легла на траву, положив голову на колени Аурелии. Старшая сестра поглаживала белесые волосы младшей, она взяла прядку и будто кисточкой щекотала сестру в уголок рта. Валеска фыркала и смеялась. Лицо у Эке-Пеке посуровело, он бросил на сестер враждебный взгляд и ослабил под горлом свой засаленный галстук.

— Бабы ничего другого и не умеют, как только мурлыкать,— проворчал маленький старичок.

Аурелия провела языком по сухим губам.

— Иди и ты ложись,— сказала она приветливо.

Эке-Пеке разостлал на траве пиджак и растянулся на спине. Аурелия протянула руку, чтобы погладить брата по волосам, но Эке-Пеке резко отдернул голову, и сестра оставила его в покое. Все лежали и потягивались. Несмотря на свой невеликий возраст, им хватало опыта, чтобы осознать, сколь непродолжительное время в здешних краях стоит теплая погода. Едва ли кто прямо думал об этом, жара и без того делала свое дело и вдобавок ко всему пеленала сладковато-горькими запахами. Там были перемешаны ромашки и пряники, крапива и сныть.

Все в этот миг было вроде бы совершенным, и все же какая-то мысль искала себе исхода. Возможно, что и кто-то другой из лежавших на траве ощущал то же неясное беспокойство, что и Мирьям. Будто здесь пыталась кружить какая-то букашка, у которой вместо крылышек были льдинки, какие таяли на жару,— она погибала раньше, чем успевала долететь до места.

Мирьям приподнялась и огляделась. Строптивное лицо Эке-Пеке с печальными складками на лбу помогло Мирьям в какой-то мере прийти к пониманию. Может быть, парня мучила не только печаль по отцу, который не вернулся с войны, но раздражали еще и сестрины нежности. В здешнем краю Эке-Пеке был не единственным, у кого при виде нежности по лицу пробегала тень неприязни. В самом деле, ведь и Мирьям никогда еще не опускала кому-нибудь голову на колени. Она не припомнит, чтобы кто-нибудь тут с восхищением говорил о любви. Лишь отец произнес когда-то, под перезвон церковных колоко-

лов: «Ласково — нежно». Мирьям вспомнила, что и ей по-своему было стыдно это слышать. Почему надо стыдиться доброты? При этой мысли Мирьям приподнялась и села. Такие открытия не каждый божий день приходят человеку в голову.

Вдруг Мирьям, словно бы впервые, увидела облинялые дома за остатками покосившегося забора: ясное небо прижимало к земле тусклые, давно не смоленные крыши. В садах рядом с живыми стояли мертвые яблони, напоминая о людях, которых уже нет, но чей внутренний мир другие неуклонно продолжают носить в себе. Старые разошедшиеся бочки, в щелях которых росло некоторое подобие мха, стояли среди лебеды и крапивы — будто отверстия входов, что вели в подземелья к знакомым духам. Тут, на удобренной золой почве, росли кусты крыжовника, растопырив во все стороны свои ветви, и из года в год плодоносили черными, в парше, кисловатыми ягодами.

Мирьям всем своим существом понимала, что принадлежит именно к этому ландшафту. Понимание этого несколько ее не обрадовало. Она чувала, что Эке-Пеке давно уже понял, какое влияние оказывает на человека окружающий пейзаж, частью которого он является. Эке-Пеке давно и насовсем принял как исконно свое то неопределенное, что витало в здешнем воздухе. Мирьям снова растянулась на траве, страшно сдавливало грудь. Мирьям казалось, что она начинает медленно, подобно бабушке, каменеть. Ничего не поделаешь, и у нее здешнее обличье, как у многих других, и особенно у Эке-Пеке. Маленький печальный старичок, казалось, как грибок народился на свет на этом самом дворе — среди одуванчиков и подорожников.

Она представила себе, как Эке-Пеке через некоторое время вытянется настолько, что сможет забраться в седло старого военного велосипеда и поедет, грохоча ободами, по бесконечной разбитой дороге, натянув на уши серую истрепанную шляпу.

Они все лежали на спине, Аурелия тоже растянулась и шевелила пальцами ног. Валеска тихонько засмеялась и сказала:

— Теперь мы все одинаковые.

Валеска, видно, была права. На этот раз у Мирьям не было причины возражать ей.

Однажды вечером мама взялась за воспитание Мирьям. Мирьям знала, что мама человек основательный и разговор предстоит поучительный и долгий. Поэтому она уселась в уголке кухни на стул, вытянула ноги, повинно опустила голову и принялась разглядывать свои ссадины. Этот шрам на коленке останется теперь уж, видно, до самой смерти. Ничего, утешала себя Мирьям, зато на ней уж имеется надежная метка.

Мирьям услышала, какой она плохой ребенок. Мама сказала, что у них и без того жизнь тяжелая, а Мирьям только прощелыжничает, да еще водится с такой подозрительной личностью, как Клаус. Эке с Валеской тоже неподходящая компания, их сестра Аурелия — недостойная девица. Мирьям и без того растеряла хорошие манеры, порядочный ребенок не является домой грязнулей, одежда вымазана золой, лицо в саже. Да и на траве нечего валяться, можно перепачкать платье. Откуда только взять столько мыла, чтобы держать в чистоте одежду такой неряхи, как Мирьям! Она уже не маленькая, могла бы заняться чем-нибудь полезным. В старину такие большие дети уже давно все сами делали, а Мирьям ленится даже полы вымыть, да и ни к чему другому рук не прикладывает. Разума-то на копейку, да и не прибавится, если человек не хочет заниматься работой.

Женщины в доме явно донесли маме, что Мирьям без конца снует в развалинах да лазает к Клаусу в подвал. Проклятые шпики, в сердцах подумала Мирьям. Не дают человеку покоя. Развалины были, по мнению мамы, самым страшным местом, куда ребенок ни в коем случае не должен был совать носа. Там обитают всякие проходимцы и бродяги. Шаткие остатки стен могут каждый миг обрушиться на голову. Несколько человек, говорят, так и завалило кирпичами насмерть. Достаточно свалиться всего одному камню, и даже такая крепкая голова, как у Мирьям, не выдержит удара.

Вдобавок ко всему в развалинах попадается взрывчатка, в городе в одном месте во время восстановительных работ из-под золы откопали даже бомбу. Хорошо еще, что никто на нее не нарвался.

Последней каплей, переполнившей чашу маминых опасений, было то, что Мирьям отправлялась вместе с Клаусом бродить по городу.

После смерти отца мама как огня боялась всяких по-

дозрительных людей. В смутные военные времена на поверхность всплывает разная нечисть. И теперь еще говорят о головорезах, разбойниках и просто убийцах.

К тому же Лоори все еще находилась в санатории, и за Мирьям не было присмотра со стороны старшей и более разумной сестры.

Мирьям решила взять себя в руки и стать лучше. Она принялась мыть и скоблить в кухне и гонялась по комнате за пылью. В довершение всего добровольно решила отправиться в очередь за сахаром — таким способом и она сможет облегчить существование семьи.

Однако благородные вечерние замыслы не так-то просто оказалось претворить в жизнь утром.

На рассвете мама потормошила ее за плечо, и Мирьям увидела во сне, будто едет в поезде. Затем мама брызнула ей в лицо водой, Мирьям лишь отряхнулась, оглядывая закрытыми глазами морской берег и купальный мосток, откуда отец сбросил ее в воду. Наконец матери не оставалось ничего другого, как вытащить Мирьям из постели. Мирьям еще минуточку-другую спала на ногах. И что за свинцовый сон одолевал ее. Она бы так и брякнулась на пол, если бы мама не поддержала ее под мышки.

Наконец Мирьям проснулась от маминого смеха. Благодаря трудной побудке утро началось весело. Мирьям отхлебывала несладкий злаковый кофе и слушала рассказ матери о том, как Мирьям, когда была двухлетним карапузом, однажды свалилась с кровати и спокойно продолжала спать. Мирьям поняла, что если маме придется когда-нибудь похвалиться своим ребенком, то она сможет выложить козырь — рассказать о ее богатырском сне. Ничем другим ее ребенок не отличался.

Мирьям спрятала продовольственные карточки и деньги в карман, взяла под мышку складной стульчик и на восходе солнца побрела в очередь к магазину.

Подойдя к серому оштукатуренному магазину, она от изумления присвистнула. Она-то думала в своем простодушии, что поднявшийся в такую рань человек должен непременно оказаться в числе первых. Прежде чем встать в конец очереди, Мирьям подошла к входу в магазин, где, как пчелы возле летка, сновали женщины. Тут явно толкались главным образом те, кто считал, что имеет право пройти в магазин без очереди. И в самом деле, кое-кто баюкал пищавших младенцев. Только

Мирьям знала и то, что бывают даже такие, что пристраивают себе из подушки живот или приносят с собой запеленатую куклу.

Мирьям направилась в конец очереди и попыталась сосчитать людей. Из этого ничего не получилось. Много было таких, кто не мог устоять на месте. Они то и дело передвигались туда-сюда. Протянувшийся от угла дома высокий забор покосился. Разве выдержать столбам, если люди в очереди каждое утро будут наваливаться на забор! Стоявшие в ряд женщины жались друг к другу, будто их щипал мороз и им нужно было согреться.

Мирьям вздохнула, поставила стульчик возле забора и села. Над ее головой колыхался подол чьей-то юбки. Под ним виднелись подколенки, где пульсировали толстые синие жилы.

Мирьям повернула скамейку, теперь ее спина опиралась о забор. Сидеть можно, успокоила она себя, уткнула локти в колени и подперла подбородок ладонями. Как-нибудь стерплю, тем более что между верхушками деревьев стало проглядывать солнышко. Яркий свет бил в лицо, и Мирьям зажмурила глаза. Еще бы подушку под спину, и можно было бы неплохо вздремнуть. Тут же Мирьям постаралась отогнать дрему — кто ее разбудит, когда подойдет время и очередь начнет двигаться. Мирьям со страхом подумала, как напирающие сзади начнут топтать спящего на скамейке человека.

Две женщины широким шагом подошли к Мирьям и строго уставились на нее. Они заявили, что стояли тут еще задолго до того, как сюда пришел этот ребенок. Мирьям вынуждена была подняться, чтобы отодвинуть скамейку. Подошедшие прислонились спинами к забору и выставили свои лица на отвоеванное у Мирьям солнышко. Мирьям с нескрываемой враждебностью смотрела на этих курносых воровок законной очереди. У самих пудовые груди и животы что кадушки, а ноги будто колоды, думала Мирьям, но вот прут и оттесняют беззащитного ребенка. Одна из толстух зыркнула в сторону Мирьям. Лицо у женщины помрачнело. Мирьям догадалась, что эта тоже понимает язык взглядов, как и та давнишняя барышня в черной шляпке.

— Ты только посмотри, что за молодежь нынче пошла,— сказала своей соседке пялившаяся на Мирьям толстуха.— В наше время ребенок мигом вскакивал и предлагал старшему место.

— Да,— кивнула другая и зевнула.

В висках у Мирьям заколотили молоточки.

— Смотрит на тебя без стыда и совести, даже в ус не дует на замечания старших,— не могла совладать с собой первая толстуха.

— И что за человек из такой вырастет,— поддержала вторая.

Ну просто поедом едят тебя повсюду, с возмущением подумала Мирьям, делают из тебя козла отпущения и наделяют мрачным будущим! Мирьям собралась с духом, попыталась улыбнуться и произнесла с подчеркнутой вежливостью:

— Мамамы, оставьте меня, пожалуйста, в покое.

Толстухи прямо-таки зарычали.

Мирьям съежилась на своей скамейке и заткнула уши пальцами. Пускай орут, им просто скучно. Какой-то невнятный гомон доносился до сознания Мирьям, толстухи размахивали руками. Ничего, это они делают зарядку, не посмеют же они ударить чужого ребенка, успокаивала себя Мирьям.

Мирьям отпустила уши и тщетно силилась думать о чем-нибудь хорошем. Толстухи все еще галдели, хотя и потише. Мирьям слышала шарканье подошв, люди останавливались поблизости. Очередь все росла.

— Что за ссора в такое чудное утро? — спросил вдруг знакомый голос.

Мирьям вскинула глаза и увидела элегантного молодого человека, который был не кем другим, как лиловым фотографом.

Мирьям хотелось превратиться в невидимку — от нее ждали объяснений.

— Государство гарантирует каждому честному гражданину неприкосновенность,— произнесла она отчетливо и громко, будто это дух короля решил высказаться.

Кругом засмеялись. Мирьям не понимала, почему эта услышанная от Клауса истина вызвала такой смех. Во всяком случае, толстухи пристыженно поджали губы и повернулись к Мирьям спиной. Забор качнулся, когда они разом прислонились к нему своими полными плечами.

Почему-то именно сейчас на Мирьям нашла такая досада, что, того и гляди, из глаз брызнут слезы. Нужен был ей этот стыд и это удовольствие для толстух! — Она

зажмурила глаза и подперла ладошками подбородок, чтобы он не дрожал.

Поднявшееся над деревьями солнце согрело стоявших в очереди людей. Стало куда приятнее. И все равно подавленное настроение у понурившейся на скамейке задиры не развеялось — то и дело ей намекали, что другого такого глупого и упрямого человека до Мирьям и на свете не было. Или взять ее поход в город. Тоже мне преступление! Она хотела поглядеть, что происходит вокруг. Однажды ведь и отец сказал, что человека нельзя держать на привязи, как собаку. Наверное, и дедушка подразумевал то же самое, когда он еще давно сетовал, что тропки во дворе да садовые дорожки от его шагов в землю врезались. Дядя Рууди погуливал дальше, и про него говорили: гуляка. Клаус тоже бранился, что кругом темные люди — ничего в жизни не видели. Чего там увидишь, на этой однообразной дороге в школу! Вот тогда Мирьям и набралась храбрости и отправилась вместе с Клаусом, волочившим по земле свои деревянные подошвы.

Впереди цокала дама с завивкой, ее каблучки едва касались мостовой. Конечно, такие красивые, обтянутые красной кожей каблучки приходилось беречь, на одном из них виднелась золотого тиснения надпись: «Семейный лексикон» и три золотые черточки внизу. В городе оказалось и еще много интересного — только после площадки перед баней все словно исчезло в тумане.

Возле низкой живой изгороди сгрудились люди и смотрели не отрываясь на середину лужайки. Там на боку лежала какая-то оборванная женщина, лицо и руки распухшие, свекольного цвета. С большим трудом она двигала своими отеками толстыми руками, водила ими по траве, будто хотела обтереть ладони и пальцы. Но куда проворнее, чем шевелила своими конечностями эта женщина, передвигались по ее коже и одежде полчища вшей. Так шепнул ей на ухо Клаус: полчища вшей. Масса отвратительных насекомых переползала по лицу, шныряла в волосах и покрывала шею, даже складки одежды кишели страшными паразитами.

— Войны гnevят господа бога, вот он и насылает казни, — буркнул кто-то.

Лежавшая была не в силах поднять голову, серая нечисть прижимала ее к земле. Беспомощная рука потянулась к узелку, который валялся поблизости на траве.

Когда Мирьям увидела медленно тянущуюся к узелку руку, покрытую копошившимися паразитами, она стала невольно отступать. Мирьям была уверена, что узелок полон вшей, как муравейник. Сейчас оттуда вырвутся миллионы паразитов и побегут во все концы света. Пробрерутся сквозь невысокую живую изгородь и поползут вверх по ногам.

По рассказам Елены, матери Эке-Пеке, Валески и Аурелии, Мирьям знала, что вшей приносят с собой из окопов. Теперь говорят об очагах войны,— может, в узелке и принесен с собой вшивый очаг. И скоро в газетах напечатают: у нас в городе находится очаг тифа. О дальнейшем лучше не думать.

В расплывчатом мире воспоминаний действуют свои железные законы, изумилась Мирьям. Мрачные, связанные с опасностью мгновения твердо стоят в переднем ряду.

Мирьям вздрогнула на громкое приказание и протянула руку. Какая-то женщина, наводившая в очереди порядок, вывела химическим карандашом на ее ладони номер. Выяснилось, что Мирьям стояла в очереди сто пятьдесят седьмой.

Задача на это утро была определена. Скоро Мирьям начнет дюйм за дюймом продвигаться вперед, к двери магазина — подобной райским вратам. Потом она пойдет домой с мешочком отсыревшего желтого сахара в руках. Назавтра от него останется лишь сладкое воспоминание, которое скоро забудется.

Мирьям не знала, стоит ли принимать на веру все слова Клауса. Иногда казалось, что он и взаправду мнит себя принцем. Я должен постоять за своего отца, бормотал он обычно, сверкая глазами, когда они на деревянных мечях репетировали дуэль. Но в то же время Мирьям приходила в ярость, когда кто-нибудь на дворе, случалось, говорил про Клауса, что это свихнувшийся парень, который все бродит среди развалин.

Ведь для Мирьям многие вещи оставались непонятными; она не могла себе представить предыдущую жизнь Клауса там, в Германии. И эту его берлинскую бабушку — виданное ли дело! Перед смертью она будто бы вытворяла удивительные штуки. Родителям Клауса пришлось нанять человека, чтобы сторожить бабушку.

Она, говорят, всю жизнь любила шелковые платки с розами, их у нее была накуплена целая куча. В последний год своей жизни бабушка начала ими пользоваться своеобразно. Ходила ночью по комнатам и развешивала платки повсюду на мебель, бросала их на пол и даже швыряла под потолок. Они парили там, пока не цеплялись бахромой за люстры. Когда вся квартира расцвела платочными розами, бабушка принималась молча танцевать, подхватив по-девичоночь подол ночной рубашки. А то каталась по паркету на шелковых платках. Бывали ночи, когда розы заставляли бабушку плакать. Тогда она зажигала свечи и ходила с канделябром в руке из угла в угол. Под утро, когда уставшая бабушка ложилась в постель, ее сторож начинал собирать платки. То и дело приходилось ставить стремянку, чтобы снимать платки с розами со шкафов и люстр.

Мирьям сидела на своем посту и болтала ногами. Повидимому, здешняя бабушка Клауса была человеком самым обыкновенным. Мирьям хорошо помнила этот обычный дом, на фундаменте которого она сейчас сидела и дожидалась почтальона.

Но вместо господина Петерсона из-за угла показалась какая-то женщина, которая направилась прямо к развалинам дома бабушки Клауса. У женщины было ясное, безмятежное лицо, словно и не было перед ней пепелища и груды камней. Так приходят в воскресенье после обеда в гости — будто и сейчас еще можно было нажать на ручку парадной двери этого дома. А вдруг она слепая? Женщина как раз и сошла с тротуара на крыльцо и подалась вперед. Рука описала в воздухе дугу. Женщина поднялась на цыпочки — да нет, она все же видит. Иначе с какой бы она стати заглядывала за кучу золы. Там она никого не обнаружила. Во всяком случае, это хорошо, что Клауса нет сейчас дома. Как и можно было ожидать, женщина подошла и остановилась напротив болтавшей ногами Мирьям. Она пристально оглядела изношенную обувь девочки. Так как ее ноги удостоились внимания, Мирьям решила ради великой любезности пошевелить большим пальцем, который выглядывал из туфли. Женщина хорошо выглядела для своих лет, словно военные годы и не коснулись ее. На ногах лаковые туфли, смотришь, как в зеркало.

— Ты знаешь Клауса?

— Здравствуйте, — ответила Мирьям.

— Ну да,— усмехнулась женщина и резко взмахнула рукой.

Мирьям на всякий случай убрала свой большой палец.

— Клауса фон Вальдштейна или Клауса фон Бахштейна?

— Разве их двое? — испугалась женщина и стремительно распахнула полы жакета, так что подскочили подкладные плечики.

— Иногда,— буркнула Мирьям.

Может, следовало оставить шутки? Вдруг женщина принесла Клаусу письмо?

— Ты тоже бродяжка?

— Да,— сказала Мирьям.— У меня душа бродяги.

— Когда ты в последний раз видела Клауса? — допытывалась женщина.

— Прошлого не помню, будущего не знаю,— предусмотрительности ради Мирьям представилась дурочкой.

— Мне надо с ним увидеться,— от нетерпения лицо женщины приобрело сердитое выражение.

Мирьям почувствовала, что влипла. Чтобы выгадать время, она разглядывала выступавшие у женщины из-под короткой и узкой юбочки колени. Усталые суставы старого человека, решила Мирьям.

— Возможно, я увижу его в полнолуние на перекрестке,— помедлив, сказала Мирьям.— Может, что-нибудь передать?

— А сейчас новолуние или ущербная луна? — женщина приняла слова Мирьям за чистую монету.

Мирьям закатила глаза. Взрослому человеку должно быть стыдно, что он не знает состояния луны.

— Дети спят, когда светит луна.

— Да брось ты свои шуточки,— рассердилась женщина.— Я буду сидеть с тобой рядом или ходить по пятам, пока ты не сведешь меня с Клаусом.

— Я всего лишь дух короля,— заметила Мирьям.— Скоро исчезну.

— Вот и попалась,— сказала женщина.— Эту чепуху про духов тебе наплел Клаус.

Женщина осуждающе посмотрела на Мирьям.

Мирьям чувствовала себя последней обманщицей и клятвопреступником.

— Вот свалилось наказание! Теперь мне расхлебывать эту кашу!

— А что с ним? — спросила Мирьям.

— А ты и не знаешь? — удивилась женщина. — А еще дружишь с ним!

Мирьям не нашлась что ответить.

Женщина откинула волосы. В ушах у нее висели серъги-скрипочки. Вдруг на них и играть можно!

— Я тоже хочу посидеть, — капризно заявила женщина.

Мирьям соскочила со стены, побежала во двор бывшего дома бабушки Клауса, принесла оттуда кирпичи и штабелем сложила их на тротуаре.

— Прошу.

Мирьям встала неподалеку от женщины, прислонилась спиной к фундаменту и обратила запыленный большой палец в сторону своего дома. Женщина вроде бы осталась довольной кирпичным сиденьем. Она положила сумочку с длинным ремнем себе на колени и выудила оттуда маленький серебряный портсигар. Папиросу прикурила от толстой, снарядообразной зажигалки.

— Попробуй только сбежать, — после первой затяжки предупредила женщина.

— Я свободный человек, — в сердцах заявила Мирьям.

— Что ты понимаешь в свободе? — презрительно произнесла женщина. — Клаус тоже считает себя свободным человеком. Но тот, кто принес другим столько зла, как он, уже никогда не сможет быть свободным. — Женщина подумала, вздохнула и добавила: — К сожалению, я его тетя.

Мирьям помрачнела. Она представила себе, как дядя Рууди сидит на том свете на куче камней, закидывает ногу на ногу и объявляет, что он, к сожалению, приходится Мирьям дядей.

— Клаус всюду приносит с собой несчастье.

— Он что, возит его на телеге или тащит в мешке? — желчно спросила Мирьям.

— Ты мне не веришь? — неподдельно удивилась женщина и звонко рассмеялась. — Однажды отец взял маленького Клауса с собой в театр. В перерыве между репетициями Клаус начал на сцене возиться с примадонной, барышня попятилась, свалилась в оркестровую яму и сломала себе ногу.

— Случайность, — проворчала Мирьям.

— Может, там это и была случайность, — согласилась женщина. — А дальше?

Мирьям молчала.

— Когда этот дом был еще нетронутым, Клаус однажды чуть было не свел в могилу свою бабушку. Он связал несколько простыней и стал спускаться с чердака во двор. Бабушка увидела, и у нее отказало сердце. К счастью, подоспел доктор и привел ее в чувство. Могут, понятно, сказать, что это озорство глупого ребенка, ну, а дальше?

— А дальше? — словно эхо, отозвалась Мирьям. Что еще припасено у этой женщины?

— Таких субъектов, по совести сказать, следует держать в железной клетке, — убежденно заявила женщина.

— Почему?

— Он погубил своего отца.

— Разве отец Клауса умер?

— Тише, тише, — остановила она Мирьям. — Мертвым отца Клауса я не видела.

На душе у Мирьям немного отлегло. Женщина гордит ерунду, ведь не Клаус же развязал войну!

— Такой известный человек, как отец Клауса, мог бы в любое время заниматься своим театром. Какое ему дело, стреляют на фронте или нет...

— Так ведь не Клаус его погнал на войну, — встала Мирьям.

— Именно из-за него на отца напялили мундир. Когда Клауса выгнали за дурные поступки из школы, то и с отцом разговор был недолгим. Вся семья подпала под подозрение. Клаус всем испортил жизнь. Напоследок сбежал от своей родной матери, когда уже садились на пароход. Теперь ты видишь, — победно закончила женщина.

Мирьям пыхтела.

— Выходит, что сынок послал отца на смерть. В народе про такого говорят: вогнал в могилу, — закончила женщина.

Мирьям прижалась к фундаменту, она чувствовала, что и сама стала каменная. Вдруг она уловила, что улыбается: судорога схватила щеку. Возможно, с бабушкой было такое же, когда она сидела на крыльце и смотрела на ловлю голубей.

Странно, что господин Петерсон, который остановился на мгновение на другой стороне улицы и покачал головой, — и он усмехнулся не к месту.

В уголке рта у женщины росли три черные волосинки. Нет, она не человек, это суженая дьявола, пыталась утешить себя Мирьям. Сейчас она вытащит из-за пазухи два барабана и начнет играть прощальный марш. Ребячество, взяла себя в руки Мирьям. Она закрыла глаза, чтобы не видеть женщину.

В последнее время Мирьям всюду ходила с великой затаенной мечтой. Она очень надеялась, что письмо от отца Клауса придет именно в ее дежурство. Не раз она просто переполнялась радостью, когда представляла себе счастье Клауса. Видела его плачущим, с письмом в руке. Это было самое необычайное, что мог бы от огромного душевного волнения сделать Клаус. Потом Мирьям говорила бы каждому встречному, что справедливость на земле еще не вывелась: Клаус нашел своего отца.

Мирьям никак не могла отделаться от улыбки, застывшей на ее лице. Она открыла глаза. Возможно, радостное выражение на лице этой незнакомой женщины тоже исходит от печали и растерянности?

— Говорят, война жестокая. У пули и бомбы нет ни разума, ни души. Но нет, это люди жестокие и злые. И черствые. Что за неприязнь могла подстегивать Клауса, что он загубил всю семью? Нет ничего хуже, когда сын сводит в могилу родного отца.

— Я не верю,— буркнула отчаявшаяся Мирьям.

— Ну, послушай! Если не веришь, спроси у него самого,— спокойно, с оттенком безразличия сказала женщина. У всех взрослых голос становится одинаково глуховатым, когда они устают от детской непонятливости.— Мне все равно, я в нем не нуждаюсь. Но в один прекрасный день появится мать Клауса и скажет: дорогая сестра, неужели в твоем сердце не было ни капельки добра, что ты не могла позаботиться о моем сыне? Да, деточка,— с достоинством произнесла женщина,— родная кровь тебе не водица. И чего только не сносишь ради нее!

Обычно, когда жизнь крепко запутывалась, Мирьям вновь и вновь находила себе опору то в порыве гнева, то в напоре борьбы или в стремлении утвердить себя. Будь противниками хоть невидимые призраки или хитрые бесы, лишь бы можно было колотить их половой щеткой.

Теперь, когда Мирьям сбросила с себя оцепенение, оторвалась от стенки и наобум кинулась бежать — женщина явно хотела поймать ее длинным ремнем своей сумочки, как петлей,— сейчас Мирьям ощутила, что у нее разом отняты все права на сопротивление. Едва она забежала за угол дома, как тело обмякло и какая-то кислая покорность охватила ее. В глазах застыло нищенское выражение, плечи выжидающе наклонились, чтобы согнуться перед первым же встречным и тотчас же примирительно улыбнуться. Мирьям хотела обернуться либо карликом, либо неуклюже топающим малышом, которого добрые дяди и тети великодушно поглаживают по голове, оставаясь при этом дружелюбно равнодушными, как это обычно принято в обращении с малолетними.

Если бы человек мог иногда делаться моложе и глупее, чтобы его мышление и чувства становились проще,— может, таким образом она и освободилась бы от груза причастности к вине, наваленного на ее плечи тетей Клауса.

Для Мирьям не было человека страшнее, чем тот, кто погубил другого. Водя дружбу с Клаусом, она добровольно, хотя по неведению, отказалась от собственного человеческого достоинства, какие-то определенные и обязательные грани оказались как бы сами собою стертymi. Много ли еще надо было, чтобы Мирьям в один прекрасный день подала руку убийце своего отца!

Она старалась избегать людей, и в то же время ей хотелось сказать каждому чужому человеку: знаете, я дружу с преступником. Вместе со случайным собеседником она бы вновь пережила изумление, чтобы еще раз утвердиться в своей виновности. Нелегко было разом поверить, что ты окончательно падший человек.

Мирьям бродила точно во сне и подсознательно выискивала безлюдные места. Она кралась за оградами и ступала осторожно по мусору, чтобы под ногой не хрустнула сухая ветка. Душой владело смятение, оно вынуждало ее мысленно склоняться, чтобы просить прощения у каждого куста сирени и у каждой рябины, которые протирали через забор свои ветви.

Мирьям пролезла сквозь известные ей одной проломы в заборах и добралась до бабушкиного сада, который жильцы своими грядками изменили до неузнаваемости. К счастью, пень от каштана они не выкорчевали, но Мирьям не отважилась присесть на него. Такое святое место

не подходило для того, чтобы на нем сидела сообщница преступника, это был трон непорочного человека, на нем пристало думать о дедушке и о других благородных людях.

Мирьям забралась в самое непривлекательное место в саду — между забором и глухой стеной беседки оставалось узкое пространство, куда никогда не заглядывало солнце. Только тощие люди могли уместиться там, едва ли кто добровольно протискивался в эту щель. Под ногами валялся противный сор. Весь мусор, на который неприятно было глядеть, бросали между беседкой и забором. Ветки, истлевшая листва — компоста здесь, в саду, уже давно не закладывали; понятно, что тут не было недостатка в ржавых граблях, погнутых лопатах, сломанных черенках, консервных банках с острыми краями и ведрах без дна. Кто-то разбивал о стенку беседки зеленые бутылки. Мирьям все же настолько оберегала себя, что оттопырила вылезавший из туфли большой палец вверх — не хотела пораниться.

Просто загадка, зачем сюда снесли столько диванных пружин? Наверно, переделывают диваны на меньшие, с жильем тесно, часть пружин оказывается ненужной. Или в войну людей стало настолько меньше, что лишние диваны разломали? Ржавые пружины заполнили собой весь дальний угол до самого верха забора. Там уже не пролезешь. Еще хуже, чем нитяные ловушки Эке-Пеке.

Мирьям вздохнула, прижалась спиной к забору, ее колол какой-то гвоздь, — ну и пускай, так другу преступника и надо. Она пялилась на стену беседки, краска с досок облупилась. Все было ужасно грустно. Мирьям думала, что у нее нет никакого права поворачивать голову и смотреть на цветы, это удовольствие пусть останется порядочным людям.

И как только Клаус мог пойти на то, чтобы погубить своего отца! Человек он такой способный и разумный, с ясными голубыми глазами. То, что под светлой шевелюрой у Клауса созрели безумные мысли, заставило Мирьям по-новому взглянуть на земные дела. Когда Мирьям, стоя возле гроба отца, отыскивала в глазах присутствующих отпечатанный образ жертвы, она не верила на самом деле, что обнаружит у какого-нибудь обыкновенного человека следы преступления. Где-то в глубине души она была убеждена, что убийца по своему внешнему виду

урод. Разумеется, она была не настолько глупа, чтобы представить себе убийцу с рогами. Но по крайней мере черный хвост с кисточкой на кончике у этого мерзавца мог бы выглядывать из-под пальто. Или у него должен был расти шестой палец. Поэтому он носит черные неуклюжие варежки, чтобы скрыть от людей предательскую примету. Не зря говорили, что у кого-то на лбу была печать преступника. Или у душегуба нет ушных раковин — а есть просто дырки в голове, — и человек этот вынужден из-за своего греха всегда носить ушанку, даже летом, в самую жаркую погоду.

Одна мысль захватила Мирьям. Ну и растяпа же я, ругала она себя. Перед похоронами отца к нему приходили двое мужчин. Мирьям, до сих пор не считавшая существенными внешние приметы, забыла этих двух мужчин. А вдруг один из них убийца? Ведь ничего не значит, что у них не было хвоста, рогов или шести пальцев. Оба снимали с рук перчатки и выражали маме сочувствие.

Один из них пришел рано утром. Остановился возле печки и не стал садиться. Шапку держал в руках, подался, ссутулившись, вперед, лицо обычное, кожа пористая, нос толстый. Мирьям скользнула взглядом по пришельцу — ничего особенного. Мало ли что у него блестели отвороты пальто. Шелком они покрыты не были, как принято на парадных пиджаках. Видно, мужчина был просто гурман и любил поесть жирное — и помимо дома, в пальто.

Мужчина бормотал какие-то вежливые слова, говорил о доброте покойного и его порядочности и наконец заявил, что отец остался ему должен крупную сумму денег. Мама, казалось, шатнулась, она вдруг стала очень жалкой. Но, несмотря на это, в ее глазах появился небывалый ранее свирепый блеск, и она сказала, что ничего подобного не слышала. Мужчина хмурил лоб, смотрел в потолок и разглядывал углы, где отставали обои. Почему-то он вдруг стал гнусавить. Проклинал свою глупость, что не потребовал расписки, и сказал, что никому нельзя верить. Кто мог предвидеть, что должник возьмет ни с того ни с сего преставится. А тут ты неси убытки, просто глупое положение.

Лишь теперь, по прошествии времени, Мирьям задумалась над словами мужчины. Незнакомец не сказал, что отца убили. Возможно, он не мог произнести вслух это

страшное слово? Вдруг убийство — это дело его рук и он нарочно хотел наведаться домой к жертве, чтобы представить себя потерпевшим. Убийцы, как говорят, люди особенно хитрые.

Куда бы ни клонилась мысль, она повсюду натыкалась на тупик неведения.

Мирьям сколупывала ногтем со стены беседки отставшую краску. Какой-то навозный жучок полз по трещине к ее грязной руке, и Мирьям без долгого колебания раздавила его.

Другой мужчина зашел к ним тоже ненадолго. Мирьям и его никогда раньше не видела, и мама впоследствии утверждала то же самое. Этот был значительно представительнее. Он по-господски распахнул пальто и заложил руку за пазуху. Меж полосатым шарфом мелькнул синий в горошек галстук-бабочка. Накрахмаленная сорочка похрустывала, или это шелестели денежные купюры, которые он предлагал маме. Мужчина заверял, что остался должен отцу крупную сумму денег. Пусть вдова будет столь любезной и примет эти деньги, чтобы у него была совесть чиста. Чтобы совесть была чиста! Ну конечно! Почему он так упорно настаивал? Мама все пятилась, отстраняюще выставляла руки и повторяла, что она ничего об этом долге не слышала. В карманах у отца никакой расписки не нашли. И этот мужчина хмурил лоб и смотрел в потолок. Он чуточку задумался. Может, покойный держал важную бумагу в портфеле, который у него отобрали. Так он предположил. Мирьям ясно помнила его слова. Мужчина сказал, что портфель отобрали. Он не сказал, что отца ограбили. Будто это было самое повседневное дело — кто-то берет, кто-то дает. Мама осталась непреклонной и отказалась взять деньги. Возможно, у нее мелькнуло какое-то смутное подозрение? Или, может, ей показалось неестественным, что кто-то хочет так быстро и таким простым способом очистить свою совесть!

Мирьям пожалела, что она тогда не побежала за незнакомцем и не задержала его. Мужчина, уходя, положил пачку денег на столик в передней. Его совесть была чиста, знай приподнимай шляпу и иди куда угодно.

Мирьям поднесла руку к голове. Она смотрела в облезлую стену, будто это было зеркало, и приподняла невидимую шляпу.

Мирьям ни одному из приходивших мужчин в глаза не заглянула. Они появлялись в дверях слишком неожиданно и странно себя вели.

И сегодня тоже все произошло слишком неожиданно.

28

Мирьям на несколько дней превратилась в добровольного заключенного. Она и за порог не выходила. Сама отгородилась от людей и другим спутала жизнь. Из-за нее репетиции не проводились, и Клаусу было некого оставить караулить почтальона. Видимо, они и на самом деле попали в беду. На крыльце несколько раз гроыхали деревянные подошвы сапог, и Клаус громко и требовательно, будто человек праведный, стучал в дверь. Мирьям не открывала. Потом она подсмотрела из-за занавески и увидела его на дворе, — он разглядывал окна. Однажды за дверями послышалось перешептывание Эке-Пеке и Валески. Они о чем-то спорили, и Мирьям казалось, что она слышит всхлипывания. Но, видимо, все же ослышалась: что им за резон проливать слезы из-за Мирьям. Затем они стучали костяшками пальцев по косяку, будто выскивали в дереве полое место, и начали шумно вытирать о коврик ноги. Мирьям и им не открыла. После этого они еще какое-то время топтались в коридоре и прислушивались, раздадутся ли в квартире шаги или голоса. Мирьям стояла в передней, затаившись, прижалась спиной к стене, сердце ее громко стучало. Словно она кому-то в чем-то солгала. А может, они и не прислушивались в коридоре, может, Эке-Пеке натягивал нитки, чтобы Мирьям угодила в ловушку.

Всхлипывания, которые, как показалось, она слышала, не давали Мирьям покоя. Вдруг случилось что-то серьезное, а она трусливо прячется. Временами Мирьям начинала сомневаться, уж не во сне ли она видела тетку Клауса? Поди знай, иногда у Мирьям действительность перемешивалась с воображаемым.

В один из дней Мирьям больше не смогла подавить своего беспокойства. Если все люди бросятся наутек от злодеев и душегубов, то преступники возьмут в мире верх. Надо было установить истину. Принц не сможет лгать перед духом короля.

Мирьям выбралась за ворота, и в сердце закрался страх. Словно ее поджидали тысячи неведомых опасно-

стей и каждым ее шагом и движением призвана была руководить осторожность.

Однако внешне все оставалось обычным. Знакомый пейзаж: дома и развалины. Даже мертвые деревья стояли на месте. Люди, видно, привыкли к ним. С начала войны неподалеку от пляжа в море возвышался железный остов сгоревшего парохода. В минувшую зиму они целой компанией пробрались по льду и залезли на борт парохода. Когда они начали там бегать, из трюма донесся гул. Черная железная груда уже давно стала составной частью окружающего пейзажа. И может, было бы даже жалко, если бы останки судна увезли.

Мирьям разглядывала кирпичи, которые были сложены штабелем на тротуаре. Она сама притащила их сюда. Затаенная надежда, что тетка Клауса привиделась ей во сне, развеялась в прах.

Раздалось ужасное дребезжание, будто наяву рушился выстроенный из жести картонный домик надежды.

Из-за кучи золы показалась рука Клауса. Из какой только щели он заметил Мирьям? Она поняла, что совсем не знает Клаусова подпола, не говоря уже о нем самом.

Тут же показалась голова Клауса.

— Куда это ты запропастилась? — спросил он сердито.

— О святая простота! — воскликнула Мирьям и услышала, что голос у нее дрожит. Дядя Рууди после большой бомбежки начал употреблять это выражение. Поскольку Мирьям чувствовала себя тонущей в океане неведенья, она и ухватилась за эту фразу, как за соломинку, чтобы удержаться на плаву.

Мирьям поняла, что ей придется спуститься в подзелье к злодею.

В ушах у нее сидел сам дьявол, который настраивал инструмент, чтобы сыграть свой вальс.

Мирьям с трудом забралась на фундамент и споткнулась о какой-то камень.

— Ты что, пьяная? — насмешливо спросил Клаус.

Боже мой, как бежит время. Просто отчаяние берет! Давно ли это было, когда мама, услышав нетвердые шаги отца, становилась темнее тучи и говорила: опять пьяный.

С дрожью в ногах Мирьям, как мешок, брякнулась в подпол.

В снаряжном ящике сидели Валеска и Эке-Пеке. Валеска держала руку на плече брата — и как он только терпит такую нежность.

Мирьям опустила на чурбак, съежилась, заложила руки между колен и не знала, что сказать.

— Знаешь, Мирьям,— Валеска сглотнула и собралась с духом.

Теперь еще и она начнет выговаривать, пришибленно подумала Мирьям.

— У Аурелии скоротечная чахотка.

Клаус стоял в отдаленном углу, свет туда не доставал.

— Она бредит, ее уже надолго не хватит,— всхлипнув, объяснила Валеска и привлекла к себе брата.

Ошеломленная Мирьям судорожно подыскивала какие-нибудь слова утешения. Чахоткой в здешнем краю болели слишком уж многие. Мирьям знала, что со скоротечной шуток быть не может. Когда-то про дядю Рууди все говорили, что, слава богу, у него хоть не скоротечная чахотка. Эта косит человека сразу.

— Диагноз может и не подтвердиться,— сказал Клаус.

— Что это значит? — с надеждой спросила Валеска и заморгала опухшими веками.

— Ну, доктор может ошибиться.

— Они все время ошибаются,— ухватила Мирьям за слова Клауса.— У моей бабушки был паралич, а доктор сказал, что у нее в голове закупорилась вена.

Лицо Валески немного прояснилось.

Клаус что-то бормотал себе под нос.

— К ней уже три врача приходили, и все говорят одно,— вспомнила Валеска.

— Аурелия бредит,— прошептал Эке-Пеке.— Она потеряла сознание от жара.

— Ей кажется, что отец пришел с войны и со вшами принес с собой тиф. Говорит: мне так жарко, это тиф. Сама не может глаз открыть, а плачет, щеки мокрые. Когда слышит мой голос, зовет меня к постели,— Валеска плакала.— Берет за волосы и просит: дай поищушь в твоей голове. Я терплю и даю ей ерошить свои волосы. Она вроде бы утихает, когда держит мои волосы. Что она там видит — ведь глаз не открывает.

Мирьям показалось, что она слышит, как шепчет Клаус: полчище вшей. Перед глазами встает палисадник

перед баней. Мирьям хочется схватить откуда-нибудь черный зонтик забвения, чтобы прикрыть им лежащую на траве женщину.

От пола исходил холод. Мирьям ощутила холодок и в тот осенний день, когда Валеска сказала про фотографа: лиловый. Перед самым затмением солнца Мирьям задала свой глупый вопрос про найденного в картофеле посиневшего младенца. Мужчина с парусиновым портфелем ответил, что сварит щи. Может, и в его словах было скрыто какое-нибудь второе значение, которое осталось не понятным ею?

Родные и знакомые склонялись друг к дружке головами и шептали: кости-то у мертвого мягкие. Дурная примета, дурная примета... Кто будет следующим? Мирьям не сомневалась, что они искали взглядами дядю Рууди. Может, он потому и стоял за колонной, чтобы не видеть, как ему накликали смерть.

Тетка Клауса сидела на кучке кирпича, ремешок лежащей на коленях сумочки — как петля. Дым от папиросы тянулся в небо. Голубое поднебесье заслонилось громоздким словом: злодей.

Доктора мыли под краном руки и щеткой вычищали из-под ногтей микробы чахотки. Белое полотенце хрустело, они протирали каждый палец отдельно. Полотенце было брошено на руку стоявшей наготове Елены. Доктора смотрели в окно, будто им нужно было сосчитать в поленнице дрова. Как бы между прочим бросали: скоро-течная чахотка.

В сознании Мирьям стало смутно проясняться, что одно объяснение земным загадкам она нашла: сумасшедшие слова, а не люди. Сошедших с ума людей сажают под замок, и они не опасны для других. Безумные же слова витают по свету, у них железные крылья, которые никогда не устают. Все на земле исчезает, чтобы народиться снова. Одни отправляются на тот свет, другие появляются на земле. Тает снег, и уходит зима. Вслед за ясной погодой приходят дождливые дни: все чередуется и изменяется. Только слова не ржавеют, не умирают, их не посадишь под замок и не запрячешь в клетку. Они умеют повсюду свить себе гнездо, особенно в голове у человека.

И теперь, когда Мирьям тут, в подвале, услышала про болезнь Аурелии, в голове у нее остались звучать сказанные Валеской слова: ее уже надолго не хватит. Мирьям

ям была вынуждена думать об Аурелии как об умирающей.

Почему они все удивлялись, всплескивали руками и говорили о чуде, когда бабушка после первого паралича снова встала и начала ходить. В голове у них уже засели похоронные слова, поэтому они и удивились. Они уже давно видели бабушку в гробу, в черных чулках, готовую отправиться в последний путь. Про отца говорили, что смерть пришла неожиданно, они еще не успели ему сколотить гроб из слов. В отношении дяди Рууди ждали годы: когда же? Железнокрылые слова все кружили над ним и давно уже придавили его к узкому клочку земли, откуда не было исхода.

Мирьям поняла, что большинство людей хоронят раньше их действительной смерти. Потому-то и говорят, что тот или другой человек уже стоит одной ногой в могиле.

— Аурелия живет! Она не должна умереть!

Оторопевшие Валеска и Эке-Пеке вскочили на ноги.

— Она не должна умереть! — во весь голос крикнула

Мирьям.

Клаус приблизился к Мирьям.

— Там, наверху, в золе пойдут в пляс кости моей бедной бабушки. Ты вспугнешь ее своим криком, — успокаивающе произнес Клаус.

Валеска присела перед Мирьям на корточки и стала гладить ей волосы. Эке-Пеке тоже поднял руку. Следуя сестре, он на миг позабыл свою замкнутость, но быстро стал прежним.

— Я и не знала, что ты любишь Аурелию, — растроганно прошептала Валеска и заплакала. Снова опустившись в снаряженный ящик, она зарылась лицом в колени.

Клаус пощелкивал пальцами и кусал губы.

— Я еще не сказал вам...

Все трое жадно уставились на Клауса, и Валеска утерла слезы.

— Вчера я снова ходил проведать пленных. Вдруг чья-то лопата стукнула о камень, и мужчина, по колению в канаве, окликнул меня по имени. У меня сердце зашлось. Попытался разглядеть в бородатом человеке своего отца. Оказалось, что это его знакомый, из театра.

— Что дальше?

— Что дальше?

— Что дальше?

Они раскрыли рты, чтобы вдохнуть в себя известие.

— Он сказал, что мой отец погиб.

— Не может быть,— пробубнил Эке-Пеке и подумал о своем отце.

— Нет,— тряхнула головой Валеска. Она тоже думала об отце.

— Это невозможно,— сказала Мирьям. И она подумала о собственном отце, который был на глазах у всех давно похоронен.

— Вы думаете, что...— Клаус подыскивал слова.

— Война обычно ведется в темноте или в дыму. Там никому ничего как следует не видно,— сказала Мирьям.

— Письмо уже в пути. Это совершенно точно,— заверила Валеска.

— Я снова буду ждать почтальона,— пообещала Мирьям и почувствовала, что все равно слова Клаусовой тетки у нее из головы не выветрились.

Мирьям наостряла уши и запоминала все, что говорилось о чудотворице. Нельзя было допытываться с ходу; надо было действовать тихо и с умом, иначе дерзкая судьба все спутает, если заметит, что ее выслеживают. Но если на руках благоприятные предсказания, то можно вести разговоры смелее, судьба вместе со своими подручными не устоит перед человеческой хитростью. Видимо, так оно и было, не то разве посмели бы женщины пересказывать слова ясновидящей. Они делали это с нескрываемой радостью, ради славного будущего повседневные горести забывались. Вульгарно названная гадалкой ясновидящая вызывает, мол, доверие. Обычно предсказательницы не дерзают называть точную дату исполнения желаний. Но у этой должны быть сверхъестественные способности, если она без колебания предсказывает грядущее.

Эти услышанные от женщин разговоры взволновали Мирьям. Она стала еще больше почитать необычных людей. Сомнения не было, однажды откуда-нибудь появится такой волшебник, который сможет на время делать людей невидимыми. Когда-то по своему простодушию Мирьям сама пыталась ворожить. Она сосредоточенно вглядывалась в кофейную гущу и пряталась под матрас. Мама сказала, чтобы она бросила это дурацкое занятие.

Мирьям пришлось согласиться, что у нее нет таланта на чудеса. Она бы не смогла сидеть на гвоздях и лежать в таком ящике, который в цирке перепиливают пополам.

Никто не знал, что Мирьям решила встретиться с ясновидящей. Мирьям понимала, что это связано с некоторым риском. Чудотворцы, говорят, капризны. Вдруг осерчает, что ее беспокоит какая-то соплячка, откроет какой-нибудь потайной люк, и Мирьям провалится в бездонный подвал, откуда никто не услышит ее криков о помощи. Лет через сто между каменных стен найдут маленький заплесневелый скелет с косым рубцом на коленной чашечке.

Мирьям решила проявить старание и угодить гадалке. Главное — не вмешиваться в рассказ, посторонние вопросы сбивают пророчицу с толку. Она сама догадается сказать все, что нужно, про Аурелию и про Клауса.

Ноги Мирьям передвигались не слишком проворно по этой узкой, поросшей пучками травы улочке. Мирьям не думала, чтобы еще кто-нибудь, кроме нее, столь же часто страдал из-за своей робости.

Зато увижу столько захватывающего, подбадривала она себя.

Домá у гадалок должны были кишеть черной живностью. На золотой раме, перед чашечкой с горохом, обязательно сидит мудрая галка, которая умеет разговаривать, как попугай. Ученые черные коты ходят возле стен, каждому на шею, на бархатной ленточке, повязаны карманные часы. Время ходит по кругу в тихой комнате, и ты находишься посреди этого тикающего круга, который вечен и который невозможно разорвать. Бимбом, произносит под потолком галка и щелкает клювом. Словно бежит по пустынной ночной улице запоздалый человек.

По уголкам дивана сидят маленькие черные собачки с обрубленными хвостами и торчащими ушами. Существа эти не способны лаять, только попискивают, когда проголодаются. За день они съедают по чайной ложке каши и по три зернышка сахара. Вечером, когда выпускают сову, собачек отправляют в ее клетку спать, чтобы она не съела их вместо мышей.

Она непременно должна узнать у прорицательницы важные вести, не то огромные печали слопают жалкое создание, именуемое Мирьям.

Они из слов сколачивают для Аурелии гроб, и это невыносимо. Нельзя было жить без надежды в том кругу, который состоит из предположительных мертвецов и всамделишных мертвых. В последнее время на Клауса было невозможно смотреть. Он выглядел так, будто его косила скоротечная чахотка. Безумные слова вместе с неведением изрешетили его самоуверенность. Поскольку письма все еще не было, в минуту замешательства Клаус волей-неволей вынужден был поверить словам копавшего канаву человека. Мирьям посчитала бы себя исчадием зла, если бы она сказала Клаусу: я знаю, ты преступник. Парень и без того не находил себе ни места, ни покоя, он то и дело дрожал от подавляемого возбуждения.

А как же истина?

Мирьям от всей души желала, чтобы истина и познание находились бы за теми воротами, где начинается дорожка, ведущая к жилищу, которое называют домом гадалки.

Мирьям с головой окунулась в усыпляющее пчелиное жужжание. Дорожку обрамляли кусты аконита. Может, на ветках были и не цветы — там колыхалась стая светло-голубых бабочек. Сейчас они взлетят в воздух, проведут Мирьям по крыльцу до двери и останутся с нею до тех пор, пока она не осмелится нажать на кнопку звонка.

Темная дверь медленно открылась. Из дома пахнуло прохладой. В передней на стене висело небольшое крестообразное зеркало. На его поперечных концах колыхались два красных пятна. Мгновение спустя Мирьям поняла, что это ее пылающие щеки.

— Мне очень нужно кое-что узнать. Пожалуйста... — пробормотала Мирьям, ткнула сжатым кулаком пророчице в живот, прежде чем догадалась разжать руку и опустить деньги, приставшие к ладони, в карман ее передника. После этого Мирьям вскинула голову и сосредоточенно и умоляюще посмотрела гадалке прямо в глаза — Мирьям казалось, что на какой-то язык взглядов она все же способна.

С этого момента Мирьям старалась сделаться маленькой и незаметной. Она ступала на цыпочках следом за полной гадалкой и крепко прижимала руки к бокам. Они прошли через кухню, в нос ударило жареным. Перед открытым окном трепетали бумажные полоски. Возле плиты стояла сгорбленная старушка и жарила блины.

Старушка вывернула из-за плеча голову, у нее была длинная и морщинистая, как у ошипанной курицы, шея, а над верхней губой росли седые усы.

Именно эти усы говорили, что старушка прямо-таки создана для дома гадалки.

Зато рабочая комната пророчицы вызвала у Мирьям разочарование. Ступив за порог, Мирьям с замирающим сердцем ожидала, что какая-нибудь тварь цапнет ее за ногу. Ни одного живого существа! Все тут было слишком аккуратно. Покрытый скатертью стол, посередине ваза, на полу половик, под окном на подставке горшок с миртом, там же кресло, покрытое белой накидкой, чтобы не выгорела обивка. Единственная вещь, котбрая казалась странной, это висевший на стене прошлогодний календарь. Но им, возможно, просто прикрывали порванные обои.

Мирьям усадили перед большим туалетным зеркалом, будто она пришла к парикмахеру. К удивлению своему, она обнаружила, что волнение будто рукой снято, и было бы не удивительно, если бы гадалка сейчас взяла ножницы и принялась бы стричь ей волосы.

Ясновидящая, носившая под передником самое обычное ситцевое с треугольным вырезом платье, прошла, шаркая подошвами, через комнату. Возле окна она поднялась на цыпочки, вытянула руки вверх — под мышками платье потемнело от пота, — вздохнула и опустила затемнение.

Усаженная на стул Мирьям только и могла, что шевелить пальцами ног.

— Иоханна! — крикнула гадалка в сторону кухни.

Усатая старуха появилась на пороге, пошевелила губами, усы двигались, как у ожидавшего лакомства кота, она что-то пробубнила. Наверное: калды-балды, калды-балды.

Дверь закрылась.

Гадалка копошилась возле столика, с грохотом опрокинулась ваза. Ясновидящая пододвинула стул, схватила какой-то катившийся предмет и со стуком поставила на место. Затем ей понадобилось по чему-то ударить, так что раздался хлопок. Может, она хотела выбить из бутылки пробку?

Гадалка положила руки на плечи Мирьям. Ого, подумала испугавшаяся Мирьям. Уж не собирается ли она растирать мне сухожилья! Но нет, руки гадалки тяжело

надавили ей на ключицы и застыли в неподвижности. Она медленно произнесла:

— Думай, думай о том, что хочешь узнать. Думай, думай, думай!

Когда приказывают, то совершенно невозможно собраться с мыслями.

Мирьям повторяла про себя самые важные для нее сейчас имена. Она торопилась: Клаус — Ау-релия, Клаус — Ау-релия.

Гадалка медленно прошаркала по комнате, сверкнула в потолок фонариком. Это она стукнула доньшком фонарика, чтобы батарейка дала контакт, догадалась Мирьям! Как бы походя, пророчица легонько ударила фонариком о стенку.

На зеркале появилась светлая полоса — приоткрылась дверь. Маленькая головка, волосы на затылке взъерошены — на полоску света легло чернильное пятно.

После того как исчез свет, началось чудо.

По зеркалу замелькали крупные светлые печатные буквы. Нет, там передвигались целые слова!

— Думай, думай! — звучал требовательный голос гадалки.

Да здравствует грамота, прежде всего подумала Мирьям и прочла вседвигающиеся слова.

«Казенный дом. Мундир. Длинная дорога. Перемена жизни. Снег не вечный. На фуражке звезда. Соки жизни в корнях». Последовали две цифры: 12 и 45. «Не забывай!» — восклицала плывущая надпись.

Звезда на фуражке и остальные относившиеся к казенному дому обозначения несколько раз попадали в пучок света. Но ни одно знаменательное слово к Клаусу и Ау-релии не подходило.

Щелкнул выключатель фонарика. Зеркало на миг, пока старуха не открыла дверь, оставалось темным. Какая жалость! Исписанную словами материю, которую прокручивали на двери, прикрыли большим платком.

Мирьям хотелось крикнуть: обман, но она продолжала тихо сидеть. Появилась новая надежда — гадалка бросила на туалетный столик, между бутылочками и чашечками, несколько карт. Сейчас прозвучат нужные, ценные и важные слова!

— Богатство было, богатство будет. Кто не захочет умереть, тот устоит перед смертью.

Мирьям усмехалась и не замечала пытливого взгляда гадалки.

— Горе следует держать при себе, делиться нужно радостью. Можно бросить наземь шапку, нельзя бросать разум.

Гадалка вычитала с валетов и дам, с королей и десятков еще несколько подобных же фраз, но ее вялый голос выдавал, что для Мирьям гадать неинтересно.

Мирьям и сама поняла, что у маленьких людей горе маленькое, с ним нечего представлять перед взрослыми ясновидцами.

Гадалка посоветовала Мирьям подумать обо всем и запомнить, что видела и слышала, — вот душа и успокоится.

Ссутулившаяся возле плиты старушка задержала Мирьям, одно ее тонкое веко дернулось, — видимо, это было подмигиванье. С расплывшейся в усах улыбкой она протянула на вилке горячий блин.

Мирьям сделала книксен, шмыгнула через переднюю, не удосужившись даже взглянуть в крестообразное зеркало. На крыльце прямо с верхней ступеньки прыгнула на дорожку, в пчелиное гудение. Блин обжигал руку.

Мирьям шагала к воротам и перекидывала из руки в руку блин.

30

В последнее время Клаус мог на полуслове умолкнуть и погрузиться в раздумье. Потом он вздрагивал — или дергался какой-нибудь мускул, он пристально глядел на товарищей и начинал изливать непонятную злобу. Они слышали из уст Клауса, что подобные пентюхи только на то и годны, чтобы гонять лодыря. Они не понимают, что нужно торопиться. Лето кончается.

Поспешим, поспешим, повторяла мысленно Мирьям. Как хорошо, если бы можно было подстегнуть себя, как рысака, и помчаться с ветерком! Клаус имел в виду спектакль, мысли же Мирьям были прикованы к другому. Она все еще не решалась взять Клауса за рукав и спросить напрямик: ты преступник? ты погубил своего отца?

Внешне Клаус выглядел очень жалко. Одежонка на его худом теле болталась, как истрепанные паруса вокруг мачты. Того гляди, от него и тени на землю не ляжет. Ну как ты тут заведешь серьезный разговор, от ко-

тогого он может повалиться наземь, словно на ветру! Тем более что и поведение Клауса было странным. Хотя он и ждал письма, в последнее время Клаус боялся почтальона. Может, он просто не выносил его сочувственного покачивания головой. Перед появлением господина Петерсона Клаус забирался в подвал и натягивал крышку на люк, будто каждую секунду мог пойти дождь или град. Мирьям приходилось изо дня в день сидеть на краю фундамента, хотя Клаус и не ходил больше в город смотреть на пленных немцев. Мирьям тоже чувствовала себя на своем посту неуютно, даром что господин Петерсон и оставил свои шутки. Тело как-то деревенело, когда из-за угла появлялся почтальон. Лишь глаза сохраняли способность двигаться; Мирьям следила взглядом за каждым шагом и движением господина Петерсона. Она заметила, что ее стала раздражать привычка почтальона то и дело поправлять на плече сумку. Когда господин Петерсон удалялся, Мирьям вставала, шла к закрытому люку, наклонялась над куском жести и громко говорила: — Нет.

Проходило некоторое время, прежде чем Клаус, поразмыслив наедине, снова вылезал наружу.

Старайтесь сколько можете, торопитесь, спешите — своими словами Клаус приводил всех в движение. Отец тоже говорил на плавательном пирсе, что время не терпит. Такое точное ощущение смысла и содержания времени оставалось для Мирьям непонятным. На это, видимо, способны только исключительные люди. Наверное, отец предчувствовал, что его дни сочтены. Он не знал, будет ли у него еще когда-нибудь подходящая возможность, чтобы кинуть Мирьям с мостков в воду и научить ее плавать. Предчувствие породило обязанность. Отец не мог оставить своего отпрыска на земле совсем беспомощным. Как может человек пробиться в жизни, если он даже на воде не держится.

Так и спешили прозорливые, вот только кто им нашептывал, что произойдет в будущем. Как только они умели вовремя совершить то, что нельзя было оставить несделанным.

Клаус имел право подгонять их. К сожалению, они не понимали, что одно время отличается от другого. Они шевелились с медлительностью бегемотов — и опоздали.

Когда плачущая Валеска два дня тому назад явилась разыскивать Клауса и Мирьям, именно она выска-

зала то, что после первого потрясения пришло в голову и всем остальным. Ведь мы репетировали свои роли ради того, чтобы позвать на спектакль Аурелию.

Впоследствии Мирьям уверилась, что когда она репетировала роль королевского духа, облачалась в картофельный мешок и накрывала голову косматой паклей, то делала это с твердым сознанием: выйдя на сцену, она должна была увидеть в первом ряду именно Аурелию. Ее дружеский кивок должен был помочь тому, чтобы прошло волнение и не забылись слова. Как же быть теперь? Невозможно представить себе, чтобы в первом ряду пустовало место. Там не окажется Аурелии с полной тарелкой пряников на коленях. Именно от Аурелии можно было ждать, что она станет громко хлопать, кричать «браво», забудет в восторге про пряники, и коричневые фигурки с лиловыми глазками рассыплутся по траве.

Они понурившись сидели втроем в снаряжном ящике, девочки плакали, а Клаус говорил в утешение Валеске странные слова:

— В этой утрате ты не виновата. Ты можешь без угрызения совести вспоминать Аурелию. Тот, кто причинил зло другому, останется навеки рабом собственной несправедливости.

Оторопевшая Мирьям перестала всхлипывать.

Дальнейшие слова Клауса были, по ее мнению, совершенно неуместны.

— Теперь ты лучше поймешь состояние королевы. Она не только потеряла близкого человека, но еще и содействовала его гибели. Ее страдание огромно, как океан.

— Я не видела океана, но он не может быть больше моего страдания,— всхлипывала Валеска.

Они вылезли из подвала, солнечный свет слепил, припухшие веки начало саднить. Беспомощно глядя друг на друга, все неожиданно поняли, что невозможно оставаться на месте. Надо было поскорее что-то предпринять! Куда поспешить? Зачем?

Клаус опустил руку на плеч Валеске и пошел вместе с ней. Мирьям смотрела им вслед. Клаус волочил деревянные подошвы, которые могли в любую минуту оторваться от головок. Верхняя часть его тела склонилась к Валеске. Казалось, это она ведет Клауса. Никогда не поймешь, думала Мирьям, кто в действительности на кого опирается.



В доме покойницы недоставало распорядительного близкого человека, им стал Клаус. Когда Мирьям временами навещалась туда — она приходила на минутку, чтобы немного подержать Валеску за руку, — то Клаус расхаживал по комнатам в свежeweыглаженной сорочке и в клетчатых войлочных тапочках, — сапоги с деревянными подошвами стояли в передней под вешалкой. Эке-Пеке, наоборот, был как чужой и подпирал стену. Мрачный старец, тело его ссохлось, кости, казалось, вывалились из суставов, лицо с горя в морщинах, глаза будто полые стеклянные шарики. Единственный, к кому Эке-Пеке проявлял какой-то интерес, был Клаус. Стеклянные шарики поворачивались вслед за движением Клауса. Эке-Пеке скрючил пальцы. Как птица, которая готовится опуститься жертве на голову.

Люди приходили поглядеть на Аурелию. Клаус принимал и сочувствия, и цветы и подыскивал последним подходящее место. Когда людей набиралось побольше, Клаус зажигал в изголовье покойной свечу.

Он догадывался в нужный момент открыть окно и завесить его простыней, когда солнце начинало заглядывать в комнату.

Елена шепнула соседке:

— У нас теперь вроде бы мужчина в доме.

Клаус сходил в лес и привез на раме Эке-Пекиного велосипеда с голыми ободами два мешка еловых веток.

Ветки он сложил в бочку, стоявшую под водосточной трубой, и все время поливал их из лейки. Утром в день похорон зеленый ковер устилал крыльцо, дорожку, площадку перед воротами и даже выходил концом па улицу.

Мирьям стояла возле забора и удивлялась тому, с какой деловитостью Клаус устраивал похоронную процессию. Он переговорил с извозчиком, резкое движение его руки означало, что возражения владельца лошади не принимаются. Извозчик в нерешительности посмотрел по сторонам, пожал плечами и приладил поданный ему белый цветок к уздечке.

Клаус подтягивал края узенького черного покрывала, чтобы прикрыть получше щербатое и измазанное пивными бочками днище ломовой телеги. Когда Аурелию вынесли из дома, Клаус забрался на телегу, принял венки и горшки с цветами и расставил их вокруг гроба.

Клаус проходил между людьми и выстраивал похоронную процессию. Пастор с молитвенником в руках терпеливо стоял позади телеги; пока Клаус распоряжался, у него было достаточно времени, чтобы осмотреть запыленные полы своей рясы.

Клаус подал извозчику знак, телега дернулась. Мирьям показалось, что, покачнувшись, вслед ей склонились столбы в воротах. Установленные на них свечи на миг вытянули вниз язычки пламени. Клаус поднялся на краю тротуара на носки и окинул взглядом процессию. Удовлетворенный чинно шагавшими людьми, он подбежал к самым близким родственникам, подобрал шаг и взял Эке-Пеке и Валеску под руки.

Мирьям угнетало то, что она сама ничем не сумела помочь проводить Аурелию в ее последний путь. Хотя именно она пережила уже столько похорон. Ей оставалось только пристроиться в хвост процессии и идти, склонив голову и сложив на животе руки.

Шагавшие впереди считали неприличным переходить с указанного Клаусом ряда вперед или назад.

Клаус уверенной рукой вел спектакль похорон Аурелии. Сознание этого будто закатало Мирьям в удушающий войлок. По спине прошел жар, и не стало хватать воздуха. Мирьям не знала, подходит ли настоящий покойник к участникам поставленного спектакля.

Мирьям потихоньку перебралась с середины улицы к обочине и взглянула на окруженный покачивавшимися цветами гроб. Посередине белой крышки лежал букет лиловых колокольчиков.

Когда это Клаус успел их положить туда? Разве красные или белые цветы не годились?

Мирьям стало жутко. Все эти дни после того, как плачущая Валеска явилась к друзьям, Мирьям старалась изгнать из сознания одну картину. Неужели человек в самом деле настолько слаб, что у него нет власти над воспоминаниями? Мирьям чуть ли не молилась кому-то в своих мыслях: она никогда не видела, как Аурелия с компанией вышла из-под небольших сосенок. Лиловый — это отвратительный цвет.

Мирьям шла, сжимала пальцы и кусала губы.

И как только эти всякие картины умещались у нее в голове! Должно же там, между висками, когда-нибудь все заполниться. Мирьям с ужасом думала, что наполненные красками и картинами мозги становятся все тя-

желее. Картины слипаются, краски сливаются. Если когда-нибудь что-то вынудит разделить эти разноцветные пласты, то придется отрывать один слой от другого, и это будет чертовски больно.

Мирьям чувствовала себя виновной в том, что слишком многое помнила. Будто она еще сейчас причиняет своими воспоминаниями зло Аурелии. Благородные люди, как она думала, не связывают прошлое с настоящим. Лучше бы она помогала Клаусу — ведь похороны все же приходится ставить. Кому от нее польза — обычный ребенок, с тяжелой головой на тонкой шее, и годна эта девчонка только на то, чтобы обтирать заборы или выглядывать из-за угла. Когда дела неотложные, каждый обязан приложить к чему-нибудь руки.

Вдруг Мирьям пришло в голову, что никто сегодня не поджидает почтальона. Ничего, господин Петерсон будет хранить письмо за пазухой, как слиток золота, и отдаст завтра.

А может, как раз сегодня вернется с войны отец Аурелии, Валески и Эке-Пеке?

Эта мысль пригвоздила Мирьям к месту.

Кто встретит его, кто скажет ему о случившемся, кто направит, чтобы он поторопился, еще можно успеть, прежде чем Аурелия навсегда переселится на белые просторы царства небесного?

Мирьям вдруг прониклась убеждением, что именно сейчас отец Аурелии, Валески и Эке-Пеке выходит из вокзала на площадь и направляется домой. Люди ведь чувствуют, когда наступает последний срок, когда нельзя опаздывать.

Мирьям с лихорадочной быстротой искала выхода, чтобы не дать событиям глупо разминуться.

Она выбралась из процессии и свернула в ближайшую улочку. Убедившись, что ее уже не видят, Мирьям припустилась со всех ног домой. Сдерживая дыхание, она сунула ключ в скважину замка. В передней под ногами скользнул половик, будто нечистые силы снова занялись своими проделками. Нужная вещь лежала на верхней полке шкафа. Мирьям схватила черный бинокль и ринулась прежде всего к дому Эке-Пеке и Валески. Нет, их отец еще не успел добраться сюда. Никто на крыльце не стоял и не стучал нетерпеливо в окно.

Внимательно оглядевшись, Мирьям направилась к знакомому месту. Из всех деревьев, которые окружали

картофельное поле, она выбрала для своего наблюдательного поста самое высокое. Когда Мирьям в последний раз перед солнечным затмением сидела тут, она и не предполагала, что в следующий раз заберется на дерево в такой печальный день.

Мирьям навела бинокль на резкость. Дорога была как на ладони.

Солдат не мог пройти незамеченным.

Она обстоятельно разглядывала каждого путника. Солдат должен выделяться среди других. Ошибиться было невозможно.

Мирьям была уверена, что вот-вот, совсем скоро, в светлом кругу окуляров появится мужчина в начищенных сапогах, с вещевым мешком за плечами. Выцветшие волосы его, такие же, как у Валески, будут развеиваться на ветру. Фуражка со звездой в руке, чтобы солнце светило в лицо.

31

Никто из них не торопился поставить на колеса свалившуюся под откос повозку спектакля. Балаган, думала Мирьям скрепя сердце и старалась задним числом свысока взглянуть на те дни, когда они репетировали эту историю с принцем. И все же Мирьям не могла избавиться от сожаления. Она несколько раз проходила мимо дома Эке-Пеке и Валески и заглядывала к ним в окна. За стеклами зияла безмолвная пустота, словно бы жильцы насовсем покинули нижний этаж. Мирьям с удовольствием наткнулась бы на какую-нибудь нитку, натянутую Эке-Пеке, но все дорожки были свободны от ловушек. Воспоминания подсмеивались над Мирьям: были времена, когда ей совсем не хотелось встречаться с Эке-Пеке и Валеской.

В дверь постучаться Мирьям не посмела. Она почему-то представила себе, что в передней сидит Елена с зеркалом на коленях и выдергивает из головы седые волосы. Их уже целая куча на полу. Мирьям не смогла бы сказать ничего разумного.

Клаус лежал в своем снаряжном ящике, накрытый серым одеялом безразличия. Ему не хотелось разговаривать, тем более пошевелить рукой или ногой. Видимо, устройство похорон отняло у него последние силы.

Одиночество вместе с гнетущим бездействием настолько подавило Мирьям, что больше не было уже терпения.

Однажды ветреным утром Мирьям проснулась довольно рано. Как обычно, она прежде всего поплелась к окну, чтобы глянуть в сад. Под старым белым наливым земля была усыпана яблоками. И снова в жилах Мирьям пробудилась жизнь. Неожиданно родившееся намерение развеселило ее. Она возьмет сейчас корзину и пойдет в бабушкин сад воровать яблоки.

Воздух в это утро был насыщен щекочуще-пряными запахами.

Мирьям, согнувшись, прокрадывалась между кустами. Беспечно разросшийся сорняк обдавал росой обувь, пальцы на ногах стали мокрыми. Мирьям присела на корточки, оперлась о ручку корзины и оглядела яблоки. Некоторые были уже совсем спелые, наевшиеся черви выглядывали из черневших дырок и вдыхали утренний воздух. Мирьям вытаскивала за головы этих складчатых гусениц и бормотала:

— Оставьте что-нибудь поесть и бедным детям.

Мирьям, конечно, знала, что лишь придурки смеются над своими шутками, и все равно ей было приятно, когда можно было похихикать в свое удовольствие. Наверняка и тревога способствовала этому. Она играла в дерзкого вора, который среди бела дня забирается в сад и проводит время в беседе с яблочными червями. Выселяет их из обжитых норок на новые места — в то время как над самым загривком нависла рука какой-нибудь расторопной жилички из дома. Мирьям была готова к тумакам, в ушах почти что слышалось гневное причитание — ах ты дрянь, знай набивает свою корзину народным добром!

Вернувшись с добычей в комнату, Мирьям была немного разочарована, что поход за яблоками прошел без всяких происшествий.

Она сжевала пару яблок, и у нее зассало под ложечкой. Мама оставила жареного мяса и хлеба. Мирьям протянула руку, уже наперед предвкушая удовольствие от еды, — и тут лицо ее запылало от стыда.

Вскоре перед лазом в подвал остановилась вежливая гостья с корзинкой, накрытой белым платком, в руке. Почти что Красная Шапочка, которая не забыла свою бабушку. Мирьям постучалась и подождала разрешения войти. Клаус внизу медлил, и Мирьям на миг подняла корзинку к носу. Из корзинки шел такой аромат, что просто сводил с ума.

Мирьям грохнула каблуком по железной крышке, наконец донеслось вялое: «Да».

Клаус лежал в снаряжном ящике, уставившись в потолок, и курил.

При виде такой разболтанности Мирьям рассердилась. Она откинула крышку в сторону, сняла с корзины платок и принялась неистово размахивать им. Понемногу дым выползал из подвала.

Выбрав самое крупное яблоко, Мирьям сунула его под нос Клаусу.

— Налетай, не выбирай!

Клаус взял яблоко и стал подбрасывать его, как мячик.

Он не выказывал голода, принялся выстукивать костяшками пальцев яблоко. Блаженная улыбка осветила его лицо, только что выражавшее серую скуку, словно бы яблоко шепнуло Клаусу на ухо что-то приятное.

Он откусил от яблока, прожевал и сказал:

— Когда на завтрак варили яйца, отец всегда разбивал скорлупу кольцом. Как раз по утрам на него находили странные причуды. Иногда пропускал перед кофе рюмочку и начинал извиняться, что опять подавлен своим навязчивым сном. Всю ночь напролет он блуждал по какому-то непонятному помещению — ни тебе квартира, ни зал ожидания, за окнами ни светло, ни темно. Мрачные мужчины в грязных сапогах безмолвно сидели за столами, лишь слегка шаркали ногами, песок скрежетал у них под подошвами. На шкафах и комодах лежали груды всякого хлама. Вперемешку газеты, журналы, кучи эти могли рухнуть от одного дуновения. Между бумажными пластами свисали носки с продранными пятками, сорочки и свитера валялись на полу, рукава придавлены ножками столов. Отец открывал ящики комодов и дверцы шкафов, отовсюду вываливалось барахло. Опрокидывались незакрытые чернильницы, под грязные сапоги мужиков летели пожелтевшие фотографии. Мужики наступали подошвами на фотографии, и лица на снимках покрывались рябью от вдавленных в них песчинок.

В такие утра глаза у отца были опухшие и в синяках; кто знает, может, его и в самом деле во сне ударяли по лицу открываемые им дверцы шкафов и ящики комодов. Отец отводил взгляд, ему было неловко смотреть на нас. Я жалел и стыдился его слабости. Думал, как бы ему

помочь. У меня не было входа в комнату его сновидений, чтобы подмести там полы и навести порядок в шкафах. Отец жаловался, что был принужден дожидаться там — неизвестно чего. Мы уже знали, что он не выносит ожидания. Так же, как и я,— добавил Клаус возбужденно и умолк.— Мы чувствовали, что отец боится последствий своего кошмарного сна. Он предвидел какое-то событие, которое как бы висело в воздухе, не зная, что бы это могло быть.

Сочувствие внушило Мирьям беспокойство. Если бы ей дали крылья, она бы слетала в эту комнату сновидений. Что из того, что она никогда не видела отца Клауса, все равно к нему следовало отнестись с сочувствием. Мирьям еще не знала, что никто не в силах защитить человека от самого себя. Дело ведь вовсе не в том, чтобы вымести песок из комнаты сновидений и накрепко закрутить пробки на чернильницах. Хотя внешне и казалось, что прибранное помещение уже не терзало бы Клаусова отца и не понуждало бы его к тупому ожиданию.

Мирьям сжалась в комочек, будто высказала неуместные мысли. Возможно, отец Клауса все же погиб на войне, а они тут говорят и думают о сновиденьях покойного человека. А может, вообще не пристало такому, как Мирьям, постороннему человеку копаться в потайных печалях чужого человека?

— Тебе не жалко своей матери? — перевела она разговор на другое.

Клаус сжевал пару яблок, прежде чем ответил:

— Отец всегда говорил, что мама слишком жизнерадостна для того, чтобы понять жизнь.

— Я этого не понимаю,— с сожалением призналась Мирьям.

— Да и я сам тоже,— согласился Клаус.— Отец не успел объяснить мне вещи и поважнее. Например, то, что от задуманных на будущее дел будто бы идет запах роз.

Смотри-ка, какому странному и смешному человеку довелось стать отцом Клауса.

— Временами на меня находит черная тоска,— изливал душу Клаус.— Вижу как наяву. Отец лежит в грязи, больной и жалкий такой. Пошел бы, взвалил на плечи и притащил бы сюда, отдохнуть. Только я не знаю, где его искать.

— У тебя есть тетя,— поколебавшись, промолвила Мирьям.— А вдруг она поможет?

— Откуда ты знаешь про тетю? — Клаус приподнялся и сел.

— Крысы пропищали,— недовольно ответила Мирьям. В этот миг Клаус был на одно лицо с Эке-Пеке.

— Она приходила ловить тебя,— объяснила Мирьям.

— Вот уж не дает покоя, даже под землей.

Клаус сплюнул в дальний угол.

— А как от нее отделаться? — озабоченно спросила Мирьям.

Тут уж не до шуток. В один прекрасный день тетя Клауса заявится на их улицу с тележкой, на которой будет громыхать железная клетка. Начнет орать, как сумасшедшая, что преступника надо схватить. Люди окружат развалины, вытащат Клауса, как мышонка, из подпола и посадят за решетку. Уж если сажают под замок бедных прокаженных, то что и говорить о тех, кто живет не так, как того хотят другие.

Мирьям сжала кулаки, так что ногти впились в ладони. Она оставалась загадкой для самой себя — и что за странная волна сочувствия охватила ее? Она горюет о переживаниях отца Клауса, хотя и в глаза не видела этого человека. Жалеет Клауса, — но, если верить словам его тетки, в снаряжном ящике понурившись сидит не тощий парнишка, а преступник. Так можно будет однажды простить и убийцу своего отца!

— Твоя тетя несла всякую чушь! — неуверенно произнесла Мирьям.

— Да, неприятность была большая,— согласился Клаус.— Я украл из школы ружье.

— Зачем?

— Меня преследовало чувство, что я должен был любой ценой защитить своего отца.

— От кого?

— Не знаю. Всюду только и говорили об убийствах. И я начал думать, что за каждым углом стоит убийца, который целится в моего отца.

— Ты что, немного рехнулся?

Клаус усмехнулся:

— Историю с ружьем раздули. Тень легла на всю семью. Меня выгнали из школы, а отца забили в солдаты.

У Мирьям, казалось, камень свалился с сердца. Она

была готова прыгать, хлопать в ладоши, петь какую-нибудь глупую песенку и дурашливо смеяться. Только равнодушные Клауса удерживало ее от этого.

— Знаешь,— вздохнул Клаус,— все это вместе, наверное, даже хуже, чем быть настоящим убийцей. Может, отец проклял меня, когда мерз где-нибудь в окопе, по колено в воде, и вынужден был в кого-то стрелять. Как знать, может, он пожалел, что я вообще появился на свет. Из-за меня он попал на фронт и вынужден был убивать людей. Он был неспособен на это, я знаю.

Клаус застонал. Он колотил кулаком по краю снарядного ящика, дубасил каблуками по торцовым доскам, извивался и метался.

— Я должен найти его! Я должен все узнать! Никто другой мне не скажет, о чем он думал!

Мирьям охватила дрожь.

— Перестань,— попросила она.

Клаус ее не слушал.

— Он мог бы предстать в образе духа и сказать правду,— сквозь всхлипывания пробормотала Мирьям.

— Ничего-то ты не понимаешь! — закричал Клаус.

Мирьям напряглась и поборола слезы. С дрожью во всем теле она недоуменно подумала, каким еще должен быть ее жизненный опыт, чтобы она смогла во всем разобратся.

— Неужели ты в самом деле не видишь во сне своего отца? — осторожно спросила Мирьям.

— Иногда бывает,— ответил Клаус и закинул через край ящика уставшие руки.

— Он, что, не хочет с тобой разговаривать? — с неверной надеждой допытывалась она.

Клаус криво усмехнулся:

— Во сне я вижу его фотографию, ту самую, что ношу в кармане. У фотографий нет привычки разговаривать.

Мирьям во сне встречалась с отцом всегда только одним образом.

Она стоит в воротах, отец с трудом выбирается из черного автомобиля. Рессоры освобождаются от тяжести и пронзительно скрипят. Передок машины вздернут, на капоте подрагивает никелированный круг. Освободившись от хлопотного груза, лакированный зверь готов сорваться с места.

Отец нетвердой походкой плетется к воротам. Пальто заметает полами снег. Увидев Мирьям, отец разво-

дит руками. Застывшая улыбка выглядит фальшиво. Мирьям хочет попятиться, но идет навстречу отцу. Его тяжелая рука ложится Мирьям на плечо. Они медленно бредут по дворовой дорожке, и силы покидают Мирьям.

Занавески на всех окнах отодвигаются, за стеклами возникают неестественно большие лица. Над каждым подбородком темнеет обрамленная зубами дыра. В ушах у Мирьям стоит шум.

Ее голая ладонь пристывает к ручке входной двери, стылый металл готов содрать кожу. Трещит плечо под рукой отца.

В этом сне Мирьям не слышит ни единого слова. Отец на это неспособен. Он настолько пьян, что не ворочает языком.

32

Растопить застывшее оживление было довольно трудно. Репетиции продолжались. Валеска то и дело засматривалась на кустики травы, срывала стебельки, грызла их и безучастно произносила слова королевы, да и то по приказанию Клауса.

Казалось, один лишь Клаус сумел излечиться от безразличия. Он подгонял и других, как только мог. Как обычно, он легко впадал в раздражение. На одну репетицию явился, волоча за собой ивовый прут. Прежде чем остальные успели войти в роль, у Клауса лопнуло терпение, и он начал стегать землю прутом. Дождевые черви уж явно укрылись поглубже. Клаус бил с таким остервенением, что в пыли разлетались ошметки ивовой коры. Мирьям при каждом ударе вздрагивала, голова ее гулко гудела; видимо, чувства и мысли попрятались в дальние закоулки тела. Клаус явно опять зашел чересчур далеко в своей ярости. И почему только он не хочет подбадривать товарищей лаской и добрым словом?

Мирьям удивлялась своей послушности. Эке-Пеке с Валеской также не противились Клаусу. Хотя у них и было право похныкивать и заявить, оставьте, мол, нас в покое, мы хотим быть наедине и скорбеть в одиночестве. До Мирьям начало доходить, что остальные умеют во имя большой цели скрывать свое горе. Но почему для них был столь существенным этот спектакль? Неужели борьба в королевском семействе успела так глубоко запасть в сердца? Или они не могли отказаться от нача-

того однажды дела? Лето уже уходило в прошлое, а с ним и многие часы репетиций,—видимо, невозможно было оторвать от себя былое.

Клаус отчаянно метался, чтобы наконец-то сыграть спектакль. В один прекрасный миг все это подстегивание перестало быть загадочным. Видимо, Клаус прочел в глазах товарищей сомнение, потому что он гаркнул:

— Не думайте, что свободу можно, как пальто, в любую минуту снять с вешалки и шагать себе спокойно, подпоясавшись кушаком!

Мирьям удивилась, сколь превратно она понимала жизнь.

До сих пор она считала себя свободным человеком, теперь же поняла, что в действительности, наверное, только у ангелов небесных есть крылья свободы. Что удерживало принца в королевском доме? Ему нужно было утвердить правду! Свободен лишь тот, кто не признает справедливости. Может, следовало все забыть, махнуть рукой на старое и несправедливость, чтобы стать независимым. У Мирьям вызывало усмешку, когда она вспоминала двор своего давно минувшего детства. Там подошвы ее ног ласкала нагретая солнцем пыль, и она была убеждена, что совершенно свободна. Без конца носилась по двору эта беспечная девочка, не понимая, что каждый миг могла расквасить о забор свой нос.

У кого в душе однажды поселились муки истины, тот не сможет уже просто так вернуться на двор своего детства и чистосердечно поверить в собственную свободу.

Утомляющие репетиции изнурили Мирьям телесно, а новые думы истязали ее дух. Правда и свобода — два суровых и праведных брата — взяли и наделили ее чувством вины. Мирьям все больше ощущала свою пустоту, стоило сравнить себя с принцем и Клаусом. Что за необыкновенная сила жила в тщедушном Клаусе? Он мог прозябать в темном подвале, лишь бы узнать полную правду о своем отце!

Или, может, Мирьям решила потихоньку забыть, что где-то среди людей ходит убийца ее отца? Никто не умеет отыскивать в глазах преступника лик убитого им человека. Ничего не подозревающие люди даже могут нечаянно сказать про такого, что гляди, какой прекрасный и порядочный гражданин!

И вот однажды на гребне горы снова стоял наряжен-



ный в картофельный мешок дух короля. Ветер трепал старческие пакляные космы, принц слышал голос умершего и умудренного опытом человека.

Вдруг на гребне голой зольной горы появился еще один дух. Дедушка вышел из потустороннего мира немного проветриться.

Мирьям оторопела. Оба — и дедушка и король — были стариками. Если один говорил о собственном убийстве, то другой не находил покоя из-за убитого сына.

— Разве убийца все еще не найден? — возмущался дедушкин дух. — Как вы только живете там? Все война да война, дома сгорели до основания, убийцы расхаживают среди людей.

— Война прошла, — возразила Мирьям.

— Прошла, — усмехнулся дух. — Нет, ошибаешься. Война не кончится, пока не будет восстановлена истина.

Время королевского духа истекло, он должен был исчезнуть с горы. И другой дух проявлял нетерпение, ему тоже нужно было возвращаться под землю. Мирьям чувствовала, что у дедушки что-то еще лежит камнем на душе.

— Ты не забывай голубей, которых засунули в ушат, — прошептал он. — Что поделаешь, мне пришлось так рано уйти, и я не мог остановить бабушку.

— Не беспокойся, дедушка, — пробормотала Мирьям. — Я обещаю, что не забуду.

На заднем склоне горы Мирьям споткнулась о камень, упала да так и осталась сидеть на золе.

Дедушка завещал ей восстановить истину. С какого только конца начать? И покойная бабушка, словно несмышленый ребенок, оставалась на ее попечении. Мирьям должна была задним числом отвечать за бабушкины поступки.

Другие прошлые заботы также мучили Мирьям. Нельзя было позволить минувшему обрушиться на тебя, подобно пластам золы; нужно было знать, за что братья прежде всего.

Однажды вечером Клаус решил, что спектакль у них готов. Четыре усталых артиста сидели в снаряжном ящике и смотрели в люк на небо.

У Мирьям было хорошее настроение оттого, что они на дуэли с Клаусом не вошли в раж и не ранили друг друга смертельно.

— Вывесим объявления, — сказала Валеска.

Клаус кивнул.

— Я натяну нитки,— пообещал Эке-Пеке,— чтобы никто не прошел мимо.

Мирьям с ним согласилась. Никто не смел равнодушно проходить мимо столь знаменательного события. Это была не простая пьеса — в ней восстанавливали истину.

И все же как найти убийцу отца?

Когда Клаус ходил смотреть пленных немцев, он искал среди живых одного, которого не спутаешь ни с кем другим. И то не удалось. А как отыскать среди тысяч и тысяч людей именно того, у которого в глазах отпечатался образ убитого отца?

После войны у многих за внешне ясным взором могло скрываться ужасное. Поди-ка разберись.

Мирьям все чаще ловила себя на том, что думает о сновиденьях Клаусова отца. Эта комната, за окнами которой было ни светло ни темно, старалась втянуть в себя и ее. Она ощущала себя совершенно беспомощной среди вороха бумаг и вещей, и у нее под ногами скрежетал песок.

Вдруг ей бросилось в глаза что-то знакомое.

В темном углу лежал портфель отца. Видимо, убийца лишь на мгновение положил его туда. Сейчас он возьмет портфель в руки и снова, с невинным видом, выйдет к людям.

Мысли Мирьям ухватились за новую возможность.

Она помнила внешний вид портфеля до мельчайших подробностей. Два грушевидных замка, на правом, возле заклепок, ржавые пятнышки. Внутри, на кожаном ремешке, два маленьких ключика. Конечно, убийца мог сменить замки и выбросить ключи. Это ничего не значит. Портфель у отца был из толстой коричневой кожи, которую украшали впрессованные вдоль и поперек глубокие бороздки. Их-то уж ничем не разгладишь.

Одна примета сейчас обрадовала Мирьям. В тот раз, когда ее неумелая рука выводила первые слова, она тайком написала на донышке портфеля: ПАПА. Чернила немного разошлись, но все же эти четыре буквы привели ее в восторг, они вышли вполне приличными. После, когда дело было сделано и голова начала соображать, страх закрался в сердце. Вдруг дадут взбучку? К счастью, у отца не было привычки заглядывать на дно своего портфеля. Написанное осталось неведомым и для него.

Да навряд ли и убийца заметил это. Примету на портфеле знает лишь она одна.

Довольно пустых фантазий, сила Мирьям и ее бессилие столкнулись на полном ходу, по спине даже пробежала горячая волна. Мирьям остановит на улице убийцу, который шагает с отцовым портфелем в руках. Это портфель моего отца, спокойно скажет она. Прочь, глупый ребенок! — пронзительно закричит убийца и притопнет каблуком. Прохожие остановятся и с любопытством начнут придвигаться ближе. Вскоре их двоих уже будет окружать плотная стена людей. На маленькой арене Мирьям окажется лицом к лицу с убийцей. Один из них должен выйти из схватки победителем. Конечно же тот, кто борется за правду! А ну переверните портфель, потребует Мирьям, там, на донышке, чернилами написаны четыре буквы. Противник вынужден будет исполнить требование. Люди еще теснее сомкнут круг. Все от напряжения затаят дыхание и вытянут шеи. Тишина будет давить на перепонки. Так и есть! — победно воскликнут люди. Да здравствует правда! Убийце скрутят руки, бежать ему некуда.

Мирьям отгоняет возникшую в воображении картину, другая мысль требует себе места. Неужели и впрямь в то далекое время, когда она выводила свои первые буквы, в ней жило какое-то тяжкое предчувствие и она предусмотрительно поставила знак на отцовском портфеле? Вообще-то у нее не было привычки портить вещи, особенно те, которые вызывали почтение.

Четыре неровные буквы приобрели в глазах Мирьям огромное значение. У каждого в душе должен быть укрыт хрупкий мосток, чтобы поддерживать связь с неведомым.

Пусть мостки эти будут не толще нитки — осторожно, запасаясь терпением, когда-нибудь все равно можно будет перебраться с одного берега на другой.

Нельзя было мириться с тем, чтобы их поглотила комната из навязчивого сна Клаусова отца.

Таллин, 1971—1972.

О «КОРОТКИХ РОМАНАХ» ЭМЭ БЭЭКМАН

В современной эстонской литературе у Эмэ Бээкман свое, видное место.

Содержание ее творчества связано со всем кругом проблем, поднимаемых современной прозой, эстонской в частности. Эта связь закономерна, она отражает общность людей одной эпохи, одного поколения, общего исторического и литературного опыта. Но люди в жизни примечательны не только своей общностью, но приметами индивидуальными. В литературе тем более — настоящий талант значителен неповторимостью. К счастью, сегодняшнее развитие эстонской литературы повышает общественную ценность всего индивидуального, — творческое развитие писательницы Эмэ Бээкман совпадает с этой плодотворной тенденцией.

Своеобразие прозы Бээкман не поддается быстрому определению, и это иногда настораживает критиков, привыкших к определенным литературным схемам. Не случайна некоторая вопросительность интонаций в рецензиях на романы Бээкман (особенно последнего времени) — их проблематика, стиль, даже их названия иногда требуют усиленной работы критической мысли.

Однако то, что для критиков являет предмет озабоченности, для читателей нередко оказывается качеством притягательным. Читательская аудитория Эмэ Бээкман не сужается, а расширяется, притом что автор не упрощает, а скорее осложняет свою творческую дорогу — выбором проблем, резким отказом от всякой элементарности, неожиданным обращением к жанрам нераспространенным, таким, например, как философская фантастика.

Скажем, в романе «Чертоцвет» Бээкман продемонстрировала сложную систему символики и аллегорий; в «Глухих бубенцах» вы-

ступила историком, исследующим корни «хуторской» психологии и причины ее краха, в «Шарманке» показала себя мастером философского гротеска, жанра редкого и, казалось, вовсе не «женского». Я умышленно называю произведения, оставшиеся за пределами данной книги. Книга собрала три романа примерно одного плана, одного ряда, в то время как многие произведения Бээкман, на первый взгляд, как бы не образуют «ряда», понятного и наглядного. Бээкман пишет, свободно переходя от темы, которую принято называть «морально-бытовой», к теме исторической или к фантастике, охотно меняет стилистику, эпохи, круг героев. В резкости этих переходов, однако, нет легковесного порхания, нет всеядности или прихоти литературного счастливирика. При этом судьбу Эмэ Бээкман в литературе справедливо можно назвать счастливой, имея в виду полноту творческого самовыражения.

Почти в каждой новой книге Бээкман сначала удивляет новизна темы, а потом открывается естественность авторских устремлений и значительность накопленного. Процесс творческих накоплений скрыт и от читателей, и от критиков. Трудно угадать, о чем сейчас думает Эмэ Бээкман, каковы ее планы. Но то, что такой процесс — постоянное состояние художника, Бээкман подтвердила всем, что до сих пор ею написано. Среди ее произведений, переведенных на русский язык (а девять романов — число немалое), не приходилось сталкиваться ни с одним, которое можно назвать случайным, проходным. Каждое создание Эмэ Бээкман есть нечто выношенное, еще чаще — выстраданное, хотя приметы каких бы то ни было авторских переживаний тщательно спрятаны. О страданиях я говорю как о драгоценном, для настоящего писателя обязательном чувстве глубинной сопричастности всему, о чем он пишет. В форме выражения чувств Эмэ Бээкман — дочь своего народа. Не в обычае эстонцев переживать громко, открыто. И тут на выручку приходит юмор, приглушающий остроту, скрадывающий бурность переживаний, словно бы загоняющий эти чувства вглубь. В современной литературе юмор, как известно, выполняет на редкость разнообразные функции. Юмор Эмэ Бээкман — одно из первых отличительных свойств ее таланта, и юмор этот тоже свой — нелегкий, не слишком веселый, иногда обнаруживающий свою защитную роль, иногда, напротив, — наступательную. С годами он становится все более острым, жестким. Можно догадаться, что эта острота — примета того, что и чувства художника не притупляются, но обретают большую глубину. Глубокое чувство нередко ранимо по своей природе, нуждается в защите, в надежной форме для бытия. Юмор, таким образом, становится одной из форм человеческого (в том числе художественного) самовыражения.

Надеюсь, из сказанного понятно, что полно представить читателю творчество Эмэ Бээкман какой-либо одной книгой (даже собранной

в себе целых три) невозможно. Слишком разнообразен автор. Однако три коротких романа — «Маленькие люди», «Колодезное зеркало», «Старые дети» — указывают одну из самых значительных дорог среди многих, избираемых автором. Можно предположить даже, что эта дорога — основная и главная, все прочие от нее отходят и нередко к ней же возвращаются. Автор как бы совершает еще один круг, исследует еще одну местность, в конечном итоге прибавляя ее к уже изученной и прочно обжитой.

Речь идет об осмыслении значительного периода истории своего народа — периода переломного, решающего, занявшего примерно четверть века. Среди трех романов «Колодезное зеркало» — центральный, от него и от его героини Анны в разные стороны расходятся невидимые нити, связывающие между собой незнакомых друг с другом людей, несходные судьбы, события разного времени и значения.

Анна — коммунистка, подпольщица, из тех, кто в 20-е годы в буржуазной Эстонии начал революционную борьбу и отдал этой борьбе всю жизнь. Казалось, что этих людей в Эстонии мало, что они одиноки, почти полностью уничтожены еще в 20-х годах вместе с Кингисеппом и Яном Томпом. Во всяком случае, массовый уклад жизни — будь то жизнь «маленьких людей» таллинской окраины или таких обитателей хуторов, которые описаны в «Глухих бубенцах», — этот уклад, казалось, был чужд и враждебен всякой мысли о переустройстве. Чужд настолько, что для самой этой мысли, могло показаться, не осталось почвы. Даже уцелел или будучи занесена со стороны, она не выживет, ее поглотит и убьет устоявшийся, прочный, массовой психологией наглухо скрепленный, буржуазный, хуторской, кулацкий уклад. Так могло показаться.

Однако жизнь поставила под сомнение прочность привычного для многих образа жизни. Тяжелая работа Анны и ее товарищей обрела новый смысл. Не только «Колодезное зеркало», но все три романа Бэекман, в их сложных внутренних сцеплениях и связях (иногда очень глубоких и не сразу себя обнаруживающих), дают представление о сложности исторического периода, возможных аспектах его осмысления, вообще о том, насколько серьезен подход автора к значительной сфере истории и, соответственно, литературы. Значительность сферы определяется тем, что в ней любое пересечение прошлого и современного полно смысла, а смысл этот, почти независимо от воли художника, направлен уже в будущее — в то, как сложится судьба нации завтра.

Если говорить о романах-летописях, бытовых и исторических, писателю есть на что опереться, в эстонской литературе имеются свои традиции. Эмэ Бэекман им не чужда. Классика эстонской прозы, многотомные романы Х. Таммсааре — образец бытописания, летопись

поколений, сменяющих друг друга и отражающих так или иначе перемены времени. Момент истории у Таммсааре не только непеременимый фон, но определяющее, главное обстоятельство из всех прочих — бытовых, семейных и т. п. . В традициях эстонской литературы осмысление связей человека с историей, общих социальных перемен — с судьбами частными, личными, порядка в мире — с порядком (или хаосом) в душах. Современные прозаики, в том числе Эмэ Бээкман, не рвут с этой традицией, в ней ощущают силу, но, как и следовало ожидать, ищут новый ракурс, соответствующий новому опыту — историческому, эстетическому, личному — всякому. Предшественники как бы указали поле, удобное для пахоты, и собрали с него свой урожай. Как это поле возделывать сегодня, как поддерживать его живым — задача, решаемая многими, и Эмэ Бээкман в том числе.

Если продолжить здесь сравнение с трудом земледельца, можно сказать, что в работе Бээкман мы видим то, что сбору урожая предшествует забота о почве, ее анализ, ее толковая обработка, освоение современной техники, распределение сил, учет погоды и многое другое. Эмэ Бээкман работает неторопливо, обстоятельно, в расчете на прочность. Пишет она много, но следы спешки в ее произведениях крайне редки, поспешность выводов — тоже. И объединяющая три ее романа тема обнаруживает себя не на поверхности, а в глубине, там и проходит, развиваясь и разветвляясь. Темперамент автора очевиден, но не выплескивается, а распределяется с ощущением меры и дальней перспективы, нам, читателям, возможно, не до конца известной. Этот пахарь, вероятно, задумал освоить довольно большую площадь земли, — так, во всяком случае, кажется, судя по тому, как спокойно и планомерно на наших глазах идет работа.

Сравнение с трудом земледельца может показаться странным, ведь речь идет о писателе — женщине. Несколько слов об этом. Женщин-писательниц иногда хвалят таким образом: «написано не по-женски твердо, основательно», «не женская уверенность», «по-мужски крепкая рука профессионала» и т. п. Профессия литератора таким образом негласно переводится в ранг «мужских», откуда женщинам перепадает награды-поощрения. Что говорить, «дамский стиль» неприятен, манерен, заставляет подозревать внутреннюю недемократичность. Впрочем, не менее неприятен и псевдомужской стиль, увы, нередкое явление в нашей литературе. Педантирование своей принадлежности к сильной ли, к слабой половине человечества выдает как раз недостаточность истинных признаков этой принадлежности, будь то мужество характера и ума или же естественная (и потому прекрасная) женственность.

Хорошо сказал Чехов: «Женщины-писательницы должны писать много, если хотят писать». В полушуточной фразе явно выделяется

серьезное слово «много», а в нем — большой смысл. Речь идет о том, что если литературой человек будет заниматься как одним из многих дел (а у женщин, даже во времена Чехова, дел, очевидно, было много), то она (литература) останется «дамским занятием», вроде рукоделия, не больше. Много — по Чехову — это, мне кажется, не столько вопрос количества, сколько мера траты, самоотдачи, то есть усилий, времени, душевных сил. Литература для Эмэ Бээкман, тут трудно ошибиться, — дело ее жизни. Она пишет много — так, как советовал Чехов. Что касается сентиментальности (ведь именно сентиментальность — признак «дамского» стиля), то ее следы были заметны лишь в ранних, первых произведениях автора. Годы эти следы стерли, иногда даже кажется — вытоптали.

Прежде чем перейти непосредственно к трем коротким романам, представленным в этой книге, мне хочется подчеркнуть одну общую особенность их содержания. Она впрямую относится к только что затронутой теме.

Известно, что женщину природа наделила великим инстинктом — охранять все живое, все, что дарует жизнь и продолжает ее. Разумеется, можно и с другого бока подойти к существу трех романов Эмэ Бээкман, но мне кажется, что главным их смыслом, если хотите, пафосом, является именно эта — женская! — их природа, хоть и выражающая себя «суровой прозой».

Героиня двух романов — «Маленькие люди» и «Старые дети» — девочка Мирьям; героиня «Колодезного зеркала» — сорокалетняя Анна, у которой нет детей. Собственный ее ребенок погиб, не родившись. Анна и Мирьям связаны родственными узами, но в силу обстоятельств почти не знают друг друга. Однако на страницах «Колодезного зеркала» они ненадолго встречаются. Их последняя встреча вовсе коротка, но многозначительна и содержит в себе уже не столько бытовой, сколько почти символический смысл. Симпатия, возникшая у Анны к умному заброшенному ребенку, — это и выражение подавленных жизнью, растоптанных материнских чувств, и острое любопытство к тому, кто представит в истории будущую Эстонию, это и надежда на реальную помощь — надежда хрупкая, но единственная, и потому такая значительная. Маленькая Мирьям без лишних слов оказывает эту помощь Анне в страшную минуту. Анне приказано немедленно уйти из города, в который вот-вот войдут немцы. Но уйти — значит, бросить умирающую сестру. Еще раз, последний, встает перед Анной проблема, окончательного решения которой она так и не нашла. Надо выполнять приказ. Надо поступить жестоко. Надо ли? Решить что-то в конкретной ситуации ей помогла маленькая Мирьям. Она неожиданно появилась на пороге и заменила Анну у постели больной. Это короткий, беглый момент сюжета, но упустить его — значит, упустить одно из важных звеньев внутреннего развития романа.

Как известно, сюжет порождается фантазией автора. Эмэ Бээкман так выдумывает его повороты, что, оставаясь в пределах жизненной логики, они таят в себе еще и другой смысл, более значительный и общий, чем житейский. В ранних своих вещах писательница была привержена именно бытовой правде, ее деталям, приметам и атмосфере. Но постепенно (довольно быстро) она обрела особый дар отбора — ситуаций, реплик, подробностей, — отбора, при котором все бытовое, не теряя правдоподобия, сгущается, являя собой очевидное выражение крупной мысли, социального конфликта, нередко — символа. Символика этой прозы — не отвлеченная, не плод схоластического умствования. Она заключена внутри самой что ни на есть реальной жизни. То, что Анну в решающий момент сменяет маленькая Мирьям, — и быт, и правда, и символ. Мы знаем, как прожила свою жизнь Анна, какой цели себя посвятила и чем ради этого пожертвовала, понимаем, что вряд ли этот человек уцелеет в предстоящих испытаниях. По другой повести нам уже понятен и характер Мирьям, па редкость жизнестойкий, к деятельному существованию предрасположенный. Последнее крайне важно: не приспособленный, а именно предрасположенный — жить, длить жизнь, защищать ее. Поэтому на место Анны (не только на страницах романа, но в действительности) должна явиться такая девочка, явиться как знак авторской (и нашей) веры в конечную справедливость.

Три коротких романа можно сложить в одно целое. По времени это примерно четверть века — с воспоминаний Анны о ее юности до первых послевоенных дней. В первом из трех романов воссоздан еще «прежний» порядок жизни, в последнем он уже другой, хотя новым ему еще предстоит сложиться, и мы понимаем, каких усилий людям это будет стоить. И «старое» и первые ростки «нового» автор рассматривает глазами Мирьям, сначала — совсем-совсем маленькой, спустя пять лет — не по годам взрослой. Последний роман потому и назван — «Старые дети».

Мир увиден глазами ребенка — сам по себе этот прием не нов в литературе, но у Бээкман он выбран предельно осознанно, ибо взгляд ребенка есть вернейшая призма для раскрытия всяческой фальши (так — в «Маленьких людях»), а война, будучи совмещенной с душевным опытом ребенка, более чем красноречиво обнажает свою бесчеловечность и разрушительную силу.

В «Маленьких людях» нам дана возможность вместе с Мирьям внимательно рассмотреть, можно сказать, исследовать прежний порядок вещей — уклад жизни буржуазной Эстонии, мирок городской окраины. Это и город (столица!), и уже не город (окраина, задворки). Это и деревня, ибо окраина с хуторами накрепко, по-родственному связана. Таким образом, хоть этот мирок и узок, но социальный срез романа велик, захватывает многие пласты и группы, обна-

руживая то их скрытый, по прочный союз, то неожиданную, чреватую взрывами несовместимость.

Бабушка Юули (сестра Анны) часто с презрением говорит про своих жильцов: «маленькие людишки». Автор называет роман: «Маленькие люди», снимая с этих слов оттенок брезгливого уничтожения, но не скрывая привкус некоторой горечи. У старой Юули, по крохам всю жизнь копившей, свое представление о масштабах и ценностях человеческой личности. У Мирьям формируется — свое. Юули все меряет только капиталом, доходами, наличием собственности. Перед ее внучкой то и дело открывается мнимость такого рода мерок. Когда в Эстонию пришла новая власть, потеряло цену все, чем похвалялись друг перед другом людишки, из-за чего хватали друг друга за горло и теряли человеческий облик. Для Юули это трагедия. Но уже для ее сына, отца Мирьям, никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ему было, когда он, чтобы не сесть в долговую тюрьму, продавал свою часть будущего наследства не кому-нибудь, а собственной же матери, и та с жадностью это приобретала. Нищая жизнь, исковерканные души, убогие представления о долге, о счастье, о благополучии. Люди лишены нравственной ориентировки, у них нет ни общественного инстинкта, ни элементарно здоровых, естественных связей между собой. Но по-своему крепок, устойчив этот тупой уклад, за ним и под ним — века. Ничего не преувеличивая, не забегая вперед, автор, однако, находит трещины и в нем, приметы конца. Они бывают невидимы многоопытному подозрительному взгляду взрослых, но, как ни странно, заметны любопытным и зорким глазам ребенка.

Изначальное душевное уродство близких вызывает у Мирьям первое и естественное чувство — жалость. Жалко старую Юули, жаль пьяницу отца, жаль задушевных чистых порывов, неосуществленных добрых поступков, жаль всего, что убито в зародыше. Особое чувство жалости вызывает у девочки сам человеческий труд — труд дедушки, мастеровившего ружья и выращивавшего помидоры, соседа — возводившего забор, бабушки, что шила чужие наряды. Эмэ Бээкман, не впадая в поучительство, придерживаясь рамок детского мировосприятия, раскрывает горькую диалектику в самом понятии труда, когда и это понятие прикреплено к уродливому укладу.

Эстония — страна мастеров, людей, умеющих работать, и работать аккуратно, соизмеряя время и усилия, материал и результат. Мысль об этом спокойно и настойчиво проводит в своих романах Бээкман, одновременно указывая (опять же без дидактики) на многие возможные извращения самой этой благородной традиции.

Среди всех людей, на свой лад воспитывавших Мирьям, самым подлинным воспитателем оказывается ее дед. Во-первых, он любит девочку, это чувство в нем не замутнено никакими добавочными примесями и потому оказывается столь действенным средством воспита-

ния. Так же он любит свой труд, землю, плоды этой земли и плоды своего труда, украшающие жизнь. И эта любовь, которую действительность не смогла изуродовать, не свела к корыстному инстинкту, — самое большое богатство из всех, доставшихся Мирьям от ее родных.

Книгу «Маленькие люди» можно назвать книгой о воспитании. О том, какие разнообразные уроки дает человеку жизнь, как преломляются эти уроки в его сознании, формируя его. Не случайно многие главы кончаются как бы прямыми заповедями-выводами, которые девочка делает, наблюдая поведение взрослых. К счастью, весьма ничтожную роль играют прямые поучения — ребенок видит их фальшь. Он отталкивает, не принимает всего того, что рабской, обывательской средой в него упрямо вбивается, — и это активное неприятие само по себе уже примета грядущих и неизбежных перемен.

Какой будет Мирьям, когда люди, подобные Анне, изменят порядок жизни? Мы не успеваем получить ответ на этот вопрос, потому что на Мирьям и ее соотечественников обрушивается самое страшное — война. Время действия романа «Старые дети» — первые послевоенные дни и месяцы, но наплывом, навязчивым и постоянным воспоминанием является война, с ее чудовищным хаосом разрушений, смертей, пожаров, потрясений. На одной из страниц книги лихорадочно работающая память Мирьям обращается к деду, который умер до войны. Дедушка всегда был опорой, в нем все было понятно и прочно. Детям нужен верный посредник между ними и остальным миром — казалось, дедушка был им для Мирьям. Он, ничему не уча, многое успел ей объяснить и научил многому. Но теперь, оказывается, возникло пугающее несоответствие между опытом старого умного деда и коротким, но войной отмеченным опытом ребенка. И Мирьям думает, что, если бы дед теперь встал из мертвых, ей, Мирьям, пришлось бы обстоятельно объяснять ему, «что из себя представляет в действительности война. Совершенно невообразимо, но Мирьям сейчас знала больше дедушки». Поистине невообразимо, но факт: дети, видевшие войну, знают больше иных стариков, а умершие в мирное время люди ушли из жизни наивными и несведущими. Мирьям думает, о чем она должна была бы рассказать деду. «Все это были бы грустные рассказы». Пришлось бы рассказать о том, например, что смерть человека может уже почти не тронуть его близких, настолько притупилось в людях все человеческое. Надо было бы рассказать о том, как люди выжигают и вытаптывают ту землю, которая их кормит, а потом гадают, когда же эта несчастная земля сможет давать побеги. Пришлось бы рассказать о семье, которая вымерла и рассыпалась в прах. Вообразив себе все это, Мирьям думает, что дедушка мрачно покачал бы головой, застегнул сюртук и, пошатываясь, пошел бы своей дорогой, сказав: «Я вынужден оставить тебя, Мирьям. В таком мире я жить не умею».

Очень много грустного и страшного в книге «Старые дети». Так много, что иногда реальность как бы теряет свои очертания, кажется не то сном, не то бредом. Начиная с первых страниц — когда в картофельной ботве находят мертвого младенца, и следователь, не добившись толку от собравшихся, запикивает сверток с ребенком в портфель... Какой бы страх ни испытывала Мирьям, рассматривая синее личико, в ее реакции нет ужаса первооткрытия — за прошедшие годы она чего только не навидалась.

И все же смысл книги не в этих страхах, потерях, смертях, даже не в трагедии детей, не знающих радостей детства, но в той внутренней силе и, если можно так сказать, в анализе силы, которую способен сохранить в себе человек, чтобы противостоять самому страшному, что есть на земле. Глубокий, выношенный, выстраданный оптимизм этого романа в раскрытии сложной духовной жизни подростков, без помощи взрослых выбирающих свой путь — в самых тяжелых обстоятельствах.

В том, что творится кругом, девочка Мирьям совсем не виновата. Но ей почему-то нередко «хочется кричать от сознания своей вины». Она чувствует себя повинной в том, что ее нынешний мир оказывается «столь негодным для жизни», а ее сознание устремлено к тому, чтобы найти способ и хоть как-нибудь навести порядок в окружающем хаосе. Разумеется, сохранение мира, общественное устройство и т. п. — дела и заботы взрослых. Но Бээкман пристально всматривается в человека, который не просто «выбирается из детства», но в этот важнейший момент своего становления обретает признаки самостоятельной личности. Творящая ли это личность или разрушающая? Вот, по существу, главный вопрос для автора, а в ответе для него — основа и опора авторского оптимизма. Если в характере Мирьям, всесторонне изученном и рассмотренном, искать черту, руководящую почти всеми ее поступками, определяющую и меру восприимчивости и меру страданий, это будет чувство ответственности. Странно, но именно таким формируется этот человек, родившийся и росший среди тех, кто именно чувства ответственности почти изначально был лишен. Из каких-то семян, брошенных дедом, из вынужденной ранней самостоятельности, из природной любознательности и доброты, из всего этого вместе взятого именно ответственность — за других, равно как за себя, — выступила, проявилась и укрепилась.

Казалось бы, случайный сюжетный мотив — на заброшенном пустыре дети, оставшиеся без родителей, голодные, грязные, потерянные, затевают постановку пьесы, трагедии о датском принце. Но в романах Бээкман почти нет случайного. Именно трагедия о Гамлете фантастическим образом преломляет в себе какие-то накопленные этими «актерами» сомнения и нерешенные проблемы. Они воспринимают

эту пьесу и как сказку, и как притчу, но мысли принца, решающего главные проблемы бытия, понятны Мирьям в той же мере, что и мысли ее друга Клауса, который упрямо разыскивает среди пленных своего отца. Клаус ежедневно уходит в город, оставляя Мирьям ждать почтальона,— это ожидание, это и вера. Это насущное, неутолимое желание знать правду, своими усилиями установить истину.

«У кого в душе однажды поселились муки истины, тот не сможет уже просто так вернуться на двор своего детства и чистосердечно поверить в собственную свободу». «Старые дети» — это и рассказ о трагедии народа, и полно выраженная вера в его будущее.

Человек, выбравший путь поисков истины, не свободен, как бы связан неким обязательством, но он и по-настоящему свободен, потому что выбрал достойнейшую дорогу из всех. Такой выбор, по мысли автора, объединяет лучших представителей нации. Потому неуловимая, но несомненная связь существует между Мирьям и героиней «Колодезного зеркала» Анной. Разный возраст, разный опыт, разные характеры, но люди едины в одном — не уставая, не успокаиваясь, идя на жертвы, они ищут истину, соотносят факты, совершают выбор и — снова ищут.

«Колодезное зеркало», на мой взгляд, самое суровое из трех произведений, о которых идет речь.

По одной фразе, оброненной в другой книге, можно понять, что Анна погибла,— она бесследно исчезла, так что «никто не знал, под каким камнем спит она своим вечным сном». Невесть откуда перед самой войной появилась, она невесть куда в самом начале войны исчезла, повязавшись по-бабьи платком, с деревенской корзиной в руке. Мало ли людей в эти годы появлялось и исчезало. Но нет сомнений, когда-нибудь Мирьям задумается об Анне и о подобных ей людях, умерших в застенках, расстрелянных бандитами, чужих в кругу родственников, одиноких среди соплеменников, людей, способных на самопожертвование, тех, кому отпущен обычно короткий срок жизни и кого ждет, чаще всего, насильственная смерть.

Роман «Колодезное зеркало» однако лишен всякого внешнего пафоса. Приподнятость интонации вообще не свойственна Эмэ Бэкман, здесь же сдержанность автора помножена на характер героини, от лица которой ведется повествование. Если в двух других произведениях жизнь увидена сквозь призму психологии ребенка, в «Колодезном зеркале» на ту же жизнь, на тех же людей, наконец, на свою собственную биографию смотрит женщина, как бы выпавшая из родного гнезда, давно, с 20-х годов, отказавшаяся от дома, от всеми принятого уклада, более того, посвятившая всю себя одной цели — эту жизнь, этот убогий рабский порядок переделать, изменить. Совсем другой взгляд на вещи — перемена ракурса обозначена резкой смелой стилистики, композиции, объектов, попадающих в поле зрения.

То, что предшествовало возвращению Анны из Советской России на родину, в Эстонию, дано в наплывах-воспоминаниях, вызванных разбуженной и взволнованной памятью. Все начинается с короткой ликующей ноты: «Я — дома!». Радость Анны, так же как ее мужа Кристьяна, всегда короткая — их жизнь лишена долгих радостных минут, все такие мгновения — наперечет. Это не улыбочивые и нелегкие по характеру люди. Кристьян — из тех, кого зовут «железными»: замкнутый, не позволяющий себе никаких сомнений. Анне, тоже прошедшей через тюрьму, смертный приговор, эмиграцию, не свойственна эта непреклонность, она мгновенно и остро отзывается на противоречия и не устает решать вопросы, которые у Кристьяна или вовсе не возникают или предполагают быстрое и однозначное решение. Союз этих двух людей хоть и крепок, — ибо это союз и семейный, и идейный, — но изнутри драматичен. Слишком многим эти люди в самих себе пожертвовали, навсегда соединившись, и слишком значимо в их жизни то, к чему они, не сговариваясь, не прикасаются. В самые страшные моменты, когда вполне реальна смерть, Анна может повторить все ту же фразу, ту же мысль, которая постоянно сверлит ее: «А у нас с Кристьяном все еще не договорено». «Недоговоренное» таким и останется, ибо, будучи договорено до конца, вполне могло бы навсегда разъединить этих людей или одному из них стоило бы жизни. Эмэ Бээкман не боится (ее Анна не боится) заглядывать глубоко в суть этих сложных внутренних разногласий, зная, что речь идет не о противоречиях внутри одной семьи, но о противоречиях в жизни, в борьбе, определяющей судьбу Эстонии. Ситуация Анны и Кристьяна сложна, неоднозначна. Реальная, бытовая ее сложность воссоздана в деталях, которые могут быть увидены и замечены, возможно, только женским взглядом. Но общественный смысл этой сложности очерчен смелой рукой историка, обдумывающего нелегкий исторический опыт своей страны.

Эмэ Бээкман создает не летопись героической борьбы, не историческую хронику. Она пишет психологический роман, в котором душевное смятение той же Анны не менее важно, чем ее прямой поступок, действие. Кристьян — это человек-действие. У Анны любому действию предшествует сложная внутренняя работа. И тот, и другой способны на жертвы и подвижнически отдают себя общему делу. В этом они равны друг другу, равны и Антону, которого когда-то любила Анна, убитому за много лет до того, как эти двое вернулись на родину. В чем-то главном эти люди равны и едины. Когда бы и где бы они ни погибли, потомки справедливо поставят им общий памятник.

Но Эмэ Бээкман взялась за трудную задачу — написать о том, какими разными были эти люди, каким драматизмом были полны их судьбы. Лишь взятые все вместе, они создают некий собиратель-

ный образ эстонского коммуниста 20—40-х годов. Этот единый монолитный образ художник по праву искусства разъединяет на индивидуальные и разные характеры, исследуя всяческие пересечения индивидуального, частного, личного — с общим.

Антон, Анна, Кристьян. Образ Анны в этом триптихе — центральный, самый богатый и, если можно так сказать, перспективный, несущий в себе элемент неперменного и дальнего развития. Трагизм этой судьбы в том, что она насильственно оборвана. Книга кончается в тот момент, когда на женщину направляют дуло ружья. В последнюю минуту Анна видит аистов, которые учат летать своих аистят...

О чем она подумала? Может быть, о детях, о сыновьях, которых у нее не было? Как глупо, как досадно, что не было детей у женщины, умевшей все отдавать другим, до конца. Но без следа не может исчезнуть то, что несла в себе Анна, и в следующей книге многое из того, что было Анной, оживает в поступках и мыслях Мирьям.

Что же было Анной? Что за человеческий тип был рожден на эстонской земле, чтобы быть на этой земле и убитым, и изгнанным, и вновь возникнуть, ожить и вновь обagrить ее своей кровью?

Эмэ Бээкман пишет свою книгу с полной мерой объективности. Исповедь Анны (а это, конечно, исповедь) по-своему бесстрашна, она ведется как бы под знаком конца, когда ничего нельзя утаивать — от того, кто тебя слушает. Анну слушаем мы, читатели, а она будто ведет дневник, в котором можно признаться и в страхах, и в сомнениях. И в том, что радость любви ей дано было пережить не с мужем (эти дни — всего одиннадцать — она помнит по минутам); и в том, что союзу с Кристьяном она так и не подобрала названия, а цену тому, что их связывало, поняла только в последнюю прощальную ночь. И в том, что девятнадцать лет, проведенных вне родины, на какой бы счастливой земле их ни проводить, — трудные, почти непосильные, иссушающие годы. Анна признает и свою вину перед друзьями, пусть невольную, но вину, и одиночество свое по возвращении — объяснимое, но от этого не менее горькое. Многие страницы заполняет Анна признаниями, как бы считая своим долгом все это сказать не только для того, чтобы освободиться, но чтобы себе самой и другим еще раз осветить то, что в жизни было истинным, а что — мнимым. При всем том характер повествования строг и сдержан. Таков человеческий тип, автор верен ему до конца, в самом прямом смысле слова — до конца.

Отдав другим все, Анна имеет право быть суровой, судить строго и себя, и других — автор как бы выполняет волю человека, имеющего право. Но человеческая привлекательность этого характера в том, что Анна не может, не умеет быть суровой и жесткой, тем более — жестокой. Ход ее мыслей, воспоминаний — это поток противо-

борствующих стихий, столкновение больших и малых правд, личного и чужого опыта. По существу, рассказ Анны — это непрекращающийся диспут человека с самим собой, с обстоятельствами, с жизнью. Вспоминается не житейский мусор, даже не дорогие сердцу мелочи, но те случаи, когда надо было принимать решение, а это решение так или иначе оставляло свой след в душевном устройстве. Анна жила честно, в этом нет сомнений. Но то, что есть честь и что есть долг, для нее не являлось догмой. В том и сила, и обаяние человека, что мысль его не слепа, не глуха, она живая, подвижная и следует за жизнью, вбирает в себя все новые и новые впечатления. Движение нравственной мысли неостановимо. Прерванное в одном человеке смертью, оно продолжается в другом, живущем. Как бы в наследство в качестве главного своего дара Анна завещает эту мысль всем тем, кого могла бы назвать своими детьми.

Возможно, три романа Эмэ Бээкман не есть завершение замысла. Вполне возможно — в новом ракурсе, в иные годы — продолжение рассказа о той же Мирьям, ведь она только начинает жить.

Но Эмэ Бээкман, как уже говорилось, не претендует на бытовую, историческую, семейную летопись. Каждый из трех романов вполне самостоятелен, а взятые вместе, они образуют новое качество и новое целое. Вспаханной, обработанной оказывается уже не одна полоса, а некое поле — оно теперь по-новому живо и благодарно за это человеку.

Н. КРЫМОВА

● СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ	7
КОЛОДЕЗНОЕ ЗЕРКАЛО	209
СТАРЫЕ ДЕТИ	461
О «КОРОТКИХ РОМАНАХ» ЭМЭ БЭЭКМАН.	
<i>Послесловие</i> Н. Крымовой	612

Эмэ Артуровна БЭЭКМАН

ТРИЛОГИЯ О МИРЬЯМ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1977, 656 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Прошина**



Сдано в набор 24/XII-76 г. Подписано в печать 20/VI-77 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печ. л. 20,5.
Усл. печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 36,17. Зак. 3852. Тираж 200 000 экз.

Цена 1 руб. 43 коп.



Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Полнграфкомбинат им. Я. Коласа. Минск, Красная, 23.

**В 1977 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

Т. Ахтанов — Буран. Роман. Повесть. Драматическая поэма. Перевод с казахского.

Г. Березко — Необыкновенные москвичи. Роман. Повести.

Э. Бээкман. Трилогия о Мирьям. Перевод с эстонского.

В. Богомолов — В августе сорок четвертого... Роман.

Е. Воробьев — Незабудка. Повести. Рассказы.

М. Галшоян — В Каменной долине. Роман. Повесть. Перевод с армянского.

Р. Гамзатов — Мой Дагестан. Повесть. Перевод с аварского.

Н. Думбадзе — Солнечная ночь. Романы. Перевод с грузинского.

В. Земляк — Лебединая стая. Роман. Перевод с украинского.

Избранное «Дружбы народов». Сборник.

И. Науменко — Сорок третий. Роман. Перевод с белорусского.

Не считай шаги, путник! Сборник. Выпуск второй.

Б. Полевой — На диком берегу. Роман.

В. Распутин — Живи и помни. Повести.

В. Санги — Женитьба Кевонгов. Романы. Повести. Рассказы.